ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

Редакционная коллегия:

А С БУШМИН, В Я. КИРПОТИН,
С А. МАКАШИН *(главный редактор)*, Е И ПОКУСАЕВ

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1965

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том третий

*

ПЕВИНИНЫЕ РАССКАЗЫ

1857—1863

САТИРЫ В ПРОЗЕ

1859—1862

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1965

P1
C16

Подготовка текста
В. Н. Баскакова

Примечания
В. Н Баскакова, А. С Бутмина и С. А. Макашина

Оформление художника
И. Ж И Х А Р Е В А

М Е САЛТЫКОВ ЩЕДРИН

Фотография с дарственной надписью

«Многоуважаемому Павлу Васильевичу Анненкову
от Салтыкова в знак искреннего уважения
14 марта 1857 года С П бург »

НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ

ГЕГЕМОНИЕВ

Молодой коллежский регистратор Потанчиков получил место станового пристава. Произошло это радостное в летописях русской администрации событие следующим необычайным образом.

Однажды, одевшись чистенько, явился он на дежурство к его превосходительству генералу Зубатову. Генерал, кроме других добродетелей имевший дар с первого взгляда угадывать людей, угадал и Потанчикова. Проходя мимо юного коллежского регистратора, он окинул его быстрым и проницательным взором и тут же вполголоса сказал сопровождавшему его вице-губернатору:

— А как вы думаете . этот молодой человек. . ведь из него может выйти молодец-становой?

- Мо . мо промычал было вице-губернатор, желая, вероятно, высказать, что Потанчиков молод, но на первом же слове запнулся, вспомнив, что ему от начальства строго-настрого было наказано всего более о том пещись, чтоб с губернатором жить в ладу.

— А стань-ко, любезный, ближе к свету! — продолжал его превосходительство, обращаясь к Потанчикову.

Потанчиков повиновался. Генерал, заложив руки за спину, снова окинул его испытующим взглядом и, произведя довольно подробный наружный осмотр, видимо остался доволен своею способностью угадывать людей

— Гм . да, в этом прок будет! — проговорил он,— я, знаете, все эту реформу в исполнение привесть хочу... чтоб этих миконопротивных физиономий у меня не было... А ты желаешь в становые, мой милый?

Потанчиков сначала помертвел, потом застыдился, потом опять помертвел. Горло у него пополам перехватило, и одна нога, неизвестно отчего, начала приседать.

— Ну, хорошо, хорошо... вижу! — сказал генерал, любуясь смущением молодого человека, и, обращаясь к вице-губернатору, прибавил — Так потрудитесь сделать распоряжение

В этот же достопамятный день, вечером, новоиспеченный становой соорудил в трактире такую попойку, после которой выборные люди от всех отделений губернского правления слонялись целую неделю словно влюбленные.

Тут были все, от которых более или менее зависели будущие судьбы Потанчикова. Был и несокрушимый в пунштах Псалмопевцев, и целомудренный Матфий Скорбященский, были Подгоняйчиков и Трясучкин, были двое Воскресенских, трое Богоявленских и проч

— Просто, брат, волшебная панорама! — ораторствовал Потанчиков, повествуя об утреинем происшествии,— показывает это, показывает... как только пережил!

— Да, брат, из простых рыбарей! — благодушно заметил Матфий Скорбященский.

— Уж и не говори! думал жизнь, по обычаю предков, в звании писца скончать...

— А теперь вот будешь вселенную пером уловлять! — прервал, вздохнув, один из Богоявленских.

— Нет, это что! это все пустое! — скороговоркой вступился Трясучкин,— а ты возьми: станище-то, станище-то какой! сплавы, брат, конокрады, раскольники... вот ты что вообрази!

— Да, при уме статьи хорошие! — отозвался Псалмопевцев.

— Ты больше натиском .. натиском больше действуй!

— Да в губернию чаще наведывайся...

— Да ребятишек наших не забывай ..

— Ты, брат, не оскорбись, коли иной раз по моему столу тебе замечание будет . Я, брат, тебе друг — ты это знай! — изъяснялся Скорбященский.

— Без замечания иной раз нельзя...

— Без замечании как же можно!

— Иной раз, брат, сам губернатор тово... да что тут говорить! отстоим!

— Так ты больше натиском .. натиском больше действуй! — повторил Трясучкин.

— А по-моему, так прежде всего к Зиновею Захарычу сходить следует,— отозвался Псалмопевцев.

— Сходи, брат! не человек, а душа!

— Сходить — отчего не сходить! сходить можно! — отвечал Потанчиков, улыбаясь всем лицом от полноты внутреннего счастья.

— Нет, ты не говори: «сходить можно!»,— наставительно заметил Псалмопевцев,— потому ты еще не понимаешь! Ты думаешь, в чем существо веществ состоит? Например, назовем хоть часы, или вот стакан... ты разве понимаешь?

— Да, брат, именно надо у Зиновея Захарыча поучиться! надо!

— Или возьмем примером хоть то: разве ты можешь угадать, какое тебя впереди поношение ожидает? Спрашиваю тебя, можешь ли угадать?

— Да я, Разумник Семеныч, схожу-с . Я, Разумник Семеныч, еще пунштику прикажу-с

— Можно. А Зиновей Захарыч всему тебя научит и весь тебе круг действия совершит. Так ты к нему сходи, да не легковерно, а со страхом и трепетом приступи! Вспомни ты это мое слово: в отчаянности утешение найдешь, претыновения рассеешь и победишь, в делах откровение получишь, коли заповедь его твердо хранить будешь!

Верный данному слову, Потапчиков действительно отправился на другой день к Зиновею Захарычу.

Зиновей Захарыч был выгнанный из службы подьячий, видом худенький, маленький, весь изъеденный желчью. В старину величали его весельчаком, и действительно, он был всегда весел, но весел по-своему, с каким-то мрачным оттенком, как будто радовался и увеселялся, собственно, тем, что удачно лишил жизни своего ближнего. Вся фигура его была каверзна и безобразна и до такой степени представляла собой образец ломаной линии, что, при распространившихся в последнее время понятиях о линии кривой, он не мог быть терпим на службе даже в земском суде, где, как известно, находится самое месторождение ломаной линии. Поэтому Зиновей Захарыч должен был кончить земное свое странствие, подобно фиалке, в тени того широковетвистого древа, которое в просторечии именуется кляузой и ябедой.

— От тебя, любезный, и на подчиненных уныние! — сказал ему генерал Зубатов, первый из русских администраторов, который серьезно потребовал, чтоб чиновники имели манеру благородную и вид, при исполнении обязанностей, бесстрастный,— нет, ты подай, непременно подай в отставку!

Но общественное мнение решительно приняло сторону Гемониева. Рассказывали истинные происшествия о том, как гнусного вида офицеры оказывались впоследствии прекрасными полковыми командирами и даже гениальными военачальниками. Говорили о премудрости провидения, которое од-

ному дает в удел красоту, другому богатство, третьему острый ум, а четвертому ничего. Прорицали, что никакое несправедливое действие не остается без возмездия в будущем, и вообще на генерала негодовали, а Гегемониева восхваляли. А все-таки Зиновей Захарыч должен был повиноваться персту указующему...

Но в особенности неслись к Гегемониеву сердца канцеляристов всех возможных родов и видов. Они любили в часы досуга внимать рассказам этого нового Улисса и выслушивали их в веселии сердца своего И слава, которою пользовался Зиновей Захарыч в этом отношении, была вполне им заслужена. Никто, конечно, не мог подать столь благого совета, никто не мог так утешить, обнадежить и умудрить, как делал это Гегемониев. Гонимые судьбой возвращались от него бодрыми, недугующие — исцеленными, печальные — радостными, слепые — прозревшими, безнадежные — утешенными и просветленными

На беду Потанчикова, хозяйка квартиры, в которой жил Гегемониев, объявила ему, что Зиновей Захарыч со вчерашнего дня слег в постель и в настоящую минуту находится чуть ли не при смерти.

— В подпитии, конечно-с? — робко заметил Потанчиков.

Но хозяйка положительно заверила, что барин целые сутки маковой росинки в рот не брал и умирает без всякой аллегории. Потанчиков уже хотел удалиться, как из соседней комнаты послышался дребезжащий голос самого Гегемониева, призывавший хозяйку.

— Пожалуйте! — сказала она, возвращаясь чрез минуту к Потанчикову.

— Больны, Зиновей Захарыч? — спросил Потанчиков, садясь у изголовья Гегемониева.

— Да . перепустил, видно... на именинах третьего дня у Разумника Семеныча был .. ну, и поплясал тоже ..

— Это пройдет, Зиновей Захарыч; от радости худо не бывает-с.

— Да, в наше время, это точно, что люди от веселья не хварывали, а нынче, брат, и радость-то словно не на пользу. везде ровно тѐмнеть какая обстоит... Ты зачем?

— А вот-с, становым на всю жизнь осчастливили... желательно было бы от вас позаимствоваться-с...

— Спасибо. Спасибо тебе, что меня, старика, вспомнил. Это точно, что я напутствовать могу, потому я произошел . я много, брат, в жизни произошел! Плохо вот только мне; даже словно душит в груди... однако ничего, попробую...

— Вертоград этот,— начал Гегемониев, по временам прерывая рассказ свой удушливым кашлем,— вертоград, о котором мы будем беседовать, весьма необыкновенный. В самое короткое время, с небольшим в каких-нибудь сто лет, разросся, приумножился и изукрасился он преестественно.

Говоришь ты мне: «Становым на всю жизнь осчастливлен», а знаешь ли, что́ есть «становой»? Думаешь ты, может быть, что становой есть Потанчиков, есть Овчинников, есть Преображенский? А я тебе скажу, что все это одна только видимость, что и Потанчиков и Овчинников тут только на приклад даны, в существе же веществ становой есть, ни мало ни много, невещественных отношений вещественное изображение... шутка!

Скажу я тебе по этому самому случаю аллегорию

В младых моих летах хаживал я, сударь, в школу и не мало-таки розгачей и мученических венцов, просвещения ради, принял И сказывали нам тогда, как в старые годы отцы наши варягов из-за моря призывали и как варяги порядок у нас производили, и не обошлось тут без того, чтоб гости хозяев легонько не постегали.

И всему этому я, по невинности своей, в ту пору верил, и все это вышла, однако ж, одна новейшего произведения аллегория Разберем это дело по пунктам.

Ну, скажи ты мне на милость, зачем было отцам нашим из-за моря варягов призывать, когда у нас и свои завсегда налицо? И скажи ты мне еще, каким бы родом эти варяги, если бы это не была аллегория, могли и доселе все в том же виде остаться, без всяких в нравах и обычаях перемен? Это пункт первый.

Второй пункт: «Земля наша велика и обильна » Если бы это не был вымысел, разве мог бы летописец таким образом выразиться? Разве не было ему известно, что, за тысячу-то лет, всю матушку-Русь на одну ладонку посадить, а другою прикрыть было можно? Что ж это значит? не то ли, что некто, взирая на нынешнее пространство России, увлекся восторженностью своей до того, что даже забыл, что пишет о временах давно прошедших? Ясно?

Третий пункт «а порядку в ней нет .» Что сей сон значит? А значит это, что вообще порядку нет и не может быть, пока три брата в надлежащую ясность дела не приведут Стало быть: «приходите княжить и володеть нами» . Ну и пришли. Пришли, сударь, три брата: первый-то брат — капитан-исправник, второй-то брат — стряпчий, а третий братец, маленький да востренький,— сам мусье окружной!

«Они же бояхусь звериного их обычая и нрава»... Это зна-

чит, что точно спервоначалу было им будто робостно, а после, однако, ничего: сжились да начали володеть и взаправду!

Ну-с, сударь мой, пришли, значит, три брата, а как земля наша велика и обильна, то и выходит, что им втроем управиться в этом изобилии стало совсем неспособно. И пошли у них братцы меньшие, примерно, хоть ты или я· чем больше порядку, тем больше братцев, и до того, сударь, дошло, что, кроме порядка, ничего у хозяев-то и не осталось. Где было жито — там порядок; где худоба всякая была — там порядок; где даже рощицы росли — и там завелся порядок. И стало, сударь мой, хозяевам куда как *радостно: земля*, говорят, наша хоть и не *изобильна, да порядок в ней* есть... резон!

Вот и выходит, что вся эта история одно инословие изображает, и если, примерно, тебя определяют теперь в становые, то ты так и знай, что ты тот самый Трувор и есть, о котором сказано, что для порядку призван

А порядок что такое? А порядок есть такое всех частей вертограда сего соответствие, в силу которого всякому действу человеческому свой небуйственный ход заранъше определяется А небуйственность что? А небуйственность есть такое качество, в силу которого ты, человек простой, шагу без того сделать не можешь, чтоб *перметте* не сказать. В этомто *перметте* и заключается вся сущность и сила, так как оно простирает свое домогательство ко всем действиям человеческим без изъятия. И так как обладатели его мы, три брата: *Рюрик*, Синеус и Трувор, то и выходит, что жизнь человеческая вся в наших руках совершается.

В былые времена, когда я к служебным сладостям еще приобщен был, действовали мы на этом поле очень удачно. Главное тут — воображение иметь, *чтоб оно тебе на всякий* час *пищу для действия доставляло*. Воображаю я, например, что ты *фальшивую* монету делаешь; воображаю я это не потому, чтоб ты в самом деле монету делал, а просто потому, что воображение у меня есть и никто для него предела не заказал. Хорошо. Вот беру я белый лист бумаги и изображаю на нем тако «По дошедшим слухам, имеется подозрение, что такой-то Потанчиков занимается якобы деланием фальшивой монеты. Подтверждаются эти слухи частью необыкновенным образом жизни, который ведет Потанчиков (ибо в доме его по ночам весьма часто усматривается выходящий как бы из подполья тусклый свет), частью чрезвычайным появлением в сей местности фальшивых денег, преимущественно же тем, что жена Потанчикова, будучи такого-то числа на базаре, купила беличий салоп, причем похвалялась, говоря: «Скоро и не такой еще куплю!» А потому и т. д ». Все это, сударь мой, это я

себе вообразил, и никакого огня, ни фальшивых денег не бывало Однако тебе, Потанчикову, от этого не легче. Призываю я меньшого своего братца, который хоть и весь в меня, а считается будто твоим депутатом, и идем мы вместе к тебе с обыском. Супруга у тебя стонет, ребятушки зевают, собаки на дворе воют .. ну, и одаряешь ты, сударь, нас по силе-возможности — только, мол, отвяжитесь, ради Христа!

Ты, дружище, пойми это, что в тебе и начало, и средина, и конец человеческого существования заключается. Ты, сударь, истинную веру охраняешь, ты уважение к властям посеваешь, ты здравие, благоденствие и продовольствие всюду распространяешь, ты от глада и града, от труса и наводнения, от мора и поветрия сирых и беспомощных освобождаешь! И все ты один, становой пристав Никанор Перегринов Потанчиков, у которого под началом единый писец состоит да десятка два-три сотских! Мало того: потребуется начальству птицу Финик сыскать — ты и птицу сыщешь! потребуется статистику сочинить — ты и статистику сочинишь! Ты всеми добродетелями и науками от бога награжден должен быть: ты и хозяин добрый, и сыщик злохитрый, и химик изрядный, и статистик урожденный! А так как ты всего этого, по ограниченности природы человеческой, исполнить не в силах и так как про эту твою ограниченность и начальству, яко из человеков же состоящему, небезызвестно, то какое из сего прямое следствие истекать должно? А то следствие, что ты если не дело делать, так, по крайности, выгоды свои должен соблюсти!

Это тебе философия, а вот и практика. Прежде всего помнить ты должен, что всякая статья должна, по силе-возможности, сок дать, чтоб жажду твою утолить и гладного тебя накормить Поначалу оно будто робостно, а по времени в такой вкус и азарт войдешь, что словно вот соловей: поешь и сам себя даже не чувствуешь . Пробовал я тоже и зарок на себя класть· буду, мол, сидеть смирно,— так нет, никогда больше двух суток воздержаться не мог! Потому, во-первых, что я своему телу разве враг? А во-вторых, и потому, что есть, сударь, *в нашем ремесле притягательная сила, против которой* хоть будь ты семи пядей во лбу,— не устоишь! И томит тебя, и душит, и подымает всего... покуда свой натуральный круг действия не совершишь!

Одно нашего брата губит — это питие безмерное. Залезешь это в трущобу, театров нет, балов не имеется — и пошел курить! Слоняешься иной раз по дорогам и в слякоть, и в стыть; и в глаза-то тебе хлещет, и сквозь-то тебя пронимает — ну, и воскликнешь: «жажду!». Иной раз сутки целые слова путем не вымолвишь; все или молчишь, или ругаешь-

ся — ничего для души нет!.. Другие, женившись, думают себя соблюсти, так слушай ты меня: не верь тем, кто тебя этим предметом соблазнять будет! Наш брат опричник на все должен быть готов. и в болоте увязнуть, и от меча погибнуть, и от пламени огненного сгореть. Стало быть, зачем тут жена? Затем разве, чтоб руки тебе связать да трусостью сердце твое обуять? Ты пойми это, что в нашем ремесле ты осторожностью да выжиданием *ничего* не возьмешь; а ты *коли хочешь пользу* иметь, так жест у тебя должен быть вольный, широкий, чтоб и вдоль забирал, и поперек захватывал, да и вглубь и ввысь и рвал и метал... Зачем тут жена?

А все-таки надо правду сказать: хоть ты бейся, хоть не бейся, а как придется концы с концами сводить, в результате все ничего и очень мало выходит... Вот и я, например... я ли, кажется, не поревновал, а все под старость голову приклонить негде! Хоть и сказал в ту пору его превосходительство, хлопнувши меня по животу, что тут, мол, все курочки да гусочки хапанные сидят, а ведь, коли по совести-то сказать, какие же это курочки? Наши, брат, курочки русские: худенькие, маленькие да жиденькие — в силу ими насытиться. Вот тех бы индюшек попробовать, которые к его превосходительству на стол от откупщика подаются, ну, тогда точно: вышли бы мы и телом побелее, и ростом поавантажнее... Так вот и смекай ты, как в свете жить, беспечальну быть!

Однако сытым быть можно. Главное, мнение надо в себе победить, кичливость плотскую смиренномудрию духовному покорить, а пуще всего под суд не попадать, потому что в уголовную хоть и однажды попадешь, однако после того всю жизнь будешь счастлив, все равно как бы на затылке тебе кожу взрезали или на лбу клеймо напечатали. А наш брат как дорвется до теплого местечка, так не то чтоб смелостью, а больше озорством действует: я-ста да мы-ста — ну, и разбросает все зря: того ему не надо, то для него презрительно . А ты, коли хочешь невредимым быть, все бери, ничем не брезгуй, да не плюй в бороду-то, не плюй! а пуще ее поладь, потому что и жизнь-то твоя вся в бороде заключается.

И еще: его сивушество иерусалимского князя Полугарова паче звезд уважай. Помни: он по всей земле, всех кабаков, выставок всерадостный обладатель и повелитель . кто ж ему равен?

Итак, сударь, ты от меня напутствован. Иди же ты с миром и не сомневайся.,, А меня оставь.,, потому что я умирать хочу!

ЗУБАТОВ

Генерал Зубатов, бог ему судья, не очень-таки долюбливал меня. «У вас,— говорит, бывало,— слишком голова горяча, милостивый государь,— вы диалектике, милостивый государь, предаетесь!.. служба требует дела, а не соображений, милостивый государь!.. она требует фактов, фактов и фактов!»

И все этак строгим манером.

И держал он меня, по случаю диалектики, в великом загоне; пройти, бывало, по улице совестно; словно и заборы-то улыбаются и шепчут тебе вслед. «Диалектик, диалектик, диалектик!»

А под диалектиком разумел Семен Семеныч отчасти такого человека, который пером побаловать любит, отчасти такого, который на какой-нибудь официальный вопрос осмеливается откликнуться «не могу знать», а отчасти и такого, который не бежит сломя голову на всякий рожон, на который ему указывают.

К балующим пером Семен Семеныч адресовался обыкновенно следующим образом:

— Что вы мне, милостивый государь, там рассказываете? Какие вы там нашли еще препятствия? Разве вам велено вникать в препятствия? Разве вас об этом спрашивают? Я, милостивый государь, тридцать пять лет служу и, благодарение богу, никогда никаких препятствий не видал!

— Помилуйте, ваше превосходительство, ведь это все равно что на камне рожь сеять...

— Ну, что ж-с!.. и посеем-с!..

— Да ведь рожь-то не вырастет!

— Вырастет-с! а не вырастет, так будем камень сечь-с!

— А она и от этого не вырастет!

— И опять будем сечь-с! нам до этого дела нет, что̀ можно и что̀ нельзя .. а мы будем сечь-с!

К «немогузнайкам» Семен Семеныч обращался так:

— Что вы мне там доносите и два и три? вы должны сказать мне прямо или два, или три .. служба не терпит этой неопределенности ..

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, что ..

— Знаю я это, милостивый государь, очень знаю . но ведь мне нужны не «или» ваши, а настоящая цифра, потому что я эту цифру должен в ведомости показать, и итог... да, и итог, сударь, подвесть!.. в какую же силу я ваше «или» тут сосчитаю?

Но всего более антипатичен был для него третий сорт диалектиков.

— Я вам приказал, сударь... почему вы не исполнили? — говорил он им, принимая самые суровые тоны.

— Так и так, ваше превосходительство, я был на месте и убедился, что указываемый вами рожон совсем не рожон .

— А разве об этом вас спрашивали? а знаете ли вы, милостивый государь, что за подобные рассуждения в военное время расстреливают?

И так далее, в том же тоне и духе. Одним словом, генерал любил, чтоб чиновник смотрел у него весело, не рассуждал и тем менее противоречил, не сомневался, не провидел и на ногу был легок.

И вдруг, в одно прекрасное утро, он задумался. Долго он думал и сначала, по-видимому, скорбел и вздыхал, но наконец приятная улыбка озарила уста его.

— А что ж,— сказал он,— в самом деле! надо же и им дать вздохнуть .. трудненько оно будет... правда... а впрочем, что за вздор — не боги же горшки обжигали!

В этот же день я был приглашен к его превосходительству и удивлен следующею речью:

— Вот, любезный друг,— сказал он мне ласково,— оказывается теперь, что мы с вами до сих пор спали, то есть не то чтоб совсем спали, а так, знаете, скользили по поверхности .. составляли там ведомости... наблюдали, чтоб входящие и исходящие не были закапаны... Выходит, что все это было не нужно... д-да!

— Д-да! —повторил я в изумлении.

— Выходит, что от этого у нас и торговля не развивается... и фабрик нет... и богатство народное... тово...

Я видел по его лицу, как все эти непривычные выражения мучительно зарождались в его голове и еще мучительнее сходили с языка.

— Выходит, нам надо теперича заняться настоящим делом! — сказал он решительно.

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

— Да, теперь это нужно... теперь вот и Европа на нас посматривает . ну, да и время совсем не то! ведь, в самом деле, как подумаешь, что значит время-то!

Генерал улыбнулся и начал загонять ногою в угол валявшуюся на полу бумажку

— Вот хоть бы вчера,— продолжал он,— ведь как казалось все гладко, все прекрасно... плыли мы, можно сказать, по океану и воды даже под собой не слышали .. а нынче...

— Отчего же, однако, вашему превосходительству кажется, что нынче все изменилось?

— Да нет! неужто ж вы этого не чувствуете? ведь пора же, пора нам наконец сбросить с себя это скифство!.. надо же и нам когда-нибудь стать в уровень с Европой... ведь этак мы того дождемся, что нас поместят в число пастушеских народов!.. И дождались бы!

Глаза Семена Семеныча сверкнули гневом.

— Разве ваше превосходительство получили какие-нибудь известия из Петербурга? — спросил я робко.

— Нет, вы меня не понимаете! Я просто убедился, что не может это так оставаться, и потому на первый раз призывал уж нынче частного пристава Рогулю и сказал ему, чтоб он отнюдь не смел волю рукам давать... потому что ведь это, наконец, нельзя же: все в рыло да в рыло!

При этих словах я вспомнил, что действительно Рогуля еще утром приезжал ко мне весь встревоженный и объявил, что его превосходительство находится в восторженном состоянии.

— А что? — спросил я.

— Да помилуйте,— отвечал он,— чуть свет меня поднял... я думал, что какое-нибудь упущение или пожар... скачу, и что же-с? «Я, говорит, затем тебя призвал, чтоб напомнить, чтоб ты не дрался, а действовал кротостью и собственным примером; если ж ты будешь драться, так я тебя, подлеца, самого таким образом откатаю, что ты три дня садиться не будешь»... посудите сами, ваше высокоблагородие!

В ту минуту я не разобрал хорошенько этого обстоятельства и даже утешал Рогулю, что, должно быть, его превосходительству во сне что-нибудь нехорошее привиделось; но теперь .. теперь я сам начинал догадываться, что тут действительно есть какой-то пунктик, который не далее как в прошедшую ночь зародился в голове его превосходительства, но к утру вырос и распространился вширь с погибельною быстротой.

— Я и прежде всегда утверждал,— ораторствовал между тем его превосходительство,— что не нужно слишком натягивать струны... потому что, вы понимаете, мы, наконец, отупели с этим натягиванием.

Семен Семеныч взглянул на меня, как бы вызывая на размышления; но я стоял сконфуженный и подавленный; мой нос инстинктивно нюхал в воздухе, глаза сами собой устремлялись на барометр, как бы ища опоры для объяснения этой внезапной перемены.

— Так вы, пожалуйста, займитесь,— продолжал генерал,— надо нам тово. . идти рядом с веком...

— Что же прикажете, ваше превосходительство?

— Ну, да вы меня понимаете . я бы хотел, чтоб этак тово... новенькое что-нибудь... Знаете ли что? — прибавил он весело, как бы озаренный внезапной мыслью,— устроимте-ка здесь биржу!

— То есть как же биржу?

— Ну да, биржу... как в Петербурге или вот в Москве... Теперь у нас все это в младенчестве они все сделки свои в трактире за парой чая делают . Ну, а если мы заведем биржу, торговля-то, знаете ли, как двинется вперед!..

— А если купцы на биржу не станут ходить?

— Надобно, mon cher [1], на первое время сделать для них обязательным, чтоб ходили... потому что иначе какие же могут быть у нас усовершенствования?

— Это точно, ваше превосходительство!

— Ну, так вы, стало быть, займетесь этим?.. Кстати! Анна Ивановна жалуется мне, что вас давно не видать у нас... так приходите сегодня обедать... запросто!

Само собою разумеется, что я не позабыл о приглашении и ровно в три часа был в гостиной Зубатовых

Но, к величайшему моему удивлению, я нашел Анну Ивановну в столь же восторженном настроении духа, как и Семена Семеныча В то время, как я вошел в гостиную, она вела оживленную беседу с товарищем председателя уголовной палаты Семионовичем.

— Согласитесь, однако ж, со мной, что тут еще многое остается сделать,— говорила она,— мосье Щедрин! вы, я надеюсь, поддержите меня ..

— Но позвольте, Анна Ивановна,— вступился Семионович,— вы напрасно думаете, что я принадлежу к числу отсталых. Я полагаю, что нам следует только объясниться, и все недоразумения устранятся сами собою...

[1] голубчик.

— C'est inoui ce que nous avons souffert! [1] — продолжала Анна Ивановна, обращаясь ко мне.— Изумительно даже, как могли мы дышать!

«Кроткая Annette! что с тобой сделалось! что с тобой сделалось! — подумал я, переходя от изумления к совершенному остолбенению,— ты, которая до сих пор позволяла себе думать только о наслаждениях предстоящей минуты, ты, которая смотрела на жизнь как на ряд милых и грациозных сцен, вроде пословиц Альфреда Мюссе, ты ожесточена, ты говоришь о какой-то духоте, о каких-то прошедших страданиях... Боже!»

— Вот это-то именно и есть единственный пункт, насчет которого я несколько расхожусь с вами, Анна Ивановна,— возразил между тем Семионович,— я нахожу, что страдание— самая лучшая школа жизни... Недаром великий поэт сказал:

Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать .

стало быть, страдание не совсем-то дурная вещь .. стало быть, в страдании возможно даже своего рода наслаждение, которое высоко ценится знатоками!..

— Не знаю; быть может, я не принадлежу к числу знатоков, но, признаюсь вам, я не охотница до страдания... Мне кажется так приятно, так легко, когда меня никто не беспокоит, si l'on me laisse jouir en paix de mon existence... n'est-ce pas [2], мсье Щедрин?

— Нет сомнения, что жить спокойно гораздо приятнее, нежели пользоваться тревогами,— отвечал я.

— Но я и не утверждаю, что страдание должно быть нормальным состоянием человека,— возразил Семионович,— я говорю только, что страдание — школа, и надеюсь, что самое это слово доказывает, что здесь идет о нем речь, как о мере временной, преходящей, о той мере, про которую говорит поэт:

Ведь в наши дни спасительно страданье .

— Я надеюсь, что мы с честью выйдем из этой школы,— сказала Анна Ивановна,— хотя, признаюсь вам, на первый раз это будет ужасно трудно... nous sommes encore si peu habitués de jouir des bienfaits de la civilisation... [3] я сегодня ут-

[1] Мы пережили неслыханные страдания!
[2] когда мне позволяют спокойно наслаждаться жизнью .. не правда ли.
[3] мы еще не привыкли наслаждаться благами цивилизации..,

ром говорила с мужем: это ужас, сколько надобно сделать.. il faut faire ceci et cela... [1] везде, куда ни обернитесь, везде надобно снова начинать...

— Да, это так,— отвечал Семионович задумчиво,— не знаю .. я как-то опасаюсь. . мне все кажется que nous n'avons pas assez de forces... que nous succomberons à la tâche, en un mot! [2]

— О, это опасение совершенно напрасное! puisque au fond le peuple russe est avant tout un grand peuple . C'est une justice, que l'Europe entière se plaît à lui rendre... [3]

— А! здравствуйте! об чем это вы так горячо тут спорите? — прервал Семен Семеныч, входя в это время в гостиную и подавая поочередно всем нам руку, чего прежде никогда с ним не случалось.

— Продолжение давишнего разговора, ваше превосходительство,— отвечал я

— А! это любопытно!

— Вот мсье Семионович находит, что мы недостаточно созрели,— отозвалась Анна Ивановна.

— То есть для чего? — спросил генерал.

Анна Ивановна затруднилась; она была вполне уверена, qu'il s'agit d'une très bonne chose [4], но как называется эта chose [5], не знала. А впрочем, что мудреного может быть, так она и называется... chose! Семионович, однако ж, вывел ее из затруднения

— Мы не поняли друг друга, Анна Ивановна! — сказал он несколько обиженным тоном,— мое воспитание . мое прошедшее, наконец все это достаточно говорит в мою пользу... Поверьте, я не принадлежу к числу отсталых!

— Ну да, ну да! — сказал Семен Семеныч,— нынче уж оно и не ко времени!

— Я говорю только, что наше перерождение достанется нам не без труда!

— *О, насчет этого я совершенно с вами согласен... я, на*пример, придумал теперь одну штучку. Конечно, это будет очень полезно . однако и за всем тем не могу поручиться, чтоб она принялась так, как было бы желательно!

[1] надо сделать и это и то .

[2] что у нас недостаточно сил одним словом, что мы не справимся с задачей!

[3] потому что, в сущности, русский народ — прежде всего великий народ Вся Европа с удовольствием отдает ему в этом справедливость ..

[4] что речь идет об очень хорошей вещи.

[5] вещь

— Позволено ли будет узнать, ваше превосходительство, в чем заключается ваше намерение? — спросил Семионович

— Так . я хочу биржу здесь устроить! — отвечал генерал с тою поспешностью и вместе усилием, которыми всегда сопровождается желание высказаться как-нибудь понебрежнее. При этом он, неизвестно от каких причин, застыдился и покраснел.

— Vous n'avez pas l'idée, comme ils nous trompent, ces marchands! [1] — вступилась Анна Ивановна,— а тогда мы будем все на бирже покупать!

— Ты мне, мамаша, на бирже новую курточку купишь! — пролепетал маленький сынок Анны Ивановны, прислушавшись к разговору.

— Извините меня, Анна Ивановна,— заметил Семионович, пользуясь случаем, чтоб отмстить генеральше за предположение об его отсталости,— но мне кажется, что вы не совсем верно смотрите на значение биржи...

— Ну да, ну да,— сказал генерал, снисходительно улыбаясь,— эти дамы только и думают, что о нарядах... Они даже на переворот готовы смотреть с точки зрения тряпок . ха-ха!

— А впрочем, мысль Анны Ивановны об устроении такого магазина, который представлял бы все ручательства относительно добросовестности и дешевизны, тоже весьма счастливая мысль,— возразил Семионович, спеша на помощь подломившейся на льду либерализма генеральше и таким образом умеряя язвительность великодушием.

— Mais .. n'est ce pas? [2] — сказала Анна Ивановна, отдыхая.

Известие, что готово кушать, прекратило на время разговор, но за обедом он возобновился с новою силою И генерал и генеральша так увлекательно доказывали необходимость оставить рутину и идти новыми, неизведанными доселе путями, что даже суровый Семионович согласился, qu'au fait il y a quelque chose à faire [3]. Я и сам чувствовал, что в воздухе была разлита какая-то непривычная теплота, что по временам моего обоняния касались живительные ароматы, что кровь с усиленною быстротой приливала к голове и сердцу. .

Но не могу не сознаться, что все это происходило как будто во сне и что самые звуки говоривших кругом меня голосов ложились в мой слух как-то смутно, неопределенно.

[1] Вы не имеете понятия, как нас обманывают купцы!
[2] Но не правда ли?
[3] что и вправду нужно что то предпринять.

— Прежде всего надо позаботиться о торговле,— говорил генерал,— потому что торговля — это нерв...

— Да... и железные дороги,— сказал Семионович,— вот где для нас предмет первой важности! пространство нас одолевает, ваше превосходительство, наша собственная карта нас давит!

— Ну, с этим как-нибудь справимся, с божьей помощью! — рассудил генерал.

— Однако ж... это ужасно.. сколько приходится сделать!— задумчиво продолжал Семионович, внезапно всем телом вздрогнув.

— Еще бы! — заметила генеральша

— Вы забыли еще о грамотности,— отозвался генерал и, обращаясь ко мне, присовокупил· — Кстати, чтоб не забыть! не худо бы нам с вами и насчет этого что-нибудь .. знаете, в таком же роде

— Позвольте, однако ж, ваше превосходительство,— возразил Семионович,— мне кажется, что грамотность .. я думаю, что для этого у нас еще почва недостаточно, так сказать, взрыхлена?

— Да, признаюсь вам, я и сам так думал прежде но теперь.. Я скорее склоняюсь в пользу того мнения, что тут совсем никакой почвы не надобно

— Однако ж, ваше превосходительство, специалисты на основании достоверных фактов утверждают, что на пятьсот грамотеев двести непременно оказываются негодяями.. как хотите, а эта пропорция

— Мамаша! я не хочу учиться . я не хочу сделаться негодяйкой! — неожиданно закричал сынок Семена Семеныча.

— Полно, душечка, это о мужичках говорят! — утешала его Анна Ивановна

— Коли хотите, и я в душе с вами согласен,— продолжал между тем Семен Семеныч,— но

Генерал развел руками, как будто хотел сказать: Que voulez-vous que je fasse! [1]

Много и еще было говорено разных умных речей, и всякий раз, когда кому-либо из собеседников приходила счастливая мысль, генерал обращался ко мне и говорил: «Кстати, чтоб не забыть! не мешает и на это обратить серьезное внимание!»

Читателю, быть может, странным и невероподобным покажется, что бо́льшая часть моих героев словно во сне или в ту-

[1] Что прикажете делать!

мане действуют. В справедливости этого замечания должен сознаться я и сам, но что же мне делать, если таково вообще свойство всех умирающих людей? От умирающего нельзя требовать ни последовательности в суждениях, ни даже совершенно округленных периодов для выражения последних; все их мысли, все их чувства представляются в виде каких-то клочков, в виде ничем не связанных отрывков, в которых мысль и чувство являются в состоянии почти эмбрионическом. К сожалению, я должен сказать здесь, что мир полон такого рода умирающих; между ними очень мало злых и очень много недальновидных. Вообще я убежден, что на свете злые люди встречаются лишь случайно; в существе, они те же добряки, только кожу у них судьба-индейка стянула, рыло перекосила и губы помазала желчью. Да и то, *по большей части*, от своей собственной глупости люди делаются злыми, потому что умный человек сразу поймет, что злиться не из чего, да и не расчет. Что же касается до недальновидных людей, то это точно, что ходят в народе слухи, будто их немало по белу свету шатается, однако не могу скрыть, что я очень редко встречал таких, которые бы откровенно признавали себя дураками Напротив того, обыкновенно случается так, что, например, Петр Иваныч, встретивши друга своего, Ивана Петровича, и поговорив с ним немного, уже восклицает мысленно. «Господи! да как же глуп Иван Петрович... неужто он этого не знает!» А Иван Петрович в это самое время, в свою очередь, тоже мысленно восклицает: «Господи! да как же глуп Петр Иваныч .. неужто он этого не знает!» И выходит тут в некотором смысле таинственно-духовный маскарад. Но, прося у читателя извинение за такое отступление, спешу продолжать рассказ мой.

На другой день я получил от Семена Семеныча записку. Очевидно, мысль о новом характере, который должна была принять его деятельность, до такой степени жгла его, что он не мог выносить даже малейшую медленность в этом отношении Казалось, он в одну минуту хотел облагодетельствовать всех и каждого и преисполнить край плодами цивилизации. В записке было изображено.

«Виды и предположения:

1) Биржа. Правильность торговли Огромные запросы и так далее. Развить.

2) Грамотность Смягчение нравов. Уменьшение преступлений. Облегчение обязанностей полиции и т. д. Развить.

3) Пути сообщения, *а буде можно, то и железные дороги.* Сколько средним числом провозится ежегодно товаров до Н. пристани? Развить.

4) Фабрики и заводы. Польза от них. Средства к достижению сего поощрения и награды. (Известно, что русские купцы и т. д) Развить

Весьма обяжете, ежели все сие исполните в возможно непродолжительном времени»

Прочитав эту записку, я струсил. С одной стороны, меня, конечно, соблазняла красивая сторона предприятия, с другой, я не мог не испугаться его огромности. Но напрасны были мои опасения. Генерал был так добросовестен, что счел необходимым, предварительно принятия решительных мер относительно развития торговли и промышленности, посоветоваться об этом с почетнейшими лицами торгующего сословия Эта добросовестность испортила, однако ж, все дело При первом намеке на возможность учреждения биржи купцы попадали в обморок, несмотря на то что все они были телосложения необыкновенно крепкого и с честью выдерживали самые побои.

— Что-о? — сказал Семен Семеныч грозно,— стало быть, вы сопротивляться задумали?

— Помилуйте, ваша милость, уж очень это будет для нас обидно,— отвечал один из купцов, прежде всех очнувшийся,— нельзя ли заместо биржи-то просто чем ни на есть обложить нас на общеполезное устройство?

— Что-о? ты что за выскочка? и как ты смеешь за всех говорить? Николай Иваныч, запишите его фамилию!

Между торговцами воцарилось молчание; передняя шеренга держала руки по швам

— Так вот, друзья мои,— продолжал Семен Семеныч,— вы слышали мои слова, знаете мои желания... остается, следовательно, изыскать средства к приведению их в исполнение... Конечно, некоторые из вас, как видно, еще не понимают намерений, которые клонятся единственно к вашей же пользе, но само собой разумеется, что это не должно останавливать ни меня в моих предположениях, ни вас в содействии к выполнению их.

Сказав это, Семен Семеныч удалился, и долг справедливости заставляет меня сказать, что он не только не дрался в этом случае, но даже и за бороду никого не вытряс.

Но дело не удалось. Купцы, оставленные на произвол судеб, без кормила и весла, объявили, что для них затея Семена Семеныча слишком обидна, чтоб они решились сами на себя руку наложить.

— Ну что, как наше дело? — спросил меня генерал, когда я, после продолжительного совещания с обществом, явился к нему с отчетом.

— Не соглашаются, ваше превосходительство!

— Гм...

Глубоко опечаленный генерал стал лицом к окну и долго безмолвствовал. По временам до слуха моего долетали звуки, несомненно доказывавшие, что его превосходительство барабанил в это время пальцами по стеклу.

— Напрасно, ваше превосходительство, совещались с ними,— сказал я, сгорая желанием утешить Семена Семеныча,— эти вещи надо делать секретно от них, так чтоб они не опомнились...

Семен Семеныч повернулся ко мне и с чувством пожал мне руку.

— Вы правы,— сказал он взволнованным голосом.

— Они, ваше превосходительство, своей пользы понимать не могут,— продолжал я, увлекаясь преданностью к особе моего начальника.

— Вы правы,— повторил генерал.

— Такого рода предположения всего удобнее приводить в исполнение посредством полиции,— снова начал я.

— Вы правы... да, к несчастию, вы совершенно правы!

— Если они не понимают своих выгод, то весьма естественно, что нужно делать им добро против их желания .

— Это совершенно справедливо... но... К сожалению, я должен сказать вам, mon cher, что время нынче такое... велено все кротостью да благоразумными мерами распорядительности .. Ах, друг мой, ремесло администратора становится слишком тяжело, и если бы я не любил мое отечество (Семен Семеныч махнул рукой)... давно бы пора на покой старые кости сложить!..

— Прикажете продолжать настаивать? — спросил я.

— Нет, уж зачем... оставимте их в покое... пусть делают, как знают!.. Горько, Николай Иваныч!

Разговор на этот раз прекратился, но не прекратилась благонамеренная деятельность Семена Семеныча. Проекты следовали за проектами, и в нашей маленькой канцелярии закипела непривычная и небывалая дотоле жизнь.

Но увы! — ни проект о распространении грамотности, ни проект о путях сообщения — ничто не удавалось, несмотря на таинственность и тишину, среди которых они вырабатывались. Проекты эти похожи были на те объявления о новоизобретенных средствах против моли и клопов, которые (то есть средства) так удачно действуют на бумаге, в действительности же бессильны убить самого тощего и изможденного клопа

Семен Семеныч сделался скучен. Уныло ходил он целые дни по кабинету, заложив руки за спину и грустно покачивая

головой С ужасом сознавал он, что месяц тому назад он был совершенно бодр и деятелен, был распорядителен и исполнителен в одно и то же время, одним словом, способен и достоин, а теперь . теперь, когда наступило, по-видимому, «благорастворение воздухов и изобилие плодов земных», он вдруг, без всякой видимой причины, оказывается чуть-чуть не злостным банкротом... ужасно! Все, что он ни придумает, звучит пусто, словно лукошко, у которого вышибли дно; все, за что он ни возьмется, отзывается мертвечиной. И ему внезапно стало так тошно и несносно жить на свете, что не мила казалась Анна Ивановна, не радовал милый сынок Сережа, а меня не мог он даже видеть без некоторого озлобления, потому что я являлся хотя и немышленным, но тем не менее горьким и постоянным свидетелем его неудач.

Однажды утром я получил от Анны Ивановны приглашение пожаловать к ней как можно скорее. Я застал ее заплаканною и расстроенною.

— Вы не знаете, какое нас постигло несчастие,— сказала она,— Simon! бедный Simon!

— Что такое, Анна Ивановна? — спросил я встревоженный.

— Ah, mais voyez plutôt vous-même, cher[1] Николай Иваныч!

С этим словом она отворила дверь в кабинет Семена Семеныча, и странное зрелище представилось глазам нашим Семен Семеныч сидел за письменным столом и чертил на бумаге чудовищный пароход; волосы его были растрепаны, в глазах блуждал дикий огонь.

Я тотчас же понял ужасную истину: нет сомнения... генерал лишился рассудка!

— А! — воскликнул он, увидев меня,— ну, теперь, кажется они не отвертятся от меня... я все обдумал!

— Simon! успокойся, друг мой! — убеждала Анна Ивановна

Семен Семеныч сделал рукой движение, как будто хотел отогнать докучную муху.

— Я надеюсь, что начальство оценит труды мои,— сказал он с какой-то блаженной улыбкой,— скоро будет святая, и тогда .

Он показал на левую сторону груди.

— Это несомненно, ваше превосходительство, но в настоящее время вам больше всего нужен отдых,— заметил я.

[1] Посмотрите сами, дорогой.

— Убедите, убедите его, Николай Иваныч! — умоляла Анна Ивановна,— Simon! тебе следует почивать!

Генерал снова сделал движение рукой

— А не правда ли, что я много на свою долю потрудился? — сказал он,— вы, Николай Иваныч, видели, вы можете засвидетельствовать перед всеми, что я именно был неусыпен!

Анна Ивановна всхлипывала; Семен Семеныч, глядя на нее, тоже не выдержал и залился целым потоком слез. Положение мое было весьма тяжко.

— Друзья мои! — сказал генерал, рыдая,— я умираю! я умираю, потому что много трудился! Если б я меньше заботился, а больше гулял, меньше вникал и больше кушал, я остался бы жив!

ПРИЕЗД РЕВИЗОРА

I

В 18** году, декабря 9 числа, статский советник Фурначев получил из С.-Петербурга, от благоприятеля своего, столоначальника NN департамента, письмо следующего содержания:

«Милостивый Государь!

Семен Семеныч!

Поспешаю почтеннейше известить вас, что в непродолжительном времени имеет быть к вам на губернию статский советник Максим Федорович Голыпцев. Будет у вас под предлогом освидетельствования богоугодных заведений, в действительности же для доскональных разузнаний о нравственном состоянии служащих в вашей губернии чиновников. Качества Максима Федоровича таковы: словоохотлив и добросердечен; любит женский пол и тонкое вино; выпивши, откровенен и шутлив без меры; в особенности уважает людей, которые говорят по-французски, хотя бы то были даже молокососы; в карты играет, но насчет рук и так далее — ни-ни! Засим, вверяя себя и свое семейство вашему неоставлению, прошу вас принять уверение в совершенном почтении уважающего вас

Филиппа Вертявкина.

P. S. Милостивой государыне Настасье Ивановне от меня, от жены и от всех детей нижайшее почтение.

NB. Еще любит Г., чтоб его называли «вашим превосходительством». Чуть не забыл».

— Однако это скверно! — говорит статский советник Фурначев, прочитавши письмо,— что бы такое значило: «насчет рук ни-ни»! Ведь это выходит, что он... ни-ни!

Семен Семеныч в волнении ходит по комнате и, наконец, кричит в дверь:

— Настасья Ивановна! Настасья Ивановна!

Входит Настасья Ивановна, облаченная в глубокий негли-же. Глаза ее несколько опухли, и вообще выражение лица сер-дито, потому что она только что часок-другой соснула. Семен Семеныч посмотрел на ее измятое лицо и с досадою плюнул.

— Опять ты спала! — сказал он, глядя на нее с глубоким омерзением,— хоть бы ты в зеркало, сударыня, посмотрела, на что ты сделалась похожа! И откуда только сон у тебя бе-рется!

— Если вы только за тем меня позвали, чтоб ругаться, так напрасно трудились!

Настасья Ивановна хочет удалиться.

— Да постой, постой же, сударыня! получил я сегодня письмо... едет к нам ревизор... и, как видно, неблагонамерен-ный .. потому что тово... ни-ни .

Семен Семеныч топчется на месте и не знает, как выра-зиться. Он убежден, что ревизор человек неблагонамеренный, но почему-то не умеет сформулировать оснований, на которых зиждется это убеждение.

— Так вы тово... поприоденьтесь немного! — продолжает он, совсем спутавшись.

— Вог как вы испугались, что уж и бог знает что гово-рите! — замечает Настасья Ивановна, читая письмо Вертяв-кина,— точно уж и приехал ваш ревизор! Однако я по всему вижу, что он должен быть очень милый человек, этот ревизор, потому что любит дамское общество! .

— Да, только не наше с вами... эй, человек! лошадь!

Семен Семеныч отправляется к генералу Голубовицкому и застает его в большом беспокойстве. До сведения его превос-ходительства дошло, что один из важнейших в городе чинов-ников, будучи на собственном своем сговоре, происходившем по случаю предстоящего бракосочетания его с дочерью потом-ственного почетного гражданина Хрептюгина, внезапно вско-чил из-за стола и начал бить стекла в окнах беломраморного зала нареченного тестя.

— Ты это что, ваше высокородие, делаешь? — спросил его изумленный хозяин

— А вот я таким манером всех противляющихся мне со-крушаю! — отвечал жених и с этими словами вышел из дома.

Встревоженный генерал большими шагами ходит по ком-нате. Он справедливо рассуждает, что если высшие сановни-ки, эти, так сказать, административные дупельшнепы, в поры-вах горячности допускают себя до подобного малодушества,

то каким же образом должны поступать зуйки, поручейники кулички и прочая мелкая болотная дичь?

— А мы еще как радовались за Павла Тимофеича, что они такую прекрасную партию делают! — замечает стоящий в углу маленький чиновничек, занимающий должность доверенного лица при особе его превосходительства.

— Что ж, пьян, что ли, он был?

— Должно быть, не без того-с, ваше превосходительство; они, смею вам доложить, довольно-таки этому привержены . только все больше в одиночестве занимаются-с и велят себя в этих случаях запирать Ну, а тут и при народе случилось...

Генерал продолжает ходить и волноваться.

— И еще случаи есть, ваше превосходительство,— робко говорит чиновник.

— Ну, что там еще?

— В Песчанолесье стряпчий с городничим-с .. тоже на именинах дело было-с...

— Нельзя ли докладывать скорее, без мазанья!

— И стряпчий городничему живот укусил-с! — оканчивает скороговоркой чиновник.

— Господин Фурначев приехали,— докладывает лакей.

— Ну, этого зачем еще черт принес! — восклицает взволнованный генерал,— просить!

Семен Семеныч входит и улыбается. С одной стороны, он очень рад видеть его превосходительство в добром здоровье, с другой стороны, ему весьма прискорбно, что имеет сообщить известие, которого последствий никто, даже самый проницательный человек, предугадать не в силах.

— Да что же такое? неужто еще кто-нибудь подрался? — спрашивает генерал

— Никак нет-с, ваше превосходительство, но наша губерния .. впрочем, может быть, это и к лучшему-с...

— Да говорите же! что вы душу-то мне тянете!

— Ревизор, ваше превосходительство, ревизор к нам в скором времени прибыть должен!

При слове «ревизор» с генералом едва не делается дурно.

— Кто сказал «ревизор»? какой ревизор? откуда ревизор? — спрашивает он, вдруг весь вспыхнув и уже застегивая машинально пальто на все пуговицы.

— Успокойтесь, ваше превосходительство! — продолжает Семен Семеныч,— ревизор, сказывают, охотник больше до дамского общества...

— Гм... от кого же вы получили это известие?

— Есть в Петербурге один облагодетельствованный мною столоначальник-с ..

— Это неприятно! это тем более неприятно, что тут же разом случились две пасквильные истории... Скажите, пожалуйста, вы были у Хрептюгина в то время, как Павел Тимофеич стекла бил?

— Как же-с; я был в числе приглашенных...

— Что же такое с ним сделалось? Вот чего я понять не могу!

— С Павлом Тимофеичем это нередко бывает, ваше превосходительство! только он до сих пор умел это скрыть-с. Сидели мы целый вечер, и все как будто ничего; и он тоже тут был — ну и тоже ничего-с... Только за ужином — должно быть, не присмотрели за ним,— вот он сначала хереску-с, потом мадерцы-с, да вдруг и встал из-за стола: «Музыканты! камаринскую!» — говорит. Я, видевши, что он уж вне себя, подозвал Хрептюгина и говорю ему: «Ведь Павла-то Тимофеича надобно убрать!» Не успел я это сказать, как уж и пошел по зале набат-с .. Впрочем, это еще, ваше превосходительство, уладится: Павел Тимофеич уж объяснился с нареченным тестем...

— Ну, а слышали вы другую историю — это еще почище будет: в Песчанолесье стряпчий городничему живот прокусил!

— Ах, страм какой!

— Расскажи-ка, братец, расскажи! — обращается генерал к доверенному чиновнику,— нечего сказать, хорош сюрприз для ревизора будет!

— Были они,— начинает чиновник,— на именинном вечере; только и начал стряпчий хвастаться· «Я, говорит, здесь все могу сделать!» Ну, городничему это будто обидно показалось; он возьми да и ударь стряпчего по лицу: «что-то, мол, ты против этого сделаешь!» А стряпчий, как ростом против городничего не вышел, впецился ему зубами в живот-с...

— Ах, страм какой! — повторяет господин Фурначев.

— И вот, после этого милости просим тут пользу какую-нибудь для края принести! — говорит генерал, разводя руками.

II

Весть об ожидаемом приезде ревизора мгновенно разнеслась по городу. У тех из чиновников, у которых всякое душевное волнение выражается трясением поджилок, таковое совершилось благополучно. Город оживился, но это оживление было какое-то бездушное, похожее на ту суету, которая начи-

нается во всяком губернском городе с утра каждого высокоторжественного праздника и продолжается ни более, ни менее, как до известного, судьбой определенного срока. Петр Борисыч Лепехин, охотник поиграть в двухкопеечный преферанс, внезапно вспомнил, что высшее начальство непоощрительно смотрит на такое невинное препровождение времени, и призадумался. Он почел долгом немедленно справиться об этом в Своде законов, и хотя ничего похожего на угрозу там не нашел, но на всякий случай, пришедши вечером в клуб, не только сам не торопился составить партию, но даже отказался наотрез от карточки, которую предлагал ему Порфирий Петрович.

Федор Герасимыч Крестовоздвиженский, пришедши в присутствие, потребовал немедленно к себе какие-то четыре дела («знаете: те дела, по которым...») и, обнюхавши их, вдруг пришел в восторженность, замахал руками и закричал: «Завтра же! сегодня же! катать их! под суд их!»

Иван Павлыч Вологжанин неутомимо начал разъезжать по всем знакомым и собирать полезные сведения о житье-бытье крутогорских обывателей, дабы, в случае надобности, преподнесть этот букет господину ревизору и чрез то заявить свою деятельность и преданность.

В будку, которая с самой постройки своей никогда не видала будочника и оставлена была без стекол, поставили перваго и вставили последние

Пожарных лошадей выкормили, как индеек Ивана Ивановича [1].

Словом, всякий готовился к принятию ревизора по-своему. Только частный пристав Рогуля оказал при этом твердость духа, достойную лучшей участи Когда ему сказали, что будет, дескать, ревизор и не мешало бы по этому случаю побоолее бодрствовать и поменьше спать, то он только поковырял в носу, испил квасу, до которого был большой охотник, и молвил:

— Знаем мы этих ревизоров! не первый год на свете живем!

Но самая хлопотливая и трудная часть деятельности выпала на долю генеральши Голубовицкой. Она кстати вспомнила, что бедные города Крутогорска что-то давно не получали никакого пособия и что такое благодетельное дело всего приличнее могло быть устроено в глазах ревизора. Поэтому на совете, составленном из лиц приближенных и известных своею

[1] См. «Вечера на хуторе» Гоголя «Иван Федорович Шпонька» и т. д *(Прим. М Е Салтыкова-Щедрина)*

преданностью, было решено: немедленно устроить благородный спектакль, а если окажется возможным, то и живые картины.

— Помилуйте, Дарья Михайловна! какие же могут быть у нас живые картины! вы посмотрите на наших дам! — возражает старинный наш знакомый, Леонид Сергеич Разбитной[1].

Но Дарья Михайловна, которая имеет весьма развитой стан и вообще удачно сложена, настаивает на необходимости живых картин. Выбор останавливается на четырех картинах: «Рахиль, утоляющая жажду Иакова», «Любимая одалиска», «Молодой грек с ружьем», «Дон-Жуан и Гаидѐ».

— Я могу взять на себя фигуру Иакова! — говорит молодой товарищ председателя уголовной палаты, Семионович, и поспешно прибавляет. — А если угодно, то и Дон-Жуана ..

Дарья Михайловна в недоумении. Семионович, без сомнения, очень достойный молодой человек и отлично знает уголовные законы, но, во-первых, он имеет привычку постоянно издавать носом какой-то неприятный свист, а во-вторых, и фигура у него какая-то странная, угловатая .. очень будет нехорошо! Дарье Михайловне хотелось бы отдать эти две фигуры учителю гимназии Линкину, который имеет и все нужные для того качества и к которому она чувствует род тихой дружбы.

— Вы, мсьѐ Семионович, будете слишком утомлены спектаклем,— говорит она

— Это ничего,— отвечает Семионович,— я работаю скоро и легко...

— Ну, Гаидѐ, Одалиска и Рахиль — об этих фигурах нечего и говорить! — вступается кругленький помещик Загржембович,— эти фигуры по праву принадлежат Дарье Михайловне; но кому отдать Ламбро?

— Архивариусу губернского правления! — предлагает Разбитной.

— Вы всегда с вашими шутками, мсьѐ Разбитной! — говорит Дарья Михайловна,— messieurs[2], кто желает взять на себя Ламбро?

— Я бы охотно ее взял,— вступается Семионович,— но у меня Дон-Жуан!

— Так вы Дон-Жуана уступите... хоть мсье Линкину!

— Признаюсь вам, для меня положение Дон-Жуана больше симпатично . тут есть страсть, есть жизнь...

— Зато Ламбро может одеться в красный плащ,— заме-

[1] О Разбитном можно справиться в «Губернских очерках», ч 3 я «Просители» *(Прим. М Е. Салтыкова-Щедрина)*

[2] господа.

чает весьма основательно Разбитной,— и тут может быть великолепный effet de lumière[1]

— Итак, Дон-Жуан — мсье Линкин, Ламбро — мсьё Семионович,— говорит Загржембович,— но здесь возникает вопрос, на счет каких сумм сделать костюм для Дон-Жуана, потому что мсьё Линкин не имеет даже достаточно белья, чтобы ежедневно пользоваться чистою рубашкой?

— Можно как-нибудь из благотворительных сумм,— отвечает Дарья Михайловна.

— Да кстати бы уж и рубашку ему чистую сшить,— прибавляет Разбитной, которому досадно, что Дон-Жуаном будет не он, а Линкин

— Вы опять с вашими шутками,— сухо замечает Дарья Михайловна.

— Ну-с, хорошо-с; эта статья устроена; теперь кто же будет «Молодой грек с ружьем»?

Молодого грека должна взять на себя особа женского пола — это несомненно; ружье можно достать из гарнизонного батальона — с этой стороны тоже нет препятствия. Но кто же из крутогорских дам согласится изобразить фигуру, которая в некотором смысле делает ущерб общественной нравственности? Первое благо, которым должен обладать Молодой грек, заключается в большом и остром носе — кто из дам таковым обладает? Судили-судили, и наконец глас народный указал на коллежскую асессоршу Катерину Осиповну Немиолковскую, которая, имея точь-в-точь требуемый нос, охотно согласится облачиться и в противоестественный мужской костюм. Постановлено. отправить завтрашний день к Катерине Осиповне депутацию и усерднейше просить ее пожертвовать собой на пользу общую

— Стало быть, живые картины улажены... Что же касается до спектакля, messieurs,— говорит Дарья Михайловна,— то он будет составлен из следующих пиес:

В ЛЮДЯХ АНГЕЛ, НЕ ЖЕНА,
ДОМА С МУЖЕМ САТАНА

Комедич в 3 х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Г Славский . . . . Мечислав Владиславович Семионович.
Г-жа Славская . . Аглаида Алексеевна Размановская.
Г-жа Трефкина . . Анфиса Петровна Луковицына

[1] световой эффект!

Г ж а Н е б о с к л о н о в а	Анна Семеновна Симиас.
Р а з м а з н я	Федор Федорович Шомполов (самородный комик, процветающий в палате государственных имуществ в должности помощника чего-то или кого-то)
П р ы н д и к	Леонид Сергеич Разбитной
Л а к е й 1-ый Л а к е й 2-ой	Экзекутор губернского правления Стуколкии.

ЧИНОВНИК

Комедия в 1 м действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

К н я г и н я	Дарья Михайловна Голубовицкая.
П о л к о в н и к	Леонид Сергеич Разбитной
М и с х о р и н	Семен Семенович Линкин.
Н а д и м о в . . .	Мечислав Владиславович Семионович.
Д р о б и н к и н	Федор Федорович Шомполов

— Кажется, messieurs, таким образом будет хорошо? — прибавляет Дарья Михайловна, прочитав список ролей.

Все находят, что отлично.

— Теперь, господа,— вступается Семионович,— необходимо выбрать нам режиссера... Я предлагаю возложить эту обязанность на Алоизия Целестиновича Загржембовича.

— Аксиос! — возглашают преданные

Алоизий Целестиныч кланяется и благодарит за доверие. Он дает слово, что употребит все усилия, чтоб оправдать столь лестное поручение

— Алоизий Целестиныч! — говорит Разбитной,— вы не забудьте, что для Шомполова необходимо, чтоб на репетициях был ерофеич и колбаса.

Все берутся за шляпы и намереваются разойтись

— Господа! господа! — возглашает Загржембович,— как режиссер, я должен вас остановить, потому что не решен еще один важный пункт: кто будет суфлером?

— Мамаса! — говорит младший сынок Дарьи Михайловны,— я хочу быть суфьеем

— Нет, душечка, ты будешь казачком.

— Я уз бый казачком, я хочу быть суфьёем.

— Ну, полно, душечка, ты будешь шоколад подавать!

— Я, господа, предлагаю выбрать суфлера из учеников гимназии. им часто приходится суфлировать друг другу!

— Великолепная мысль! вы золотой человек, Алоизий Целестиныч

— L'incident est vidé![1] — восклицает Разбитной.

Все уходят, и Семионович, заранее предвкушая доставшуюся ему роль и искрививши судорожно рот, декламирует на лестнице: «И к горю моего звания, я должен сказать, что я и обижаться не вправе, пока у нас будут взяточники». В швейцарской он уже полон негодования: «Надо крикнуть на всю Россию,— провозглашает он,— что пришла пора, и она действительно пришла,— искоренить зло с корнями»,— и вместе с тем делает рукою жест, как будто действительно копается ею в земле.

По всему видно, что Семионовичу пришлась очень кстати роль Надимова. Он человек молодой и горячий и потому надеется поместить в этой роли, как в ломбарде, весь внутренний жар, беспредметно накипевший в его груди

Что касается до Разбитного, то он хотя тоже не совсем равнодушен к ожидающим его впереди сценическим тревогам, но выражает свои чувства несколько иначе, а именно: на каждой площадке лестницы производит по одному в высшей степени козлообразному антраша,— и отправляется откушать рюмку водки к доброй знакомои своей Вере Готлибовне Пройминой.

III

Наступил наконец и день первой репетиции. В провинции благородные спектакли всегда составляют эпоху и на долгое время оставляют за собой отрадные воспоминания. Особливо любят их дамы, для которых эпоха спектакля как-то фаталистически совпадает с порою возрождения и любви. Статистические исследования с последнею очевидностью доказывают, что потребность в благородных спектаклях обнаруживается преимущественно после десятого декабря, то есть в то время, когда солнце, как известно, поворачивается на лето Хотя на дворе и гвоздят еще крещенские морозы, но в теплых гостиных уже чувствуются запахи весны; появляются цветочки на окнах, и вместе с тем начинают расцветать и сердца. И вот мало-помалу в четырех закопченных стенах провинциального театра полагается первоначальная закваска той интимной, крохотной драмы, которая потом исчерпывает собою весь провинциальный карнавал Сценическое искусство служит здесь только предлогом, или, лучше сказать, кулисами, за которыми

[1] Инцидент исчерпан!

развиваются домашние интриги, устраиваются свидания, разыгрываются сцены ревности и т д. С одной стороны, мечутся в глаза лица совершенно счастливые и довольные; с другой, печально выступают вперед ипохондрики, снедаемые завистью и злобой при взгляде на чужое счастье, с одной стороны, слышится тот мягкий, как будто детский смех, который самое счастье озаряет еще новым и более ярким светом, и рядом с ним раздаются болезненные вздохи, сосредоточенно вылетающие из груди какого-нибудь отвергнутого трезора Здесь же, как будто бы для того, чтоб лучше оттенить картину, явится перед вами какой-нибудь Шомполов, который смотрит на предстоящий спектакль как на подвиг всей своей жизни, и добродушная физиономия режиссера, который обыкновенно избирается из так называемых «мышиных жеребчиков», обладающих любовным жаром в самой умеренной степени и потому способных сохранять постоянный нейтралитет. Иногда картина разнообразится наездом слишком ревнивых мужей, желающих собственными глазами удостовериться, в каком положении находится супружеская верность; но и это как-то не огорчает, а, напротив того, умиляет, потому что если уж признавать силу солнечного поворота на лето, то это признание должно быть равносильно и для мужей, и для жен. Впрочем, наезды подобного рода весьма редки, потому что провинциальные мужья народ вообще добродушный и, при объявлении им о наряде их жен для предстоящего спектакля, высказывают досаду свою отрывисто и невинно головою. «Ну, пошла пильня в ход! — говорят они,— семь без козырей! Порфирий Петрович — вы что?»

Часы бьют семь, и Шомполов достаточно уж увлажил свои внутренности из графинчика, содержащего в себе настойку, известную под именем ерофеича. Он ходит по сцене и грустит, что случается с ним всегда, когда ерошка-маляр намалюет баканом на лице его итальянский пейзаж с надписью «Извержение Везувия». От нечего делать он обращается к сторожу.

— Меня, брат Михеич, здесь понимать не могут! — говорит он уныло — Здесь и люди-то, брат, не люди, а так, какие-то сирены, только навыворот: хвост человечий, а стан рыбий .. Ну, скажи ты сам какой же я комик! и сложение и голос — все во мне трагическое! . тут пахнет убийством, брат, злодеяниями — вот что!

Михеич слушает и искоса посматривает на водку.

— Что, видно, водочки захотелось? ну, выпьем, брат, выпьем . я добрый! Намеднись вот заставили меня Падчерицына играть .. теперь Дробинкина! А Надимова небось не

дали, а дали его Семионовичу — он, дескать, товарищ председателя! где ж тут справедливость, Михеич? ну, какой я Падчерицын?

— Мое, сударь, дело занавес опустить или вот сад на место поставить,— отвечает Михеич

— Что ж это, наконец, будет? ведь я, наконец, к публике прибегну!.. я актер, я настоящий актер!.. Так вот нет же, Михеич! не могу, брат, я к публике прибегнуть, руки у меня связаны! жена, брат, шестеро детей! Откажись я играть, так завтра и от должности, пожалуй, отрешат . вот что горько-то!

Входят Загржембович и Разбитной. Последний в весьма приятном расположении духа, скачет вдруг обеими ногами на лестницу и мурлыкает куплетцы из роли Прындика.

— Алоизий Целестиныч! — обращается Шомполов к Загржембовичу,— вы справедливый человек! за что они меня обидели? За что мне Размазню дали, а Надимова отдали Семионовичу?

— Вы пьяны, Шомполов,— замечает Разбитной, живописно раскидываясь на диване.

— Нет, я не пьян, Леонид Сергеич! я выпил, потому что обижен, а я не пьян! нет, я далеко не пьян... Я хочу сказать, что я актер, настоящии актер, а не затычка!

— Ха-ха! «затычка»! Нет, это бесподобно: mais vous êtes impayable, mon cher Chompoloff![1]

— Кто меня затычкой зовет? — кричит Шомполов, уже забыв, что он сам наградил себя этим прозвищем.— Кто надо мной смеяться смеет?

— Ха-ха! impayable! impayable![2]

— Кто меня затычкой зовет? — продолжает Шомполов,— не хочу я играть Размазню... я Гамлет, я Чацкий, я Надимов, а не Размазня!

Приезд Дарьи Михайловны и Аглаиды Алексеевны Размановской полагает конец спору.

— Ah, vous voilà, messieurs![3] — говорит Дарья Михайловна и вместе с тем ищет чего-то глазами

— Мсье Линкина еще нет! — в упор отвечает Разбитной, и отвечает с ехидством, потому что между ним и Линкиным есть яблоко раздора, и это яблоко — сама Дарья Михайловна.

Разбитной вообще считается «l'enfant chéri des dames»[4] и потому очень оскорбляется, если кто-нибудь осмеливается предпочитать ему другого

[1] вы бесподобны дорогой Шомполов!
[2] бесподобно! бесподобно!
[3] А, вот и вы, господа!
[4] дамским любимцем

— Мсьѐ Разбитной! вы должны сегодняшний вечер занимать меня — это так следует по пиесе! — говорит Аглаида Алексеевна, садясь возле Разбитного

— Вот Шомполов говорит, что ему водки не дают! — начинает «занимать» Разбитной.

— Фи, мсьѐ Шомполов, вы опять с вашею противною водкой! как это вы ее пьете!

— Помилуйте, Леонид Сергеич, когда же я жаловался?

— Все равно; по вашему лицу видно, что вы грустите.

— А знаете что, мсьѐ Разбитной,— прерывает Аглаида Алексеевна,— я один раз, разумеется украдкой от maman, попробовала выпить этой гадкой водки . и если бы вы знали, что со мной было?.. Вы, впрочем, не проболтайтесь... это секрет!

Входят· Катерина Осиповна Немиолковская (она же и Грек с ружьем), сопровождаемая Линкиным.

— Вы всегда опаздываете, мсьѐ Линкин! — сухо замечает Дарья Михайловна

Но Линкин в ту же минуту пристраивается к Дарье Михайловне, и лицо ее проясняется

— Начинать, господа, начинать! — кричит Загржембович, хлопая в ладоши.

— Господа! у нас в палате сегодня вечернее заседание было! извините, что опоздал! — кричит Семионович, влетая сломя голову

Приезжает и Анфиса Петровна Луковицына с дочерью своей, по муже Симиас, дамой, обладающей лицом аквамаринового цвета. Прибытие их проходит, однако ж, незамеченным.

На сцену выступает Аглаида Алексеевна и ужасно махает руками, желая показать этим, что она обрывает звонки.

Разбитной, пользуясь этим случаем, в одно мгновение ока направляется в тот темный уголок, в котором расположилась Дарья Михайловна с Линкиным

— Сердце женщины — это целая бездна! вы страиный человек. Линкин, вы хотите постигнуть то, что само себя иногда постигнуть не в состоянии! — томно говорит Дарья Михайловна

Линкин слушает молча; он знает, что Дарья Михайловна любит не только поговорить, но даже насладиться звуками своего собственного голоса, и потому не смеет прерывать очаровательницу.

— Читали ли вы Гетевы «Wahlverwandtschaften»? [1] — продолжает Дарья Михайловна.

[1] «*Избирательное сродство*»

— Читал-с.

— Помните ли вы ту минуту, когда Шарлотте... делается вдруг так совестно?.. ну, я ручаюсь, что вы не поняли этого!

— Я, признаюсь, не заметил этого места.

— И не удивительно, что вы не заметили. Такую тонкую, почти неуловимую черту может понять только женщина... Сегодня, кажется, вечер у Балтазаровых? — продолжает Дарья Михайловна, заметив приближение Разбитного.

— Кажется,— отвечает Линкин.

— Вы с ними знакомы?

— Нет

— Это жалко.

Разбитной хотя и достиг своей цели, прервав интимный разговор, но чувствует себя самого внезапно поглупевшим и не находит в голове ни одного путного слова. Он топчется на одном месте, то краснеет, то бледнеет, несколько раз сряду разевает рот, чтоб сказать что-нибудь острое, и не может.

— Вам, кажется, начинать скоро, Дарья Михайловна,— говорит он наконец не без усилий

В эту минуту на сцене раздается потрясающий вопль. Оказывается, что Шомполов ущипнул очень больно мадам Симиас.

— Господа! к сожалению, репетиция не может продолжаться! — возглашает Загржембович,— мсье Шомполов не совсем здоров

— Кто нездоров? Как нездоров? — вступается Шомполов.— Она меня оскорбила, она сказала мне, что я пьян!

— Господа! репетиция кончилась!

IV

Между тем статский советник Голынцев уже приближался к Крутогорску. Ехал он довольно медленно, потому что на всякой станции собирал под рукою от станционных писарей и ямщиков сведения о генерале Голубовицком. Сведения оказывались, впрочем, весьма удовлетворительные

— Известно, генерал-с! — отвечали писаря в одно слово, будто сговорившись,— на то они и начальники, чтоб взыскивать!

«Гм.. стало быть, строг и распорядителен — это хорошо!» — подумал Голынцев

— Шибко уж очеино ездят! — отвечали, в свою очередь, ямщики.

«Гм... стало быть, деятелен — это похвально!» — зарубил себе на нос Голынцев.

Наконец, декабря 20 числа 18** года в восемь часов пополудни возок Максима Федорыча въехал в Крутогорск. На заставе встретил его полицеймеистер.

— Ва . вашему пре-е-восходительству. .

— Вы, должно быть, озябли? — прервал Максим Федорыч, видя, что полицеймейстер, вместо того чтоб рапортовать, только щелкает зубами,— вы можете простудиться, мой любезный!

Возок помчался на отводную квартиру, а полицеймейстер с своей стороны поспешил доложить генералу, что Максим Федорыч не человек, а ангел.

Максим Федорыч, приехав в квартиру, спросил самовар и позвал к себе хозяина, потому что и тут, несмотря на утомление, первою его мыслию было не спать лечь, а, напротив того, узнать что-нибудь под рукою. Вообще, он понимал свою обязанность весьма серьезно и знал, что осторожность в полицейском чиновнике есть мать всех добродетелей. Хозяин явился в круглом фраке и оказался весьма милым негоциантом, чему Голынцев очень приятно изумился и выразил при этом надежду, что и в прочих городах России со временем купцы последуют примеру этих aimables Kroutogoriens [1]

— Ну, скажите, что̀ ваш добрый генерал? — начал испытывать Максим Федорыч стороною.

— Слава богу-с, ваше превосходительство!

«Ваше превосходительство» подействовало на Максима Федорыча успокоительно.

«Mais ils sont très bien élevés ici!» [2] — подумал он и вслух прибавил:

— Да, да! он у вас такой деятельный!

— Попечение большое имеют, ваше превосходительство!

— Ну, и генеральша тоже, она ведь милая?

— Дарья Михайловна-с?.. смею доложить вашему превосходительству, что таких дам по нашему месту-с... наше место сами изволите знать какое, ваше превосходительство!

— Гм . это хорошо! Ну, и веселятся у вас, бывают собрания, театры, балы?

— Как же-с, ваше превосходительство! благородным манером тоже собираются-с... в карты поиграть-с, или в клубе-с . все больше Дарья Михайловна попечение имеют...

— Это хорошо! я так скажу, что это один из главных ры-

[1] любезных крутогорцев
[2] Да они здесь отлично воспитаны!

чагов администрации, чтоб всем было весело! Если всем весело, значит, все довольны — это ясно, как дважды два! К сожалению, не все администраторы обращают на этот предмет должное внимание!

— Уж что же хорошего будет, ваше превосходительство, как все, насупившись, по углам сидеть будут

— Ну да, ну да! очень рад! очень рад познакомиться с таким милым и образованным негоциантом.

Максим Федорыч заметил, однако, что уж довольно поздно, и потому решился отдохнуть Но прежде чем отойти ко сну,— до такой степени серьезен был его взгляд на служебные обязанности,— он вынул свою записную книжку, в которой уже были начертаны слова: «строг, но справедлив», «деятелен, распорядителен», и собственноручно сделал в ней следующую отметку «общежителен и заботится о соединении общества, в чем немало ему помогает любезная его супруга, о которой существуют в губернии самые лестные отзывы».

V

На другой день у генерала Голубовицкого был обед За обедом присутствовали: Змеищев, Фурначев, Порфирьев, Крестовоздвиженский и прочие сильные мира, кушали также и некоторые молодые люди, но исключительно из числа тех, от которых ничем не пахнет, и именно: Разбитной, Семионович и Загржембович. Из дам присутствовала одна хозяйка дома

Еще накануне Степан Степаныч призвал к себе повара и имел с ним серьезное объяснение.

— Завтра у меня гость обедать будет, ты пойми это! — сказал он повару

— Это понять можно, ваше превосходительство, не в первый раз столы готовим!

— Ну, что же ты сделаешь?

— Горячее суп с кнелью изготовить можно

— Господи! просто, братец, воображения у тебя никакого нет!..

— А то можно и уху сварить.

— Суп с кнелью да уха, только и слов! ну, черт с тобой, делай что хочешь!

Тем и кончилось совещание, но обед все-таки вышел хороший. Подавали суп с кнелью (повар поставил-таки на своем), на холодное котлеты и ветчину с горошком, на соус фрикасе из мозгов и мелкой дичи, в которую воткнуты были оловянные стрелы, потом пунш глясе, на жаркое индейку и в заключение

малиновое желе в виде развалин Колизея, внутри которых горела стеариновая свечка, производя весьма приятный эффект для глаз

Максим Федорыч, как дамский поклонник, садится поближе к Дарье Михайловне, и между ними завязывается очень живой разговор

— И вы не скучаете? — спрашивает Максим Федорыч.

— Иногда... а впрочем, нет! я так всегда занята, что некогда и подумать о скуке!

— Ах да, я и забыл, что у вас есть дети... chers petits anges! ils sont bien heureux d'avoir une mere comme vous, madame! [1]

— Mais .. oui! je les aime . [2]

Дарья Михайловна треплет старшего сына по щечке.

— Ей, Максим Федорыч, скучать некогда она даже и теперь устраивает благородный спектакль,— отзывается с другого конца генерал, внимательно следящий за всеми движениями Голынцева.

— Vraiment? mais savez-vous [3], мне ужасно покровительствует счастие . я без ума от спектаклей, особенно от благородных... и я вас заранее предупреждаю, что вы найдете во мне самого строгого критика.

— Мы таки частенько здесь веселимся,— снова вступается генерал.

— Это хорошо! удовольствия, а особливо невинные... это, я вам скажу, даже полезно· это нравы очищает, не дает, знаете, им зачерстветь...

— Это несомненно!

— А позволено ли будет узнать, si ce n'est pas une indiscrétion toutefois [4], какие пиесы будут играть?

— «Чиновника»,— отвечает Дарья Михайловна.

— Ah! c'est sérieux! c'est très sérieux! [5] только я вам скажу, тут надо актеру . par ce que c'est très sérieux! [6]

Дарья Михайловна рекомендует Семионовича.

— Вы, конечно, поняли эту роль! — спрашивает его Максим Федорыч,— вы извините меня, что я делаю такой вопрос: дело в том, что это ведь очень серьезно!

Семионович вертит головою в знак согласия.

---

[1] милые ангелочки! какие они счастливчики, что у них такая мать, как вы, сударыня!

[2] Ну как же, я ведь их люблю .

[3] Неужели? но знаете ли

[4] если это не нескромность

[5] А! это серьезно! это очень серьезно!

[6] потому что это очень серьезно!

— Я видел в этой роли первоклассных наших актеров и, признаюсь, не совсем удовлетворен ими. Нет, знаете, этого жару, этого негодования... ну, и манеры не те... Вы ведь вообразите, что Надимов старинный дворянин, que c'est un homme de bonne famille[1], и вдруг этот человек решился не только принести себя в жертву отечеству, но и разорвать всякую связь с «старинным русским развратом»... Mais il est presque révolutionnaire, cet homme![2]

— Я именно так и понял это, ваше превосходительство! — отвечает Семионович.

— Да, тут надо много, очень много жару, чтоб передать эту роль... О княгине я не спрашиваю: эта роль по всем правам должна принадлежать вам,— обращается Голынцев к Дарье Михайловне

— А еще будут играть комедию, где Аглинька звонки рвет! — перебивает старший сын Голубовицких.

— А я буду сакаляд подавать,— продолжает младший сын.

— «Сакаляд», душечка? oh, le charmant enfant..[3] Я понимаю, что вы не должны, не можете скучать, Дарья Михайловна!

Дарья Михайловна треплет по щечке и младшего сына.

— Мамаша. Сеничка хочет в Аглинькин шоколад песку насыпать,— докладывает старший сын.

— Фи, душечка!

— Oh, le charmant enfant... quel âge a-t-il, madame?[4]

— Sept ans[5].

— Mais savez-vous, madame, qu'il est très développé pour son âge?[6] Тебе, душечка, куда хочется, в военную или штатскую?

— Я хочу в кьясном мундийе ходить!

Все смеются и с нежностию смотрят на маленького пичугу, который уже желает красного мундира

— Нынешнее молодое поколение удивительно как быстро развивается! — замечает Голынцев,— я уверен, что Надимову всего каких-нибудь шестнадцать лет в то время, когда он вступает на сцену... Notez bien cela[7],— прибавляет Голынцев, обращаясь к Семионовичу.

---

[1] что это человек из хорошей семьи.
[2] Ведь он почти революционер!
[3] очаровательный ребенок!
[4] Очаровательный ребенок . сколько ему лет, сударыня?
[5] Семь
[6] А ведь он, сударыня, очень развит для своего возраста?
[7] Заметьте это.

— Извините меня, ваше превосходительство,— возражает Семионович,— но Надимов перед этим путешествовал, был на Ниле ..

— Это так, но разве он не мог путешествовать с своими родителями? или с гувернером?

— Путешествовать — так! но быть на Ниле — согласитесь сами, что это довольно трудно!

— Может быть, может быть... Au fond, vous êtes, peut-être, dans le vrai [1] но все-таки вопрос заключается в том, что молодые люди нынче чрезвычайно как быстро развиваются... qu'en pensez-vous, madame? [2]

— Mais .. je pense que oui .. [3]

— Я, впрочем, отнюдь не против этого .. Конечно, опытность.. l'expérience n'est pas à dédaigner, et nous autres, vieux galopins, nous en savons quelque chose [4]

— Опытность великая вещь, ваше превосходительство,— замечает генерал, который по временам тоже не прочь преждевременно произвести Максима Федорыча в следующий чин.

Порфирий Петрович покрякивает в знак сочувствия

— Я против этого не спорю, ваше превосходительство; есть вещи, против которых нельзя спорить, потому что они освящены историей. . Но все-таки жар, энергия . все это такие вещи, которых нам с вами недостает... mais n'est-ce pas, madame? [5]

Дарья Михайловна очень мило улыбается; присутствующие также смеются, и даже довольно шумно, но тем не менее благовоспитанно и добродушно, как будто хотят сказать генералу: «А что, попались? ваше превосходительство!» Генерал сам признает себя побежденным и ставит себя в уровень с общим веселым настроением общества.

— Зачем же вы, однако ж, себя включаете в число стариков? — очень любезно замечает Дарья Михайловна Голынцеву.

— Vous êtes bien aimable, madame [6],— отвечает Максим Федорыч,— но, увы! я должен сознаться, что время мое прошло!

— Должно быть, тоже изволили развиваться быстро? — шутливо замечает генерал

---

[1] В сущности, вы может быть, и правы

[2] что вы думаете об этом, сударыня?

[3] Ну... думаю, что да

[4] опытностью пренебрегать нельзя, а мы, старые шалуны, кое-что понимаем в этом

[5] ведь не правда ли, сударыня?

[6] Вы очень любезны, сударыня

— А что вы думаете? ведь это правда! в бывалые годы я тоже недурно проводил время... mais que voulez-vous! la jeunesse — c'est comme les vagues de l'océan: cela s'en va et ne se retrouve plus! [1]

В это время желе с стеариновою свечкой отвлекает общее внимание. Максим Федорыч с любопытством следит за блюдом, пока обносят им всех гостей, и в заключение находит, que c'est joli [2] Встают из-за стола и отправляются в гостиную, где опять возобновляется живой и интересный разговор.

— Я никак не ожидал, чтоб в таком отдаленном городе можно было так приятно проводить время... Vraiment! [3] — замечает Максим Федорыч.

— Если бы вашему превосходительству угодно было удостоить меня посещением сегодня вечером на чашку чаю? — говорит Порфирий Петрович, подходя к Голынцеву и переминаясь с ноги на ногу.

— С величайшим удовольствием вы меня извините, что я не был у вас с визитом ..

— Помилуйте, ваше превосходительство! .

И Порфирий Петрович, сделав полуоборот на одном каблучке, кашлянув и несколько покраснев, удаляется.

— Et demain, nous allons en piquenique j'éspère, que vous en serez? [4] — спрашивает Дарья Михайловна.

— Madame, vous pouvez disposer de mon temps et de ma personne selon votre bon vouloir . [5]

— В таком случае я сама за вами заеду,— любезно продолжает генеральша.

— Ah, madame! vous êtes d'une bonté! [6] .

Наконец все начинают чувствовать некоторое обременение желудка и мало-помалу раскланиваются с хозяевами. Голынцев замечает это и также спешит отретироваться.

Все очень довольны.

— Ах, какой приятный человек! — говорит Порфирий Петрович, обращаясь к Крестовоздвиженскому.

— Просто именно добрейший человек! — отвечает Крестовоздвиженский и внезапно начинает размахивать руками, как человек, который не в состоянии овладеть своими чувствами.

---

[1] но что же вы хотите! молодость — это как волны океана уходит и больше не возвращается!

[2] что это красиво

[3] Право!

[4] А завтра мы отправляемся на пикник надеюсь, вы там будете?

[5] Сударыня, вы можете располагать моим временем и мной самим по вашему усмотрению

[6] Ах, сударыня! вы так добры!

Семионович уходит, обдумывая замечания Голынцева по поводу роли Надимова, и решается припустить еще более жару в выражении того спасительного негодования, которым проникнута эта роль Леонид Сергеич Разбитной выражает свое удовольствие тем, что скачет с одной ступеньки на другую обеими ногами вдруг, и на одной ступеньке говорит: «pique», а на другой: «nique».

VI

На другой день часу в третьем пополудни огромный поезд останавливается перед домом, в котором имеет резиденцию Максим Федорыч. Впереди всего поезда едет полицеймейстер на лихой тройке, подобранной волос в волос из числа пожарных лошадей. За полицеимеистером следуют четвероместные сани, в которых обретаются генерал и генеральша Голубовицкие и двое детей. Тут же садится и Максим Федорыч.

Поезд трогается, ямщикам приказано быть веселыми, вследствие чего они поют песни и помахивают кнутами Максим Федорыч замечает, что такого рода загородные поездки, кроме того что представляют много удовольствия, весьма полезны для здоровья

— Et regardez, comme c'est joli![1] — обращается он к Дарье Михайловне, указывая на длинную вереницу саней, растянувшуюся на полверсты,— как это напоминает запоздалых путников, которые спешат на ночлег!

И действительно, картина очень милая, потому что день ясный, и лучи солнца, упадая на белую снеговую равнину, обливают ее сверкающим, почти нестерпимым блеском; сани быстро скользят по едва пробитой дороге, а пристяжные лошади, взрывая копытами снег, одевают экипажи серебристым облаком пыли, что также очень недурно.

— У нас удивительно здоровый климат,— говорит генерал,— поверите ли, ваше превосходительство, странно сказать, а даже в простом народе никогда никаких болезней не происходит!

— Да? стало быть, состояние народного здоровья можно назвать удовлетворительным?

— Больше чем удовлетворительным!

— Ну, а народная нравственность?

— Насчет народной нравственности тоже могу сказать, что довольно удовлетворительна . конечно, бывают там между ними... ну, да это домашними средствами!..

---

[1] И посмотрите, как это красиво!

— Гм .. это хорошо! это очень утешительно, что народная нравственность в удовлетворительном состоянии... Потому что народ, ваше превосходительство . это его, можно сказать, единственная забота, чтоб быть нравственным .. Если уж и в народе нет нравственности, что же такое будет?

— Это справедливо, ваше превосходительство. . в этом отношении, я могу сказать... я очень счастлив . Народ здесь очень нравствен! Одно только обстоятельство меня огорчает: ябедников здесь очень много.

— Д-да?

— Точно так-с; я, конечно, не стал бы жаловаться вам на это, если бы не имел удовольствия так близко познакомиться с вами и не убедился вполне, что вы не заподозрите меия... Но теперь могу сказать прямо: да, ябедничество слишком укоренилось здесь!

— Скажите пожалуйста!.. но чем же вы объясните такое явление? вероятно, оно откуда-нибудь занесено сюда, потому что не может же быть, чтоб здесь были какие-нибудь причины жаловаться... Везде, где я был, передо мной проходили всё лица совершенно довольные.

— Из Новгорода, Максим Федорыч, из Новгорода. . Поверьте, что это все старая новгородская кляуза действует!..

— Гм... стало быть, здешний народ стоит на довольно высокой степени развития? — замечает Голынцев, вспомнив о Марфе Посаднице.

— О да! с этой стороны я могу почесть себя совершенно счастливым! я могу сказать, что имею дело с людьми развитыми, и если бы не ябедничество...

— Однако ж надо бы принять меры против распространения этого зла, ваше превосходительство... Я, с своей стороны, готов содействовать!

— Я, с своей стороны, полагаю, ваше превосходительство, что для уничтожения этого зла необходимо между народом распространить «истинное просвещение»...

— То есть как это истинное просвещение... грамотность, хотите вы сказать?

— О нет, упаси боже! грамотность-то именно и распространяет у нас ябедников .

— Гм... да! я понимаю вас! вы хотите сказать, что если бы не было грамотных, то некому было бы просьбы писать? Так, кажется?

— Точно так, ваше превосходительство!

— А что вы думаете: ведь в этом много правды! несомненно, что тогда административная машина упростилась бы чрезвычайно... ну, и сокращение переписки... Однако мне

весьма бы любопытно было знать, что вы разумеете под «истинным просвещением»?

Генерал задумывается; он хочет выразиться как-нибудь аллегорически, упомянуть про невинность души, про доверчивость, про веселое и безгорестное выражение физиономии и другие несомненные признаки «истинного просвещения», но так как в ораторском искусстве он никогда не имел случая упражняться (потому что и вообще в России искусство это находится в младенчестве), то весьма естественно, что мысли его путаются и в голове его поднимается такой сумбур, для приведения которого в порядок необходимо было бы учредить целое временное отделение с тремя столами, из коих один заведовал бы невинностью души, другой — доверчивостью и т. д. Дарья Михайловна замечает это и спешит выручить супруга своего из беды.

— Ah, messieurs, vous aurez encore tout le temps de causer affaire! [1] — замечает она, очаровательно улыбаясь

— Это правда Мы, ваше превосходительство, были очень неучтивы перед Дарьей Михайловной! — говорит Максим Федорыч и потом снова прибавляет, указывая на поезд: — Mais regardez, comme c'est joli! [2]

Однако виднеется уже и цель поездки: одноэтажный серенький домик, в котором устроено все нужное для принятия гостей. Неподалеку от дома генеральскую тройку обгоняют сани, в которых сидят Загржембович, Семионович и Разбитной, то есть сок крутогорской молодежи. Разбитной восседает на облучке, и в то время, как тройка равняется с санями Дарьи Михайловны, он старается держать себя как можно лише и вместе с тем усиливается смотреть по сторонам и разговаривает с своими спутниками, чтоб показать, что он лихой и все ему нипочем.

В небольшой зале уже накрыт стол и батальонная музыка играет весьма усердно. Хотя это дело обыкновенное и всем давно известно, что батальон вместе с кузницей и швальной непременно обладает и полным бальным оркестром музыки, но Максим Федорыч считает долгом приятно изумиться.

— Да у вас тут целый оркестр! — говорит он Дарье Михайловне,— mais .. c'est très joli!

За обедом начинается тот же милый, летучий разговор, которого образчики приведены в предыдущей главе, с тою разницею, что теперь он непринужденнее и вследствие этого еще милее. Дарья Михайловна ни на шаг не отпускает от себя

---

[1] Ах, господа, еще успеете поговорить о делах!
[2] Но посмотрите, как это красиво!

дорогого гостя. За общим шумом и говором между ними заводится интимная беседа, в которой Дарья Михайловна открывает Максиму Федорычу все тайные сокровища своего ума и сердца. Беседа, разумеется, ведется на том милом французском диалекте, о котором наши провинциальные барыни так справедливо выражаются. «этот душка французский язык».

— Если кто хочет найти доступ к сердцу женщины, тот должен постучаться в двери ее воображения,— утверждает Максим Федорыч

— Вы думаете?

— Я совершенно в этом уверен .. Кто произносит при мне слово «воображение», тот вместе с тем произносит и слово «женщина», и наоборот...

— А я думаю, что на бедных женщин клевещут, говоря, что у них воображение развито на счет сердца . возьмите, например, чувство матери!

— О, чувство матери — это так! — c'est sublime, il n'y a rien à dire! [1] но я не об нем и говорю . Мы возьмем женщину, свободную от всяких такого рода отношений, женщину, созданную, так сказать, для того, чтоб только любить... madame Beauséant [2], например?

— Но я вам могу указать против этого на Марту, на Лукрецию Флориани... [3]

— И все-таки я утверждаю, что все эти героини именно потому и оказались слабы сердцем, что в них слишком развито было воображение.

Дарья Михаиловна задумывается.

— Нет, вы не знаете женщин! — говорит она положительно.

— Oh, mais je vous demande pardon, madame! . [4]

— Нет, потому что вы отнимаете у женщины ее лучшее сокровище — сердце!.. А впрочем, я и забыла, что вы мужчина .

— А все-таки главное в женщине — это ее воображение...

— Вы странный человек, мсьѐ Голынцев, вы хотите уверить меня, что постигнули женщину .. то есть постигли то, что само себя иногда постигнуть не в состоянии .

— Oh, quant à cela, vous avez parfaitement raison, madame! [5]

---

[1] это возвышенно, что и говорить!
[2] Героиня романов Бальзака *(Прим М Е Салтыкова-Щедрина)*
[3] Героини романов Ж Санда *(Прим М Е Салтыкова-Щедрина)*
[4] Позвольте, сударыня!..
[5] Что касается этого, то вы совершенно правы, сударыня!

— Читали ли вы Гетевы «Wahlverwandtschaften»?

— О, как же!

— Помните ли вы там одно место . ту минуту, когда Шарлотта, отдаваясь своему мужу, вдруг чувствует... скажите сердце ли это или воображение?

Максим Федорыч безмолвствует, потому что, признаться сказать, он в первый раз слышит о Шарлотте, да сверх того и вопрос Дарьи Михайловны слишком уж отзывается метафизикой

— Вы потому ошибаетесь в женщине,— продолжает Дарья Михайловна томно,— что ищете чувства в одном ее сердце . Но ведь оно везде, это чувство, оно во всем ее существе!

Максим Федорыч решительно побежден

— О, если вы берете вопрос с этой точки зрения,— говорит он,— то, конечно, против этого я ничего не имею сказать.

Таким образом, победа остается за Дарьей Михайловной, но, как женщина умная, она очень хорошо понимает, что одолжена своим торжеством не столько самой себе, сколько великодушию своего противника

После обеда время проводится очень приятно, в зале устраиваются танцы, в соседней комнате раскладываются карточные столы Следовательно, и юность, увенчанная розами, и маститая старость, украшенная благолепными сединами, равно находят удовлетворение своим законным потребностям.

Максим Федорыч играет в карты легко и чрезвычайно приятно. Он не кряхтит, не подмигивает, не говорит «тэк-с» и вообще не выказывает никаких признаков душевного волнения Партию его составляют· генерал Голубовицкий, Порфирий Петрович Порфирьев и Семен Семеныч Фуриачев Занятие картами не мешает Максиму Федорычу вести вместе с тем весьма приятный и оживленный разговор; во время сдачи он постоянно находит какую-нибудь новую тему и развивает ее с свойственным ему увлечением. Так, например, он находит, что Англия сделала в последнее время на промышленном поприще гигантские успехи, а что во Франции, напротив того, l'ère des révolutions n'est pas close [1]

— Ах, какой приятный человек! — замечает Порфирий Петрович, когда Голынцев оставляет на минуту своих партнеров, чтобы посмотреть на танцующих.

— И, кажется, много начитан! — прибавляет от себя Семен Семеныч.

Но вот начинается мазурка, и Максим Федорыч по необ-

---

[1] эпоха революций еще не закончилась ..

ходимости должен кончить игру, потому что дамы единодушно сговорились выбирать его для фигур. Само собою разумеется, что Максим Федорыч в восторге; он забывает почтенный свой возраст и резвится, как дитя хлопает в ладоши во время шэнов и рондов, придумывает новые фигуры и с необыкновенною грациею ловит платки, которые бросаются, впрочем, дамами именно в ту сторону, где находится Голынцев.

Одним словом, день проходит незаметно и весело. Во время сборов в обратный путь Максим Федорыч очень суетится и хлопочет. Он лично наблюдает, чтоб дамы закутывались теплее, и до тех пор не успокоивается, покуда не убеждается, что попечительные его настояния возымели надлежащее действие.

VII

Я не стану говорить об обедах и вечеринках, данных по случаю приезда Максима Федорыча сильными мира сего, пройду даже молчанием и великолепный бал, устроенный в зале клуба . Во все время своего пребывания в Крутогорске Максим Федорыч был положительно разрываем на части, и за всем тем не только не показал ни малейшего утомления или упадка душевных сил, но, напротив того, в каждом новом празднестве как бы почерпал новые силы для совершения дальнейших подвигов на этом блестящем поприще.

Перлом всех этих увеселений остался все-таки благородный спектакль, на котором я и намерен остановить внимание читателя. Максим Федорыч сам неусыпно следил за ходом репетиций, вразумлял актеров, понуждал ленивых, обуздывал слишком ретивых и даже убедил Шомполова в том, что водка и искусство две вещи совершенно разные, которые легко могут обойтись друг без друга

Прежде всего шла пиеса «В людях ангел» и проч., и все единогласно сознались, что лучшего исполнения желать было невозможно. Аглаида Алексеевна Размановская играла решительно, comme une actrice consommée![1] Хотя в особенности много неподдельного чувства было выражено в последней сцене примирения, но и на бале у Размазни дело шло нисколько не хуже, если даже не лучше. Отлично также изобразила госпожа Симиас перезрелую девицу Небосклонову, а пропетый ею куплет о Пушкине произвел фурор. Но Разбитной, по общему сознанию, превзошел самые смелые ожидания. Он как-то сюсюкал, беспрестанно вкладывал в глаза

[1] как настоящая актриса!

стеклышко и во всем поступал именно так, как должен был поступать настоящий Прындик. Один Семионович был неудовлетворителен. Он никак не мог понять, что Славский — дипломат, который под конец пиесы даже получает назначение в Константинополь, и вел себя решительно как товарищ председателя. Даже Фурначев понял, что тут что-то не так, и сообщил свое заключение Порфирию Петровичу, который, однако ж, не отвечал ни да, ни нет, а выразился только, что «с нас и этого будет!».

Начались и живые картины. Максим Федорыч лично осмотрел Гаидѐ и нашел, что Дарья Михайловна была magnifique [1]. Шомполов, бывший в это время за кулисами, уверял даже, будто Максим Федорыч прикоснулся губами к обнаженному плечу Гаидѐ и при этом как-то странно всем телом дрогнул. Впрочем, надо сказать правду, и было от чего дрогнуть. Когда открылась картина и представилась глазам зрителей эта роскошная женщина, с какою-то страстною негой раскинувшаяся на турецком диване, взятом на подержание у советника палаты государственных имуществ, то вся толпа зрителей дико завопила: таково было потрясающее действие обнаженного плеча Гаидѐ. Напрасно насупливался мрачный Ламбро, напрасно порывался вперед миловидный Дон-Жуан, публика не замечала их полезных усилий и всеми чувствами стремилась к Гаидѐ, одной Гаидѐ.

Вторая картина была также прелестна. Несколько приятных молодых дам и девиц, un essaim de jeunes beautés [2], в костюмах одалиск и посреди их Дарья Михайловна с гитарой в руках произвели эффект поразительный.

Третью картину спасла решительно Дарья Михайловна, потому что Семионович (Иаков) не только ей не содействовал, но даже совершенно неожиданно свистнул, разрушив вдруг все очарование

Грек с ружьем прошел благополучно.

Но само собой разумеется, что главный интерес все-таки сосредоточивался на «Чиновнике». В публике ходили насчет этой пиесы разные несообразные слухи. Многие уверяли, что будет всенародно представлен становой пристав, снимающий с просителя даже исподнее платье, но другие утверждали, что будет, напротив того, представлен становой пристав, снимающий рубашку с самого себя и отдающий ее просителю. Последнее мнение имело за себя все преимущества со стороны благонамеренности и правдоподобия, и потому весьма есте-

---

[1] великолепна.
[2] рой юных красавиц.

ственно, что в общем направлении оно оправдалось и на деле Максим Федорыч сильно трусил Он видел, что Семионович совсем не так понял свою роль

— Mais veuillez donc comprendre, mon cher [1],— говорил он,— ведь Надимов человек *новый,* но вместе с тем и *старый* . то есть, вот видите ли .. душа у него новая, а тело, то есть оболочка... старая!.. Здесь-то, в этом безвыходном столкновении, и источник всей катастрофы... vous comprenez? [2]

Но Семионович не понимал; он, напротив того, утверждал, что у Надимова душа *старая,* а тело *новое...* и что в этом-то именно и заключается не катастрофа, а поучительная и вместе с тем успокаивающая цель пиесы: это, мол, ничего, что ты там языком-то озорничаешь, мысли-то у тебя все-таки те же, что и у нас, грешных.

Максим Федорыч был в отчаянии и не скрывал даже чувств своих.

— Все идет отлично,— говорил он в партере окружавшим его губернским аристократам,— но Надимов .. признаюсь вам, я опасаюсь .. я сильно опасаюсь за Надимова... какая жалость!

И действительно, вместо того чтоб представить человека по наружности холодного, насквозь проникнутого бесподобнейшим comme il faut [3] и только в глубине души горящего огнем бескорыстия, человека, сбирающегося высказать свою тоску по бескорыстию на всю Россию, однако ж, по чувству врожденной ему стыдливости, высказывающего ее только княгине, Мисхорину, полковнику и Дробинкину, Семионович выходил из себя, драл свои волосы и в одном месте дошел до того, что прибил себя по щекам. Даже крутогорская публика как-то страшно охнула при таком явном нарушении законов естественных и человеческих, а Порфирий Петрович весь сгорел от стыда

Наконец представление кончилось. Слово «joli» [4] слышалось во всех углах, только канцелярские чиновники, обитатели горних и страшные зоилы, остались не совсем *довольны,* да и то потому, что их заверили, что будет непременно представлен становой, да и не какой-нибудь другой становой, а именно второго стана Полорецкого уезда — Благоволенский.

На другой день в губернских ведомостях была напечатана в виде письма к редактору следующая статья:

---

[1] Но соблаговолите ж понять, дорогой мой.
[2] понимаете?
[3] воспитанием.
[4] красиво

«Позвольте и мне, скромному обитателю нашего мирного города, поговорить о прекрасном торжестве, которого мы были вчера свидетелями Известно вам, милостивый государь, какое благодетельное влияние имеют зрелища (а в особенности благородные) на нравственность народную. С одной стороны, примером наказанного порока смягчая преступные наклонности, зрелища, с другой стороны, несомненно возвышают в человечестве эстетическое чувство; эстетическое же чувство, в свою очередь, пройдя сквозь горнило нравственности, возвышает сию последнюю и через то ставит ее на ту ступень, где она делается основою всякого благоустроенного гражданского общества. С этой точки зрения намерен я обозреть критически вчерашнее торжество.

Первое, что представляется при этом моему умственному взору,— это цель, которой служили благородные жрецы искусства. Не одна слеза будет отерта, не один вздох благодарности вознесется, в виде теплой молитвы, за благородных благотворителей Один французский ученый сказал, что дама, которая покупает шаль, подает с тем вместе милостыню бедному.. святая и глубокая истина! И наши добрые крутогорцы вполне ее поняли! Но не стану больше распространяться об этом предмете; я знаю, что скромность и даже некоторая стыдливость есть нераздельная принадлежность всякого благотворительного деяния, и потому... умолкну.

Но не могу умолчать о благотворной мысли, присутствовавшей при выборе пиес В настоящее время, когда умственное око России должно быть обращено, по преимуществу, внутрь ее самой, наши добрые крутогорцы вполне доказали, что они стоят в уровень с обстоятельствами Выбор такой пиесы, как «Чиновник», положительно доказывает это. Мы сами были свидетелями потрясающего действия этой пиесы, которое в соединении с истинно пластической игрой исполнявшего роль Надимова члена благородного крутогорского общества останется навсегда незабвенным на страницах нашей летописи Да! мы можем смело давать на нашей сцене «Чиновника»! мы можем без горечи выслушивать страстные и благонамеренные филиппики г. Надимова! Эти укоры, эти филиппики не до нас относятся! Благодарение богу, мы уже поняли свой долг относительно любезного нашего отечества и, положа руку на сердце, можем сказать Г-н Надимов! в ваших словах заключается горькая правда, но этой правде нет места в Крутогорской губернии!

Скажу несколько слов и об исполнении, но, не желая оскорбить прекрасное чувство скромности, которым одушевлены наши благородные благотворители, вынужден умолчать

о многом, что накипело на дне благодарной души. Прежде всего, должен я упомянуть о трудах ее превосходительства Дарьи Михайловны, по мысли и наставлениям которой было устроено настоящее торжество Затем, все исполнители, принявшие участие в деле благотворения, были безукоризненны. Как хороша была княгиня! Как увлекательно-наивна была Славская! Как но нет, я чувствую, что перо мое начинает переходить само собою за пределы той скромности, о которой я говорил . Итак, умолкну!

Мужайтесь, благородные труженики! боритесь с препятствиями и преодолевайте их! Не смотрите на то, что на пути вашем иногда растут не розы, а терния — таков уж удел всех действий человеческих! Помните всегда, что за вашими невинными занятиями стоят толпы иных тружеников, которые посылают к небу горячие мольбы о ниспослании вам сугубых сил на новые подвиги!»

Сочинитель этой статьи, коллежский секретарь Песнопевцев, удостоился в тот же день чести быть приглашенным к обеденному столу его превосходительства Степана Степаныча.

VIII

Наконец, в одно прекрасное утро, Максим Федорыч спохватился, что пора уж ехать, тем более что репертуар увеселений начинал истощаться Он собрал свои воспоминания, посоветовался с записною книжкой и нашел, что материалов для будущего донесения предостаточно. О генерале Голубовицком и преимущественно о генеральше предположил он высказаться с особенною теплотою. В пользу их можно, пожалуй, даже пожертвовать двумя-тремя субъектами, чтоб лучше и явственнее оттенить картину. Само собою разумеется, что нельзя же всех чиновников найти добродетельными; это невозможно, во-первых, потому, что самая природа в своих проявлениях разнообразна до бесконечности; а во-вторых, потому, что и начальство не поверит этой эпидемии добродетели и, чего доброго, заподозрит еще способности ревизора. Поэтому выбраны были в жертву так называемые пререкатели и беспокойные, которых и оказалось двое: советник губернского правления Евфратский и член приказа Семибашенный. Евфратский жил весьма уединенно, ни к кому не ездил и вследствие того был заподозрен в вольнодумстве и в намерении восстановить в России патриаршеское достоинство, о чем будто бы он и выражался стороною там-то и тогда-то Семибашенный же хотя и не мечтал о восстановлении патриарше-

ского достоинства, но взамен того неоднократно предъявлял пагубную наклонность к исламизму и даже публично называл гурок счастливчиками, приводя в основание такого мнения лишь грубые поползновения своей чувственности. Само собою разумеется, что такие лица не заслуживали ни малейшего снисхождения

Прощание было очень трогательно. На обеде, данном по этому случаю генералом Голубовицким, было сказано много теплых слов и выпито немало тостов за здоровье дорогого гостя.

— Скажу вам откровенно,— выразился при этом генерал, с чувством пожимая руку Максима Федорыча,— я давно, очень давно не имел такого приятного гостя!

— Позвольте и мне в свою очередь, удостоверить, ваше превосходительство, что давно, очень давно я не имел таких приятных минут, какие провел здесь, в вашем любезном обществе,— отвечал Максим Федорыч взволнованный

— Mais revenez nous voir [1],— любезно сказала Дарья Михайловна.

— Impossible, madame! [2] мы, люди службы, люди деятельности, не всегда можем следовать влечениям сердца...

Все присутствовавшие были растроганы. Когда же после обеда наступил час расставания и Максим Федорыч долго, в каком-то тяжком безмолвии, держал в своих руках руку Дарьи Михайловны, то его превосходительство Степан Степаныч не мог даже выдержать. Он как-то восторженно замахал руками и бросился обнимать Голынцева, а Семионович, стоя в это время в стороне, шепотом декламировал

When we two parted
In silence and tears [3]

Вечером, часу в девятом, ровно через месяц по приезде в Крутогорск, Максим Федорыч уже выезжал за заставу этого города. Частный пристав Рогуля, сопровождавший его превосходительство до городской черты, пожелал ему счастливого пути и тут же, обратившись к будочнику, сказал:

— Ну, вот и ревизор! что ж что ревизор! нет, кабы вот Павла Трофимыча Перегоренского к ревизии допустили — этот, надо думать, обревизовал бы!

В эту же ночь послал бог снежку, который в каких-нибудь два часа закрыл самый след повозки Максима Федорыча.

---

[1] Так приезжайте к нам опять
[2] Невозможно, сударыня!
[3] Когда с тобой мы расставались в молчанье и слезах .

УТРО У ХРЕПТЮГИНА

Драматический очерк

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иван Онуфрич Хрептюгин, 55 лет, негоциант
Дмитрий Иваныч, иначе Démétrius, сын его, 20 лет, служит при губернаторе.
Статский советник Семен Семеныч Фурначев, 50 лет, имеет к Хрептюгину начальственные отношения
Маиор Станислав Фаддеич Поижперховский, 40 лет, ремеслом проходимец
Иван Петрович Доброзраков, отставной штаб лекарь, 55 лет.
Леонид Сергеич Разбитчой, чиновник особых поручений при губернаторе, молодой человек
Отставной подпоручик Живновский, 50 лет
Титулярная советница Степанида Карповиа Гнусова, 45 лет, экономка Хрептюгиных

Действие происходит в губернском городе.

СЦЕНА I

Театр представляет богато убранную гостиную в доме Хрептюгина. В середине и направо от зрителя двери. На столе перед диваном поставлена закуска и водка

Гнусова (*пожилая женщина, одета в черное шелковое платье; на плечах у нее желтая шаль, на голове чепец. При открытии занавеса она занимается приготовлением закуски*). Шутка сказать, скоро одиннадцатый час, а он еще дрыхнет! И не убьет же бог громом этакого аспида! По естеству-то, ему бы теперь на босу ногу бегать да печки затоплять, ан он вот валяется . Да и спать ведь не спит, а именно валяется, пото-

му, дескать, что в Питере благородные люди таким манером делают. *(Задумывается)* Вот я и благородная, и муж титулярным советником был... так хоть бы за стол с собой посадили, и того нет!

СЦЕНА II

Гнусова и Понжперховский (видный мужчина, в военном сюртуке, усы нафабрены и тщательно завиты, волосы на голове приглажены, вертляв и занят собой; говорит с сильным акцентом).

Понжперховский Иван Онуфрич не вставали?

Гнусова Где же ему встать, батюшка!

Понжперховский. Это лучше-с; я, признаюсь вам, даже не люблю, когда ваш Онуфрич перед глазами торчит . Поговорить можно и без него, выпить и закусить тоже-с...

Гнусова Конечно, сударь!

Понжперховский Я вам доложу, почтеннейшая Степанида Карповна, что на этих людей нужно смотреть с философической точки зрения Вот я, например: люблю и в карточки перекинуть, и хорошую сигару выкурить, и пообедать изящно, и побеседовать.. все это у Хрептюгина я нахожу-с Следственно, что ж мне за дело до того, что он еще вчерашнего числа невесть в какой родословной записан был? Возьмем хоть бы теперь: закуска, я вижу, на столе приготовлена, водка есть.. ну, и ваша приятная беседа тоже-с .. за ваше здоровье, Степанида Карповна! *(Пьет и закусывает.)*

Гнусова. На здоровье, сударь Оно точно, вы люди наезжие... вам оно ничего, как он колобродит, да и колобродить-то при вас он еще не больно осмелится..

Понжперховский Это всеконечно-с . потому что мы иногда можем и до лица коснуться .

Гнусова. А каково-то нам, грешным? Бедняк, сударь, что муха: где забор, там двор, где щель, там постель! Намеднись вот чуть со двора меня не согнал· «Хочу, говорит, чтоб у меня немка в экономках была!» Ну, рассудите вы сами Станислав Фаддеич, хуже, что ли, я немки-то!

Понжперховский Сс... да он должен был бы радоваться, что ему дворянка служит!

Гнусова. То же и я говорю... насилу уж его Аксинья Ивановна уняла!

Понжперховский Д-да-с... так вот видите· стало быть, Аксинья-то Ивановна добрая!

Гнусова. И, сударь, не говорите! тоже озорница выросла!

Понжперховский. Это можио изменить-с.. Будет не только шелковая, а даже бархатная, на это манера есть-с.. А вы исполнили порученьице-то, моя почтенная?

Гнусова. Говорила, сударь.. только она все чтой-то мнется.. сначала было подалась, а потом и опять на попятную.

Понжперховский Да что же такое-с?

Гнусова. Да говорит, что ты больно по гостям шататься любишь, а я, говорит, желаю, чтоб муж у меня бессменно при мне сидел...

Понжперховский. Ну, скажите пожалуйста! Ведь вот жадность какая! Да вы бы внушили ей, моя почтеннейшая, что и без того ей уж под тридцать!

Гнусова. Говорила я, так она все свое: папаша, говорит, коли захочет, так для браку и из Петербурга генералы приедут!

Понжперховский Да.. а как хотите, это ведь правда, что дрянная-то кровь, как ты там ее ни перегоняй сквозь куб, а все скажется... Мне не ее-с, а вот приложений-то жалко!

Гнусова. Что и говорить, сударь!

СЦЕНА III

Те же и Доброзраков (роста большого и несколько при этом сутуловат; смотрит угрюмо, в военном сюртуке).

Доброзраков *(становясь в дверях)*. Пану полковнику здравия желаем! Чи добрже маешь, пане?

Понжперховский. Что нам делается, доктор! от нас вам пожива плохая

Доброзраков. Ну, это еще бабушка надвое сказала... об этом будет у нас в то время разговор, как ноги, дружище, протягивать станешь! *(Устремляет взор на водку.)* А! и водка на столе! это добрже! А ну, полковник, испытаем-ка целебные свойства этой жидкости! Мне, я вам скажу, что-то сегодня нездоровится: стара стала, слаба стала... потуда и жив, покуда внутри водкой сполоснешь! Да и та нынче изменять стала! *(Пьет.)* Было, было и наше времечко! выпьешь, бывало, сколько подымешь, а нынче... сколько глазом окинешь! *(Все смеются.)*

Понжперховский. А что вы думаете, доктор: может быть, от этого-то всполаскивания оно и не действует. Вот в наших сторонах помещик был, тоже занимался этим, так, пове-

рите ли, внутренности-то у него даже выгорели все — так и скончался-с!

Доброзраков. Вздор, сударь! *(Ударяет себя по животу.)* Эта печка такого сорта, что как ее ни топи, все к дальнейшей топке достойна и способна... Я вот шестой десяток на свете живу и могу сказать, бывала-таки у нас топка... да, изрядная! А все хоть сейчас в поход готов!.. *(Гнусовой.)* Иван Онуфрич встал?

Гнусова. Никак нет еще, Иван Петрович: как можно!

Доброзраков. То есть он и проснулся, пожалуй, да тот еще час, видно, не пробил, в который дуракам просыпаться прилично... Э-э-эх! то-то вот и есть: мужика сколько ни вари, все сыростью пахнет! Издали-то он ни то ни се, а что ближе, то гаже!

Гнусова *(иронически)* Ну так, сударь. Известно, возвысил бог куликов род — как же и не покуражиться ему!

Доброзраков Люблю за то, что, по крайней мере, не говоря худого слова, ноги на стол задрал! Повторим, полковник *(Подносит Понжперховскому рюмку, оба пьют)*

Понжперховский Это вы истинную правду, доктор, сказали человек, покуда в диком состоянии находится — ничего.. даже можно сказать, что это именно почтенный человек-с! Но коль скоро повезла ему фортуна или успел он, так сказать, надуть себе подобного, то это именно даже удивительно, какой вдруг переворот в нем бывает!

Доброзраков Какои тут переворот? Первым долгом — ноги на стол... этот переворот и хавронья сделать может!

Понжперховский. Правда, доктор! Я сам иногда, глядя на него, думаю, зачем он, например, бороду бреет?

Доброзраков С бородой-то, по-моему, еще лучше. Борода глазам замена: кто бы плюнул в глаза — плюнет в бороду!

Все смеются

Понжперховский. Или, например, зачем ему такой дом? Он еще не знает, как и ходить-то по паркету... Кабы этакие-то средства да человеку образованному, сколько бы можно добра тут сделать!

Доброзраков. Нет, вы лучше скажите, зачем ему годовой врач? вот вы что скажите! Ведь у него, кроме прыщей на носу, и болезней-то никаких не бывает!

Гнусова *(иронически)*. Чтой-то уж и не бывает! Вы, Иван Петрович, уж, кажется, не в меру его конфузите!

Доброзраков *(смотрит на часы)*. Однако надо ему сказать, что пора бы и перестать валяться-то... Уж и султан турецкий давно поди встал!

СЦЕНА IV

Те же и Дмитрий Иваныч (вбегает стремительно, одет франтом и завит).

Дмитрий Иваныч. Где папаша? где папаша? Двенадцатый час, а он там проклаждается! Вы-то чего ж смотрите, Степанида Карповна!

Гнусова *(оскорбляясь)*. Помилуйте, Дмитрий Иваныч! я ведь дама... разве могу я в опочивальню к вашему папаше входить?

Дмитрий Иваныч *(останавливаясь в изумлении перед Гнусовой)*. Дама?! ..а кто же вам сказал, что вы дама?

Гнусова. Все же, чай, не мужчина, сударь!

Дмитрий Иваныч. Так вы говорите «женщина», а то «дама»!

Доброзраков Да что ж такое случилось, Дмитрий Иваныч?

Дмитрий Иваныч *(размахивая руками)*. Князь... князь... желает узнать о папашином здоровье... поняли, что ли?

Гнусова, всплеснув руками, стремительно убегает.

Доброзраков *(начиная застегиваться)*. Ах ты, господи! сам его сиятельство едет!

Дмитрий Иваныч Кто вам говорит про его сиятельство! Поедет к вам его сиятельство! Будет с вас и того, если и Леонида Сергеича пришлет!

Доброзраков *(расстегиваясь)* А! Разбитной! ну при этом и в рубашке быть предостаточно!

Дмитрий Иваныч Вы, доктор, кажется, забываетесь! Вы не понимаете, в каком доме находитесь!

Доброзраков *(озираясь кругом)*. А в каком? в каменном!.. Ну, да полноте, Дмитрий Иваныч, я ведь это так, шутки ради... Известно уж, Леонид Сергеич особа не простая .. где ж нам против них! Я вам так даже скажу, что я и купаться-то бы перед ним в одной рубашке не осмелился, а так бы вот в мундире и полез в воду ..

Дмитрий Иваныч Вы все с своими шутками!

Доброзраков. Старик ведь я, Дмитрий Иваныч, кому же и пошутить-то!

Понжперховский. А мне, видно, уйти покудова... не люблю я этого Разбитного!

Доброзраков. Что так?

Понжперховский. Гордишка-с!

СЦЕНА V

Дмитрий Иваныч и Доброзраков.

Дмитрий Иваныч. Ну, скажите, доктор, зачем, например, этот выходец сюда таскается?

Доброзраков. А так вот, просто потому, что есть умок сладенько поесть... Вы уж очень строги, Дмитрий Иваныч.

Дмитрий Иваныч. Нет, я не строг, доктор! я только желаю, чтоб в этом доме чистый воздух был.. понимаете? Знаете ли, как у меня здесь наболело, доктор? *(Указывает на сердце.)* Ведь на улицу выйти нельзя: свинья там в грязи валяется, так и та, чего доброго, тебе родственница!

Доброзраков. Да, это зрелище тово . нельзя сказать, чтоб пейзаж живописен был!

Дмитрий Иваныч. Нет, вы войдите в мое положение, доктор! Намеднись вот иду я в хорошей компании мимо рядов; ну, и княжна тут . Только откуда ни возьмись — бабушкин брат; весь в кубовой краске выпачкан. «А это, говорит, кажется, наш Митюха с барами-то ходит!» Вы поймите, что́ я тут должен был вытерпеть!

Доброзраков. А вы бы, Дмитрий Иваныч, дедушку-то под салазки! Знаете, и пословица гласит «Еремея потчуют умея, за ворот да в три шеи!» Ну, и вы бы так-с!

Дмитрий Иваныч Вы все шутите, доктор, а мне уж не до шуток, право! *(Подходит к закуске.)* Господи! даже закуски порядочной подать не могут! грибы, да рыжики, да ветчина! Эй, кто тут есть?

Является горничная

Да позови ты лакея, варвары вы этакие! ведь ты и при гостях, пожалуй, сюда вломишься! Возьми поднос да вели приготовить закуску — генеральскую, слышишь?

Горничная берет поднос и уходит За дверьми слышен шорох.

А' да вот, кажется, и папаша идет!

Доброзраков *(вполголоса)*. Раздайся грязь, навоз ползет!

СЦЕНА VI

Те же и Хрептюгин (в пестрых брюках и коротеньком сюртуке; на шее повязан неглиже желтый батистовый платочек, в руках трубка, из которой он полегоньку покуривает, ходит с маленьким развальцем и шаркает ногами)

Хрептюгин. А! Démétrius! видно, его сиятельство стосковался по нас? Леонид Сергеич, что ли, изволит жаловать? Ну, что ж, милости просим! приготовлений не делаем, а запросто — милости просим!

Доброзраков. Что вам, Иван Онуфрич? разумеется, вы люди сильные, вам не в диковинку высоких гостей принимать!

Хрептюгин. Какие, братец, это гости! между нами, просто шавера! Вот в Петербурге... это точно... там я на своем месте..

Доброзраков. Что и говорить! я вот насчет здоровья узнать приехал...

Хрептюгин. Да что, братец! ни шатко, ни валко, ни на сторону! Желудок все.. чуть, знаешь, съешь что-нибудь этакое... не совсем легкое... просто, братец, дело дрянь выходит!

Доброзраков. Да вы бы поберегли себя. Ведь ваше здоровье не то, что, например, наше. Мы и помрем, так никто не заметит: все равно что муха померла; ну, а вы совсем другое дело

Хрептюгин. Знаю, братец, знаю, да что прикажешь делать? С волками жить, по-волчьи выть — иногда и перепустишь!.. Démétrius! ты бы, дружок, закуску велел приготовить; скажи Гнусовой, что там на третьей полке жестянка непочатая стоит.

Дмитрий Иваныч. Я уж сказал... Да что это у вас, рара, с утра до вечера точно кабак! только и делают, что водку пьют.. ведь это свинство!

Доброзраков. Ах, Дмитрий Иваныч! да ведь папенька вам сказывали, что с волками жить, по-волчьи выть.. ну, и водка, стало быть, поставлена тут правильно!

СЦЕНА VII

Те же и Живновский (входит из средних дверей)

Живновский. Благодетелю Ивану Онуфричу нижайше кланяюсь Дмитрий Иваныч! Иван Петрович!

Хрептюгин. Откуда бог принес?

Живновский. Все хлопотал-с .. Кто что, а я все на пользу общую-с... На вчерашнем пожарище был-с.

Хрептюгин. Потух, что ли?

Живновский Дымится, благодетель, дымится! По этому-то случаю я и был. Распорядиться, знаете, некому! полициймейстеришка дрянь, пожарные тоже-с — вот и пришлось за них работать! всю ночь провозились, да и утро так между пальцев ушло!

Доброзраков. Ишь тебя нелегкая носит! точно тебе тысячи за это дают!

Живновский. Помилуйте, Иван Петрович! ведь человечество погибает!

Доброзраков. А я так думаю, что пожар-то тебе вместо праздника!

Живновский. Нельзя же-с! *(Озираясь.)* А водочка-то, видно, «ау» сказала?

Доброзраков Ау, брат!

Живновский. Эхма! а не худо бы после трудов выпить!

Хрептюгин. Ну, и подождешь — не умрешь. Рассказывай, кого же ты на пожарище видел?

Живновский. Сама княжна Анна Львовна там была, и с Леонидом Сергеичем... Пожелали тоже о подробностях узнать — ну, я им все это в живой картине представил . Вдова, говорю, пятеро детей .. все это, знаете, в необходимом лишь, по ночному времени, ношебном платье Да, не дай бог никому — вот я как скажу! бывал я, конечно, в переделах: и тонул-с, и со второго этажа прыгивал .. ну, а от огня бог избавил! А впрочем, Леонид-то Сергеич к вам ведь едет.

Хрептюгин. Разве говорили что-нибудь?

Живновский. Говорили, благодетель, как не говорить! Как я, знаете, пересказал им все это, так княжна тут же к Леониду Сергеичу обратились: иль фо [1], говорят, Khreptiougghine.

Дмитрий Иваныч *(озабоченно)*. Деньги при вас, папаша?

Хрептюгин. Небось вот у него *(показывает на Живновского)* взаймы попрошу... ха ха! А как ты думаешь, Иван Петрович, четвертной довольно!

Дмитрий Иваныч. Что вы, что вы, папаша! да Леонид Сергеич и не возьмет! Нет, уж жертвовать так жертвовать — меньше сторублевой нельзя!

Хрептюгин. Ну, можно и сторублевую... Конечно, и то сказать: у них только и надежды что на меня!

---

[1] надо.

Доброзраков. Что и говорить, Иван Онуфрич: на нас, грешных, какая же надежда! Мы люди простые. живем богато, со двора покато, чего не хватись, за всем в люди покатись!

Хрептюгин. Только, братец ты мой, одолели уж они меня очень — даже словно вот мухи и в глаза, и в нос, и в уши так и лезут! Намеднись вот на приют: от князя полиция приезжала — нельзя, говорит, меньше тысячи; через час места председатель чиновника присылает — ну, пятьсот; потом управляющий... как-то оно уж и надоело, братец!

Доброзраков Зато честь большая, Иван Онуфрич!

Хрептюгин. Ну, конечно...

Живновский. Уж там честь ли, не честь ли, а отдать все-таки придется. Так по-моему, уж лучше честью ..

Хрептюгин *(величественно)*. Ну, ты что еще!

Дмитрий Иваныч. Я удивляюсь, папаша, как вы говорите о таких пустяках это все прежнее сквалыжничество в вас действует! А вы вспомните, что князь в надворные советники вас представил!

Хрептюгин. Ну, конечно... А впрочем, мы здесь промежду себя, так я вам могу по секрету сказать, что этот господин надворный советник уж давно меня измаял! Может, и желудок-то от этого беспокойства расстроился!

Живновский. Это сущая правда, Иван Онуфрич! всякое огорчение прежде всего на желудок кидается

Хрептюгин *(Доброзракову)*. Да, брат, могу сказать, что я эти пожертвования именно знаю! Еще княжой предместник эту историю-то поднял «Пожертвуй да пожертвуй на общеполезное устройство!» Ну, и пожертвовал. в саду беседок на мои денежки настроили, решетку чугунную вывели... ну, и прислали в ту пору признательность

Живновский. Поди, чай, как сердцу то прискорбно было!

Хрептюгин Я к его превосходительству «Так, мол, и так, говорю, что ж это за мода!» А он мне. «Ну, говорит, видно, еще жертвовать приходится — давай, говорит, плавучий мост через реку строить!» Делать нече, позатянулся уж я в это болото маленько, стал и мост строить!.. Ну, и прислали медаль. и что ж бы ты, сударь, думал мне же его превосходительство по этому случаю пир задать велел!

Дмитрий Иваныч. Ах, папаша! право, вас даже тошно слушать, что вы говорите!

Доброзраков. А что, Иван Онуфрич! ведь коли по правде-то сказать, в ту пору и медаль-то для вас, чай, куда лестно было получить. ведь вы тогда только-только разве не в мужиках были!

Живновский. Правильно.

Хрептюгин *(смущаясь, Живновскому)*. Ну, ты чего еще!

Дмитрий Иваныч *(смотря в окно)*. Едет, едет! Ах ты, господи! А эта бестолковая Степанида Карповна и закуски не дает! Голова кругом идет!

СЦЕНА VIII

Те же и Разбитной (входит гордо и даже с некоторою осмотрительностью)

Разбитной. Здравствуйте, Иван Онуфрич, здравствуйте! Ну, как ваше здоровье? *(Жмет ему руку)*

Хрептюгин *(развязно)*. Милости просим, Леонид Сергеич... Слава богу-с.. Очень благодарен его сиятельству.

Разбитной. Да, я от князя. Князь сегодня встал в очень веселом расположении духа... Ночью, знаете, пожар этот был, и это очень старика развлекло. Князь поручил мне осведомиться о вашем здоровье, любезнейший Иван Онуфрич,— право! Сегодня, знаете, кушает он чай и говорит мне: «А не худо бы, mon cher [1], тебе проведать, как поживает мой добрый Иван Онуфрич».

Хрептюгин. Премного благодарны его сиятельству... Démétrius!

Дмитрий Иваныч. Сейчас, папаша! *(Выходит на короткое время и потом возвращается.)*

Разбитной Он очень часто о вас вспоминает — такой, право, памятливый старикашка! Я вам скажу, что если бы этому человеку руки развязать, он, я не знаю, что бы наделал!

Хрептюгин. Попечение имеют большое; я сколько начальников знал, а таких заботливых именно не бывало у нас!

Доброзраков Взгляд просвещенный, Иван Онуфрич!

Разбитной. Д-да; он ведь у нас в молодости либералом был, как же! И теперь еще любит об этом времени вспоминать: «Я, говорит, mon cher, смолоду-то сорвиголова был!» Преуморительный старикашка.

Входит лакей во фраке с подносом, на котором поставлены разные закуски; в дверях показывается Гиусова, в течение всей сцены она стоит за дверьми и по временам выглядывает

Хрептюгин. Милости просим, Леонид Сергеич, закусить!

---

[1] голубчик.

Разбитной. Э... я охотно съем этого страсбургского пирога *(Подходит к столу и ест.)* Да вы гастроном, почтеннейший Иван Онуфрич!

Хрептюгин. Уж куда нам, Леонид Сергеич[1]. вот здоровье мое все плохо... все, знаете, желудок! иной раз и готов бы просить его сиятельство сделать мне честь хлеба-соли откушать ..

Дмитрий Иваныч. А что, в самом деле, папаша! князь к нам так милостив, что с нашей стороны даже свинство, что мы не покажем ему нашей признательности.

Хрептюгин. Если его сиятельству угодно, то я завсегда готов .. Для нас, Леонид Сергеич, это большого счета не составляет

Разбитной. Хорошо-с... я скажу князю; он, вероятно, назначит вам день, когда вы можете принять его... Однако пирог этот так хорош, что я решаюсь съесть еще кусочек... Ma foi, tant pis pour le diner du prince![1] А вы, доктор?

Доброзраков. А вот сейчас-с. Мы, признаться, ко всем этим тонкостям не привыкли; по-нашему, этак колбасы кусок, чтоб, знаете, жевать было что.

Разбитной. Вы добрый, доктор!

Доброзраков *(налив рюмку водки, кланяется)*. За здоровье его сиятельства, князя Льва Михайлыча!

Живновский. А мне, видно, без потчеванья выпить! *(Подходит к столу.)*

Хрептюгин *(Доброзракову)*. Что ты, что ты, Иван Петрович[1] — кто ж пьет здоровье водкой... Démétrius, что ж?

Дмитрий Иваныч. Сейчас, папаша! *(Убегает.)*

Разбитной *(вслед ему)*. Mais dites, mon cher, qu'on donne des verres et que le champagne soit frappé[2]. *(Хрептюгину)* Мы вашего сына таки вышколим, Иван Онуфрич.

Лакей вносит поднос с стаканами и бутылку шампанского, Дмитрий Иваныч наливает всем, кроме Живновского

За здоровье его сиятельства, князя Льва Михайлыча! *(Выпивает.)*

Дмитрий Иваныч Ура! *(Выпивает.)*

Доброзраков Желаю здравствовать! *(Выпивает.)*

Живновский. Что ж. и мне, видно, выпить! Я, признаться, не охотник до виноградного! — ну уж для его сиятельства! *(Наливает сам себе стакан и пьет)*

---

[1] Честное слово тем хуже для князя!

[2] Но скажите, голубчик, чтобы подали бокалы и заморозили шампанское.

Хрептюгин Сто лет жить да богатеть! Вот это я вино люблю, Леонид Сергеич! потому что оно вино легкое... тонкое .

Разбитной Господа! я требую слова!

Дмитрий Иваныч. Шш...

Все умолкают.

Разбитной Господа! мне приятно будет засвидетельствовать перед князем о тех чувствах искренней преданности, которые я нашел в вас. Поверьте, господа, что для сердца начальника дороже всяких почестей, дороже всех богатств сердечное расположение подчиненных. Нет сомнения — и история нам доказывает это с последнею очевидностью,— что все сильные государства до тех пор держались, покуда в сердцах подчиненных жили чувства любви и преданности. Как скоро эти истинные, основные начала благоустроенных обществ исчезали, самые общества переставали быть благоустроенными. Я говорю это, господа, здесь, в этом доме, потому что нигде в другом месте слова мои не могут иметь такого смысла Здесь я вижу почтенного отца семейства, жертвующего всею жизнью на пользу общую *(указывает на Хрептюгина);* вижу старых воинов, принявших грудью не один удар во имя любви к отечеству *(указывает на Доброзракова и Живновского; последний крутит усы),* и, наконец, вижу юношу, полного надежд и веры в будущее... И все эти лица: и маститая старость, и увенчанная розами юность — соединяются в одном общем чувстве преданности к любимому начальнику... Господа! мне приятно от лица князя изъявить вам полную его признательность! Господа! я пью за здоровье любезнейшего нашего хозяина! *(Подходит с стаканом к Хрептюгину и жмет ему руку.)* Иван Онуфрич! да продлит бог ваш век для того, чтоб вы могли на долгие времена следовать влечению вашего доброго сердца и отирать слезы сирых, лишенных крова.. *(Выпивает.)*

Дмитрий Иваныч Ура! *(Пьет.)*

Доброзраков *(в сторону)*. Ловко подпустил! .

Живновский *(в сторону)*. А по-русски это значит: пермете... ле бурс [1] *(показывает руками)*. Молодец!

Хрептюгин. Очень, очень вам благодарен, Леонид Сергеич! утешили вы меня .. Именно это правда, что на пользу общую! Вчера был пожар, Леонид Сергеич, остались там вдовы... смею просить вас принять от трудов моих двести рублей

---

[1] позвольте.. кошелек

на общественное устройство! *(Вынимает из бумажника деньги и отдает Разбитному.)*

Живновский. Молодец, Иван Онуфрич!

Хрептюгин. Мало жертвовать, Леонид Сергеич, не стоит-с, так, по крайности, пущай хоть богу за нас помолят! а деньги что-с? деньги — дело наживное-с!

Живновский. Разумеется, благодетель, разумеется .. вот в вино вассервейнцу малую толику подпустите — ан пожертвование-то в тот же карман и возвратится . дивны дела твои, господи!

Хрептюгин. Я, Леонид Сергеич, люблю благодетельствовать Я коли деньги имею, так желаю, чтоб всякий, можно сказать, от лозы виноградной вкусил!

Разбитной *(кладя деньги в карман)*. Поверьте, Иван Онуфрич, князь сумеет оценить ..

СЦЕНА IX

Те же и Фурначев

Фурначев *(останавливается в дверях и говорит за кулисы)*. Скажи, братец, моему кучеру, чтоб он ехал домой и доложил Настасье Ивановне, что я прибыл в дом Ивана Онуфрича благополучно Да сейчас же чтоб и воротился... Иван Онуфрич! Леонид Сергеич! Доктор! *(Жмет всем руки, кроме Живновского)* Вы, господа, кажется, с утра за делом! .

Доброзраков По благотворительной части, Семен Семеныч!

Живновский Призираем этак вдов и сирот-с... А больше насчет вдов-с

Хрептюгин Да не угодно ли присесть вашему высокородию! *(Суетится около Фурначева)*

Фурначев Не трудись, любезный, я сяду сам!.. Так вы, господа, по благотворительной части? что ж, это хорошо! всякий из нас должен уделять от избытков своих!

Разбитной Скажите, пожалуйста, Семен Семеныч, вы не были сегодня у князя?

Фурначев. Не был, Леонид Сергеич, не был, потому что не имел чести быть приглашенным.

Разбитной. Странно! а он хотел вас просить!.. знаете, вчера был пожар, погорела вдова с детьми... что-то много их там .. княжна очень интересуется положением этих сирот

Фурначев. Это наш долг, Леонид Сергеич, отирать слезы вдовых и сирых; это, можно сказать, наша священная обя-

занность. Я не о себе это говорю, Леонид Сергеич, потому что у меня правая рука не знает, что делает левая, а вообще...

Вносят стаканы с шампанским

Разбитной. Так вы заезжайте к князю: ему будет очень приятно *(Берет стакан и намеревается пить без гостя.)*

Хрептюгин Нет, Леонид Сергеич, позвольте! *(Берет стакан.)* Господа! за здоровье Леонида Сергеича!

Доброзраков делает Хрептюгину знаки, указывая на Фурначева; Хрептюгин спохватывается, подбегает к Фурначеву и говорит вполголоса.

Извините, ваше высокородие! обмолвился... мы ваше здоровье после-с.. на прохладе выпьем

Фурначев *(тоже вполголоса)*. Что раз уж сделано, того воротить нельзя, любезный! Все воротить можно, а сделанное воротить невозможно

Разбитной. Господа! я не нахожу слов выразить всю мою признательность! Почтенный хозяин, предложивший этот тост, почтил не меня самого, а в лице моем упорный труд и непоколебимое бескорыстие на высоком поприще общественного служения! Господа! не под влиянием винных паров, но под влиянием благотворных движений моего сердца говорю я: девизом нашим должен быть труд скромный, но упорный, труд, никем не замечаемый, но честный, труд, сегодня оканчивающийся, а завтра снова начинающийся. Господа! настала для нас пора обратить наше умственное око внутрь нас самих, ознакомиться с нашими собственными язвами и изыскать средства к уврачеванию их. Не блестящая эта участь, и не розами, но терниями усыпан путь безвестного труженика, в поте лица возделывающего землю, плодами которой воспользуются потомки! Но благословим его скромный, невидный труд, пошлем ему вослед самые искренние пожелания нашего сердца.. Вспомним, что только они могут осветить лучом радости безотрадную пустыню, пред ним расстилающуюся,— вспомним это и не пожалеем ни добрых слов, ни теплого участия ни ободрений . Я сказал, господа! *(Пьет.)*

Дмитрий Иваныч. Ура! *(Пьет)*

Фурначев *(жмет Разбитному руку)*. Вы благородный человек, Леонид Сергеич! *(Отпивает немного и ставит стакан)*.

Живновский *(в сторону)*. И черт его знает, где он говорить научился!

Хрептюгин *(Фурначеву)*. Сделайте ваше одолжение, ваше высокородие! опростайте стаканчик-то!

Фурначев. Не могу, Иван Онуфрич, не могу. Здоровья я пожелал Леониду Сергеичу от глубины души, а пить не могу. Утром, знаете, натура не принимает.

Разбитной. Господа! я не могу больше! сердце мое совершенно переполнено... Будьте уверены, мой любезнейший Иван Онуфрич, что я со всею подробностью передам князю те приятные впечатления, которые доставило мне утро, проведенное у вас... Прощайте, господа! *(Уходит.)*

Дмитрий Иваныч провожает его за двери.

СЦЕНА X

Те же, кроме Разбитного

Фурначев *(Хрептюгину)*. А за что же ты, любезный, меня обидел?

Хрептюгин. Помилуйте, ваше высокородие, извините!

Фурначев Нет, ты скажи, кто статский советник и кто титулярный советник?

Живновский *(в сторону)*. Да, брат, дал ты маху, Хрептюга!

Хрептюгин Да уж помилуйте, ваше высокородие! язык просто сдуру, по течению речи сказал!

Фурначев. А язык надо сдерживать... на то, братец, голова человеку дана, чтоб язык сдерживать!

Доброзраков. Это правда, Семен Семеныч! Только я вам именно доложу, что Иван Онуфрич сневежничал больше от необразованности .. не привык еще, знаете, в хорошем обществе жить... все ему и кажется, что кругом-то свиньи!

Живновский *(в сторону)*. Заступился!

Хрептюгин *(насильственно улыбаясь)*. Все шутит... ах, Иван Петрович, Иван Петрович! *(Фурначеву)* Мы вашему высокородию за нашу провинность после трикраты послужим!

Фурначев. То-то «послужим»! ты смотри же, этого слова не забудь!

Дмитрий Иваныч *(возвращаясь)*. Нет, каково говорит-то Леонид Сергеич, каково говорит! А еще удивляются, что княжна им интересуется! Да я вам скажу: будь я женщиной, да начни он меня убеждать, так я и бог знает чего бы не сделал.

Фурначев *(с расстановкой)*. Мягко стелет, но жестко спать.

Живновский. Это правильно!

Фурначев. В голове-то у него ветер ходит! Ему, конечно, еще незнакома наука жизни, а ведь куда корни учения горьки!

Хрептюгин Истинная правда, ваше высокородие, истинная правда!

Фурначев. Тоже приглашает к пожертвованию! А почем он знает: может быть, тот, которого он, по легковерности своей, считает Лазарем богатым, и есть тот самый убогий Лазарь, о котором в Писании сказано! *(Краснеет и на секунду умолкает.)* В чужом кармане денег никто не считал... Про то только владыко небесный может знать, что у кого есть и чего нет! А если и подлинно деньги есть, так они, быть может, чрез великий жизненный искус приобретены! *(Умолкает)*

Наступает несколько минут тягостного безмолвия, в продолжение которого Живновский выпивает две рюмки водки

Хрептюгин *(осторожно возобновляя разговор)*. Что нового в городу делается, ваше высокородие?

Фурначев. По палате у нас, славу богу, благополучно. Вчерашнего числа совершился заподряд . Слава всевышнему, благополучно!

Хрептюгин Почем же за ведро-с?

Фурначев. По пятидесяти пяти копеек Цена настоящая

Живновский. Ну, и на нищую братию, чай, пришлось... это правильно!

Хрептюгин. Молчи, сударь, молчи! Ваше высокородие! прикажите его с лестницы спустить!

Фурначев. Оставь!

Хрептюгин *(Живновскому)*. Ничтожный ты человек! вот как его высокородие про тебя разумеет!

Фурначев Оставь!

Вновь наступает несколько секунд молчания, в продолжение которых Фурначев величественно барабанит об ручку дивана, а Хрептюгин несколько раз порывается возобновить разговор, но не может

Хрептюгин *(решительно)*. Не прикажете ли холоднень-кого, ваше высокородие?

Фурначев Не нужно!

Хрептюгин. Или из закусок чего-нибудь?

Фурначев. Это... можно.

СЦЕНА XI

Те же и лакей.

Лакей *(подает Хрептюгину письмо)*. С почты-с.

Хрептюгин *(рассматривая письмо)*. От кого бы? А! от Антонионаки! *(К Фурначеву.)* Позволите, ваше высокородие?

Фурначев. Можешь.

Доброзраков. Ишь ведь, и знакомые-то у него какие: все аки да ндросы!

Живновский. Питейная часть-с... греки, римляне, финикияне... вавилон-с!

Фурначев снисходительно смеется.

Хрептюгин *(читает)*. «Спешу уведомить тебя, любезный друг Иван Онуфрич, что дело о твоем чине приняло самую неприятную турнюру. Известный тебе и облагодетельствованный тобой столоначальник оказался величайшим вертопрахом, ибо не только не употребил врученных тобою денег по назначению, но, напротив того, истратил их все сполна на покупку картин непристойного содержания».. *(Останавливается совершенно растерянный.)* Гм... да . эта штука . могу сказать . ловкая, черт побери! *(Усмехается и вздрагивает)*

Дмитрий Иваныч *(подбегая к отцу)*. Ну что ж за беда! надо еще жертвовать — вот и все! есть от чего приходить в отчаяние!

Живновский. Правильно! это значит только, что карьер нужно сызнова начинать!

Доброзраков Может, вы недоложили сколько-нибудь, Иван Онуфрич?

Хрептюгин *(в раздумье)*. Нет, да что ж это такое? Жизни, что ли, они меня хотят лишить? *(К Фурначеву)*. Ваше высокородие!

Фурначев. Жаль мне тебя, Иван Онуфрич! Пострадал, брат, ты .. это именно, что пострадал! Однако ты еще в том можешь утешение для себя сыскать, что совесть у тебя спокойна... а много ли, скажи ты мне, много ли найдешь ты на свете людей, которые с чистым сердцем могут взирать на своего ближнего? Ты вот что в соображение, друг мой, возьми . и утешься!

Живновский. Позвольте, благодетель, я стишки вам на этот случай скажу... я ведь в молодых-то летах на все руки был, даже и стихи сочинял . *(Припоминает.)* Как бишь? «Не унывай»... «не унывай»... «не унывай»... эх, позабыл, каналь-ство! ну, да все равно... главное-то «не унывай»... стало быть, и вам унывать не следует.

Хрептюгин *(тоскливо)*. Господи! денег-то, денег-то что изведено!

Занавес опускается.

ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Вечер. Юный поэт Кобыльников (он же и столоначальник губернского правления) корпит над мелко исписанным листом бумаги в убогой своей квартире и с неслыханным озлоблением грызет перо и кусает ногти. Уже седьмой час; еще час, и квартира советника Лопатникова озарится веселыми огнями рождественской елки; еще час, и *она* выйдет в залу, в коротеньком беленьком платьице (увы! ей еще только пятнадцать лет!), выйдет свеженькая и улыбающаяся, выйдет вся благоухающая ароматом невинности!

— А что, мсье Кобыльников, вы исполнили свое обещание? — спросит она его

При этой мысли Кобыльников вскочил со стула как ужаленный и схватил себя за голову. Он начинал сознавать, что заложил слишком большой фундамент своему стихотворению Уж две строфы, каждая в восемь стихов, готовы и переписаны, но, судя по развитию, которое принимала основная мысль, нельзя было даже приблизительно предвидеть, какой будет исход ее Он уже принес достаточную дань восторгов возникающим красотам милой девочки; упомянул и о платьице, и о шейке лилейной, и о щечках «словно персик пушистых»...

И о том, о чем хотел бы,
Да не смею говорить .

Теперь он задал себе вопрос: кому суждено обладать всеми этими сокровищами, старцу ли бессильному или поэту черно-кудрому? Уж он начертал два первых стиха:

О, скажи ж, чей мощный образ
Эту грудь воспламенит?
Эти перси ..

Но тут воображение окончательно отказывалось служить. Рифма на «образ» решительно не приходила, то есть, коли хотите, и приходило кое-что в голову, но все какая-то чушь: «вобраз», «нобраз» — черт знает какая дребедень!

— Нет, да каково же! каково же! — вопиял он в отчаянии,— каково это с первого же раза подлецом себя выставить!

А время между тем равнодушно смотрело на его горесть и подвигало да подвигало вперед часовую стрелку. Кобыльников тоскливо взглянул на часы и увидел, что до семи остается только пять минут.

— Нет, ни за что на свете не поеду! — воскликнул он, бросаясь в изнеможении на стул,— лучше один просижу, лучше без ужина останусь, нежели подлецом себя выставлю!

«Нобраз!» — насмешливо шептало между тем воображение.

— Фуй, мерзость! и прилезут же в голову такие пошлости, что ни складу ни ладу нет!

Кобыльников плюнул с досады.

— Ни за что не поеду! — повторил он, но вслед за этим ни с того ни с сего раздумался.

Молодость вдруг заговорила в нем ласкающими голосами. Перед глазами его рисуется залитая светом зала; посреди ее стоит елка, вся изукрашенная разноцветными лентами и фольгой; елка, которой ветви гнутся под бременем пастилы и других соблазнительных сластей А вон и беленькое платьице, вон и головка, обрамленная темными кудрями! Господи! что за грация в очертаниях этой головки! что за свежесть, что за сокровища в этой едва-едва начинающей развиваться груди! И что за веселые звуки пролетают по комнате, когда эта милая девочка засмеется! Точно вот солнышко выглянет из-за хмурых туч, и все вдруг кругом улыбнется. и речка, которая до тех пор лениво катила серые волны, и ближняя лужайка, скрывавшая свой цветной ковер от дождей и холодов угрюмого ненастья, и статский советник Поплавков, который сидит за карточным столом и двадцатый раз сряду озлобленно произносит «пас!». Вот она пошла танцевать — и все-то выходит у нее не так, как у других. Посмотрите, например, или, лучше сказать, прислушайтесь, как танцует Настя Поплавкова, Нюта Смущенская! «Конь бежит, земля дрожит!» А она! Неслышно, почти незримо летает она по крашеному полу, нимало не задевая крошечными ножками за землю, и вся как будто уносясь и исчезая вверх!

Но, кроме того, и ужин не лишен своей прелести. Уже накрывается длинный стол в задней комнате, и хотя руки дворового официанта Андрея не совсем чисты, но, судя по хлебо-

сольным привычкам хозяина, нельзя сомневаться, что на столе будет и свежая осетрина, и жирный зажаренный лещ, и все, одним словом, что приличествует кануну такого великого праздника, как рождество Христово.

— И надо же быть такому несчастию! — рассуждает сам с собою Кобыльников, но рассуждает как-то вяло, без прежних порывов Вообще видно, что картины, которые нарисовало ему воображение, произвели заметное расслабление во всем его организме.

В это время часы прошипели семь. Кобыльников машинально встал со стула и направился к платяному шкапу.

«Нобраз! нобраз!» — шепнул вдруг враждебный голос и остановил его на половине дороги

С минуту еще длилась борьба его с самим собою, но наконец молодость взяла-таки свое Кобыльников поспешно натянул на себя фрак и, взглянувши на переписанные две строфы, покусился было попытать счастья, нельзя ли сбыть их с рук в том виде, в каком они были, но, по внимательном прочтении, стихотворение показалось ему еще более недостаточным, нежели когда-либо. С досадою отшвырнул он его от себя и выбежал из квартиры.

На дворе стояла ночь, та слепая, досадная ночь, которая может случиться только в далеком, провинциальном городке, где откупщик еще не доведен кроткими мерами до сознания своей обязанности жертвовать достаточное количество спирта для освещения улиц Злой и резкий ветер несся по улице, поднимая и крутя в воздухе целые столбы снежной пыли, и взвизгивал, и завывал, ударяясь об углы домов. Хорошо, что Кобыльникову предстояло пройти не более тридцати шагов, а не то пришлось бы ему, бедному, воротиться в квартиру и опять сесть за сочинение распроклятых стихов.

«Нобраз»! — взвизгнул вдруг ветер в самые уши поэта.

— Фу ты, черт! — пробормотал Кобыльников и, плотнее завернувшись в шинель, с усилием начал карабкаться вперед, утопая в сугробах снега, заваливших тротуар.

Но вот уж брезжит свет сквозь снежный туман сначала он мелькает в виде крошечного круга, но мало-помалу круг разрастается, и освещенные окна советничьей квартиры представляются взору во всем их заманчивом великолепии. Издрогший и измученный, врывается Кобыльников в переднюю желанного дома и долгое время поправляет потерпевшие от снега части своего туалета.

— А! молодой человек! милости просим! — встречает его хозяин дома, Иван Кузьмич Лопатников,— ну что, одолели капустниковское дело?

— Кончил-с,— отвечает Кобыльников и мысленно говорит самому себе: «Что, если б ты знал, что я, вместо капустниковского дела, целые три часа корпел над сочинением стихов?»

— То-то, а не то нас с вами новый генерал совсем съест!

Но, разговаривая с хозяином, Кобыльников улучает, однако ж, минуту, чтоб бросить взгляд в сторону, и с удовольствием примечает, что точно такой же взгляд выглядывает из-за елки и на него. Он спешит оставить гостеприимного хозяина и всеми силами души устремляется туда, откуда блеснул ему теплый луч привета и детской привязанности.

Читатель! не знаю, живали ли вы в провинции, но я, который благоденствовал в Вятке и процветал в Перми, жуировал жизнью в Рязани и наслаждался душевным спокойствием в Твери, я смею вас удостоверить, что воспоминания о виденных мною елках навсегда останутся самыми светлыми воспоминаниями пройденной жизни! Во-первых, какая-то умиротворяющая, праздничная струя носится в это время в воздухе, какая-то светлая, радостная мысль просится в душу при виде этих зажженных свечей, этих полных, румяных лиц, при звуках этого говора и смеха; а во-вторых, что за прелестные создания эти дети! как пытливо озираются их умненькие глазки! и как мало похожи они на своих отцов, тут же предстоящих и с томлением выжидающих момента, когда можно засесть за зеленый стол или приударить по питейной части! Иной родитель расползся поперек себя толще, лицо у него на круг швейцарского сыру похоже, даже носу словно совсем нет, а сынок у него, смотришь, шустренький, черномазенький, глазки так и прыгают, а носик римский, тоненький, словно выточенный, иной родитель похож на артиста, черноволосый, худощавый, бледный и вообще, что называется, интересный jeune homme [1], а сынок у него похож на губернатора, который, в свою очередь, похож на копну. Вот и поди ты! Смотришь бывало, на этих улыбающихся, кудрявых детей, смотришь и думаешь: неужели Ваня будет когда-нибудь советником питейного отделения? неужели эта резвая, быстроглазая Ляля будет когда-нибудь вице-губернаторшей? И, подумавши, взгрустнешь потихоньку.

Коля, мой друг! не отплясывай так бойко казачка, ибо ты не будешь советником питейного отделения! Скоро придет бука и всех советников оставит без пирожного! Но ты, быть может, думаешь, что ум человеческий изобретателен, что он и из патентов пирожное сделать сумеет — о, в таком случае ве-

---

[1] молодой человек.

селись, душа моя! отплясывай казачка с свойственною твоим летам беспечностью и доверчиво взирай на будущее!

Ляля, милый мой ребенок! Не скругляй так своих маленьких ручек, не склоняй так кокетливо головушку на правую сторонушку, не мани так мило Митю Прорехина, ибо Митя не будет вице-губернатором! Скоро придет бука, и всех вице-губернаторов упразднит за ненадобностью! Но, быть может, ты думаешь, что не в названье сила, что не исчезнет с лица земли русской чернилоносное чиновническое воинство,— о, в таком случае, мани, мани Митю Прорехина! ибо не малым будет он в этом воинстве архистратигом!

— Принесли? — спрашивает между тем Наденька у Кобыльникова, который, пунцовый как вишня, стоит перед нею, переминая в руках шляпу.

— Я-с, Надежда Ивановна . я-с... я начал, но еще не окончил,— заикается Кобыльников.

— А я так думаю, что вы только похвастались, что умеете стихи писать!

И Наденька порхнула от него, как птичка.

— Я, Надежда Ивановна, много уж написал,— умолял вслед ей Кобыльников.

Но Наденька была уже далеко и щебетала, окруженная своими подругами

— Ах, дай поскорее! — умоляла Нюта Смущенская

— Mesdames! мы уйдем читать в спальную! — говорила Настя Поплавкова

— Нечего читать! он только похвастался! он совсем и не умеет писать стихи! — отвечала Наденька голосом, которому она усиливалась сообщить равнодушный тон, в котором слышалась, однако ж, досада,— mesdames, мы его не будем принимать сегодня в наше общество!

В это время Кобыльников приблизился.

— Наденька! — сказал он умоляющим голосом

Наденька вскинула головку и взглянула на него так гордо, что бедный поэт внезапно почувствовал себя глупым.

— Вот еще новости! — сказала Наденька, и притом так громко, что Кобыльников осмотрелся во все стороны и не на шутку струсил, чтоб восклицания этого не услышал папа Лопатников.

После того вся юная компания порхнула в другую комнату, оставив Кобыльникова окончательно убитым

— Какой он, однако ж, жалкий! — заметила при этом Нюта Смущенская.

— Вот еще, жалкий! хвастун — и больше ничего! — хладнокровно ответила жестокосердая Наденька.

Кобыльников стоял словно обданный холодной водой. На душе у него было смутно и пусто, и как на смех еще подвернулись тут два скверные и глупые стиха

Ничто меня не утешает,
Ничто меня не веселит...—

которые так и жужжали, словно неотвязный комар, в ушах его.

«Что за проклятый вечер! Сначала эта рифма подлейшая, а теперь вот и еще какая-то мерзость лезет!» — подумал Кобыльников и даже сгорел весь от стыда.

А вечер между тем шел своим чередом

Папа Лопатников без трех обремизил статского советника Поплавкова, несчастие которого до такой степени поразило присутствующих, что все, даже играющие, как-то сжались и притихли, как бы свидетельствуя этим скорбным молчанием о своем сочувствии к великому горю угнетенного многочисленным семейством мужа. Поплавков сидел красный как рак и как бы не понимал, что вокруг него происходит; даже ремиза не ставил, а бессознательно чертил пальцем по столу какую-то необыкновенную цифру. Супруга же его, заглянув в комнату играющих, тотчас повернула налево кругом и сказала во всеуслышание:

— А мой дурак только и дела, что проигрывает!

Дети шумели и волновались. Митя Прорехин доказательно убеждал Васю Затиркина отдать ему свою долю орехов, приводя в основание такой резон, что у того, кто кушает много лакомства, делаются со временем соломенные ножки. Маня Кулагина упрашивала братца Сашу представить, как у них на дворе индейские петухи кричат: «Здравия желаем, ваше благородие!» Сеня Порубин, мальчик горбатенький и злющий, как бы провидя, что происходит в душе Кобыльникова, подбегал к нему и начинал задирать насчет отношений его к Наденьке, причем позволял себе даже темные намеки относительно каких-то интимностей, будто бы существовавших между Наденькой и первоклассником-гимназистом Прохоровым, который в это самое время забился в угол и, видимо, наслаждался, ковыряя в носу. И Кобыльников никак не мог поймать Порубина, чтоб надрать ему хорошенько уши, потому что скверный чертенок, произведя ехидство, ускользал из рук его, как змея.

Наденька то и дело порхала по комнате и, как нарочно, смеялась и болтала с особенным увлечением именно в то время, когда проходила мимо огорченного поэта. Злую мысль внушил Кобыльникову Сеня Порубин.

— Еще бы не быть веселой, когда душка Прохоров здесь! — процедил он сквозь зубы в одну из минут, когда Наденька была близко него.

Наденька вспыхнула и как будто оступилась.

— Вы это что говорите? — спросила она, останавливаясь перед ним

— Ничего; я говорю, что не мудрено, что некоторым людям весело: душка Прохоров здесь! — глупейшим образом настаивал Кобыльников, поигрывая ключиком от часов

— Я надеюсь, однако, что от этой минуты между нами все кончено? — сказала Наденька и тотчас же удалилась

— Это как вам угодно-с,— говорил вслед Кобыльников,— конечно, со мной расстаться что же значит, когда есть в запасе душка Прохоров!

Обида эта глубоко уязвила крошечное сердце Наденьки, тем более уязвила, что в упреке Кобыльникова была некоторая доля правды Действительно, был короткий промежуток времени, но очень, впрочем, короткий, когда Наденька увлекалась Прохоровым. Слишком рано развитый ребенок, она уже мечтала о чем-то, она украшала Прохорова различными достоинствами и добродетелями, которые создавало ее детское воображение, она любила уединяться с ним и с большою важностью говорила ему. «Теперь, Прохоров, потолкуемте о вашем будущем!»

Но Прохоров любил только ковырять в носу и говорил с увлечением единственно о лакомствах, потому что в душе был великий и страстный обжора. Увлечение Наденьки скоро прошло: она была даже убеждена, что никто ничего не заметил .. и вдруг!! Наденька бегала около елки, суетилась и болтала без умолку, но сердце ее работало. Среди начатой фразы она вдруг почувствовала, что нечто теснит ее грудь, что нечто жгучее подступает к ее глазам. Она вырвалась из толпы и убежала во внутренние комнаты.

Кобыльников все это видел, но ничего не понял. Он видел, что Наденька весела, и понял только то, что у Наденьки, должно быть, башмачок развязался, если она стремительно убежала.

А Наденька между тем, уткнувшись в подушку, обливала ее горячими слезами. И чем обильнее лились эти слезы, тем мягче и легче становилась самая обида, вызвавшая их, тем назойливее и назойливее смотрелось в душу иное чувство, чувство, которое в одно и то же время и заставляло ныть ее бедное сердце, и проливало в него целые потоки радости и успокоения.

— Гадкий Кобыльников! — сказала она с последним

всхлипыванием,— бедный Митенька! — повторила она вслед за тем, сладко задумавшись.

Елка между тем догорела; по данному знаку дети ринулись на нее всей толпою и тотчас же повалили на землю; произошло всеобщее замешательство, слышался визг, смешанный с кликами торжества; Сеня Порубин, несмотря на свою хилость и многочисленные изъяны, как-то так изловчился, что успел запихать в свои карманы чуть не половину гостинцев; Прохоров тоже полез было на фуражировку вместе с прочими, но ему не удалось достать ни одной палочки пастилы, потому что дети подкатывались ему под ноги и решительно не давали приняться за дело как следует; да к тому же и няня маленьких Поплавковых без церемонии поймала его за руку и вывела из толпы, сказав при этом строго: «Стыдись, сударь! такой большой вырос, а с детьми баловаться хочешь! еще Машеньке ручку отдавишь!»

Как было бы совестно Наденьке, если бы она видела эту сцену!

Но об ней вспомнили только тогда, когда елки уже не существовало Папа Лопатников серьезно обеспокоился и собрался было на поиск за своею девочкой, как она появилась сама в дверях залы.

Наденька была несколько бледна, но на вопрос папаши: «не болит ли головка?» отвечала: «не болит», а на вопрос: «не болит ли животик?» отвечала: «ах, что вы, папаша!» и, вся вспыхнувши, спрятала свое личико на отцовской груди.

— Что же с тобой, душенька? — допрашивал папаша.

— Ах, папаша, какой вы! — отвечала Наденька и порхнула от него в сторону.

Во время этого допроса у Кобыльникова как-то все выше и выше поднималось сердце, и вдруг сделалось для него ясно, что он прескверную штуку сыграл, сказавши Наденьке такую пошлость. С злобою, почти с ненавистью взглянул он на Сеню Порубина и начал было показывать золоченый орех, чтоб подманить его к себе, но Сеня словно провидел, что делается в душе его, и, сам показывая ему целую кучу золоченых орехов, только смеялся, а с места не трогался.

«Ну, черт с тобой! когда-нибудь после разделаемся!» — подумал Кобыльников и в ту же самую минуту как бы инстинктивно взглянул в ту сторону, где была Наденька.

Оттуда глядели на него два серых глаза, и глядели с тем же безграничным простодушием, с тою же беззаветною нежностью, с какою они приветствовали его из-за елки в минуту прихода Точно приросли к нему эти глубокие, большие глаза, точно не в силах были они смотреть никуда в другую сторону.

Кобыльникову почуялось, словно кровь брызнула у него из сердца и вот источается капля по капле и наполняет грудь его! Горячо и бодро вдруг стало ему.

— Посмотрите-ка, Надька-то! — шептала змеище Поплавкова горничницу Порубиной,— глаз не может от этого молокососа отвести, словно съесть его хочет!

— Влюблена, Анна Петровна, как кошка влюблена! — отвечала maman Порубина и как-то злобно дрогнула при этом плечами

— Удивляюсь, однако, чего этот старый дуралей смотрит!

— А чем же он не партия? Для бесприданницы и этакой хоть куда!

— Ну, да все же .

— Вы что же ко мне не идете?— спрашивала между тем Наденька Кобыльникова тем полушепотом, в который невольно переходит голос, когда идет речь о деле, затрогивающем все живые струны существа.

Кобыльников не отвечал, он просто-напросто задыхался.

— Вы что ко мне не идете? — повторила Наденька.

Он продолжал молчать, хотя сердце в нем умирало от жажды высказаться. Он чувствовал, что если вымолвит хоть одно слово, то не в силах будет выдержать. Может быть, он бросится к Наденьке и стиснет в своих руках это доброе, любящее создание; может быть, он не бросится, но зальется слезами и зарыдает...

— Вы отчего мне руки не даете? — настаивала Наденька.

— Наденька! — вырвалось из груди Кобыльникова.

— Вы зачем глупости говорите?

— Голубчик! — простонал Кобыльников.

— А когда будут стихи?

Кобыльников уж совсем было собрался отвечать, что стихи не миф, что стихи почти совсем готовы, что не только одно стихотворение, но десять, двадцать, сто стихотворений готов он настрочить на прославление своей милой, бесценной Наденьки, как вдруг скверный мальчишка Порубин испортил все дело.

— Вобраз! — пискнул он, едва-едва не проскакивая между ног Кобыльникова

Кобыльникову показалось, что сам злой дух говорит устами мальчишки

— Ты почему знаешь? — сказал он, рванувшись в погоню за мальчиком и поймав-таки его,— нет, ты говори, почему ты знаешь?

— Мамаша, меня Кобыльников дерет! — завизжал во всю мочь Сеня.

При этом восклицании Кобыльников невольно выпустил из рук свою добычу и даже начал гладить Сеню по голове

— Нѐчего, нѐчего гладить по голове! — шипел юный змееныш,— мамаша! он меня дерет за то, что я его поймал с Наденькой.

Началось следствие

— Позвольте узнать, Дмитрий Николаич, что вам сделало невинное дитя? — допрашивала Кобыльникова оскорбленная maman Порубина.

— Ваш сын мне сказал дерзость! — отвечал совершенно растерявшийся Кобыльников.

— Мамаша! Я ничего ему не говорил! — с своей стороны жаловался Сеня, искусно всхлипывая.

— Ваш сын сказал мне: «вобраз»! — внезапно брякнул Кобыльников.

— «Вобраз»! что такое «вобраз»? и чем же это слово для вас обидно?

Говоря это, maman Порубина сомнительно покачивала головой и разводила руками.

— Ну да! вобраз, нобраз, собраз, побраз! — дразнил обозлевший Сеня, приплясывая перед Кобыльниковым.

— Изволите видеть? — сказал Кобыльников

— Вижу! все вижу! стыдно вам, молодой человек! Сеня! отойди прочь от них и не смей никогда с ними разговаривать!

Порубина величественно удалилась, уводя за руку Сеню и беспрестанно оглядываясь, как бы в опасении, что за ней бежит по пятам сама чума.

Кобыльникову сделалось скверно; он вдруг почувствовал, что не только скомпрометировал Наденьку, но и сам сделался смешным в ее глазах. Сколько он сделал в этот вечер глупостей! он сделал их три: во-первых, увлекся нелепой рифмой, которая помешала ему кончить стихи, между тем как можно было бы один стих и нерифмованный вставить (самые лучшие поэты это делают!); во-вторых, сказал Наденьке какую-то пошлость насчет ее отношений к Прохорову; в-третьих, связался с пакостнейшим мальчишкой, который, наверное, произведет скандал на весь город. Кобыльникову показалось, что все глаза обращены на него, что все лица проникнуты строгостью и что даже служитель Андреи намеревается взять в руки метлу, чтоб вымести ею из честного дома гнусного соблазнителя пятнадцатилетних девиц. Кобыльникова бросило в жар; чтоб оправиться от своего смущения, он поспешил юркнуть в хозяйский кабинет.

Там за несколькими столами шла игра. Играл в ералаш председатель казенной палаты с губернским прокурором про-

тив советника казенной палаты и батальонного командира. Председатель казенной палаты был не в духе; к нему пришло двенадцать пик без туза и двойка червей; он сходил с двойки пик — туз оказался у партнера, который, однако, отвечать не мог.

— Сижу на капиталах! — жаловался председатель,— ведь это все франки! все франки!

Прокурор был смущен; он понял игру и старался только угадать, какая же у председателя тринадцатая карта. Председатель, как бы провидя его думу, поспешил рассеять все сомненья и откровенно показал свою двойку червей, убеждая только, чтоб прокурор играл скорее

Напротив того, к советнику валило во всем у него была и игра, и поддержка, но самое счастие не радовало его, ибо он чувствовал, что оно огорчает его начальника. Поэтому он всячески старался оправдаться· разбирая карты, пожимал плечами, как бы говоря: «ведь лезет же такое дурацкое счастье!»; делая ход, не клал карту на стол, а как-то презрительно швырял ее, как бы говоря «вот и еще сукин сын туз!» Но председатель не принимал ничего в уваженье, а, напротив того, взъелся на своего подчиненного

— Вы зачем же игру-то свою раскрываете?— пристал он к нему.

Советник сделал реноне.

— У вас треф нет? — строго спросил батальонный командир.

— Нет-с . есть-с,— заикался советник.

«И солгать-то не умеет!» — подумал председатель.

А Кобыльников смотрел на играющих и все думал, как бы чем-нибудь таким увенчать этот вечер, чтоб за один раз искупить все три глупости Ему вдруг сделалось хорошо и весело, ему представилась большая освещенная комната; посреди комнаты стоит Наденька в белом тарлатановом платьице, а подле Наденьки стоит он; у них в руках бокалы с шампанским; к ним подходят гости, тоже с бокалами в руках, и поздравляют

— Иван Дементьич! — сказал он дрожащим голосом, подходя, под влиянием этих радужных мечтаний, к хозяину дома,— позвольте мне несколько слов вам наедине сказать-с...

Иван Дементьич посмотрел на него с неудовольствием, потому что это неожиданное вмешательство отвлекало его от игры. Однако, видя, что Кобыльников весь дрожал, он встревожился

— Что такое еще? уж не затерял ли капустниковского дела? — спросил он.

— Мне-с... наедине! — повторил Кобыльников.

Иван Дементьич отошел с ним в сторону.

— Ну? — сказал он.

— Мне-с... я желаю...— заикался Кобыльников, к которому вдруг возвратилась вся его робость.

— Да говори же, любезный, не мни! — с досадой торопил Иван Дементьич.

— Я прошу руки Надежды Ивановны! — скороговоркой проговорил Кобыльников.

Иван Дементьич повернул жениха к свету и на одно мгновение посмотрел на него с любопытством. Потом тотчас же пошел на старое место, предварительно отмахнувшись, как будто хотел согнать севшую на нос муху Кобыльников остолбенел и расставил не только руки, но и ноги; в глазах у него позеленело, комната ходила кругом. Он понимал только одно: что эта глупость была четвертая и притом самая крупная Вдруг он почувствовал, что промеж ног у него что-то копошится — то был Сеня Порубин.

— Ан, это четвертая! — дразнился скверный мальчишка, очевидно схватывая на лету интимную мысль, терзавшую бедного Кобыльникова.

Кобыльников даже не слыхал, он был уничтожен и опозорен, хотя рарà Лопатников, возвратясь на место, точно так же равнодушно объявил семь в червях, как бы ничего и не случилось. А Порубин между тем все подплясывает да подразнивает: «Ан, четвертая! ан, четвертая!» Кобыльников крадется по стенке, чтоб как-нибудь незаметным образом улизнуть в переднюю Сеня Порубин замечает это и распускает слух, что у беглеца живот болит. Кобыльников слышит эту клевету и останавливается; он бодро стоит у стены и бравирует, но, несмотря на это, уничтожить действие клеветы уже невозможно. Между девицами ходит шепот: «Бедняжка!» Наденька краснеет и отворачивается; очевидно, ей стыдно и больно до слез.

«Собраз»! — подсказывает проклятая память и Кобыльников, словно ужаленный, бросается вон из комнаты, производя своим бегством игривое шушуканье между девицами. . . .

. . . . . .

И вот опять Кобыльников сидит в одинокой своей квартире, сидит и горько плачет! Перед ним лежит капустниковское дело, а слезы так и текут на бумагу; перед ним: *просит купец Капустников, а о чем, тому следуют пункты* — а у него глаза заволокло туманом, у него сердце рвется, бедное, на части!

Сквозь эти слезы, сквозь эти рыдания сердца ему мелькает светлый образ милой девочки, ему чудится ее свежее дыхание, ему слышится биение ее маленького сердца ..

— Митенька! — говорит она, вся застыдившись и склоняя на его плечо свою кудрявую головку.

— Mesdames! — шепчут кругом девицы,— mesdames! у Кобыльникова живот болит!

Кобыльников вскакивает и начинает ходить по комнате, схватывая себя за голову и вообще делая все жесты, какие приличны человеку, пришедшему в отчаяние.

«Вобраз»! — кричит вдруг неотвязчивая память.

Кобыльников закусывает себе в кровь губу от злости; он опять садится к столу и опять принимается за капустниковское дело, в надежде заглушить в себе воспоминания вечера.

А за перегородкой возятся хозяева-мещане. Они тоже, по всему видно, воротились из гостей и собираются спать Слышны вздохи, слышно вынимание ящиков из комодов, слышен шелест какой-то, который всегда сопровождает раздевание и укладывание Наконец все стихло.

— Дура ты или нет? — допрашивает хозяин свою хозяйку,— дура ты или нет?

— Ты проспись, пьяница! ты опомнись, какой завтра праздник-то! — усовещивает хозяйка.

— Нет, ты мне скажи: дура ты или нет! — настаивает хозяин.

За перегородкой слышится потрясающее зеванье Голова Кобыльникова мало-помалу склоняется и, наконец, совсем упадает на капустниковское дело. Ему снится елка, ему снится, что он стоит посреди освещенной залы и что рядом с ним, вместо Наденьки, стоит купец Капустников *и просит, а о чем, тому следуют пункты* ..

МИША И ВАНЯ

Забытая история

В передней сидят два мальчика, Ваня и Миша, и ждут барыню из гостей Скоро полночь, а барыня все не едет; сальный огарок оплыл и нагорел, тусклый и мелькающий свет его освещает только лица двух собеседников да стол, перед которым они сидят, вверху и по углам темно. В доме тихо, словно в гробу; горничные девки давно уж поужинали, воротились из кухни и улеглись спать где попало, наказавши мальчикам разбудить их, как только приедет барыня. В окна по временам показывается что-то белое; мелькнет-мелькнет и опять скроется; это сыплет снег, но мальчики думают, что выглядывает голова мертвеца, и вздрагивают.

Ваня мальчик крепкий, быстрый, черноволосый и черноглазый; он уверяет Мишу, что ничего не боится, что однажды он видел настоящего, заправского мертвеца — и того не струсил.

— Я ничего не боюсь,— говорит он, невольно, впрочем, бледнея, когда мороз вдруг ни с того ни с сего стукнет в стены барского дома,— мне только скучно, да и то с тобой ничего!

— А ну как мы сгорим? — робко спрашивает Миша.

— Сгореть мы не можем,— отвечает Ваня таким уверенным тоном, что Миша тотчас же успокоивается.

Миша, в противоположность Ване, мальчик слабенький, нервный, беленький, с белокурою головкой и большими синими глазами. Он часто посматривает на потолок и, увидевши, какой там сгустился мрак, вздрагивает и пожимается.

В ту минуту, как мы с ними знакомимся, они ведут оживленный, но несколько странный разговор.

— Холодным-то ножом, чай, больно? — спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза.

— Это только раз больно, а потом ничего! — отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове.

— А помнишь, как повар Михей резался! тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! а как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то...

— Ну, что ж что повар Михей! Михейка и вышел дурак! Потом небось вылечился, а для чего вылечился? все одно наказали дурака, а мы уж так полыснем, чтоб не вылечиться!

— Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?

— Когда не приготовил! еще с утра выточил! Только ты у меня смотри! чур не отступаться!

Миша вздохнул потихоньку; глаза его остановились на нагоревшей свечке.

— Что, разве снять со свечки... в последний раз? — сказал он слегка взволнованным голосом

— Что с нее снимать-то? а я тебе вот что скажу, Мишутка: коли мы это теперича сделаем, так беспременно в рай попадем, потому теперь мы маленькие и грехов у нас нет! А заместо нас попадет в ад Катерина Афанасьевна!

— А Ивану Васильичу будет за нас что-нибудь?

— Ну, Ивану Васильичу, может, и простит бог! потому он не сам собою туг действует!

— Катерину-го Афанасьевну, стало быть, мучить будут?

— Еще как, брат, мучить-то! не роди ты, мать-земля! Первым делом на железный крюк за ребро повесят, вторым делом заставят голыми ногами по горячей плите ходить, потом сковороду раскаленную языком лизать, потом железными кнутьями по голой спине бить... да сколько, брат, мучениев, что и сказать страсти!

— А ведь она не стерпит, Катерина-то Афанасьевна?

— Что ей, черту экому, сделается! — стерпит! Да там, брат Мишутка на это не посмотрят! Там, брат, терпи! а не можешь терпеть — все-таки терпи!

Разговор на минуту смолк. Вдруг на улице завыла собака, завыла жалобно и тоскливо, как умеют выть только собаки

— Ишь ты, эго Трезорка покойника почуял! — сказал Миша изменившимся голосом.

— Ну, что ж что почуял! известно, почуял! А ты небось уж и трусу спраздновал!

— Нет, Ваня, я не боюсь! я так только.. я только думаю, отчего это собака всегда покойника чувствует?

— А оттого, что собака — друг человека! Вот лошадь тоже друг человека, только она понятия не имеет, а собака — она все понимает, оттого и покойника чувствует!

— А что, Ваня, кабы утопнуть? — спросил вдруг Миша.

— Чудак ты, Мишутка! Ты мне расскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, лето нынче, что ли?

— Да, нынче вода холодная... чай, в воду-то бултыхнешься, так и не стерпишь!

— Вот то-то же и есть! Утопнуть-то — надо в пролубь лезти; да еще барахтаться станешь, вылезешь, пожалуй! — что одних мучениев тут примешь — поими ты! А с ножом ловко! ножом как полыснул себя раз, тут тебе и конец! Разумеется, надо крепче!

— И бить никто больше не будет? — прошептал Миша.

— И бить не будет! Возьмут твою душу ангелы и понесут к престолу божьему!

— А бог — ничего?

— А бог спросит: зачем вы, рабы божии, предела не дождались? зачем, скажет, вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему все и скажем!

— Мы все скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тошнехонько стало, как нас день-деньской все били . все-то били, все-то тиранили!

Миша потупился; накипевшие на сердце слезы горячим ключом хлынули из глаз. И текли эти слезы, текли свободно, без усилий, без гримас, как течет созревший источник из переполненной груди земли-матери. Ваня стал утешать расплакавшегося

— А мы ловко ее завтра надуем, Катерину-то Афанасьевну,— сказал он,— завтра гости у нее за столом соберутся, ан служить-то будет и некому!

Миша вздохнул в ответ.

— Я и ножи-то все попрятал! — продолжал Ваня,— и есть-то нечем будет.

А Миша все-таки никак не мог уняться; Ваня все возможное делал, чтоб как-нибудь развлечь его: сначала со свечи снял, потом глянул в окно и сказал: «А сивер-то! сивер-то какой разыгрался! ишь ты! ишь ты!», наконец тоненьким голоском запел· «Ах вы, ночки, ночки наши темные!» — но Миша не только продолжал плакать, но при звуках песни еще более растужился

— Нюня ты! — сказал Ваня с нетерпением.

В зале загудели часы. Заслышавши эти шипящие звуки, Миша вздрогнул, в последний раз глубоко вздохнул и перестал плакать.

— Скоро барыня приедет,— робко сказал он, насчитавши двенадцать часов.

— Дожидайся — скоро! — отвечает Ваня,— эх, теперь бы вот соснуть лихо!

— Нет, уж ты не спи, Ваня, Христа ради!
— Небось боишься?
— Боюсь! — признался Миша и весь съежился.
— Ну, дурак и есть! сколько раз я тебе говорил, что там ничего нет! — поучал Ваня, указывая на двери, которые вели в неосвещенный коридор,— хочешь, я сейчас туда пойду?

Однако угрозы своей не исполнил Водворилось молчание, а с ним вместе водворилась и тишина, тоскливая, надрывающая сердце тишина .. Мальчики пристально вглядывались в трепещущее пламя свечи; Ваня водил по столу большим пальцем, нажимая его, отчего палец сначала двигался плотно, а потом начинал подпрыгивать На дворе опять завыла собака

— Ишь ее! ишь ее! — вымолвил Ваня и вслед за тем прибавил. — А что, Миша, где-то теперь Оля?

Оля была сестра Миши Это была хорошенькая, белокурая и беленькая девушка, очень похожая на своего брата, ей было осьмнадцать лет С полгода тому назад она неизвестно куда пропала, и рассказов об этом внезапном исчезновении ходило между дворней множество. Говорили, что она от дурного житья скрылась, но говорили также, что и от стыда Достоверно было то, что одним утром она пошла на речку стирать и не возвращалась; на берегу была найдена корзина с невыстиранным бельем, но ни одежды прачки, ни даже тела ее нигде найдено не было. Достоверно также, что за два дня перед тем она была острижена и что по этому случаю плакала, рвалась и убивалась Барыня клялась и надсаживала себе грудь заверяя, что поганка Ольгушка утопилась не от дурного обращения, а для того, чтоб скрыть свой стыд. Тем не менее на всем этом происшествии лежала какая-то горькая тайна, и неизвестно было даже, действительно ли утопилась Ольга или только бежала. При следствии некоторые дворовые люди показали было, что житье Ольги было «нехорошее»; но исправник, производивший следствие (так как происшествие случилось в подгородной деревне Катерины Афанасьевны), ничему этому не поверил

— Ну, вы это все врете! вы говорите правду, а не врите! — сказал он показателям и тут же приказал пригласить Катерину Афанасьевну.

Катерина Афанасьевна ахала и ссылалась на то, что у нее людей говядиной кормят. Позвали людей и спросили, действительно ли их кормят говядиной; ответ был, что кормят Исправник подумал, посопел и записал. «Помещики содержат людей хорошо и даже говядиной кормят».

— Что же вы, бестии, врали? — обратился он к дворовым Дворовые стояли бледные и переминались с ноги на ногу; у

некоторых искусаны были до крови губы. Катерина Афанасьевна заметила эту нераскаянность и сочла справедливым упасть в обморок. Исправник бросился утешать ее, услав оторопевшего Ивана Васильевича за спиртом. Результатом всего этого было краткое, но сильное объявление, написанное рукою самого исправника. Оно гласило:

«Утром 24 сего июня из сельца Полянок неизвестно куда скрылась принадлежащая отставному штаб-ротмистру Ивану Васильевичу Балящеву девка Ольга Никандрова. Приметами та девка. роста высокого, белокура, волосы стрижены, лицом бела, глаза синие, нос и рот умеренные, особая примета. над левой ноздрей небольшое родимое пятнышко; есть подозрение в беременности. Унесла с собой данное ей помещиком пестрядинное платье, в которое и была в тот день одета Полицейские начальства, в ведомстве коих та беглая девка окажется, благоволят препроводить оную в Р—ий земский суд, для отдачи по принадлежности».

Тем это дело и закончилось. Катерина Афанасьевна на некоторое время присмирела, но месяца через два совсем забыла о происшествии и начала жировать жизнью по-прежнему.

Катерина Афанасьевна была глубоко развращенная женщина, но не знаю, имею ли я право называть ее злою. По крайней мере, весь город к ней ездил, и целый день в ее доме было, что называется, разливанное море; весь город знал, какие она *фарсы* выделывает над Машками и Ольгушками, и тем не менее никто не решался отозваться об этих фарсах не только строго, но даже и уклончиво. Напротив того, ее все любили, потому что в своем кругу она была барыня веселая и даже добрая, многим из своих друзей делала разные одолжения и всех равно отлично принимала и кормила

— Сегодня у Катерины Афанасьевны за обедом в супе таракана подали,— говорили про нее в городе,— что ж бы вы думали? она преспокойно себе позвала повара и приказала ему гаракана съесть!

— Лихая баба!

— Бедовая!

Некоторые, конечно, делали изредка предположение, «как бы, дескать, не попасться Катерине Афанасьевне за эти *фарсы»*, но очевидно, что в этом случае сомнение заползало совсем не по поводу самых *фарсов*, а по поводу глагола «попасться». Самые же фарсы служили как бы оселком для обнаружения своего рода остроумия, которого кровавости никто не замечал, своего рода изобретательности, которой ехидства никто не подозревал.

— Сенька! поди, лизни печку! — говорили Сеньке.

Сенька лизал печку и обжигал язык; он возвращался весь красный, лицо его как-то неестественно напыживалось, из глаз выжимались слезы.

— Ну, дурак,— еще реветь вздумал! — говорили одни.

— Рожа-то, рожа-то какая! — восклицали другие

И затем следовал взрыв общего, веселого хохота.

Хохот — и больше ничего

Не ясно ли, что все это без злорадства делалось, что при этом главный расчет совсем не в том состоял, чтоб причинить Сеньке мучительную боль, а в том, чтоб посмотреть, какую Сенька рожу уморительную скорчит, как он напыжится., Самые кроткие люди молчали, когда Сеньку посылали лизать пылающую печь, самые кроткие люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька возвращался, по совершении своего подвига, весь красный и пыхтящий... Они молчали и фыркали не потому. чтоб одобряли подобного рода увеселения, но просто потому, что такое уж время юмористическое было

Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно. Ибо кто же может ручаться, не лизал ли бы, без этого слова, Сенька горячую печку и до сей минуты? Не ходила ли бы девка Ольга Никандрова и до сей минуты стриженая и оплеванная гостями своей барыни? Где гарантии противного? В нравах, что ли? Но разве не известно, что славяне имеют нрав веселый. легкий и мало углубляющийся? В слезах, что ли? Но разве не известно, что слезы, которые при этом капают, капают внутрь, капают кровавыми каплями на сердце и все накипают, все накипают там, покуда не перекипят совершенно?

Никогда не бывает зло так сильно, как в то время, когда оно не чувствуется, когда оно, так сказать, разлито в воздухе «Что это за зло? — говорят тогда добросовестные исследователи, которые имеют привычку рассматривать предметы не с одной, а со всех сторон,— это не зло, а просто порядок вещей!» — И на этом успокоиваются.

Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кровавого добродушия и бездны ехидной веселости?

Повторяю: это был тяжкий и страшный кошмар, в котором и давящие, и давимые были равно ужасны.

Напоминание о сестре подействовало на Мишу болезненно Он вдруг, словно под тяжестью какой, пригнулся; бледное

его личико сделалось белее полотна, и на не обсохших еще глазах опять сверкнуло слезообильное облако

— А ведь она барыне являлась! — продолжал Ваня.

— Врешь ты! — всхлипывал Миша чуть слышно.

— Являлась — это верно! Ключница Матрена сказывала, что барыня-то, словно мертвая, из спальни в ту пору выскочила! ни кровинки в лице нет!

— Врешь ты! она жива! — настаивал Миша, совершенно захлебываясь слезами.

— Ну, брат, нет! это погоди! Она утопла — это уж как дважды два! Из-за чего ж бы ей тогда барыне являться, кабы она не утопла!

— Врешь ты! врешь все! — кричал Миша, с которым чуть не сделалась истерика

— Ну, и опять-таки ты дурак! Из-за чего ты нюни-то распустил! Известно, нам один конец!

Миша смолк, он, по-видимому, что-то припоминал Припоминал он, как Оля, проходя мимо него, наскоро трепала его по щеке и приговаривала: «Дурашка ты мой!»; припоминал он, как Оля однажды надевала на него чистенькую новенькую рубашечку и сказала при этом: «Ну, носи теперь на здоровье, Мишутка ты мой!»; припоминал он, как однажды Оля выбежала в лакейскую вся бледная, и из глаз ее ручьями текли слезы; припоминал он голос, моливший о пощаде, голос искаженный, вымученный, кричавший: «Матушка, Катерина Афанасьевна, не буду! батюшка, Иван Васильич, не буду!»; припоминал он, как упала из-под ножниц длинная русая коса Оленькина, как Оля билась и рвалась. .

«Ах, не надо! не режьте!»— раздавался в ушах Миши знакомый молящий голос, раздавался с такою ясностью и отчетливостью, что он вдруг поверил .. Он поверил, что Оля умерла действительно и что это она, именно она является к барыне и мучит ее по ночам Ему показалось даже, что она и теперь с ними, что она зовет его.

— Оля-то здесь ведь! — сказал он испуганным голосом.

— Ну, вот это ты уж врешь! — отвечал Ваня и между тем сам вздрогнул и инстинктивно озирался кругом.

— Ей-богу, здесь! — настаивал Миша.

— Дурак ты! говорят тебе, нет никого! И из-за чего ей являться-то к нам? ты пойми, зачем покойник является? покойник является затем, чтоб мучить, а нас за что мучить она будет? Мы ведь Олю не трогали, Оля была добрая... да, она добрая была девка!

— Оля была добрая! — машинально повторил Миша и ласково взглянул на своего товарища.

— Постой-ка, я по углам посмотрю! — продолжал Ваня, как будто с единственною целью успокоить Мишу; но очевидно было, что он и самого себя не прочь был успокоить

Ваня встал с лавки и сначала посмотрел под стол; потом обошел всю комнату и в углах даже пошарил по стене, потом заглянул в дверь, ведущую в коридор. Никакого виденья нигде не оказалось.

— Ну вот, и нет ничего! — сказал он, усаживаясь на старое место

— Оля была добрая! — задумчиво повторил Миша.

— За доброту-то и в дворне ее все любили! Помнишь, Степка как убивался, как она пропала-то? Степка-то, говорят, жениться на ней хотел!

— Стало, его за это в ту пору в часть посылали?

— За это за самое... Степка-то барыне говорит: «Лучше, говорит, Катерина Афанасьевна, вы меня теперича в солдаты отдайте, а служить. говорит, я вам не желаю!»

— Ишь ты!

— А барыня говорит «Нет, говорит, Степушка! в солдаты я тебя не отдам, а вот в пастухах ты у меня сгниешь!» И гниет!

— И для чего только это она его в солдаты не отдала?

— А потому, братец, такой у ней нрав!

— А ведь в солдатах, Ваня, хорошо?

— Ну... кто ж его знает! Однако все лучше, не чем у нас! у нас уж какая жизнь!

Миша опять задумался; он хотел сказать Ване, что лучше было бы в солдаты пойти, чем .. но на этом мысль его оборвалась; очевидно, он боялся рассердить Ваню и выставить себя в глазах его трусом.

— А знаешь ли что, Мишутка? — вдруг спросил Ваня.

— Что тебе?

— Пойдем-ка мы, обойдем комнаты... посмотрим!

Мише тотчас же мелькнуло в последний раз!

— Пойдем, Ваня! — сказал он.

Ваня снял со свечи и пошел вперед.

— Вот это, брат, зала! — сказал он, когда пришли в первую комнату.

— Зала! — повторил за ним Миша.

— Кланяйся, брат, теперь на все четыре стороны! — наставлял Ваня.

Миша поклонился на все четыре стороны; Ваня исполнил вместе с ним то же самое.

Таким образом обошли они все комнаты и везде простились; дошли, наконец, до крайней комнаты, где стояла широкая двуспальная кровать.

— Ишь их! — сказал Ваня и не только не поклонился на все четыре стороны, но плюнул.

— Знаешь ли что! — продолжал он,— зажжем-ка теперь лиминацию! ведь колдовка-то еще, чай, долго не приедет!

— Зажжем! — согласился Миша, и на лице его сверкнула детски радостная улыбка.

По всему видно было, что натура Миши была натура нежная, женственная, артистическая, он любил, когда в комнате бывало светло и свежо, и, напротив того, куксился в мраке и спертом воздухе передней. По всему видно также, что Ваня знал про это свойство Миши и желал чем-нибудь угодить ему.

Зажгли иллюминацию действительно блестящую, Миша пожелал быть хозяином, Ваня изъявил согласие быть гостем. Но едва успели хозяин и гость усесться с ногами на диван, едва успел хозяин предложить своему гостю обычный вопрос о здоровье, как в передней раздался сильнейший трезвон Хозяин и гость бросились тушить свечи, но впопыхах дело не спорилось; раздался еще трезвон, более сильный и более нетерпеливый.

Наконец свечи кое-как затушили и бросились в переднюю. Через дверь еще Ваня слышал, как барыня сердиться изволили.

— Это все мальчишки-мерзавцы! — говорила она в величайшем гневе,— вот ужо погоди!

— Успокойся, душенька! — уговаривал Иван Васильич,— может быть, это братец Никанор Афанасьич приехал!

В это время Ваня отпер наружную дверь

— Братец Никанор Афанасьич здесь? — был первый вопрос барыни

— Никак нет-с

— Кто же свечи в зале зажигал?

— Никто не зажигал-с

— Мерзавец!

Сильный удар свалил Ваню с ног.

— Кто зажигал свечи в зале? — накинулась барыня на Мишу, который стоял ни жив ни мертв.

— Никак нет-с,— едва-едва прошептал Миша.

— Долго ли вы мучить-то нас будете? — каким-то неестественным голосом закричал Ваня, вскочив с полу, и не успел никто моргнуть глазом, как он уже впился ногтями в рот и нос Катерины Афанасьевны.

Катерине Афанасьевне сделалось дурно; Ваню насилу отняли от нее, потому что он словно замер и закоченел весь. Катерину Афанасьевну повели под руки в спальную, причем

Иван Васильич приговаривал: «И как это тебе, матушка, не стыдно беспокоить себя из-за этих хамов!» Ваню тоже увели на кухню, он не плакал, а только кричал; очевидно, что все существо его было глубоко и решительно потрясено, что он не обладал собою, и этот резкий неестественный крик вылетал из его груди помимо его воли. Вся дворня страшно переполошилась и сбежалась кругом Вани, начали его оттирать и насилу уняли Когда крики унялись, Ваня мгновенно и крепко заснул

Потому ли, что Катерина Афанасьевна действительно заболела, или потому, что дворовые доложили об исступлении, в котором находился Ваня, но распоряжения насчет мальчиков в ту ночь никакого сделано не было Сказано было только держать обоих в кухне Миша лег подле Вани, но долго не мог сомкнуть глаз, завтрашний день представлялся его возбужденному воображению со всеми подробностями, со всеми ужасающими истязаниями Мерещились ему пуки розог, мерещилась ему Катерина Афанасьевна, лицо ее словно пылало, на голове словно змеи вились, разевая рты, и высовывались оттуда огненные жала Ваня по временам стонал, дворовые кругом безмятежно спали, Мише сделалось страшно...

«Ах, не надо! ах, не режьте!» — раздавалось у него в ушах, и образ сестры носился перед его глазами, как живой, но не в затрапезном истасканном платье, а весь белый, прозрачный, весь словно озаренный чудесным блеском

Наконец, часов около трех, он заснул

В четыре часа Ваня разбудил его. Долго смотрел на него Миша изумленными, слипающимися глазами, долго не мог понять, где он и что с ним .

— Пора! — шептал Ваня

Миша вздрогнул, но все еще не понимал.

— Вставай! — настаивал Ваня.

Миша машинально встал и машинально же оделся Они вышли в сени, холодный воздух охватил их со всех сторон и несколько отрезвил Мишу. В руках у Вани были ножницы; он проворно скинул с себя казакин и начал резать его на куски

— Не доставайся никому! — шептал он как-то злобно и сосредоточенно

Потом он снял с себя сапоги и проткнул в нескольких местах головки

Миша смотрел на это, и вдруг в нем вспыхнула какая то страстная жажда жизни Он ухватил себя обеими ручонками за горло, начал метаться и заплакал

— Нюня! ступай спать! — произнес Ваня

— Нет! нет! — заикался Миша,— нет! нет... я пойду! я, право, пойду!

— Что ж ты ревешь? разве вчера не видел?

Они вышли на двор и перелезли через забор. Улица была пуста, и непробудная тишина царствовала по всему городу Дворовая собака Трезорка бросилась было к ним с ласковым визгом, но Ваня показал ей кулак, вследствие чего она вильнула раза два хвостом и юркнула в свою конуру. Утро было не столько холодное, сколько сырое и туманное, словно облако какое-то висело над улицей, словно мгла, наполненная иглистыми атомами, застилала воздух. Ваня был в одной рубашке, ему сделалось холодно

— Ну, брат,— сказал он,— это я напрасно Напрасно, значит, я теперича казакин свой изрезал!

Миша не отвечал ему; вообще он действовал как-то страдательно, словно горела, и упорно горела, в нем непорванная струя жизни, но не знала, как ей высказаться, как прорваться наружу

И вот перед ними овраг, в этом овраге условились они исполнить свое намерение, Ваня рассчитывал, что там никто им не помешает, никто не может прийти скоро на помощь

Ваня спустился и пошел вперед; он был бодр, а между тем манящие сладкие голоса жизни говорили и в нем, он смеялся, а между тем в груди его закипала какая-то страстная жажда; он шел и точил друг об друга ножи, но звук, который от этого происходил, был какой-то невеселый отрывистый звук, он чувствовал, что внутри его все горит, а между тем бедное, исхудалое тело ходенем ходило от проницающей сырости и холода... Миша шел за ним следом и по-прежнему был в каком-то забытьи .

На свету будочник, спокойно спавший в своей будке, был разбужен проезжими мужиками Мужики слышали стон в овраге и почтительно докладывали о том дремлющему блюстителю общественной тишины

— Батюшки! помогите! — прозвенело в эту самую минуту в воздухе

Спустились в овраг и нашли двух мальчишек, из которых один был одет в казакине, другой — в одной рубашке Ваня был бездыханен, но Миша еще был жив Неверная, трепещущая рука в несколько приемов полоснула ножом по горлу, но робко и нерешительно

Жажда жизни сказалась и восторжествовала.

НАШ ДРУЖЕСКИЙ ХЛАМ

Когда мы, губернские аристократы, собираемся друг у друга по вечерам, какого рода может быть у нас между собою беседа? Перемываем ли мы косточки своих ближних, беседуем ли о существе лежащих на нас обязанностей, сообщаем ли друг другу о наших служебных и сердечных bonnes fortunes[1], о том, например, что сегодня утром был у нас подрядчик Ско ищев, а завтра мы ждем заводчика Белугина и проч и проч?

На все эти вопросы я с гордостью могу отвечать, что обыденная, будничная жизнь не составляет и не может составлять достойной канвы для наших салонных разговоров. Утром, запершись в своих жилых комнатах, мы можем, à la rigueur[2], переворачивать наше грязное белье, беседовать с нашими секретарями и принимать различного рода антрепренеров, но с той минуты, как мы покидаем жилые комнаты и являемся в наши салоны, все эти неопрятности мгновенно исчезают, подобно тому как исчезают клопы и другие насекомые, гонимые светом дня Как люди благовоспитанные, мы являемся в наши салоны не иначе, как во фраках, и очень хорошо понимаем, что, находясь в обществе, не имеем права тревожить чье-либо обоняние эманациями нашего заднего двора.

Да и какой интерес могло бы представлять для нас это переворачиванье домашнего хлама, когда нам до такой степени известны и переизвестны все наши маленькие делишки, наши карманные скорби и любостяжательные радости, что мы, как древние авгуры, взглянуть друг на друга без того не можем, чтоб не расхохотаться?

---

[1] удачах
[2] в крайнем случае

Если я, например, встречаю на улице его превосходнтельство Ивана Фомича и вижу, что в очах его плавает маслянистая влага, а сам он при встрече со мной покрывается пурпуром стыдливости и смотрит на меня с каким то детским простодушием, как будто хочет сказать: «Посмотри, как я невинен! и посмотри, как хороша природа и как легка жизнь для чистых сердцем!» — то я положительно знаю, что и этот пурпур, и эта влага блаженства, и эта ясность души происходят совсем не оттого, что его превосходительство был на секретном любовном свидании, а оттого, что в том заведении, в котором он состоит аристократом, происходили сего числа торги. И по степени влажности глаз, и по большей или меньшей невинности их выражения я безошибочно заключаю о степени успешности торгов К чему, скажите на милость, были бы тут вопросы, вроде. «Как поживаете, каково прижимаете?» К чему тут ласки, коварства и уверения, если я определительно вижу, что сей человек счастлив, что душа его полна музыки и что весь он погружен в какие-то сладкие, неземные созерцания? И действительно, встречи наши происходят в молчании; он посмотрит на меня ласково и признательно, я взгляну на него симпатически; он скажет «Гм!», и я скажу «Гм!»... и мы расходимся каждый по своему делу

Или, например, когда я вижу другого аристократа, генерала Голубчикова, пробирающегося часов в шесть пополудни бочком по темному переулку и робко при этом озирающегося, то положительно могу сказать, что генерал пробирается не к кому другому, а именно к привилегированной бабке Шарлотте Ивановне Хотя же его превосходительство, заметив меня, и начинает помахивать тросточкой, делая вид, что он гуляет, но я отнюдь не отважусь предложить ему пройтись вместе со мною, потому что твердо знаю, что такого рода предложение вконец уязвит его пылающее сердце Руководясь этою мыслью, я прикасаюсь слегка к полям моей шляпы и говорю: «Гм!» Генерал, который в другое время тоже ответил бы мне à la militaire [1], в настоящем случае считает неизлишним снять с головы своей шляпу совершенно (не погуби! дескать), и тоже говорит «Гм!» . и мы расходимся А между тем дорогой воображение уже рисует передо мной образы С одной стороны я вижу маленького генералика, совершенно пропадающего в объятиях дебелой привилегированной бабки, а с другой стороны величественную и не менее дебелую генеральшу, спокойно предающуюся дома послеобеденному сну и вовсе не подозревающую, что ее крошечный Юпитерик нашел

---

[1] по военному.

в захолустье какую-то вольного поведения Ио и воспитывает ее в явный ущерб своей Юноне

И еще, например, если я вижу в восемь часов утра известного подрядчика Скопищева, стучащегося в двери дома, занимаемого капитаном Малаховичем, то отнюдь не думаю, что Скопищев очутился здесь ни свет ни заря затем только, чтоб узнать о здоровье супруги и детей пана Малаховича, но с полною достоверностью заключаю, что ранний визит этот имеет тесную связь с постройкой земляной дамбы в городе *** При этом в уме моем естественно возникает вопрос «Если от пятнадцати тысяч отделить двадцать процентов, то какая составится из этого сумма?» И в это самое время, поравнявшись с капитанскою квартирой, я усматриваю в одном из окон толстенькую фигуру, к чему-то канальски прислушивающуюся Заметив меня, капитан несколько краснеет (вероятно, оттого, что я увидел его в утреннем неглиже), произносит: «Гм!» — и поспешно удаляется от окна

— То-то «гм!»,— произношу и я в свою очередь и продолжаю идти своею дорогой

Скажите на милость, к чему же было бы нам беседовать о том, для уразумения чего достаточно одного движения губ, одной мимолетной искры в глазах, одного помаванія головы?

И действительно, канвою для наших разговоров служат предметы, несравненно более возвышенные Надо вам сказать, благосклонный читатель, что хотя мы и называемся «губернскими аристократами», но, к великому прискорбию, аристократичность наша довольно сомнительная Мы, что называется, аристократы с подлинцою Отечеством большей части из нас служили четвертые этажи тех поражающих опрятностью казенных зданий, которые во множестве украшают Петербург и в которых благополучно процветают всех возможных видов и цветов экзекуторы и экспедиторы Там мы увидели свет, там возросли и воспитывались, и если сам Петербург способен производить голько чиновников и болотные испарения, то можно себе вообразить, на производство какого рода изделий способны упомянутые выше четвертые этажи?

И действительно, мы вполне прошли всю суровую школу безгласности и смиренномудрия, мы были по очереди и секретарями и приказчиками у имеющих власть людей, и поставщиками духов, собачек и румян у их жен, и забавою у их гостей. Мы безмерно радовались и безобразию наших носов, и геморроидальному цвету наших лиц, потому что все это составляло предмет забавы и увеселения для наших благодетелей и вместе с тем заключало в себе источник нашего будущего благополучия — нашу фортуну и нашу каррьеру!! Наконец, после

долгих лет терпения и томных искательств, мы получили дипломы на звание губернских аристократов с правом володеть сколько душе угодно. Поначалу свежий воздух провинции сшиб было нас с ног, однако, свыкшись с малолетства со всякого рода огнепостоянностями, мы устояли и здесь, и мало того, что устояли, но даже озаботились устроить вокруг себя ту самую атмосферу, которая всечасно напоминает нашим носам передние наших благодетелей Очевидно, что при таком направлении умов все наши симпатии, все вздохи и порывания должны стремиться к нему, к этому милому Петербургу, где проведена была наша золотушная молодость и где у каждого из нас имеется по крайней мере до двадцати пяти штук приятельски знакомых начальников отделения

Дни прихода петербургской почты бывают в нашем обществе днями какой-то тревожной и вместе с тем восторженной деятельности. Это и понятно, потому что в эти дни мы получаем письма от наших приятелей — начальников отделения Мы поспешаем друг к другу, чтоб поделиться свежими вестями, и вот образуется между нами живая и интимная беседа

— Ну что, ваше превосходительство,— спрашиваю я у генерала Голубчикова.— получили что-нибудь из столицы?

— Как же-с, как же-с, ваше превосходительство! — отвечает генерал, потирая руки,— граф Петр Васильевич не оставляет-таки меня без приятных известий о себе

— Так вы получили письмо от самого графа? — спрашиваю я, несколько подзадоренный

— Мм да,— отвечает генерал таким тоном, как будто ему на все наплевать,— граф частенько-таки изволит переписываться со мной!

— Мм.. да,— произношу я и, в свою очередь, не желая уступить генералу Голубчикову, еще с большим равнодушием прибавляю· — А я так получил письмо от князя Николая Андреича.. Каждую почту пишет! даже надоел старик!

И если при этом я положительно убежден, что генерал Голубчиков соврал постыднейшим образом, то генерал, с своей стороны, столь же положительно убежден, что и я соврал не менее постыдно, что не мешает нам, однако, остаться совершенно довольными нашим разговором.

— Скажите пожалуйста! — удивляется в другом углу его превосходительство Иван Фомич, слушающий чтение какого-то письма

— « Внушили себе, будто на лбу ихнем фиговое дерево произрастает, и никто сей горькой мысли из ума их сиятельства изгнать не может»,— раздается звучный голос статского советника Генералова, читающего вслух упомянутое письмо

— Да правда ли это? от кого вы получили это письмо? — сыплются с разных сторон вопросы

— От экзе . от директора,— скороговоркой поправляется статский советник Генералов, поспешно пряча письмо в карман

— А крепкий был старик! — говорит генерал Голубчиков, которого, как не служащего под начальством таинственного «их сиятельства», описанное выше происшествие интересует только с психической точки зрения

— Н-да крепкий. — в раздумье и словно машинально повторяет недавно определенный молодой председатель Курилкин, при чтении письма как будто струсивший и побледневший

— Я с князем еще в то время познакомился,— ораторствует генерал Голубчиков,— когда столоначальником в департаменте служил И представьте себе, какой однажды со мной случай был

— Н-да, случай! — повторяет Курилкин, у которого уже помутились взоры от полученного известия

— Вы как будто нездоровы, Иван Павлыч? — обращается с участием к Курилкину Иван Фомич

— Нет .. я ничего,— скороговоркой отвечает Курилкин,— au fait [1], что мне князь?

— «Что он Гекубе, что она ему»? — раздается сзади шепот титулярного советника Корепанова, принимаемого, несмотря на свой чин, в нашем маленьком аристократическом кружке за comme il faut [2], но, к сожалению, разыгрывающего неприятную роль какого-то губернского Мефистофеля

— Да-с, так вот какой у нас с князем случай был,— продолжает генерал Голубчиков,— вхожу я однажды в приемную к князю, только вижу — сидит дежурный чиновник, а лицо незнакомое Признаюсь, я еще в то время подумал: «Что это за чиновник такой? как будто дежурный, а лицо незнакомое?» Ну-с, хорошо, подхожу я к этому чиновнику и говорю «Доложите их сиятельству, что явился такой-то» — «Не принимают, говорит, их сиятельство нездоровы» Ну, а я с графом был всегда в коротких отношениях, следственно, для меня слово «не принимают» не существовало Вот и пришла мне в голову мысль· дай-ка, думаю, подтруню над молодым человеком,— и, знаете, пресерьезно этак говорю ему «Жаль, говорю, очень жаль, что не принимают» — «Да-с, говорит, не принимают» Только можете себе представить, в это самое

---

[1] в сущности
[2] благовоспитанного

время распахивается дверь кабинета, и выходит оттуда камер-динер князя, Павел Дорофеич . знаете Павла Дорофеича?

— Знаем! знаем! Павла Дорофеича целыи Петербург знает! — кричим мы как-то особенно радостно

— А из-за Павла Дорофеича выглядывает и сам князь «А, говорит, это ты, Гаврил Петрович! а меня, брат, сегодня «прохлады» совсем замучили (он «это» прохладами называл), так я не велел никого принимать... Ну, а тебя можно! » Только, можете себе представить, какую изумленную физиономию скорчил при этом дежурный чиновник!

— Да, интересный случай! — замечает статский советник Генералов, сладко вздыхая

— Случай с запахом,— перебивает Корепанов

— Предобрый старик! — говорит его превосходительство Иван Фомич, поспешая заглушить своим голосом неприятную заметку Корепанова

— Добрый, именно добрый! — не смущаясь, продолжает генерал Голубчиков,— и какое доверие ко мне имел, так это даже непостижимо! Бывало, сидим мы с глазу на глаз я бумаги докладываю, он слушает «А что, Гаврил Петрович,— вдруг скажет,— прикажи-ка, брат, мне трубку подать!» Ну, я, разумеется, сейчас брошусь сам все это сделаю, сам набью, сам бумажку зажгу, сам подам И что ж вы думаете, гос-пода? даже никакой я в это время робости не чувствовал! — точно вот с своим братом, начальником отделения, беседуешь! Он трубочку покуривает, а я бумаги продолжаю докладывать просто как будто ннчего не бывало!

— Жаль, очень жаль будет, если этакого человека лишится отечество! — говорит Иван Фомич

— Н-да . отечество! — повторяет Курилкин, по-видимому возвратившийся к прежнему раздумью

— А еще говорят, что вельможи все горды да неприступны! — продолжает Иван Фомич,— ничуть не бывало!

— Это говорят те, ваше превосходительство,— весьма основательно замечает генерал Голубчиков,— которые настоящих-то вельмож и в глаза не видали А вот как мы с вами и в халатике с ними посиживали, и трубочки покуривали, так действительно можем удостоверить, что вся разница между вельможей и обыкновенным человеком только в том состоит, что у вельможи в обхождении аромат какой-то есть

— «Прохлады»! — ворчит сквозь зубы Корепанов

— Наш князь,— вступается статский советник Генералов,— так тот больше все левой рукой действует И на стул левой рукой указывает, и подает все левую руку.

— А что вы думаете? — говорит генерал Голубчиков,—

ведь это именно правда, что у вельмож левая рука всегда как-то более развита!

— Я полагаю, что в этом свой расчет есть,— глубокомысленно замечает Иван Фомич

— То есть не столько расчет, сколько грация,— возражает Голубчиков.

— Никак нет-с, ваше превосходительство, не грация, а именно расчет-с

— Нет . зачем же непременно «расчет»? Я, напротив того, положительно убежден, что грация,— говорит Голубчиков, задетый за живое настойчивостью Ивана Фомича

— А я, *напротив того, положительно убежден,* что расчет, и имею на это доказательства

— Это очень любопытно!

— И именно я полагаю, что всякий вельможа хочет этим дать понять, что правая рука у него занята государственными соображениями

— Ну-с .. а левая рука тут зачем-с?

— А левая рука, как свободная от занятий, предлагается посетителям-с

— Ну-с... а дальше что-с?

— Ну-с, а дальше то же самое!

— Та-а-к-с!

С прискорбием мы замечаем, что генералы наши не прочь посчитаться друг с другом Известно нам, что между ними издревле существует худо скрытая вражда, основанием которой служит взаимное соперничество по части знакомства с вельможами Поэтому, хотя мы и питаем надежды на деликатность генерала Голубчикова, но вместе с тем чувствуем, что еще одна маленькая капелька, и генеральское сердце безвозвратно преисполнится скорбью. Действительно, он взирает на Ивана Фомича с кротким, но горестным изумлением, Иван же Фомич не только не тронут этим, но, напротив того, устроил руки свои фертом и в этом положении как будто посмеивается над всеми громами и молниями Положение делается до такой степени натянутым, что статский советник Генералов считает своею обязанностью немедленно вмешаться в это дело.

— Я думаю, ваше превосходительство,— обращается он к генералу Голубчикову,— что и в самой грации может быть расчет, точно так же как и в расчете может быть грация ..

— Дело возможное! — отвечает генерал холодно, явно показывая, что он старый воробей, которого никакими компромиссами не надуешь.

Разговор снова заминается, и все мы чувствуем себя несколько сконфуженными. Холодность генерала свинцовой

тучей легла на наше общество, и нет, кажется, столь сильного солнечного луча, который мог бы с успехом разбить эту тучу Мы все знаем, что Голубчиков преамбициозный старик и что едва ли он не единственный из наших аристократов, о котором мы с уверенностью можем сказать, что он в один платок с вельможами сморкается Все мы, прочие, в этих случаях более или менее прилыгаем, и если уверяем иногда, что при таких-то обстоятельствах такой-то князь сказал нам «ты» и назвал «любезнейшим», то этому можно верить и не верить Но генерал Голубчиков действительно вполне чист в этом отношении, и если уж скажет, например, что однажды в его присутствии князь Петр Алексеевич учинил декольте́, то никто не имеет повода усумниться, что это именно так и было «И для чего бы Ивану Фомичу не уступить! — думаем мы, внутренно соболезнуя о происшедшем,— с одной стороны, Ивану Фомичу следовало бы сделать небольшую уступочку, а с другой, и генералу не мешало бы взглянуть на дело поснисходительнее . и все было бы ладно, все было бы смирно и мирно и очень хорошо — так-то! А то вот дернула нелегкая — ахти-хти-хти!» Но покуда мы только рассуждаем, статский советник Генералов уже принимает действительные меры к замирению враждующих сторон Он прежде всего начинает заигрывать с генералом Голубчиковым, как наболее неподатливым

— Не получили ли чего-нибудь от графа насчет «этого» (крестьянского) дела, ваше превосходительство? — спрашивает он

— Получил-с,— упорствует генерал в холодности

— Ваше превосходительство всегда самые верные сведения иметь изволите,— не менее упорно продолжает заигрывать Генералов

— Сам по себе я никаких сведений не имею, но конечно .. доверие его сиятельства одним словом, могу-таки в некоторых делах посодействовать

— Как же с, как же-с, ваше превосходительство! — ведь вы с графом то даже несколько «свои»?

— Даже и не несколько,— отвечает генерал, постепенно смягчаясь,— потому что моя Анна Федоровна положительным образом приходится внучатной племянницей Прасковье Ивановне, а Прасковья Ивановна, как вам известно

— Да, если кто заслужить у графа желает, так это именно что стоит только к Прасковье Ивановне дорогу найти! — восклицаем мы хором

— И представьте, что я открыл это родство совершенно случайно! Однажды прихожу к Прасковье Ивановне по хо-

зяйственным ее делам, а ей вдруг и приди на мысль спросить меня «А что, говорит, ты женат или холостой?» — «Женат, говорю, ваше сиятельство, на Греховой» — «Ах, говорит, да ведь жена-то твоя мне внучатной племянницей приходится!» Начали мы тут разбирать да распутывать — ан и открылось! А не приди ей на мысль спросить меня, так бы оно и осталось под спудом .

Хотя мы неоднократно уже слышали этот анекдот, но считаем долгом и на сей раз выслушать его с полным благоговением Вообще, ничто так не услаждает наших досугов, как разбор родства и свойства сильных мира сего По-видимому, это весьма мало до нас касается, потому что собственно наши родственники суть экзекуторы и экспедиторы, но таково уже свойство людей происхождения благородного, что они постоянно стремятся к сферам возвышенным, низменности же предоставляют низкому классу. Не радостно ли, например, услышать, что граф Алексей Николаич выдает дочь свою замуж за сына князя Льва Семеныча? Не интересно ли при этом сообразить, что за молодою княгинею дано в приданое столько-то тысяч душ, да у молодого князя с своей стороны столько-то тысяч? Не знаю, как в других местах, а в нашем городе и в нашем обществе всякая новая семейная радость наших вельмож поистине составляет семейную радость каждого из нас

— Да, господа, геральдика важная вещь! — продолжает между тем Голубчиков,— нельзя не сожалеть, чго в нашем отечестве наука эта находится еще в младенческом состоянии

Под влиянием всех этих напоминаний Иван Фомич, который доселе пребывал в закоснелости, делает первый шаг, чтоб окончательно смягчить неудовольствие генерала Голубчикова

— И благоприятные известия изволили получить, ваше превосходительство? — вопрошает он заискивающим голосом.

— Самые благоприятные-с

— То есть в каком же роде?

— В самом благонадежном-с. Короче сказать опасений никаких иметь не следует

Генерал окидывает нас торжествующим оком. Мы все легко и весело вздрагиваем, некоторые из нас произносят: «Слава богу!» — и крестятся.

И не оттого совсем мы крестимся, чтоб от «этого» дела был для нас ущерб или посрамление, а оттого единственно, что спокойствие и порядок любим. Сами по себе мы не землевладельцы, и хотя у нас имеются некоторые благоприобретенные

маетности, но они заключаются преимущественно в ломбардных билетах, которые мы спешим в настоящее время променивать на пятипроцентные Итак, не корысть и не холодный эгоизм руководит нашими действиями и побуждениями, а собственно, так сказать, патриотизм Сей последний в различных людях производит различные деиствия. Иных побуждает он лезть на стену, иных стулья ломать нас же побуждает стоять смирно Согласитесь, что и это своего рода действие! Мы до такой степени любим наше отечество в том виде, в каком оно существовало и существует издревле (au naturel[1]), что не смеем даже вообразить себе, чтоб могли потребоваться в фигуре его какие-нибудь изменения. Конечно, мы не хуже других понимаем, что нельзя иногда без того, чтоб фестончик какой-нибудь не поправить. . ну, там помощника, что ли, к становому прикинуть, или даже и целый департаментик для пользы общей сочинить — слова нет! Но все это так, чтоб величия то древнего не нарушить, чтоб гармонию-то прежнюю соблюсти, чтобы всякое дыхание бога хвалило, чтобы и травка — и та радовалась!

Такой образ мыслей, по мнению моему, есть самый благонадежный и основанный на истинном понимании вещей Чтоб сделать мысль мою осязательнее, прибегну к сравнению. Благоразумно ли было бы с моей стороны, если бы я, например, заявил желание, чтоб у генерала Голубчикова был римский нос? Нет, неблагоразумно. Во-первых, потому, что он и ныне состоящим у него на лице учтиво вздернутым башмачком приводит в трепет сердца всех повивальных бабок, а во-вторых, потому, что месторождение римских носов — Рим, а не Россия (самое название достаточно о том свидетельствует) Другой вопрос: благоразумно ли было бы, если бы я пожелал, чтоб на скотном дворе пахло фиалкой, а не навозом? Нет, неблагоразумно, ибо запах фиалки приличествует гостиным, а не скотным дворам Примеров подобного рода безумных желаний можно привести множество, но и приведенных двух, кажется, вполне достаточно, чтоб убедить всех и каждого, что в иных случаях желание нововведений и каких-то там перемен совершенно равносильно тому, как бы кто настаивал, чтоб у отечества нашего вырос римский нос

— Итак, это дельце в архив можно сдать? — говорит Иван Фомич, весело потирая руки

— Как видно-с.

— Да-с, это, что называется

— Всегда должно было ожидать.

---

[1] в натуральном виде.

— А ведь сначала-то оно было пошло .. тово ..

— Да, бойко, бойко было пошло

— Политика — и больше ничего!

— Конечно, политика! Да оно и натурально,— продолжает ораторствовать Голубчиков,— мы только тем и крепки, господа, что никогда никаких вредных нововведений не принимали, а жили, с помощью божией, как завещали нам предки.

— Однако Петр Великий, ваше превосходительство? .— учтиво замечает Генералов

— Ну что ж хоть и Петр Великий! бороды сбрить приказать изволил — и больше ничего!

— Регулярное войско завел-с! — диким голосом отзывается из отдаленного угла батальонный командир, который упорно молчал, покуда, по его мнению, разговор касался гражданской части

— Уж Петр Михайлыч не может утерпеть без того, чтоб за свою часть не заступиться! — говорит Иван Фомич, ласково подмигивая.

— В гражданскую часть не вступаюсь-с, а своего дела не упущу с! — как-то особенно исправно скандует командир, как будто получает за это благодарность по корпусу

— Ну что ж!.. хоть бы и регулярное войско! — не сму щается Голубчиков,— это только для спокойствия — и больше ничего! Однако никаких этаких машин или, например, чтоб Иван назывался Матвеем, а Матвей Сидором (как нынче) — ничего этого не бывало!

— А нынче это бывает? — любознательно спрашивает Корепанов

— Бывает-с,— холодно отвечает Голубчиков

Нет сомнения, что размышления и соображения насчет величественного хода нашей истории могли бы завлечь нас довольно далеко, но появление милой хозяйки дома весьма естественно прерывает тонкую нить наших исторических разысканий Анна Федоровна издревле пользуется репутацией любезности и неотразимой очаровательности. Еще в Казани. в доме своих родителей, она уже умела быть самою приятною и самою занимательною изо всех туземных девиц, несмотря на то что в этом городе, при помощи разных учебных заведе ний, уровень любезности вообще стоит довольно высоко. По том, приняв к себе в компанию генерала Голубчикова, Анна Федоровна сделала с ним не столько артистическое, сколько полезное путешествие по России, успела очаровать Пермь, оставила отрадное впечатление в Рязани и овладела всеми сердцами в Симбирске В настоящее время она председательствует в нашем городе, и председательствует с тем тактом,

который ясно свидетельствует, что, и не выходя из министерства финансов, женщина может оставаться обворожительною Хотя она является в нашем (мужском) обществе на минуту, тем не менее ни одного из нас не оставит без того, чтоб не подарить какою-нибудь любезностью, доказывая тем осязательно, что для умной женщины минута имеет не шестьдесят секунд, а столько, сколько ей захочется Мне сказывали (не знаю, в какой степени это достоверно), что она даже секретаря своей палаты не оставляет без вопроса о здоровье жены и детей его в то время, когда этот достойный муж, посидев с утренним визитом в кабинете его превосходительства, с пустыми руками и красный как рак перебегает через зал в прихожую

— Вы, конечно, серьезными делами заняты, messieurs? [1] — обращается она, окидывая всех нас ласковым взором.

— Нет, тряпками! — любезно отзывается генерал, который между дамами нашего общества пользуется репутацией милого гроньяра [2]

— Однако мужчины имеют о бедных женщинах самое обидное понятие! как будто мы только и можем быть заняты что тряпками.. — говорит генеральша, слегка вздыхая

И затем, сделав каждому из нас приятный вопрос («la santé de madame est toujours bonne?» [3] или. «а у вашего Колечки уже прорезались зубки, Иван Фомич?»), она удаляется, увлекши за собой во внутренние покои Корепанова, который, как человек молодой и холостой, может, конечно, принести больше удовольствия ее demoiselles [4], нежели нам.

После этого из внутренних покоев к нам высылается превосходно сервированный чай с превкусными сдобными булками, причем генерал весьма приветливо замечает: «Вот это так дамское дело хозяйничать. чай разливать»...

— А ведь русский народ именно добрый народ! — говорит Иван Фомич, который, как любитель отечественной старины (он в свое время, служа в департаменте, целый архив в порядок привел), сгорает нетерпением навести разговор на прежнюю тему.

— Кроткий народ! — подтверждает генерал Голубчиков.

— И терпелив-с! — отзывается командир

— Н-да; этакой народ стоит того, чтоб о нем позаботиться! — говорит генерал, и в глаза его внезапно закрадывается

---

[1] господа
[2] ворчуна
[3] *как здоровье вашей супруги?*
[4] барышням

какое-то удивительное блаженство, чуть-чуть лишь подернутое меланхолией, как будто он в ту же минуту рад-радехонек был бы озаботиться, но это не от него зависит

— В нынешнем году все пайки простил-с! — вмешивается командир.

- Все? — спрашивает Голубчиков, вконец побежденный таким великодушием

— Решительно все-с!

— Какая, однако ж, похвальная черта!

— Желательно было бы, знаете, изучить его,— предлагает Иван Фомич.

— То есть в каком же это смысле?

— Ну там нужды желания

— Гм я, однако ж, не думаю, чтоб это могло принести ожидаемую пользу.

— Почему же, ваше превосходительство?

— А потому, ваше превосходительство, что тут нет именно того, что мы, люди образованные, привыкли разуметь под именем нужд и желаний

— Согласитесь, однако ж, что нужды и желания могут рождаться не только сами по себе, но и посредством возбуждения, ваше превосходительство! Оставьте, например, меня в покое — ну, я, конечно, не буду иметь ни нужд, ни желаний, а предпиши-ка мне кто-нибудь. «Ты, любезный, обязан иметь нужды и ощущать желания» поверьте, ваше превосходительство, что те и другие явятся непременно!

— Все это очень может быть, но позвольте один нескромный вопрос лучше ли будет?

— Если ваше превосходительство изволите рассматривать вопрос с этой точки зрения .

— Не видим ли мы примеров, что желания только отравляют жизнь человека?

— Этого, конечно, нельзя отрицать-с

— Не встречаем ли мы на каждом шагу, что те люди самые счастливые, у которых желания ограниченны, а нужды не выходят из пределов благоразумия?

— Это всеконечно-с .

— Следовательно, ваше превосходительство, на это дело надо взглянуть не с одной, а с различных точек зрения .

Иван Фомич соглашается безусловно, и разговор, по видимому, истощается Сознаюсь откровенно, мы не недовольны этим. Уже давно заглядываемся мы на зеленые столы, расставленные в зале, а искреннии приятель мой, Никита Федорыч Птицын (званием помещик), еще полчаса тому назад, предварительно толкнув меня в бок, сказал мне по секрету: «Что

за чушь несут наши генералы! давно бы пора за дело, а потом и водку пить!» И хотя я в то время старался замять такой странный разговор, но внутренно — не смею в том не покаяться! — не мог не пожелать, чтоб Иван Фомич как можно скорее согласился с генералом и чтоб все эти серьезные дела были отложены

Но и на этот раз надеждам нашим не суждено сбыться, потому что едва лишь генерал открывает рот, чтоб сказать: «А не пора ли, господа, и за дело?» — как двери с шумом отворяются, и в комнату влетает генерал Рылонов (в сущности, он не генерал, но мы его в шутку так прозвали), запыхавшийся и озабоченный.

— Слышали, ваше превосходительство? — обращается он к хозяину дома. — Шалимов в трубу вылетел!

— Съел Забулдыгин! — восклицаем мы хором

— Скажите пожалуиста! — отделяется голос Голубчикова,— и так-таки без всяких онёров?

— Безо всего-с, даже никуда не причислен-с

— Что называется, умер без покаяния! — справедливо замечает Иван Фомич.

Пехотный командир дико гогочет Голубчиков долго не может прийти в себя от удивления и время от времени повторяет: «Скажите пожалуйста!»

— А ведь нельзя сказать, чтоб глупый человек был! — говорит Генералов

— Ничего особенного,— возражает Рылонов.

— Все около свечки летал!

— А главное, то забавно, что свечку-то нашу сальную за солнце принимал

— Ан и обжег крылушки!

— Ах, господа, господа! Как знать, чего не знаешь! Как солнышка-то нет, так и сальную свечку поневоле за солнце примешь! — говорит Голубчиков, впадая, по случаю превратности судеб, в сугубую сентиментальность

— Все, знаете, какого-то смысла искал .

— Даже в нашей канцелярской работе .

— Смешно слушать!

— Всех столоначальников с ног смотал!

— И что, например, за расчет был ссориться с Забулдыгиным? — продолжает Голубчиков,— решительно не могу понять! Я сам вот, как видите, не раз ему говорил «Да плюньте вы на него, Николай Иваныч!» Так нет, куда тебе «Плюнуть-то, говорит, я на него, пожалуй, плюну, только ведь и растереть потом надо, ваше превосходительство!»

— Ан вот и растирай теперь!

— Грани теперь в Питере мостовую, покуда приличное место отыщешь...

— Это, как по-нашему говорится. cherche![1] — замечает командир

— А плюнул бы, так и все бы ладно!

— Оно конечно, ваше превосходительство, что лучше плюнуть, но ведь, с другой стороны, и сердце иногда болит! — возражает статский советник Генералов

— И ой-ой, еще как болит! — развивает Иван Фомич.

— И все-таки плюнуть! — упорствует Голубчиков,— да помилуйте, господа, что ж это за ребячество! Ну, вы представьте себе, например, меня, ну, иду я по улице и встречаю на пути своем неприличную кучу Неужели я стану огрызаться на нее за то, что она на пути моем легла? нет, я плюну на нее и, плюнувши, осторожно обойду.

— Нет-с, ваше превосходительство, я насчет этого не могу пристать к вашему мнению,— возражает Иван Фомич,— конечно, на кучу, так сказать, неодушевленную и, следовательно, не своим произволом накиданную, сердиться смешно, но в овраг ее свалить все-таки следует-с

— А если овраг уж завален?

— И, ваше превосходительство! в губернском городе чтоб не нашлось места для нечистот! — да это боже упаси!

— А я все-таки продолжаю утверждать, что следует плюнуть, и больше ничего!

— Нет, вы мне объясните, за что они передрались? — спрашивает Генералов

— Да верно ли это?

— Ты, генерал, не соврал ли?

— Ведь ты, ваше превосходительство, здоров врать-то!

— Помилуйте-с, сейчас из клуба-с, Забулдыгин сам всем рассказывает!

— Чай, шампанское на радостях лакает?

— Не без того-с

— Ну, значит, крупно наябедничал!

— А жаль молодого человека Еще намеднись говорил я ему: «Плюньте, Николай Иваныч!» — так нет же!

Для объяснения этой сцены считаю не излишним сказать несколько слов о Шалимове и Забулдыгине

Шалимова мы вообще не любили Человек этот, будучи поставлен природою в равные к нам отношения, постоянно предъявлял наклонности странные и даже отчасти подлые. Дружелюбный с низшим сортом людей, он был самонадеян и

---

[1] нищи!

даже заносчив с равными и высшими К красотам природы был равнодушен, а к человеческим слабостям предосудительно строг. Глумился над пристрастием генерала Голубчикова к женскому полу, хотя всякий благомыслящий гражданин должен понимать, что человек его лет (то есть преклонных), и притом имеющий хорошие средства, не может без сего обойтись. Действия Забулдыгина порицал открыто и (что всего важнее) позволял себе разные колкости насчет его действительно не соответствующего своему назначению носа Вообще же видел предметы как бы наизнанку и походил на человека, который, не воздвигнув еще нового здания, желает подкопаться под старое. Желание тем более пагубное, что в последнее время уже неоднократно являлись примеры исполнения его. Следовательно, удаление такого человека должно было не огорчить, но обрадовать нас И думаю, что принесенное Рылоновым известие произвело именно подобного рода действие, хотя же генерал Голубчиков и заявил при этом некоторое сожаление, но должно полагать, что это сделано им единственно по чувству христианского человеколюбия

Что же касается Забулдыгина, то человек этот представляет некоторый психический ребус, доселе остающийся неразгаданным По-видимому, и в мнениях о природе вещей он с нами не разнствует, и на откупа смотрит с разумной точки зрения, и в гражданских доблестях никому не уступит, тем не менее есть в нем нечто такое, что заставляет нас избегать искренних к нему отношений. Это «нечто» есть странный некий административный лай, который, как бы независимо от него самого, природою в него вложен Иной раз он, видимо, приласкать человека хочет, но вдруг как бы чем-либо поперхнется и, вместо ласки, поднимет столь озлобленный лай, что даже вчуже слышать больно Такие люди бывают. Иной даже свой собственный нос в зеркале увидит и тут уже думает: «А славно было бы, кабы этот поганый нос откусить или отрезать!» Но если он о своем носе так помышляет, то как мало должен пещись о носах, ему не принадлежащих! Очевидно, сии последние не могут озабочивать его нисколько Многие полагают, что озлобление Забулдыгина происходит частью от причин гастрических (пьянства и обжорства), частью же от огорчения, ибо, надо сказать правду, Забулдыгин немало-таки потасовок в жизни претерпел. Но нам от этого не легче, потому что лай Забулдыгина не только на Шалимова с компанией, но и на всех нас без различия простирается, хотя с нашей стороны, кроме уважения к отеческим преданиям и соблюдения издревле установленных в палатах обрядов, ничего противоестественного или пасквильного не допускается.

А потому в сем отношении поступки Забулдыгина я ни с чем другим сравнить не умею, кроме злобы ограниченной от природы шавки, лающей на собственный свой хвост, в котором, от ее же неопрятности, завелись различные насекомые

Пора, однако ж, кончить с Шалимовым и Забулдыгиным, воспоминание о которых отравляет приятные часы нашего существования Уже давно ждут нас гостеприимные зеленые столы, и генерал Голубчиков с любезной улыбкой останавливается перед каждым из нас, предлагая по карточке В продолжение последующих двух часов со всех сторон раздаются лишь веселые возгласы, и могу сказать смело, что даже проигрыш денег, обыкновенно располагающий человека к скорби и унынию, не нарушает общего приятного настроения духа.

В особенности отличается пехотныи командир, который за картами хочет вознаградить себя за несколько часов тягостного молчания, наложенного им на себя в продолжение вечера

— Греческий человек Трефандос! — восклицает он, выходя с треф

Мы все хохочем, хотя Трефандос этот является на сцену аккуратно каждый раз, как мы садимся играть в карты, а это случается едва ли не всякий вечер

— Фики! — продолжает командир, выходя с пиковой масти.

— Ой, да перестань же, пострел! — говорит генерал Голубчиков, покатываясь со смеху,— ведь этак я всю игру с тобой перепутаю

Таким образом мы приятно проводим остальную часть вечера, вплоть до самого ужина

Кто что ни говори, а карты для служащего человека вещь совершенно необходимая День-то-деньскои слоняясь по правлениям да по палатам, поневоле умаешься и захочешь отдохнуть А какое отдохновение может быть приличнее карт для служащего человека? Вино пить — непристойно, книжки читать — скучно, да и пишут нынче все какие-то безнравственности, разговором постоянно заниматься — и нельзя, да и материю не скоро отыщешь; с дамами любезничать — для этого в наши лета простор требуется, на молодых утешаться — утешенья-то мало видишь, а все больше озорство одно Словом сказать, везде как будто пустыня А карты — святое дело! За картами и время скорее уходит и сердцу волю даешь, да и не проболтаешься. Иной раз и чешется язык что-нибудь лишнее сказать, ан тут десять без козырей соседу придет — ну и промолчишь поневоле Нет, карты именно благодетельная для общества вещь — это не я один скажу.

Но вот и ужин Кушанья подаются не роскошные, но сытные и здоровые Подкрепивши себя рюмкой водки, мы весело садимся за стол и с новою силой возобновляем прерванную преферансом беседу Вспоминается милое старое время, вспоминаются молодые годы и сопровождавшие их канцелярские проказы, вспоминаются добрые начальники, охранители нашей юности и благодетели нашей старости,— и быстро летят часы и минуты под наплывом этих веселых воспоминаний!

Так проводим мы свободные от служебных занятий часы, и могу сказать по совести, что наступающий затем сумрак ночи не вызывает за собой никаких видений, которые могли бы возмутить наш душевный покой И в самом деле, перелистывая книгу моей жизни (книгу, для многих столь горькую), я нахожу в ней лишь следующее:

Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате, где пользовался правами и преимуществами, предоставленными мне законом и древними обычаями родины; обедал, после обеда отдыхал, вечер же провел в безобидных для ближнего разговорах и увеселениях.

Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате и т д., то есть одно и то же ровно столько раз, сколько, по благости провидения, суждено будет прожить мне дней в земной сей юдоли.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТИШЬ

Утро Кондратий Трифоныч Сидоров спал ночь скверно и в величайшей тоске слоняется по опустелым комнатам деревенского своего дома. Комнат целый длинный ряд, и слоняться есть где, некогда он гордился этим рядом зал, гостиных, диванных и проч и даже называл его анфиладою, произнося *н* несколько в нос, теперь он относится к анфиладе иронически и, принимая гостей, говорит просто «А вот и сараи мои!»

На дворе зима и стужа; в комнатах свежо, окна слегка запушило снегом, вид из этих окон неудовлетворительный: земля покрыта белой пеленою, речка скована, людские избы занесло сугробами, деревня представляется издали какою-то безобразною кучею почерневшей соломы... бело, голо и скучно!

Походит-походит Кондратий Трифоныч — и остановится. Иногда потрет себе ладонью по животу и слегка постоит, иногда подойдет к окну и побарабанит в стекло Вон по дороге едут в одиночку сани, в санях завалился мужик, проезжает мимо барского дома и шапки не ломает

«Ладно!» — думает Кондратий Трифоныч.

И опять начинает ходить по своим сараям, и опять остановится Посмотрит на сапоги, просторно ли они сидят на ноге, вытянет ногу, чтоб удостовериться, крепко ли штрипки пришиты и не морщат ли брюки

— Ванька! квасу! — кричит Кондратий Трифоныч

Ванька бежит из лакейской и подает на подносе стакан с пенящимся квасом Но Кондратию Трифонычу кажется, что он не подает, а сует

— Что ты суешь? что ты мне суешь? — вскидывается он на Ваньку

— Ничего я не сую! — отвечает Ванька

«Ладно!» — думает Кондратий Трифоныч

И опять начинается ходьба Кондратий Трифоныч останавливается перед стенными часами и пристально смотрит на циферблат; посредине циферблата крупными буквами изображено: London, а внизу более мелким шрифтом Nossoff à Moscou Все это он сто раз видел, над всем этим сто раз острил, но он все-таки смотрит, как будто хочет выжать из надписи какую-то новую, неслыханную еще остроту Часы стучат мерно и однообразно: тик-так, тик-так; Кондратий Трифоныч вторит им: «тикё-такё, тикё-такё», притопывая в такт ногою Наконец и это прискучивает, он снова подходит к окну и начинает вглядываться в деревню Оттуда не слышно ни единого звука; только серые дымки вьются над хижинами добрых поселян. Кондратию Трифонычу, неизвестно с чего, приходит на мысль слово «антагонизм», и он начинает петь «Антагонизм! антагонизм!», выговаривая букву *н* в нос Все это заканчивается свистом, на который опять вбегает Ванька

— Ты что на меня глаза вытаращил? — напускается на него Кондратий Трифоныч

— Ничего я не вытаращил! — отвечает Ванька

— Ладно! — говорит Кондратий Трифоныч,— пошел, позови Агашку!

Через минуту является Ванька и докладывает, что Агашка не идет.

— Почему ж она не идет?

— Говорит: не пойду!

— Только и говорит?

— Только и говорит!

— Ладно!

В голове Кондратия Трифоныча зреет мысль: он решается все терпеть, все выносить до приезда станового. Поэтому, хотя внутри у него и кипит, но он этого не выражает; он даже никому не возражает, а только думает про себя: «Ладно!» — и помалчивает до приезда станового.

Не дальше как вчера на ночь Ванька снимал с него сапоги и вдруг ни с того ни с сего прыснул

— Ты чему, шельма, смеешься? — полюбопытствовал Кондратий Трифоныч

— Ничего я не смеюсь! — отвечал Ванька

— Этакая бестия! смеется, да тут же в глаза еще запирается!

— Чего мне запираться? кабы смеялся, так бы и сказал, что смеялся! — упорствовал Ванька

— Ладно!

С этих пор в нем засела мысль, с этих пор он решился тер-

петь Одно только смущает его все свои грубости Ванька производит наедине, то есть тогда, когда находится с Кондратьем Трифонычем с глазу на глаз Выйдет Кондратий Трифоныч на улицу — Ванька бежит впереди, снег разгребает. спрашивает, не озябли ли ножки; придет к Кондратию Трифонычу староста — Ванька то и дело просовывает в дверь свою голову и спрашивает, не угодно ли квасу

— Услуга-парень! — замечает староста

— Гм да услуга! — бормочет Кондратий Трифоныч и обдумывает какой-то план

Он считает обиды, понесенные им от Ваньки, и думает, как бы таким образом его уличить, чтоб и отвертеться было нельзя Намеднись, например, Ванька, подавая барину чаю, скорчил рожу, если бы можно было устроить, чтоб эта рожа так и застыла до приезда станового, тогда было бы неоспоримо, что Ванька грубил В другой раз на вопрос барина, какова на дворе погода, Ванька отвечал: «Сиверко-с»,— но отвечал это таким тоном, что если бы можно было, чтоб тон этот застыл в воздухе до приезда станового, то, конечно, никто бы не усумнился, что Ванька грубил И еще раз, когда барин однажды делал Ваньке реприманд по поводу нерачительно вычищенных сапогов, то Ванька, ничего не отвечая, отставил ногу, если бы можно было, чтоб он так и застыл в этой позе до приезда станового, тогда, разумеется

— Нет, хитер бестия! ничего с ним не поделаешь! — восклицает Кондратий Трифоныч и ходит, и ходит по своим сараям, ходит до того, что и пол-то словно жалуется и стонет под ногами его: да сядь же ты, ради Христа!

Он уже давно заметил, что между ним и Ванькой поселилась какая-то холодность, какая-то натянутость отношений. Услышавши, что об этом предмете весьма подробно объясняется в книжке, называемой «Русский вестник», он съездил к соседу, взял у него книжку и узнал, что подобная натянутость отношений называется сословным антагонизмом.

— Ну, а дальше что? — допрашивал Кондратий Трифоныч, но книжка говорила только, что об этом предмете подробнее объясняется в другой такой же книжке

— Оно конечно,— рассуждал по этому поводу Кондратий Трифоныч,— оно конечно Ванька сапоги чистит, а я их надеваю, Ванька печки топит, а я около них греюсь.. ну да, это оно!

И с тех пор слово «антагонизм» до такой степени врезалось в его память, что он не только положил его на музыку, но даже употребляет для выражения всякого рода чувств и мыслей

И ходит Кондратий Трифоныч по своим опустелым сараям,

ходит и останавливается, ходит и мечтает. Мало-помалу мысль его оставляет Ваньку-подлеца и обращается к другим предметам. Он думает о том, что вдруг будущим летом во всех окрестиых имениях засуха, а у него у одного все дожди, все дожди, что окрестные помещики не соберут и на семена, а он все сам-десят, все сам десят. Он думает о том, что кругом все тихо, а у него в имении вдруг землетрясение! слышится подземный шум, люди в смятении, животные в ужасе . вдруг — вв!.. зз! жж! . и, о радость, на том самом месте, где у него рос паршивый кустарник, в одну минуту вырастает высокий и частый лес, за который ему с первого слова дают по двести рублей за десятину Он думает о том, что мужики его расторговались, что они помнят его благодеяния и подносят ему соболью шубу в пятнадцать тысяч рублей серебром Он думает о том, что в Москве сгорело все сено, сгорели все дрова и неизвестно куда девался весь хлеб, что у него, напротив того, вследствие собственной благоразумной экономии, а также вследствие различных поощрений природы, всего этого накопилось множество, что он возит и продает, возит и продает Он думает о том, что вышло повеление ни у кого ничего не покупать, кроме как у него, Сидорова, за то, что он, Сидоров, в такую-то достопамятную годину пожертвовал из крестьянского запасного магазина столько-то четвертей, да потом еще столько-то четвертей, и тем показал ревность беспримерную и чувствительность, подражания достойную. Он думает о том, что в доме его собрались окрестные помещики и что он им толкует о превосходстве вольнонаемного труда над крепостным. «Конечно, господа,— говорит он им,— в настоящее время помещик не может получать дохода, сидя на месте сложа руки, как это бывало прежде, конечно, он прежде всего должен употребить свой личный труд, свою личную, так сказать, распорядительность»

Но вот мысли его от усиленной работы начинают мешаться Перед глазами его от беспрерывного коловратного движения показываются зеленые круги, белая колокольня, стоящая перед барским домом, начинает словно подплясывать, дворовая баба, проходящая по двору, словно не идет, а на одном месте пошатывается, и что-то у ней под фартуком, что-то у ней под фартуком

— Есть, что ли, мне хочется? — спрашивает сам себя Кондратий Трифоныч и с злобою замечает, что часовая стрелка показывает только десять

— А ведь у ней под фартуком что-то есть,— продолжает он, но не дает своим предположениям дальнейшего развития, а только прибавляет — Ладно!

Надоело ходить, надоело мыслить Кондратий Трифоныч садится на диван и примечает, что пыль со стола не сметена В былое время, то есть до «антагонизма», он вскипел бы при виде такого беспорядка, он кликнул бы Ваньку и тут же задал бы ему трепку. Теперь этот беспорядок приносит ему более удовольствия, нежели огорчения, ибо он видит в нем улику.

— Ванька! — кричит Кондратий Трифоныч, и в голосе его слышится уже торжество победы,— это что?

— Стол-с,— отвечает Ванька с самым невозмутимым хладнокровием

— А на столе что?

— Пыль-с

— Ну?

Ванька молчит.

— Ладно! — говорит Кондратий Трифоныч и через минуту имеет удовольствие слышать, как Ванька хихикает с кем-то в передней

Кондратий Трифоныч снова предается мечтаниям Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы он был живописцем, тогда он срисовал бы нахальную Ванькину рожу в тот момент, когда он отвечает· «Пыль-с»,— и представил бы эту картинку становому Но с другой стороны, где же ручательство, что становой не примет этой картинки за вымышленное произведение собственной его, Кондратия Трифоныча, фантазии? где свидетели, которые подтверждали бы, что Ванька, отвечая «Пыль-с», имел именно такое, а не иное выражение лица?

— О, черт побери! Эти приказные вечно с своими канцелярскими закавычками! — восклицает Кондратий Трифоныч и начинает выискивать мечтаний более практических

Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы становои вдруг в эту самую минуту вырос из земли, так чтоб Ванька не опомнился и никак не успел стереть пыль со стола. Представляет он себе изумленную, ополоумевшую морду Ваньки и невольно и сладко хихикает

— «Пыль-с»,— дразнит он Ваньку, почти подплясывая на месте

— Это что? — грозно спрашивает Ваньку воображаемый становой

— «Пыль с»,— опять дразнится Кондратий Трифоныч и опять подплясывает на месте

Становои наконец убеждается, он приказывает срубить целую березу и вручает ее десятским. Ваньку уводят На другое утро Ванька является шелковый, целый день все что-то чистит и стираег, целый день метет пол и оправляет баринову

постель, целый день ставит самовары и мешает в печках дрова...

Но, с другой стороны (о, черт возьми!), где же ручательство, что становой именно велит березу срубить? Где ручательство, что он не ответит Кондратью Трифонычу, что он и сам мог бы стереть пыль со стола?

— О, черт побери! эти приказные вечно с своими канцелярскими закавычками! — восклицает Кондратий Трифоныч и начинает выискивать мечтаний еще более практических

Он мечтает, что никаких закавычек больше нет, что он призывает станового (который нарочно тут и стоит, чтоб закавычек не было) и говорит ему: «Ванька мне мину сделал!»

— Сейчас с,— говорит становой и летит во весь дух распорядиться.

Потом он опять призывает станового и говорит ему: «Ванька пыли со стола не стер!»

— Сейчас-с,— говорит становой и летит распорядиться

Но вот и опять мысли мешаются, опять образуются зеленые круги, опять подплясывает белая длинная колокольня. Надоело сидеть, надоело мыслить...

— Черт знает, есть, что ли, мне хочется? — опять спрашивает себя Кондратий Трифоныч и с тоскою взглядывает на часы. Тоска обращается в ненависть, потому что часовая стрелка показывает половину одиннадцатого

— За попом, что ли, спосылать? — рассуждает сам с собой Кондратий Трифоныч и тут же решает, что спосылать необходимо.

Кондратий Трифоныч малый не злой и даже покладистый для своих домочадцев, но с некоторого времени нрав у него странным образом переменился Ванька, с свойственною ему легкомысленностью, отзывался об этой перемене, что Кондратий Трифоныч спятил, ключница Мавра выражалась скромнее и говорила, что барин задумывается, что на него находит. Как бы то ни было, но перемена существовала и произошла едва ли не в ту самую минуту, как он прочитал, что есть на свете какой-то сословный антагонизм С тех самых пор он вообразил себе, что он — одна сторона, а Ванька — другая сторона и что они должны бороться Ванька представлял собою интересы всех чистящих сапоги и топящих печки, Кондратий Трифоныч — интересы всех носящих сапоги и греющихся около истопленных печей Ясно, что стороны эти не могут понимать друг друга и что из этого должен произойти антагонизм И вот он борется утром, борется за обедом, борется до поздней ночи. Но Ванька не понимает, что такое антагонизм, и, очевидно, уклоняется от борьбы Он исправляет свои обязанности

по-прежнему, то есть по-прежнему не стирает пыли со столов, по прежнему забывает закрыть трубы в печах, а Кондратий Трифоныч видит во всем грубые мины, злостные позы à la неглиже с отвагой и старается Ваньку изобличить. Из этого выходит, что Ванька, как только забьется в переднюю, первым делом начинает хихикать и представляет, как барин к нему пристает Кондратий Трифоныч слышит это и говорит: «Ишь, шельма, смеется!», а того никак понять не хочет, что Ванька даже и не подозревает, что ему, Кондратию Трифонычу, хочется борьбы И таким образом умаявшись к вечеру, оба засыпают; Кондратий Трифоныч видит во сне, что он сделался медведем, что он смял Ваньку под себя и торжествует, Ванька видит во сне, что он третьи сутки все чистит один и тот же сапог и никак-таки вычистить не может

— Что за чудо! — кричит он во сне и как оглашенный вскакивает с одра своего

«Ишь ведь, каналья, даже во сне не оставляет в покое!» — думает в это время Кондратий Трифоныч, пробужденный неестественным криком Ваньки

И таким образом проходят дни за днями Выигрывает от этого положительно один Кондратии Трифоныч, потому что такое препровождение времени, по крайнеи мере, наполняет пустые дни его С тех пор как завелось «превосходство воль нонаемного труда над обязательным», с тех пор как, с другой стороны, опекунский совет закрыл гостеприимные свои двери, глуповские веси уныли и запустели. Заниматься решительно нечем, да и не для чего все равно ничего не выйдет. Говорят, будто это оттого происходит, что кредиту нет и что Сидорычам подняться нечем, может быть, жалоба эта и справедлива, однако до Сидорычей ни в каком случае относиться не может Недостаток кредита не губит, а спасает их, потому что, будь у них деньги, они накупили бы себе собак, а не то чтоб что-нибудь для души полезное сделать. А то еще подниматься! Повторяю: веси приуныли и запустели; в весях делать нечего, потому что все равно ничего не выйдет То, что оживляло их в бывалые времена, как-то· взаимные банкеты и угощения, а также распоряжения на конюшне, то в настоящее время не может уже иметь места: первые — по причине недостатка кредита, вторые — потому что не дозволены. Каким же образом убить, как издержать распроклятые дни свои? Поневоле ухватишься за антагонизм, хотя, в сущности, никакого антагонизма нет и не бывало, а было и есть одно. «Вы наши кормильцы, а мы ваши дети!» Вот и Кондратий Трифоныч ухватился за антагонизм, и хотя он не сознается в этом, но все-таки жизнь его с тех пор потекла как-то полнее. По крайней мере, теперь

у него есть политический интерес, есть политический враг. Ванька, против которого он направляет всю деятельность своих умственных способностей. Смотришь, ан день-то и канул незаметным образом в вечность, а там и другой наступил, и другой канул ..

Но вот и батюшка пришел; Кондратий Трифоныч слышит, как он сморкается и откашливается в передней, и в нетерпении ворчит

— О, чтоб!.. сморкаться еще выдумал!..

Батюшка — человек маленький, рыхленький, лицо имеет благостное, но вместе с тем и угрожающее, как будто оно говорит. «А вот погоди! скажу я тебе ужо проповедь!» Ходит батюшка, словно лебедь плывет, рукой действует размашисто, говорит размазисто. Нос у него, вследствие внезапного перехода со стужи в тепло, влажен, на усах висят ледяные сосульки.

— Скука, отче! — говорит Кондратий Трифоныч после взаимных приветствий

— Можно молитвою развлечься! — отвечает батюшка, и при этом лицо его осклабляется.

— Ну вас!

Молчат

— Сидел-сидел, молчал-молчал,— начинает Конратий Трифоныч,— инда дурость взяла! черт знает чего не передумал! хоть бы ты, что ли, отче, паству-то вразумил!

— Разве предосудительное что заметить изволили? — отвечает батюшка, и лицо его выражает жалость, смешанную с испугом

— Да что! грубят себе поголовно, да и шабаш!

— Непохвально!

— Просто житья от хамов нет!

— В ком же вы наиболее такое настроение замечать изволили, Кондратий Трифоныч?

— Во всех! От мала до велика — все грубят! Да как еще грубить-то выучились! Ни слова тебе не говорит — а грубит! служит тебе, каналья, стакан воды подает — а грубит!

Батюшка тоскливо помотал головой и крякнул

— И во многих такое настроение замечаете? — брякнул он, позабыв. что повторяет свой прежний вопрос

— Да говорят же тебе во всех! во всех! Ну, слышишь ли ты во всех! во всех!

Батюшка слегка привскакнул и откинулся назад, как будто обжегся. Опять молчат.

— Что ж это за скука такая! — начинает Кондратий Трифоныч,— закуску, что ли, велеть подать?

— Во благовремении и пища невредительна бывает.
— А не во благовремении как?
Батюшка опять привскакивает и откидывается назад
— Ну, и сиди не евши зачем пустяки говоришь!
Молчат.
— Не люблю я, когда ты пустяки мелешь!
Молчат
— И кого ты этими пустяками удивить хочешь?
Батюшка краснеет, Кондратий Трифоныч тяжко вздыхает и произносит
— Ох, скука-то, скука-то какая!
— Время неблагопотребное,— рискует батюшка, но тут же обнаруживает беспокоиство, потому что Кондратий Трифоныч смотрит на него сурово
— И откуда ты этаким глупым словам выучился! говорил бы просто· непотребное время! И не надоело тебе язык-то ломать! — строго говорит Кондратий Трифоныч.
Опять водворяется молчание, изредка прерываемое глубокими вздохами Кондратия Трифоныча Батюшка вынимает платок из кармана и начинает вытирать им между пальцев.
— Что это я все вздыхаю! что это я все вздыхаю! — произносит Кондратий Трифоныч
— О гресех — начал было батюшка, но не окончил, а только пискнул
— Тьфу ты!
Молчат
— А ты слышал, что Скуракин на днях такого же вот, как ты, попа высек? — спрашивает внезапно Кондратий Трифоныч
— Сс стало быть, следствие наряжено?
— Да, брат. тоже вот все говорил «о гресех» да «благоутробно» — ну, и высек!
Всю эту историю Кондратий Трифоныч сейчас только что выдумал, и никакого попа Скуракин не сек Но ему так понравилась его выдумка, что он даже повеселел.
— Да, брат, права наши еще не кончились! Вот вздумал высечь — и высек! Ищи на нем!
— Однако, позвольте, Кондратий Трифоныч, осмеливаюсь я думать, что господин Скуракин поступил не по закону!
— Ну! по какому там еще закону! Известно, секут не по закону, а по обычаю!
— Позвольте, Кондратий Трифоныч! я все-таки осмеливаюсь полагать, что господин Скуракин не имел никакого права!
— Высек — и все тут!
— Высечь недолго-с .

— Ну да . и долго, и не долго а высек!

Батюшка крякнул; он видимо был обижен. Что ж это такое, в самом деле? И с какой стати Кондратий Трифоныч завел такую пустую материю? и не заключают ли слова его фигуры иносказания?

— Стало быть, этак всех высечь можно? — произнес он с видимым волнением.

— Всех!

— Стало быть, и...— Батюшка не договорил.

— Стало быть, и. .

Батюшка обиделся окончательно Мало-помалу он так разревновался, что даже встал и начал прощаться.

— Уж я, Кондратий Трифоныч, лучше в другой раз приду, когда улучится более благоприятная минута,— сказал он.

— Ну, да постой! куда ты! это ведь я пошутил!

— Неблагообразно шутить изволите!

— Фу, черт! опять ты с своим благоутробием! да говорят тебе: пошутил!

— Нет, Кондратий Трифоныч!

— Слышь, говорят пошутил!

— Нет-с, Кондратий Трифоныч!

— Ну, и ступай! ну, и пропадай! Только ты у меня смотри. ни всенощных, ни молебнов... ни-ни!

— И не надо-с! собственную же свою душу не соблюдете!

Батюшка ушел, в передней опять послышалось откашливанне и сморкание; Кондратий Трифоныч опять почувствовал прилив тоски

— Эй! воротить его! — крикнул он.

Ванька побежал, но воротился с ответом, что батюшка не идет.

— Сказать ему, что я умираю!

Батюшка воротился, но стал у самой двери.

— Что вам, сударь, угодно? — спросил он с достоинством.

— Да садись же ты!

— Нет-с, и дома посижу!

— Ну, да полно! благопрости ты меня! поблагобеседуй ты со мной! Ну, видишь?

Батюшка колебался

— А не то, давай почавкаем что-нибудь! А если и это не нравится, так поблаготрапезуем!

Батюшка плавными шагами приблизился к стулу и сел. Но он все-таки еще не совсем оправился, потому что опять вынул из кармана платок и начал вытирать им между пальцев.

Приносят водку; Кондратий Трифоныч наливает рюмку и подносит батюшке, но в ту минуту, когда батюшка уж почти

касается рукою рюмки, Кондратий Трифоныч делает быстрый маневр и мгновенно выпивает водку сам Батюшка крякает и опять косится на шапку. Однако на этот раз все устраивается благополучно.

— Я думаю на будущий год молотилку выписать! — говорит Кондратий Трифоныч, а сам в то же время думает: «Кукиш с маслом! на какие-то деньги ты выпишешь!»

— Это полезно,— отвечает батюшка,— и крестьяне от вас позаняться могут.

— Я и сеноворошилку куплю,— упорствует Кондратий Трифоныч,— да вот еще сеялка такая есть .

— Сс — произносит батюшка

Молчат. Выпили по другой

— У меня имение хорошее! — говорит Кондратий Трифоныч.

Батюшка, неизвестно с чего, вдруг распростирает руки, как будто хочет обнять необъятное

— Ну да! Это надо сказать правду, что хорошее! нужно только руки приложить! — продолжает Кондратий Трифоныч,— вот я с будущего года молоко в Москву возить стану!

— Экипажцы, стало быть, такие сделаете?

— Ну да! Положим, например, что корова дает ну, хоть ведро в день!

Батюшка крякает и откидывается назад

— Ну да.. ну, хоть ведро в день! положим, хоть по восьми гривен за ведро сколько это будет?

Кондратий Трифоныч задумывается и в рассеянности выпивает третью рюмку Батюшка съедает грибок

— Одного торфу сколько у меня! — вдруг восклицает Кондратий Трифоныч.

— Стало быть, торфом торговать будете? — спрашивает батюшка и, приложив руку к сердцу (дабы не распахнулась ряска), крадется к столу, чтоб отрезать кусочек ветчинки

— Всем буду торговать! и молоком буду торговать! и торф буду продавать! и ягоды в Москву буду возить! Нонче, брат, глядеть-то нечего! нонче, брат, дворянскую-то спесь надо по боку!

— Сс — удивляется батюшка,— стало быть, изволите находить, что непредосудительно?

Вместо ответа Кондратии Трифоныч выпивает четвертую и в то же время указывает на графин батюшке, который немедленно следует его примеру

— А позвольте узнать,— спрашивает батюшка,— как же теперь купцы, мещане . стало быть, им возбранено будет торговать?

— А мне что за дело!

— Стало быть, этого уж не будет, чтоб всякому, то есть, званию предел был положен?

— Не будет! а что?

— Ничего-с; конечно, по Писанию, оно не то чтоб.. потому, есть купующие, есть и куплю деющие, есть возделывающие землю, есть и поядающие

— Ну, так что ж?

— Ничего-с. я к примеру-с.

— И кого только ты этими глупостями удивить хочешь!

Молчат.

— А то вот еще искусственным разведением рыб заняться можно! — вдруг изобретает Кондратий Трифоиыч

— Сс... стало быть, всякую рыбицу у себя завести можно?

— Всякую!

— Сс... подумаешь, какую, однако, власть над собой человек взял!

— Да, брат, власть!

— Только тверди и звезд небесных еще соделать не может!

— А рыбу может всякую!

— И небезвыгодно?

— Какое, к черту, безвыгодно! ты пойми, сколько в Москве стерлядь-то стоит!

— Что ж, это дело хорошее! может, и крестьяне около вас позаймутся.

Молчат Кондратий Трифоныч слегка зевает.

— Я нонче все буду сам! лес рубить буду сам! молоко в Москву возить — сам! торф продавать — сам! — говорит он, приходя внезапно в восторг.

— Доброе, сударь, дело! — отвечает батюшка

— Нонче, брат, не то, что прежде! нет, брат, шалишь! нонче везде все сам и посмотри сам, и свесь сам, и съезди везде сам, и опять посмотри, и опять свесь!

Кондратий Трифоныч, говоря это, суетится и тыкает руками, как будто он в самую эту минуту и смотрит, и весит, и куда-то едет.

— Это точно; и предки наши говаривали «Свой глазок-смотрок!»

— Предки-то наши только говаривали, а сами одну навозницу соблюдали!

Батюшка снисходительно улыбается. Водворяется молчание

— Хорошо бы машину какую нибудь выдумать! — говорит Кондратий Трифоныч

— Про какую такую машину говорить изволите?

— Ну, да какую-нибудь . чтоб и жала, и косила, и лес бы рубила, и масло бы пахтала... и везде бы один привод действовал!

— Слышно, англичане много всяких машин выдумывают!

— Сидел бы я себе дома, да делал бы, да делал бы машины, а потом в Москву продавать возил бы

— Вот бог англичанам на этот счет большую остроту ума дал! — настаивает батюшка.

— А нашим не дал!

— Зато наш народ благочестием и благоугодною к церкви преданностью одарил!

— Ну, и опять тебе говорю кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?

Батюшка окончательно конфузится и закусывает губы. Напротив того, Кондратий Трифоныч воспламеняется и постепенно входит в хозяйственный азарт Он объясняет, что можно налима с лещом совокупнть и что из этого должна произойти рыба, у которой будут печенки и молоки налимьи, а тёшка лещиная; он объясняет, что примеры подобного совокупления случались и в природе: стерлядь совокупилась с осетром, и вышла рыба *шип,* которую он ел на обеде у губернатора.

— Не у теперешнего,— прибавляет он,— теперь у нас какой-то гордишка, аристократишко какой-то, а вот у прежнего, у генерала Слабомыслова!

Он объясняет батюшке, какую он машину выпишет: и дрова таскать будет, и пахать будет, и воду носить будет, и топить ее будет не дровами, а землей,— все землей!

— Работников, брат, мне с этой машиной совсем не надо! — прибавляет он.

Он объясняет, каких он коров из Англии выпишет· костей у них совсем нет, а все одно мясо да молоко, все молоко, все молоко!

Он объясняет, наконец, что выстроит новую колокольню, такую колокольню. один этаж каменный, другой деревянный, потом опять каменный и опять деревянный

— Жертва богу угодная! — замечает батюшка,— жертва, сударь, все равно что кадило благовонное!

— А ты думал как?

— Впрочем, колокольня у нас еще постоит . вот насчет трапезы, Кондратий Трифоныч!

— Уж ты молчи! я все сделаю! и колокольню сломаю! и трапезу сломаю! я все сломаю! — объясняет Кондратий Трифоныч.

И, разговаривая таким манером, выпивает рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой!

Батюшка, в свою очередь, выпивает; и вследствие этого беспрестанно поправляет пальцами глаза, как будто хочет их разодрать, чтоб лучше видеть В то же время он радуется, что в одно утро приобрел столько разнообразных сведений.

— Это вы благополезное дело затеяли, Кондратий Трифоныч! — говорит он

— Тьфу ты!

Наконец, изолгавшись вконец и, вероятно, найдя, что машины все до одной изобретены, коровы все выписаны, Кондратий Трифоныч впадает в истощение Часы бьют два.

— Обедать! — кричит Кондратий Трифоныч,— ты со мной, что ли, отче?

— Уж очень занятно вы рассказываете, Кондратий Трифоныч! послушал бы и еще-с

— Ну, а коли послушал бы, так оставайся!

Подают обедать; но гений хозяйственной распорядительности уже отлетел от Кондратья Трифоныча Он не то чтоб спит, но слегка совеет и только изредка подмигивает батюшке на Ваньку (дескать, посмотри, как сует!), который, в свою очередь, не стесняясь присутствием этого последнего, показывает барину сзади язык Таким образом, антагонизм, о котором так много говорит Кондратий Трифоныч, представляется батюшке в лицах на самом действии.

— Ты для чего же рыжиков к жаркому не подал? — неверным, несколько путающимся языком допрашивает Ваньку Кондратий Трифоныч.

— А для того и не подал, что огурцы есть,— тоже путающимся языком отвечает Ванька.

— Ишь ты! дразнится, шельма! — замечает Кондратий Трифоныч и подмигивает батюшке, как бы приглашая его быть свидетелем Ванькиной грубости.

Наконец и сумерки упали. Батюшка давно ушел, Кондратий Трифоныч спит и даже во сне ничего не видит Как повалился он на постель, так ему голову словно заложило чем. В передней вторит ему Ванька.

В шесть часов Кондратий Трифоныч уж шагает по своим сараям и просит квасу. В средней комнате уныло мерцает стеариновая свеча, прочие комнаты окутаны мраком. Кондратий Трифоныч шагает и думает: что бы ему сделать такое, чтобы

— Чтобы что́? — спрашивает его внутренний голос

— Господи! какая тоска! — восклицает Кондратий Трифоныч, не разрешая вопроса.

И опять ходит, и все о чем-то думает, все чего-то ждет. Думает о том, что завтра, быть может, будет снег, а быть может, будет и вьюга, ждет, что к николину дню будут морозы

— О, черт побери! — восклицаег он.

И опять ходит, и опять ждет — скоро ли чай подадут?.

— Ванька! да пошли ты, разбойник, Агашку ко мне! — кричит он отчаянным голосом

Агашка на этот раз является Это девушка кругленькая, полненькая, белокуренькая, с измятым, но весьма приятным личиком

— Что вы, Агашенька, ко мне не ходите? — спрашивает ее Кондратий Трифоныч, семеня кругом нее ножками, как делают влюбленные петухи

— Вы разве спрашивали меня? — отзывается Агашенька, повертываясь на своей оси по тому же направлению, по какому ходит Кондратий Трифоныч

— Я за вами десять раз Ваньку посылал-с!

— Ванька ни разу мне не говорил!

— Этакой скот, подлец! А отчего же вы сами никогда ко мне не заидете-с?

Агашенька не отвечает, она слегка зарделась

— Ну-с, Агашенька-с?

— Я, Кондратий Трифоныч, я-с — начинает Агашенька и никак не может кончить

— Ну-с, что же вы-с?

— Я-с.. позвольте мне, Кондратии Трифоныч, замуж идти с! — скороговоркой произносит Агашенька и умолкает, словно сама испугалась слов своих. А щечки у нее так и пылают, так и рдеют от стыда и испуга!

Кондратий Трифоныч озадачен, он думает, как ему поступить, и, разумеется, как все люди, которых самолюбие неожиданно уязвлено, на первых порах надумывает глупейшую штуку. Он как-то надувается и устроивает оскорбленную мину, он поднимает плечи и, отступя несколько шагов назад, указывает Агаше руками на двери.

— Скатертью дорога-с! — говорит он,— ну, так что же с! и с богом с!

— Душенька, Кондратий Трифоныч! ей-богу, я не могу! — говорит Агашенька и в то же время стыдится и рдеет, едва выговаривая от волнения слова.

— А коли не можете, так и с богом! — отвечает Кондратии Трифоныч, по-прежнему глупым образом уставляя руки по направлению к двери

Агашенька закрывает лицо платком и быстро выбегает.

Кондратий Трифоныч остается один и опять принимается за ходьбу. Но он чувствует, что у него начинает щемить сердце, он чувствует, что к глазам что-то подступает.

— Ладно! это ладно! — говорит он самому себе

— Что́ «ладно»-то? — спрашивает внутренний голос.

«Ну, черт с нею! — думает он,— поеду в Москву и найду себе .. а ведь она, чай, за повара?»

И опять начинает сосать сердце, и опять начинает что-то подступать к глазам

— Ваня! позови Агашу! — говорит он словно изменившимся голосом, просовывая голову в переднюю.

Через минуту Ванька возвращается и докладывает, что Агашка не идет.

— Да ты поди, ты скажи ей, что я так.

Ванька скрывается.

— Вы меня спрашивали, Кондратий Трифоныч? — раздается в темноте знакомый голос

— Вы за кого же замуж выходите, Агашенька-с? — спрашивает Кондратий Трифоныч.

— Я-с.. за повара .. за Степана-с!

— Гм за Степана! а в девушках оставаться не хотите?

— Уж позвольте, Кондратий Трифоныч!

— Ну *бог с вами! кто* же у вас посаженым отцом будет?

Агашенька перебирает пальцами концы большого платка, который накинут у ней на шею.

— Хочешь, *я посаженым отцом* буду?

— Ах, нет!.. нет .. уж оставьте это, Кондратий Трифоныч!

— Что ж, и в посаженые-то уж взять не хотите?

Агашенька, видимо, тяготится разговором; она переминается с ноги на ногу; ей хочется уйти. Кондратию Трифонычу кажется, что она неблагодарная.

— Ну, с богом! что ж... если я... если я... ну, и с богом!

Кондратий Трифоныч давится и, чтоб скрыть охватившее его волнение, кашляет, но в ту минуту, когда он поднимает голову, Агаши уж нет .

— Хоть жить-то у меня останетесь ли? — кричит он вслед и, не получивши ответа, ворчит: — Ишь! даже ответа не дает! а ведь я два года еще право имею ладно!

Между тем на дворе разыгрывается вьюга; она несет снопы снега с реки и укладывает их буграми и грядками около барского дома; она наполняет воздух какою-то сумятицей и застилает огоньки, которые светятся в людских избах и в тихую погоду бывают видны из господского дома; она визжит и воет; она стучится в стены и в окна, словно просится со стужи в тепло.

— Нет тебе ни правой, ни левой, нет тебе ни правой, ни левой! — слышится Кондратью Трифонычу в этом заунывном голошении вьюги.

Делать решительно нечего, что было дела — все переделал, что было мыслей — все передумал. Часы тоскливо стучат. тик-так, тик-так, и Кондратий Трифоныч чувствует, как взмахи маятника, один за другим, уносят его надежды Он чувствует, что с каждой минутой все больше и больше дряхлеет, что дерево жизни подточено, что листья один за одним все падают, все падают .

— Что ж это он чаю, подлец, не дает! — вскрикивает он, как уязвленный, удостоверившись, что часовая стрелка стоит на половине осьмого — Ванька! чаю, чаю-то что ж не даешь? Не стою я, что ли?

Ванька хочет уйти.

— Нет, ты мне говори: не стою, что ли, я чаю, что ты меня до сих пор моришь?

— Я думал, что не надо! — огрызается Ванька.

— Ты думал! он думал! милости просим! он думал! а ты знаешь ли, как вашего брата за думанье-то! он думал!.. ты! ты! ах ты! Ну, ступай . ладно!

Кондратий Трифоныч опять пересчитывает свои обиды тогда-то пыли не стер, тогда-то рожу состроил, тогда-то прыснул в самое лицо барину, тогда-то без чаю намеревался оставить

— Агашку взбаламутил,— говорит он, инстинктивно склоняя голову набок, как будто сообщает это по секрету становому на ухо

Но вот и чай выпит; Кондратии Трифоныч берет засаленные карты и начинает раскладывать граппасьянс Он гадает, уродится ли у него рожь сам-десят — не выходит, он гадает, останется ли Агаша жить у него — не выходит; он гадает, избавится ли его имение от продажи с публичного торга — не выходит.

— Нет тебе ни правой, ни левой, нет тебе ни правой, ни левой! — злится на дворе вьюга.

. . . . . .

Кондратий Трифоныч спит; в комнате жарко и душно; он разметался, одна рука свесилась с кровати, другая легла на левую сторону груди, как будто хочет сдержать учащенное биение сердца. Он видит во сне, что последовало какое-то новое распоряжение. В чем заключается это распоряжение, сон не объясняет, но самое слово «распоряжение» уже вызывает капли холодного пота на лицо Кондратия Трифоныча. Он стонет и захлебывается.

Поутру, часов в восемь, чуть брезжится, а уж его будит Ванька.

— Что такое? что такое? — спрашивает он, глядя на Ваньку мутными глазами

— Становой приехал!

— А!. лладно! — произносит Кондратий Трифоныч, и лицо его принимает ироническое выражение, которое очень не нравится Ваньке

— Именье описывать приехал-с! — говорит Ванька в самый упор, как бы желая сразу окатить Кондратия Трифоныча холодной водой.

Занавес опускается.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

(Из путевых заметок чиновника)

I

В 18** году, и именно в ночь на рождество Христово, пришлось мне ехать по большому коммерческому тракту, ведущему от города Срывного к Усть-Деминской пристани. «Завтра или, лучше сказать, даже сегодня, большой праздник,— думал я,— нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага; нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости, нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действо великого праздника! Я один горьким насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплому углу, ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим?» Мысли эти неотступно осаждали мою голову и делали положение мое, и без того неприятное, почти невыносимым. Все воспоминания детства с их безмятежными, озаренными мягким светом картинами, все лучшие часы и даже мгновения моего прошлого, как нарочно, восставали передо мной самыми симпатическими, ласкающими своими сторонами «Как было тогда хорошо!— отзывался тихий голос где-то далеко, в самой глубине моей души,— и как, напротив того, все теперь неприютно и безучастно вокруг!»

Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькою снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот

звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем; по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность... Горы, речки, овраги — все как *будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою* пеленою снега.

«Зачем я еду? — беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода,— затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впадать в жизнь и спокойствие себе подобных? затем ли, чтоб удовлетворить известной потребности времени или общества? затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?»

И разные странные, противоречивые мысли одна за другой отвечали мне на этот вопрос То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приючусь, с горем пополам, в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать. «Чего ж искать, однако ж?» — мелькнула вдруг в голове мысль, но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи; я хлопочу, я выбиваюсь из сил . и, наконец, мое усердие, то усердие, которое все превозмогает, увенчивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия в виде трех-четырех баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее семидесяти лет! . «Господи! а ну как да они прослышали как-нибудь? — шепчет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями,— что, если Еванфия . Е-ван-фи-я!.. куда-нибудь скрылась?» Но с другой стороны . зачем мне Еванфия? зачем мне все эти бабы? и кому они нужны, кому от того убыток, что они ушли куда-то в глушь, сложить там свои старые кости? А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать!.. Привели бы ее ко мне: «Ага, голубушка, тебя-то мне и нужно!» — сказал бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородие! — шепнул бы мне в это время становой пристав (тот самый, который изловил Еванфию, покуда я сидел в курной избе и от скуки посвистывал),— позвольте-с; я дознал, что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживает!» — «О боже! да это просто подарок!» — восклицаю я (не потому, чтоб у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж зарвался в порыве усердия), и снова спешу, и задыхаюсь, и открываю... Господи! что я открываю!.. Что ж, однако ж, из этого, к какому результату ведут эти усилия? К тому ли, чтоб перевернуть вверх дном

жизнь десятка полуистлевших старух?.. Нет, видно, в самой мыслительной моей способности имеется какой-нибудь порок, что я даже не могу найти приличного ответа на вопрос, без того, чтоб снова действием какого-то досадного волшебства не возвратиться все к тому же вопросу, из которого первоначально вышел.

Между тем повозка начала все чаще и чаще постукивать передком; полозья, по временам раскатываясь, скользили по обледенелому черепу дороги; все это составляло несомненный признак жилья, и действительно, высунувшись из кибитки, я увидел, что мы въехали в большое село.

— Вот и до места доехали! — молвил ямщик, поворачиваясь ко мне

Заиндевевшая его борода и жалкий белый пониток, составлявший, вместе с дырявым и совершенно вытертым полушубком, единственную его защиту от лютого мороза, бросились мне в глаза Странное ощущение испытал я в эту минуту! Хотя и обледенелые бороды, и худые белые понитки до того примелькались мне во время моих частых скитаний по дорогам, что я почти перестал обращать на них внимание, но тут я совершенно невольным и естественным путем поставлен был в невозможность обойти их

«Как-то придется тебе встретить Христов праздник! — подумал я и тут же, по какому-то озорному сопряжению идей, прибавил — А я вот еду в теплой шубе, а не в понитке... ты сидишь на облучке и беспрестанно вскакиваешь, чтоб попугать кнутом переднюю лошадь, а я сижу себе развалившись и занимаюсь мечтаниями.. ты должен будешь, как приедешь на станцию, прежде всего лошадей на морозе распречь, а я *велю* ввести себя прямо в тепло, *велю* поставить самовар, *велю* напоить себя чаем, *велю* собрать походную кровать и засну сном невинных»..

В селе было пусто, был шестой час утра, а в это время, как известно, по большим праздникам идет уже обедня в тех селах, где нет помещиков и где массу прихожан составляет серый народ. И действительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успел, сквозь отворенную ее дверь, рассмотреть, что она полна народом, что глубина ее горит огнями по-праздничному и что густой пар стоит над толпою, одевая туманом и богомольцев, и ярко освещенный иконостас

Наконец лошади остановились у просторной избы. Это была станция, но не почтовая, где, хоть с грехом пополам, путешественник может приютить свою голову без опасения быть ежеминутно встревоженным шумом и говором людей, хлопаньем дверей и незасыпающею деятельностью дня; это была простая

изба, назначенная по отводу для отдыха проезжающих по казенной надобности чиновников, покуда сбирают для них свежих обывательских лошадей. Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою, пол и вделанные по стенам лавки были накануне выскоблены и вымыты, перед образами весело теплилась лампадка, четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым перебором, а в ближайшем ко входу угле около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни. На одной из лавок, возле переднего угла, сидел слепой и ветхий дедушко, вроде тех, которыми почти фаталистически снабжается всякая сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держал в руке деревянную палку, которою задумчиво чертил по полу. Он делал это дело с необычайным терпением, как будто оно составляло последнюю задачу его жизни, и, нащупав палкою какую-нибудь неровность, сердился и ворчал

Приезд мой не произвел, однако ж, особенного впечатления, так как, по случаю отвода избы под станцию, хозяева ее скоро свыкаются с общим видом чиновника, которого появление составляет в кругу их факт почти ежедневный Денщица, которая, по рассмотрении, оказалась молодухой, продолжала усердно делать свое дело, а дедушко по-прежнему водил палкой по полу и ворчал про себя. На полатях возились и потягивались ребятишки.

— Далеко отсюда становой живет? — спросил я.

— Да верст, чай, с восемь будет,— отвечала денщица, действуя в то же время ухватом, которым отправляла в печь горшок с похлебкой.

— А ты говори дело, а не «чай»,— вступился мой спутник и камердинер Гриша, во всякое другое время очень добрый малый, но теперь сильно озлобившийся вследствие мороза и других дорожных неприятностеи.

— А вот мужики придут — они тебе дело и скажут Ишь, больно строг с бабы спрашивает!

— Эх ты! баба так баба и есть,— отозвался Гриша, но с таким глубоким презрением, что я сразу сознал глубокую разницу, существующую между привилегированным полом и непривилегированным.

— Никак, кто пришел? с кем это ты, Татьяна, разговариваешь? — откликнулся дедушко.

— Становой далеко отсюда живет? — спросил я, обращаясь к старику.

— Ась?

— Ишь ты! глухие да глупые — вот и жди от них толку! — злобно заметил Гриша.

— Барин приехал чиновник, дедушко! — кричала между тем Татьяна, наклонясь к самому уху старика,— спрашивают, далече ли до станового будет?

— Да верст пяток поболе будет,— прошамкал старик,— выедешь ты, сударь, за околицу и поезжай все вправо .. там три сосенки такие будут древние, сударь, еще дедушко мой их помнил — во какие сосны!. От них повертывай прямо на право, будет тебе там озеро, и поезжай ты через него все прямо, все прямо . Летом-то, сударь, здеся-ко не проедешь, а надо кругом, так в ту пору вместо пяти-то верст и пятнадцать поди будет! Ну, а за озером прямо и представится тебе господин становой. . так-то

— Так нельзя ли лошадей поскорей заложить? — спросил я.

— А у нас и робят-то никого нет, все в церкву ушли,— отвечала молодуха,— видно, уж тебе, барин, обождать придется!

— Дедушко! как бы лошадей заложить? — снова спросил я, наклоняясь к дедушке

— А что ж, сударь, для че не заложить! кони ноне дома, мигом заложат! Татьяна, сбегай по мужа-то, скажи, мол, чиновник наехал!

Но покуда Татьяна сбиралась, семейные уж возвратились из церкви и гурьбой ввалились в избу Прежде всех, как водится, влетел никем не прошенный клуб морозного воздуха и мигом наполнил комнату белесоватым туманом, за ним вошел старший сын дедушки, мужичок лет пятидесяти с лишком, очень сановитой и бодрой наружности, одетый по-праздничному, в синюю сибирку.

— С праздником, батюшка! — сказал он, помолившись наперед образам,— бог милости прислал!

— Ну, слава богу, слава богу! — прошамкал старик, привставая с лавки,— вот и опять мы с праздником! С вами, что ли, некрут то?

— Здесь, дедушко, будь здоров! — молвил, выступая вперед, молодой парень

Я вспомнил, что по случаю военных обстоятельств объявлен был в то время чрезвычайный набор, и невольно полюбопытствовал взглянуть на рекрута Физиономия его была чрезвычайно симпатична: хотя гладко выстриженные волосы несколько портили его лицо, тем не менее общее его выражение было весьма приятно; то было одно из тех мягких, полустыдливых, полузастенчивых выражений, которые составляют почти общую принадлежность нашего народного

типа. Смирио стоял он перед стариком-дедушкой в своем коротеньком рекрутском полушубке, засунув руку за пазуху и слегка понурив голову; в голубых его глазах не видно было огня строптивости или затаенного чувства ропота; напротив того, вся его любящая, беспредельно кроткая душа светилась в этом задумчивом и рассеянно блуждавшем взоре, как бы свидетельствуя о его вечной и беспрекословной готовности идти всюду, куда укажет судьба

— Ну, дай бог здоровья начальникам... отпустили тебя, Петруня... и нас сделали с праздником,— сказал старик

Покуда старик говорил, сзади у печки послышались сначала вздохи, а потом и довольно громкие всхлипывания Петруня как-то болезненно весь сжался, услышав их

— Ну вот, пошла баба голосить! уйми ты ее, Иван!— обратился старик к старшему сыну,— нешто лучше бы было, кабы не отпустили сына-то . так ты бы радовалась, не чем горевать!

— Так неужто ж и пожалеть нельзя! — отозвалась из угла баба,— собирались ноне женить в мясоед парня, ан замест того вон он куда угодил и не чаяли!

Петруня, казалось, еще более сжался при последних словах матери

— Ничего, с богом... не на грех идет! чай, еще не сколько мученья-то принял, Петруня? — спросил дедушко

— Мученьев, дедушко, нет; а вот унтер сказывал, что через десять дён в поход идти велено,— отвечал Петруня тихо и дрожащим голосом

— Ну что ж, и в поход пойдешь, коли велено! Да ты слушай, голова! и я ведь молоденек бывал, тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил . уж и что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло!

— То-то «чуть-чуть»! — в сердцах ворчала мать,— вот не сдали же, а тут как есть один сын, да и тот не в дом, а из дому вон бежит!

— А кто ж тебе не велел другого припасти! — сказал дедушко полушутливо, полудосадливо,— то-то вот, баба· замест того, чтоб потешить сыночка о празднике, а она еще пуще его в расстрой приводит! Ты пойми, глупая, что он у тебя в гостях здесь! Вот ужо вели коней в саночки запречь... погуляй покуда, Петруня, с робятками-то, погуляй, милой!

Иван, однако, не принимал никакого участия в разговоре. Он спокойно раздевался в это время и вместе с тем делал обычные распоряжения по дому. Но это равнодушие было только кажущееся, а в сущности он не менее жены печалился участью сына. Вообще, нашего крестьянина трудно чем-нибудь

расшевелить, удивить или душевно растрогать Ежеминутно имея прямое отношение лишь к самой незамысловатой и неизукрашенной действительности, ежеминутно встречая лицом к лицу свою насущную жизнь, которая часто представляет для него одну бесконечную невзгоду и во всяком случае многого никогда ему не дает, он привыкает смело смотреть в глаза этой суровой мачехе, которая по временам еще осмеливается заговаривать льстивыми голосами и называть себя родною матерью Поэтому всякая потеря, всякая неудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой простой факт, перед которым нечего и задумываться, а только следует терпеливо и бодро снести. Даже смерть наиболее любимого и почитаемого лица не подавляет его и не производит особенного переполоха в душе; мало того: я не один раз видал на своем веку умирающих крестьян, и всегда (кроме, впрочем, очень молодых парней, которым труднее было расставаться с жизнью) замечал в них какое-то твердое и вместе с тем почти младенческое спокойствие, которое многие, конечно, не затруднились бы назвать геройством, если бы оно не выражалось столь просто и неизысканно Все страдания все душевные тревоги крестьянин привык сосредоточивать в самом себе, и если из этого правила имеются исключения, то они составляют предмет хотя добродушных, но всегда обидных насмешек. Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами, и никогда рассудливый мужик не станет говорить с ними об деле. Правда, дрогнет иногда у крестьянина голос, если обстоятельства уж слишком круто повернут его, изменится и как будто перекосится на миг лицо, насупятся брови — и только, но жалоба, суетливость и бесплодное аханье никогда не найдут места в его груди. Повторяю· невзгода представляется для крестьянина столь обычным фактом, что он не только не обороняется от него, но даже и не готовится к принятию удара, ибо и без того всегда к нему готов Всю чувствительность, все жалобы он, кажется, предоставил в удел бабам, которые и в крестьянском быту, как и везде, по самой природе, более склонны представлять себе жизнь в розовом цвете и потому не так легко примиряются с ее неудачами.

— Рекрут, что ли, у вас? — спросил я Ивана.

— Рекрут, сударь, сыном мне-ка приходится. .

— А велика ли у вас семья?

— Семья, нечего бога гневить, большая; четверо нас братовей, сударь, да детки в закон еще не вышли .. вот Петрунька один и вышел.

— Тяжело, чай, расставаться-то?

Иван с изумлением взглянул на меня, и я, не без внут-

ренней досады, должен был сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни к чему не ведущий.

— Божья власть, сударь! — отвечал он и, обращаясь к старику, прибавил: — Обедать, что ли, сбирать, батюшка?

— Вели сбирать, Иванушко, пора! чай, и свет скоро будет!.. Да за конями-то пошли, что ли?

— Давно Васютку услал, приведут сейчас

Петруня между тем незаметно скрылся за дверь Несмотря на то что изба была довольно просторная, воздух в ней, от множества собравшегося народа, был до того сперт, что не привычному трудно было дышать в нем Кроме сыновей старого дедушки с их женами, тут находилось еще целое поколение подростков и малолетков, которые немилосердно возились и болтали, *походя пичкая* себя хлебом и сдобными лепешками.

— Кто-то вот нас кормить на старости лет будет? — промолвила между тем хозяйка *Ивана*, *по*-прежнему стоя в углу и пригорюнившись

— Чай, братовья тоже есть, сѐмья не маленькая! — отвечал дедушко, с трудом скрывая досаду.

— Да, дожидайся, пока они накормят . чай, по тех пор их и видели, поколь ты жив.

— Не дело, Марья, говоришь! — заметил второй брат Ивана.

— Ее не переслушаешь! — отозвался третий брат

Окончания разговора я не дослушал, потому что не мог долее выносить этого спертого, насыщенного парами разных похлебок воздуха, и вышел в сенцы. Там было совершенно темно. Глухо доносились до меня и голоса ямщиков, суетившихся около повозки, и дребезжащее позвякивание колокольцов, накрепко привязанных к дуге, и еще какие-то смутные звуки, которые непременно услышишь на каждом крестьянском дворе, где хозяин живет мало-мальски запасливо

— Как же быть-то? — сказал неподалеку от меня милый и чрезвычайно мягкий женский голос

— Как быть! — повторил, по-видимому, совершенно бессознательно другой голос, который я скоро признал за голос Петруни.

— Скоро, чай, и сряжаться станете? — снова начал женский голос после непродолжительного молчания.

Петруня не промолвил ни слова и только вздохнул

— Портяночки-то у тебя теплые есть ли? — вновь заговорил женский голос

— Есть

— Ах, не близкая, чай, дорога!

Снова наступило молчание, в продолжение которого я слышал только учащенные вздохи разговаривающих.

— Уж и как тяжко-то мне, Петруня, кабы ты только знал! — сказал женский голос

— Чего тяжко! чай, замуж выдешь! — молвил Петруня дрожащим голосом.

— А что станешь делать . и выду!

— То-то чай, за старого . за вдовца детного

— За старого-то лучше бы по крайности, хоть любить бы не стала, Петруня!

— А молодого небось полюбила бы! . То-то вот вы: потоль у вас и мил, поколь в глазах! — сказал Петруня, которого загодя мучила ревность

— Ой, уж не говори ты лучше! . умерла бы я, не чем с тобой расставаться — вот сколь мне тебя жалко!

— А меня небось в сражениях убьют, покуда ты здесь замуж выходить будешь!.. детей, чай, народишь! . Вот унтер намеднись сказывал, что в сраженье как есть ни один человек цел не будет — всех побьют!

Вместо ответа мне послышались тихие, словно детские, всхлипывания

— Ну что ж, и пущай бьют! — продолжал Петруня, находя какое-то горькое удовольствие в страданиях своей собеседницы.

Всхлипывания послышались горче прежнего.

— Ах, пропадай моя голова.. хочешь, сбегу, Мавруша? — внезапно спросил Петруня.

— Что ты, что ты, Петруня! что ж это будет! — отвечала Мавруша голосом, в котором слышался испуг.

— Убегу, да и все тут,— продолжал Петруня,— уйду в леса к старцам... ищи, лови тогда!

— Стариков-то твоих, чай, в ту пору так и засудят! — робко заметила Мавруша

Петруня молчал

— В разоренье поди приведут? — продолжала Мавруша, как бы рассуждая сама с собой.

То же молчание

— Нет, ты уж лучше не бегай, Петруня! как-нибудь, бог даст, и свидимся!

— То-то «свидимся»! замуж, чай, хочется, а не «свидимся»! Ты бы напрямки так и говорила... а то «свидимся». Так бежать, что ли?

— Куда ж бежать? коли для меня ты хочешь бежать, так я за тобой ведь бежать не могу!

Петруня заплакал.

— Петруня! желанный ты мой! — прошептала Мавруша.

Петруня заплакал пуще прежнего

— Ох, да хоть бы не плакал ты! — сказала Мавруша каким-то утомленным, замученным голосом.

— Вот каково дело, что и пособить нечем! — говорил Петруня, обрываясь почти на каждом слове,— куда я теперь денусь? Ох, да подумай же ты, Мавруша, как бы нам хорошо-то было!. жили бы мы теперь с тобой. и мясоед вот на дворе. . И все-то ведь прахом пошло . точно ничего и не было! Намеднись вот унтер сказывал, верст тысячи за две поведут... так когда же тут свидеться!

— Петруня! где же ты запропал! — раздался сзади меня голос женщины

— Здесь, обедать, что ли? — откликнулся Петруня.

— Обедать дедушко зовет

— Сейчас Прощай, Мавруша! ноне к ночи надо опять в город ехать прощай! может, уж и не свидимся!

— Разве на село-то не пойдете с партией? хошь бы посмотрела я на тебя!

— Нет, по почтовой пойдем; вот разве что: ужо дедушко коней посулил... погуляем, что ли?

— Не пустят, Петруня,— тихо отвечала Мавруша,— а уж как бы не погулять! Старики-то ноне у меня больно зорки стали: поди и теперь, чай, ищут меня!

— Ну, так ин бог с тобой, прощай же, Мавруша

Голоса стихли, но Петруня несколько времени еще не приходил в избу, минуты с две слышались мне и глубокие вздохи, и неясный шепот, прерываемый рыданиями, и стало мне самому так обидно, тяжко и больно, как будто внезапно лишили меня всего, что было дорого моему сердцу «Вот,— думал я,— простая, кажется, с виду штука, а поди-ка переживи ее!» И должно сознаться, что до тех пор никогда эта мысль не заходила мне в голову.

— Иди, что ли! — снова раздался сзади меня голос денщицы

— Иду, иду! — отвечал Петруня.— Прощай, Мавруша! — продолжал он каким-то гортанным, задыхающимся голосом,— прощай же, касатка!

И вслед за тем он бегом взбежал на лестницу и направился быстрыми шагами в избу.

Когда я через четверть часа снова вошел в избу, вся семья обедала, но общий ее вид был нерадошен. Какое-то принуждение носилось над ней, и хотя дедушко старался завести обычную беседу, но усилия его не имели успеха. Иван молчал и смотрел угрюмо; Марья потихоньку всхлипывала; Петруня

сидел с заплаканными глазами и ничего не ел; прочие члены семьи, хотя и менее заинтересованные в этом деле, невольно следовали, однако ж, за общим настроением чувств, даже малолетки, обыкновенно столь неугомонные, как-то притихли и сжались. Одним словом, тут только и было праздничного, что кушанья, которых было перемен шесть и которые однообразно следовали одно за другим, ни в ком не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя на эту семью.. и о чем задумался?

«Что-то делается,— думал я,-- в том далеком-далеком городе, который, как червь неусыпающий, никогда не знает ни усталости, ни покоя? Радуются ли, нет ли там божьему празднику? и кто радуется? и как радуется? Не подпал ли там праздник под общее тлетворное владычество простой обрядности, без всякого внутреннего смысла? не сделался ли он там днем, к которому надо особенным образом искривить рот в виде улыбки, к которому надо накупить много конфект, много нарядов, в который, по условному обычаю, следует призвать в гостиную детей, с тем чтоб вдоволь натешиться *их благоприличными манерами, и затем вновь отослать их в* детскую, считая все обязанности в отношении к ним уже исполненными до следующего праздника? Сохранил ли там праздник свое христианское, братское значение, в силу которого сама собой обновляется душа человека, сами собой отверзаются его объятия, само собой раскрывается его сердце? Ведь праздник есть такая же потребность человеческой жизни, как радость — потребность человеческого сердца· это потребность успокоения и отдыха, потребность хоть на время сбросить с себя тяжесть жизненных уз, с тем чтоб безусловно предаться одному ликованию!»

И передо мной незаметно раскрылся знакомый ряд картин, свидетелей моего прошедшего, картин, в которых много было движения, много суеты, много даже каких-то неясных очертаний и смутных намеков на жизнь, радость и наслаждение . Но была ли это радость действительная, было ли это то чистое наслаждение, которое не оставляет после себя в сердце никакого осадка горечи? Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым от множества людских дыханий; вот он, город скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний, город желчных честолюбий и ревнивых, завистливых надежд; город гнусно искривленных улыбок и заражающих воздух признательностей! Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней, какая страшная струя смерти совершает свой бесконечный, разъедающий оборот среди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со

всех сторон! Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенных надежд, сколько горьких разочарований, и вновь надежд, и виовь разочарований!

«Господи! надо же было над Петруней такой беде стрястись! Кабы не это, сидел бы он здесь беззаботный и радостный; весело беседовало бы теперь за трапезой честное потомство слепенького дедушки... и надо же было слепому случаю пройти беспощадным своим плугом по этому прекрасному зеленому лугу, чтоб взбуровить его ровную поверхность и исполосать ее черными, безобразными бороздами!»

Размышления эти были прерваны докладом о том, что лошади готовы. Горько мне было садиться одному в сани, горько было расставаться с людьми, особливо в этот праздник, когда, и вследствие воспоминаний прошедшего, и вследствие всего склада жизни, необходимость общества людей как-то особенно живо чувствуется Казалось бы, что общего между мной и этою случайно встреченною мной семьей, какое тайное звено может соединить нас друг с другом! и между тем я несомненно сознавал присутствие этой связи, я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни.

II

На дворе было еще темно, хотя свет, очевидно, готовился уже вступить в права свои; мороз сделался как будто еще лютее прежнего; крепкий верховой ветер сильно буровил здесь и там снежную равнину и, подняв целые столбы снега, направлял свой путь далее, с тем чтоб опять через минуту вернуться и, подняв новые снежные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко Холод и ветер тем более были для меня ощутительны, что я ехал в открытых санях, потому что должен был, после необходимых объяснений с становым приставом, опять вернуться на станцию, где, вследствие всех этих соображений, я и заблагорассудил оставить свою повозку.

Вот и те три сосенки, о которых толковал мне старик; сквозь мутное облако частого, тонкого снега я видел только очертания их, но, вероятно, душа моя была слишком особенным образом настроена, что за плавным покачиванием широких их вершин мне именно слышалось, будто они жалуются и говорят о том, как надоела им эта долгая, почти бесконечная жизнь, как устали они от этих отвсюду вторгающихся

ветров, которые беспрепятственно и безнаказанно оскорбляют их, то обламывая самые крепкие их побеги, то разбрасывая мохнатые их ветви в какой-то тоскливой беспорядочности. Вот и озеро, которое подало мне о себе весть особенностью звука, издаваемого копытами лошадей, и вешками, которые часто натыканы здесь по обеим сторонам дороги.. Я глянул в даль, и, не знаю почему, там, на самом конце ее, представился мне становой пристав, в виде страшного, лохматого чудовища, с семью головами, с длинными железными когтями и долгим огненным языком. И так ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, к счастию, совершенно невероятное видение, что мне стало жутко, и я поспешил плотнее закутаться в шубу, чтоб не видать его кривляний

Через полчаса я въезжал в огромное торговое село, в котором было много домов совершенно городской постройки В одном из них помещалась квартира станового пристава, и я еще издали мог налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на детской елке. Огни горели весело и, проходя сквозь обледенелые стекла окон, принимали самые изменчивые и разнообразные цвета

Становой, или, как его обыкновенно зовут крестьяне, «барин», был дома Звали его Ермолаем Петровичем, по фамилии Бондыревым, по наружности же был он мужчина дюжий, и вследствие того постоянно отдувался и дышал тяжело, словно запаленная лошадь Лицо его, пухлое и отеклое, было покрыто слоем жирного вещества, который придавал его коже лоск почти зеркальный, огромная его лысина, по общему отзыву сослуживцев, имела свойство испускать из себя облако тумана в следующих двух случаях: во время губернаторской ревизии когда, как известно, сердечные движения в уездном чиновнике делаются особенно сильны и остры, и по выпитии двадцать пятой рюмки очищенной. Голос у него был сильный, густой бас, сопровождаемый легкою хрипотой, и выходил из гортани как бы колом. К величайшему моему удивлению, это несоразмерное преобладание материи нимало не тяготило его, вообще он был на службе легок, как пух, и когда исполнение служебных обязанностей требовало с его стороны уже слишком усиленной деятельности, то вся его досада проявлялась в том только, что он пыхтел и ругался пуще обыкновенного. Впрочем, он был, в сущности, малый добродушный, и когда принимал благодарность, то всегда говорил спасибо, и этим весьма льстил самолюбию доброхотных дателей.

— Милости просим побеседовать в комнату, ваше высокоблагородие! — сказал он, встретив меня в прихожей,— у меня нынче праздник, детки вот развозились...

— А мне надо бы скорее ехать,— отвечал я не совсем впопад, все еще находясь под влиянием лохматого чудовища.

— Что же так-с? часом раньше, часом позже — дело не волк, в лес не уйдет-с Заодно уж у нас покушаете, а после обеда и в путь-с. Мне ведь тоже с вами надо будет отправляться, так если сейчас же и ехать, не будет ли уж очень это обидно? Ведь праздник-с...

Я остался и отчасти был даже доволен этой задержкой, потому что очень устал с дороги В комнате, в которую ввел меня Бондырев, было все его семейство и сверх того еще несколько посторонних лиц, с которыми он, однако ж, не заблагорассудил меня познакомить. Он только указал мне рукой на детей, сказав: «А вот и потроха мои!» — и затем насильственно усадил меня на диван. Из семейных были тут: жена Ермолая Петровича, бабочка лет двадцати пяти, которая была бы недурна собой, если бы не так усердно мазалась свинцовыми белилами и не носила столь туго накрахмаленных юбок, мать ее, худенькая, повязанная платком старуха с фиолетовым носом, которую Бондырев, неизвестно почему, величал «вашим превосходительством», и четверо детей, которые основательностью своего телосложения напоминали Ермолая Петровича и чуть ли даже, подобно ему, не похрипывали.

— Не угодно ли чаю с дороги? — спросила меня жена

— Что чай! вот мы его высокоблагородие водочкой попросим,— отозвался Бондырев,— я, ваше высокоблагородие, этой китайской травы в рот не беру — оттого и здоров-с.

— Вы из «губернии» изволите ехать? — обратилась ко мне старуха теща.

— Да, я недавно оттуда

— Так-с. А как, я думаю, там теперича хорошо должно быть! Председательствующие, по случаю праздника, в соборе в мундирах стоят... сам генерал, чай, насупившись...

— Ну, пошла, ваше превосходительство, огород городить! — заметил Бондырев,— ну, скажите на милость, зачем генералу насупившись стоять! чай, для праздника-то Христова и им бровки свои пораздвинуть можно!

— Ах, батюшка мой! насупившись стоит по той причине, что озабочен очень!.. обуза ведь не маленькая!

— А по мне, так всего лучше певчие . это восхитительно! — вступилась жена,— при слабости нерв, даже слушать почти невозможно!

— Нет, вот на моей памяти бывали в соборе певчие — так это именно, что всех в слезы приводили! — перебила теща,— уж на что был в ту пору губернатор суровый человек, а и тот воздержаться никак не в силах был! Особливо был тут один

черноватенький: запоет, бывало, сначала тихонько-тихонько, а потом и переливается, и переливается... даже словно журчит весь! Авдотья Степановна, второго диакона жена, сказывала, что ему по два дня есть ничего не давывали, чтоб голос чище был!

— Вот распроклятая-то жизнь! — молвил Ермолай Петрович, подмигнув мне глазом, и потом, обращаясь к теще, прибавил: — А как посмотрю я на ваше превосходительство, так все-то у вас одни глупости да малодушества на уме

Но ее превосходительство, должно быть, уж привыкла к подобным апострофам [1], потому что, нимало не конфузясь, продолжала

— Уж я, бывало, так и ие дышу, словно туман у меня в глазах, как они это выводить-то зачнут! Да, такой уж у меня характер: коли перед глазами у меня что-нибудь божественное, так я, можно сказать, сама себя не помню.. так это все там и колышется!

Мадам Бондырева глубоко и сосредоточенно вздохнула

— Да, в деревне ничего этого не увидишь! — сказала она.

— Где увидать! — одни выходы у его превосходительства чего стоят! Все чиновники, бывало, в мундирах стоят, и каждому его превосходительство свой реприманд сделает! И пойдут это потом каждый день закуски да обеды — одних свиней для колбас сколько в батальоне, при солдатской кухне, откармливали!

— Ну, это-то заведенье и доднесь, пожалуй, осталось — скорбеть об этом нечего! — флегматически объяснил Ермолай Петрович — А что, ваше высокоблагородие, не угодно ли будет повторить от скуки? Водка у нас, осмелюсь вам доложить, отличная: сразу, что называется, ожжет, а потом и пойдет ползком по суставчикам... каждый изноет-с!

— Вот у моего покойника,— снова обратилась ко мне теща,— хорошу водку на стол подавали. Он только и говорит, бывало. «Лучше ничем меня откупщик не почти, а водкой почти!»

— Ну, это опять неосновательно,— заметил Бондырев,— пословица гласит: пей, да ума не пропей,— стало быть, зачем же я из-за водки другие статьи буду неглижировать?

— Да ведь и он, сударь, не неглижировал, а так только к слову это говаривал. Он водку-то через куб, для крепости, переганивал..

— Ну, а ваши как дела? — спросил я Бондырева

— Слава богу, ваше высокоблагородие, слава богу! дай

---

[1] обращениям.

бог здоровья добрым начальникам, милостями не оставляют... ные вот под суд отдали!

— Как так?

— Да просто-с. Чтой-то уж, ваше высокоблагородие, будто и не знаете? чай, и вы тут ручку приложили!

— В первый раз слышу.

— Что ж-с, и тут мудреного нет! известно, не читать же вашим высокоблагородиям всего, что подписывать изволите!

— Скажите, по крайней мере, за что вы отданы под суд?

— А неизвестно-с Оно конечно, довольно тут на справку вывели, и жизнь-то, кажется, наизнанку всю выворотили . одних неисполнительностей штук до полсотни подыскали — даже подивился я, откуда весь этот сор выгребли Да-с; тяжеленька-таки наша служба; губернское-то правление не то чтоб, как мать, по-родительски тебе спустило, а пуще считает тебя, как бы сказать, за подкидыша ты, дескать, такой сякой, все зараз сделать должон!

— По пословице, Ермолай Петрович, по пословице! — «Свекровь снохе говорила: Сношенька, будет молоть, отдохни — потолки!»

Последние слова произнес неизвестный мне старик, стоявший до сих пор в углу и не принимавший никакого участия в разговоре. По всему было видно, что этот новый собеседник принадлежал к числу тех жалких жертв провинциального бюрократизма, которые, преждевременно созрев под сению крючкотворства, столь же преждевременно утрачивают душевные свои силы, вследствие неумеренного употребления водки, и затем на всю жизнь делаются неспособными ни к какому делу или занятию, требующему умственных соображений Он был одет в вицмундир старинного покроя с узенькими фалдочками и до такой степени порыжелый, что даже самый опытный глаз не мог бы угадать здесь признаков первобытного зеленого цвета Но всего замечательнее в этом человеке был необыкновенный грибовидный его нос, на котором, как на палитре, сочетались всевозможные цвета, начиная от чисто-телесного и кончая самым темным яхонтовым Нос этот, как после оказалось, был источником горьких несчастий и глубоких разочарований для своего обладателя.

— Это жаль, однако ж, — сказал я Бондыреву, ощущая невольное угрызение совести при виде человека, которого погибели я сам некоторым образом содействовал.

— Ничего, ваше высокоблагородие! мы в уголовной-то словно в баньке выпаримся... еще бодрей после того будем!

— Это истинно так! — пояснил обладатель носа.

— А что, видно, и тебе горловину-то прочистить хочется? —

обратился к нему Бондырев — Ваше высокобрагородие! позвольте представить! Егор Павлов Абессаломов, служит у меня в вольнонаемных; проку-то от него, признаться, мало, так больше вот для забавы, для домашних-с держу... Театров у нас нет, так по крайности хоть он развлечет

— Ну уж, нашли какую замену! — презрительно процедила жена.

— А что ж! по деревне, лучше и быть не надо! — продолжал Ермолай Петрович, — об ину пору он нас, ваше высокоблагородие, до слез мимикой своей смешит!

— Если его высокоблагородию не гнусно, так я и теперь свое представление сделать могу! — отрекомендовался Абессаломов, выпрямляясь как бы пред наитием вдохновения.

— Прикажите, ваше высокоблагородие! Не чем так-то сидеть, так хоть на диковинки наши посмотрите.. катай, Абессаломов!

— «Июля пятого числа» . — начал Абессаломов.

— Нет, стой! Не так рассказываешь! — прервал его Ермолай Петрович, — а ты коли охотишься рассказывать, так рассказывай делом. и в позицию стань, и начало сделай! Развозов! марш сюда и ты!

Последние слова относились к молодому человеку, служившему письмоводителем у Бондырева Как оказалось впослествии, он должен был в некоторых местах подавать Абессаломову реплику, через что представлению сообщалась особенная живость и вместе с тем усугублялся комизм. Очевидно, что кто-то (чуть ли даже не сам Бондырев) с любовью работал над этой потехой, чтоб возвести ее от простого рассказа до степени драматической пьесы.

Абессаломов стал в позицию, то есть выдвинул вперед одну ногу, правую руку отставил наотмашь и, выпрямившись всем корпусом, голову закинул несколько назад Все присутствующие улыбались, а некоторые даже откровенно фыркали, заранее предвкушая предстоящее им наслаждение Абессаломов начал:

НЕВЫГОДНЫЙ НОС

(Интермедия в лицах)

Милостивые господа и госпожи! имею доложить вам о происшествии, которого удивительность равняется лишь его необыкновенности!

Смех в аудитории.

Источником как сего происшествия, так и других многих от него зол текущих, есть сей самый нос *(теребит себя за нос)*, который зде предстоит пред вами! А в чем сие происшествие, тому следуют пункты.

«Ишь ты! по пунктам!» — раздается в аудитории. Смех усиливается

Июля пятого числа 18** года, в девять часов утра, следовал я, по издревле принятому еще предками нашими обычаю, на службу. Необходимо, однако, предварительно доложить вашим благородиям, что с самого с Петра и Павла, неизвестно от каких причин, подвергнулся я необыкновенной тоске. То есть тоска не тоска, а тянет вот, тянет тебя целый день, да и вся недолга. Даже жена удивлялась. «Чтой-то, говорит, душечка (она у меня в пансионе французскому языку обучалась, так нежное-то обращение знает)! Чтой-то, говорит, душечка! на тебя даже смотреть словно тошно — ты бы хоть водочки выпил!» — «Худо, — говорю я, — худо это, Прасковья Петровна! это большое насчастие обозначает! » Однако ж выпил в ту пору маленько водочки — оно и поотлегло!

Вот только иаступило это пятое число. Не успел я выйти на улицу, как идет мне встречу некоторый озорник, идет и очи на меня пучит. «Вот, говорит, нос! для двух рос, а одному достался!»

Взрыв хохота в аудитории

Однако я ничего, пошел своей дорогой и даже подумал про себя: «Погоди, брат! не больно прытко! может, у тебя и рыло-то все наизнанку выворотит». Не успел я это, государи мои, подумать, как встречается со мной другои озорник. «А позвольте, говорит, милостивый государь! известно ли вам, что у вас на лице состоит феномен?» И все это, знаете, с усмешкой, и рожа-то у него поганым манером от смеху перекосилась .. «Милостивый государь!» — сказал я, начиная обижаться. «Да нет, говорит, вы и сами не понимаете, каким обладаете сокровищем .. да господа англичане миллион рублей вам дадут, ежели вы позволите им отрезать .. ваш нос!»

Развозов. А что ж, это ведь правда· нос-то у тебя именно феномен!

Абессаломов Отстань ты дай говорить!.. Ну-с, отвязался он от меня коё-как, и пришлось мне после того мимо резиденции их превосходительства идти. А их превосходительство, как на грех, на ту пору чай на балконе кушали... Ну, занятиев у них никаких тогда не случилось, смотрели, значит, больше по сторонам, да смотревши и узрели меня, многогрешного. Вскипели. «Что это, говорят, за чиновник? Какой у него

противный нос!» Не спорю я... не прекословлю! Точно, что нос мой в присутственном месте терпим быть не может! Однако терпели же меня двадцать пять лет, да и их превосходительство, может, от праздности только заметили.. а вышло совсем наоборот-с. Пересказали, должно быть, эти слова мои завистники, только сижу я в этот самый день в присутствии, приходит наш председательствующий, и часа через два, что бы вы думали, я слышу? *(С расстановкой)*. Что о моем, государи мои, увольнении уж и постановление состоялось!

Развозов. Однако живо же они тебя обработали.

Абессаломов Спешным журналом-с Даже законом предписанных форм не соблюли, потому что в законах именно строжайше повелено никаких штрафов не налагать, а кольми паче насильственному умертвию не предавать, не истребовав предварительно объяснения!

Развозов. В чем же, однако, объяснения от тебя требовать?

Абессаломов. Все же-с! а если не в чем мне объясняться, так тем паче-с! Ведь это обидно .. я не один .. тут все потомство мое, можно сказать, из-за носа страждет! В законах именно сказано, чтоб на лицо не взирать!

Развозов. Ты это оставь. Это не наша инстанция. Так даже скажу: если и напредки тебе на этот счет языком побаловать захочется, так ты вспомни пословицу. язык мой — враг мой, и, вспомнивши, плюнь. Я тридцать пять лет служу *(Развозову было всего лет двадцать пять)*, и то все кругом да около хожу, а в центру ни в жизнь еще не попадал!

Абессаломов Вот-с, прихожу я после того домой. Человек я детный; жена у меня золотушная, так каждый год все либо дочку, либо сынка подарит.

Развозов И все, чай, с такими же носами?

Абессаломов Как можно — сохрани бог! старшенькая у меня дочь, Наташенька, совсем даже схожего со мной ничего не имеет .. красавица! Так прихожу я это домой! «Ну, говорю, жена! Бог милости прислал!» — «А что так?» — «Да так, говорю, ездил в пир Кирило, да подарен там в рыло... уволен, брат, вчистую!»

Общий хохот; Абессаломов, в волнении, не может некоторое время продолжать.

И вот-с, стали мы после того жить да поживать, да добра наживать, живем, нече сказать, богато, со двора покато, за что ни хватись, за всем в люди покатись; запасов всяких многое множество, а пуще всего всякого нета запасено с самого с лета Жена скоро покойницей стала, бо для нас время гладно на-

стало, а дочек-красоток люди приютили, бо родители им продовольствие прекратили, а затем остаюсь, без дальнейших слов, покорный ваш слуга Егор Павлов Абессаломо́в

Общие рукоплескания, жена станового презрительно усмехается

Окончив представление, Абессаломов немедленно подошел к подносу с закуской и сряду выпил три рюмки водки; после того он удалился в угол и, сев на стул, почти мгновенно заснул.

— А что, ваше высокоблагородие! — обратился ко мне Бондырев, — вот вы и в столицах изволили быть, а этакого в своем роде дарования и там, чай, со свечкой поищешь!

Но я не отвечал ни слова на этот вопрос, потому что впечатление, произведенное на меня этим странным существом и его рассказом, было из самых тяжелых Несмотря на грубо комический колорит рассказа, видно было, что весь тон его фальшивый, и что за ним слышится нечто до того похожее на страдание, что невозможно и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью Вообще, если Ермолай Петрович рассчитывал на то, чтоб позабавить меня, то далеко не достиг своей цели, и день мой был окончательно испорчен этим представлением. Я ехал сюда измученный моим одиночеством; все существо мое было настроено к принятию тех благодатных, светлых впечатлений, которые, бог весть почему, в известные дни и эпохи неотразимо и неизменно носятся над душой, но странное «представление» мигом разрушило это светлое, гармоническое настроение Так иногда случается, что в правильное и совершенно плавное течение жизни вдруг врезывается обстоятельство в полном смысле слова ей постороннее, и врезывается с такой силой, что не только заставляет принять себя, но и деспотически подчиняет себе весь строй этой жизни.

III

Начинало уже смеркаться, когда мы приехали на станцию. По селу и там и сям бродили группы подгулявших крестьян, а перед станционным домом стояла даже целая толпа народу.

— Верно, что-нибудь случилось! — еще издали заметил мне Бондырев, указывая на толпу

И действительно, толпа, казалось, тревожно выжидала нашего приезда. Едва успели мы выйти из саней, как все это вдруг заговорило и беспорядочно замахало руками. Из избы долетали до нас звуки того унылого голошенья, услышав которое даже самый опытный наблюдатель не в состоянии бы-

вает определить, что скрывается за этими взвизгиваньями и завываньями: искреннее ли чувство или простой формализм.

— Что случилось? — спросил Бондырев.

— Петруха... Петруха . — раздалось в толпе.

Сердце мое болезненно дрогнуло

— Племянник у нас бежал, ваше благородие! — отвечал, выступая вперед, один из сыновей дедушки.

— Рекрут, что ли?

— Рекрут, ваше благородие.

— Ах, шельмы вы этакие! — и снисхождения-то вам сделать нельзя!

— Имают его, ваше благородие! сам отец пошел, — робко проговорил дядя Петруни.

— Да, изымают, держи карман! А не было ли у него на селе любезной? — спросил Бондырев, чутьем угадывая истину

— Маврушка Савельева, чай, знает! — молвил кто-то в толпе

— Что ты! перекрестись! — почти завопил, протискиваясь сквозь толпу, седой старик, должно быть, отец Мавруши, — ничем моя Маврушка тутотка не причастна, ваше благородие

— Ишь ты какое дело случилось! — снова начал дядя Петруни, — ничем мы, кажется, его не изобидели, а он вот что с нами сделал!

— А вот мы это после разберем! — отвечал Бондырев и, обращаясь к толпе, промолвил: — Чтоб был у меня рекрут найден! все марш в лес искать!

И, сказав это, величественным шагом потек в избу поправить в тепле свое белое тело.

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Рассказ

Станет царь-государь меня спрашивати
Ты скажи, детинушка, крестьянской сын!
Уж ты с кем воровал, с кем разбой держал?

Бурлацкая песня

Разveселое, брат, это житье! Ни перед тобой, ни над тобой, ни кругом ни около никакого начальства нет; никто, значит, глаза тебе не мозолит, никто с тебя не спрашивает, а при случае всяк сам же тебе ответ должóн дать.

Так скажу· коли нет у тебя роду-племени, или обидел-заел кто ни на есть, или сердце в тебе стосковалося — кинь ты жизнь эту нуждную, кинь заботу эту черную, поклонись ты лесу дремучему: «Лес, мол, государь, дремучий бор! ты прими меня странного, ты прими бесчастного-бесталанного Разутешь ты, государь, душу мою горькую, разнеси тоску мою по свету вольному! Чтоб знал вольный свет, какова есть жизнь распрелютая, чтоб ведали люди прохожие-проезжие, как сиротское сердце в груди встосковалося, в вольном воздухе душа разыгралася».

Народу у нас предовольно И из Рязани, и из Казани, и из-под самого Саратова, есть и казенные, есть и барские, однако больше барские... Бывают и кавалеры эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются. Народ все тертый: и в воде тонул, и в огне горел; стало быть, как зачнет тебе сказы сказывать — заслушаешься. Иной, братец, головы два раз лишался, а все голова иа плечах болтается, иной кавалер и за отечествие ровно уж слишним отличку показал, и в паратах претерпение видел, а все в живых стоит Никто как бог Один кавалер рапортовал. пуля ему в самый лоб треснула, разлетелась это голова врозь, посинели руки-ноги, ну и язык тоже· буде врать, говорит... Что ж, сударь? к дохтуру — не помог; к командиру — не помог, сам брихадный был — не помог, а Смоленская помогла! Значит — сила!

Таким родом живучи, на людях и сиротство свое забываешь. Ну, и другое еще: свычка. Это значит: коли к чему человек

привыкнет, лучше с жизнью ему расстаться, нежели привычку свою покинуть. Сказывал один кавалер, что по времени и к палке привычку сделать можно Ну, это, должно быть, уж слишним, а с хорошим житьем точно что можно слюбиться.

Да и хорошо ведь у нас в лесу бывает. Летом, как сойдет это снег, ровно все кругом тебя заговорит Зацветут это цветы-цветики, прилетит птичка малиновочка, застучит дятел, закукует кукушечка, муравьи в земле закопошутся — и не вышел бы! Травка малая под сосной зябет,— и та словно родная тебе А почнет этта лес гудеть, особливо об ночь и ветру не чуть, и верхи не больно чтоб шатались, — а гудет! Так гудет, что даже земля на многие десятки верст ровно стонет! Столь это хорошо, что даже сердце в тебе взыграет!

Бывают, однако, и напасти на нас, а главная напасть — зима Первое дело — работы совсем нет: стужа-то не свой брат, не сядешь ждать на дороге, как слезы из глаз морозом вышибает; второе дело — всякий в ту пору в лес наезжает: кому бревешко срубить, кому дровец надобно — ну, и неспособно в лесу жить. Значит, в зимнее время все больше по чужим людям, аки Иуда, шманаемся где хлебца подадут, а где и пирожка укусишь Только чудной, право, наш народ: хлебца тебе Христовым именем подаст, даже убоинкой об ину пору удовлетворит; а в избу погреться не пустит — ни-ни, проваливай мимо! Таким родом, все по гумнам и имеем ночлег. Иной раз разнеможешься — просто смерть! Спину словно перешибет, в голове звенит, глаза затекут, ноги ровно бревна сделаются — а все ходи! Еще где до свету, запоют это петухи, потянешь носом дымок — ну. и вставай, значит, покидай свое логово! А не уйдешь, так тебя, раба божия, силой из-под соломы выволокут, да на суседнее поле и положат отдыхай, мол, тут, сколько тебе хочется! Зверь-народ!

Однако, брат, штука это жизнь! Иной раз даже тошнехонько, и на свет бы не глядел, и руки бы на себя наложил, — ан нет, словно нарочно все так подстроится, чтоб быть тебе живу — жив и есть Ровно она сама к тебе пристает, жизнь-то живи, мол, восчувствуй! Ну, и восчувствуешь· пойдешь это в кабак, хватишь косушку императорского разом, и простынет в тебе зло, благо сердце у нас отходчиво

Случилась однажды со мной оказия. Иду я по Доробину, а на дворе стала ночь; только иду я и, идучи, будто думаю· и холодно-то мне, и голодно-то, и нет-то у меня роду-племени, нету батюшки, нету матушки, и все, знашь, как-то на фартуну свою жалуюсь, что уж оченно, значит, горько мне привелось Только вижу, у Мысея в избе огонь горит. Полюбопытствовал я и гляжу в окошко, ну, известно, что в избе делается. Посе-

редь горницы молодуха прядет, в углу молодяк за станом сидит, на земи робятки валяются, старый лапти на лавке ковыряет... то есть, видал и перевидал я все это. Однако тут бог е знает, что со мной сталось: растопилось это во мне сердце, даже затрясся весь Взошел в избу: «Бог в помочь, говорю, господа хозяева! не пустите ли странного обогреться?»

— А ты отколь? — спрашивает Мысей и смотрит на меня старик зорко. Ну, сам, чай, знаешь, трудно ли тут соврать? Сказал, что из Гай либо из Лыкошева, и дело с концом! Ан, вот те Христос, не посмел солгать, язык даже не повернулся; стою да молчу — Ин, дай ему, Марьюшка, хлебца, Христа ради! — говорит Мысей-то, — а ты, говорит, странный, ступай — бог с тобой!

Ну, и пошел я; только всю эту ночь я промаялся. Горе, что ли, меня больно задавило, а это точно, что глаз сомкнуть не мог. Все это будто сквозь туман либо Мысей представляется, либо робятки малые, либо молодуха и ровно рай у них в избе-то!

Вторая наша напасть — полиция, однако с нею больше на деньгах дело имеем.

Вздумал этта становой нас ловить, однако мамоне спраздновал. Вот как дело было. Призвал он к себе от «Разбалуя» целовальника· — Ты, говорит, всему этому делу голова; ты, стало быть, и ловить должон

— Помилуйте, ваше благородие! — говорит Михей Митрич, — у нас в заведении, окроме как тихим манером выпить, никаких других делов не бывает; одно слово, говорит, монастырь... сосновый-с! — Однако становой на него затопал: — Знать, говорит, ничего не хочу! — Ну, Михей Митрич за Батыгой: так и так, мол, утекайте пока до беды. Затосковал Батыга; денно и нощно горькую пил, а из беды-таки выручил. ЗаряДивши себя таким родом, пошел он . как бы ты думал, куда? к самому, то есть к становому!

— Я, говорит, есть тот самый Батыга, об котором ваше благородие узнавать изволили . — Так становой-то даже обеспамятел весь от злости Подлетел это к нему, вцепился с маху в бороду, и иу волочить. Даже говорить ничего не говорит, а только рот разевает да дышит Только Батыга все претерпел, ни в чем не перечил, а как увидел, однако, что его благородию маленько будто полегчило, повел и он свою речь. — А я, мол, к вашему благородию с лаской, говорит. — Ну, и опять обеспамятел становой: — Сотских! — кричит, — кандалы сюда! — И все-таки в кандалы не заковал, а порешили наше дело промеж себя полюбовно: от нас ему в месяц пятьдесят целковых, а нам воровать с осторожностью.

А по прочему по всему житье нам хорошее.

Попал я на эту линию постепенно. Человек я божий, обшит кожей, не граф, не князь, а попросту, по-русски сказать, дворовый господина Ивана Кондратьича Семерикова холоп Ну, холоп — стало быть, хам, в бархатах, значит, не хаживал, на золоте не едал, медовой сытой не запивал, ходил больше в нанке да в пеструшке, хлебал щи, а пил воду. На этом, брат. коште не разжиреешь, а если и разжиреешь, так, значит, не от себя и не от господ, а никто как бог Поступил я сперва-наперво в барский дом в мальчишки Должность эта небольшая на погреб за квасом слетай, в обед за стулом с тарелкой по стой, ножи вычисти, тарелки перемой да из чулка урок свяжи — только и всего А жалованья за эту послугу получал в день три пинка да семь подзатыльников; иногда прибавлялось и сеченье Так-то я и рос. Помню даже теперь, как, бывало облизываешься, глядя на господ, как они кушать изволят Иной раз так забудешься, что и рот по-ихнему разевать начнешь — ну, и сечь сейчас, потому что ты лакей и, стало быть должен за стулом стоять смирно

Хоть барин у нас и богатый, однако ихний тятенька, еще у всех дворовых на памяти, в ближнем кабаке Михей Митричем сидел сидел-сидел да и попал, братец ты мой, во дворяне... однако, стало быть, не за это По этому самому случаю а больше, может, и для того, чтоб себя перед благородством оправдать, Иван наш Кондратьич свою честь держал очень строго. Не то чтоб к кабаку, как к истинному своему отечеству, льнуть, а все норовит, бывало, как бы в большие хоромы вгрызться А с нашим братом рабом, окромя «холоп» да «скотина», «цыц» да «молчать» — никакого другого и разговору не было. Самый, то есть, был господин для слуги неприятный.

Наши дворовые были Иван Кондратьичем недовольны и называли его больше брюханом и изменщиком (потому как он кабаку, своему отцу-матери, изменил). Особливо обижался им буфетчик Петр Филатов Прежде-то были мы, слышь ты, княжие (Овчинина князя Сергей Федорыча, может, слыхал?), да князь-то нас дохтуру в карты проиграл, а дохтур уж Семерику продал Ну, стало быть, Петру-то Филатычу и точно что будто обидненько было после князя какой-нибудь, с позволения сказать, мрази служить.

А приятный для слуги господин какой должен быть? Тот господин для слуги приятен, который его слушается, который обиход с ним имеет и на совет слугу своего беспременно зовет В стары годы, сказывают, на этот счет просто было. господа с слугами в шашки игрывали и завсегда с ними компанию важи-

вали Он же, Петр Филатов, сказывал, что, бывало, господа друг с дружкой беседу ведут, а слуги у дверей сберутся, да временем и свое словечко в господскую речь пустят. Ну, конечно, что этак-то будто лучше, а впрочем, это не мое, а Петра Филатова рассуждение, потому как я на это дело давно уже плюнул и ногой, братец ты мой, его растер

Сказывал нам Петр Филатыч и других поучений много. Сказывал, примерно, что те, кои в сем мире рабы, на том свете господами, в пресветлом сиянии, будут, что паука убить — сто грехов убавится, а муху убить — сто же грехов набавится. А как я от барина своего бежал и через эвто самое, как бы сказать, в здешней жизни не претерпев, будущей своей жизни лишился, то, помня Петра Филатыча слова, всякий раз, как паука вижу, беспременно его убиваю, а муху, напротив того, питаю и призреваю

Пречудный был этот старик. Начнет, бывало, про князя рассказывать — что твой соловей заливается, — и не заткнешь ничем. — А как же, мол, тебя князь-то в карты продул? — А отчего ж, говорит, ему и не продуть? разве князь в достоянии своем не властен? — Я, говорит, не об том скорблю, что холоп — потому как на мне первородный грех есть, и от этого самого я холоп, — а об том, что вот, на старости лет, Семерику служить привелось; и пойдет это губами шамкать; даже весь посинеет от злости, что князя его обижать смеют. Такая уж, видно, линия на роду человеку написана.

На четырнадцатом году свезли меня в Москву к повару-французу в учение; жил я в поваренках четыре года и, хвастать нечего, свету большого из-за плиты не видал. Потом, однако, пустили господа по оброку, чтоб еще больше, значит, в науке своей произойти.

Про Москву так должен сказать: множество видел я городов, а супротив Москвы не сыщется. В Москве всякий в свое удовольствие живет, господа в гости друг к дружке ездят, а простой народ в заведениях — блаженство! Возьмем, примерно, трактиры одни, чего там нет? И чай, и водка, и закуски. и все, значит, сам Машина «Ветерок» тебе сыграет, приказный от Иверских ворот вприсядку отпляшет, в одном углу тысячные дела промеж себя решат, в другом просьбицу строчат, в третьем обнимаются, в четвертом слезы проливают.. Жизнь! К этакому-то житью как попривыкнешь, ни на что другое и не смотрел бы! Так тебя и тянет с утра раннего все в трактир да в трактир

Барин, к которому я нанялся (а нанялся я к нему в лакеи, а не в повара), очень меня полюбил; смирный, добрый был этот барин, не наругатель и не озорник, а к простому народу

особливо был жалостлив Служить он нигде не служил и занимался, по своей охоте, все больше книжками, а по вечерам господа молодые к нему собирались.

Что уж у них там с господами промеж себя было, доказать тебе этого не могу, только попал, братец ты мой, он по этому случаю на замечание, что вот, дескать, человек молодой, служить не служит, а разговорами занимается.. так что, мол, это значит? А московская наша полиция — черт. а не полиция коли захочет человека достать, так хоть он в трепсподнюю спрячься, и в трепсподней его достанет

Вот и препоручили они одной мамзели пропастной, чтобы она, значит, нашего Михайлу Васильича полегоньку им предоставила На моих глазах и дело это случилось Жили мы тогда в Столешниковом, а напротив нас, в Лихтеровом доме, эта француженка квартиру имела Учительница, что ли, она была или только сказывалась так, а уж из себя точно что писаная красавица была. Сядет, бывало, с книжкой к окошку, волосы для приманки распустит, ручку беленькую будто невзначай покажет — так бы, кажется, и глаз не оторвал от нее! Однако наш Михайло Васильич сначала будто дичился ее она к окну, а он от окна благим матом да в угол забьется А все-таки, как ни вертелся, как ни отбивался, а кровь по времени свое взяла, потому что такое уж, брат, естество наше грешное, что всухомятку жизнь изжить никак невозможно.

Вот и слюбились они Уж что, братец мой, с ним в ту пору сталось — и рассказать того нельзя. Поначалу ровно он обезумел, бросился ее целовать — ну, я и двери за ними запер. А потом, слышу, плачет, да тяжко таково, даже ровно кричит . И мне все сердце изорвал, да и на улице слышно Так это на него действовало Уж на что она дошлая девка была, а и она испугалась, выбежала в одной юпчонке, кричит «Воды!» Насилу мы его в ту пору в чувство привели

И пошла у них тут масленица. Совсем он переменился, словно расцвел — растопился весь. Живой да веселый стал; на щеках румянец заиграл; даже ходит, бывало, — так ровно земли под собой не чувствует.

И господам ее своим всем представил, соберутся, бывало, они повечеру в кружок, ну, и она тут завсегда с ними присутствует, разговор ихний слушает, а сама тем временем либо будто дремлет, либо к Михайле Васильичу ласкается

Только стал я по времени примечать, что мимо нашего дома полицейский переодетый похаживает, и сам, знаешь, будто рыло свое скосит, а между тем все на наши окна посматривает Подивился я этому, однако ничего, смолчал. Однажды иду я к нашей мамзели с запиской от барина, всхожу

на лестницу, а сверху идет встречу мне опять этот полицейский, и опять переодетый. Ну, и она, увидевши меня, словно смутилась что за чудо? Стал я после этого за ней присматривать, стал примечать, что она куда-то раны́м-ранехонько похаживает, однако все думал, что по амурам Раз как-то и полюбопытствовал я; она со двора, и я за ней полегонечку ..

И куда ж бы ты думал, однако, она меня привела?

. . . . . .

Сказал я об этом тогда же Михайле Васильичу, да уж поздно было В тот же день вечером пришли к нам гости незваные, и тут же дело наше покончили.

Так вот, брат, какова бывает на свете полиция!

После того вскорости же пришел и ко мне от нашего бурмистра приказ в деревню явиться

Уж как мне эта деревня тошна после Москвы показалась — даже рассказать нельзя! Первое дело, призывает меня к себе Семерик и приказывает на конюшню идти, за то, мол, что в Москве не в повара, а в лакеи самовольно нанялся. Хорошо, пошел и на конюшню На другои день еще приходит приказ отобрать у Ивана хорошее платье и дать ему старый армяк Ну, армяк так армяк — и на том спасибо! Однако, думаю, за что же? Пожаловал Семерик как-то на конный двор и видит, что я горя мало хожу; прошелся мимо меня раз, прошелся другой: все ждет, что я в ноги к нему паду Однако с тем и ушел, что не дождался; только, уходя, словно погрозился на меня и молвил: «Дойму я тебя, зверь бесчувственный!»

Второе дело, содержание в деревие больно уж безобразное. Настанет, бывало, время обедать идти, так даже сердце в тебе все воротит Щи пустые, молоко кислое — только слава одна, что ешь, а настоящего совсем нет Тем и отведешь себе душу, что господ на чем свет обругаешь

И так то иной весь свой век отживет, ни единой, то есть, радости не видавши, ни единой себе минуты спокою не знавши... так и снесет поп в могилу!

Однако, хоть и всячески я себя перемогал, чтобы только Семерику похвастаться было нельзя, что вот, дескать, на что Ванька зверь, и того, мол, сокрушил, а по времени невмоготу стало И сделалось со мной тут словно чудо какое От думы, что ли, или оттого, что, в Москве живши, себя уж очень изнежил, только стал я мучиться да тосковать, даже ровно страх на меня от всех этих мученьев напал «Господи! думаю, бывало, неужто ж и взаправду мне в этой трущобе, как червю, сгнить придется?» А сердце вот так и рвет, так и ноет в груди.

Даже работать совсем перестал. Знаю и сам, что худо это,

что другие, может, и лучше тебя, за тебя работают, однако принуждения сделать себе не в силах Ну, и дай бог нашим здоровья пожалели меня, до барина этого не довели.

Вот только один раз повечеру господа наши в гости уехали; пошел я во двор поглядеть, как наши сенные девушки в горелки бегают. Только бегают это девки, а во флигеле на крылечке какая-то барыня на них смотрит. Ну, и наши все тут в кучу собрались; идет промеж них хохот да балагурство, увидели меня, на смех тоже подняли· «Что́ пришел? или, мол, смирился?» — «Ан нет, — говорит Филатов, — он к Марье Сергевне на полкон явился!» — Тут только я и узнал, что эта барыня сама Марья Сергевна и есть.

А Марья Сергевна у нашего барина вроде как экономка жила. Была она просто-напросто пастуха нашего дочь; только Семерик и в паневе ее облюбовал и по этому самому отца-то из пастухов в дальнюю деревню в старосты произвел, а ее в горницу к себе определил Ну, взяли, сердечную, вымыли, вычесали, в платье немецкое одели и к Семерику представили барыня наша, сказывают, много об этом в ту пору стужалася

Однако любопытно мне стало поглядеть на нее Сам знаешь, баринова сударка, — стало быть, сила Коли не настоящее, значит, тебе начальство, так еще хуже того; как же тут утерпеть, не посмотреть? Подошел я к крылечку и гляжу на нее

И вот, братец ты мой, даже до сей минуты вспомнить я о ней не могу. так это и закипит, задрожит все во мне! Ровно подняло во мне все нутро, ровно сердце в груди даже заиграло, как взглянула она на меня! И нельзя даже сказать, чтоб уж очень из себя пышна или красива была, а такой это был у нее взгляд мягкий да ласковый, что всякому около нее тепло и радошно становилося Ну, и усмешечка эта на губах тихонькая . ровно вот зоренька утренняя сквозь облачка поигрывает.

Много видел я барынь красивых, и из нашего звания тоже хороши девушки из себя бывают, а все-таки Маши другой не встречал. Доброта в ней большая была, а по тому, может, самому краса ее силу имела, что душа у ней на лице всякому объявлялась Так скажу не знай я теперь, что давно она от тиранств барских в могилу пошла, жизни бы не пожалел, в кабалу бы себя опять отдал, только бы на лицо ее насмотреться, только бы голоса ее милого наслушаться!

Ну, и она, увидевши меня будто в первый раз, тоже полюбопытствовала

— Не вы ли, — говорит, — новый повар, что из Москвы онамеднись выслали?

— Я, — говорю.

— Отчего ж, — говорит, — вы в таком платье ходите?

— А оттого, мол, что на то есть барская воля

— Так вы барина попросили бы он ведь только горд очень, а добрый!

— Нет, — говорю, — я просить не буду, потому что вперед знаю, что если стану с барином говорить, так уж это беспременно, что ему нагрублю

— Что ж так?

— Да так, больно уж много нам обид от них было, Марья Сергевна за что, примерно, он меня платья моего лишил?

— Вот вы какие! пожили в Москве, да и стали уж слишком спесивы! А вы бы глядя на других делали

Ну, я против этих ее слов ничего сказать не решился, стою да молчу.

— А хорошее, — говорит, — в Москве житье?

И сама, знаешь, тяжеленько этак вздыхает.

— И везде, — говорю, — хорошо, где, то есть, жить нам мило.

— А где, по-вашему, мило? — спрашивает.

— А там, — говорю, — мило, где у нас милый друг находится

Сказал это, да и смотрю на нее, и даже чувствую, как меня всего знобит. И она со слов моих словно зарделась вся, опустила это головоньку и задумалась

— Вам, может, желательно, чтоб я за вас барина попросила,— говорит

— Коли ваше желание на то есть, — говорю, — так от вас я приять милость не откажусь

Больше в тот вечер я с ней не говорил Только стало мне с той минуты словно легко и незаботно на свете жить Пошел я к себе на сеновал спать и всю-то ночь вместо спанья только песни пропел

Да и ночь-то на ту пору какая случилась! теплая да звездная, ровно даже горит это наверху от множества звезд! И все это кругом тебя спит; только и слышишь, как лошадь около яслеи на мякину фыркнула или в деннике жеребенок в соломе спросоньев закопошился.

На утре позвали меня к барину Не могу о себе сказать, чтоб из робких был; однако на ту пору так сробел, что даже сердце во мне упало. Барин принял меня в лакейской пред всеми людьми и очень что-то грозно.

— Ну что, — говорит, — прочухался?

Я молчу

— Что ж ты не отвечаешь, зверь?

Я опять молчу Только слышу, что по-за дверью ровно зашуршало что. Задрожал, затрясся я весь

— Виноват, — говорю

— То-то, мол, виноват! А не знаешь, видно, как слуга должен у господина своего прощенья просить?

Пал я на колени . Ну, и простил он меня, на кухню определить велел .. Только как вспоминаю я теперь про это, даже во рту скверно становится ..

. . . . . .

Стали мы после этого чаще видаться, только больше все при людях Иной раз и встретишься где-нибудь один на один, однако смешаешься, обробеешь — ну, ничего и не скажешь. Об одном только и в мыслях, бывало, держишь, как бы с ней встретиться, или бы шорох от платья ее услышать, или бы вот хоть издальки на нее полюбоваться Ну, и она словно заметила, что усмешечка ее шибко мне нравится как ни пройдет мимо меня, всякий раз беспременно усмехнется . Так и протянулось наше дело до осени.

По осени, так около введеньева дня, стали наши господа в Москву сбираться. Пошел это по дому треск да шум; возы с поклажей сряжают, экипажи дорожные излаживают — ну, как у больших господ обыкновенно водится. Слышу я, что и Маша с господами уезжает, а мне приказу ехать не объявляют Стал я стороной от людей узнавать кто говорит — Павлу повару ехать, кто говорит — мне ехать, а настоящего нету Времени меж тем все меньше остается — смерть, да и полно!

Порешил я под конец, чтоб мне самому с Машей об этом переговорить Выбрал время, как ей из дому во флигель на ночь идти, стал и жду у крылечка Только вижу, что вдали огонек забрезжил и прямо-таки к флигелю бежит, словно вот искорка, откуда ни взялась, одна сама собой в воздухе летает.

— Вы, — говорю, — Марья Сергевна?

Сперва-наначалу она было испугалась, даже оступилась и упала, однако голосу не дала Я ее бережненько поднял, посадил на крылечко и фонарь затушил

— Вы, — я говорю, — не опасайтесь меня, Марья Сергевна' Я с тем нарочно и пришел, чтоб вас видеть Мочи моей больше нет, все у меня сердце от тоски изорвалось'

Подошел я поближе к ней, взял ее за рученьку и слышу, что она словно лист вся трясется

— Вы вот с господами в Москву сбираетесь, — говорю, — стало быть, расставанье будет нам долгое Поэтому я так теперь о себе понимаю, что самый я без вас буду несчастиый человек, и, стало быть, ничего мне другого желать не надо, как

только руки на себя наложить или в леса от таких мученьев бежать. .

— Да ведь и вы, чай, с нами в Москву поедете? Чтой-то уж и бежать собрались! . словно и разуму своего вы лишились!

— Нет, — говорю, — в Москву я с вами не поеду, да и вы, коли меня жалеете, барина от этого намерения отклоните По-тому, первое, что в Москве я надежды на себя не имею, и верно это знаю, что барин либо в солдаты меня отдаст, либо в ссылку сошлет А второе дело, мне и здесь на ваше житье смотреть со-всем непереносно стало.

Как выговорил я ей это, она словно даже ручьем залилась

— Так вот, — говорит, — чем вы меня попрекаете! точно сами не знаете, какова моя здесь жизнь!

— Я, — говорю, — не с тем это сказал, чтоб вас попрекать, а с тем, что при моих к вам чувствах смотреть мне на эти дела не приходится

Только она еще пуще на это заплакала, а меня ровно тут дух какой обуял! Бросился я к ней, поднял это ее к себе на ру-ки... И жалко-то мне ее, и душу-то я бы за нее отдал, и злость, однако, за сердце словно вот клещами хватает: пропадай, мол, все, не доставайся она ни мне, ни ему! Даже закоченел весь, даже не слышу ничего, мну да тираню ее, сердечную, в руках, будто задушить хочу . А она только потихоньку стоит, а рваться от меня не рвется

— Ваня! — говорит,— что ты надо мной сделать хочешь!

Опамятовался я под конец, выпустил ее из рук. Тяжко мне тут сделалось, так тяжко, что и сказать нельзя Смотрю это на барский двор и сам бог знает что думаю; смотрю тоже и на большую дорогу, и на лес дальний,— и все это будто переме-шалось во мне; точно не сам я, а именно лукавый во мне ду-мает.

И такова была в ней душа ангельская, что она не токмà что тиранства моего не попомнила, а меня же, зверя лютого, уте-шать бросилась.

— Ваня,— говорит,— голубчик ты мой! ах, да посмотри же, посмотри же ты на меня! пожалей ты меня! Легче бы мне в пропасть теперь сгинуть, чем сердце твое на себе видеть!

И вот, братец ты мой, хоть зима на дворе стояла: значит, и тèмнеть, и сивир, и снег, однако краше для меня эта ночь самой теплой летнеи ночи показалася! Все эти звезды, что на небе горят, словно в сердце у меня загорелися!

Наутро прикинулась к ней горячка Доложили об этом ба-рину и послали за дохтуром Дохтур обозрил ее и сказал, что в Москву ехать никак нельзя Сокрушился Семерик, однако такую к Маше привычку взял, что даже поездку в Москву хо-

тел отложить. Только тут ихняя супруга, дай бог ей здоровья, за наше счастие вступилася Семерик говорит: «Не поеду!» Семеричиха кричит: «Врешь, поедешь!» И опять Семерик свое долбит, а Семеричиха так на него и заливается: «И без того я от тебя невесть что безобразиев терплю, чтоб смел ты меня, кабачник, на всю жизнь в деревню запереть!» Много у нас тут страму на весь дом было Однако Семеричиха, как была генеральская дочь, одолела Стали сбираться; вышел и мне приказ быть готовым.

Ну, нет, думаю, это, видно, подождать придется! И удумал я тут штуку. Явился к Семерику и, как ни воротило мне сердце, пал к нему в ноги взаправду

— Позвольте,— говорю,— в деревне остаться

— Это еще что за штуки? — говорит,— и как ты смел прямо на глаза мои показываться?

— Я,— говорю,— по слабости моей, в Москве надежды на себя не имею, потому как там и знакомство у нас большое, и случаев больше есть, а в деревне все одно что в монастыре .

Понравилось это Семерику А пуще всего то по сердцу пришлось, что вот, мол, лютого зверя в смирение привел!

— Ну,— говорит,— коли есть твое желание, чтоб в исправлении своем укрепиться, так я препятствовать этому не могу... Взять в Москву Павлушку!

Уехали

Остались мы с Машей в доме почесть что одни Молодых всех господа еще с обозом в Москву угнали, а в деревне оставили только стариков да конюхов К Маше старуху Матрену Ивановну приставили — золотая это была душа! Стало быть, очень нам было свободно Поначалу она еще слабость в себе чувствовала, а недельки через две и поправляться стала А Семерик то и дело, что из Москвы гонца за гонцом шлет да строго-настрого наказывает, чтоб Машу к нему в самой скорой скорости выслать Однако врешь.

И словно рай промеж нас тогда поселился. По времени даже смелость такая у нас проявилась, что и людей совсем опасаться перестали Заложишь, бывало, об вечер жеребца с барской конюшни в охотницкие саночки, укутаешь ее, голубушку, в шубку и пошел по полянкам гулять — даже дух занимается! А ночи-то, брат, лунные да морозные, и снегом-то кругом тебя обдает, и ветром то жжет. . жизнь! У Маши, бывало, даже глазенки заискрятся, столь это хорошо!

Ну, и домой тоже приедешь, отогревать ее станешь, на руках, словно ребеночка, баюкаешь ..

Да, брат,— как подумаешь да погадаешь, что все это жило, да сплыло, да быльем поросло, и что всему этому житью Се-

мерик на всяк час поперек может стать — даже страх тебя какой-то берет!

И скажи ты мне на милость, отчего бы, например, мне, дворовому господина моего, Ивана Кондратыча Семерикова, человеку, счастливым не быть? И отчего, например, вздумал я раз в жизни радость свою иметь, и тут вышло, что радость та не моя, а господская? От этой, брат, думы и ушел я в леса, чтоб больше она меня не тревожила

Проведал, однако, прознал он, шельмецкий сын, про нашу любовь Бурмистр, что ли, ему отписал — этого доказать не могу, только раз приезжаем мы вечером с поля, ан в барском доме огни горят. Маша моя так и ахнула Ну и я тоже маленько будто посумнился

— Что,— говорю,— Машенька! гаркнуть разве, и поминай как звали

Только говорю я это, а сам вижу, что она ни жива ни мертва в саночках сидит. «Ну, думаю, плохо, значит, наше дело,— пришлось в разделку идти! » Надеялся было я на первых порах во флигеле ее схоронить, ан и тот заперт.

Привели нас к Семерику... Ну, он словно зверь страшонный на меня кинулся и начал меня что есть силы-мочи бить А Маша забилась в угол да только стонет. Однако ее не тронул: по старой памяти, что ли, или уж потому, что, меня бивши, ровно дыханье все истерял.

Ну, видевши я Машенькин такой страх, опять себя перемог. Повалился ему в ноги, клялся-божился, что вечным буду его рабом, только бы на Машеньке мне жениться дозволил. На это такую он резолюцию дал посадить его на ночь в холодную, а наутро в рекрутское присутствие везти. А Машу в ту же ночь на скотный двор сослали, а через три дня в деревню за вдовца за детного замуж отдали.

В эту ночь много я от холоду вытерпел, а пуще того от думы да от тоски сокрушился Объявились мне тут все обиды его тяжкие; объявилась и жизнь эта нуждная, лютая, и кабальство мое горькое, объявилось и счастье мое вчерашнее То будто зима-зимская морозная перед глазами носится, и полянки эти дальние, и саночки малые, и Маша, разлюбушка моя, тут... И словно свет голубой мне в глаза бьет, и в этом свете голубом она, моя голубушка, ровно в воздухе, дрожит и колышется залило меня горе всего! Сейчас думаю: не будет же по-твоему, огрызок кабацкий! пропадай моя голова, коли не вырву я ее у тебя! А через минуту и то опять в голову лезет: куда ж идтить? куда ни беги, везде твое тело его будет!

Порешил я, однако, бежать Не то чтоб солдатства крепко

боялся, а словно дело это для нас необычное, да и с Машей расстаться жалко все думаешь· «Не закопают же ее живую в могилу,— авось можно свидеться как-нибудь».

Вот на другой день подняли меня раным ранехонько Вывели, всего обшарили. На дворе подвода стоит, и отдатчик с подводчиком наготове ожидают Пришли родные, пришла дворня вся; бабы воют да стонут, особливо матушка Измаяли они меня

Привелось нам мимо скотных дворов ехать Не утерпел я — и стал проситься, как бы Машу мне повидать Известно, отдатчик, вместо ответа, велел лошадь стегать, однако я вскочил и зачал его за горло душить! «Мне, говорю, заодно терпеть, а тебе не быть живу, варвары вы этакие!» Ну, испугался,— пустил Вошел я в избу. избенка эта темная да смрадная, словно хлев коровий.

— Много лет здравствовать, Марья Сергевна! — говорю.

Только услыхала она мой голос,— бросилась это ко мне, уцепилась за полушубок... даже ровно замерла тут.

— Погубил я тебя, Машенька! — говорю,— не будет мне за это счастия в сей земле

— Жить . нет... нет! — говорит, а сама так и дрожит, так и трясется вся, и в лице ни единой кровиночки нет.

Сел я на лавку, положил ее на колени к себе и стал это целовать да миловать. Только чую, будто слезы у меня горят, да и сердце в груди ровно ширится. Ну, думаю, плакать так плакать . в остатний раз! Плачу я это, даже дух у меня от слез словно захлестывает.. только и могу выговорить «Машенька! Машенька!.. ах, да каково ж это больше не свидеться!» А она даже и не отвечает ничего; завернулась, голубка, головонькой под полушубок ко мне, да только руками обеими меня удерживает. . И сладко-то, и тоскливо-то мне!

Только, видно, дали во двор знать, что двоим со мной не сладить; прибежало еще человек с пять на подмогу. Стали ее отымать от меня; ну, и она поначалу ровно не поняла, что с ней делается, даже взять себя допустила. Однако, как начал я скотнице Аграфене в ноги кланяться, чтоб она ее, сиротку, пригрела да приголубила, вдруг она словно разразилася· взвизгнула это, застонала и зачала из их рук рваться .. даже я сам поскорей из избы выбежал

Еду я дорогой да все думаю «Уиду я от них, беспременно уйду!» Гляжу это на поле дальнее вон в стороне вихорик закружился, вон пеленку снежную взбуровил уйду, мол, от них, беспременно уйду! Вон мостик ветхонький через речку лежит; по краям у речки ледок, словно хрусталь чистый, скипелся, а середочка плещется, ровно живая журчит уйду я от

них, беспременно уйду'. Вон лесок впереди засинелся: ишь ты, какой лес частый да бережоный' вон и в деревню въехали пошли саночки по ступеням тук-тук.. ах, да уйду я от них, беспременно уиду'

— Пусти, Потап' — говорю отдатчику.

— Что ты! — говорит,— чай, я не о двух головах'

— Пусти, Потап' в могилу за тебя живой лягу, души не пожалею пусти'

Не пустил.. Да уйду же я от тебя, беспременно уйду'

Приехали мы на постоялый двор ночевать Сели ужинать, а я все одно думаю «Уйду да уйду». Положили они меня для верности промеж себя спать, даже полушубок с меня сняли да под головы себе сунули. Однако я не сплю и все в уме одно держу· «Уйду, мол, я от них, беспременно уйду'» Вот только слышу я, загудело мужичье, были тут, кроме нас, извозчики; наедятся они на ночь, так ровно начнет их коробить во сне-то. Иной, знаешь, не своим голосом во сне зарычит, другой даже вскочит спросоньев, посидит-посидит словно полоумный, перекрестится, да и опять спать. Ну, и я попытать их сначала хотел: вскочил что есть мочи, не шелохнется ли, мол, кто? Однако никто голосу не дал, только Потап спросоньев стал около себя шарить, да не на ту сторону, сердечный, попал и нащупал проезжего извозчика Только я ползком да ползком . чу, сверчок за печкой затрещал . чу, вздохнул кто-то — не Потап ли? чу, кого-то словно душит во сне. И всего-то до двери пять шагов, а сколько я тут от одной думы измаялся, что лучше бы, кажется, пять верст на своих на ногах сделать .. А все-таки дополз под конец' Тут на лавке чей-то полушубок порожний обозрил и его про запас смахнул.

Вышел я на задворки, и — веришь ты? — кажется, не долго мучения мои тянулись — и всего то с сутки! — а словно я тут впервой воздухом свежим дохнул' Даже ослаб весь, и ноги покашиваются, и грудь будто расшаталася . Вышел я на задворки, однако как начал делом смекать «Плохо, думаю, это я сделал; таким манером они меня как раз по следу накроют, лучше на большую дорогу пойти». Вышел да, не думая, словно из лука стрела, пустился в обратный бежать.

Бежал я без отдыху версты с три, даже грудь начало саднить А ночь-то месячная да светлая, и поле кругом чистое да ровное — версты за две человека видно' Вижу я: коли дальше идти, первое дело — из сил выбьюсь, а второе дело — хватиться могут, и кто ж их знает, в какую сторону их леший повернет! Показалась в стороне деревушечка, я и повернул в проселок Только она, распроклятая, точно дразнит меня вот, кажется, рукой подать, так и вертится перед глазами, однако

за ихними мужицкими вавилонами добрых я с полчаса маялся, доколе дошел.

Тут я впервой познал, что такое беглый человек значит. Пришел в деревню, смотрю около себя, а куда идти — не смыслю. Словно уж судьба сама за меня промышляла да в овин привела, зарылся я в солому, да два дня оттоль и не выходил,— так не евши и лежал . После сказывали мне наши, что и в этой деревнишке меня отыскивали, однако, стало быть, не постарались

Через два дня вышел Ну, прежде всего есть до смерти хочется На дворе еще тѐмнеть была, только кой-где огни в избах виднелись: значит, исправная баба уж печку затопила. Подошел я к одной избе, вышиб кулаком подворотню, подлез скрозь нее и прямо в избу к бабе.

— Подавай хлеба! — говорю

Только она как была с ухватом в руках, так тут на месте и обмерла Я к столу; достал хлеба, взял кстати и ножик.

— Только ты пикни у меня,— говорю,— не ноне, так завтра так дойму, что навек языка лишишься!

И точно, дай бог ей здоровья,— не пикнула.

Наелся и опять в солому, залег — сумерек дожидаться. Теперь, думаю, хорошо: и сыт, да и ножик при мне есть. стало быть, какова пора ни мера, а живой в руки не дамся. И все-то меня к дому да к дому тянет.

Вот в сумерки встал-от с своего логова и пошел-таки прямо в деревню Вижу еще издалеча, что в кучерской у нас свет горит Не думавши долго, прямо туда

— Ребята! — говорю,— кто из вас против меня изменщиком хочет быть?

Только они сидят, да помалчивают, да промеж себя переглядываются.

— Если кто меня выдать хочет,— говорю,— так я тут весь; а не желаете выдать, так обогрейте да накормите меня!

Никто, однако, против своего брата изменщиком быть не согласился Тут я узнал, что в тот самый день Машу на деревню что ни на есть за гадючего мужика отдали замуж; а Семерик, сделавши это праведное дело, как ни в чем не бывало сейчас после свадьбы в Москву укатил

Загорелось во мне: хочу да хочу Машу видеть! даже есть не могу; так всего и поднимает меня

Пошел на деревню, вижу, стоит на краю избенка развалившая, подошел к окошку, думаю, нет ли гульбы у них? Однако, видно, бедность шибко мужика одолела, либо совесть на народе зазрила, только не чуть в избе никого, кроме хозяев Горит это посередь горницы лучина, и ровно чад да дым

от нее идет, а свету почесть ничего-таки нет; в углу на полу ребята вповалку спят. ну, одно слово, и голодно-то, и холодно-то в этой избе, совсем, кажется, и жить-то нельзя Одно мне чудно̀ показалось, что они ровно век вместе жили,— сидят около светца Маша бельишко кой-какое деткам починивает, а Трофим сапоги на продажу тачает Долго я так смотрел на них, все думаю взойти или не взойти? Однако Маша будто почуяла что встала с места и слушает, ну, и Трофим к окошку побрел

— Это я,— говорю,— Трофим Петрович! я, мол, беглый Иван! пустишь, что ли?

Услышавши меня, он поначалу даже от окна отшатнулся, однако вскоре опять поправился.

— Пустить, что ли, Марьюшка? — спрашивает.

Только она ровно испугалася побежала это от светца прочь и за печку спряталась

— Пусти,— говорю,— Петрович! Вот тебе бог, что только проститься хочу; одной минуты не пробуду больше!

Взошел я в избу, помолился богу, сел на лавку.

— Бог в помочь! — говорю.

Только она вышла ко мне, мертвая-размертвая. Однако идет твердо

— Прости меня, Иванушка,— говорит

Я заплакал, сижу это на лавке и, словно баба, малодушествую Господи! как мне горько-то, горько-то в ту пору было! Словно темь кругом меня облегла, словно страх да ужас на меня напал, словно тянет, сосет все мне сердце!

— Прощай, Иванушка! — опять говорит она, а у самой слезиночка в голосе дрожит.

Вскочил я; хотел в охапку ее схватить, однако вижу — в углу Трофим стоит и словно у него зуб на зуб не попадает. И она тоже руки вперед протянула, будто как застыдилася Ну, думаю, стало быть, нашему делу и взаправду кончанье пришло!

— Прощай,— говорю,— Маша! прощай и ты, Трофим!

Молчат оба.

— Видно, мол, не свидеться нам?

— Да, видно, не свидеться! — молвил Трофим.

Словно ожгло меня это слово.

— Зверь ты! — говорю

— Нет,— говорит,— не я зверь, а тот зверь, кто ее до настоящего довел... Ты,— говорит,— рукой махнул да в леса бежал, а ей весь век со мной в голоде да в нужде горе мыкать приходится Так ин лучше не замай ты нас!

Смотрю я на нее; все думаю: «Не скажется ли в ней

хоть на минуточку наше прежнее разлюбовное время-времечко? »

Ну, и нет, как нет; стоит она как без чувств совсем, глазами в землю смотрит, только верхняя губа будто дрожит легонько.

— Ну,— говорю,— ин и взаправду, Маша, прощай! Однако все-таки на росстанях, чай, поцеловаться надо...

Подошел к ней и обнял. Ну, ничего; и обнять и поцеловать себя дала, одно только обидно мне показалося я ее целую, а она словно мертвая стоит даже тепла в ней не чуть!

. . . . . .

Так наше дело и кончилось Вышел я от них как без памяти. Отхватал я, брат, в эту ночь верст тридцать с лишним Иду да иду вперед, а куда иду — даже понятие потерял Снег мокрый глаза залепляет, ветер в лицо дует, ноги в сугробах тонут, а я все иду и все о чем-то думаю, хоть истинной думы и нет во мне. Все это как во сне — от одного к другому переходит: и Маша-то тут, и не едал-то я, и сена вон стог в поле стоит, и ночь-то была впору холодная да темная. Остановись да спроси, об чем, мол, сейчас думал? — ни в свете ответа не дашь!

Однако на утре уморился, и понятие это ко мне изморозом воротилось Тут только догадался я, что заместо того чтоб к нашим на конный двор вернуться, я верст тридцать в сторону шагнул Ну, не судьба, значит!

Вижу, навстречу мне мужичок с дровами едет. Мужиченочко этакой худенькой да мозглявенькой. «Ну, на что такому мозглецу топор?» — думаю. Подошел к нему.

— Продай, мол, топор, дяденька!

Он перепугался

— Христос,— говорит,— с тобой, молодец! топор-от, чай, мой!

— Известно,— говорю,— что твой; только и для нас он словно надобен!

Ну, он столько учтив был, что больше со мной не разговаривал.

Таким манером прошло больше месяца, что я все дальше да дальше пробирался Веришь ли, даже не обогрелся ни разу порядком, ни разу путем не поел. Привычки-то к ночному рукомеслу еще не было, да и шел я все глухим местом да проселком — так и в питейный-то зайти не с чем И страх тоже одолел, потому что зима для беглого человека — самое некорыстное время, кругом это сугробы, ни бежать, ни схорониться некуда: того гляди, как зайца изымают.

Однако около благовещения словно потеплило, а в дерев-

нях в это время на пригреве об ину пору даже жарко бывает. Тут, братец мой, только я восчувствовал, какова на свете жизнь хороша есть. Сядешь, бывало, в сторонке около стожка: солнышко прямо в лицо тебе поглядывает, ветерки словно бархатные кругом поигрывают, в стороне, чу, вода русло себе просасывает, наверху всякая птица кишнем кишит, и не видать ее в вышине, а словно стон сверху вниз стелется. Журчит это, шумит все, точно и не один ты в свете, точно завсегда кто ни на есть с тобой присутствует Самое развеселое это время!

Тут и пожившка у меня порядочная случилась Иду я раз сумерками своим трактом и вижу, что посередь самой большой дороги кибитка стоит, лошади, пара, сзади привязаны, ямщика нет. Подхожу я к кибитке, слышу — разговор там идет; один седок, должно быть, заслышал меня, встал и смотрит через кибитку... Купец.

— Много лет здравствовать, господа хозяева! — говорю.

Только он думает, что меня, значит, ямщик помогать им прислал

— Скоро ли же ямщик-то вернется? — спрашивает.

Пошел я вперед, будто кибитку осматриваю, а сам примечаю, как бы за дело мне половчей взяться. Вижу, впереди зажора, у кибитки одна оглобля напрочь отломлена; значит, ни взад, ни вперед нет возможности

— Да ты что за человек? — спрашивает купец.

А другой его товарищ, даже не видевши еще ничего, забился вглубь, да только знай стонет Вижу я, что они ребята ласковые, и в разговор с ними взошел.

— Вы,— говорю,— хозяева, просто, что ль, едете?

— Нет,— говорит,— без топора тоже не ездим

Ну, и топор показывает

— А коли есть топор, так дайте, значит, пять целковых — и бог с вами! А не то будем силу пробовать!

Заартачился было купец, да товарищ его, спасибо, на выручку мне подоспел. Застонал это, заревел пуще прежнего. «Отдай да отдай пять целковых!»

Рассчитались

Пошел я после того в кабак, да там и забылся Об ину пору хорошо это бывает. Придет это тошно да смутно так, назади некорыстно, да и вернуться туда уж нельзя, а впереди словно туман да тёмнеть висит... куда идти? Думаешь-думаешь, даже головой о стену шаркнешься Косушка вина много тут помощи делает Выпьешь одну — в сердце словно радуга просияет; выпьешь другую — словно по морю по окияну плывешь, выпьешь третью — ни земли, ни воды под тобой нет, да и люди — ровно точки в глазах мерещатся...

В кабаке я человека встретил Показалось мне, что он на меня с первого раза слишним зорко посмотрел, да и с целовальником словно перемигнулся Вот выпил я свою чарку и сел в углу на лавку, будто как благодушествую, а у самого даже муравьи по-за кожей заползали! Все, знаешь, по новости своей думаю, что на лазутчика попал. Только они промеж себя разговор ведут с целовальником

— Худо, Савва Дементьич! — говорит человек,— разве вот летом поправимся, а не то, видно, совсем отсель откочевывать придется.

— Что ж так?

— Да ровно уж слишним много порядков здесь завелось. Намеднись Сидорку на гумне изловили, отпустить-то отпустили, да уж и выкуп больно несообразный заломили. Надоело... Только бы вот товарищей таких подыскать, чтоб и в огонь и в воду охочи были идти, так, кажется, ни на минуту бы здесь не остался

— И Дарьюшку ништо не жалко!

— Что Дарьюшка! только связался я с ней, а то давно бы нам это дело покинуть надо! Намеднись вот муж «Ты, говорит, меня в окаянство ввел, ты меня вором сделал, да и жену теперь отнимаешь!» Как будто я задаром его вором-то сделал! И что еще: так это остервенел, что ухватил нож да с ножом зря впередил и лезет. Даже смотреть на него глупо

Целовальник захохотал.

— Однако надо правду-истину сказать,— говорит,— и ты в его добре ровно слишком хозяйствуешь!

— Чего хозяйствовать! С ней, брат, всякий хозяйствовать может — была бы охота! Намеднись вот офицер проезжий ночевать у них становился, так мне даже тошно стало, как она перед ним привередничала .

— Так вот она какова!

— Да уж так-то «какова», что опять-таки говорю: найдись у меня теперь товарищ хороший, чтоб вместе бежать отсель, ни на минуту бы даже не задумался

А сам говорит это да на меня поглядывает. Однако я молчу и все это думаю, что он меня испытать хочет. Долго ли, коротко ли они промеж себя побеседовали, только он не утерпел, подошел ко мне.

— Да ты что,— говорит,— земляк, в землю глазами уткнулся да нюни распустил?

— А так, мол.

— Что такать-то, а ты говори дело. Отколь бредешь?

— Прохожий, мол; шел да зашел — и все тут!

— Прохожий Иван стащил на селе кафтан, идет на большую дорогу за шубой так, что ли?

— Хоть бы и так, тебе что за дело?

— Больно ты, брат, горд либо труслив уж не в меру Тебя же жалеючи спрашивают

— Да ты сам-то кто таков?

— А я,— говорит,— человек небольшой, по прозванию сторож ночной; неподалечку бекет здесь содержим да госпо проезжающих в страхе божием держим!

Целовальник засмеялся.

— Да, и уму-разуму наставляем их, потому как без нашей науки они беспременно забылись бы Вот еще онамеднись углицкие купцы тут ехали; ну, я точно что малую толику от них попользовался; однако за это и притчу им сказал «Который, мол, зверь всех зверей лютее? лев. Кто льва лютее? человек, потому человек человека погубляет, а лев льва никогда Кто человеков лютее? разбойник! . Так вы, говорю, ваши здоровья, в этом месте поздно ночью не ездите, потому тут шалят ..» Так хочешь, что ли, с нами, молодец?

Посумнился я тут с крошечку. Хоть и вижу, что кончанье для меня одно впереди, однако с непривычки все будто робостно.

— Что задумался? или, брат, по пословице· собака волка дерет — и драть не умеет, и отстать не смеет? А ты, коли в тебе живая душа есть, говори прямо: хочешь другом быть?

— Ты бы ему поднес для куражу, Мироныч! — говорит целовальник,— а то вишь, он как от дороги осовел!

Стали мы тут пить и бражничали таким родом дня с три. На четвертый день такие ли други-приятели сделались, словно вот век только друг о дружке и сокрушалися Так и решилась судьба моя в кабаке

Привел он меня к своей любезной Муж у ней тутотка на большой дороге въезжий двор держал.. так, не больно чтоб очень корыстный. Место это самое глухое да неприятное, и стоял ихний двор, словно торчок, один-одинехонек; кругом верст на двенадцать лес дремучий, по дороге песок по колени, ни воды, ни лужаечки нет — так, дичь одна Как едет, бывало, кто по дороге, так издалеча еще слышно, как по лесу словно щелканье пойдет Стало быть, польза от постояльцев была самая пустая; разве уж больно кто обночает, или кони в песках шибко замаются, так к Федоту Карпову на часок завернет, а прочие норовят, бывало, мимо поскорей проехать. Да и жили они как-то сумнительно; у других хозяев и работник и работница путные есть, а у них и всего-то одна работница, да и та немая да дурочка была. Ну, для проезжих

господ оно и неприглядно; который и остановится случаем, так все по сторонам озирается, не хотят ли, мол, резать его

А Федот Карпов самый из себя паренек мизерный да нескладный был. Махонькой да тощой такой, борода это клинушком, глазки маленькие да врозь разбегаются — даже смотреть гнусно. И все-то, бывало, или на полатях проклажается, либо в окошко сонной глядит, а начнет это работать, так и не глядел бы на него: только в навозе, словно боров, копошится . А со всем этим такой жадай был, что как увидит монету, даже словно обеспамятеет весь: этим только и держал его Корней в узде

Зато на Дарьюшку точно что можно залюбоваться было. И высокая-то, и полная-то, и глаза большие навыкате, а тело белое да разбелое, словно вот пена молочная скипелася. Одно слово, отдай все, да и мало Пойдет это по горнице или даже на месте шевельнется, так вся тебе кровь в голову вдруг и кинется . Песни тоже петь мастерица была· что хочет над тобой своим голосом сделает! И тоской-то тебя всего зальет, и удалью да молодечеством сердце разутешит, словно вся человеческая душа в руках у ней была. Жила, вишь, она прежде у одного господина молодого в любовницах, однако вышел ему срок жениться, он и выдал ее за Федота От него и песни-то петь она выучилась

Пришли мы к ним около полдён; смотрим, Дарьюшка у ворот сидит, на солнышке греется Поздоровались

— Жить, что ли, у нас будете? — спрашивает Дарьюшка, а все на меня исподлобья посматривает.

— Да,— говорит Корней,— покудова до тепла надобно будет прожить.

— А после куда?

— А куда путь лежать будет верного еще ничего сказать теперь не могу.

Только она на эти его слова ровно усмехнулася; только так-то нехорошо да обидно, что разом мне Корнеевы слова вспомнились, которые он целовальнику в кабаке говорил.

— Чего смеешься? правду говорю, что остатние дни у вас здесь валандаюсь! — говорит Корней

— Ну, и с богом! — отвечает Дарьюшка, а сама все на меня да на меня поглядывает.

Словно помертвел Корней.

— Ишь ты, подлая! — говорит.

Однако она ничего; сидит себе да знаи полегонечку посмеивается

— Так неужто ж, мол, мне всем твоим прихотям подра-

жать? — говорит,— хочешь идти, так иди... плакать по тебе, что ли?

— И уйду; только так я тебя на прощаньи приголублю, что век ты меня не забудешь. . змея ты!

Чудно мне это показалось. «Будь, думаю, я на Корнеевом месте, не посмотрел бы на косы твои русые!» Однако он смолчал, только все у него нутро, словно у зверя лесного, зарычало.

В тот же вечер у них с Федотом Карповым дело чуть не до убивства дошло, и все опять эта Дарьюшка на озорство завела.

— Слышал,— говорит,— Федот Карпыч, что Корней Мироныч от нас в дальны стороны сбирается?

Как сказала она это, Федот Карпов даже помертвел весь Ну, и Корней словно потупился. А она заместо того, чтоб смирять их, только пуще друг на дружку натравливает.

— Сказывают, как это там хорошо да привольно, и реки-то, слышь, молочные, и берега-то кисельные, и воруют-то все безданно-беспошлинно .. ин и тебе за ним уж бежать, Федот Карпыч?

Слушает это Федот, а у самого даже бороденка словно лист трясется

— Правду, что ли, баба лает? — говорит.

Ну, солгать бы тут Корнею: пошутил, мол, и вся недолга; однако он или посовестился, или не нашелся с первого разу: пробормотал что-то невнятно в ответ и замолчал.

— Ан врешь ты! — говорит Федот,— не посмеешь отсель уйти!

А сам и заикается-то, и по столу-го кулаком бьет...

— Али люб тебе стал? — говорит Корнеи.

— Люб не люб, а у меня с тобои счеты есть .. В кабалу ты ко мне шел!

Ну, лезет на Корнея, да и шабаш, даже на месте словно скачет; и кулачишком-то, и головой-то ему в брюхо норовит... удивление, да и только!

— Ты,— говорит,— женой у меня завладал; гак задаром, что ль, я тебе ее отдал?

— Ишь тебя больно спрашивались ..

А Федот все одно:

— Издохнешь,— говорит,— мне служивши! убью я тебя и в ответе не буду! . потому — ты вор... да, говорит, вор, вор, вор .. разбойник ты!

Корней только знай рукой отмахивается, как он слишком на него наскакивать начнет.

А Дарьюшка, сделавши свое дело, ушла за перегородку,

словно горя ей мало; только и слышно, как она там позевывает да потягивается.

— Часто этак-то у вас бывает? — спрашиваю я ее

— А кто их знает? Каждый день все ссору да драку заводят... Что на них смотреть-то? Да неужто взаправду Корней на чужую сторону сбирается?

— Да, взаправду.

— Куда?

— А куда глаза глядят.

— Ну, и бог с ним!

— Будто тебе его не жалко?

Так она, братец мой, не то чтоб поскучать или хоть бы задуматься — все же чужой человек перед ней,— даже засмеялась в ответ.

— Ты,— говорит,— с Корнеем, что ли?

— С Корнеем

— Напрасно .. кабы ты с нами остался, и Федот бы Карпыч Корнея отпустил ..

Говорит это, да так-таки прямо в глаза мне и смотрит.

— А намеднись,— говорит,— офицер проезжий у нас становился, так раза с четыре ворочался все бежать с собой меня сманивал! И опять приехать обещался .

— А Корней чего смотрел?

— Что Корней! Известно, в хлеву злобствовал! Разве его в горницу пущают, когда приезжие господа есть?

— Видно, ты таки охоча гулять-то!

— А для че не гулять, когда гулять можно .. весело гулять! Вот у меня барин был миленький — уж то-то мы с ним погуливали! . Хочешь, что ли, песню тебе спою?

Сняла со стены гитару, да словно разлилась тут вся:

Ах где, жена, была, где, сударыня, была?
Я была, сударь, была у попа в гостях..

И поет-то, и плечьми-то подергивает, и каблучками-то пристукивает .. всякая словно жилка в ней вдруг заговорила!

А грудь-то белая да полная тяжеленько это под гитарой мечется, ровно моченьки у ней нет, ровно истомило ее всю, измаяло! Так оно хорошо да сладко, что и Корней с Федотом лаяться перестали, а у меня даже свет в глазах помутился!.. Как легли мы после того с Корнеем на сеннице спать, долго она мне сквозь сон все мерещилась!

Жили мы у них с месяц места, ничего не делавши; однако я укрепился, против товарища подлецом сделаться не хотел. Подивился я тут на Корнея! Уж на что, кажется, крепкий че-

ловек был, а перед ней и даже перед этим Федоткой словно овца смирялся: что хотели из него делали. Она, бывало, и за водой его посылает, и кушанье стряпать велит — все справлял!

По времени и совсем тепло установилось. Стал Федот Карпов нам докучать, что мы только руки склавши сидим да чужой хлеб едим Начал и я Корнею вспоминать, что не затем в товарищи к нему пошел, чтоб у бабы под юбкой прятаться.

Вот вышли мы со двора поздно вечером, на самый егорьев день. За десять верст от двора и место у нас было такое назначено, чтоб с товарищами сойтись. Только идем мы опушкой, а у меня словно сердце в груди измирает: то, знаешь, робость непереносная всего обхватывает, то вдруг такую в себе силу и мочь почувствуешь, что, кажется, не шел, а летел бы вперед да вперед И чего-чего тут не передумаешь! и стоны-то загодя тебе слышатся, и кровь будто перед глазами проливается

И ничего-таки этого не бывает, и все, братец ты мой, это один разговор! Настоящий разбойник никогда не убивает; убивает больше мелкий воришка, который с предметом своим совладать не может А у нас всякое дело миром кончается: одна часть тебе, другая часть нам, и ступай на все на четыре стороны! Случается, правда, что бабы от страха пищат,— ну, и Христос с ними, пускай пищат!

Потому — какая для нас корысть человека жизни лишать? Первое дело — грех занапрасно на душу возьмешь, а второе дело — след беспременно оставишь. Иной, свою часть вручивши, погорюет-погорюет, да и бросит дело так, потому дорожному человеку с полицейскими связываться тоже не приходится. Ну, а как убьешь-то его, он волей-неволей на тебя пожалуется; пойдут это шарить да сыскивать, и хоть ничего настоящего не найдут, однако на целый месяц все дело тебе перепакостят

В эту ночь мы барина остановили. Молоденький такой да нежненький, а трясется, сердечный, один на тележечке Шибко он нас испугался, даже смешался совсем.

— Что ж ты не везешь, каналья ты этакая! — кричит ямщику, а сам почти плачет Ну, денег у него мы не густо нашли, потому домой в побывку налегке ехал, а взяли у него чемоданишко, часы золотые да перстенек с руки. Больно мне его жалко было. И то говорил Корнею: «Что, мол, младость обижать?» Однако он не послушал: «Не смотри, говорит, что младость; вырастет, такой же супостат будет!»

В другую ночь, видим, целый рыдван по дороге шестери-

ком ползет Ну, так и мерещится мне, что Семериков это рыдван.

— Братцы,— говорю,— голубчики! никак, это *мой* едет!

Однако вышел не он, а барин какой-то большой. Растянулся себе на подушках барин любезный, спит во всю ивановскую, а у самого крест на манишке болтается Ну, мы его разбудили

— Ваше благородие,— говорит Корнеи,— извольте вставать, на станцию приехали!

Только он поначалу высоко́ было взял.

— Как вы смеете! — говорит,— да вы знаете ли, говорит, что я вас туда упеку, куда Макар телят не гоняет!..

И все это на крест свои показывает — такои старикашка затеиный! Однако Корнеи его сразу смирил

— Чтобы тебе, ваше благородие, не повадно было вздор болтать, так я,— говорит,— креста этого тебя лишаю!

Урезонился он маленько, стал прощенья просить. Много он нам ласковых слов говорил: что и воровать-то стыдно, что и братья-то мы все, что обижать нам друг дружку, стало быть, не приходится, однако как наше дело к спеху было, мы вслушаться в его речи настоящим манером не могли, и так-таки вчистую его обобрали, что даже лошади после того от легкости рысцой побежали

Стащили мы нашу добычу в лес, в самую трущобу, и хворостом там ее завалили. Только в лесу долго оставаться еще неспособно было И по дороге, и в поле уж сухо, а в лесу еще земля словно не весь пар отдала. Приклонишься книзу, даже видишь, как земля на глазах твоих отходить начинает, а в иных местах, где поглуше, словно вот легкая-легонькая пеленочка еще лежит — ледок, значит. А из-подо льду уж и травка зелененькая выбивается.

Воротились мы на постоялый ранним утром, чуть еще солнышко показалось. В горнице, видно, еще спали; только немая работница за ворота вышла, позевывает да на восход крестится; да и та, увидевши нас, словно испугалась, и вдруг ни с того ни с сего в ворота шарахнулась что за чудо! Однако Корнеи, должно быть, чутьем беду свою почуял и сам за неи следом ударился..

Только я уж застал, как он Федота допрашивал; вижу, на нем и звания лица нет, а Федот стоит у стены в одной рубашке, волосы это растрепаны, рожа немытая, стоит да под рукой его, ровно комар, топорщится

— Куда убегла? сказывай! — говорит Корней.

И не то чтоб шибко выкрикивает, однако даже мне от его голосу жутко стало

Ну, и Федотке, видно, не до разговоров пришлось; лепечет что-то про себя да руками разводит

— Продал ты, что ль, ее? — опять говорит Корней,— сказывай, сказывай же ты мне, аспид ты эдакой!

Собрал он его, братец ты мой, в охапку и грянул об пол. Уж топтал он, топтал, уж возил он его по полу-то, возил!.. Давно и душонка-то его смрадная, чай, в тартарары пошла, а он все сытости не чувствует Возьмет это, поднимет его с полу, и опять обземь как шваркнет!

Ну, под конец и сам измаялся; грянулся это на лавку да как завопит, да застонет, аж вчуже меня холодный пот прошиб!

Часа через два мы этот проклятый постоялый двор со всех четырех углов зажгли. Так и сгорел со всеми пожитками, даже немая, по глупости своей, выбежать не успела...

И пошли мы после того во путь во дороженьку, отреклись от мира прелестного, поклонилися бору дремучему, и живем, нече сказать, ни худо ни красно, а хлеб жуем не напрасно

Странствуем мы с ним по русскому царству, православному государству, странствуем по горам, по долам, по лесам, по полям, по зеленым лузям, а больше около большой дороги держимся.

Весело, брат! это уж говорить нечего . то есть, просто у нас житье-пережитье! . Однако идешь это иной раз по опушечке, и вдруг на тебя дурость найдет . Растужишься, разгорюешься и падешь где-нибудь под елочкой, тяжеленько вздыхаючи, горьки слезы роняючи, свою жизнь проклинаючи .. И елочка это словно тебя понимает: так-то плавно да заунывно лапами своими над тобой помавает: вздохни, мол, замученный! вздохни, бесталанный, бесчастный! вздохни, сирота, сиротский сын!

Одно нехорошо: не могу я вообразить, как бы с Семериком свидеться. . Слушай ты! Недавно сплю я и вижу, будто передо мной Семеричище-горынчище стоит. Стоит это преогромный такой, и вширь и ввысь раздался, и всей будто тушей своей на меня налегчи хочет .. Начал было я тут тосковать да вперед рваться, чтобы, то есть, жажду свою на нем утолить, однако словно вот сковало меня всего: лежу на земле, ни единым суставом шевельнуть не могу... И вот, братец ты мой, какое тут чудо случилось! Смотрю я на него и вижу, словно стал он, Семеричище, пошатываться да покалыхиваться; ну качался-качался, даже в лице исказился совсем, да как грохнется вдруг сам собой наземь! Налетели

это птицы-коршуны, расклевали телеса его неженные, кости белые люты звери разнесли . И на том самом месте, где Семерик стоял, выросло будто божье де́ревцо, божье де́ревцо живительное, от всех ран-скорбей целительное .. Уж куда хорош этот сон!

И другой еще сон я видел: прихожу будто я в град некий, и прихожу не один, а с товарищами такие приятели есть, сотскими прозываются. Подхожу это к палатам пространным с четырех концов башни высятся, спереду стоят батюшки-солдатушки; стоят солдатушки, ружьем честь отдают, за белы руки меня принимают, принимаючи разутешными речами ублажают «Ты войди, мол, к нам, вор-разбойничек! душегубчишка ты окаянненький! Отдохни ты у нас в остроге каменном, за затворами крепкими-железными!»

Третии сон я видел стою я на месте высоким, и к столбу у меня крепко-накрепко руки привязаны Собралось тут на роду видимо-невидимо, все на меня позевать-поглазеть, на меня, на шельмецкого шельмеца, на разбойника!

И молился я тут спасову образу,
И на все стороны низко кланялся.
Вы простите меня, люди божии,
Помолитеся за мои грехи,
За мои ли грехи тяжкие!
Не успел я на народ вòзрити,
Как отсекли мою буйну голову
Что по самые плечи могучие .

Ну, этот сон нельзя сказать, чтоб пригож был... Однако не лучше ли нам это бросить позабыть ..

Ах, в горе жить, некручинну быть!
А и горе горе, гореваньице!
Ах, в горе жить, некручинну быть,
Нагому ходить — не стыдитися!

ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО

Случай

I

«Будь ласков с старшими, невысокомерен с подчиненными, не прекословь, не спорь, смиряйся — и будешь ты вознесен премного: ибо ласковое теля две матки сосет»

Такого рода напутственный завет был произнесен Самойлом Петровичем Мичулиным двадцатилетнему его детищу, отправлявшемуся из дома родительского на службу в Петербург.

Самойло Петрович, бедный мелкопоместный дворянин, в простоте души своей был совершенно уверен, что, снабженный подобными практическими наставлениями, Ванечка его, без всякого сомнения, будет принят в столице с распростертыми объятиями На всякий случай старик, однако ж, кроме душеспасительного слова, вручил сыну тысячу рублей денег с приличным наставлением носить их всегда при себе, не мотать, не мытарствовать, а тратить себе помаленьку

«Дитя оно молодое,— думал добродетельный старик,— и повеселиться и пожуировать жизнью захочет — бог с ним! Да притом же и объятия-то кто его знает! прижимист, сухосерд нынче стал человек»

И вот уже около года живет юноша в Петербурге, около года он добронравен, не прекословит, смиряется и на практике во всей подробности осуществляет отцовский кодекс житейской мудрости — и не только двух, но и одной матки не сосет ласковое теля!

А между тем он ли не уклонялся, он ли не угождал, он ли не нагибался! Кротче сердцем, смиреннее душою, кажется, в целом мире нельзя было сыскать человека! И все-таки от всей фигуры фортуны видел он один только зад... пренеприятное дело!

Сунулся было Иван Самойлыч к нужному человеку местечка попросить, да нужный человек наотрез сказал, что места все заняты; сунулся он было и по коммерческой части, в контору купеческую, а там все цифры да цифры, в глазах рябит, голову ломит, пробовал было и стихи писать — да остроумия нет! От природы ли голова его была так скупо устроена, или обстоятельства кой-какие ее сплюснули и стиснули, но оказывалось, что одна только сфера деятельности и была для него возможною — сфера механического переписывания, перебеливания, да и там уж народ кишмя кишит, яблоку упасть некуда, все занято, все отдано, и всякий зубами за свое держится...

Словом, вся жизнь господина Мичулина, с самого его въезда в Петербург, была рядом мучительных попыток и исканий, и все без результата... А отцовские деньги все уходили да уходили, а желудок просил есть по-прежнему, да и кровь-то еще молода и тепла в жилах.. просто ни на что не похоже!

Поникнув головою, тихим шагом возвращался Иван Самойлыч домой после одной из ежедневных и неудачных своих экспедиций.

Дело шло уж к десяти часам вечера. Печальное и неприятное зрелище представляет Петербург в десять часов вечера, и притом осенью, глубокою, темною осенью. Разумеется, если смотреть на мир с точки зрения кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, с быстротою молнии мчащих ее по гладкой, как паркет, мостовой Невского проспекта, то и дождливый осенний вечер может иметь не только сносную, но даже привлекательную физиономию.

В самом деле, и туман, который, как удушливое бремя, давит город своею свинцовою тяжестью, и меленькая острая жидкость — не то дождь, не то снег,— докучливо и резко дребезжащая в запертые окна кареты, и ветер, который жалобно стонет и завывает, тщетно силясь вторгнуться в щегольской экипаж, чтоб оскорбить нескромным дуновением своим полные и самодовольно лоснящиеся щеки сидящего в нем сытого господина, и гусиные лапки зажженного газа, там и сям прорывающиеся сквозь густой слой дождя и тумана, и звонкое, но тем не менее, как смутное эхо, долетающее «пади» зоркого, как кошка, фореитора — все это, вместе взятое, дает городу какую-то поэтически улетучивающуюся физиономию, какой-то обманчивый колорит, делая все окружающие предметы подобными тем странным, безразличным существам, которые так часто забавляли нас в дни нашей юности в заманчивых картинах волшебного фонаря...

И покачивается себе сытый господин, самодовольно развалившись на мягких подушках, и сладко жмурит глаза, одолеваемый неопределенною, но тем не менее мягкою дремотою, необыкновенно вкрадчивым, но вместе с тем и необыкновенно сладким полузабытьем .. И напоминает ему оно, это волшебное полузабытье, то блаженное состояние, которое каждыи из нас более или менее ощущал в детстве, слушая долгим зимним вечером бесконечно однообразные и между тем никогда не утомляющие, давным-давно переслушанные и между тем всегда новые, всегда возбуждающие судорожное любопытство рассказы старой няни о Бабе-яге-костяной-ноге, об избушке на курьих ножках и т. п

Притаились дети вокруг стола в узкой и низенькой детской! молчат они и не пошевельнутся, нет улыбки на розовых губках их, не слышно свежего, звучного смеха, за минуту перед тем оглашавшего комнату; все мускулы на этих полных жизни личиках выразили какое-то напряженное внимание; тусклый и трепещущий свет разливает кругом давно забытая и страшно нагоревшая светильня сальной свечки; обычно тихо и мерно дрожит древний голос древней няни старую сказку о Змее Горыныче Люблю я это морщинистое лицо старой няни, люблю ее желтые, костлявые руки, люблю ее уверенность, будто она действительно вяжет чулок, между тем как на деле только спускает одну петлю за другою; люблю ее воодушевление, ее сочувствие к высокой добродетели Полкана-богатыря, Бовы-королевича; люблю ее движение, когда она, внезапно помолодев и озаренная какою-то юною силою, стучит дряхлым кулаком по столу, приговаривая. «Дернет Полкан-богатырь за руку — рука прочь; схватит за голову — голова прочь . »

И сжимается детское сердце страхом великим, и сочувствует Илье Муромцу, следит за борьбой его с страшным Соловьем-разбойником, и робко вглядываются зоркие глазки в темный угол комнаты, высматривая, нет ли там Бабы-яги, не затаился ли где-нибудь ехидный Змей Горыныч, и весело смеются и хлопают дети в ладоши, когда няня неопровержимыми доводами доказывает им, что Змей Горыныч давно околел и издох, гадина, стараниями разных добродетельных витязей .. И сладко засыпают они, резвые дети, и самые розовые мечты убаюкивают юные воображения их, точно так же, как убаюкивают они и того господина. который сквозь туман и ветер едет себе в уютной карете своей, между прочим твердо уверенныи, что ни туман, ни ветер не огорчат пухлых и благовоспитанных щек его.

Но не в карете ехал, а шел себе скромно пешком Иван

Самойлыч, и потому весьма естественно, что петербургский осенний вечер утрачивал в его глазах свой благонамеренный характер. Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо, не навевал на него сладостной дремоты, не убаюкивал его воспоминаниями детства, а жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывал ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: «Озяб, бедный человек! хорошо бы бедному человеку у огня да в теплой комнате! да нет у него ни огня, ни теплой комнаты, озяб, озя-яб, бедный человек!»

Конечно, и в ступающем по грязи человечестве рождались кой-какие мысли по поводу дождя, ветра, слякоти и других неприятностей, но это были скорее мысли черные и неблагонамеренные, вращавшиеся большею частью около того пункта, что есть, дескать, в мире, и даже в самом Петербурге, люди сытые, которые едут теперь в каретах, которые сидят себе покойно в театрах или просто дома один на один с нежною подругою; но что этот господин, едущий в карете, мигающий из кресел смазливенькой и затейливо поднимающей ножку актрисе, сидящий один на один с миловидной подругой и прочая,— вовсе не оно, странствующее во мраке грязи и невежества человечество, а совсем иной, совершенно ему незнакомый господин...

«Что же за доля моя горькая! — думал Иван Самоилыч, всходя по грязной и темной лестнице в четвертый этаж,— ни в чем-то мне счастия нет.. право, лучше бы не ехать сюда, оставаться бы в деревне! А то и голодно-то, и холодно.»

В дверях его встретила хозяйка квартиры, Шарлотта Готлибовна Гётлих, у которой он нанимал весьма маленькую комнату с одним подслеповатым окном, выходившим на самую помойную яму. Шарлотта Готлибовна взглянула на него недоверчиво и покачала головой; в первой комнате раздавались шумные голоса собравшихся жильцов: голоса эти неприятно поразили слух Ивана Самоилыча. С некоторого времени он стал как-то задумчив, сделался мизантропом, убегал всякой компании и вообще вел себя довольно странно.

И нынче, как всегда, пробрался он потихоньку в свою комнату, молча выпил поданный ему стакан чая, бессознательно выкурил обычную трубку вакштафа и начал думать.. На этот раз мыслей оказалось нестерпимо много, и все такие чудные, одна другой страннее.

В сущности, дело было чрезвычайно просто и немногосложно. Обстоятельства Ивана Самойлыча были так плохи,

так плохи, что просто хоть в воду. Россия — государство обширное, обильное и богатое — да человек то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве!

А тут, кроме безденежья, еще и другие горести завязались и окончательно сбили с толку героя нашего. Припоминая все, что сделал он со времени отбытия из дома родительского в обеспечение своего голодного желудка, господин Мичулин впервые усомнился, действительно ли поступал он в этом деле как следует, и не обманывал ли себя насчет покорности, уклонения, добронравия и других полезных добродетелей.

Впервые, как будто бы сквозь сон, мелькнуло у него в мозгу, что отцовский кодекс житейской мудрости требовал безотлагательного и радикального исправления и что в некоторых случаях скорее нужен наскок и напор, нежели безмолвное склонение головы

Но малый-то он был по преимуществу скромный и безответный, да притом же и оробел ужасно Приехал он в Петербург из провинции, жизнь казалась в розовом цвете, люди смотрели умильно и добродетельно, скидали друг перед другом шляпы чрезвычайно учтиво, жали друг другу руки с большим чувством . И вдруг оказалось, что люди-то они все-таки себе на уме, такие люди, что в рот пальца им не клади! Ну, куда же тут соваться с системою смиренномудрия, терпения и любви!

И куда ни обернется он, за что ни схватится — все вокруг него глядит как будто самостоятельно. Шел он, например, давеча по Невскому — навстречу начальник отделения идет, и крест на шее, и вид такой привлекательный .. А ведь еще молодой человек! Конечно, он уж и полноват, и с брюшком, а все-таки молодой человек Вот и он тоже молодой человек, а не начальник отделения... Что за притча такая!

Встретил он также щегольские дрожки: лошади отличные, пристяжная так и подкидывает; в дрожках едет господин с орлиным носом и проницательными глазами смотрит на мир, как будто взором своим хочет провертеть дыру во вселенной.

— Смотрите-ка,— говорят кругом,— это В*** едет! прой-доха, кулак, бестия! а ведь что за голь, что за голь-то была! просто, с позволения сказать, в одной рубашке хаживал.

И между тем В*** еще молодой человек, да ведь и он, Мичулин, молодой человек, а не ездит же в щегольских дрожках!

А вон и еще молодой человек — этот даже совсем розовый молодой человек, а ведь на нем одно пальто рублей шесть-

сот стоит; он и весел, и беспечен, все движения его живы и непринужденны, смех его звонок и свободен, глаза бодры и светлы, на щеках здоровье ключом бьет Актриса ли мимо проедет — улыбнется ему, да и он актрисе улыбнется; важный человек встретится, руку ему жмет, шутит с ним, смеется .

— Этот молодой человек — князь С***,— говорят все кругом .. Да ведь и Иван Самойлыч молодой человек, а он уж и хил, и желт, и согнут, да и актриса ему не улыбается...

Да уж что тут далеко ходить, в отвлеченности пускаться! в одинаковой с ним сфере, подле него, все нахлебники пользуются хоть какою-нибудь ролью, каким-нибудь значением, одним словом, действуют как люди взрослые и самостоятельные... Иван Макарыч Пережига, например, был некогда мирным деревенским жителем и затравил на своем веку не одну сотню зайцев. Конечно, и зайцы, и деревня — все это было уж очень давно; конечно, в настоящую минуту Иван Макарыч пользовался несколько двусмысленною репутацией насчет способов жизни, да ведь в этом виновна уж собственная его блудная натура, да притом хоть как-нибудь, а доставал-таки он себе кусок хлеба Жил тут же и Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат, этот служил, а в свободное от занятии время играл на гитаре различные бравурные арии Вместе с ним проживал еще Алексис Звонский, чрезвычайно сведущий и ученый молодой человек, этот писал стихи, ставил фельетон в газету. Наконец, рядом с Иваном Самойлычем обитала Наденька Ручкина: и она была девица сведущая, хотя только по своей части...

Мысль эта давно уж вором кралась в сердце Ивана Самойлыча, и вдруг зависть, глубокая, но бессильная и робкая, закипела в груди его. Все, решительно все оказывались с хлебом, все при месте, все уверены в своем завтра; один он был будто лишний на свете; никто его не хочет, никто в нем не нуждается.

— Да что же я в самом деле такое? — говорил он, прогуливаясь мелким шагом по комнате,— отчего же на меня, именно на меня, обрушиваются все несчастия? отчего другие живут, другие дышат, а я и жить и дышать не смею? Какая же моя роль, какое мое назначение?

— Жизнь — лотерея! — начал было по привычке отцовский кодекс житейской мудрости,— смиряйся и терпи!

— Оно так,— подзыкал между тем какой-то недоброжелательный голос,— да почему же она лотерея, почему ж бы не быть ей просто жизнью?

Иван Самойлыч задумался.

«Ведь хоть бы этот князь! — думал он,— вот он и счастлив, и весел.. Отчего ж именно он, а не я? Отчего бы не мне уродиться князем?»

И мысли все росли и росли и принимали самые странные формы.

— Да что же я, что же я такое? — повторял он, с бессильною злобой ломая себе руки,— ведь годен же я на что-нибудь, есть же где-нибудь для меня место! где ж это место, где оно?

Так вот какая странная струна задребезжала вдруг в сердце Ивана Самойлыча, и задребезжала так назойливо и бойко, что он уж и сам, по обычной своей робости, не рад был, что вызвал ее.

И все предметы вокруг него смотрели как-то подозрительно и странно, принимали такую настойчивую, вопрошающую физиономию, как будто тащили его за воротник, душили за горло и, приставив к его лбу холодное дуло пистолета, сиплым басом допрашивали его: отвечай же нам, что же ты в самом деле такое?

Бледный, испуганный, упал он на кресло, закрыл руками лицо и горько заплакал.

В голове его внезапно отчетливо нарисовался деревенский его дом, родитель в вязанной из шерсти ермолке, мать, вечно болеющая зубами и с вечно подвязанною щекою, отец дьякон с дьяконицею, отец иерей с попадьею. Как все там просто, как дышит все деревенскою, буколическою тишиною, как зовет все к отдохновению и успокоению!.. И зачем было оставлять все это? зачем было менять известное, полное самых приятных и вкусных ощущений, на неизвестное, чреватое горестями, огорчениями и другим дрязгом? Зачем было соваться с кротостью и смирением туда, где нужны дерзость и упрямое преследование цели?

А между тем в соседней комнате раздался знакомый Ивану Самойлычу голосок, напевавший известную арию из «Русалки»:

Прииди в чертог ко мне златои,
Прийди, о князь мой дорогой.

Голосок был небольшой, но необыкновенно мягкий и свежий. Господин Мичулин невольно начал прислушиваться к пению и задумался. И думал он много, и сладко думал, потому что в знакомом маленьком голосе было что-то юное, как будто дающее крылья его утомленному воображению.

Странное действие производят на нас иногда самые ничтожные, по-видимому, явления! Часто самого пустого об-

стоятельства, просто звуков какой-нибудь нелепой шарманки или голоса разносчика, тоскливо и протяжно вопиющего «Игрушки детские, игрушки продать!» — достаточно для того, чтоб расстроить всю умственную систему какого-нибудь важного господина, разбить в прах все эти штуки и экивоки, которые на пагубу человечества в голове его строятся ..

Так точно было и с песенкой, вылетавшей из соседней комнаты. Песенка была самая простая, лилась себе ровно и без претензии, и вдруг поразила слуховой орган Ивана Самойлыча и, сама не зная как, совершенно расстроила все его соображения о смысле и значении жизни, о конечных причинах и так далее И стал было господин Мичулин сам подпевать и звать к себе дрожащим голосом дорогого князя, стал бить ногою такт и улыбаться и покачивать головою . Но вот тихо-тихо замер последний звук песенки, еще раз, и уж в последний раз стукнула в такт нога Ивана Самойлыча, еще раз ускоренно стукнуло его сердце, и вдруг ничего не стало слышно, и прежняя темнота опустилась на его душу, прежний холод охватил сердце

Потому что не он, а другой был тот дорогой князь, которого звала песенка в золотые чертоги, потому что ему наотрез было сказано, «что уж чему не быть, так уж не бывать, и беспокоиться о том не извольте »

С горя, чтоб хоть сколько нибудь рассеять печальные мысли свои, решился он отправиться в общую комнату.

II

Там, в облаках табачного дыма, беседовала вся обычная компания Шарлотты Готлибовны.

На первом плане плотно сидел Иван Макарыч Пережига. Он был в венгерке весьма лихого покроя и в настоящую минуту курил табак из саженного черешневого чубука. История господина Пережиги весьма проста Жил он некогда в малороссиской своей деревне, травил зайцев, и вдруг — кто его знает? — запил ли он, проигрался ли в пух, или просто другие какие-нибудь независящие обстоятельства приключились,— только в одно прекрасное утро и зайцы, и деревня как-то исчезли, и он принужден был отправиться искать счастия в Петербург. Малыи был он видный, сильный и плотный, несмотря на свои сорок лет, и потому не остался долго без занятия. . Вообще, с тех пор как он поселился у Шарлотты Готлибовны, благодарная немка стала как-то благо-

приятнее смотреть на мир, чаще улыбалась и несравненно больше послаблений и льгот оказывала нахлебникам.

Жизнь Иван Макарыч вел беззаботную и веселую Вставал он рано, утром ходил обыкновенно в ближайший трактир, выпивал рюмку горчайшей, сыгрывал, не переставая, партии двадцать в бильярд, к которому с малолетства питал весьма нежную страсть; иногда он давал и десять и пятнадцать вперед, иногда ему давали вперед пятнадцать и десять.

Доконав таким образом утро, он уходил домой обедать, а вечером обыкновенно передавал слушателям эпизоды из своего безвозвратно минувшего благоденствия; рассказывал разные любопытные случаи, бывшие с ним во времена его ожесточенных войн против волков, зайцев и других животных, которых он называл общим, но несколько темным именем «скотов» и «подлецов».

Из этого видно, что жизнь Ивана Макарыча как нельзя лучше содействовала его растительным и воспроизводительным силам

Характер имел он от природы веселый, но не лишенный легкого сардонического оттенка Он охотно любил подшутить над учеными и не пропускал никогда случая сказать белокурому Алексису, который в науках, что называется, собаку съел и читал-таки на своем веку и Бруно Бауера, и Фейербаха.

— Ну, а что, Бинбахер-то все на своем стоит? все говорит, что того-то нет.. главного-то, набольшего-то и нет? Бестия, бестия этот Бинбахер! уж эти мне немцы! . вот тут они, тут у меня сидят!

Иван Макарыч ударял себя при этом плашмя ладонью по горлу, желая этим выразить, что зарезали, дескать, его немцы, и не без лукавства посматривал на Шарлотту Готлибовну, которая и краснела, и улыбалась в одно и то же время, и с детски наивным простодушием отвечала:

— О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич!

Но при этом оставалось покрытым непроницаемою тайной, кого именно разумел господин Пережига под неблагозвучным именем Бинбахера — Фейербаха или Бруно Бауера

По левую сторону от Пережиги рисовалась сама хозяйка квартиры. Это была длинная, прямая и тощая фигура, как будто бы сейчас проглотившая аршин. Движения благородной немки отличались какою-то особенною апатичностью и дубоватостью, неприятно поражавшею взор. Как будто все ее мысли, весь ее организм устремились в одну сторону — к любезному ее другу, Ивану Макарычу. Она с немым подо-

бострастием смотрела ему в глаза, с самодовольною улыбкою прислушивалась к звукам его богатырского голоса, как будто хотела всем и каждому на стене зарубить, что это, дескать, все мое; все, что вы тут ни видите,— принадлежит мне, мне без раздела

Лицо ее было худощаво и покрыто красными пятнами, глаза маленькие, выражавшие какое-то ненасытное нахальство, углы губ опущены, и желудок выдавался несоразмерно вперед

Едва раскрывал Иван Макарыч рот, чтоб сказать слово, как и она, в свою очередь, спешила показать ряд острых и кривых зубов и начинала улыбаться, смотрела ему томно в глаза и, по окончании его речи, гордо окидывала взором все общество.

По всему было видно, что она оставалась совершенно довольна своей судьбою и в особенности не могла достаточно нахвалиться Пережигою.

Кроме хозяйки и Пережиги, в комнате находились еще два лица: кандидат философии Вольфганг Антоныч Беобахтер и недоросль из дворян Алексис Звонский.

Беобахтер, маленький и приземистый, быстрыми, но мелкими шагами ходил по комнате, бормотал себе под нос какие-то заклинания и при этом беспрестанно делал рукою самое крошечное движение сверху вниз, твердо намереваясь изобразить им падение какой-то фантастической и чудовищно колоссальной карательной машины

Алексис, вытянутый и сухой, сидел около стола и, устремив влажные глаза в потолок, обретался в совершенном оптимизме Молодой человек размышлял в эту минуту о любви к человечеству и по этому случаю сильно облизывал себе губы, как будто после вкусного и жирного обеда.

По обыкновению, дело шло о вещах, вызывающих на размышление, и таинственный Бинбахер оказывался совершенным подлецом...

— Я вам говорю, все они врут, бестии! — кричал Пережига,— уж как же тут без «него» обойдешься! Это в ихней земле — ну так точно.. там оно можно! а у нас... да вы только сообразите, вы только подумайте!

— О, как это правда, о, как это очень правда! — воскликнула Шарлотта Готлибовна, подобострастно глядя в самое лицо своему другу и так близко наклонившись к нему, как будто хотела положить ему в рот длинный и сухой нос свой.

Господин Беобахтер, самым мягким тенором, поспешил объявить, что, несмотря на это, он «все-таки надеется», и тут же почел за долг с необычайной грацией отмахнуть голову ка-

кому-то фантастическому, но тем не менее закоренелому врагу преобразований — преобразований таинственных, но уже заранее во всей подробности нарисовавшихся в его воображении.

— Вы материалист, Иван Макарыч,— отозвался Алексис,— вы не понимаете, какая сладость заключается в слове «надежда»! Без надежды холодно, сухо, безотрадно! Одним словом, без надежды нет любви — вот искреннее убеждение моего сердца!

Надо сказать раз навсегда, что Алексис в стихах своих постоянно изображал груди, вспаханные страданием, чела, взбороненные горькою мыслью, и щеки, вскопанные тоскою, но о чем были эти «страдание, горе и тоска» — тайна эта была глубоко скрыта во мраке его мозгового вещества

— Пожалуй себе, надейся! вот и он надеется,— прервал Пережига, указывая на Ивана Самойлыча,— да ведь яйцо выеденное разве получит!

Все взоры обратились на Мичулина. Он стоял у печки бледный и задумчивый, как будто бы сам глубоко чувствовал свое ничтожество. Сначала и он стал было прислушиваться к общему разговору, хотел было и свое словечко как-нибудь вверпуть, но разговор был сухой и ученый, да притом же к нему и не обращался никто, как будто все молчаливо соглашались между собой, что для ученого разговора он не годится.

— Ну что, как делишки? — обратился к нему Иван Макарыч

Мичулин не отвечал, но еще унылее прежнего окинул взором компанию.

— Говорил я тебе, душа ты горькая,— продолжал Пережига,— говорил тебе, поезжай в деревню! уж где тебе тут! сирота сиротой выглядишь — а туда же лезешь!

Шарлотта Готлибовна никак не упустила случая, чтоб тут же не удивиться высокой справедливости замечаний своего любезного друга, а Беобахтер все сильнее и сильнее наяривал ручонкою заветное движение сверху вниз

— А по-моему, вы очень хорошо сделали, что остались здесь,— сказал он, быстро остановившись перед Мичулиным и пристально смотря ему в глаза.

Постояв с полминуты, он приложил палец к губам и самым вкрадчивым тенором продолжал.

— «Ведь в наши дни спасительно страдание!»

— Страдание есть удел человека на земле,— начал было Алексис,— страдать и любить .

Беобахтер сделал отрицательный жест головою, давая тем знать, что Алексис совершенно не в ту сторону перетолковывал слова его.

— Страдание тем приятно,— говорил он таким равнодушным тоном, как будто дело шло о чрезвычайно вкусном обеде,— тем приятно, что вот, как тут прихлопнет, да там притиснет, да в другом месте, тогда .

И он с особенным наслаждением напирал на слова «прихлопнет» и «притиснет».

— Нет, я с тобои никак не могу согласиться,— возразил Алексис, вовсе не стараясь доискиваться, что будет после таинственного «тогда».

Иван Самойлыч решительно не знал, к чьей партии ему пристать к Беобахтеру ли, доказывавшему несомненную полезность страдания, к Алексису ли, тоже предписывавшему страдание как лекарство от всего, но по какому-то странному обстоятельству никак не соглашавшемуся с кандидатом философии; или, наконец, к Пережиге, уверявшему по чести, что все это вздор, а вот, дескать, у него спросите, так он знает

— Любовь хорошо! отчего ж и не любовь? — говорил между тем Беобахтер, как будто бы обращаясь единственно к Ивану Самойлычу, а на самом деле, видимо, желая уязвить Алексиса,— да любовь после, а прежде то Вы меня понимаете? — продолжал он, еще пристальнее смотря в глаза Ивану Самойлычу.

— Догадываюсь,— отвечал робко Мичулин

— Отчего же *после* любовь? — приставал Алексис,— и теперь любовь, и потом любовь! Зачем этот ригоризм!

И умолк, как будто бы словом «ригоризм» он насквозь проткнул своего противника.

Иван Самойлыч между тем собрался с мыслями и заметил компании, что, конечно, может быть, любовь и страдание вещи полезные и спасительные, да обстоятельства-то его из рук вон плохи,— им-то как помочь? страдание, дескать, хлеба не дает, любовь тоже не кормит... Так нельзя ли уж что-нибудь такое придумать, что бы он мог применить к делу

На это Беобахтер забормотал что-то об индивидуализме; говорил, что думать о себе подло; что если он и погибнет, то это ничего не значит и даже в некотором отношении принесет несомненную пользу для будущего, как реактив.

— Да, как рррреактив! — повторил он, метая из крошечных глаз молнии

Вообще кандидат философии в этом случае совершенно не пощадил личности Ивана Самойлыча; но так как Алексис остался таким объяснением совершенно доволен, то Беобахтер счел за нужное тут же присовокупить, что все-таки любовь — *потом,* а прежде ..

— Да что ты их слушаешь! — вступился Иван Мака-

рыч,— нет, видно, вы и Бинбахера-то только так говорите, что *читали*! *По-моему*, ты *просто* ступай в деревню да храпи себе на боку! Право, славное будет житье! Так, что ли?

Иван Самойлыч робко усмехнулся; его самого уж давно ласкала эта лакомая перспектива.

— А то, брат, пропадешь, ей-богу, пропадешь! — продолжал Пережига,— или запьешь с горя — уж я знаю!

Последовало несколько минут молчания.

— Оно, конечно, водка! — снова начал Пережига,— отчего бы и не выпить? и в глазах светлее, и на людей веселее смотреть, да и горя не чувствуешь... да ведь она, водка-то, вор! — она познание есть зла и добра!

Мичулин стоял у печки бледнее прежнего; Беобахтер искоса поглядывал на него, как Бертрам на Роберта, и весьма затейливо улыбался; Алексис не слушал: он закатил глаза под лоб и беседовал с человечеством.

— Вот и у нас в трактир отставной чиновник ходит,— продолжал Пережига,— весь трясется, такой оборванный да ощипанный, и глаза гноятся, и руки дрожат; кажется, в чем душа держится, а все пристает: поднеси, дескать, Емеле водочки . Да хоть бы польза какая была, а то от водки-то только коробит его да жжет .

Снова минута напряженного молчания.

— А вот, ведь и чиновник был, в службе служил, мундир носил, да и не Емелей, а Данилом Александрычем прозывался, а уж Емелей-то это так, после трактирные прозвали! Да вот выгнан был из казенного места, выгнал его хозяин за неплатеж на улицу — ну, он с горя рюмочку, потом другую, а там и пошел . Познание есть зла и добра!

Последовало опять несколько секунд тягостного молчания.

— А впрочем, по мне как знаешь! — продолжал Пережига, обращаясь к Мичулину,— оно, конечно, коли хочешь, он и счастлив! дали ему водки — он и забыл, что в разодранных сапогах ходит . право, так!

И внезапно, по какому-то непостижимому сцеплению идей, на Пережигу напал припадок сентиментальности, и он стал восторгаться тем, что за минуту выставлял в глазах Ивана Самойлыча как вещь, которой должно всячески остерегаться. Шарлотта Готлибовна тоже круто переменила образ мыслей и заранее глубоко вздохнула

— Да еще как счастлив-то! — говорил Иван Макарыч,— *пуще князя всякого счастлив*, поди-тка ты, чай, какие ему сны видятся! — не надо ему ни дворцов, ни палат! — вот она, школа жизни-то, вот! а то что вы тут с Бинбахером! в Сибирь его, Бинбахера, на каторгу его!

Долго еще Иван Макарыч не мог успокоить своего филантропического потока, долго сидел он, покачивая головой и приговаривая: «Право, не надобно ему ни дворцов, ни бархату; каждая слеза его.. »

Наконец все как будто бы притихли. Беобахтер по-прежнему грациозно двигал рукою сверху вниз, но уже скорее бессознательно, нежели с намерением; Алексис еще более облизывал себе губы, беседуя с человечеством, Иван Самойлыч конфузился и выводил кой-какие заключения из виденного и слышанного.

В это время часы уныло зазвенели одиннадцать. Но и часы били на этот раз как-то особенно злонамеренно. Ивану Самойлычу показалось, будто каждое биение часового колокольчика заключало в себе глубокий смысл и с упреком говорило ему «Каждая дуга, которую описывает маятник, означает канувшую в вечность минуту твоей жизни .. да жизнь-то эту на что́ ты употребил, и что́ такое все существование твое?»

Отчего же прежде никогда не говорил ему этого бой часов? отчего прежде окружающие его предметы не смотрели на него с таким вопросительным, испытующим видом?

И едва начинал он в уме своем развивать движение руки Беобахтера, как в мозгу его зарождалась другая мысль, совершенно в pendant[1] к этому движению — мысль страшная, давно не дававшая ему покоя и которая была не что иное, как известное уже читателю из первой главы. «Кто ты таков? Какая твоя роль? Жизнь — лотерея» и проч

И потом все это исчезало, и на сцену являлся полусгнивший, дрожащий старик и, указывая на водку, говорил: «Познание есть зла и добра».

— Да ведь и не Емеля был он совсем, а, слышь ты, Данило Александрыч, и служил некогда, и молод был некогда, да вот выгнали же его из службы и стал он Емелей, по милости добрых людей

С ужасом и содроганием вспоминал Иван Самоилыч этот странный анекдот; в голове его вдруг пробежала мысль: «А ну, как и я — Емеля?» — да тут же и примерзла к мозгу — до такой степени эта мысль испугала его...

В таком именно настроении духа подошел он к своей комнате, как вдруг за соседней дверью, ведшей в уединенное жилище девицы Ручкиной, послышался шорох. Сердце его забилось; чудная песенка назойливее прежнего зазвучала в ушах, и все звала, все звала... дорогого князя...

---

[1] под стать.

«Идти или не идти?» — думал Иван Самойлыч.

А между тем уж стучался.

— Кто там? — раздался за дверью знакомый свеженький голосок.

— Это я... вы не почиваете, Надежда Николаевна?

— Нет, не сплю .. войдите.

Иван Самойлыч вошел; перед ним стояло маленькое, уютное существо, но до того живое и вертлявое, что в одно и то же время виделось во всех углах комнаты; существо розовое и свежее, облеченное только большим под кашемир платком, плохо скрывавшим приятную нежность ее форм и беспрестанно распахивавшимся по причине неимоверной живости движений маленького существа.

«У, какая игривая!» — была первая и совершенно естественная мысль Ивана Самойлыча, но мысль, подобно молнии промелькнувшая минутно и скрывшаяся, как в туче, в мозговом лабиринте своего владельца.

— Что это вы сегодня так долго засиделись, Иван Самойлыч? — отозвалось между тем маленькое существо, переходя от одного комода к другому, от стола к кровати, подбирая с полу разные ниточки, бумажки и все прибирая к сторонке, чтоб ничего не пропало втуне, потому что вперед на черный день пригодится.

— Да я так-с .. я насчет того с...— бормотал сконфуженный Мичулин.

— То есть как же насчет того? уж опять не насчет ли прежнего? и-и-и не думайте, Иван Самойлыч!

Мичулин молчал, хоть внутренно и скорбел, быть может, о том, что ему даже и думать было запрещено.

— А я в театре была .. сегодня «Уголино» давали .. до страсти люблю трагедии... а вы?

Иван Самойлыч с любовью смотрел на Наденьку и как будто бы соображал, каким образом это крошечное, совершенно водевильное тельце могло до такой степени пристраститься к трагедии.

— Господин Каратыгин играл .. уж я плакала, плакала .. И какой видный мужчина! Я до смерти люблю плакать ..

Господин Мичулин даже хихикнул от умиления.

— Так вы весело провели вечер? — спросил он, а глаза его между тем все сильнее и сильнее разгорались.

— Очень весело! я вам говорю, я ужасти как плакала .. особливо когда эта душка Вероника ..

— С вами был кто-нибудь?

— Да, кавалер... он, видите, был прежде мой жених, когда я еще у родителей жила... сватался за меня .. Такой тоже вид-

ный из себя мужчина, яблок нам купил . да я все плакала, мне не до яблок было .

Мичулин вздохнул.

— Что вы сегодня такие скучные? — спросила Наденька.

— Да я так-с...— отвечал он снова, запинаясь,— я ничего-с...

Но Наденька все-таки поняла, в чем дело, она тотчас же, по свойственной ей подозрительности, догадалась, что все это по тому делу, по прежнему.

— Нет, нет, и не думайте, Иван Самоилыч! — сказала она, волнуясь и махая руками,— никогда, ни в жизнь свою не получите! . Уж я что сказала, так уж сказала! мое слово свято и не думайте!

И по-прежнему с невозмутимым равнодушием маленькая женщина подбирала с полу бумажки, перевешивала с одной вешалки на другую разные платья и юбки, без всякой, впрочем, совершенно надобности, а единственно из удовлетворения живости и бойкости характера

— Гм, в жизнь!.. а что такое *жизнь?* — соображал между тем господин Мичулин,— вот в том-то и штука, Надежда Николаевна, что такое *жизнь?*.. Не есть ли это обман, мечтание пустое?

Наденька на минуту перестала суетиться и в изумлении остановилась посреди комнаты.

Перед нею стоял все тот же ординарный господин Мичулин, которого она аккуратно видала каждое утро и каждый вечер; все так же геморроидален был цвет его испещренного рябинами лица, только на губах едва заметно играла не лишенная едкости и самодовольства улыбка, как будто бы говорила эта улыбка: «А что, задал я тебе, голубушка, загвоздку, на тка, поди, раскуси ее!»

— То есть как же обман? — в свою очередь, робко и нерешительно спросила Наденька, думая, что Иван Самойлыч потому, *вероятно*, заговорил об обманах, что сам намерен употребить в отношении к ней какое-нибудь злостное ухищрение

— Да так-с, обман! просто обман! Посудите сами, ведь если бы я в самом деле жил, я бы занимал какое-нибудь место, играл бы какую-нибудь роль!

Наденька уж совершенно разуверилась и обдумывала, что бы ей такое поднять с полу.

— Так вы думаете,— сказала она с расстановкою,— что тот только и живет, кто играет какие-нибудь роли?

Иван Самойлыч понял, что под словом «роли» Наденька разумела исключительно те, которые играет господин Каратыгин, и поэтому не нашелся, что отвечать.

— Гм,— сказала девица Ручкина.

— Так я все вот насчет этого дела,— снова начал Мичулин.

— То есть насчет чего же, Иван Самойлыч? если насчет того, то будьте совершенно покоины· уж я что сказала, так уж сказала, а если насчет чего другого, извольте, я с удовольствием.

Иван Самойлыч не отвечал; сердце его надрывалось; слова замирали на губах, и даже что-то похожее на слезу сверкнуло в глазах его . В который раз получал он этот чертвый отказ!

— Оно не то, Надежда Николаевна,— говорил он дрожащим голосом,— все бы еще снести можно! Да ведь *другие!*.. Ведь другие-то пьют, другие едят, другие веселятся! Отчего же другие?

Действительно ли несчастие его происходило оттого, что другие живут, другие веселы, или просто присутствие маленького существа, к которому сам питаешь маленькую слабость, еще горчее делает наше горе,— как бы то ни было, но герою нашему действительно сделалось тяжко и обидно.

А между тем Наденька тоже задумалась; она, конечно, заметила эту слезу, но все еще как-то думалось ей, что Иван Самойлыч хитрит, что все это он насчет того дела, насчет прежнего, а назначение и роль были тут только предлогом, чтоб пустить ей пыль в глаза и, пользуясь ее ослеплением, поставить-таки на своем

— Да, оно, конечно, обидно,— сказала она тонко и деликатно, делая вид, как будто не замечает, куда клонится речь господина Мичулина,— да знаете ли, Иван Самойлыч, уж не пойти ли вам спать?

Иван Самойлыч сознался, что действительно уж поздно и что спать пора

Лежа на одинокой постели своей, долго не мог заснуть Иван Самойлыч Все ему чудилось живое, полненькое личико Наденьки, и светло, и роскошно рисовалась и суетилась перед глазами его эта миньятюрная, уютная фигурка, вечно хлопочущая, вечно бегающая... И мерещится ему во мраке его комнаты, что вот сверкнула ее грудь, вот промелькнула около самых его губ крошечная ножка... и ловит он ее взглядом, и усиливается высмотреть в густой темноте это дорогое, мимолетное видение, но тщетно! во мгле тонет взор его, во мгле, в глубокой, непроницаемой мгле, и не успевает он опомниться, как перед ним стоит длинный и тощий вопрос, вопрос насмешливый и недоброжелательный, составляющий все несчастие и гибель его бедной жизни

И скорее закрыл он глаза, чтоб не видеть этого больного,

изнеможенного вопроса, и начал думать о том, как было бы приятно, если бы Наденька... О, если бы Наденька! . если бы она знала, как бьется сердце бедного Ивана Самойлыча, несчастного Ивана Самойлыча, каждый раз, как долетает до него ее маленький, незатейливый голосок, поющий маленькую, незатейливую песенку!.. Если бы она видела, другими глазами видела, как судорожно и трепетно сжимается это сердце, как прислушивается это ухо, как притопывает эта нога, как преображается и озаряется внезапным светом и теплотою все это так долго зябнувшее на стуже и непогоде существо! Если бы она видела все это! И как смела и бойка была его мысль, какое будущее готовил он ей, этой дорогой, вечно незабвенной Наденьке! не то чреватое горестями и лишениями будущее, которое на самом деле ждало ее, а будущее ровное и спокойное, где все так удобно и ловко слагалось, где всякое желание делалось правом, всякая мысль становилась делом .. если бы знала она!

Но не видала, не знала она ничего! Обидна и груба казалась ей привязанность господина Мичулина, и тщетно раскрывалось сердце скромного юноши, тщетно играло воображение его: ему предстояла вечная и холодная, холодная мгла!

III

Уж мозговое вещество Ивана Самойлыча подернулось пеленою, сначала мягкою и полупрозрачною, потом все более и более плотною и мутною; уж и слуховой его орган наполнился тем однообразным и протяжным дрожанием, составляющим нечто среднее между отдаленным звучанием колокольчика и неотвязным жужжанием комара; уж мимо глаз его пронесся огромный, неохватимый взором, город с своими тысячами куполов, с своими дворцами и съезжими дворами, с своими шпицами, горделиво врезывающимися в самые облака, с своею вечно шумною, вечно хлопочущею и суетящеюся толпою Но вдруг город сменился деревнею с длинным рядом покачнувшихся на сторону изб, с серым небом, серою грязью и бревенчатою мостовой.. Потом все эти образы, сначала определенные и различные, смешались: деревня украсилась дворцами; город обезобразился почерневшими бревенчатыми избами; у храмов привольно разрослись репейник и крапива; на улицах и площадях толпились волки, голодные, кровожадные волки .. и пожирали друг друга

Но вот и города исчезли в тумане, и деревня утонула в синем, неизглядном озере, и волки скрылись далеко-далеко в

густые леса фантазии Ивана Самойлыча... Но что же вдруг так сладко поразило слух его, что защекотало вдруг, зашевелило бедное его сердце? С тоскою и трепетом вслушивается он в эти вечно милые, вечно желанные звуки, с томлением и грустью впивает в себя чудную гармонию простенькой песенки, ласкающей слух его .

— Наденька, Наденька! —молящим голосом говорит Иван Самойлыч

Но гордо и с обидным презрением смотрит на него, униженного и умоляющего, маленькая женщина. Крошечная иронническая улыбка мелькает на розовых губках ее; миньятюрное негодованьице слегка приподняло ее тонкие ноздри и окрасило нежным пурпуром упругие щеки.

— Наденька! — говорит он задыхающимся от волнения голосом,— я не виноват, что люблю вас .. Что же мне делать, если это выше сил моих! .

И он с трепетом ждет ее слова: он не замечает, что возле нее стоит другое лицо — лицо, принадлежащее ученому другу ее, белокурому Алексису, не замечает, как томно опирается она на руку юноши, какие полные неги и томления взоры от времени до времени обращает к нему .

Но вот и на него взглянула она, но как-то сурово и с недоумением Обиженным тоном отвечает она ему, что удивляется, каким образом мог он даже подумать сделать ей такое странное предложение, что, конечно, он человек неглупый, и даже начитанный человек, но что и она, с своей стороны, девушка честная, и хотя не дворянка, но не хуже иной дворянки сумеет подать карету не только ему, Ивану Самойлычу, но и всякому другому, даже получше и почище его, кто осмелится подъехать к ней с подобным предложением.

И снова все исчезает в безразличном тумане: и белокурое, но несколько апатическое лицо Алексиса, и миньятюрная, вечно тревожная фигурка Наденьки, и тоскливо звучит вдали знакомая песенка о дорогом князе и золотых чертогах

— Что́ же я, в самом деле, такое? — спрашивает себя господин Мичулин,— какое мое назначение, какая судьба моя?

Толпами собираются около него бледные призраки и насмешливо кричат ему «Ох, устал, устал ты, бедный человек! разломило тебе всю голову!»

Бледный, трепещущий, падает он на колени, прося пощадить его, объяснить ему это страшное дело, не дающее ему ни днем, ни ночью покою, но падает так неловко и неожиданно, что бледные призраки мгновенно исчезают.

В комнате темно; старинная кукушка жалобно прокуковала два раза и замолкла.

«Черт знает, что за дрянь в голову лезет! — подумал Иван Самойлыч,— а вот еще философы утверждают. »

И он было намеревался, не пускаясь в дальнейшие рассуждения, во сне узнать, что утверждают философы, как вдруг за тонкою перегородкою, которая одна отделяла его постель от заветной комнатки, послышались голоса.

Иван Самойлыч начал прислушиваться

— Уж я вижу, сударь,— щебетал знакомый ему голосок,— уж, пожалуйста, не приводите мне своих резонов, уж пожалуйста .. Я все, все насквозь вижу .

— Нет, Наденька! ты ошибаешься, друг мой, ошибаешься, милый ты человек! — отвечал Алексис, стараясь придать голосу своему льстивый тон.

— Уж, пожалуиста, в чем другом, а в этом не ошибусь .. Стыдитесь, сударь!

— Да помилуй же, Наденька! право, я нигде не был ..

— Я вам говорю, что все насквозь вижу, все ваши хитрости вижу, Алексей Петрович! Уж как вы там меня ни называйте — образованная ли я, или необразованная,— а уж я все-таки вижу!

Алексис молчал.

— Зачем же притворство и коварство? — продолжала между тем Наденька,— уж скажите мне лучше прямо, что я несчастнейшая из женщин!.. Я девушка прямая, Алексей Петрович, я честная девушка, Алексей Петрович, и не люблю ходить вокруг да около .. Уж скажите мне просто, что я в слезах должна проводить жизнь!

— Отчего же в слезах, Наденька? — отвечал лаконически Алексис и потом прибавил: — Отчего же в слезах, милый, хороший ты человек?

И опять все смолкло вокруг Ивана Самойлыча, но не в голове его. там, напротив, началась страшная деятельность, начался шум и стукотня; мысли бегали по мозговым его нервам, перебивали друг у друга дорогу, и вдруг накопилось их такое множество, что он уж и сам не рад был, что проснулся и, как глупая тварь, поддался грубому и животненному инстинкту любопытства .

Не успел еще он хорошенько сообразить, как бы этак, воспользовавшись недоразумением, хитро вырыть ближнему яму, как уж и действительно каким-то образом подкопался под Алексиса. В судьбе его внезапно произошла совершенная и неожиданная перемена; в одно мгновение ока он сделался решительно баловнем фортуны; он ходит по Невскому под руку с молодою женой, в бекеше с седым бобровым воротником, на лбу красуется глубокий шрам, полученный в битве за оте-

чество, а на фраке огромная испанская звезда с бесчисленным множеством углов. Он меняется приятною улыбкою и поклоном с значительными господами, он совершенно доволен своею судьбою и беспрестанно вынимает из кармана необыкновенно массивный хронометр, как будто бы для того, чтоб узнать, который час, а в самом деле для того только, чтоб показать народу· пусть-де видит он, какие на свете бывают удивительные часы и цепочки.

С презрением и иронически улыбаясь, смотрит он на проходящего мимо и дрожащего от холода, в изношенном донельзя темно-вишневом с искрою пальто, Алексиса и делает вид, будто не замечает его. Но Алексис издалека завидел знакомую ему маленькую фигурку; он уж спешит к ней с обыкновеиным приветствием: «Здравствуй, Наденька, здравствуй, хороший ты, милый человек!» — но вдруг у самых ушей его раздается грозный голос: «Милостивый государь, вы забываете »— и Алексис, поджав хвост, удаляется поспешными шагами восвояси

Но вот и четыре бьет на каланче Думы, Иван Самойлыч по привычке уж чувствует в желудке приятную тоску

— Не прикажешь ли, душа моя, зайти в магазин, купить чего-нибудь к обеду? — говорит он, обращаясь к Наденьке.

— Отчего же и не зайти? — отвечает она с таким философским равнодушием, как будто бы действительно так и быть должно

И в самом деле, люди богатые; отчего же и не зайти

Уж с четверть часа стоят они в великолепном магазине

Наденька, как существо живое и по преимуществу прожорливое, бегает из одного угла в другой, переходит от винограда к великолепным бонкретьенам, от превосходных, подернутых легким пухом персиков к не менее превосходному ананасу, всего отведывает, всего откладывает в свой ридикюль .. Но все это в порядке вещей, все так и быть должно, одно только несколько странным кажется Ивану Самойлычу. седой и строгий приказчик как будто подозрительно, как будто исподлобья смотрит на все эти заборы. Он мысленно негодует на такую неуместную недоверчивость; уже рука его протянута, чтоб расстегнуть великолепное пальто и показать негодяю-корыстолюбцу многоугольную испанскую звезду, как вдруг .. Но тут его руки опускаются; холодный пот градом катит с благородного чела, он бледнеет, осматривается, щупает себя Боже! нет никакого сомнения! все это было самообольщение и испанская звезда, и пальто с удивительно теплым воротником, и одутловатые щеки, и гордый вид .. все, решительно все исчезло, как по волшебному мановению! Как и в бывалое время,

висит на нем, как на подлой вешалке, его старая и вытертая шинелька, более похожая на капот, нежели на шинель; по-прежнему желты и изрыты рябинами его щеки; по-прежнему согнута его спина и унижен и скареден его вид

Тщетно толкает он исподтишка неосторожную Наденьку, тщетно мучит он мозг свой, стараясь выжать из него что-нибудь похожее на изобретательность Наденька, нисколько не конфузясь, услаждает свое нёбо дарами юга, и, тоже не конфузясь, спит мозг Ивана Самойлыча, тупо и равнодушно смотря на неимоверные старания его выпутаться из беды и как будто подсмеиваясь над собственным своим бессилием

— Десять рубликов и семь гривенок-с! — звучит ему между тем в самые уши страшный голос приказчика.

— Серебром? — шепчет в ответ, заикаясь и совершенно растерявшись, Иван Самойлыч

— Да, серебром . неужто медными? — решительно и вовсе непоощрительно отвечает тот же самый досадный голос.

Мичулин конфузится еще пуще.

— Так-с; серебром-с...— говорит он, бледнея и между тем ощупывая карманы, как будто отыскивая бывшие в них неизвестно куда завалившиеся деньги,— отчего же-с? я с удовольствием... я человек достаточный Скажите пожалуйста, а я и не заметил!.. Представьте себе, мой милый, я и не заметил, что у меня в кармане дыра, и какая большая — скажите!..

Но приказчик только покачивает головой.

— А ведь можете себе представить,— продолжает Иван Самойлыч тоном соболезнования,— и пальто совсем новенькое! только что с иголочки! ужасно, как непрочно шьют эти портные! Да и не удивительно! Французы, я вам скажу, французы! Ну, а француз, известно, ветром подбит! уж это нация такая Не то что наш брат русский: тот уж за что примется, так все на славу сделает,— нет, далеко не то! . Скажите, пожалуйста, и давно вы торг ведете?

— Торг-то мы ведем давно,— отвечает угрюмый приказчик,— а деньги-то вы все-таки отдайте

— Ах, боже мой! право, какой скверный народ эти французы! право, только что с иголочки! О, премошенники эти портные!

— Видно, брат, мошенник-то ты! — неумолимо и резко отвечает угрюмый приказчик,— знаем мы вас! у вас у всех карманы-то с дырьями, как к расплате приходится! Иван Терентьич! а сходи-ка, брат, за Федосеем Лукьянычем! Он, кажется, тут, поблизости!

Услышав знакомое ему имя Федосея Лукьяныча, Иван Самойлыч совершенно упал духом. Со слезами на глазах и уни-

женно кланяясь, показывает он седому приказчику дырявые карманы своего пальто, тщетно доказывая, что не виноват же он, что за минуту перед тем имел и бобровый воротник, и испанскую звезду, и одутловатые щеки, и что все это, по ухищрениям одной злобной волшебницы, которая давно уж денно и нощно его преследует, вдруг пропало, и остался он дрянь дрянью, что называется, гол как сокол, пушист как лягушка.

— Мамону-то послужить умеешь! — говорит ему бесстрастный голос седого приказчика,— тельцу-то поклоняешься, чреву угождаешь! а что в Священном писании сказано? забыл? грех, брат, тебе! стыдно, любезный!

— Послужил, почтеннейший, попутал лукавый, точно, попутал! — отвечает жалобным голосом Иван Самойлыч,— да ведь это в первый раз; ведь другие едят же

— Да другие-то почище! Мало ли что делают другие! У других в карманах-то не дырья!

И седой приказчик строго покачивает головой, приговаривая

— Ишь, с чем подъехал, анафемский сын! ишь ты. и испанская звезда у него была! Знаем, брат, вас! знаем, чревоугодники, идолопоклонники!

А между тем Мичулин робко посматривает на Наденьку. Дерзко и с презрением глядит она на него, как будто хочет окончательно доконать и уничтожить несчастного.

— Так вы вот как, Иван Самойлыч! — говорит она ему, быстро размахивая руками,— так вы изволите на хитростях! вы хотели воспользоваться моею к вам откровенностью! Уж сделайте одолжение! я все понимаю! Может быть, я и необразованная, и не читала книг . Уж, пожалуйста, не отпирайтесь! я все вижу, все понимаю, очень хорошо понимаю .. все ваши коварства . Сделаите одолжение!

— Да что́ же я, в самом деле, такое? — бормочет между тем Иван Самойлыч, очень кстати вспомнив, что затруднение именно в том и состоит, что он до сих пор не может себе определить, что́ он такое,— да чем же я хуже других?

— Известно чем! — лаконически отвечает седой приказчик,— известно чем! у других-то в карманах-то нет дырьев.

— Другие едят, другие пьют . да я-то что́ ж?

— Известно что́! — звучит тот же самый жесткий голос,— можете смотреть, как другие кушают! — но так иронически звучит, как будто бы хочет сказать недоумевающему Мичулину: — Фу, какой же ты, право, глупый! не можешь никак понять самой пустой и обыкновенной вещи!

Иван Самойлыч уж было и смекнул, в чем дело, и начал было углубляться в подробное рассмотрение ответа приказ-

чика, как вдруг слух его поражает другой, еще страшнейший голос — голос Федосея Лукьяныча

Важно и не мигнувши слушает Федосей Лукьяныч жалобу старого приказчика о том, что вот, дескать, такие-то мошенники и приедалы перерыли всю лавку, наели на десять рублико в и семь гривенок и теперь показывают только карманы с дырьями...

— Гм,— мычит Федосей Лукьяныч, оттопырив губы и обращаясь всем корпусом к Мичулину,— ты?

— Да я, того,—бормочет Иван Самойлыч,—я шел и устал .. освежиться захотелось .. вот я и зашел!

— Гм, ты не оправдывайся, а отвечай,— основательно возражает Федосей Лукьяныч, окидывая взором всех присутствующих, вероятно, для того, чтоб удостовериться, какой эффект производит на них его соломонов суд.

— За дело ему, за дело! — кричит с своей стороны Наденька,— осрамить меня хотел!.. Уж, пожалуйста, подальше с своими резонами! я очень хорошо все знаю и вижу.

— Фамилия? — отрывисто вопрошает суровый голос Федосея Лукьяныча, снова обращаясь к нашему герою

— Мичулин,— отвечает Иван Самойлыч, но так робко, как будто бы и сам не уверен, точно ли это так и не есть ли это такое же создание блудного его воображения, как и теплое пальто, испанская звезда, одутловатые щеки и проч.

— Имя? — снова вопрошает Федосей Лукьяныч, весьма, впрочем, довольный, что произвел робость и страх в истязуемом субъекте.

— Иван Самойлов,— еще тише и робче отвечает герой наш.

— Эй, любезный, взять его!

Последние слова, очевидно, относились к одному рослому мужчине, как-то случайно тут же прогуливавшемуся.

И вот уже берут Ивана Самойлыча под руки; вот открываются перед ним двери ада .

— Пощадите! батюшки, пощадите! — кричит он, задыхаясь от трепета.

— Да что это, с ума, что ли, вы сошли, Иван Самойлыч?— раздается вдруг у самого его уха знакомый голос,— совсем спать не даете добрым людям! Ведь я очень хорошо понимаю, к чему все это клонится, да уж не бывать этому! сказано, так уж сказано и напрасно вы беспокоитесь и из себя выходите!

Иван Самойлыч открыл глаза: перед ним в заманчивом неглиже стояла миловидная Наденька, та самая Наденька, которая и проч.

IV

— А, это ты, Наденька! — бормочет сквозь сон Иван Самойлыч,— что ж это ты не спишь, душенька? А можешь себе представить, мне привиделось, будто Фе-до ..

Наденька покачала головкой и ушла.

А между тем Лета, эта услужливая река, снова заливает волнами своими воображение господина Мичулина, снова начинает она шуметь в ушах его, снова беснуется и выходит из берегов своих

И вдруг он опять очутился на улице; но на нем уже не прежнее щеголеватое пальто, а обыкновенная истертая его шинелька; не благовидна и не горда его осанка, как будто скоробился, сморщился он весь, как будто все члены ему свело от холода и голода

Не заглядывает он в окна кондитерских, булочных и фруктовых лавок Сколько соблазнов лежит перед ним в красиво и симметрически расположенных кучках и заперто под замком! И все это заперто, все под ключом! на все это *можете глядеть!* как выразился недавно с убийственным хладнокровием строгий приказчик ..

А дома ждет его зрелище, полное жгучего, непереносимого отчаяния В холодной комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле сидит его жена, около нее, бледный и истомленный, стоит его сын И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо просит!..

— Папа, я есть хочу! — стонет ребенок,— дай хлеба .

— Потерпи, дружок,— говорит мать,— потерпи до завтра, завтра будет! нынче на рынке все голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!

Но ка́к говорит она это! Твой ли это голос, милая маленькая Надя? тот ли это мелодический, сладкий голосок, распевавший себе беззаботно нехитрую песенку, звавший князя в золотые чертоги? Где твой князь, Надя? Где твои золотые чертоги? Отчего твой голосок сделался жёсток, отчего в нем пробивается какая-то едкая, несвойственная ему желчь? Надя! что сделалось, что сталось с тобою, грациозное создание? где веселый румянец твой? где беззаботный твой смех? где хлопотливость твоя, где твоя наивная подозрительность? где ты, прежняя, ненаглядная, миленькая Наденька?

Отчего глаза твои впали? отчего грудь твоя высохла? отчего в голосе твоем дрожит тайная злоба? отчего сын твой не верит твоим словам... отчего это?

— Да ведь и вчера говорили мне,— отвечает ребенок,—

что все голодные волки поели! да вон другие же дети сыты, другие дети играют... я есть хочу, мама!

— Это дети голодных волков играют, это они сыты! — отвечаешь ты, поникнув головою и не зная, как увернуться от вопросов ребенка

Но напрасно стараешься ты, напрасно хочешь успокоить его. *он не верит тебе, потому что ему хлеба, а не слов надобно*

— Ах, отчего же я не сын голодного волка! — стонет дитя,— мама, пусти меня к волкам я есть хочу!

И ты молчишь, подавленная и уничтоженная! Ты вдвойне несчастна, Надя! Ты сама голодна, и подле тебя стонет еще другое существо, стонет сын твой, плоть от плоти твоей, кость от костей твоих, который тоже просит хлеба

Бедная Наденька! что же не идет он, что не спешит он на помощь к тебе, этот давно желанный дорогой князь твоего воображения? что не зовет он тебя в золотой чертог свой?

С томлением и непереносною тоскою смотрит Иван Самойлыч на эту сцену и тоже уверяет маленького Сашу, что завтра все будет, что сегодня все голодные волки поели. Что ему делать? как помочь? .

И ты тоже знаешь, бедная Наденька, что нечем ему помочь, ты понимаешь, что он ни на волос не виноват во всем этом; но ты голодна, подле тебя стонет любимое дитя твое, и ты упрекаешь мужа, ты делаешься несправедливою ..

— Зачем же вы женились? — говоришь ты ему жестким и оскорбительным голосом,— зачем же вы связали себя другими, когда и себе не в состоянии добыть кусок хлеба? Без вас я была счастлива, без вас я была беззаботна . я была сыта Стыдно!

В свою очередь подавленный и уничтоженный, стоит Иван Самойлыч. Он чувствует, что в словах Нади страшная правда, что он *должен был* подумать, и много подумать, о том, прилично ли бедному человеку любовь водить, достаточно ли будет на троих его скудного куска . И неутомимо, неумолимо преследует его это страшное «стыдно!»

А между тем в комнате все холоднее и холоднее; на дворе делается темно; ребенок все так же стонет, все так же жалобно просит хлеба! Боже! да чем же все это кончится? куда же поведет это? Хоть бы поскорее пришел завтрашний день! а завтра что? .

Но ребенок уж не стонет; он тихо склонился головкой к груди матери, но все еще дышит!.

— Тише! — едва слышно говорит Наденька,— тише! Саша уснул .

Но что же за мысль гнездится в головье твоей, Наденька?

Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?

— Наденька, Наденька! куда ты идешь? Что хочешь ты делать?

Ты сходишь несколько ступеней и останавливаешься... ты колеблешься, милое дитя! В тебе вдруг забилось это маленькое, доброе сердце, забилось быстро и неровно . Но время летит... там, в холодной комнате, в отчаянии ломает руки голодный муж твой, там умирает твой сын! И ты не колеблешься, в отчаянии ты махнула рукой; ты не сходишь — бежишь вниз по лестнице . ты в бельэтаже... ты дернула за звонок .. Страшно, страшно за тебя, Надя!

А он уж ждет тебя, дряхлый, бессильный волокита, он знает, что ты придешь, что ты *должна* прийти, и самодовольно потирает себе руки, и самодовольно улыбается, поглядывая на часы... О, он в подробности изучил натуру человека и смело может рассчитывать на голод!

— Я решилась,— говоришь ты ему, и голос твой спокоен ..

Да, спокоен, не дрогнул твой голос, а все-таки спокойствие-то его как будто мертвое, могильное...

И старик улыбается, глядя на тебя; он ласково треплет тебя по щеке и дрожащею рукой привлекает к дряхлой груди своей юный стан твой...

— Да как же ты бледна, душенька! — говорит он ласково,— видно, тебе очень кушать хочется .

Э! да он просто шутник! он превеселый малый, этот маленький старичок, охотник до миленьких, молоденьких женщин!

— Да, я хочу есть! — отвечаешь ты,— мне нужно денег.

И ты протягиваешь руку .. Стало быть, ты еще хороша, иесмотря на твое страдание, стало быть, есть еще в тебе, несмотря на гнетущую нищету твою, нечто зовущее, возбуждающее застывшие силы шутливого старика, потому что он, не считая, кладет тебе в руку деньги; он не торгуется, хотя и знает, что может купить тебя за самую ничтожную плату...

— Ешьте,— говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама садишься в угол.

— Это жадные волки дали, мама? — спрашивает тебя ребенок, с жадностью поглощая ужин.

— Да, это волк прислал,— отвечаешь ты рассеянно и задумчиво.

— Мама! когда же убьют голодных волков? — снова спрашивает ребенок.

— Скоро, дружок, скоро...

— Всех, убьют, мама? ни одного не останется?

— Всех, душенька, всех до одного, *ни одного не оста*нется...

— И мы будем сыты? у нас будет ужин?

— Да, скоро мы будем сыты, скоро нам будет весело.. очень весело, друг мой!

А между тем Иван Самойлыч молчит; потупив голову, с тайным, но неотступно гложущим угрызением в сердце ест он свою долю ужина и не осмеливается взглянуть на тебя, боясь увидеть во взоре твоем безвозвратное осуждение свое

Но он ест, потому что и его мучит голод, потому что и он человек.

Но он думает, горько думает, бедный муж твой! Страшная мысль жжет его мозг, неотступное горе сосет его грудь! Он думает. сегодня мы сыты, сегодня у нас есть кусок хлеба, а завтра? а потом?.. вот о чем думает он! ведь и завтра ты будешь *должна.* а там опять ..

Вот эта страшная, гложущая мысль! Наденька, Наденька' правда ли, что ты будешь *должна?* .

Ивану Самойлычу делается душно; глухое рыдание заливает грудь его, голова его горит, глаза открыты и неподвижно устремлены на Наденьку...

— Наденька! Наденька! — стонет он, собрав последние силы.

— Да что ж это, в самом деле, за срам такой! — слышится ему знакомый голос,— здесь я, здесь, сударь! что вам угодно? что вы кричите? Целую ночь глаз сомкнуть не давали! Вы думаете, что я не понимаю, вы думаете, что я не вижу... Крепостная я ваша, что ли, что вы на меня так грозно смотрите?

Иван Самойлыч открыл глаза; в комнате было светло, у кровати его стояла Наденька в совершеннейшем утреннем дезабилье

— Так это . был сон! — сказал он, едва очнувшись,— так ты, того не ходила к старику, Наденька?

Девица Ручкина взглянула на него в недоумении. Но вскоре все сделалось для нее ясным как на ладони; ее вдруг осенила светлая мысль, что все это неспроста и что старик-то именно не кто иной, как сам Иван Самойлыч, но уж если она раз сказала не бывать! — так уж и не бывать тому, как ни хитри и ни изворачивайся волокита

— Нет, черт возьми! должно же это кончиться? — сказал про себя Иван Самойлыч, когда Наденька вышла из комнаты,— ведь этак просто ни за грош пропадешь!

Господин Мичулин взглянул в зеркало и нашел в себе

большую перемену. Щеки его опали и пожелтели пуще прежнего, лицо осунулось, глаза сделались мутны; весь он сгорбился и изогнулся, как олицетворенный вопросительный знак

А между тем нужно идти, нужно просить, потому что, действительно, пожалуй, ни за грош пропадешь ..

Да полно, идти ли, просить ли?

Сколько времени ходил ты, сколько раз просил и кланялся — выслушал ли кто тебя? Ой, ехать бы тебе в деревню к отцу в колпаке, к матери с обвязанною щекой ..

Но, с другой стороны, тут же рядом возникает вопрос, требующий безотлагательного объяснения.

«Что́ же ты такое? — говорит этот навязчивый вопрос,— неужели для того только и создан ты, чтоб видеть перед собою глупый колпак, глупую щеку, солить грибы и пробовать домашние наливки?»

И среди всего этого хаоса противоречащих мыслей внезапно восстает в воображении Ивана Самойлыча образ злосчастного Емели... Этот образ так ясно и отчетливо рисуется перед глазами его, как будто действительно стоит перед ним согнутый и трясущийся старик, и может он его ощупать и осязать руками Все туловище Емели как будто разлезается в разные стороны, все члены будто развинчены и вывихнуты; в глазах слезы гноятся, и голова трясется .

Жалобно протягивает он изнеможенную руку, дрожащим голосом вымаливает хоть десять копеечек и потом указывает на штоф с водкою и приговаривает· «Познание есть зла и добра!»

Иван Самойлыч стоит, как в чаду, он хочет освободиться от страшного кошмара и не может

Фигура Емели преследует его, давит ему грудь, стесняет дыхание Наконец он делает над собою сверхъестественное усилие, хватает шляпу и опрометью бежит из комнаты.

Но на пороге его останавливает Беобахтер

— Вы поняли, что я говорил вам вчера? — спрашивает он с таинственным видом

— То есть догадываюсь,— отвечает Иван Самойлыч, совершенно смущенный.

— Разумеется, это были только некоторые намеки,— снова начинает кандидат философии,— ведь это дело сложное, очень сложное, всего и не перескажешь!

Минутное молчание

— Вот, возьмите это! — прерывает Беобахтер, подавая Мичулину крохотную книжонку, из тех, которые в Париже, как грибы в дождливое лето, нарождаются тысячами и продаются чуть ли не по одному сантиму.

Иван Самойлыч в недоумении берет книжку, решительно не зная, что с нею делать

— Прочтите! — говорит Беобахтер торжественно, но все-таки чрезвычайно мягко и вкрадчиво,— прочтите и увидите.. тут все!.. понимаете?

С этими словами он удаляется, оставив господина Мичулина в совершенном изумлении.

V

Погода на дворе стояла сырая и мутная; как и накануне, сыпалось с облаков какое-то неизвестное вещество; как и тогда, месили по улицам грязь ноги усталых пешеходов; как и тогда, ехал в карете закутанный в шубу господин с одутловатыми щеками, и ехал в калошах другой господин, которому насвистывал вдогонку ветер: «Озяб, озяб, озя-я-яб, бедненький человек!» Словом, все по-прежнему, с тем незначительным прибавлением, что всю эту неблаговидную картину обливал какой-то бледный, мутный свет.

Навстречу Ивану Самойлычу ехала очень удобная и покойная карета, придуманная в пользу бедных людей, в которой, как известно, за гривенник можно пол-Петербурга объехать

Иван Самойлыч сел. В другое время, при «сем удобном случае», он подумал бы, может быть, о промышленном направлении века и выразился бы одобрительно насчет этого обстоятельства, но в настоящую минуту голова его была полна самых странных и черных мыслей

Поэтому кондуктор не получил от него ни улыбки, ни поощрения — ничего, чем так щедро любят наделять иные охотники до чужих дел

А между тем в карету набираются другие господа; сперва вошла какая-то скромная девушка, потупив глазки; вслед за нею впрыгнул белокурый студент весьма приятной наружности и сел прямо против нее.

— Здравия желаем-с! — сказал белокурый студент, обратясь к девушке. Но девушка не отвечает, а, посмотрев исподлобья на юношу, подносит ко рту платок и отворачивает к окну свое личико, изредка испуская из-под платка скромное «ги-ги-ги!».

— Наше почтение-с! — начал снова студент, обращаясь к веселой девушке.

Но ответа и на этот раз не последовало; только скромное «ги-ги-ги!» выразилось как-то резче и смелее.

— А что вы скажете насчет этого нововведения? — ласково спросил Ивана Самойлыча очень опрятно одетый господин с портфёлем под мышкою.

Господин Мичулин махнул головой в знак согласия

— Не правда ли, как дешево и экономически? — снова и еще ласковее обратился портфель, в особенности нежно, хотя и не без энергии, напирая на слово «экономически».

— Да-с, выгодная спекуляция,— отвечал Иван Самойлыч, усиливаясь, в свою очередь, поощрительно улыбнуться

— О, очень выгодно! очень экономически! — отозвался в другом углу господин с надвинутыми бровями и мыслящей физиономией,— ваше замечание совершенно справедливо, ваше замечание выхвачено из натуры!

— Впрочем, это смотря по тому, с какой точки зрения смотреть на предмет,— глубокомысленно заметил господин с огромными черными усами, и тут же физиономия его приняла такой таинственный вид, как будто спешила сказать всякому: знаем мы, видали мы!

— Батюшки, пустите! да отворяй же, лакей! батюшки! вспотел, измучился!. Ну уж, город! эк его угораздило!

Разговор, принимавший несколько назидательное направление, вдруг прервался, и взоры всех пассажиров обратились на толстого господина в какой-то странной, лилового цвета, венгерке, который, пыхтя и кряхтя, влез боком в карету.

— Ну уж город! — говорила венгерка,— истинно вам скажу, божеское наказание! я, изволите видеть, здесь по своему делу — так, поверите ли, просто, то есть, измучили, проклятые! душу тянут, вздохнуть не дают! И все этак, в белых перчатках: на красную, подлец, и смотреть не хочет — за кого, дескать, вы нас принимаете, да правосудие у нас не продажное! а вот, как сто рублев... Эка бестия, эка бестия! поверите ли, даже вспотел весь!

И венгерка снова начала кряхтеть и пыхтеть, со всех сторон обмахиваясь платком, что возбуждало немалую веселость в скромной девушке, и чуть слышные «ги-ги-ги!» снова начали вылетать из-под платка, закрывавшего рот ее.

— То есть, что же вы разумеете под точкой зрения? — прервал портфёль, которого, видимо, конфузил санфасон[1] лиловой венгерки,— если вы хотите сказать то, что французы так удачно называют поэнь де вю, кудель...[2]

— Знаем мы! — пожили мы! — и французов видали, да и немцев тоже! — отвечали усы и потом, наклонясь с таинствен-

---

[1] *развязность*

[2] точкой зрения, взглядом

ным видом и оглядываясь во все стороны, прошептали вполголоса: — Что-то скажут об этом извозчики вот что!

Присутствующие вздрогнули; действительно, никому из них до тех пор и в голову не приходило, что-то скажут о том извозчики, а теперь около них, и сзади, и спереди, и по бокам, вдруг заговорили тысячи извозчичьих голосов, кивали тысячи извозчичьих голов, весь мир покрылся сплошною массою воображаемых извозчиков, там и сям прерываемою.. опустелыми извозчичьими колодами!

— Да, если иметь такого рода консидерацию [1],— прошептал портфель

— Да уж что тут? — говорили между тем усы еще таинственнее и ударяя себя при этом кулаками в грудь,— уж я знаю, уж вы *меня* спросите! — мне это дело как своя ладонь известно!

И усы действительно показали немелкого разбора голую ладонь и, еще более наклонившись и предварительно оглянувшись на все стороны, вполголоса приговаривали:

— Уж мне это дело ближе известно я служу *там*...

— Так вы тоже *бюрократ*? — спросил портфёль, оправившись от первого ошеломления и как в каменную стену упираясь в слово «бюрократ»

— Да ведь это опять-таки с какой точки зрения посмотреть на предмет! — лаконически отвечали усы

— А я вам скажу, господа, что все это вздор! совершенный вздор! — загремела венгерка

По соседству чуть слышно раздалось знакомое «ги-ги-ги!» веселой девушки

— Истинно так! — продолжала греметь венгерка,— истинно так! что это за народ, хоть бы и извозчики! дрянь, осмелюсь вам доложить, просто слякоть! . Вот кабы вы у нас, в нашей стороне побывали,— вот народ! тот так уж действительно усахарит! — вот природа, так природа! это уж, истино вам говорю, смотреть в свое удовольствие можно! А то что это за народ у вас, взглянуть не на что! просто дрянь, слякоть!

И венгерка тоскливо покачивала головою.

— Да, это если смотреть на предмет с одной точки,— сказал между тем портфёль, улыбаясь и не обращая внимания на пессимистское возражение венгерки,— но если взглянуть на дело, например, со стороны эманципации животных...

Усы жалобно замычали

— Да ведь это все пуф! — сказали они,— это всё французы

---

[1] соображение.

привезли! Извозчики — вот главное дело! — извозчики — вот корень причины! — извозчики, извозчики, извозчики!

И снова в глазах всех присутствующих замелькали извозчики, извозчики, извозчики!

— Вот оно дело-то! — продолжали усы,— вон он сыт, наелся,— его и колом с печи не своротишь! А вот как хлебца-то нет, он и пошел, и пошел... а уж как пошел, так, известно, что будет!.. знаем мы! видали мы!

— О, ваше замечание совсем справедливо! ваше замечание выхвачено из природы! — отозвались брови,— голод, голод и голод — вот моя система! вот мой образ мыслей!

— Так вот с какой точки зрения должно смотреть на предмет! — таинственно повторили усы,— а уж что тут животное! Животное, известно, скотина!

— Однако ж, читали ли вы в «Петербургских ведомостях» артикль?[1] — возразил портфель, с необыкновенным усилием напирая на слово «артикль»

— Знаем мы! — читали мы! — вздор все это, надуванция! гога и магога!

— Однако ж с большим увлечением написан...

— Увлечение? — загремела венгерка,— уж позвольте, насчет увлечения .

— Ги-ги-ги! — отозвалось по соседству.

— Так вот, изволите видеть, я все насчет увлечения-то! — продолжала венгерка,— да вот барышеньке все что-то смешно веселая барышенька! так вот, насчет того-то . у меня, смею вам доложить, покойник батюшка, царство ему небесное, предводителем был, так вот это увлечение! Как замахает, бывало, руками . у! Отстаивал, нечего сказать! умел-таки постоять за своих покойник! Нет, нынче такие люди повывелись! — с фонарем таких не отыщешь! — нынче все разбирают. может, дескать, и прав! о-ох, времена тугие пришли! . а барышенька-то все смеется веселая барышенька!

— Когда же можно вас видеть? — говорил между тем исподтишка студент.

— Ах, какие вы, право, странные! — отвечала веселая барышенька, еще пуще закрываясь платком

— Вы находите? — снова начал студент.

— Разумеется! ги-ги-ги!

— Отчего же — разумеется?

— Да как же это можно!

— Да отчего же это неможно?

— Да нельзя!

---

[1] статью

— Странно! — сказал студент, хотя, по-видимому, не отчаивался еще в успехе своего предприятия

— Главное дело в том,— соображали вслух усы,— чтоб человеку цель была дана, чтоб видел человек, зачем он существует вот главное — а прочее все пустяки!

Иван Самойлыч начал прислушиваться

— То есть вы разумеете под этим то, что у французов зовется проблемою жизни? — спросил портфель, сильно напирая на слово «проблемою»

— Что французы? что немцы? — лаконически отвечали усы,— уж поверьте моей опытности, уж мне лучше знать это дело, уж я *там* и служу. все это надуванция, все гога и магога! . это дело мне вот как известно!

И снова усы показали обнаженную ладонь чрезвычайно почтенного размера.

— Однако ж, согласитесь со мной, ведь и французская нация имеет свои неотъемлемые достоинства.. Конечно, это народ ветреный, народ малодушный — кто же против этого спорит?.. Но, с другой стороны, где же найдете столько самоотвержения, того, что они сами так удачно назвали — резиньясьйон?[1] а ведь это, я вам скажу. .

— Знаем мы! — видали мы и французов, и немцев! — пожили-таки на своем веку! — говорили бесчувственные усы,— все это вздор! — главное дело, чтоб человек видел, что он человек, знал бы цель!.. Цель-то, цель — вот она штука, а прочее — что? вздор! все вздор! . уж поверьте моей опытности .

— Вот вы изволили выразиться насчет цели нашего существования,— скромно прервал Иван Самойлыч,— изволите видеть, я сам много занимался насчет этого предмета, и любопытно бы узнать ваши мысли...

Усы задумались; Мичулин ожидал с трепетом и волнением разрешения загадки

— Лакей! что ж ты, братец, не остановишь? ворон считаешь, тунеядец! — загремела венгерка

— Так и я тут выйду,— меланхолически сказали усы.

— А как же ваши мысли насчет этого обстоятельства? — робко заметил Иван Самойлыч

— Все зависит от того, с какой точки взглянуть на предмет! — разом сообразили усы

— О, это совершенно справедливо! ваше замечание выхвачено из натуры! — отозвались надвинутые брови,— все, решительно все зависит от точки зрения

Усы и брови вышли из кареты. Медленно и неповоротливо

---

[1] покорность судьбе.

поплелся снова экономический экипаж по гладкой мостовой.

— Когда же вас можно видеть? — по-прежнему спрашивал студент у веселой барышеньки

— Ах, какие вы странные! — по-прежнему отозвалась барышенька, закрывая рот платком

— Отчего же — странный? — приставал студент.

— Да как же это возможно!

— Да отчего же это невозможно?

— Да оттого, что нельзя!

— А я так думаю совсем напротив,— отвечал студент и дернул за снурок.

— Пойдемте! — снова сказал юноша

— Ги-ги-ги!

Карета остановилась, студент вышел, барышенька немножко подумала — и все-таки пошла за ним, сказав, однако ж «Ах, право, какие вы странные! уж чего не вздумают эти мужчины!» — но сказала она это решительно только для очищения совести, потому что студент уж вышел и ждал ее на улице.

Наконец и Ивану Самойлычу пришлось выходить. На улице, по обыкновению, сновала взад и вперед толпа, как будто искала чего-то, хлопотала о чем-то, но вместе с тем так равнодушно сновала, как будто сама не сознавала хорошенько, чего ищет и из чего бьется

И герой наш отправился искать и хлопотать, как и все прочие

Но и на этот раз фортуна, с обыкновенною своею настоичивостью, продолжала показывать ему нисколько не благовидный зад свой

Как нарочно, нужный человек, к которому уж в несчетный раз пришел Иван Самойлыч просить себе места, провел целое утро на воздухе, по случаю какого-то торжества. Нужный человек был не в духе, беспрестанно драл и марал находившиеся пред ним бумаги, скрежетал зубами и в сотый раз обещал согнуть в бараний рог и упечь «куда еще ты и не думал» стоявшего пред ним в струнке маленького человека с весьма лихо вздернутым седеньким хохолком на голове. Лицо нужного человека было сине от свежего еще ощущения холода и застарелой досады; плеча вздернуты, голос хрипл.

Иван Самойлыч робко вошел в кабинет и совершенно растерялся

— Ну, что́ еще? — спросил нужный человек отрывистым и промерзлым голосом,— ведь вам сказано?

Иван Самойлыч робко приблизился к столу, убедительным

и мягким голосом стал рассказывать стесненные свои обстоятельства; просил хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь, хоть крошечное местечко.

— Я бы не осмелился,— говорил он, запинаясь и робея все более и более,— да ведь посудите сами, последнее издержал, есть нечего, войдите в мое положение

— Есть нечего! — возразил нужный человек, возвышая голос,— да разве виноват я, что вам есть нечего? да что вы ко мне пристаете? богадельня у меня, что ли, что я должен с улицы подбирать всех оборвышей . Есть нечего! — ведь как нахально говорит! Изволите видеть, я виноват, что ему есть хочется .

Седенький старичок с хохолком тоже не мало удивился.

— Да ведь и я не виноват в этом, посудите сами, будьте снисходительны,— заметил Иван Самойлыч

— Не виноват! — вот как отвечает! На ответы-то, брат, все вы мастера .. Не виноват! Ну, да положим, что вы не виноваты, да я-то тут при чем?

Нужный человек в волнении заходил по комнате.

— Ну, что ж вы стоите? — сказал он, подступая к господину Мичулину и как будто намереваясь принять его в потасовку,— слышали?

— Да я все насчет места,— возразил Иван Самойлыч несколько твердым голосом, как бы решившись во что бы то ни стало добиться своего.

— Говорят вам, что места нет! слышите? Русским языком вам говорят: нет, нет и нет! Поняли вы меня?

— Понять-то я понял! — глухим голосом отвечал Мичулин,— да ведь есть-то все-таки нужно!

— Да что вы ко мне привязались? — да вы знаете ли, что я вас, как неблагонамеренного и назойливого, туда упеку, куда вы и не думаете? Слышите! — есть нужно! точно я его крепостной! Ну, в богадельню, любезный, идите! в услужение идите .. хоть к черту идите, только не приставайте вы ко мне с вашим «есть нечего»!

И нужный человек снова начал разминать по комнате окоченевшие члены.

— Тут целое утро на холоду да на сырости... орешь, кричишь на них, на бестий, а они еще и дома покоя не дают

— Да ведь я не виноват,— снова возразил Иван Самойлыч дрожащим голосом, худо скрывая накипевшую в груди его злобу,— я не виноват, что целое утро на холоду да на сырости .

— А я виноват? — с запальчивостью закричал нужный че-

ловек, топнув ногою и сильно пошевеливая плечами,— виноват? а? да ну, отвечайте же!

Иван Самойлыч молчал.

— Что ж вы привязываетесь? Да нет, вы скажите, что ж вы пристаете-то? виноват я, что ли, что вам есть нечего? виноват? а?

— Стыдно будет, если на улице подымут,— заметил Иван Самойлыч тихо.

— Отвяжитесь вы от меня! — вскричал нужный человек, теряя терпение,— ну, пусть подымут на улице! я вам говорю: нет места, нет, нет и нет.

Иван Самойлыч вспыхнул

— Так нет места! — закричал он вне себя, подступая к нужному человеку,— так пусть на улице подымут — так вот вы каковы, а другим небойсь есть место, другие небойсь едят, другие пьют, а мне и места нет!..

Но вдруг он помертвел; малый-то был он смирный и безответный, и робкая его натура вдруг всплыла наружу. Руки его опустились; сердце упало в груди, колени подгибались.

— Не погубите! — говорил он шепотом,— виноват — я! я один во всем виноват! Пощадите!

Нужный человек стоял как оцепенелый; с бессознательным изумлением смотрел он на Ивана Самойлыча, как будто не догадываясь еще хорошенько, в чем тут дело

— Вон! — закричал он наконец, оправившись от изумления,— вон отсюда! и если еще раз осмелитесь понимаете?

Нужный человек погрозил, сверкнул глазами и вышел из комнаты.

VI

Иван Самойлыч был окончательно уничтожен. В ушах его тоскливо и назойливо раздавались страшные слова нужного человека.

— Нет места! нет, нет и нет!

— Да отчего же нет мне места? да где же, наконец, мое место? Боже мой, где это место?

И все прохожие смотрели на Ивана Самойлыча как будто исподлобья и иронически подпевали ему: «Да где же, в самом деле, это место? ведь кто же нибудь да виноват, что нет его — места-то!»

Мичулин решился немедленно обратиться с этим вопросом к людям знающим, тем более что его мучили уж не одни материальные лишения, не одна надежда умереть с голода, но и

самая душа его требовала успокоения и отдыха от беспрестанных вопросов и сомнений, ее осаждавших

Знающие люди были не кто иные, как известные уж читателю Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат. и Алексис Звонский, недоросль из дворян

Оба друга только что пообедали и, сидя на диване, покуривали себе папироски. У Вольфганга Антоныча была в руках гитара, на которой он самым сладкозвучным образом треньКал какую-то страшную бравуру; у Алексиса плавала в глазах какая-то мутная влага, на которую он беспрестанно и горько жаловался, говоря, что она мешает ему прямо и бодро взглянуть в самые глаза *холодной, бесстрастной и безотрадной* действительности Друзья, казалось, были в хорошем расположении духа, потому что говорили о будущих судьбах человечества и об эстетическом чувстве

Оба друга равно стояли грудью за страждущее и угнетенное человечество; разница состояла только в том, что Беобахтер, как кандидат философии, непременно требовал ррразррруШения, а Алексис, напротив того, готов был положить голову на плаху, чтоб доказать, что период разрушения миновался и что теперь нужно *создавать, создавать и создавать* .

— Ну, клади! — говорил Беобахтер самым равнодушным голосом, делая при этом обычное движение разжатою рукою сверху вниз и уж совсем приготовившись отмахнуть Алексису его легковесную голову

Но Алексис головы не клал.

— Уж ты не коварствуй,— возглашал Беобахтер мелодическим голосом в ту минуту, когда вошел Иван Самойлыч,— ты не уклоняйся, а говори прямо: любишь или не любишь? любишь — так прочь их, с лица земли их — вот что! А иначе не любишь!

— Однако ж, за что ж их с лица земли? — заметил, с своей стороны, Алексис,— я, право, никак не могу понять этого ригоризма...

И действительно, по лицу Алексиса можно было угадать что он точно никак не мог понять.

Кандидат философии крошечным сжатым кулачком описал самую незаметную дугу.

— И знать ничего не хочу, и видеть ничего не хочу! — говорил он медовым своим голоском,— и не представляй ты мне своих резонов! все это софизмы, любезный друг! Не любишь, говорю тебе, не любишь — и все тут! Так бы и сказал с первого слова! Разрушить, говорю тебе, ррразрушить — вот что нужно! а прочее все вздор!

И господин Беобахтер сделал несколько аккордов на ги-

таре и запел совершенно особенную и крайне затейливую бравуру, но запел таким голосом, как будто гладил кого-нибудь по головке, приговаривая: «Паинька, душенька! умница, миленький!»

— Странно, однако ж! — заметил после некоторого молчания, собравшись с мыслями, Алексис

Беобахтер сделал совершенно незаметное движение плечами.

Буква *р* снова посыпалась в страшном изобилии

— Странно, однако ж! — не переставал возражать, с своей стороны, Алексис, всякий раз все более и более собираясь с мыслями

— Уж я тебя, подлеца, насквозь знаю,— говорил Беобахтер,— ведь ты «буржуазия», я тебя знаю

На это Алексис отвечал, что, ей-богу, он не «буржуазия», и что, напротив того, для человечества готов всем на свете пожертвовать, и что если уж на то пошло, то, пожалуй, хоть сейчас же, среди белого дня, пройдет по Невскому под руку с мужиком.

— Нет, уж это будет не эстетически! — заметил господин Беобахтер

— Ну, я не думаю,— отвечал Алексис, еще раз собравшись с мыслями.

— Что такое эстетическое чувство? — спросил господин Беобахтер, видимо намереваясь дать своим доказательствам вопросительную форму, столь часто употребляемую самыми знаменитыми ораторами.

Алексис задумался

— Эстетическое чувство,— сказал он, собравшись с мыслями,— есть то чувство, которым в высшей степени обладает художник

— Что такое художник? — столь же отрывисто спросил кандидат философии

Алексис снова задумался.

— Художник,— сказал он, в последний раз собравшись с мыслями,— есть тот смертный, который в высшей степени обладает эстетическим чувством. .

— Гм,— заметил господин Беобахтер,— прочь их! с лица земли их! Нет им пощады!.. я тебя знаю, всю твою душу насквозь вижу: ты подлец, ренегат ..

— Странно, однако ж! — заметил Алексис.

Но Вольфганг Антоныч не слушал; он сделал аккорд на гитаре и сладким тенором запел известную: *Разгульна, светла и любовна,* всячески стараясь выразить что-нибудь удалое, отколоть какое-нибудь отчаянное коленце, но решительно без

всякого успеха, потому что коленце оказывалось самым смирным и снисходительным

— А я к вам, господа, насчет одного дельца,— приступил Иван Самойлыч.

Беобахтер и Алексис начали вслушиваться

Мичулин вкратце изложил им свои утренние похождения, рассказал, как он был у нужного человека, как просил о местечке и как нужный человек отвечал, что места ему нет, нет и нет Затем Иван Самойлыч уныло понік головой, как бы ожидая решения знающих людей.

Но Беобахтер и Алексис упорно молчали: первый — потому что не вдруг мог отыскать в голове своей неизвестно куда завалившуюся сильную мысль, которую он давно уже припас и которая могла одним разом сшибить с ног вопрошавшего; второй — потому что имел благородную привычку всегда выждать мнение кандидата философии, чтоб тут же приличным образом возразить ему

— Да ведь мне есть нужно,— начал снова Иван Самойлыч.

— Гм,— сказал Беобахтер.

Алексис начал собираться с мыслями.

— Конечно, он не виноват в этом,— продолжал Мичулин, с горечью вспомнив полученный утром от «нужного человека» жесткий отказ,— конечно, жизнь — лотерея, да в том-то и штука, что вот она лотерея, да в лотерее-то этой билета мне нет..

Беобахтер положил в сторону гитару и посмотрел ему пристально в глаза

— Так вы меня не поняли? — сказал он с укором,— а прочли вы книжку?

Иван Самойлыч отвечал, что не имел еще времени Беобахтер грустно покачал головой.

— Вы ее прочтите! — убеждал он самым меланхолическим тоном,— там вы все узнаете, там обо всем говорится.. Все, что я вам ни говорил,— все это только предварительные понятия, намеки; там все полнее объяснено... но уж поверьте, тут иначе и быть не может! Или любишь, или не любишь: тут нет средины, я вам говорю!

— Однако ж, это странно! — тотчас же возразил Алексис, хотя и не развивал далее своей мысли

— Так вы думаете? — перебил Иван Самойлыч

— Прочь их! с лица земли их! вот мое мнение! Рррр..

— А вы как насчет этого дела? — спросил Мичулин, обращаясь к Алексису

— Моя грудь равно для всех отверста! — отвечал Алексис совершенно невинно.

За сим водворилось глубокое молчание

— Извините, что обеспокоил вас, господа,— сказал Иван Самойлыч, намереваясь удалиться восвояси.

На это приятели отвечали, что это ничего, что, *напротив,* они очень рады и что если вперед случится какая-нибудь нужда, то смело обращался бы прямо к ним При этом с немалым также искусством дано было ему заметить, что если между ними и существует некоторое разногласие, то это только в подробностях, что в главном они оба держатся одних и тех же принципов, что, впрочем, и самый прогресс есть не что иное, как дочь разногласия, и если их мнения не безусловно верны, то, по крайней мере, об них можно спорить.

Со всем этим Мичулин, конечно, не мог не согласиться, хотя, с другой стороны, не мог и не сознаться внутренно, что все это, однако ж, чрезвычайно мало подвигало его вперед.

На столе у себя он нашел тщательно сложенную записку. Записка была следующего содержания

«Иван Макарыч Пережига, *свидетельствуя свое совершенное почтение* его высокоблагородию Ивану Самойлычу, честь имеет покорнейше просить его высокоблагородие, по случаю дня тезоименитства, пожаловать завтрашний день, в три часа пополудни, откушать обеденный стол».

С досадою отбросил он от себя затейливую записку и лег на кровать

Но ему не спалось; кровь его волновалась; злоба кипела в груди, и все нашептывал тайный голос какую-то вкрадчивую и вместе с тем страшную легенду

Вокруг все тихо; ни шороха не слышно в комнате соседки Мичулин встал с постели и начал ходить по комнате — средство, к которому прибегал он всякий раз, когда что-нибудь его сильно тревожило

А между тем ветер все шумит на улице, все стучится в окно к Ивану Самойлычу и совершенно вразумительно свистит ему в самые уши: «Озяб бедный ветер! пусти его, добрый человек, бог наградит тебя за это!»

И герой наш решительно не знает, кому отвечать, продрогнувшему ли ветру, или комоду под красное дерево и картине, изображавшей, в противоречие свидетельству всей истории, погребение кота мышами, и уж не висевшей, а как будто бегавшей по стене, потому что и комод, и картина тоже, в свою очередь, допекали ужасно и насмешливо спрашивали: «А отвечай нам, отчего она лотерея? какое твое назначение?»

А Наденька между тем вкушала в соседней комнате на маленькой своей кроватке то удивительное кушанье, полное разных десертов и неимоверно воздушных пирожных, кото-

рое называется сном. В ее позе было нечто необыкновенно грациозное и девственное; маленький, уютный ротик был полуоткрыт; булавочное ее сердечко быстро и усиленно билось в миньятюрной темнице своей.

Но она не обращала внимания ни на страстное буйство ветра, который, смотря на нее из окошка, злился и завывал, ни на полный томления взор молодого месяца, только что скинувшего с себя черную епанчу из туч, которая, на досаду, не давала ему до тех пор пощеголять перед людьми своею молодостью и удальством. Она спокойно спала себе, как и всякая другая смертная, и надо же какому-то злому недругу беспокоить и будить ее в эту сладкую минуту; надо же, чтоб какая-то безобразная белая фигура дернула ее за руку в самый патетический момент сна! .

Открыв заспанные глаза, Наденька не мало струхнула. В околотке давно уже носились слухи насчет какой-то странной болезни, которая ходила будто бы из дома в дом в самых странных формах, проникала в самые сокровенные закоулки квартир и, наконец, очень равнодушно приглашала на тот свет.

Сообразив все эти обстоятельства, Наденька сильно встревожилась, потому что была крайне животолюбива и ни за что в свете не согласилась бы умереть А привидение между тем не шевелилось и молча устремило на нее глаза свои. Наденька заключила, что дело-то плохо и что конец ее пришел невозвратно, и потому, простившись мысленно с ученым своим другом и поручив, кому следует, свою крошечную душу, обдумывала уж, какой даст *там* ответ в своем бренном и несколько легком земном странствии, как вдруг молодой и щеголеватый месяц взглянул прямо в лицо привидению.

— Так вы так-то! — вскричала Наденька, оправившись внезапно от своего испуга и быстро вскочив с постели, несмотря на очевидную легкость своего костюма,— так вы вот как! вы не удовлетворяетесь тем, что по целым ночам стонете и не даете мне спать — вы еще и подсматривать вздумали! Вы думаете, что я не благородная, не мадам, так со мною все, дескать, можно! Ошиблись, сударь, очень ошиблись! Конечно, я простая девица, конечно, я русская, да не хуже иной барыни, не хуже немки; вот что-с!

И маленькие глазки ее горели; маленькие ноздри раздувались, маленькие губы дрожали от гнева и негодования .. Но привидение, которое было не что иное, как сам Иван Самойлыч, вместо ответа издало чрезвычайно простой и односложный звук, более похожий на мычанье, нежели на вразумительный ответ.

— Я все понимаю! — бойко сыпала между тем Наденька,— все понимаю не хуже всякой другой... Бесстыдник, сударь, срамник!

Иван Самойлыч отвечал, но как-то отрывисто и бессвязно; и притом звук его голоса был так сух и беззвучно-бесстрастен, как будто ему и не шутя было больно и тошно жить на свете.

Говорил он все прежнюю историю, что вот, дескать, другие едят, другие пьют... все другие...

Наденька слушала его в страхе и трепете; никогда она не видала его столь решительным; сердце ее упало; голос замер в груди; она хотела звать на помощь и не могла; умоляя, простирала она свои маленькие ручонки к лукавому нарушителю ее спокойствия; жалобен и безмолвно-красноречив был ее взор, взывавший о пощаде.. Привидение остановилось.

— Так вам очень гадко со мною?.. — сказало оно голосом, заглушаемым накипевшими в груди рыданиями,— так я очень противен?..

— Оставьте меня! — едва слышно шептала Наденька.

Привидение не трогалось; молча стояло оно у заветного изголовья, и невольные слезы непризнанной горести, слезы оскорбленного самолюбия крались по впалым и бледным, как смерть. щекам его.

— Бог с вами! — сказало оно шепотом и медленно направило к двери шаги свои.

Наденька вздохнула свободно. Сгоряча она хотела было закричать и объявить всем и каждому, что вот, дескать, так и так; но — странное дело! — ни с того ни с сего почувствовала она, как будто в груди ее вдруг зашевелилось что-то такое, что, с одной стороны, очень и очень намекало на совесть, а с другой, могло назваться, пожалуй, и жалостью. Грустно взглянула она вслед удаляющемуся Ивану Самойлычу и даже чуть-чуть не решилась позвать его назад, чтоб объяснить ему, что не виновата же и она, что дело такой оборот приняло И все-таки ничего не сказала, а просто посмотрела, как он вышел из комнаты, заперла поплотнее дверь, покачала головой, прибрала с полу две или три завалявшиеся бумажки и снова легла почивать.

VII

Именинный обеденный стол был устроен на славу. Шарлотта Готлибовна не пожалела ни трудов, ни издержек, чтоб угодить своему любезному кавалеру. Она истоптала себе все

ноги, но к трем часам все уже было готово. Даже она, сухопарая и продолговатая хозяйка, приличным образом подкрасившись, рисовалась в столовой, производя приятный для слуха шум накрахмаленною, как картон, юбкою.

Когда Иван Самойлыч явился в столовую, вся компания была уж налицо. Впереди всех торчали черные как смоль усы дорогого именинника; тут же, в виде неизбежного приложения, подвернулась и сухощавая и прямая, как палка, фигурка Шарлотты Готлибовны; по сторонам стояли известные читателю: кандидат философии Беобахтер и обольстительный, но несколько апатический недоросль Алексис под руку с девицей Ручкиной.

Казалось, Наденька была совершенно довольна своею судьбой, потому что очень любила порядочную компанию и вообще чувствовала некоторый недуг к людям, которые не принадлежали к так называемой швали — мастеровым, лакеям, кучерам и далее до бесконечности.

Конечно, рассуждая строго, происхождение Шарлотты Готлибовны было покрыто весьма густым мраком неизвестности, но Наденька смотрела на этот предмет сниходительно. Она, разумеется, не могла не допустить, что Шарлотта Готлибовна, действительно, не русская ..

И теперь, как и всегда, Иван Макарыч шутил над ученым Алексисом, приговаривая:

— А подлец Бинбахер-то! Знать ничего не хочет! ничего, говорит, не надо! все уничтожу, все с глаз долой! Ах, эти немцы!

И, по обыкновению, Шарлотта Готлибовна, потупив глаза, отвечала: «О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич!», и, по обыкновению, осталось покрыто мраком неизвестности, кого именно разумел господин Пережига под словом Бинбахер.

— А не выпить ли нам водочки, мадам? — возопил именинник, обращаясь к Шарлотте Готлибовне,— ведь нынче времена-то опасные! слышь ты, холера по свету бродит! а вог мы ее, холеру! вот мы ее! по-свойски-то, по-нашему!

И действительно, холера, вероятно, сильно поморщилась, когда господин Пережига вытянул одним глотком огромную рюмку, которую он не без едкости называл стаканчиком на ножке.

За обедом было очень весело; лица всех смотрели как-то благоприятно и ободрительно Алексис беспрестанно, и кстати и некстати, улыбался; Беобахтер тоже не делал обычного движения рукою сверху вниз; Пережига же всех по чести уверял, что Бинбахер ничего не знает, потому что немец, а вот

у него спросите, так он русский и знает, да еще так знает, что у Шарлотты Готлибовны от одной этой мысли закатывались под лоб глаза.

— У, как я был на своей-то стороне! — гремел он, с самодовольным видом покручивая усы,— у меня был двор!.. то есть, что все эти здешние дворы! просто дрянь! Одних егерей было человек пятьдесят! Музыканты свои были! Театр домашний был! плясуны были, комедии представляли! Вот оно, какое житье-то было! любезное житье!

Конечно, Иван Макарыч большую половину прихвастнул, но присутствующие из учтивости почли долгом не возражать ему, а Шарлотта Готлибовна даже совершенно была уверена в истине слов своего любезного кавалера и с непритворным участием вмешалась в разговор, сказав в скобках:

— О, это, должно быть, ужасно чудесно было!

— Уж так чудесно, что просто невозможно! Уж я вам скажу, такие были актеры — просто на славу! Вся губерния съезжалась смотреть — истинно вам говорю!

По поводу актеров господина Пережиги разговор перешел вообще к оценке эстетических и других способностей человека, и при этом развивались гостями самые мудрые и затейливые мысли.

Беобахтер, махая ручонкою сверху вниз, говорил самым приятным и вкрадчивым тенором, что оно, конечно, ничего, жить можно, а все-таки не дурно и даже полезно, если «прихлопнет» да «притиснет». Буква *р*, по обыкновению, играла и тут весьма немаловажную роль

Алексис болтал во рту языком и безотчетно размахивал во все стороны руками

Шарлотта Готлибовна утверждала насчет этого предмета что-то столь жестокое и обидное, что Наденька почла за долг вступиться и тут же колко дать ей почувствовать, что она хотя и благородная немка (о! никто в этом не сомневается!) и хотя «всем, конечно, известно», что в *ихней* земле водятся дворяне, но ведь и в других землях отнюдь не все же мастеровые или чумички какие-нибудь.. о нет, далеко не все!

Весь этот шум покрывался густым басом Пережиги, который смело утверждал, что все это вздор, что тут «иначе» быть нельзя и что у него, дескать, спросите, так он знает и мигом все объяснит.

— А скажите, пожалуйста,— начал между тем Иван Самойлыч, очевидно стараясь исподволь дать разговору интересующий его оборот,— вот вы, Иван Макарыч, вы человек опытный, бывалый... Вот хоть бы у вас: ведь, я думаю, у каждого

из них было свое особенное назначение, своя особенная, так сказать, роль в жизни?..

— Разумеется, было! чего на свете не бывает,— отвечал Иван Макарыч, от частых возлияний одобрительно кивая на все стороны головой,— известно,— один псарь, другой егерь, третий просто чумичка! Как не быть!

И опять пошли толки о трудности отыскать человеку в бренной его жизни назначение Пережига отзывался, что тут вообще «поломаешь-таки себе голову», и действительно, в то же время начал с таким рвением ломать себе голову при виде беспрестанно возрастающих и вновь отвсюду восстающих затруднении, что непременно погиб бы в этой борьбе, если бы не спас его известный стаканчик на ножке, которому он не переставал свидетельствовать свое почтение.

— Мое тут мнение вот какое! — вмешался господин Беобахтер,— все это вздор, а нужно — вот — и махнул рукою сверху вниз

Хотя последние слова были сказаны особенно мелодическим тенором, но Алексис не преминул возразить своему ученому противнику, сказав, что он не видит, почему непременно — «вот», и что гораздо лучше, если для всех равно отверсты объятия При этом Алексис размахивал руками и действительно для всех отверзал объятия!

— Так вот вы изволили заметить,— снова обратился Мичулин к Пережиге,— что один чумичка, другой егерь.. ну, это понятно· они уж люди такие — ну, и роли по них . А вообще-то как вы понимаете? то есть вообще-то человеку какая роль предстоит в жизни? Вот хоть бы мне, например? — прибавил он в виде предположения

И умолк.

И все гости тоже сурово молчали, как будто никто и не предвидел со стороны господина Мичулина подобного философического вопроса

— Мое мнение вот какое,— разразился наконец сладкозвучный Беобахтер,— прочь все —вот!

И на этот раз Алексис, по обыкновению, отозвался, что *никак не может понять этого ригоризма* и что гораздо лучше, если для всех равно отверсты объятия.

Но сомнение все-таки осталось сомнением, запутанное дело ни на шаг не подвинулось вперед

— Так как же вы думаете, Иван Макарыч? — снова навязывался Мичулин

— Это уж вы вот у них спросите,— лаконически отвечал Пережига, закрывая глаза от излишества возлияний,— это им будет лучше известно!

С этим словом Иван Макарыч, а за ним и все гости вышли из-за стола.

Но именинник сильно ошибался, если в числе таинственных «их» разумел и ученого Алексиса.

Алексис, казалось, так сильно желал всякого счастия дорогому имениннику, что от полноты чувства едва мог болтать во рту языком.

— Ты не горюй, друг,— говорил он, обращаясь к Ивану Самойлычу,— ты друг! я тебя знаю! ты смиренный и кроткий — вот!.. вот он так буйный, я знаю, чего он хочет! Да вот не дадут же тебе ничего! да! вот же назло тебе для всех отверсты объ-я-тия! . да объ-я-ти я

Наденька села возле него, начала усовещивать, уговаривала, чтоб он был хоть мало-мальски поумнее, но Алексис ничем не трогался, потому что в нетрезвом виде непременно считал долгом пускаться в конфиденции и обнажать догола свою крохотную душу.

— Ты оставь, ты отойди от меня, хороший, милый ты человек,— говорил он, вертя головою,— ведь я знаю, что ты про меня думаешь, что и он . вот тот, что от философии-то . я все знаю, да плевать я .. Я сам знаю, что глуп, сам это чувствую, милый ты человек, сам вижу .. Ну, что ж! глуп так глуп .. уж такая, видно, слабая моя голова

И захохотал, как будто бы и сам от всей души поздравлял себя с тем, что глуп и слабоголов.

Беобахтер, с своей стороны, не возражал ничего, потому что сам чувствовал в сердце приятную веселость и махал рукою уж не сверху вниз, а снизу вверх

— Да уж ты не скрываися ты философ! — продолжал между тем Алексис,— ведь я вижу .. я вижу, что ты меня презираешь... ну, презирай! Ведь я сам чувствую, что достоин презрения . дру-у-г! да ведь что ж делать, коли голова-то слаба? голова-то, голова, вот что! .

— Ну, нализался же ты, брат,— лаконически заметил Иван Макарыч.

— А еще барин! туда же барином зовется! — подхватила девица Ручкина.

— Уж какой же барин! — жаловался в ответ Алексис,— барин! самому иногда есть нечего — барин! Сапогов нет — барин! Пальто на плечишках изорванное — барин! . Вот те и барин! да уж я вижу, что ты меня презираешь! . ты! философ!

И снова воображение Алексиса начало рисовать ему самые горестные картины, и снова пуще прежнего начал он жаловаться на свою слабую голову, на судьбу, на одного таинст-

венного незнакомца, обсчитывавшего его по литературной части, и ко всему прибавлял — барин!

Наконец девица Ручкина почла долгом увести его в свою комнату.

Уныло посмотрел Иван Самойлыч вслед расходящимся гостям. Он видел, как Иван Макарыч пошел под руку с Шарлоттой Готлибовной, как Алексис, с своей стороны, пошел с Наденькой — тоже под руку . Да и философии кандидат Вольфганг Антоныч Беобахтер поспешно надел шинель и отправился на улицу, вероятно с тем намерением, чтоб пройтись с кем-нибудь — тоже под руку!..

И он тоже шел под руку, но не с Наденькой и даже не с Шарлоттой Готлибовной, а с каким-то бестелесным и чрезвычайно длинным существом, называющимся: «Что ты такое? какое твое назначение?» и так далее,— существом уродливым, которое, несмотря на видимую свою бесплотность, страшно оттянуло ему обе руки.

VIII

Разгоряченный вином и горькими мыслями, вышел Иван Самойлыч на улицу. На дворе стоял трескучий мороз, который в Петербурге весьма часто следует за самою несносною слякотью; извозчики, съежившись в клубок, проминались по укатанной дороге и хлопали в ладоши! В окнах высоких домов мелькали огни. . Огни эти так гостеприимно манили к себе прозябнувшего и посиневшего на стуже странника, извозчики так тоскливо и вместе недоверчиво смотрели на них. Оборванному и оглоданному всегда кажется, что огонек как будто бы именно *на него* с особенною приветливостью глядит из окна .

Но Иван Самойлыч не думал ни об огнях, ни об извозчиках Машинально шел он себе в легкой шинелишке своей, как будто бы вовсе и не чувствовал холода; в голове его было совсем пусто, одна только мысль чудовищно раскинулась в его воображении — та мысль, что у него всего-навсе остался в кармане один целковый, а между тем надо жить, надо есть, надо за квартиру платить .

Но холод все-таки делал свое дело. Как ни закован был Иван Самойлыч в тройную броню неудач и лишений, но не мог не почувствовать покалываний и пощипываний своего привычного друга. Очнувшись невольно, он увидел перед собою огромное снеговое пространство, более похожее на поле, чем на городскую площадь. Посредине поля возвышалось великолепное освещенное каменное здание; у подъездов суети-

лись кареты, сани, возки, кричали кучера и лакеи; там и сям под навесами пылали зажженные костры. А холод между тем щипал лицо, ломил череп, резал глаза; шинелька защищала плохо и скудно...

Вид залитого светом здания сильно расшатал вожделение в окоченевшем теле Ивана Самойлыча; он вспомнил про целковый, бывший у него в кармане, и потом, по какому-то безотчетному побуждению, взглянул на разложенные костры... Костры пылали красным пламенем и далеко по площади расстилали густой и едкий дым...

— Что ж... можно и тут обогреться! — подумал Иван Самойлыч

Но странная, искусительная мысль блеснула вдруг в голове его; секунду, не более как секунду, стоял он в раздумье; потом вынул из кармана целковый, с ожесточением взглянул на него, и в одно мгновение ока был уж у кассы театра и покупал себе билет в пятом ярусе.

Как нарочно, в этот день давали какую-то героическую оперу. В театре народу была куча; с шумом растворялись и запирались двери лож; смутный и густой говор носился по огромной зале от партера и до райка.

Иван Самойлыч очутился посредине между одним бравым офицером и какою-то довольно красивою, но сильно намазанною девицей.

С злобой смотрел он вниз на беспрестанно наполнявшиеся ложи, на дам в кокетливых нарядах, которые влетали в них подобно легким и призрачным видениям

Но вот и говор утих Посреди всеобщего безмолвия вдруг послышался отдаленный горный рожок, в каком-то полусне начал прислушиваться Иван Самойлыч к простой и жалобной мелодии его. В памяти его вдруг воскресли давнишние годы его детства, необозримые и ровные поляны, густой сосновый лес, синее озеро, лениво расплескивавшее свои волны, и посреди всего этого самая беззвучная, глубокая тишина, и только рожок, именно рожок, назойливо звучит в самое ухо, и именно ту же самую простую и трезвую мелодию. Но вот рожку начинает вторить флейточка, к флейточке нерешительно присоединяется скрипка, и вдруг звуки начинают расти, расти, и, наконец, целые потоки их вырвались с шумом из оркестра и заходили по зале.

Загудели контрабасы, тоскливо жаловались нежные флейточки; назойливо рвали душу скрипки; отрывисто и сухо командовал барабан

Герой наш ожил; бледный, притаив дыхание, упивался он жалобным стоном флейты, отчаянным воплем скрипки, все

нервы его были в каком-то болезненном, небывалом напряжении, голова горела, губы и глаза были сухи, во всем существе его разыгралась такая же буря, какая происходила в оркестре.

— Вот это так хорошо! так их! руби их! мо-шен ни-ки, хри-сто-про-давцы! — шептал он, сам хорошенько не сознавая, почему бравурная музыка напомнила ему мошенников и христопродавцев.

— Что ж? хлопайте! выражайте же свое удовольствие! — заметил на ухо Мичулину сидевший сзади какой-то сын природы с огромными усами и бородой

Занавес был поднят; на сцене, неизвестно о чем, но очень складно, толковала густая толпа; потом толпа расступилась, и какой-то господин начал что-то петь. У Ивана Самойлыча не было ни либретто, ни обязательного соседа, поэтому он очень немного понял из всего этого. Однако ж по всему было видно, что господин был доволен собою и не мало сочувствовал восходящему солнцу, потому что сильно разводил руками.

— Фразы, брат! вздор все это! знаем мы! — говорил господин Мичулин, на которого, видимо, начал действовать образ мыслей Беобахтера,— знаем мы эту природу! ты нам давай барабанов — вот что.

И барабан не заставил себя ждать, музыка снова загремела полным оркестром, и снова гром заходил и заколыхался волнами по зале.

— Выражайте же свое удовольствие! — приставал упомянутый выше сын природы.

Ощущение, произведенное этой громкой, но вместе с тем глубоко-стройной музыкой, было как-то странно и ново для Ивана Самойлыча. Он никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа,— да и какая еще толпа! — вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать

— Да, дело-то было бы лучше! — думал он, прогуливаясь в антракте по коридору,— тогда бы, может быть, и я ..

И он не оканчивал своей фразы, потому что и без дальнейшего объяснения очень хорошо и отчетливо постигал, что было бы тогда.

Но вот оркестр снова заиграл Сначала происходили неизбежные объяснения любовников; какая-то тощая госпожа преизрядно передавала смирному и безответному клеврету свои чувства; клеврет слушал совершенно равнодушно и только ждал случая, чтоб дать тягу за кулисы Потом впри-

прыжку выбежал из-за кустов как будто нарочно тут же очутившийся господин в бархатной кацавейке...

Мичулин все время отрицательно кивал головой, находя, по-видимому, что все это фразы...

Но вот на сцену спустилась ночь; красноватая луна горела на холстинном небе, озеро синело вдали; все деревья будто притихли и притаились в ожидании чего-то страшного, необыкновенного; нигде ни шороха, ни шелеста ..

И вдруг, посреди безмолвия, раздается оклик, и снова все стихло; вот и еще оклик, и еще, и еще... деревья как будто оживились и выпрямили сонные верхушки свои; озеро заходило холстинными волнами; луна горит все краснее и краснее...

Снова целый гром на сцене, снова все волнуется и колышется, и слышатся Ивану Самойлычу и выстрелы, и стук сабель, и чуется ему дым...

С волнением смотрит он во все глаза на сцену; с судорожным вниманием следит за каждым движением толпы; ему и в самом деле кажется, что вот наконец все кончится; он хочет сам бежать за толпою и понюхать заодно с нею обаятельного дыма С особенною нежностью смотрит он на молодого человека, раздирающим голосом молящего оставить ему его любовь и наивные мечтания... Он так юн, так свеж еще, молодой человек! ему так жалко вдруг расстаться с своими обаятельными кумирами; ему хотелось бы еще долго обманывать свое сердце и убаюкивать себя золотою мечтой. Но тщетны все его усилия: истина налицо; она трезво и без страха снимает с души его лишние покровы... И грустно повторяет горное эхо вопль юноши, последний вопль! .

. . . . . .

Вот что говорили звуки душе Ивана Самойлыча.

Но барабаны и выпитое за обедом вино порядочно-таки расшатали его воображение Быстрыми шагами шел он по улице, напевая какой-то вовсе недвусмысленный мотив и сильно стараясь подделаться под барабан. Рядом с ним очутился и сын природы, который сидел сзади его в театре. С сыном природы шел еще какой-то господин, который беспрестанно кивал утвердительно головой и улыбался.

— Ну, что, как вам понравилась опера? — приступил сын природы к Ивану Самойлычу,— ведь с перчиком опера-то? а? как вы насчет этого?

— Да; я думаю, что если бы .— процедил Иван Самойлыч сквозь зубы.

— Уж и не говорите! я сам об этом много думал, а вот нас-то мало . вот что! А я уж думал об этом, как не думать!

спросите вон хоть у него Антоша! ну, скажи, ведь думал я об этом?

Антоша поспешно закивал головой и выставил ряд острых и длинных зубов

— Рекомендую вам его!— продолжал сын природы, подводя к Ивану Самойлычу Антошу,— благороднейший человек! Я вам скажу, мы много с ним думаем, черт возьми! чудеснейшая душа! и как сострадает! право, никто так не сострадает! Антоша! друг! приятель!

Антоша осклабился.

— Очень рад,— пробормотал Иван Самойлыч, совершенно сконфуженный такою бесцеремонностью.

— Вам, может быть, страниа такая откровенность? — говорил между тем господин с усами и бородой,— я вам скажу, вы не удивляйтесь Ведь я замечал за вами в театре-то. я видел, что подле меня человек страдает.

Молчание

— Так как вы думаете, не соединиться ли нам в одни общие объятия? а? ведь как заживем-то! лихо, ей-богу, лихо заживем Братство — канальство! братство — вот моя метода! больше знать ничего не хочу! то есть, отнимите у меня братство — просто ничего не останется, просто дрянь дрянью сделаюсь!.. Так, что ли? братство, что ли? Эх, канальство, да отвечай же, ракалья, забулдыга ты этакой!

И едва начал Иван Самойлыч соображать, каким образом мог он вдруг возбудить в постороннем человеке столько симпатии к себе, как уж сын природы тискал его в своих объятиях и словно жесткою щетью драл ему щеки своими усами и бородою, беспрестанно приговаривая: «Вот так люблю! разом тебя понял! разом увидел, что ты такое! у, да наделаем же мы им теперь вместе дела!»

— Да ну, полезай же!— говорил он, обращаясь к приятелю Антоше и сталкивая его с Иваном Самойлычем.

Антоша всем телом кинулся в объятия оторопевшего героя нашего

Путники очутились около одного дома, которого окна были ярко освещены Сын природы остановился

— А не запечатлеть ли нам? — спросил он с таким видом, как будто у него вдруг родилась чрезвычайно светлая и благотворная мысль — Антоша! приятель! друг! ведь запечатлеть? а?

И он мигал глазами вычурной вывеске, на которой в живописном беспорядке красовались бильярд, чашки, окорок ветчины с воткнутою в него вилкою и графины с водкой.

Антоша три раза улыбнулся и шесть раз кивнул головой.

— Ну, а ты? — обратился сын природы к Ивану Самойлычу.

— Я не знаю,— бормотал Мичулин,— я забыл... я бы с радостью, да вот забыл...

— Антоша! друг! про что это он говорит? а? ведь он про деньги, кажется, говорит, изменник, прредатель!

— Ка...— заговорил Антоша и не кончил, а только клюнул кончиком носа в стену.

Сын природы стал перед Иваном Самойлычем, расставил ноги, уперся руками в бока наподобие ферта, взглянул ему в глаза с видом горько-уязвленной дружбы и с упреком замотал головой.

— А, так вот ты каков, предатель! Деньги! разве я спрашивал у тебя денег? спрашивал? а? так вот я же тебя — деньги! Антоша! друг!

И оба друга мгновенно взяли Ивана Самойлыча под руки и быстро потащили его вверх по тускло освещенной лестнице.

Мичулин совсем растерялся. Он еще в первый раз видел к себе столько сочувствия, столько горячей симпатии. И в ком? в людях совершенно ему чужих, в людях, которых ему довелось раз только видеть, и то мимоходом.

Половые засуетились Машина заиграла.

— Эй, малый! — кричал сын природы,— да что это она, братец, там у вас размазню какую-то играет! ты нам давай барабанов — вот что! э? с барабанами есть?

— Никак нет-с,— отвечал половой, бодро потряхивая кудрями.

— Отчего ж нет?

— Да не требуется,— отвечал половой.

— Не требуется? Э, брат, видно, к вам народ-то такой, людишки-то все такие — размазня ходят! Нет, брат, мы вот втроем, мы души крепкие, закаленные.. Антоша, а Антоша! друг! закаленные души, а?

— О-о-ох! — жаловался сын природы, покручивая усы,— времена-то наши еще не пришли, а то бы чего-чего мы втроем не наделали! Слышь ты, осел! слышишь, олух? — продолжал он, обращаясь к половому,— вот мы втроем какие люди! так ты давай нам барабанов, бравуру давай — вот что, понимаешь? Ну, проваливай да песи скорее, что там у вас есть.

Через минуту стол был уставлен бутылками, графинами и стаканами. В стороне скромно стояла закуска.

— Уж я таков есть! — говорил сын природы, наливая стаканы,— я вот весь тут на ладони, что хочешь со мною делай! Любишь! — друг, не любишь — бог с тобою! а я уж тут весь, как есть сын природы! Ни лукавства, ни хитрости!

Иван Самойлыч выпил — горько.

— Да ну, пей же! она водка откровенная! вот и я откровенный! вот и постегали меня раз, а все-таки откровенный — не могу, нельзя мне иначе! Антоша, Антоша! — продолжал он с укором,— и ты друг после этого? и тебе не стыдно, а? дар природы стоит перед тобою, и тебе не совестно? ай да друг! Ну, осрамил, брат!

Антоша выпил одним разом. .

И пили они много и долго пили Иван Самойлыч и не помнил счета; едва опоражнивал он стакан, как перед ним вырастал новый и совершенно полиый. Смутно, как будто во сне, мерещились ему тосты, предлагаемые зычным голосом сына природы.

Иван Самойлыч потерял всякое чувство. Он видел, правда, что сын природы как будто собрался куда-то выйти с Антошей и что-то указывал на него половому, но ничего не понял из всех этих жестов и разговоров.

Когда он проснулся, на дворе было уж светло. На столе лежали объедки вчерашней закуски, стояли графины с недопитой водкой. В голове его было тяжело, руки и ноги дрожали.

Он начал припоминать себе происшедшее, искал глазами своих товарищей, но в комнате не было никого. Внезапно в душу его закралось тревожное сомнение. «Что, если это мошенники! — подумал он,— что, если они завели меня, чтоб поужинать, да потом, напоивши, и оставили меня под залог?»

Эта мысль мучила его; на цыпочках подошел он к двери и приложил ухо к замочной скважине. В соседней комнате слышались ругающиеся голоса заспанных половых Он вышел из засады и спросил шинель.

Начали искать шинель — шинели не оказалось; Ивана Самойлыча точно варом обдало. Половые засуетились; поднялась беготня, но ничто не помогало: шинель никак не отыскивалась.

— Да вы с кем приходили? — спросил буфетчик.

— Я не знаю; я в первый раз их видел

— Мошенники! Лизуны какие-нибудь!

— Да как же я без шинели?

— Не знаю,— отвечал буфетчик с расстановкой,— уж видно, так без шинели придется .. ночью-то оттеплило... Да вот еще счетец не заплатили .

Язык Ивана Самойлыча прилип к нёбу.

«Сон в руку»,— подумал он и всем телом затрясся.

— Так прощайте .. я уж так,— сказал он, направляясь за двери.

— А как же счетец-то? — возразил буфетчик.

— Да я не знаю... это они! — бормотал Иван Самойлыч и все шел к двери.

Но его не пустили; Мичулин вздумал было силой прорваться на лестницу; но два дюжие парня крепко держали его за руки и не хотели никак выпустить. Началась борьба; отчаяние, казалось, удесятерило его силы; он уже заносил ногу за порог, он был уж на лестнице, как вдруг у самого его носа, неизвестно откуда, вырос удивительного размера городовой, а в ушах пренеприятно зазвучало: «А куда ты, шаромыга, лезешь?»

На такую апострофу[1] Иван Самойлыч почел за нужное отвечать, что он вовсе не шаромыга, а привык, дескать, к обращению деликатному и тонкому; но городовой, по-видимому, и знать не хотел *деликатного обращения*. Ему вдруг очень ясно представилось, что шаромыга-то ведь грубит, тогда как на самом деле Иван Самойлыч только оправдывался и объяснял, что вот, дескать, так и так и больше ничего...

— А! ты еще грубить — ты еще рассуждать! Эй, кто там — взять его и распорядиться!

Не успел господин Мичулин оглянуться, как подле него очутилось три помощника, хотя и гораздо меньших размеров, нежели городовой. Все четверо схватили его и повели на улицу.

Тщетно умолял Иван Самойлыч городового отпустить, тщетно соблазнял он его, показывая в руке уцелевшие у него два двугривенных . тщетно! городовой бесстрастно шел возле и не только понуждал его за рукав, но даже для того, чтоб публично выразить свое бескорыстие, орал во все горло:

— И, что ты! бог с тобой! — да я тебя за сто рублев не выпущу! Ты, брат, знай свои порядки, ты, брат, слушайся, коли начальство приказывает,— вот что!

А народу собралась целая толпа, а в толпе-то смех, в толпе-то веселье. взяли, дескать, барина в немецком платье!

— Эвося! — говорит бородатый молодец, уже поднявший было полу своего бараньего тулупа, чтоб утереть нос, и оставшийся в положении совершенного изумления,— глянь-ка, брат Ванюха! — глянь-ка, кургузого ведут!..

— Что, видно, ваша милость прогуливаться изволите? — подхватывает другой, тоже, по-видимому, очень бойкий молодец.

— Гы-ги-ги! — отозвался известный Ивану Самойлычу голос девушки, жившей своими трудами.

[1] обращение.

— Наше вам почтение! — подхватил близ стоявший бело курый студент.

— Ха-ха-ха! — раздалось в толпе

Мичулин был ни жив ни мертв. Что скажут об нем знакомые? а знакомые непременно все тут, стоят себе рядом и смотрят ему прямо в лицо... Что скажет Наденька? а Наденька непременно здесь, и уж наверное думает, что он, позабывшись, сходил за платком, вместо своего, в чужой карман . О! это очень горестно!.. И он снова вынимал из кармана заветные двугривенные, снова перевертывал их в глазах городового, стараясь, чтоб на них ударил как-нибудь солнечный луч и сообщил им ослепительный, неотразимый блеск

Наконец его втолкнули в какую-то темную, преисполненную тараканами каморку, но и тут заклятые гонители не оставили его

— Отпустите меня! — жалобным голосом вопиял Иван Самойлыч одному из приставников своих, называвшемуся Мазулей,— голубчик! почтеннейший! отпустите меня! Уж я после отблагодарю вам, почтеннейший! Вечно, всю жизнь буду вам благодарен, голубчик!.. Посудите сами: ведь я не какой-нибудь .

— Ах, друг ты, право, дру-уг!— отвечал Мазуля тоном, впрочем, довольно мягким,— ну, чего ты просишь, душа ты беспардонная! порядков ты не знаешь, дру-уг! Ты сади-ись! ты на народ посмотри! ведь тебя потреплют, потреплют — да и марш! Вот что! дру-уг! то-то, друг ты! душа беспардонная! а ведь мне

И сердобольный наставник обратился к окошку.

— Бородàукин! а Бородàукин! — кричал он стоявшему снаружи товарищу,— куда, брат, рожок-то спрятал? смерть хочется — нос совсем свело! То-то, дру-уг, порядков-то ты не знаешь! ахти-хти!

Дверь отворилась, и просунутая дружелюбною рукою Бородавкина тавлинка открыла дары свои охотнику до сильных ощущений Мазуле

— Да чем же все это кончится? — спрашивал сквозь слезы Иван Самойлыч.

— Известно чем! — отвечал Мазуля флегматически,— известно чем! набольший раза два стукнет, да и отпустит — вот чем!

Наступило молчание.

— А может, и три стукнет! как ему вздумается! — сказал наставник, подумав немного.

Новое молчание.

Иван Самойлыч был в самом мучительном положении.

Чтó ж он, в самом деле, такое, что его судьба так неумолимо преследует? Уж не принц ли он какой-нибудь, свергнутый с престола посредством крамолы властолюбивого царедворца и скитающийся теперь инкогнито? Но в таком случае он был готов сейчас же, и за себя, и за своих наследников, отказаться от всяких претензий на все возможные блага, только оставили бы его в покое в эту минуту.

А между тем вошел и Бородавкин. О, как жесток он был с Иваном Самойлычем! как презрительно и обидно обращался он с ним! И первым оскорблением было то, что он, без всяких церемоний, стал скидать перед ним свое платье и в сотый раз не узнал своей шинели, хотя в сотый раз уж держал ее у себя в руках; в сотый раз оглядывал и перевертывал ее на все стороны — и все-таки никак не мог узнать, и снова искал, и снова не находил.

— Да где же она? — спрашивал он сам себя, прибавив к этому несколько резкое выражение,— да куда ж она подевалась, распроклятая?

— Да она у вас в руках! — осмелился заметить Иван Самойлыч, но осмелился чрезвычайно робко и мягко, как будто бы делал страшное преступление

— В руках? — ворчал Бородавкин себе под нос, как будто и не слыхал, что замечание исходило со стороны Ивана Самойлыча,— а кто ее знает! может, и в руках! Вот как не нужно ее, распроклятую,— так и лезет, так и лезет! глаза колет! а как нужда — тут ее и нет! Право, так! Хитер, лукав нынче сделался народ! Ну, полезай! да полезай же, тебе говорят!

— Да когда же все это кончится? — спросил Мичулин.

Бородавкин пристально взглянул на него и отвернулся.

— Чем же я виноват? посудите сами! Ведь я ничего, право, ничего .

Бородавкин не отвечал

— Да чем же все это кончится? —снова вопиял Иван Самойлыч.

— Ты садись! — проговорил Бородавкин лаконически.

— Посудите сами, почтеннейший! ведь я просто так. . за что ж?

— Ты, брат, совсем как малый ребенок! — возразил Бородавкин,— ничего ты не понимаешь, никакого порядка! Ну, чего ты хнычешь? ты садись!

— Да посудите же сами, голубчик . ведь я человек образованный .

— Образованный! ну, какой же ты образованный, коли порядков не знаешь, набольшему согрубил? А образованный!

да ты садись, а я с тобой и говорить-то не буду, и слушать-то тебя не хочу!

И Бородавкин погрузился в размышления.

— Ведь мне, брат,— вот что! — сказал он подобно Мазуле, подумав несколько времени.

Наконец Ивана Самойлыча повели; проводники снова шли по сторонам. Вели его что-то долго, очень долго; и на дороге встречались разные лица, которые оборачивались и насмешливо поглядывали на бледного и чуть живого от стыда героя этой повести.

— Должно быть — мошенник! — говорил франт в коричневом пальто и с столь же коричневым носом.

— А может быть, и государственный приступник! — отвечал господин с подозрительною физиономией, беспрестанно оглядывавшийся назад.

— Мошенник! я вам говорю — мошенник! — возразило с жаром коричневое пальто,— просто платки воровал! Посмотрите, что за рожа! За ничто, из одного удовольствия готов зарезать человека...

Но подозрительный господин не угомонился и все-таки стоял на своем, что это должен быть важный государственный преступник.

Много мудрых речей слыхал Иван Самойлыч во время земного странствия своего; много полезных житейских советов прошло через слуховой его орган; но, поистине, ничего подобного не могло даже и представить себе не совсем бойкое его воображение — тому, что изрекли уста набольшего. Речь его была проста и безыскусственна, как сама истина, а между тем не лишена и некоторой соли, и с этой стороны походила на вымысел, так что представляла собою один величественный синтез, соединение истины и басни, простоты и украшенного блестками поэзии вымысла.

— Ах, молодой человек! молодой человек! — говорил набольший,— ты подумай, что ты сделал! ты вникни в свой поступок, да не по поверхности скользи, а сойди в самую глубину своей совести! Ах, молодой человек! молодой человек!

И действительно, Иван Самойлыч вникнул, и как-то вдруг ему представилось, что он и в самом деле сделал ужасно гнусное преступление.

— Да уж что ж делать! — отвечал он, внезапно подавленный могучею силою угрызений совести,— уж это грех такой случился! уж вы меня простите великодушно! право, простите!

Но набольший быстрыми шагами заходил по комнате, вероятно придумывая, как бы этак вновь еще более убедить

своего подсудимого и окончательно вызвать в нем пробуждение закосневшей совести.

— Ах, молодой человек! молодой человек! — сказал он спустя несколько минут.

И снова зашагал по комнате.

— Вы извольте сами милостиво рассудить,— начал между тем Иван Самойлыч,— ведь я человек благовоспитанный и одет, кажется, как следует благовоспитанному человеку, а не то чтоб какой-нибудь мужик!

— Ах, молодой человек! молодой человек! — возразил набольший таинственным голосом и покачивая головой, как будто в одно и то же время и удивлялся неопытности Мичулина, и хотел ему сообщить что-то чрезвычайно секретное,— то-то вот неопытность! да вы не знаете, какие дела на свете делаются! да иной с бобром, сударь, ходит! по-французски, по-немецки и черт его знает еще по-каковски — а плут! мошенник, сударь! естественнейший мошенник! Ах, молодой человек, молодой человек!

Иван Самойлыч снова понурил голову, и снова набольший зашагал по комнате.

— Что же мне с вами делать? — спросил набольший после краткого размышления.

— Да уж будьте великодушны! простите! — заметил Иван Самойлыч.

— Право, не знаю! истинно вам говорю — в презатруднительное поставили вы меня положение! С одной стороны, и вас жаль: думаешь, ни за грош пропадет, по неопытности своей, молодой человек! а с другой стороны — пример нужен, долг повелевает!.. наша обязанность.. о, вы не знаете, что такое наша обязанность!

Мичулин согласился, что обязанность, действительно, ответственная, но все-таки просил великодушно отпустить его.

— Уж разве для такого дня? — сказал набольший в виде предположения (день был, по-видимому, торжественный).

— Да, уж хоть для дня-то!

— Право, не знаю... дело-то оно такое затруднительное...

И набольший снова начал шагать, все обдумывая, как бы ему выйти из затруднительного положения.

— Ну, да уж бог с вами — была не была! отвечу перед богом; уж, видно, делать нечего — нрав у меня такой... то есть, поверите ли, последнюю рубашку готов с себя снять, а ближнего без рубашки не оставлю.. нет!

Иван Самойлыч, с своей стороны, отвечал, что и он готов снять с себя последнюю рубашку, чтобы выразить господину

набольшему свою чувствительнейшую благодарность, но что уж помнить оказанное благодеяние станет по гроб, будьте в том уверены!

— Что мне ваша память! — отвечал набольший со вздохом,— что мне благодарность ваша? Спокойствие совести — вот где награда! Ах, молодой человек! молодой человек!

IX

Не замеченный никем пробрался Иван Самойлыч в свою уединенную комнату. Не сказав никому ни слова о случившемся с ним происшествии, запер он дверь и задумался, горько задумался . Происшествие окончательно доконало его. А тут еще и лихорадка бьет, и мысли такие в голову лезут... тяжко, совсем тяжко жить на свете! А лихорадка все бьет! а мысли все лезут, все лезут!

И Мичулин думал, думал... пока не пришел к нему рыжий, плечистый мужик с огненною бородою и не стал настоятельно требовать удовлетворения; за мужиком кидалась на него, показывая самые страшные и длинные когти, Наденька и тоже искала удовлетворения . Иван Самойлыч совсем растерялся, тем более что над всем этим хаосом возвышалось бесконечное на бесконечно маленьких ножках, совершенно подгибавшихся под огромною, подавлявшею их тяжестью. Но всего обиднее то, что, вглядываясь в это страшное, всепоглощающее бесконечное, он ясно увидел, что оно не что иное, как воплощение того же самого страшного вопроса, который так мучительно и настойчиво пытал его горькую участь

И в самом деле, бесконечное так странно и двусмысленно улыбалось, глядя на это конечное существо, которое, под фирмою «Иван Самойлыч Мичулин», пресмыкалось у ног его, что бедный человек оробел и потерялся вконец .

— Погоди же, сыграю я с тобой штуку! — говорило бесконечное, подпрыгивая на упругих ножках своих,— ты хочешь знать, что́ ты такое? изволь: я подниму завесу, скрывающую от тебя таинственную действительность,— смотри и любуйся!

И действительно, разом очутился Иван Самойлыч в пространстве и во времени, в совершенно неизвестном ему государстве, в совершенно неизвестную эпоху, окруженный густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь, однако ж, пристальнее, он не без удивления заметил, что из тумана вдруг начинает отделяться бесчисленное множество колонн и что колонны эти, принимая кверху все более и более наклонное положение, соединяются наконец в одной общей вершине и

составляют совершенно правильную пирамиду. Но каково же было изумление бедного смертного, когда он, подойдя к этому странному зданию, увидел, что образующие его колонны сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а все составлены из таких же людей, как и он, только различных цветов и форм, что, впрочем, сообщало всей пирамиде приятный для глаз характер разнообразия.

И вдруг замелькали ему в глаза различные знакомые лица: вот и Беобахтер, философин кандидат, с гитарою в руках, вращающийся бессознательно в одной из колонн; вон и занимающийся литературою Ваня Мараев, мужчина статный и красивый, но с несколько пьяными глазами; и все эти знакомые лица так низко стоят, так бессознательно, безлично улыбаются, завидев Ивана Самойлыча, что ему стало совестно и за них, и даже за самого себя, что мог он водить знакомство с такими ничтожными, не стоящими плевка людьми.

«А что, если и я..» — подумал он, да и не додумал, потому что мысль его замерзла на половине пути: так испугался он, вдруг вспомнив, что этак и себя может, пожалуй, увидеть в не совсем затейливом положении...

И как нарочно, огромная пирамида, до тех пор показывавшая ему, одну за другою, все свои стороны, вдруг остановилась. Кровь несчастного застыла в жилах, дыханье занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить. И действительно, стоявшая перед ним масса представляла любопытное зрелище: она вся была составлена из бесчисленного множества людей, один на другого насаженных, так что голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера, а часть, называемая черепом, даже обратилась в совершенное ничтожество и была окончательно выписана из наличности Вообще, во всей фигуре этого странного, мифического Мичулина выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное нищенство, что настоящему, издали наблюдающему Мичулину сделалось и тесно и тяжко, и он с силою устремился, чтоб вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести. Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он со слезами на глазах и гложущею тоскою в сердце — обратил взор свой выше.

И чем выше забирался этот взор, тем оконченнее казались Івану Самойлычу люди. . . . . .
. . . . . .

Он сам теперь чувствовал, как страшная тяжесть давила его голову; он чувствовал, как, одно за другим, пропадали те качества, которые делали из него человеческий образ... Холодный пот обливал его тело; дыхание замерло в груди; волосы, один за другим, шевелились и вставали; весь организм трепетал в паническом ожидании чего-то неслыханного .. Он сделал отчаянное, непомерное усилие и . проснулся.

Вокруг постели его в глубокомысленном безмолвии стояли все жильцы Шарлотты Готлибовны. Первым предметом, особенно поразившим его отяжелевшие от сна глаза, была Наденька Ручкина, та самая гордая и непоколебимая Наденька, которая столько раз говорила ему, что уж если она что сказала — так уж сказала и слова своего не переменит ни в жизнь, и которая в настоящую минуту сидела на его постели и заботливо укутывала ему ноги Это отрадное явление в одну минуту так поглотило все его внимание, что он забыл все окружающее; в душе его вдруг мелькнуло нечто похожее на мираж, и в воображении незаметно начала рисоваться тихая, но полная счастия семейная жизнь с любящею и любимою женою, с ненаглядными детьми .. Он уж хотел было весело и бодро вскочить с постели, чтоб поцеловать эти розовые губки, самые розовые, какие только возможно встретить на целой поверхности земного шара, и потом, ловко подмигнув одним глазом и посмотрев под постель сперва с одной, а потом и с другой стороны, тут же сказать, как и подобает ласковому отцу семейства: «А куда спрятался этот плут-мальчик Коко, или — хитрая девочка Варенька?..»; все это уже мелькнуло было в душе Ивана Самойлыча, как вдруг глазам его представилась действительность — действительность самая нагая и безотрадная, какую только можно было себе вообразить; одним словом, действительность, составленная из Шарлотты Готлибовны, Ивана Макарыча, господина Беобахтера и Алексиса Звонского

— А мы было думали, что тебе уж того . карачун пришел! — заревел, как из бочки, сиплый бас друга и приятеля Ивана Макарыча над самым ухом Мичулина

— Да, именно ми думаль, што вам уж совсем карачун,— отозвалась тощая фигура Шарлотты Готлибовны, томно опираясь на мощное плечо Пережиги

— Смотря на вас в эту минуту, я понял наконец загадку жизни! Я видел бледную смерть, махающую неумолимым лезвием косы своей О, это была страшная, торжественная минута! Мне представлялась эта бледная смерть... pallida mors . Вы читали Горация, Иван Самойлыч?

Так проговорил свое приветствие господин Беобахтер, но

проговорил его таким сладким и приятным голосом, как будто бы дело шло о вещи самой обыкновенной

— Да, мы думали, что вы уж совсем умерли! — отозвался, с своей стороны, апатически-лаконический Алексис.

Иван Самойлыч благодарил соседей за участие, говорил им, что он еще совершенно жив, в доказательство чего и начинал было подниматься с постели. Но он не мог. голова его горела, в глазах было мутно, силы ослабли, и как ни старался он казаться бодрым и свежим, а поневоле должен был снова опуститься на подушку.

— Благодари, брат, бога, что ты еще не околел и что тут не было квартального надзирателя! — заревел снова Иван Макарыч и протянул уж руку, чтоб ударить больного, в знак сочувствия, по плечу, и непременно ударил бы, если бы не удержала его Наденька.

— Квартальный надзиратель? — прошептал Иван Самойлыч едва внятным голосом — А что, разве я что-нибудь . того?

— Да, брат, уж известно . того

— О, ви очень вольна мисль делал! — прервала Шарлотта Готлибовна.

— То есть, просто донеси я или кто-нибудь другой, просто найдись какая-нибудь этакая шельма, христопродавец — озолотят, ей-богу. озолотят. Не будь я Иван Пережига! . ну, а тебя, известно, на казенную квартиру с отоплением и освещением... ха-ха-ха! Так ли, Шарлотта Готлибовна?

— О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарвич!

— Да, это ужасно! быть закованным в тяжелые цепи, осужденным на вечную тьму, вечно видеть одно и то же сухое и прозаическое лицо темничного стража, слышать, как капля по капле вытекает жизнь!.. о, это ужасно! .— сказал господин Беобахтер, особенно нежно напирая на слова «капля по капле».

— Уж как пошел, брат, по мечтанию,— снова заметил Иван Макарыч,— да начал вывертывать в голове разные этакие штуки, так тут уж, брат, адье, мон плезир [1], пиши пропало . Вот я про себя скажу: я в жизнь свою никогда не мечтал, а поди-тко, поищи другого такого молодца

Шарлотта Готлибовна зарделась

— Ну, так что ж ты не встаешь? — продолжал он, обращаясь к Мичулину и сильно тряся его за руку,— не спать же, в самом деле, целыи день! Небоись раскис, укачали тебя домовые-то? Эка баба! просто даже смотреть на тебя противно!

[1] прощай, моя радость.

Но Иван Самойлыч молчал; бледный как полотно, лежал он без всякого движения на постели; пульс его бился слабо и медленно: во всем существе своем ощущал он какую-то небывалую, болезненную слабость.

Наденька Ручкина наклонилась к нему и, взяв его за руку, спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, что он чувствует, и так далее, как обыкновенно спрашивают сердобольные молодые девушки.

— Я не знаю .. мне больно! — чуть слышно отвечал Иван Самойлыч,— мне очень больно ..

— А! — небойсь и язык развязался,— ревел между тем Пережига,— небойсь расшевелился, как женский-то пол подошел!

— Оставьте меня .. я болен! — шептал Иван Самойлыч умоляющим голосом.

— Да и в самом деле, пусть его тут бабится! Милости просим, господа, ко мне!

Иван Самойлыч остался один на один с Наденькой; глаза его неподвижно были устремлены на нее; бледное, худое лицо выражало непереносное страдание; медленно взял он ее руку и долго-долго прижимал к губам своим.

— Наденька! — добрая! — сказал он прерывающимся голосом,— поцелуй меня . в первый и в последний раз! .

Наденька изумилась. По свойственной ей подозрительности она начала уж было смекать, что все это не даром, что все это штука, что он хочет только усыпить ее бдительность; но когда она взглянула на это изможденное лицо, на эти глаза, обращенные к ней с мольбою и ожиданием, ей вдруг стало как-то совестно своих подозрений; малейькому сердцу ее сделалось и тесно, и неловко, а притом и слеза, самая миньятюрная, крохотная слеза, как-то совершенно нечаянно навернулась на глаза и упала с ее глаз на раскрытую грудь Мичулина Делать нечего, Наденька отерла слезу, наклонилась и поцеловала больного. Лицо Ивана Самойлыча улыбнулось

— Что это с вами, Иван Самойлыч? — спросила Наденька,— верно, вы простудились?

— Ох, нет! это все то.. все по тому делу.. помните, по которому я к вам приходил?

— А что, разве оно важное какое-нибудь дело, что так расстроило вас?

— Да, оно, знаете. дело капитальное!.. А как мне больно-то, больно-то, если бы вы знали!

Наденька покачала головкой.

— Не послать ли за лекарем, Иван Самойлыч?

— За лекарем?.. да, оно бы не худо! может, что-нибудь и прописал бы... а впрочем, зачем? ведь дела-то он мне все-таки не объяснит!.. нет, не нужно лекаря!

— Да, по крайней мере, он помог бы вам, Иван Самойлыч!

— Нет, уж это пустое дело, Наденька, самое пустое! я вам *говорю, я знаю*... Оно, может статься, и поможет, да толку-то в этом что будет! Ну, выздоровлю... а потом-то?.. нет, не надо лекаря ..

Наденька молчала.

— Да к тому же, лекарю-то ведь нужно денег; к бедному хороший-то и пойти не захочет... вот оно что! а какой попадется-то,— Христос с ним! только измучит .. лучше уж так умереть!

В это время дверь с шумом отворилась, и в комнату ввалилась дебелая фигура Пережиги с штофом в одной и рюмкою в другой руке.

— А вот, хвати-ко, друже, бальзамчику! — ревел знакомый Иван Самойлычу голос,— это, брат, знаешь, как душу отведет, ей-богу, отведет'. А умрешь, так, видно, так уж оно быть должно, видно, так уж и богу угодно! — ну-ка, выпей. Да не морщись же, баба!

И Мичулин с ужасом видел, как дрожащая и неверная от частых жертв Бахусу рука Пережиги наполняла рюмку жгучим, как огонь, составом, заключавшимся в графине Он начал было отказываться, говорил, что ему легче, что он слава богу, но тщетно: рюмка была уже налита, да притом же и Наденька своим мягким голоском убеждала его попробовать, авось, дескать, от этого немного и полегчит ему. Не переводя духу, выпил Иван Самойлыч поданную водку и почти без чувств упал на постель.

— Эка водка! эка вор-водка! — говорил между тем друг и приятель Иван Макарыч, глядя на искаженное конвульсиями лицо Мичулина,— эк ее забирает, эк забирает! — у, бестианская водка! еще как он не захлебнулся! — право, так, живуч, живуч! — а ведь в чем душа держится!

И Пережига с самодовольною улыбкою любовался изнеможением и страданиями Ивана Самойлыча, как будто хотел сказать ему. «А что, брат! — задал я тебе задачу? — посмотрим, как-то ты из нее выпутаешься. а живуч! живуч!»

Действительно, выпутаться было уж довольно трудно. Наденька побежала за доктором и вскоре привела какого-то немца, несколько навеселе, беспрестанно нюхавшего табак и плевавшего во все стороны. Лекарь подошел к больному,

долго и с напряжением щупал ему пульс, как будто хотел провертеть у него в руке дыру, и покачал головой; велел высунуть язык, осмотрел и тоже покачал головой, потом понюхал табаку, снова пощупал пульс и пристально осмотрел язык.

— Schlecht [1],— сказал доктор в раздумье.

— Что ж? есть ли какая-нибудь надежда? — спросила Наденька

— О, никакой! и не полагайте! а впрочем, поднимите пациенту голову ..

Голову подняли.

— Гм, никакой надежды! — уж вы поверьте, я уж знаю!.. вы давали ему что-нибудь?

— Да, Иван Макарыч давал ему водки.

— Водки? schlecht, sehr schlecht... [2] а есть у вас водка?

— Не знаю; спрошу у Ивана Макарыча.

— Нет, не нужно: я так, более из любопытства .. а впрочем, уж если есть, так отчего и не выпить?

Наденька вышла и минут через пять воротилась с графином.

— Водка очень часто здорово, а очень часто и вредно,— глубокомысленно заметил медик.

— Что ж, умереть, что ли, надобно? — робко и едва слышно спросил Иван Самоилыч.

— Да уж это будьте покойны! — умрете, непременно умрете!

— А скоро? — снова спросил больной.

— Да этак часа через два, через три, надо будет... Прощайте, почтеннейший; желаю вам покойной ночи!

Однако ночь была неспокойна. По временам больной, действительно, засыпал, но потом внезапно вскакивал с постели, хватал себя за голову и жалобным голосом спрашивал у Наденьки, куда девался его мозг, зачем сдавили у него душу, и пр На это Наденька отвечала, что головка его цела, слава богу, а вот, мол, не хочется ли ему выпить ромашки — так ромашка есть И он брал чашку в руку и беспрекословно выпивал ромашку.

На другой день, к обеду, ему сделалось как будто и полегче он был спокоен и хотя очень слаб, но мог, однако ж, говорить Он брал у Наденьки руки, прижимал их к сердцу, целовал их, прижимал к глазам, ко лбу, и плакал .. тихими, сладкими слезами плакал.

---

[1] Плохо

[2] плохо, очень плохо ..

И Наденьке, с своей стороны, тоже было жаль его. Впервые она как будто поняла, что в ее глазах умирает человек, что этот человек любил ее, а она жестко и неприязненно оттолкнула его от себя. Кто знает, что причиною этой смерти? Кто знает, может быть, он был бы и здоров, и весел, если бы... о, если бы ты взглянуло, доброе, чудное существо, взглянуло глазами сострадания и сочувствия на это обращенное к тебе лицо! если бы ты могло уронить хоть один луч любви на эту бедную, истерзанную горем и нуждою душу! о, если бы это было возможно!

— Послушайте,— говорил между тем Иван Самойлыч, взяв ее за руку,— вы забудьте, что я надоедал вам, что я оскорблял вас.. Оно конечно, я много и много виноват, да ведь что ж делать? ведь я один, Наденька, совсем один . Ведь я же не виноват, что не красив и не учен, что же мне с этим делать? Разумеется, и вы не виноваты, что не могли любить меня...

Больной с трудом перевел дыхание, грустно посмотрел он в лицо Наденьки, но Наденька молчала и, опустив глаза, смотрела в землю

— Думается мне, однако ж,— снова начал Иван Самойлыч слабым голосом,— что если бы с детства... в то время, когда и кровь-то в нас тепла, если бы в то время не положили меня под пресс да не заковали, так, может, и вышло бы что-нибудь из меня . Воспитали-то меня так, что ни к чему не годен я сделался .. с детства так вели, как будто и целый век должен был малоумным остаться да на помочах ходить Вот как пришлось трудом кусок себе добыть — и негде, и нечем . Да и тут, право, не знаю, винить ли мне кого-нибудь отец мой человек старого века и необразованный, мать — тоже. они не виноваты, что не видали

— А может быть, я и сам во всем виноват,— продолжал он чрез минуту,— потому что ведь бог дал мне волю, а я действовал как грубое животное! . Да, я виноват, да и не перед собою одним виноват, а еще и богу ответ дам, что допустил так насмеяться над собою .. А впрочем, и тут опять-таки еще бог знает, мог ли бы я что-нибудь сделать один

И снова умолк Иван Самойлыч, и снова, потупив глазки, ничего не отвечала Наденька

— Так вот так-то, Наденька! — продолжал больной,— часто мы и сами во всем виноваты, а других виним! . . . . .
. . . . . Вот это-то дело, оно-то и сгубило меня, Наденька! в нем-то именно и смерть моя! — а совсем не в том, будто бы я простудился... Простудиться может

тело, простуду можно вылечить, а вот как душа-то больна, как сердце-то ноет да стонет, вот тогда-то страшно, Наденька! — не дай бог, как страшно! .

Он замолчал; Наденька задумчиво опустила голову и долго о чем-то размышляла. Думалось ли ей, что, действительно, сам виноват Иван Самойлыч в том, что дозволил обстоятельствам до такой степени лишить себя всякой бодрости, или она оправдывала его тем, что обстоятельства все-таки обстоятельства, как ни борись против них... Это ли, другое ли ей думалось, дело в том, что как-то грустно, необычайно грустно, сделалось бедной девушке. Может быть, к этим мыслям присоединилась другая, не менее горькая и безвыходная мысль — мысль ее собственного безотрадного, чреватого лишениями и трудом будущего, та мысль, что и она находится в подобном же положении, и она должна бороться .. вечно и упорно бороться!.. И она забыла и об Иване Самойлыче, и об апатически-лаконическом Алексисе; в воспоминании ее вдруг мелькнула деревенская избушка, старый господский дом, запущенный сад с поросшими травою дорожками, река, вяло и как будто нехотя катившая свои сонные волны в какое-то далекое, неведомое государство; стая уток, апатически полоскавшаяся в воде, толпа грязных и оборванных ребятишек, столь же апатически копавшаяся в грязи и навозе . Но все это так живо, так быстро воскресло в ее памяти, так быстро, один за другим, сменялись — и сосновый синеющий вдали лес, и вспаханные борозды полей, и старая деревянная церковь.. Лучше ли ей было тогда? лучше ли, чище ли сама она была в то время? . Лучше ли было бы, если бы вдруг, по какому-нибудь волшебному случаю, ей снова пришлось воротиться к этой давно прошедшей, давно уж изгладившейся из памяти жизни?

А между тем на дворе уж и смерклось; в комнате тихо, ни шороха, ни звука, Наденька подумала, что Иван Самойлыч заснул, и вознамерилась идти в свою комнату. Но перед уходом, чтоб ближе удостовериться, действительно ли спит больной, она наклонилась к нему и начала прислушиваться к его дыханию Но дыхания не было слышно . Она взяла его за руку — рука была холодна . Наденьке сделалось страшно. В первый раз в жизни была она один на один с мертвым человеком .. а притом неподвижные глаза покойника так и смотрели, так и смотрели на нее, как будто хотели сконфузить бедную, будто упрекали ее за какое-то страшное преступление .. С невольным чувством содрогания набросила она поскорее на лицо усопшего одеяло и выбежала из комнаты.

Через пять минут все нахлебники Шарлотты Готлибовны, и в числе их сама она под руку с Иваном Макарычем, явились на поклон к покойнику. Толков было много; некоторые даже сомневались, точно ли умер Иван Самойлыч. А Иван Макарыч даже решительно утверждал, что это все вздор, что господин Мичулин не может умереть, потому что вчера еще дал он ему такого лекарства, от которого и мертвый из гроба встанет.

— Надо вам сказать, господа,— говорил он, обращаясь к присутствующим,— что на свете иногда чудные бывают штуки! Спьяну, что ли, это делается, а вдруг человек не пошевельнется, не моргнет — а между тем жив и все слышит, что вокруг него делается! . Я вам говорю, господа, что бывали даже примеры, что и в землю зарывали живых ..

Но для того, чтоб окончательно убедиться, точно ли умер Иван Самойлыч, и иметь право развивать свои познания насчет заживо погребенных, любознательный Пережига подошел к нему поближе, потряс его за нос — нос был холодный, приложил руку ко рту — дыхания не оказалось.

— А кто его знает! может быть, и в самом деле умер!— сказал он с убийственным равнодушием, отходя от бездушного трупа,— и водка не спасла тебя, бабья душа! И хорошо, брат, сделал, что умер!

Однако ж, так как Мичулин не имел совершенно никаких родственников, ни знакомых, то Шарлотта Готлибовна почла нужным послать за полицейским чиновником, наперед пересмотрев всюду, не имеется ли чего ценного. Но ценного оказалось всего только поношенный сюртук да из белья кое-что. Вследствие такой бедности капиталов все нахлебники тут же решились сделать складчину, чтоб приличным христианину образом похоронить своего собрата

Полицейский чиновник не заставил долго ждать себя. Малый он был нрава веселого и вообще любил при удобном случае пошутить, не выходя, впрочем, из пределов благопристойности... о, ни-ни, как это возможно!

— Скажите пожалуйста! — начал он, когда объяснили ему причину его призыва,— так вот-с какое странное над вами стряслось дело! Ну-с, делать нечего, приступим к освидетельствованию; посмотрим, не окажется ли каких боевых и насильственных знаков!

Шарлотта Готлибовна знала, что господин чиновник изволит шутить; поэтому нисколько не смутилась, а только сказала ему с самою очаровательною улыбкою:

— О, ви очень любезный кавалир, Деметрий Осипич!

— Да-с! уж этого, изволите видеть, и закон требует, а я

орудие, ничего, как ничтожное орудие... Да-с, посмотрим, посмотрим... а может быть, его и отравили?.. Ха-ха-ха! может быть, у него и деньги были, мильонщик был... ха-ха-ха!

И веселый Дмитрий Осипыч заливался добродушным и звонким хохотом.

Осмотрев тело Ивана Самойлыча и удостоверившись, что отравы или удавления тут нет никаких, добродушный Дмитрий Осипыч изъявил желание осведомиться об имуществе покойного.

— Ну, давайте же нам их сюда, давайте нам мильоны-то! — говорил он с обычной своей веселостью,— ведь иеравно наследники будут, ха-ха-ха!.. Э,— продолжал он, перебирая пожитки умершего,— да у него целых шесть рубах было! и фуфайка теплая... а умер!

— Скажите же, пожалуйста, господа,— обратился он к присутствующим,— что ж бы это за причина была такая, что вот жил-жил человек, да вдруг и умер?..

— То есть вы хотите узнать философию смерти? — заметил Беобахтер.

— Да-с, я, знаете, люблю иногда вечерком позаняться этакими разными мыслями, и, признаюсь, есть вещи, которые сильно интригуют меня: например, вот хоть и это — жил-жил человек, да вдруг и умер!.. Странное, очень странное дело!

— О, это не легко объяснить себе! тут целая наука! — отвечал господин Беобахтер,— иад этим многие философы немало трудились.. Да, это трудно, очень трудно!.. тут бесконечное!

— Что тут трудно! — прервал Пережига,— трудно, трудно! а дело-то очень просто объясняется! Извольте видеть, уж как пошел человек по мечтанию, как пошло в его голове разные штуки да закорючки выкидывать, так уж известно — плохо дело! Вот и смерть приключилась! Какое же тут бесконечное? что за философия? То-то, брат! все с своими вымозрками лезешь! Уж я говорю, растянуться и тебе, как ему! Право так, помяни мое слово!

— То есть что же вы разумеете под словами: «пошел по мечтанию»? — спросил Дмитрий Осипыч.

— Ну, да уж известно что. скепцизм, батюшка, скепцизм одолел! вот что!

— Гм, скепцизм? — соображал Дмитрий Осипыч,— скепцизм? то есть что же вы под этим разумеете?

— А вот, примерно, человек с собакой идет: ну, мы с вами просто так и говорим, что вот, мол, человек идет и за ним собака бежит, а скепцист: нет, говорит, это, изволите видеть, собака идет и человека ведет.

— Тсс, скажите! так, стало быть, покойник был странный человек? — спросил Дмитрий Осипыч и тут же с упреком покачал головою на Ивана Самойлыча.

— Я вам говорю: по мечтанию пошел! Уж какую он в последнее время ахинею городил, так хоть святых вон понеси: и то нехорошо, и то дурно...

— Тсс, скажите пожалуйста! — продолжал Дмитрий Осипыч, строго покачав головою,— а ведь чем была не жизнь человеку! и сыт был, и одет был! звание, сударь ты мой, имел! и вот не усомнился же возроптать на создателя своего... Честью вам доложу, уж нет в мире животного неблагодарнее человека. Пригрей его, накорми его — укусит, непременно укусит. Уж такая, видно, его натура, господа!

САТИРЫ В ПРОЗЕ

К ЧИТАТЕЛЮ

Еще не так давно (а может быть, даже и совсем не «давно») мы не только с снисходительностью, но даже с крайним равнодушием взирали на гражданские и нравственные убеждения людей, с которыми нам приходилось идти бок о бок в обществе. Нам сдавалось, что убеждения составляют нечто постороннее, сложившееся силою внешних обстоятельств, силою фатализма, и отнюдь не причастное личной жизненной работе каждого из нас Совесть наша затруднялась мало, смущалась еще менее Если требовалось определить признаки известного явления, сделать оценку известного поступка, мы, без излишних хлопот, посылали эту покладистую совесть в тот темный архив, в котором хранилась попорченная крысами и побитая молью мудрость веков, и без труда отыскивали на пожелтевших столбцах ее все, что было нужно для удовлетворения неприхотливых наших потреб.

Там, в этом мрачном хранилище наших жизненных воззрении, лежали всегда готовые к нашим услугам связки старых дел, надписи на которых гласили: убеждения дворянские, убеждения мещанские, убеждения холопские. Кодекс мудрости, общежития и приличии, кодекс условной нравственности, условной истины и условной справедливости был весь тут налицо. стоило только заглянуть в него, и мы наверное знали, как следует поступить нам в данном случае, как следует вести себя вообще. Таким образом, мы узнавали, что дворянину не полагалось приличным заниматься торговлею, промыслами, сморкаться без помощи платка и т. п , и не полагалось неприличным поставить на карту целую деревню и променять девку Аришку на борзого щенка; что крестьянину полагалось неприличным брить бороду, пить чаи и ходить в сапогах, и не

полагалось неприличным пропонтировать сотню верст пешком с письмом от Матрены Ивановны к Авдотье Васильевне, в котором Матрена Ивановна усерднейше поздравляет свою приятельницу с днем ангела и извещает, что она, слава богу, здорова.

В эти недавние, счастливые времена мы знакомились друг с другом, заводили дружеские связи, женились и посягали по соображениям, совершенно не имеющим никакого дела до убеждений. То есть, коли хотите, они и были, эти убеждения, но то были убеждения затылка, убеждения брюшной полости, но отнюдь не убеждения мысли. Тот, например, кто пил водку зорную и закусывал мариованным грибком, тот улыбался и подмигивал, и вообще чувствовал себя особенно радостно лишь при виде человека, который тоже предпочитал зорную всяким другим настойкам и тоже закусывал грибком. Между этими двумя индивидуумами была живая связь, существовала возможность обмена мыслей и чувств. Тот, кто играл в ералаш по три копейки, подыскивал себе в общество таких именно людей, которые также играли в ералаш и также по три копейки, и на приверженцев преферанса смотрел хотя и не неприязненно, но и без сердечного участия. И все убеждения заключались тут в том, что один играл рискованно, другой подсидисто, один от туза-короля сам-шёст начинал ходить с маленькой, другой же прямо лупил с туза и короля.

Даже в том безвестном, но крепко сплоченном духовными узами меньшинстве людей мыслящих, на котором с любовью отдыхает взор исследователя явлений нашей общественной жизни, в тех немногочисленных кружках, которые в самые безотрадные эпохи истории, несмотря на существующую окрест слякоть и темень, все-таки прорываются там и сям, как зеленеющие оазисы будущего на песчаном фоне картины настоящего, в тех кружках, где необходимость нравственного убеждения, как внутреннего смысла всей жизни, признается за бесспорную истину, где члены относятся друг к другу, с точки зрения убеждений, с крайней строгостью и взыскательностью,— даже там существовала какая-то патриархальная снисходительность в суждениях о лицах, стоящих вне жизни и условий кружка и пользующихся каким-нибудь значением на поприще общественной деятельности.

Говоря об NN, мы не давали себе труда исследовать, какого разряда принцип вносит в общество деятельность этого человека, но справлялись единственно о том, добрый ли он малый или злец. И если он оказывался добрым, то мы приходили в восторг, а если еще при этом он пускал нам в нос фразу, вроде того, что «нельзя, господа, не сочувствовать тому

честному направлению, которое характеризует деятельность нынешнего молодого поколения», то мы готовы были вылизать его всего, от головы до пяток.

Следствием такой патриархальной простоты нравов было то, что многие люди, очень нелепые, пошли чуть не за гениев, многие речи, очень глупые, стали чуть не на ряду с изречениями мудрости. Попробовал бы кто-нибудь из «наших» отпустить такую штуку, что «нельзя, дескать, не сочувствовать» и т. д. — всякий из зде-сидящих зажал бы ему уста, сказавши: «Охота вам, почтеннейший друг, предаваться такому дремучему празднословию!» — но так как этим празднословием занялся NN, существо в некотором смысле неразумное, существо, с трудом выговаривающее папа и мама, то в его устах самый позыв к празднословию, более или менее человечному, более или менее не изукрашенному обычными ингредиентами нашего древнего красноречия, уже казался поступком, который мы спешили запечатлеть в наших благодарных умах, где мы тщательно собирали лепестки для будущих венков героям наших сердечных вожделений.

И мы, члены этого строгого и взыскательного, члены этого поистине нравственного меньшинства, до такой степени искренно восторгались убогими нашими героями, что потребность лизаться упорно засела в нас даже по сю пору, когда, по-видимому, нет уже и побудительных причин ни для лизания, ни для телячьих восторгов.

Ошибка горькая и обильная последствиями самого тлетворного свойства, ибо она отнимала у наших убеждений ту бесповоротную крепость и силу, без которой немыслимо никакое деятельное влияние на общество, ибо она была причиной бесчисленных стачек с неправдою, безобразием ходячей общественной нравственности, ибо она успокоивала нас в той пассивной роли наблюдателей-сводников, которую мы сами себе навязали.

Но вместе с тем ошибка и не необъяснимая. В самом деле, к чему прилепиться, как распознать истину от лжи, при существовании всеобщей, почти эпидемической путаницы понятий и представлений? И как не примкнуть, например, к NN, который, по крайней мере, умеет конфузиться и краснеть, тогда как рядом с ним какой-нибудь MM нахально несет свою плоскодонную морду, безнаказанно ставя ее поперек всему благородно мыслящему? Мысль человеческая с трудом выносит одиночество, а чувство и вовсе не терпит его. Это свойство человеческой природы, эта общительность человека сообщают нечто роковое всей его деятельности, вынуждая его, независимо от него самого, признавать за добро то, что в сущности

представляет собой лишь меньшую сумму зла. Сквозник-Дмухановский не только во сне, но и наяву видел кругом себя только свиные рыла: что мудреного, что он и Хлестакова признал за человека? Наши публицисты так долго видели то же самое, что видел и вышеупомянутый градоначальник: что мудреного, что в настоящее время они с остервенением приглашают сограждан лобзать даже в таких случаях, когда, по совести, следовало бы приглашать их плевать.

Скажут, быть может. «Зачем же члены этого добродетельного, этого взыскательного меньшинства не поищут образцов гражданской доблести среди самих себя, зачем они вторгаются в ту сферу, где властвуют свиные рыла?» Ответ на это простой: затем, что мысль человеческая никак не может признать кружка за мир. Как бы ни были для нас милы и симпатичны люди кружка, как бы хорошо ни чувствовали мы себя среди их, все-таки мы не можем совершенно обрезать те нити, которые привязывают нас к миру, все-таки мы сознаем, что дело, настоящее дело, не в кружке, а вне его, и именно в той темной области, в которой живут и действуют Сквозники-Дмухановские.

Но в особенности мудрено было не ошибиться в выборе героев в последнее время. Россияне так изолгались в какие-нибудь пять лет времени, что решительно ничего нельзя понять в этой всеобщей хлестаковщине. В публичных местах нет отбоя от либералов всевозможных шерстей, и только слишком чуткое и привычное ухо за шумихою пустозвонных фраз может подметить старинную заскорузлость воззрений и какое-то лукавое, чуть сдерживаемое приурочивание вопросов общих, исторических к пошленьким интересам скотного двора своей собственной жизни.

Едете ли вы, например, по железной дороге — присмотритесь, сделайте милость, к тому, что кругом вас делается, прислушайтесь к тому, что говорится в вагонах. И речи, и морды — все, кажется, протестует! И протестует в каком-то плюхо-просящем, минорном тоне, как будто так и сует всем и каждому и в нос, и в рот, и в глаза, что я, дескать, сам по себе ничего, я червь, я слякоть, я клоп постельный, а вот отечество-то за что страдает!

Вы входите в вагон и садитесь на избранное вами место; перед вами располагается почтенный старец, украшенный усами и словно чувствующий себя неловко в новом партикулярном платье, которое на нем надето. Идет общая суматоха, всегда сопряженная с первоначальным прилаживанием и усаживанием; какая-то дама, вся бледная и расстроенная, чуть-чуть не каждому пассажиру готова пожаловаться, что ее Gré-

goire опять-таки потерял свой mouchoir de poche,[1] какой-то господин с крестом на шее застенчиво уверяет своего знакомого, что он вообще орденов не носит, но в дорогу всегда надевает крест, потому что у нас без этого нельзя. Проходят еще несколько почтенных старцев, также с усами и также в новых партикулярных платьях.

— Как, и вы тоже! — восклицает ваш сосед, ловя за руку одного из проходящих усачей.

— На травяное продовольствие! — отвечает проходящий и, уныло усмехнувшись, отправляется далее.

Но вот поезд трогается Быстро пролетает перед глазами пассажиров всякая чушь и гиль: паршивые лесочки, чахлые лужочки, чуть дышащие ручеечки Соседа вашего заметно начинает коробить

— Ну, посмотрите! что ж это за пейзаж такой! — обращается он к вам с каким-то желчным озлоблением.

Вслушайтесь в его голос, и вы без труда поймете, что в этом голосе есть трещина и что в этой трещине засела кровная обида.

— Ну, на кой черт поезд стоит здесь десять минут! — ораторствует усач на одной из промежуточных станций,— за границей на обед только пять минут дают; нет, видно, далеко еще нам до них!

И вплоть до самых Ушаков не умолкают бунтовские речи усатого соседа, и только великолепная вилла либерального fermier[2] Василия Александрыча Кокорева на минуту смягчит его непреклонное сердце и заставит раздвинуться густо разросшиеся брови.

Для вас этот усач — явление совершенно новое Обращаясь к воспоминаниям прожитых лет, вы отыскиваете в них образцы усачей совершенно особого рода, усачей с клубами пены у рта, усачей не внимающих и не рассуждающих, усачей, снабженных волчьей пастью и употребляющих лисий хвост лишь в виду материальной, грубой силы, которая одна имела привилегию смирять их бешенство И вот сердце ваше начинает мало-помалу мякнуть и расползаться; вы с любопытством и даже с приятным изумлением прислушиваетесь к бунтовским речам соседа и находите, что они... тово... так себе... ничего! Вы не замечаете их нелепости и пустоты, вы оставляете без исследования даже ту трещину в голосе, о которой говорено выше: до того вас поражает новость положения и неожиданность встречи с старцем, который чем-то недоволен, который почему-то

---

[1] носовой платок.
[2] откупщика.

ругается, но ругается без прежних раскатистых переливов, в которых так и слышалось нахальство и сознание ничем не сокрушимой силы.

«Эге! — думаете вы,— вот оно что! вот даже в какие каменоломни пустили свои корни либеральные тенденции века!»

И вследствие этого рассуждения начинаете смотреть на вашего соседа если не с любовью, то непременно с отеческою снисходительностью. Смею, однако ж, уверить вас, что вы горько ошибаетесь, и что каменоломни все-таки остаются каменоломнями, несмотря ни на какие тенденции века.

Представьте себе, что в то самое время, как вы услаждаете слух либеральными речами соседа, в вагоне, сверх чаяния, отыскивается такой шутник, прозорливый знаток надтреснутых голосов и сердец человеческих, который находит для себя забавным высвистать мнимого либерала. Вот он полегоньку подкрадывается к нему, вот он шепчет ему на ухо

— А знаете ли, Иван Антоныч, сейчас получено известие, что князь Петр Мартыныч предлагает вам занять место начальника таможенного округа?

Господи! каким пиковым валетом вывертывается вдруг Иван Антоныч из своего либерализма! какие муравы, какие водопады внезапно начинают вертеться в глазах его! И не придет ему даже в голову, что полученное известие — пуф, что в вагоне, и в особенности «сейчас», невозможно было даже получить его!

— Вот и нас, стариков, вспомнили! вот и нас, старых слуг, не забыли! — восклицает он с каким-то детским смехом, внезапно переходя из либерализма ругательного в либерализм хвалительный.

Положительно заверяю вас, что если бы был простор и поднес ему Василий Александрыч рюмочку, он охотно пустился бы вприсядку.

А в другом углу вагона завязывается между тем иного сорта либеральный разговор. Женоподобный, укутанный пледами господин, как дважды два — четыре, доказывает сидящему с ним рядом путешественнику-французу, что мы отупели и что причину этого отупения следует искать в непомерном преобладании бюрократии и в несносной страсти к регламентации.

— Vous croyez donc que si l'on donnait plus d'essort à la libre initiative des poméschiks?..[1] — спрашивает француз, кото-

---

[1] Так вы полагаете, что если бы дали больше простора свободной инициативе помещиков?..

рый желает показать, что он отлично-хорошо умеет все понимать à demi-mots [1].

— Voilà! [2] — отвечает женоподобный господин.

— Monsieur est donc pour le système du self-government? [3] — продолжает француз

— Voilà,— отвечает женоподобный господин и горделиво оглядывает нищих духом, сидящих в отделении вагона.

А нищие духом разевают рты от умиления и начинают подозревать, что между ними сидит, по малой мере, сам знаменитый публицист и защитник свободы Владимир Ржевский, путешествующий инкогнито в скромном образе господина Юматова (Юпитер в образе лебедя).

Вы, конечно, не разделяете мнения нищих духом, быть может, вы даже находите, что идея о помещичьем self-government [4] вовсе не так смела и нова, как кажется с первого взгляда, ибо она достаточно проявила свои достоинства в продолжение нескольких столетии. Но благодушие, при пособии сравнительного метода и некоторых исторических воспоминаний, опять-таки берет верх над всеми соображениями. Вы не слыхали до сих пор, чтоб слово «self-government» произносилось где-нибудь вне вашего кружка, и вдруг оно произносится громогласно, и где же? в вагоне! и кем же? каким-то золотушным отпрыском наших древних псарей-богатырей! Вы готовы вообразить себя в Икарии, где беспечально ходят нагие люди и непринужденно выбрасывают из себя всякий вздор, который взбредет им в голову; вы отнюдь не хотите верить, что находитесь в любезном отечестве, где ходят все люди одетые и где законами общежития дозволяется изрекать только умные речи. Вас это трогает, в порыве умиления вы не замечаете, что, в сущности, вас поражает здесь не дело, а только звук; что точно так же смякло бы ваше сердце, если бы кто-нибудь из этих посторонних для вас людей вдруг произнес имя родной Заманиловки, где протекло ваше безмятежное детство, и напомнил вам старую няню Ионовну, тешившую вас сказочками про Бабу-ягу-костяную-ногу, про козляточек-маляточек... Что за славная, что за благодатная картина встала бы вдруг в душе вашей! Каким теплом, какою яркостью лучей и красок охватило бы все ваше существо! И с какою любовью взглянули бы вы на этого незнакомца, который, сам того не ведая, ударил по самой чувствительной струне вашего сердца, который заставил

---

[1] с полуслова
[2] Вот именно!
[3] Значит, сударь, стоите за систему самоуправления?
[4] самоуправлении.

вас еще и еще раз произнести «О моя юность! о моя свежесть!»

Милостивый государь! слово, столь глубоко вас тронувшее, имеет в настоящем случае именно то самое значение, какое имело бы нечаянное упоминание родной Заманиловки. Вся разница заключается только в том, что чувствительность, проявляемая по поводу Заманиловки, весьма невинна и ни к чему не обязывает, а чувствительность, проявляемая по поводу произнесенного в упор хвастливого словечка, весьма непохвальна, ибо, кроме неопрятности, производимой глазами и носом, ведет к затмению и страшной путанице

Я знаю, вы утешаете себя мыслью, что еще немножко, еще одну капельку — и золотушный юноша сам собой станет на ту прямую дорогу, которая так складно рисуется в вашем воображении Ан нет, он гораздо дальше от этой прямой дороги, нежели его предки, псари-богатыри. Те просто ломили себе вперед, как ломит вперед Михайло Иваныч Топтыгин, пролагая пути сообщения сквозь чащу лесную, а золотушный юноша вперед не ломит, столетних сосен не валит, а злобствует тихим манером, как прилично человеку благовоспитанному, то есть показывая кукиш в кармане. Тех можно было попросту гнуть в бараний рог, тех можно было взять за плечи и поставить на прямую дорогу, если они добровольно на нее не становились, а с золотушным юношей так поступить нельзя. Он уж понахватался кой-чего, он уж развратил свою мысль десятком-двумя забористого свойства словечек; он уже покрылся известного рода слизью, по милости которой схватить его без перчаток дело весьма затруднительное и щекотливое.

Нет, вы поразмыслите хорошенько да подивитесь природе-матери, которая допускает, что в одной и той же голове помещаются рядом такие понятия, как self-government и la libre initiative des poméschiks! [1]

Но вот и в третьем углу засели либералы, и в третьем углу ведется живая и многознаменательная беседа.

— А что вы скажете о нашей дорогой новорожденной? ведь просто, батюшка, сердце не нарадуется! — говорит очень чистенький, с виду весьма похожий на мышиного жеребчика старичок, бойко поглядывая по сторонам и как бы заявляя всем и каждому: «Не смотрите, дескать, что наружность у нас тихонькая, и мы тоже не прочь войти в задор... Как же-с!»

Вы знаете, что на языке наших мышиных жеребчиков под именем «дорогой новорожденной» следует разуметь гласность и что гласность в настоящее время составляет ту милую бо-

---

[1] свободная инициатива помещиков!

лячку сердца, о которой все говорят дрожащими от радостного волнения голосами, но вместе с тем заметно перекосивши рыло на сторону.

— Удивительно! — отвечает другой такой же бодренький, румяненький старичок,— мы вчера читаем с Петром Иванычем да только глаза себе протираем!

— А помните ли, прежде-то! Получишь, бывало, книжку журнала: либо тебе «труфель» подносят, либо «Двумя словами о происхождении славян» потчуют Просто, можно сказать, засоряющая зрение литература была!

— Недавно я, Степан Сергеич, статью господина Юматова в одной газете прочитал,— просто так-таки и говорит. облагородить, говорит, все это нужно, джентри английскую завести нужно; силу, говорит, силу нам дайте да гордости маленько прибавьте, а мы уж проберем сзади пробор любезному отечеству!

— Неужто так и написано?

— Именно так, Степан Сергеич! и даже как бы вы думали, даже не в Петербурге и не в Москве писано, а так в каком-то Сердобске — уму непостижимо!

— Из рыбарей. .

— Именно из рыбарей-с! И что же-с? книжки тоже почитывают... Гнейста там .. Так-таки прямо и говорит: я, говорит, Гнейста читал; жаль, говорит, что не все его прочитали ..

— Н-да; а ведь главное, что утешительно, Федор Алексеич, это то, что ведь всякую штуку на свой манер обрабатывают!

— Да уж насчет чего другого, а насчет смётки это именно, что против русского другому не выйти. Возьмем, например, хоть простого плотника .

Начинаются рассказы о плотниках, строящих самоучкой великолепные дворцы, перекидывающих по глазомеру дикованные мосты и проч. Известно, что анекдоты подобного рода еще в великом ходу в обширной Российской империи и что они составляют тот незыблемый фундамент, на котором мышиные жеребчики созидают славу и надежды России.

— Утешительно это, Федор Алексеич! как себе хотите, а утешительно!

— Как же-с! как же-с! вот и господин Юматов: Гнейст-то Гнейстом, однако и об советниках губернских правлений упомянул: это, говорит, не джентри, потому что без сапог к нам приходят, а вот предводители и заседатели — те джентри, потому что в сапогах ходят, хоть и нет у них ни силы, ни гордости.

— Смекалка, значит, есть: про чужое читаем, а свое тоже примечаем!

«Добрые люди! — рассуждаете вы мысленно,— и до ваших мозгов коснулся луч света! и ваши сердца растворились жаждою гласности и свободы! Хоть уморительно, хоть через пень-колоду, а все же вы рассуждаете, все же в головах ваших копошится какое то вожделение! Да, и это уж шаг вперед!» Но, в сущности, этого шага вперед нет, и вы очень неосновательно думаете, что в старых, местами продырявленных мехах может заключаться новое вино. Я думаю даже, что добродетельное ваше рассуждение без ущерба для истины может быть заменено следующим: «Глупые люди! и до ваших мозгов коснулась эпидемия болтовни! и вы получили способность извергать из себя целые потоки слов, лишившихся, по милости вашей, смысла и значения!» и проч. и проч. На мой взгляд, вы были бы правы. Подумайте, что такое, в самом деле, *эти люди*, на которых вы взираете с такою отеческою заботливостью! Ведь это те самые, которые еще вчера хихикали и радовались, видя, как краснорецкий буй-тур Рыков трескает по зубам благоговейно взирающих на него обывателей («строгонек, но часть свою в порядке держит!» — говорили они); это те самые, которые еще вчера с умилением и неизреченною душевною сладостью беседовали о том, как известный магик и чревовещатель Удар-Ерыгин уследил что-то такое, грозящее общественному спокойствию (то самое, что они теперь так сладостно приветствуют под именем давно желанного новорожденного), как он все это искусно накрыл, раздул по мере сил своих и преподнес кому следует; ведь это те самые, которые и завтра будут кланяться какому угодно тельцу, и даже не из выгод, а только потому, что «не нами заведено, не нами и кончится». Ведь это не люди, а дрянные людишки, у которых можно позаимствоваться огнем для сигары, но в смысл речей которых вслушиваться не только бесполезно, но даже вредно, по той простой причине, что занятие подобного рода вливает в существование человека отраву праздности и чревоугодничества.

Я предполагаю, что весь этот умственный маскарад, вся эта путаница понятий и представлений происходит оттого, что мы вступаем, так сказать, в эпоху конфуза. Я не могу сообщить положительных сведений насчет того, каким образом и откуда занесено к нам это новое в русской жизни явление. Известно, что мы прежде не только совсем никогда не конфузились, но, напротив того, с самою любезною откровенностью приступали ко всякого рода задачам. Знаменитая русская поговорка: «тяп да ляп — и карабь» столь долго служила основанием нашей общественной и политической деятельности, что нынешний конфуз составляет явление несомненно но-

вое и невольно обращающее на себя внимание. Вот все, что можно сказать положительного насчет происхождения конфуза; затем, что касается до деталей, то, несмотря на всю новость этого явления, несмотря на то что оно пришло к нам, так сказать, на наших же глазах, история его, благодаря запутанности сопровождавших ее обстоятельств, уже представляется весьма темною. Мне, например, всегда казалось, что истинным насадителем конфуза был почтенный наш писатель И. С Тургенев, который еще в сороковых годах предрекал его господство своими Рудиными и Гамлетами Щигровского уезда, но, с другой стороны, некоторые достойные полного вероятия помещики положительно и даже под оболочкою тайны (известно, что секретные сведения всегда вернее несекретных) удостоверяют, что первый, бросивший семена стыдливости в сердца россиян, был император французов Людовик-Наполеон. Предоставляю читателю рассудить между этими двумя мнениями; я же нахожу для себя удобнейшим обратиться к самому явлению. Откуда бы ни происходил наш конфуз, но несомненно, что мы сконфузились и оплошали почти поголовно. Конфуз проник всюду; конфуз в сердцах помещиков, конфуз в соображениях почтенного купечества, конфуз в литературе и журналистике, конфуз в умах администраторов Последние сконфузились сугубо — и за себя, и за других. Они почему-то сообразили, что все бремя эпохи конфуза лежит на их плечах и что, следовательно, им предстоит учетверить свою собственную конфузливость, дабы укрепить корни этого невиданного у нас растения в сердцах прочих человеков. Зубатов видимо оторопел, Удар-Ерыгин, как муха, наевшаяся отравы, сонно перебирает крыльями. Оба видят, что на смену им готовится генерал Конфузов, и оба из кожи лезут, чтоб предъявить кому следует, что они ничего, что они и сами способны сконфузиться настолько, насколько начальство прикажет

Величественный Зубатов! ты, который до сих пор представлял собой римлянина Катона, расхаживающего в вицмундире по каменистому полю глуповской администрации! ты, который все подчищал и подмывал, в твердом уповании, что смоешь, наконец, самую жизнь и будешь себе гулять один-одинешенек по травке-муравке среди животных и птиц домашних! Что с тобой сделалось? Куда девался твой «delenda Carthago» [1], переведенный по-русски: «в бараний рог согну»?

Боже! и он застыдился, и вследствие того помолодел и помилел! Все подпрыгивает, все «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха», не то

---

[1] Карфаген, подлежащий разрушению.

что прежде. «го го-го» да «ге ге-ге»! Все провиниться боится, все циркуляры пишет: «Бери, дескать, пример с меня, с меня, ангела кротости! взяток ни-ни! в зубы — ниже-ни! а с откупщиком амуриться — сохрани тебя боже!» О крутых мерах исполнительности и думать забыл. Когда ему докладывают, что такой-то исправник не соскочил с колокольни, не утонул в стакане воды, не пролез сквозь ушко иглиное, он не ржет, как озаренный: «Под суд! под суд его!» — а кротко замечает: «Ах, любезный! надо еще справиться: может быть, у него свои резоны есть!» Когда ему объясняют, что такой-то Замухрышкин целый уезд грабит, он предварительно полюбопытствует, сколько у него детей, и, получивши сведение, что шестеро, молвит: «Oh, les enfants! les enfants! ils font commettre bien des crimes!» [1] — причем непременно погладит по головке своего Колю.

За это все Замухрышкины в один голос величают его ангелом, а корреспонденты «Московских ведомостей» «нашим справедливым и благодушным начальником». Просители тоже от него без ума. Всем-то пообещает, всех-то утешит, а если и откажет кому, то так откажет, что от удовольствия растеряться можно. Только и слышишь: «Ах, как мне жаль!» да «Зачем вы не пожаловали ко мне раньше!» Стон стоит в Глупове по случаю учтивого обращения.

— И не видывали мы, сударь! — говорит обыватель Анемподист Федотыч,— и не видывали такого! Бывало, начальник-то позовет: «А ну-те, говорит, чистопсовые! а знаете ли, говорит, что вас всех прав состояния лишить велено?» Так мы, сударь, так, бывало, все ходуном и ходим перед ним! А этот просто даже и на начальника не похож! на стул это садает, папироску подает: «Расскажите, говорит, какая у вас статистика!»

Вновь спрашиваю я тебя, величественный Зубатов! ты ли это? Если это ты, то помни, что конфуз входит пудами, а выходит золотниками, и что однажды опоенную лошадь никакие человеческие усилия не в силах возвратить к прежней лошадиной бодрости и нестомчивости! Что, если вновь когда-нибудь приказано будет не конфузиться? Что, если вновь приказано будет по десяти раз в день утопать в стакане воды и по сту раз соскакивать с колокольни? Дрожать за тебя или нет? Воспрянешь ты, или... но нет, меня объемлет ужас при одном предположении... нет, я не сказал, я даже не предполагал ничего подобного!

И ты, дитя моего сердца, ты, любострастный магик и чре-

---

[1] О, дети! дети! ради них совершаешь много преступлений!

вовещатель Удар-Ерыгин! Ты, подсмотревший у Апфельбаума (даже не у Германа) несколько дешевых фокусов и удивлявший ими добродушных соотечественников во время артистических путешествий твоих по глуповским палестинам,— и ты повесил голову, и ты о чем-то задумался! Я, который вижу насквозь твою душу, я знаю, что ты задумался о том, как бы примирить инстинкты чревоугодничества с требованиями конфуза. Я знаю, что ты увидел грош в кармане твоего ближнего и что тебя терзает мысль, каким бы образом так устроить, чтоб выкрасть его. Как сделать, чтоб добрые люди не догадались, что ты занимаешься воровским ремеслом? Как устроить, чтоб добрые люди, даже и догадавшись, все-таки продолжали относиться к тебе, как к человеку честному? И вот ты замышляешь какой-то новый, неслыханный фокус, но — увы! кроме глотания ножей, ничего изобрести не можешь, потому что и в этом искусстве ты не пошел дальше Апфельбаума, и в этом искусстве ты еще не научился давать представления без помощи стола, накрытого сукном, под которым сидит душка Разбитной, сей нелицемерный холоп и блюдолиз всех Чебылкиных, Зубатовых и Удар-Ерыгиных, и подает тебе, по востребованию, жареных голубей

Да; усилия твои тщетны, ибо зеленое сукно, которым накрыт был стол, велено сдернуть Разбитного застали врасплох под столом в то самое время, как он, весь потный от духоты, совсем было состряпал в шляпе яичницу Двугривенный, бывший у тебя в руках, так и остался двугривенным и не превратился ни в апельсин, ни в полуимпериал. Тебе не воспрещается делать фокусы, но делай их без сукна, глотай шпаги начистоту!

А так как ты еще недостаточно искусен для этого, так как ты трус и боишься подавиться, то очевидно, что грош, виденный тобой в кармане ближнего, там и останется. Да, ты сам сознаешь, что останется, ты до такой степени сознаешь это, что даже скрепя сердце решаешься бросить мысль о благоприобретении его Признаюсь тебе, меня очень радует такое самоотвержение с твоей стороны; я с любопытством наблюдаю, как ты приучаешься к твоей новой роли, как ты по старой привычке все еще лебезишь около чужих карманов, как ты похотливо расширяешь ноздри, заглядывая в них, и как в то же время не смеешь простереть подергиваемую воровской судорогой руку, чтоб стяжать чужое достояние. Друг! ты до такой степени мило все это делаешь, что добросердечные глуповцы серьезно начинают беспокоиться, уж не хочешь ли ты подарить им самим по двугривенному из твоей собственной «неистощимой» шкатулки (помнишь ли фокус, который пока-

зывал ты в Крутогорске, под названием: «Неистощимая шкатулка, или Крутогорские откупщики — основатели женских гимназий»?). Истинно говорю тебе, что это самый отчаянный фокус из всех, которые ты когда-*либо показывал в течение* твоей многотрудной жизни, и что еще долго после тебя твои многочисленные последователи будут показывать его почтеннейшей публике, под названием «Укрощенная страсть к мошенничеству, .или Конфуз — руководитель администрации».

Но если Зубатовы и Удар-Ерыгины восчувствовали и помилели, то каким образом должен действовать сам господин Конфузов? Очевидно, он должен источать бесконечные источники слез умиления при виде тех задатков самостоятельности, которые успели проявить в последнее время россияне; очевидно, он должен восторженно размокать и с каждой минутой все более и более обращаться в сырость под знойными лучами гласности!

Поборники конфуза — а их не мало, и большая часть принадлежит к тому достойному меньшинству, о котором говорено выше,— удостоверяют, что преобладание в жизни этого элемента все-таки лучше, нежели господство нахальства и грубой физической силы. Когда в отношения к жизни, говорят они, примешивается некоторое чувство стыдливости, то само собой разумеется, что и самое развитие жизни происходит беспрепятственнее, нежели в то время, когда от неуклюжих прикосновений к ней остаются лишь следы грязных медвежьих лап.

В этом силлогизме есть, однако ж, страшная недомолвка. Во-первых, мы принимаем на веру, что наш конфуз есть конфуз действительный, конфуз разумный, что в нем заключается сознательная попытка к освобождению жизни от одуряющего попечительства различных неприязненных ее развитию начал. Но мы ошибаемся. Наш конфуз — временный; наш конфуз, в переводе на русский язык, означает неумение. Мы конфузимся, так сказать, скрепя сердце; мы конфузимся и в то же время помышляем: «Ах, как бы я тебя жамкнул, кабы только умел!» От этого в нашем конфузе нет ни последовательности, ни добросовестности; завтра же, если мы «изыщем средства», мы жамкнем, и жамкнем с тем ужасающим прожорством, с каким принимается за сытный обед человек, много дней удовлетворявший свой аппетит одними черными сухарями. Во-вторых, конфуз, проводя, в сущности, те же принципы, которые проводило и древнее нахальство, дает им более мягкие формы, и при помощи красивой внешности совершенно заслоняет от глаз посторонних наблюдателей ничтожество и даже гнусность своего содержания. Силе можно ответить силою же; глу-

пости и пустословию отвечать нечем. Отношения делаются натянутыми и безнравственными. Чувствуешь, что жизненные явления мельчают, что и умы и сердца изолгались до крайности, что в воздухе словно дым столбом стоит от вранья, сознаешь, что между либеральным враньем и либеральным делом лежит целая пропасть, чувствуешь и сознаешь все это и за всем тем, как бы колдовством каким, приходишь к оправданию вранья, приходишь к убеждению, что это вранье есть истина минуты, придумываешь какую-то «переходную» эпоху, в которую будто бы дозволяется безнаказанно нести чушь и на которую, без зазрения совести, сваливаешь всякую современную нечистоту, всякое современное безобразие[1]..

Согласитесь: ну не страшная ли это недомолвка, и не лучше ли, не безопаснее ли для самого дела к лжи относиться как к лжи, а не придумывать различных оправдательных ухищрений, которые могут только продлить зловредное торжество ее?

Итак, противодействовать вранью, обличать его несостоятельность отнюдь еще не значит противодействовать стремлениям к самостоятельности и независимости действий. Если и у действительного либерализма есть свои характеристические оттенки, делающие проявления его крайне разнообразными и имеющими между собой мало общих точек соприкосновения, то тем большая неизмеримость расстояния легла между либерализмом, рассматриваемым как результат целой жизненной работы, и либерализмом, не уходящим вглубь далее оконечностей языка. Если, чтоб действовать сознательно в том или другом смысле, необходимо прежде всего опознаться в многоразличии убеждений, необходимо уяснить себе истинное их значение, то тем более необходимо уметь различать убеждения искренние от убеждений, вызванных прихотью минуты и большим или меньшим желудочным засорением. Скажу более: чем сильнее и настоятельнее сказывается уму и сердцу чувство уважения к первым, тем живее сознается в то же время необходимость отрицания последних. Да, именно отрицания, упорного, беспощадного отрицания, потому что эти бессмысленные фиоритуры либерализма, которыми, как древле кашею, наполнены в настоящее время рты россиян, мешают расслушать простой и честный мотив его.

Заглянем, например, в нашу текущую литературу,— что за зрелище представляется очам нашим! Увы! это уж не то доброе старое время, когда ратовали исключительно наши кондовые, наши цеховые мастера! Увы! даже Корытниковы, даже «Проезжие» и «Прохожие», несмотря на недавность их появления,— и те перестают производить впечатление и состав-

ляют уже скромное меньшинство! Увы! литературная нива обмирщилась, литературная нива сделалась простым выгоном, на котором властительно выступают Ноздревы, Чертопхановы и Пеночкины! Ноздрев! ты ли это, mon cher?[1] Если это ты, то почему ты смотришь таким Лафайетом? Или у нас нынче масленица, а об масленице тебе неловко оставаться самим собою? Или, по местным обстоятельствам, тебе выгоднее быть Лафайетом, нежели прежним сорвиголовой Ноздревым?

Каждый час, каждая минута вызывают новые требования, ведут за собой новых деятелей. Еще вчера Глупов был полон хвалебных гимнов, а нынче он уж грубит, он почти ругается! Давно ли кн. Черкасский торжественно защищал розгу, а нынче.. розга, где ты? По крайней мере, Ноздрев не только отвергает пользу ее, но даже стыдится и краснеет при одном воспоминании, что это орудие составляло когда-то одно из самых существенных определений глуповской гражданственности.

Все «рыбари», которые доселе занимались сокрушением зубов и челюстей человеческих, покинули это занятие из опасения получить сдачи. Но занятие было выгодно, ибо, с помощью его, приобреталось право преобладания в так называемом обществе Без него чувствовалась тоска и одиночество; без него земля исчезала под ногами, права попирались и видимо истаивали. Как быть? Где, в каком ином принципе искать основания к сохранению драгоценного права? Рыбари недоумевали, потому что до сих пор они спокойно отдыхали себе под тенью своих смоковниц (так называли они навозные кучи своих скотных дворов), и даже снов никаких не видели. К счастию, на выручку подоспел граф Монталамбер, который, в русском извлечении, победоносным образом доказал, что унывать и недоумевать не следует. «Воззрите на Англию,— сказал он нашим рыбарям,— ведь и вы те же лорды, и вы та же джентри, только без гордости и силы: старайтесь же добыть и то и другое, и все пойдет как по маслу!» Шутка сказать, однако ж: добыть гордость и силу! Где их возьмешь? Ведь их не добудешь ни бранью ямскою, ни зубосокрушением! Ведь гордость и сила составляют продукт истории, а где она? Но рыбари, раз решившись, не задумались и над этими вопросами «Черт с ней, с историей! — сказали они друг другу,— обходнлись же без нее наши отцы — коллежские асессоры, наши отцы — татарские выходцы, наши отцы-эмигранты; обойдемся как-нибудь и мы!» И, не откладывая дела в долгий

---

[1] дорогой?

ящик, отчасти пустили шип по змеиному, отчасти защелкали по-соловьиному.

И вот отчего, в настоящую минуту, нет того болота на всем пространстве глуповских палестин, в котором не слышалось бы щелканья соловья-либерала

Увлечения мысли, равно как и движения страсти, действуют на людей весьма разнообразно. Одних доводят они до отчаяния и крайнего упадка нравственных сил — картина скорбная, но не внушающая, однако ж, ни отвращения, ни даже непрошеного сожаления к пациенту, а, напротив того, почти всегда возбуждающая искреннюю симпатию к нему. Ибо в сегодняшнем истощении еще чуется вчерашняя сила, ибо и самое разрушение имеет здесь горький и полный мучительных указаний смысл. В других борьба, посредством которой мысль искупляет будущее торжество свое, производит не атонию [1] сил, а общее их возбуждение, доходящее до героизма. Мысль, сделавшаяся страстною, мысль, доведенная до энтузиазма,— вот та вулканическая сила, которая из сокровенных недр толпы выбрасывает исторических деятелей, вот та неистощимая струя, которая, капля по капле, неотступно долбит камни невежества и предрассудков. В-третьих, наконец, всякое волнение душевное разрешается лишь прыщами и подозрительною накожною сыпью.

Все эти рекламы либерализма, о которых шла речь выше, не больше как прыщи, посредством которых разрешилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочие. Я не говорю, чтоб прыщи были бесполезны, я даже не отрицаю законности их существования, но вместе с тем не могу не скорбеть душою, когда меня уверяют, что дело так и должно кончиться одними прыщами и что прыщи составляют венец истории. История, думаю я, должна привести к просветлению человеческого образа, а не к посрамлению его, и с этой точки зрения необычайное изобилие накожной сыпи и упорная ее устойчивость не только не радуют меня, но, напротив того, до глубины души огорчают. Я положительным образом протестую против претензии прыщей на право бесконечного господства в жизни и против того безнравственного девиза, с которым они являются в мир и в силу которого абсолютная истина жизни представляется опасною и недостижимою химерой, а вместо ее предлагается в руководство другая истина, заключающаяся в более или менее проворном эскамотировании [2] одной лжи посредством другой.

---

[1] вялость, слабость.
[2] сокрытии.

При этом я прибегаю к сравнению и спрашиваю себя: если я свой старый синий камзол окрашу в зеленый цвет, изменится ли оттого непрочность самой ткани? если я, относительно затхлого, отжившего принципа, ограничусь только перенесением его с одного лица на другое, изменится ли оттого вредоносная сущность его? Не только не изменится, но я не получу даже удовольствия обмануть самого себя, ибо в первом случае я тотчас же убежусь, что невинная моя забота повлекла за собой лишь трату денег на окраску негодного платья, а во втором — результатом моих усилий может быть даже болезненное сотрясение.

Очевидно, следовательно, что прыщи не обладают теми условиями, с которыми сопрягается мысль о господстве над истиной. Их существование законно и даже необходимо, но оно обусловливается большим или меньшим накоплением худосочия. Следовательно, для нас, собственно, весь вопрос приводится к тому, какую именно сумму исторического худосочия благоприобрели мы до настоящей минуты возрождения, с тем чтоб на основании этого данного определить время, когда начнут подсыхать прыщи. К сожалению, мы не привели еще в известность первого и потому не можем отвечать вполне удовлетворительно и на второе.

Однако признаки подсыхания начинают уже сказываться. История не останавливает своего хода и не задерживается прыщами. События следуют одни за другими с быстротою молнии и мгновенно засушивают волдыри самые злокачественные. То, что вчера было лишь смутной надеждой, нынче является уже фактом совершившимся, является победою жизни над смертью. Вчерашний либерализм сегодня оказывается уже отсталостью. Наступает день расчета, настает пора общего покаяния.

Если вчера позволительно было ораторствовать и заявлять о сочувствии, если вчера уместно было толковать о необходимости возрождения, то тем более уместно и позволительно *нынче* окончательно рассчитаться с прежнею жизнью, рассчитаться не только оконечностями языка, но и самым делом. Но, во всяком случае, не только уместно, а даже совершенно необходимо объясняться с полною откровенностью, без утайки и удержания, и, говоря об чем-нибудь языком утвердительно, не произносить в то же время мысленно частицы *не*.

Ибо как ни любезно прошедшее, как ни привлекательно приволье дней минувших, но оно невозвратимо.

Да, милостивые государи! оно невозвратимо, и я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет ваши сердца при этой мысли. Вы уязвлены сугубо: не только в вашей неле-

пой претензии остановить жизнь, но и в вашем самолюбии. Вы пели и щелкали, все в чаянии, что от вашего щелкания туман в болоте поднимется,— однако туман не поднялся. Вы прикидывались свободолюбцами, все в чаянии, что распущенность мысли и обилие словоизвержения отведут глаза,— однако глаза не отведены. Мысль обмирщилась, семя брошено, и, как ни хлопочите вы, оно фаталистически должно пройти все фазисы своего развития. Конечно, оно может дать плод и сторицею, и может уродиться сам-друг, но все-таки желанный плод будет — это верно. Это другое зерно скудного урожая также падет на землю и также даст плод. Истинно вам говорю, милостивые государи, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!

Вы видите, что жизнь ускользнула у вас промеж пальцев, что вы, бывшие до сих пор в самом центре жизненного круга, внезапно, как бы колдовством каким, очутились вне его. Вы ли не пели жизни дифирамбов, вы ли не обращались к ней льстивыми голосами, вы ли не угрожали ей распадением, если она не примет вас в руководители, вы ли, наконец, не доносили, не клеветали на нее! И вот, однако ж, не помогли ни дифирамбы, ни угрозы: равнодушно катятся себе да катятся волны жизни, и с каждым часом, с каждой минутой откатываются от вас все далее и далее к далеким берегам того беспредельного океана будущего, который вы не хотели и не умели исследовать. Истинно вам говорю, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!

Вы припоминаете ваше прошлое и сравниваете с ним пустыню настоящего — это первая причина скорби.

Вы припоминаете ваши недавние, еще не остывшие попытки обмануть жизнь; вы чувствуете, с невольной краской на лице, что на время сделались ренегатами и, что больнее всего, ренегатами неудавшимися; что вы бесполезно посрамили свои мозги сочувствием к каким-то новым идеям, к каким-то новым началам жизни,— это вторая причина скорби.

Вы сознаете, что вас никто не уважает, что об вас даже не скорбят, ибо для всех стала ясна арлекинская пестрота вашей одежды. Вам нельзя помянуть добром ваше прошлое, а от будущего отказались вы сами; прошлое не принимает вас, потому что дверь в него заперта наплывом новой жизни и вашим собственным ренегатством; будущее не принимает вас, потому что таков уж закон истории, что сор и нечистота фаталистически отметаются ею в царство теней,— это третья причина скорби.

Одним словом, рассчитывая по пальцам и принимая в соображение, что дважды два, как ни вертись, все будут соста-

влять четыре, а не пять, вы приходите к тому убеждению, что для вас остается одно только приличное убежище: смерть,— это четвертая причина скорби.

Истинно вам говорю, милостивые государи, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!

Но вместе с тем я столько же хорошо понимаю и те ругательства, которыми полны ваши души. Горечь их так велика, что вы уже не в силах таить их, не в силах долее выдержать вашу роль. «Умрем, но напакостим!» — восклицаешь ты, автор золотушных фельетонов-реклам,— ты, идол Ноздревых и Чертопхановых! «Ни полпальца! ни четверть шага! — вторит взбудораженный тобой юный англоман Сеня Бирюков,— car il faut, á la fin, que nous ayons le courage de notre opinion!» — «Ayons le courage de notre opinion!» [1] — поют хором полосатые, выдохшиеся потомки Буеракиных и Оболдуй-Тараканових.

Сеня, мой милый Сеня! я согласен, что это своего рода гражданское мужество; но ежели ты думаешь, что тебе первому принадлежит честь открытия его, то горько ошибаешься.

Не знаю, как в твоих палестинах, а в моем родном городе Глупове такого рода гражданское мужество давно уж в ходу. Мы только не отдавали ему надлежащей справедливости и даже не выводили из него тех великих реклам к будущему, какие выводили славянофилы из всероссийского смирения и послушливости, но оно существует — это верно. Да не может быть, чтоб и в твоих палестинах оно не водилось, это гражданское мужество. Стоит только, не краснея за себя, потревожить свои воспоминания, а геройского хлама, наверное, найдется в них весьма достаточно.

Сколько раз, например, колотил ты своего Петрушку за то, что он спит на твоей шубе, покуда ты до упаду отплясываешь с дочерьми Матрены Ивановны или с племянницами Анфисы Петровны,— а он и до сих пор продолжает высыпаться на той же шубе... Это ли не гражданское мужество?

Сколько раз ты сек свою маленькую курчавую сучку Джипси за то, что она связывается с разными неблагообразными дворовыми валетками и барбосками,— а она и до сих пор связывается... Это ли не courage de son opinion?

Сколько раз ты посылал в часть поваренка Никитку за то, что в твоем супе поочередно появляются то таракан, то мочалка, а таракан и мочалка и до сих пор продолжают составлять неизбежную приправу твоего dîner de garçon [2]...— это ли не доблесть беспримерная, доблесть неслыханная, доходящая до

---

[1] надо же, в конце концов, быть смелым и иметь собственное мнение! Наберемся храбрости и выскажем свое мнение!

[2] холостого обеда.

аскетизма, до горькой насмешки над собственной спиной ее обладателя?

Следовательно, и в этом деле ты и твои единомышленники: Гриша, Сережа и Коля — являетесь не новаторами, а лишь слепыми подражателями Петрушки, Никитки и Джипси, с тою только разницей, что вас, за ваше гражданское мужество, не будут ни колотить, ни сечь, ни посылать в часть.

Тем не менее откровенность ваша, друзья мои, мне нравится. Во-первых, она отнюдь никому не вредит; во-вторых, веселее как-то смотреть на вас теперь, когда вы начистоту ругаетесь, нежели в то время, когда вы подольщались, грустили и клянчили, и выпрашивали себе копеечку; и в-третьих, я не могу не держать в памяти и того, что вы находитесь накануне смерти, а в таком интересном положении всякая дикость к лицу. Спросите у меня стакан воды со льдом, спросите у меня буженины с чесноком, спросите клюквы, спросите грибов — я охотно дам вам всего этого, ибо знаю, что воздержание не подарит вам ни одной лишней минуты, а удовлетворение при-хоти утешит вас, и вы отойдете в царство теней с улыбкою, а не с искривленным ртом и стиснутыми зубами.

Итак, в минуту расчета, в минуту отпущения грехов, пестрая риза ложного либерализма упала сама собою, фраза значительно похудела и утратила свою одутловатость, реклама стушевалась... Очень приятно!

И, боже, как просто, как бесхитростно совершилась эта внезапная перемена диверсии! Почти механически. Мы не дали себе труда даже оговориться, мы даже не почтили публику соблюдением самых простых приличий, обыкновенно употребляемых при подобного рода метаморфозах. Что за дело до того, что нас уличат в двоегласии; что за дело до того, что нас назовут бесстыдниками! Чувствуя и ценя только боль физическую, мы не гонимся за выражениями, не гонимся даже за толчками, памятуя правило пресловутого Расплюева, что жаловаться следует тогда только, когда хватят, что называется, до бесчувствия.

Но эта бесхитростность, эта казацкая способность обращаться бесцеремонно с самыми деликатными предметами имеют и свою полезную сторону. По крайней мере, мы, люди меньшинства, которые с такою сердечною тревогой внимали либеральным упражнениям ревнителей тьмы; мы, которые сгоряча поверили, что каменоломни раскаиваются и изъявляют искреннее желание сделаться цветущими и благоухающими садами; мы, которые неусыпно вплетали мирт и лавр в венки героев, снисходительно улыбавшихся нашей юношеской горячности,— мы убедились наконец, что не от гробов

поваплепных предстоит ждать слова жизни, что не на них должны покоиться наши упования.

Эти упования, эти надежды должны быть обращены нами к нам самим. В наших собственных убеждениях, в жизненности наших собственных сил должны мы исключительно искать для себя опоры, и ни в чем ином.

Если поколение, к которому обращаются эти строки, хочет сделаться достойным своего призвания, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и в мыслях, и в выражениях, и в действиях соблюдает ту опрятность и даже брезгливость, которая одна может обеспечить действительный успех в будущем.

Повторяю: мы, люди глуповского мира, слишком повадливы, слишком покладисты. Мы во всякой среде легко уживаемся, со всяким явлением миримся почти без сопротивления. И потому из нас можно лепить всякую фигуру, и даже без больших издержек: стоит только по голове погладить. Удивительная способность таять и обращаться в сырость умерщвляет в нас всякую инициативу, всякую попытку к самодеятельности. И ведь не то горько, что мы таем, а то, что мы таем искренно, что мы при этом кривляемся и хихикаем, что мы чувствуем себя столь же счастливыми, сколько счастливыми чувствовали себя наши достославные предки, когда их трепали по плечу их добрые начальники... И вот плоды: роковая случайность, как господствующая стихия в жизни, неприличный сумбур в понятиях и представлениях и полное отсутствие серьезности в обращении с предметами...

От всего этого добра нас может спасти только упоминаемая выше опрятность мысли, опрятность чувства. До тех пор, пока мы не скажем себе, что тот, кто идет не с нами, идет против нас, до тех пор, покуда мы будем направо и налево раздавать poignées de main [1] встречному и поперечному, более принимая в соображение покрой жилета, нежели покрой мысли, до тех пор мы будем слабы, мы будем нелепы, мы будем презренны, до тех пор наше слово будет подобно писку кулика-поручейника, назойливо, но бесследно раздающемуся над пустынными берегами реки.

Да, только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях! Да, только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса!

Итак, вот к какому пришли мы результату, любезный сын Глупова!

Но, договорившись до такого заключения, я чувствую, что

---

[1] рукопожатия.

сердце мое поражено смущением. В самом деле, положим, что мы освободились от всяких глуповских обязательств, что в глазах наших уж нет героев, что руки и умы у нас развязаны, что мысль наша не робеет и не ползает в прахе перед авторитетами — что ж дальше?

Ведь, наверное, мы из того с тобой хлопочем и бьемся, читатель, что у нас есть в запасе какая-нибудь жизненная мысль, что у нас имеются в виду какие-то новые жизненные основы, которыми мы хотели бы заменить прежние, пораженные ржавчиной пружины, еще и доныне заставляющие действовать старый глуповский механизм. А если все это есть, то неужто же сидеть нам в скромном безмолвии над нашими сокровищами, неужто ж прятать нам их для себя и для приятелей? Нет, не сидеть и не прятать,— это ясно, во-первых, потому, что было бы бессмысленно обладать сокровищем и в то же время с умыслом уничтожать его ценность, а во-вторых, потому, что, если б и хотели мы смирно сидеть — не усидим ни за что в свете! Друг! у мысли есть сила особенная, которая так и подталкивает человека вперед да вперед, так и шепчет ему в ухо: «Расскажи да расскажи!»

Итак, мы будем, мы обязаны действовать. Отлично!

Где же, в какой среде будем мы проводить нашу мысль? Памятуешь ли ты, что арена твоей деятельности не в пространстве и времени, а все в том же милом Глупове, где нынче так сладко свищут соловьи-либералы, что ты никогда и никуда не уйдешь от Глупова, что он будет преследовать тебя по пятам, доколе не загонит в земные пропасти, что он до тех пор будет всасываться тебе в кровь, покуда не доведет ее до разложения?

Если ты это памятуешь, то должен также знать, что хотя Глупов и бесспорно хороший город, но вместе с тем город, любящий жить в мире с действительностью и откровенно, даже почти неприлично трусящий при малейшем намеке на разлад с нею. Мы, люди старого глуповского закала, любим, чтоб во «всем этом» было легкое, постепенное и неторопливое вперед поступание, и притом чтоб поступание это существовало преимущественно в наших общественных диалогах и только самую чуточку переходило в практику. Ибо под практикой мы разумеем только самую настоящую, действительную практику, а не химеры. Мы охотно, например, пожертвуем каким-нибудь фестончиком, мы охотно побеседуем между собой насчет разных этих усовершенствованьиц, мы даже не прочь шепнуть друг другу на ушко que la position n'est plus tenable [1]

---

[1] что положение стало невыносимым.

(«совсем-таки мелких денег достать нельзя — просто смерть!»), но чтоб в соображения наши входили какие-нибудь этакие абстрактности — от этого упаси нас боже! И главное, без скандала, mon cher, без скандала! Ибо согласие с действительностью представляет свои бесконечные удобства, ибо согласие с действительностью вносит мир и благоволение в сердца человеков. Mon cher! мне очень приятно видеть вас, человека с широкими, непреклонными убеждениями: я вам сочувствую, и не только с удовольствием, но даже с учащенным биением сердца прислушиваюсь к речам, горячим потоком льющимся из уст ваших; но оставьте же меня наслаждаться этим сладким биением сердца в спокойствии, не тормошите, не огорчайте меня, не отрывайте меня так насильственно и грубо от раковины, в которой я с таким удобством обмял себе место! Пусть, слушая вас, я буду воображать себя в театре — на это я согласен; но чтоб я признал за вами право втискивать и меня в число хористов — это уж извините! Внимая вам, я мысленно созерцаю процессию, несущую с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы — все это очень хорошо, все это раздражает мои нервы, и раздражает, могу сказать, в самом благородном смысле; но не могу же я... не могу же я... согласитесь, что ведь я не могу?

Такова наша глуповская политика, такова наша глуповская философия. И если ты не хочешь действовать в пустоте, если ты желаешь, чтоб мы, глуповцы, внимали тебе, ты должен подделаться под нашу масть, ты должен признать нас всецело с нашею политикой и нашею философией.

И таким образом для твоей деятельности представляется два пути: или ты решишься сам притвориться глуповцем, с тем, чтоб сначала приучить нас к музыке речей, а потом, неожиданным движением руки и не давши нам, так сказать, опомниться, вдруг снять с нас дурацкий колпак; или же прямо пойдешь напролом, прямо схватишься за кисточку колпака и будешь тянуть его прочь с головы.

Если ты последуешь первому пути — ты пропал! Во-первых, люди, деятельность которых основана на уступках и нравственном сводничестве, не уважаются. Это ничего, что сами глуповцы первейшие сводники в мире и что не пропадают же они от этого: разве они уважают друг друга? да разве они и нуждаются в уважении? разве знают они, что такое уважение? Они живут — и больше ничего. А для тебя уважение нужно, ибо ты имеешь претензию снять дурацкий колпак, ибо, не приобретя уважения, ты не «притворишься» глуповцем, а сделаешься им действительно. Во-вторых, мы, глуповцы, хотя и простодушный народ, но имеем чутье острое и цепкое. Мы как

раз поднюхаем, что ты не впрямь глуповец, а только прикидываешься им. А поднюхавши, мы скажем друг другу: «Эге! да он мошенник! да к тому же, слава богу, и трус!» И ведь натешимся же мы в ту пору над тобой! Мы вышлем на тебя Зубатова, который, заметив в твоей физиономии нечто угрюмое, не подходящее к детской беззаботности, требуемой правилами глуповского этикета, подступит к самому твоему лицу и тоном, не терпящим отговорок, потребует, чтоб ты сделал «хи-хи!». (И сделаешь, mon cher! и получше тебя люди бывали — и те «хи-хи!» делывали!). Мы вышлем на тебя Удар-Ерыгина, который, видя, что ты принял образ жалкой, отощавшей кошки, робко пробирающейся по стене, чтоб стащить со стола кусок мяса, подстережет тебя и ловко ошпарит горячими помоями! А мы-то будем надрываться от смеху! а мы-то будем взапуски швырять в тебя, кто камешком, а кто и поленцем, в то время как ты, весь в язвах, будешь, подпрыгивая от боли, удаляться от нас в пустыню!

Если ты пойдешь вторым путем — ты пропал сугубо. Представь себе в самом деле, какая комическая может выйти из этого штука! С одной стороны — ты, глуповский реформатор, со всем энтузиазмом убеждения, со всею непреклонностью мысли и действия; с другой стороны — мы, добродушные глуповские граждане, с нашим «потихоньку да полегоньку», с нашим «поспешишь да людей насмешишь», мы, воспитанные на административных фокусах Удар-Ерыгина... а? как бы ты думал, разве мы не заклюем тебя?

Заклюем. Это как свят бог — заклюем. Ишь ведь чего захотел: снять с нас дурацкий колпак! Да знаешь ли ты, что колпак этот не столько внешнее украшение, сколько таинственный продукт нашего внутреннего существа? Да чуешь ли ты, что колпак этот не снимается, а соскабливается, и что соскоблить его с нас не иначе можно, как выскоблив предварительно самую жизнь нашу? Ишь ты начальник какой нашелся! Ишь ты пророк какой выискался!

И много острых и исполненных праведного негодования слов пошлем мы тебе навстречу — и выживем-таки тебя, синьор! Если ты с первого же раза не убедишься, если ты с первого раза не бежишь с поля, мы выживем тебя постепенными мерами, мы исподволь лишим тебя огня и воды, мы будем выдергивать из-под тебя стул в то время, как ты будешь садиться, мы будем внезапно открывать траппы [1] под твоими ногами, мы будем подсыпать песку в твое кушанье...

Одним словом, нехитростными, вполне глуповскими, но

---

[1] люки.

вместе с тем и вполне действительными мерами изведем-таки тебя! Достанет ли всего твоего ума, чтоб противостоять страшной силе нашей глупости? Достанет ли всего твоего героизма, чтоб посвятить твою жизнь на предугадывание тех остроумных сюрпризов, которые наше глуповское досужество будет изготовлять тебе на каждом шагу?

Но ты, быть может, усумнишься в истине моих слов; быть может, ты возразишь, что не все же глуповское общество предано умственному распутству, что и в этом обществе, вероятно, найдутся элементы свежие, не подкупленные прошедшим, которых явная выгода будет заключаться в том, чтоб внять твоему голосу и поддержать его.

На это скажу тебе: я со всяким тщанием изучал Глупов, и хотя в нем действительно имеются указываемые тобой элементы, тем не менее свежесть их весьма и весьма сомнительна. Друг! ведь и над ними прошла история, ведь и они не вчера рожденные, а тоже позатаскавшиеся в пыли веков, и притом так сильно позатаскавшиеся, что эта вековая пыль, что этот навоз вековой сделались существенною частью их самих и едва ли не извратили их внутреннего смысла. Порасскажу тебе, что знаю, о наших глуповских «элементах».

Два сорта есть глуповцев: глуповцы старшие, кушающие сладко, почивающие мягко, щеголяющие в полосатых одеждах и носящие разнообразные имена и фамилии, и, наконец, глуповцы меньшие, известные под общим названием «Иванушек».

Первых ты знаешь — это народ отпетый. Это те самые, которые так занозисто шумаркают в вагонах, которые, в сущности, ничего никогда не чувствовали, ничему никогда не сочувствовали, ни о чем не мыслили, которые не жили, а, так сказать, ели жизнь, как нечто съедобное, как сочный, еще дымящийся кровью кусок говядины. Глупов кишит ими, этими поборниками материализма, видящими в материализме только удовлетворение требованиям человеческой похоти. Посмотри на всех этих полосатых, выдохшихся и выродившихся потомков Буеракиных и Оболдуй-Тараканових (а быть может, и их куаферов), посмотри на этих румяных, плечистых и кремнистоголовых представителей славяно-куаферской нашей производительности, и суди сам, может ли проникнуть какая-нибудь мысль сквозь эту плотную каменную обшивку?

Други! приятели! Сеня Бирюков, Бернгард Форбрихер! Федя Козелков! обнимем друг друга и прольем слезы умиления!

Прежде всего, полюбуемся друг на друга! Да, мы всё те же, какими были восемь лет тому назад, когда все вместе,

шумною толпой, оставили школьную скамью! да, мы не изменили своим убеждениям, мы каждый день по два раза меняли на себе белье, мы не позволяли себе донашивать разорванные или потускневшие перчатки, мы остались верными требованиям и правилам хорошего тона!

Потом помянем воспитателей, охранителей нашей юности! Помянем и профессоров, хотя — помнишь, Сеня? — профессор истории и ставил тебе единицу за то, что ты никогда не мог различить Геродота от Гомера («черт их знает! оба на г... начинаются!» — объяснял ты нам в свое оправдание, и как мы помирали со смеху при этом!).

Помянем Луизу белолонную, помянем Берту чернобровую, помянем Мину светлокудрую, этих истинных, действительных наставниц нашей юности!

Но не забудем и Бертона, у которого мы научились прекраснейшим манерам и обольстительному comme il faut! [1]

Выпьем, друзья, выпьем!

И потом отправимся... «туда»!

Однако, стой, Сеня! Я не хочу, чтоб ты меня как-нибудь «там» осрамил: дай-ко я проэкзаменую тебя, не забыл ли ты что из наук, которые нам преподавались?

— А позвольте, милостивый государь, узнать, кто нынче первый портной в Петербурге?

— Лет десять тому назад первым портным почитался Carpà, но вскоре пальму первенства перенял у него Шармер. Платье Шармера легко и удобно; человек, одетый этим портным, нередко впадает в недоумение, действительно ли он одет. Впрочем, в последнее время многие указывают на Дюмигрона, как на достойного соперника Шармеру.

— Bene [2]. А позвольте узнать, где можно приобрести в Петербурге лучшее мужское белье?

— Все у Лепретра, все у того же несравненного Лепретра, или, лучше сказать, у достойного преемника его гения, Левека. Некоторые указывают на Дюбюра, но, по мнению моему, это парадокс. Рубашки последнего отстают от груди, скоро вытягиваются сверху и вообще так плохи, что могут быть носимы только людьми среднего рода.

— Charmant! [3] Но так как человек не может существовать без сапогов...

— Понимаю вашу заботливость. В этом отношении Эммерман может вполне удовлетворить вас, хотя нельзя не сознать-

---

[1] обхождению, тону.
[2] Хорошо.
[3] Прелестно!

ся, что место старого Пэля до сих пор остается еще незанятым.

— Bravo! Но я хотел бы съесть что-нибудь... легонькое этакое что-нибудь...

— Идите к Мартену — vous y trouverez d'excellentes choses! [1] Можете прибегнуть также к Донону или к Шотану, но при этом не забудьте погрустить о тех, которые обязываются утолять свой голод у Палкина и Еремеева!

— Shame! Shame! [2] — восклицают хором Бернгард Форбрихер и Федя Козелков.

— Bravissimo! [3] Я вижу, Сеня, что ты не изменил науке, да и наука не изменила тебе! Идем же с миром и вкусим от уготованных нам сладостей!

Вот тебе старший наш Глупов. Надеюсь, что ты с первого же слова поймешь, что тут ни на Сеню, ни на Федю, ни на Бернгарда рассчитывать нечего. Но если ты настолько наивен, что будешь упорствовать в своих видах на нас, то предупреждаю тебя: будь осторожен, ибо мы как раз на тебя и пожалуемся!

В самом деле, сообрази хорошенько: ведь мы счастливы, счастливы настолько, насколько мыслительная наша сила способна понимать идею счастия, а счастливому человеку что нужно? Счастливому человеку нужно, чтоб его оставили в покое, чтоб его не развлекали ни мысли горькие, ни картины печальные, чтоб весь он мог сосредоточиться в законном наслаждении принадлежащим ему счастием. Счастливый человек не любит даже, чтоб, во время его прогулки, ему попадался нищий, и для ограждения себя от подобной неприятности он или велит убрать назойливого нищего куда следует, или же торопливо сует ему в руку гривенник, и потом целый час улыбается, наслаждаясь мыслью, что сделал одним счастливцем на свете больше. С какой же стати ты заявляешь претензию на наше внимание, ты, который хочешь потревожить спокойное, роковое течение нашей жизни, ты, который ищешь, чтоб жизнь поступилась в твою пользу частью или даже и всем своим историческим достоянием! Mon cher! если хочешь, вот тебе целый полтинник, но не приставай к нам, не вынуждай, чтоб мы велели куда-нибудь тебя убрать!

Что касается до Иванушек, то прежде всего я должен сделать общее, но весьма справедливое замечание. Можно мыслить, можно развиваться и совершенствоваться, когда дух

---

[1] вы найдете там превосходные вещи!
[2] Позор! позор!
[3] Превосходно!

свободен, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п. Но нельзя мыслить, нельзя развиваться и совершенствоваться, когда мыслительные способности всецело сосредоточены на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду, а будущее сулит только чищение сапогов и ношение подносов («Смотри, подлец! не урони подноса: морда отвечать будет!» — кричит господин, имеющий возможность развиваться и совершенствоваться).

Руководясь этими мыслями, наши Иванушки успокоились. Они не смотрят ни вверх, ни по сторонам, а все в землю и в землю, справедливо рассуждая, что смотреть по сторонам и парить под облаками — дело не ихнее, а Сени Бирюкова, которому на это и крылья даны... И знаешь ли что? я полагаю, что они даже очень рады тому, что у них выработалась под ногами такая солидная историческая почва, потому что, опираясь на нее, они не только освобождаются от тех бесчисленных и горьких тревог, исход которых если не совсем безнадежен, то, во всяком случае, крайне сомнителен, но вместе с тем приобретают для себя всегда готовую и даже весьма приличную отговорку.

Спроси у глуповца: отчего ты не развит, груб и невежествен? Он ответит тебе: а оттого, что тятька и мамка смолоду мало секли. Спроси еще: отчего ты имеешь лишь слабое понятие о человеческом достоинстве? отчего так охотно лезешь целовать в плечико добрых благодетелей? и пр. и пр. Он ответит: а вот у нас Сила Терентьич есть — так тот онамеднись, как его выстегали, еще в ноги поклонился, в благодарность за науку!

В самом деле, что мы за выскочки такие, чтоб учить других! Мы находимся на исторической почве — и знать ничего не хотим. И как ты там ни ломайся, как ты там ни глумись, а глуповец все-таки останется прав, спокоен и доволен... потому что он объяснился, и объяснение это вполне снимает гнет с его совести.

Другое дело, если ты примешься поплотнее, если ты спросишь глуповца, зачем же он не соскочит с этой неудобной исторической почвы? О, в таком случае... в таком случае он несколько сконфузится и покраснеет, и... все-таки постарается свернуть на историческую почву.

А впрочем, он и объясняться-то с тобой не станет! Наш Иванушка вряд ли даже сознает, что под ним есть какая-то историческая почва. Мне кажется, что он просто-напросто носит эту почву с собой, как часть своего собственного существа и даже не подозревает, чтоб тут настояла надобность в чем-то оправдываться, что-то объяснять.

По этому поводу считаю не лишним рассказать тебе некоторый глуповский анекдот.

Однажды весной, в самое половодье, подъезжал я к родному моему Глупову. День был базарный, и та часть реки Большой Глуповицы, где была устроена паромная пристань, была буквально усыпана народом. Требовался порядок; а если требовался порядок, то, натурально, ощущалась потребность и в начальстве. Оно и было тут налицо, и на этот раз заблагорассудило распорядиться так, чтоб ни одна из плывущих по реке барок и лодок отнюдь не осмеливалась переплывать за паромный ход, покуда не свалит весь народ. Сказано — сделано: барки и лодки остановились и оцепенели, как очарованные. Однако одна лодка соскучилась; к величайшему своему несчастию, она обладала способностью анализа и на этом основании решила, что рассуждение начальства неудовлетворительно и что, покуда машина нагружается, сотни лодок могут очутиться по другую сторону паромного хода. Но начальство немедленно подняло гвалт и откомандировало своего дантиста для преследования и наказания ослушника. До сих пор все в порядке вещей, и я, конечно, не остановился бы на таком общеизвестном и общепонятном факте, если бы рядом с формальным его проявлением не раскрывался и внутренний его смысл, высказавшийся как в положении, принятом преследуемым, так и в отношении к нему толпы, теснившейся на пароме.

Преследуемый, как только завидел дантиста, не пустился наутек, как можно было бы ожидать, но показал решимость духа изумительную, то есть перестал грести и, сложив весла, ожидал. Мне показалось даже, что он заранее и инстинктивно дал своему телу наклонное положение, как бы защищаясь только от смертного боя. Ну, натурально, дантист орлом налетел, и через минуту воздух огласился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими наизнанку человеческие внутренности.

А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошень его! хорошень его!» — неистово гудела тысячеустая. «Накладывай ему! накладывай! вот так! вот так!» — вторила она мерному хлопанью кулаков. Только один нашелся честный старик, который не вытерпел и прошептал: «Разбойники!» — но и тот, заметив, что я расслышал невольный его вздох, как-то изменился в лице и стал робко пробираться сквозь толпу на ту сторону парома.

Разберем этот факт логически.

Ни слова о действии паромного начальства: оно поступило здесь... как бы потемнее выразиться?.. ну, да поступило по

соображению с обстоятельствами дела и идеею собственного своего величия...

Исследованию нашему подлежат собственно два предмета: положение преследуемого и отношение толпы к происшествию.

Для чего преследуемый не пошел наутек, для чего он сложил весла? — для того, что он фаталист, что он видит вдали силу и вперед убежден, что от силы не скрыть ему своего тела нигде. Почему он фаталист, почему он верит в вечное, неотразимое торжество силы, он сам этого не объясняет себе, но он чувствует паническое ошеломление при одном появлении силы, но он, как кролик при виде боа, сидит недвижим и как бы очарован до тех пор, пока чудовище не поглотит его.

Однако и он вздумал же однажды протестовать и, несмотря на запрещение, все-таки переплыл по ту сторону паромного хода. Что означает этот факт? А то, и только то, что ему не безызвестно из практики, что не всегда же сила дерется, но иногда и улыбается, что иногда она благодушна и согласна удовольствоваться тем, что обругает непотребно, но до зубов не коснется. Вот на эту-то приятную случайность, на эту-то возможность улыбки он и рассчитывал.

Но для чего же он дает своему телу наклонное положение, и притом такое, чтоб голова, то есть именно та часть тела, которая всего более представляет шансов для смертного боя, была по возможности защищена? Неужели смерть не составляет для него высшего блага? Неужели и он еще дорожит жизнью? Нет, он не дорожит ею с разумной точки зрения, то есть не видит в ней блага, одному ему принадлежащего, блага, которым никто посторонний не имеет права располагать по своему произволу; но он дорожит ею инстинктивно, дорожит, потому что жил вчера, живет нынче, надо же и завтра жить. Он трус и не пойдет открыто навстречу смерти, но встретит смерть равнодушно, когда она сама придет к нему, откуда бы и почему бы она ни пришла (время ли тут справляться, когда умирать надо!), и еще равнодушнее, или, лучше сказать, ходчее, натуральнее встретит, если она придет к нему как логическое последствие целого ряда фактов, каковы, например, побои. Возьмем хотя настоящий случай: здесь преследуемый укрывает от ударов свою голову, но почему? — потому, и только потому, что он еще не знает, потребуется ли она. Потребуйся эта голова — ничего, он и ее вытащит и будет только охать да взывать к батюшкам и матушкам, но защищаться не станет ни под каким видом — слишком учтив! И выйдет тут умертвие — и больше ничего!

От преследуемого перейдем к толпе.

Скажите, бога ради, благосклонный читатель, отчего ее не прорвало при виде этой гнусной расправы с одним из своей среды? Ужели она не доросла, по крайней мере, до того сознания, что нельзя же наказывать не только смертным, но и никаким боем, и не только такое преступление, как, например, нарушение бессмысленного приказания паромного унтер-офицера, но и всякое другое преступление, хотя бы оно было во сто раз тяжеле, хотя бы отданное приказание было не бессмысленно и отдал его не унтер-офицер, а сам Удар-Ерыгин? Положа руку на сердце, я полагаю, что именно оттого ее и не прорвало, что она не доросла даже до этого понятия. Опять-таки повторяю: такого рода понятие доступно вам, любезные читатели, вам, которые занимались самоусовершенствованием в тиши кабинета, в сообществе книжек или сочувственных вам людей, под условием взаимного обмена мыслей и чувств, но недоступно грубой толпе, которая из-за куска насущного хлеба потела и выбивалась из сил, вскидывая вилами навоз на телеги и потом раскидывая его по полям.

Но, сверх того, толпа имеет ту же непреклонную веру в роковую неизбежность силы, как и сам преследуемый. Она живет не под влиянием умозрений, но под влиянием действия эмпириков и шарлатанов, которые научили ее горькому житейскому опыту.

Один утешительный факт — это старик, который вздохнул: «Разбойники!» Но нет, и он безобразен. Как он подло стушевался, как только заметил, что вздох его кем-то расслушан! как робко, с каким наивно-гнусным видом стал он и подмигивать, и подсмеиваться, и тишком-тишком пробираться на другую сторону парома, чтоб не обвинили его в христианском сочувствии к ближнему! Положим, что в его понятиях я был одним из тех, против которых он осмелился протестовать — что ж из этого? Или протестовать можно только втихомолку? Или уж такая печать роковая положена, в силу которой самое праведное негодование разрешается лишь кукишем в кармане?

Вот тебе младший наш Глупов, вот тебе наш Иванушка!

По этому случаю мне вспомнился другой анекдот, рассказанный мне когда-то некоторым глуповским старожилом. «Жили да были в нашем Глупове два соседа: Иван богатый да Иван бедный. Много было добра всякого у Ивана богатого, а еще больше было у него зависти; у Ивана же бедного только и богатства было, что лошадь пегая. Вот только и полюбись Ивану богатому этот пегашко; пристал к соседу: продай да продай своего живота. Однако Иван бедный заупрямился: не размыслил, стало быть, поначалу, что если сильному да богатому чего захочется, так уж, значит, так тому и быть. «Ладно

же,— говорит Иван богатый,— не хочешь за деньги отдать — отдашь даром; не хочешь честью разделаться — разделаешься бесчестьем!» И возненавидел он его, сударь мой, пуще ворога лютого и стал с тех пор наше общество на него напущать. Соберемся, бывало, на сходку — сборщика или там добросовестного выбирать — кого выбрать? «А чего ж лучше Ивана бедного?» — говорит Иван богатый. «Катай Ивана бедного!» — вопят глуповцы. Случится ли воровство по соседству (уж и лихи наши глуповцы воровать!) — на кого подозрение положить? «Уж это беспременно Иван бедный украл! — говорит Иван богатый,— потому он человек неимущий, и, кроме его, некому промеж нас этим ремеслом заниматься!» Одно слово: тошно стало жить Ивану бедному; прежде был он неимущим, а теперь и вовсе разорился. Выйдет, бывало, за ворота, лохматый да испитой, глазами вперед упрется, словно сам дивуется, как это еще жизнь в нем держится. Наши глуповские ребята про все это знали и очень Ивана бедного жалели. И сколько раз жалеючи ему говаривали: «Поди ты, Ванюшка, к своему ворогу: простит он, это верно — простит!» Однако он все еще крепился; скажет, бывало, советчикам: «Подлецы вы!» — и отойдет прочь. Хорошо. Вот только пала однажды к нам весть о рекрутчине; собралась это сходка, и, натурально, прежде всех за недоимщиков принялись. Горланил больше Иван богатый. «Эти недоимщики, говорит, всему нашему обществу поношение: от Ивана-то бедного, поди, лет за пять уплаты никакой нет!» Стали судить да рядить и приговорили Ивана бедного, как гражданина нерадивого и порочного, отдать в солдаты без очереди. Узнал это наш Ванюшка, словно с колокольни спрыгнул. Прибежал это на сходку: и прощения-то просит, и обзывает-то непотребно; однако ребята наши на своем стали: «отдать да отдать Ивана в солдаты!» — твердят. А у Ивана жена в нетопленной избе голосом голосит, у Ивана малые дети верезгом верезжат... Смирился-с. Не только пегашку Ивану богатому на двор свел, а, сказывают, даже не мало в ногах у него убивался И вот, сударь, живет теперь наш Иван припеваючи, и стал он даже Иванычем. Иван-то богатый за смиренство не токма что продерзость его прежнюю простил, а даже заместо благодетеля ему сделался... Ан и выходит, что ласковое-то теля две матки сосет, а гордому-то да строптивому и одна сосать не дает»...

Ан и выходит... выходит, что ли, достойный сын Глупова?

А может быть, ты скажешь мне, что при таких условиях жить невозможно. «Невозможно» — это не совсем так, а что «противно» жить — это верно.

. . . . . .

Вот, однако ж, до чего мы договорились с тобой. Мне стало грустно, да и читателю, быть может, не совсем весело. А между тем мне не хочется оставлять читателя в мрачном расположении духа, мне хочется во что бы то ни стало развеселить его.

И в самом деле, из-за чего тебе мучиться, благосклонный мой читатель! И без того слишком одолевают тебя мелочи и дрязги жизни, мелочи и дрязги действительные, дающие себя знать и пощипываниями, и покалываниями, чтоб к ним прибавлять еще дрязги воображаемые, какие-то дрязги будущего. Ты берешь книгу в руки, чтоб развлечься, чтоб отогнать от себя жизненный кошмар, который так аккуратно давит тебя, а тебя потчуют новыми кошмарами, тебя приглашают о чем-то побеспокоиться, над чем-то задуматься, а пожалуй и помучиться...

Итак, будем смеяться.

Передо мной вереницей проходят мимо мои отставные герои: Фейеры, Живновские, Чебылкины, Порфирии Петровичи — то-то смешные люди... Ха-ха!

Передо мной проходит Аринушка, но уже без сумы, потому что ее украл Фейер, чтоб воспользоваться объедком пирога, который кинула в нее рука нищелюбивого купца Хрептюгина... Ха-ха!

Передо мной проходит скитник, бежавший от мира прелестного в пустыни и расседины земные и мирно оканчивающий свой подвиг в остроге... Ха-ха!

Передо мной проходит мой глубокомысленный критик, который обвиняет меня в том, что я вывожу наружу плутни становых (как будто я что-нибудь вывожу, как будто я кого-нибудь обличаю, или обрываю, или упрекаю, или бью по щекам, а не просто описываю и изображаю... о, милый Глупов!), а не вывожу наружу плутней повыше... Ха-ха!

Передо мной проходит моя собственная персона, возражающая вышеупомянутым критикам: «Кто же вам мешает, друзья, прикидывать, сравнивать и прилагать? дерзайте, дети, дерзайте!»... Ха-ха!

Глупов! милый Глупов! отчего надрывается сердце, отчего болит душа при одном упоминовении твоего имени? Или есть невидимое, но крепкое некоторое звено, приковывающее мою судьбу к твоей, или ты подбросил в питье мое зелье, которое безвозвратно приворожило меня к тебе? Кажется, и не пригож ты, и не слишком умен; нет в тебе ни природы могучей, ни воздуха вольного; нищета да убожество, да дикость, да насилие... плюнул бы и пошел прочь! Ан нет, все сердца к тебе несутся,

все уста поют хвалу твою! Странная какая-то творится тут штука: подойдешь к тебе поближе, вкусишь от винограда твоего — тошнит: чувствуешь, как въяве дураком делаешься; уйдешь от тебя — плачешь: чувствуешь, что вдруг становишься словно не самим собою!

Отчего же несутся к тебе сердца? отчего же уста сами собой так складываются, что поют хвалу твою? А оттого, милый Глупов, что мы все, сколько нас ни есть, мы все плоть от плоти твоей, кость от костей твоих. Всех-то ты прикормил, всех-то ты воспитал, всех-то ты напоил от многообильных вод реки Большой Глуповицы,— как же нам не любить тебя? Это нужды нет, что иногда словно тошнит: тошнота-то, милый человек, ведь своя родная, прирожденная, так сказать, тошнота! Ну, потошнит-потошнит, да и пройдет! Это нужды нет, что временем словно обухом по голове тебя треснет: обух-то ведь свой, глуповский обух, тот самый обух, который действует по пословице: «кого люблю, того и бью»,— бери же его благоговейно в руки и целуй! Свое и бьет как-то не больно, и смердит не совсем чтоб неестественно! А все оттого, милый ты человек, что любовность везде в-очию присутствует, что и сечем-то мы не зря, а тоже приговариваем: «Не груби, не балуй, сударь, сиди смирно, будь послушлив!»

Многим это не нравится; многие предпочли бы, пожалуй, чтоб было поменьше любовности да побольше расчетливости в действовании обухом; для многих обух даже вовсе не составляет прелести... Дивлюсь развращенности вкусов и не возражаю! Но не могу, однако ж, умолчать, что я, с своей стороны, признаю мой Глупов всецело, со всеми его особенностями и даже с его собственным запахом. Какой же это был бы Глупов, спрашиваю я, если бы обитателей его не тошнило, если бы они не были слегка пришибены? И были ли бы мы, сыны Глупова, так безмятежно благополучны, так отвратительно счастливы, если бы нам предлагали какие-то «проклятые» вопросы, если бы нас заставляли делать сочинения на темы вроде: «восход солнца в Глупове» или «сила любви к Глупову»?

И какие могли бы мы дать ответы на вопросы, кроме того, что «ответов, по тщательному розыску, в городе Глупове не оказалось», или: «ответы были, но в пожар, случившийся в таком-то году, сгорели». А сочинения? Возьмем для примера хоть тему «восход солнца» — что такое восход солнца? Мы не знаем, восходит ли солнце и как восходит в городах Умнове и Буянове, а в Глупове это тот самый момент, когда, по преимуществу, сгущаются в жилых покоях ночные звуки — и больше ничего. Коли хотите, это определение голо́ и как-то пахуче-

просто, но зато оно наглядно и точно, но зато тут ни одной черты нельзя ни убавить, ни прибавить. Об чем же тут сочинять? Или опять насчет любви — что такое любовь к Глупову? Откуда любовь? где ее седалище? за что любовь? почему любовь? А кто ж его знает, откуда, где, за что и почему! Любим — и все тут! Глупов, выспживая нас, не говорил, люби меня за то, что я, дескать,—

Хорош,
Пригож,
Прекрасен суть,—

а приказывал:

Ах, люби меня без размышлений...

(да и «ах» не говорил, а попросту выражался: «люби не люби, а подплясывай!») — вот мы и любим без размышления: родители любили, и мы любим!

Что тут думать! я твоя, ты мой!

Какие же тут могут быть еще сочинения?

Повторяю: Глупов нравится мне всецело, со всеми особенностями. Я открыто, перед лицом целой вселенной, признаю себя гражданином Глупова и ничего-таки не стыжусь, потому что это дело уладили papa и maman, а я только с благодарностью принял его последствия. Я знаю Глупов, и Глупов меня знает, и мы любим друг друга, и мы счастливы! Мы взглянем друг на друга — и рассмеемся. «Ты чему, дурашка, смеешься?» — спросит меня Глупов. «А ты чему, тятька, смеешься?» — спрошу и я, в свою очередь. И оба удовлетворимся, и оба вздохнем легонько.

Или опять: Глупов покажет мне палец — я зарадуюсь; я покажу Глупову палец — он зарадуется. «Ну, чему ты, дурашка, радуешься?» — спросит меня Глупов. «А ты чему, тятька, радуешься?» — спрошу и я, в свою очередь. И опять оба довольны, и опять вздохнем легонько. Нет, воля ваша, а я именно счастлив, что papa и maman вздумалось в лице моем подарить Глупову лишнего гражданина!

Und ich war in Arcadien geboren... [1]

Да, и я сын Глупова, и я катался как сыр в масле, что, как известно, и составляет настоящую, неподдельную глуповскую Аркадию. Я жил этою жизнью, я упивался производящим сгущение крови вином ее; нет того места в моем организме, которое не было бы вкладце уязвлено тобою, о Глупов!

---

[1] И я в Аркадии родился...

Не верьте же, добрые мои сограждане, не верьте тому супостату, который станет внушать вам, будто я озлоблен против вас, будто я поднимаю вас на смех! Во-первых, я столько раз повторял вам: люблю, люблю и люблю, что сомнение в истинности моих чувств было бы даже обидно: не лгу же я в самом деле? А во-вторых, откуда возьму я злобы против того, что составляло и составляет основу моего существования? Откуда возьму я силы отречься от прошлого, которое, как коррозивный меркурий, проникает все поры моего настоящего? Успокойтесь же, глуповцы, и внимайте мне с благодушием!

Если я посвящаю вам досуги свои, если я подношу вам свои сочинения, я делаю это потому, что желаю порадовать вас моими успехами, желаю, чтоб вы погладили меня по головке, чтоб вы сказали: вот, мол, какой у нас сынишка шустрый растет, книжки сам сочиняет! А если в этих книжках вы заметите что-нибудь... то, бога ради, не останавливайтесь на этой горькой мысли! верьте, отцы мои, что это только от усердия, что, в сущности, все мои усилия направлены только к тому, чтоб пощекотать у вас брюшко! В этом заключается вся моя претензия, и дальше ее я не иду.

Да если бы я и хотел идти — кто меня пустит? Вы, глуповцы, народ хоть и смирный, но, с другой стороны, и упрямый. Вы охотно допустите, чтоб кто ни на есть (разумеется, тот, кому на это право дано) собственноручно в вашей физиономии симметрию поправил, но не очень долюбливаете, когда кто-нибудь вам очень близко в душу заглянет, да, пожалуй, еще посягнет на ваше лучшее достояние — на ваш сон. Чего доброго вы соберетесь с силами, да и пожалуетесь!

Итак, примите меня благосклонно и не думайте, что я домогаюсь чести быть вашим учителем! Я только заношу, что между вами происходит, я описываю ваши нравы и обычаи, ваши горести и увеселения, ваши досуги и сновидения,— сделайте же милость, почивайте себе с миром и не фискальте на меня!

Я отнюдь не упрекаю вас за то, что вы не заводите в среде своей общества трезвости, и отнюдь не настаиваю на том, чтоб вы прониклись духом благодетельной устности! Я только заявляю, что в вас нет ни трезвости, ни устности, и даже не прибавляю от себя, нахожу ли этот факт печальным или радостным (откупщик находит его радостным). Сделайте же милость, не считайте меня зараженным каким-то новым духом и не фискальте на меня!

О новом духе, признаюсь вам, я даже понятия не имею. Слышал я, правда, как генерал Зубатов кому-то из приближенных говорил:

— Толкуют там: новым духом веет! новым духом веет! Каким это новым духом, желал бы я знать! Только лакеи стали грубить, а то все остается по-старому.

Итак, будем жить в мире и добром согласии. Пусть младшие уважают старших, а старшие утешаются младшими. Пусть старшие, взирая на младших, говорят: «Кость от костей моих», а младшие пусть отвечают: «Как прикажете-с!» Да не будет между нами ни раздоров, ни распрей, да не будет ничего подобного тому, что случилось намеднись за морями, в городе Буянове, где сын отцу в глаза сказал: «Не дури, тятька! разобью зубы!» Да не будет!

ГОСПОЖА ПАДЕЙКОВА

В конце не помню уж какого года, но только не очень давно, случилось происшествие, которое в особенности поразило умственные способности Прасковьи Павловны Падейковой.

А именно, двадцатого ноября, в самый день преподобного Григория Декаполита, собственная, приданая ее девка Феклушка торжественно, в общем собрании всей девичьей, объявила, что скоро она, Феклушка, с барыней за одним столом будет сидеть и что неизвестно еще, кто кому на сон грядущий пятки чесать будет, она ли Прасковье Павловне, или Прасковья Павловна ей.

О таковой, распространяемой девкой Феклушкой, ереси ключница Акулина не замедлила доложить Прасковье Павловне.

Но прежде нежели продолжать рассказ, необходимо сказать несколько слов о героине его.

Госпожа Падейкова — женщина лет сорока пяти и в целом околотке известна как дама, которой пальца в рот не клади. Оставшись после мужа вдовой в весьма молодых летах и будучи еще в детстве воспитана в самой суровой школе («я тандрессов-то этих да сахаров не знала, батюшка... да!» — отзывалась она о себе в минуты откровенности), Прасковья Павловна мало-помалу приучилась к полной самостоятельности в своих действиях, что, однако ж, не мешает ей называть себя сиротою и беззащитною, в особенности если разговор коснется чего-нибудь чувствительного. В ее наружности есть нечто мужественное, не терпящее ни противоречий, ни оправданий. Высокая и плечистая, она сложена как-то по-мужски, голос имеет резкий и повелительный, поступь твердую, а взор светлый и до

того проницательный, что, наверно, ни одна дворовая девка не укроет от него своей беременности. Прасковья Павловна вдовеет честно, то есть без малейшей тени подозрения насчет кучера Фомки или повара Павлушки, и потому в действиях ее царствует совершенное нелицеприятие, что бывает редко в тех случаях, когда сердце барыни, уязвленное поваром Павлушкой, невольным образом разделяет все его дворовые ненависти и симпатии. Приятно видеть, как она сама за всем присматривает, сама всем руководит и сама же творит суд и расправу, распределяя виновным: кому два, кому три тычка. Велемудрых иностранных очков она не носит и, будучи с детства поклонницей патриархального воззрения, с большою основательностью полагает, что ничто так не исправляет ленивых и не поощряет ретивых, как тычок, данный вовремя и с толком.

— Не нужно только рукам волю давать,— говорит она соседям, приезжающим к ней поучиться мудрому управлению имением,— а то как не наказывать — не наказывать нельзя!

Понятно, что при такой самостоятельности действий, посреди общего, никогда не нарушаемого беспрекословия, поступок Феклушки должен был сильно взволновать Прасковью Павловну.

— Кто тебя волтерианству научил? — спросила она Феклушку, поставив ее пред лицо свое и предварительным телодвижением дав ей почувствовать разницу между действительностью и утопией,— отвечай, кто тебя волтерианству научил?

Феклушка сначала оробела, но потом пустилась в различные изворотыи доложила барыне, что сам преподобный Григорий Декаполит являлся ей во сне и объявил безотменную свою волю, чтоб она на будущее время всякое кушанье серебряной ложечкой ела. Но Прасковья Павловна, хотя и была богомольна, не далась в обман.

— Врешь ты, паскуда! — сказала она,— станет преподобный к тебе, холопке, являться!.. Сослать ее, мерзавку, на скотный двор!

Сделавши это распоряжение, Прасковья Павловна, однако, не успокоилась.

Переходя от одного умозаключения к другому, она весьма основательно пришла к убеждению, что все эти штуки исходят не от кого другого, как от садовника Порфишки, которого уж не раз и не два заставали вдвоем с Феклушкой.

— Так вот они об чем шушукались! — сказала Прасковья Павловна,— позвать ко мне Порфишку!

Порфишку привели. Должно быть, ему уже было приблизительно известно, в чем должен заключаться предстоящий с барыней разговор, потому что он стал перед Прасковьей Пав-

ловной с решительным видом и, заложив руки за спину, отставил одну ногу вперед. Прасковью Павловну прежде всего поразило это последнее обстоятельство.

— Где у тебя ноги? — спросила она, подступая к Порфишке.

— При себе-с,— отвечал Порфишка, решившись, по-видимому, относиться к барыне иронически.

— Я тебя спрашиваю, где у тебя ноги? — повторила Прасковья Павловна, все решительнее и решительнее подступая к Порфишке.

— Не извольте, сударыня, драться! — отвечал Порфишка, не смущаясь и не переменяя позы.

Прасковья Павловна была женщина, и вследствие того имела душу деликатную. При виде столь дерзкой невозмутимости деликатность эта вдруг всплыла наверх и заставила ее не только опустить подъятые длани, но и сделать несколько шагов назад.

— Долой с моих глаз... грубиян! — сказала она,— не огорчай меня своим присутствием!

Порфишка взглянул на барыню с какой-то грустной иронией, разинул было рот, чтоб еще что-нибудь высказать, но только пожевал губами и, вероятно, отложив объяснение до более удобного случая, вышел. Таким образом предположенное дознание не удалось. После объяснения этого Прасковья Павловна осталась в неописанном волнении. Надо сказать правду, что происшествие с Феклушкой вовсе не составляло для нее столь неожиданного факта, как это можно было бы подумать с первого взгляда. Давно уже по селам и весям носились слухи, бог весть кем и откуда заносимые, что вот-вот все Феклушки, Маришки, Порфишки и Прошки вдруг отобьются от рук, откажутся подавать барыне умываться, перестанут чистить ножи, выносить из лоханей и проч. Сначала Прасковья Павловна подозревала, что слухи эти идут от разносчика Фоки, который по временам наезжал в Падейково с разным хламом и имел привычку засиживаться в девичьей. Вследствие этого Фоке запрещен был въезд в деревню и в то же время приняты были и другие действительные меры к охранению нравственности дворовых. Но слухи не унимались; напротив того, как волны, они росли и высились, принимая, по обычаю, самые прихотливые и фантастические формы.

То будто звезда на небе странная появилась: это значит — Маришка барыне хвост показывает; то будто середь поля мальчик в белой рубашечке невесть откуда взялся и орешки в руках держит и жалобненько так-то на всех глядит: это значит — Димитрий-царевич по душу Бориса царя приходил; то

будто Авдей-кузнец, лежа на печи, похвалялся: «мне-ста, да мы-ста, да вы-ста» и все в том же тоне. Очевидно, что есть что-нибудь, а если что-нибудь есть, то еще очевиднее, что надо принять против этого «что-нибудь» неотложные и решительные меры, надо подумать о том, каким образом встретить невзгоду так, чтоб она не застала врасплох.

Но как ни усиливалась Прасковья Павловна, как ни изощряла свои умственные способности, однако ничего, кроме розги, выдумать не могла.

«Так бы, кажется, и перепорола всех»,— думала она по временам, и думала совсем не потому, чтоб была зла, а единственно потому, что смысл всех завещанных ей преданий удостоверял ее в том, что в розге заключается глубокое нравственно-дидактическое таинство.

Поступок Феклушки и Порфишки окончательно расстроил ее.

«Как! — думала она, тревожно расхаживая по зале,— какой-нибудь скверный холопишка смеет говорить со мною, отставивши ногу вперед!»

В это время истопник Семка, полукалека, полуидиот, явился в комнату, неся на спине беремя дров, которые с грохотом рассыпались по полу.

«Вот и этот, чай, барином будет!» — полупрезрительно, полуиронически сказала про себя Прасковья Павловна, останавливаясь перед Семкой.

— Семка! скоро и ты, чу, в баря выдешь!

Семка бессмысленно засмеялся и замотал головой. Прасковье Павловне показалось, что он уже сочувствует Феклушке и Порфишке.

«Нет, видно, во всех этот *яд* уж действует!» — подумала она и вслух прибавила:

— Что ж, хочется, что ли, Семка?

Семка загоготал и утерся рукавом своей пестрядинной рубашки.

— Вон, подлец! — крикнула Прасковья Павловна и вне себя выбежала в девичью.

— Девки! сейчас все до одной молитесь богу, чтоб *этого зла* не было! — сказала она.

Но не успели еще девки исполнить приказание ее, как к крыльцу подъехала повозка, запряженная тройкой лошадей. Оказалось, что приезжий был некто Гаврило Семеныч Грузилов, сосед Падейковой, служивший вместе с тем заседателем от господ дворян в М. уездном суде.

Грузилов, хотя и находился в былые времена в военной службе, где, с божьею помощью, дослужился даже до прапор-

щичьего чина, но, за давно прошедшим временем, все, что было в наружности его напоминающего о поползновениях воинственности, улетучилось; и в нем, как он сам выражался, никаких военных аллюров не осталось, кроме некоторой слабости к старику-ерофеичу. Вообще, он принадлежал к числу тех благонравных мелкопоместных дворян, которые, в присутствии сильных и богатых помещиков, скромно жмутся в углу или около печки, заложив одну руку за спину, а другую приютивши где-то около пуговиц форменного и всегда застегнутого сюртука.

— А, Гаврило Семеныч! откуда, сударь, пожаловал! — сказала Прасковья Павловна, идя навстречу входящему Грузилову,— а у меня, батюшка, здесь между девками вольность проявилась... конституциев, видишь, хочется! Вот я вам задам *ужо конституциев*!

— Точно так-с, Прасковья Павловна,— осмелился заметить Грузилов,— точно так-с; нынче это промежду них модный дух... так точно, как бы сказать, между благородными людьми мода бывает!

— Вот я эту моду *ужо* повыбью! — отвечала Прасковья Павловна и повела гостя во внутренние покои.

— Я к вам, Прасковья Павловна, с дельцем-с,— таинственно проговорил Грузилов, едва держась на кончике стула и беспокойно поглядывая на полуотворенную дверь, мимо которой беспрестанно шмыгали дворовые девки.

Прасковья Павловна изменилась в лице.

— Что такое? — спросила она дрожащим голосом, уже предчувствуя беду.

— Гм... точно-с... известие-с... до всех касающе...— пробормотал Грузилов, сам инстинктивно робея.

— Да ты не гымкай, а говори, сударь, дело! — сказала с сердцем Прасковья Павловна.

Грузилов снова с беспокойством взглянул на дверь, где, как ему показалось, торчали две женские головы, очевидно желавшие подслушать барский разговор.

— Перметте́... ле порт? [1] — сказал он решительно, хотя до настоящей минуты отроду не выговаривал ни одного французского слова.

— Ферме́ [2],— отвечала Прасковья Павловна.

Грузилов припер дверь поплотнее.

— Имею честь доложить,— сказал он вполголоса,— что на сих днях *оно* уж кончено, то есть решено и подписано-с!

---

[1] Позвольте... дверь?
[2] Затворите.

— Как решено? кем подписано? да говори же, сударь, говори!

— Так точно-с; для *них*, можно сказать, все счастие составили-с!

— Парле франсе́ [1],— сказала Прасковья Павловна, поднимаясь с дивана и подступая к Грузилову,— де ки, де ки саве́? [2]

— Семен Иванович вчерашнего числа достоверное известие получили-с.

Прасковья Павловна с глухим воплем опустилась на диван. Грузилов засуетился около нее.

— Матушка Прасковья Павловна! — говорил он несколько ослабнувшим от страха голосом,— матушка, не сердитесь! бог даст, все по-прежнему будет!

Прасковья Павловна, упершись в спинку дивана и зажмурив глаза, безмолвствовала.

— Не прикажете ли из девок кого-нибудь позвать? — продолжал растерявшийся Грузилов.

Но Прасковья Павловна по-прежнему безмолвствовала, Грузилов бросился к двери.

— Ах нет! — вскрикнула Прасковья Павловна томным голосом.

— Успокойтесь, матушка! — утешал Грузилов.— Семен Иванович сказывали, что все это только так-с, предварительно-с... для того только, чтоб французу по губам помазать... Да прикажите же, сударыня, девку-то позвать!

— Ах нет, Гаврило Семеныч! — отвечала Прасковья Павловна,— зачем их беспокоить! бог знает, может быть, еще нам с тобой придется за ними ухаживать!

— Уж это не дай бог-с,— уныло молвил Грузилов.

— Нет уж, нет... нет, нет, нет! с нынешнего дня, с нынешнего дня!.. это! горько! — восклицала Падейкова, томно устремляя глаза к небу.

— Успокойтесь же, матушка! — увещевал между тем Грузилов,— все это слух один-с... И в древности Сим-Хам-Иафет были-с, и на будущее время нет им резона не быть-с!

— Нет, Гаврило Семеныч,— сентиментально продолжала Прасковья Павловна,— я вот как скажу: с нынешнего дня я всю мою надежду на бога возложила,— как он, царь небесный, положит, так пусть и будет... Только уж я в обиду себя не дам! — прибавила она совершенно неожиданно.

Грузилов молчал.

---

[1] Говорите по-французски.
[2] от кого, от кого узнали?

— Я еще давеча чувствовала, что готовится что-то ужасное! даже сон был какой-то странный... Всегда видишь во сне что-нибудь приятное: или по ковру ходишь, или по реке плывешь, или вообще что-нибудь на пользу делаешь, а нынче просто-напросто привиделось какое-то большущее черное пятно: так будто и колышется перед глазами! то налево повернет, то направо пошатнется, то будто под сердце подступить хочет...

— Это точно-с, что сон несообразный,— заметил Грузилов,— а впрочем, не всегда сны вероятия достойны, сударыня! Не далеко искать, жена-покойница видела, примерно хоть нонче, будто, с позволения сказать, в грязи погрузла, ну и думали мы тогда, что это значит — наследство получить; ан, заместо того, она назавтра преставилась-с!..

— Нет, Гаврило Семеныч, мой сон правду говорит... я это вижу! Ну что ж, и пускай все будут дворянками! Вот завтра позову всех, и Феклушку позову... ну, и скажу им: теперь, девки, уж не мне вами командовать, а вы командуйте мной! вы теперь барыни, а я ваша холопка! Только прелюбопытно это будет, Гаврило Семеныч, как это они за команду-то примутся? Ведь они это дело как понимают? По-ихнему, сидеть бы сложа руки, чтоб все это им даром да шаром... а того и не подумают, мерзавки, что даром-то и прыщ на носу не вскочит: все сначала почешется.

— Это точно-с.

— Поэтому-то я и говорю, что в этих случах всего вернее на бога упование возлагать. Вот и давеча: точно меня в грудь кольнуло; сижу я одна и все говорю: «Что батюшка царь небесный захочет, то и сделает! мы ему не то что тела, а и души, и платье, и дом... и все, словом сказать, в безотчетность препоручить должны!» Так вот и говорю, и сама не знаю, что̀ со мной сделалось, а только все говорю, все говорю! а в груди-то у меня так и колет, словно вот кто меня сзади подталкивает: смотри, дескать, все это не даром! сокрушат твое счастие! Так оно и случилось. Нет, Гаврило Семеныч, меня предчувствия никогда не обманывают... никогда!

Очевидно, что Прасковья Павловна, незаметно для самой себя, понемногу вошла в тот фазис душевного состояния, когда постигшее человека несчастие мало-помалу отодвигается на задний план, а вперед выступает бесконечное самоуслаждение своими собственными соболезнованиями. Она, если можно так выразиться, смаковала свое горе, прислушиваясь к своим речам, и, внезапно вообразив себя чем-то вроде кроткой страдалицы, искренно начала чувствовать то приятное расслабление во всем организме, которое, как известно, предшествует всем подвигам самоотвержения.

— Нет, видно, уж нам на роду так написано! — продолжала она, улыбаясь довольно ласково и трепля Грузилова по плечу,— видно, уж мы неугодны стали, а угодны стали холопки. Вон у меня их с тридцать в девичьей напасено: хоть всех делай дворянками... с богом! Так-то, Гаврило Семеныч, так-то, почтенный мой! возьмемся-ка мы с тобой за соху и станем землю ковырять! Что ж, ведь коли по правде говорить — хуже-то нам от этого не будет, еще для души что-нибудь полезное сделаем... А то это хозяйство да хлопоты — только грех с ними один!

Грузилов усмехнулся; он сам начинал мало-помалу расплываться и сочувствовать идиллическому настроению души Прасковьи Павловны.

— Это вы справедливо насчет греха изволили заметить,— сказал он,— грех точно есть-с, потому что в хозяйстве, дело известное, без того нельзя, чтоб без рук-с... Ну, и кровь от этого самого портится, а уж жизнь как сокращается, так это именно, можно сказать, как только бог по грехам нас поддерживает!

— Ну, вот видишь ли! стало быть, и правда моя, что все это к нашему же добру ведет!.. Наймем вот у своих же крестьян землицы, да и станем жить да поживать... Конечно, тогда уж сладкого куска не требуй, а будь сыт, чем бог послал,— зато греха меньше будет! Вот мы служили-служили мамону, а что выслужили? Может, за мамон-то нас бог и наказывает!

При слове «мамон» Грузилов вспомнил, что он еще не завтракал, но сказать об этом Прасковье Павловне не осмелился. С своей стороны, хозяйка умолкла и несколько минут сидела, потупивши голову и перебирая пальцами.

— А мудреное будет дело-с! — сказал наконец Грузилов.

Прасковья Павловна ожила.

— Да уж так-то, сударь, мудрено,— сказала она, снова приходя в волнение,— что я вот думаю-думаю и никак-таки придумать не могу! И так прикинешь, и так повернешь — и все как-то ничего не выходит! Ну, ты возьми, сударь, подумай! Все, что ли, барями будут? Все, что ли, хорошие кушанья есть будут? Так ведь про них хорошего-то не напасешься — пойми ты это! Да опять и то: если бы и можно было доподлинно напастись, так ведь они, можно сказать, озорством все разбросают! Не то чтоб кротким манером сесть за стол да поесть чем бог послал — он, сударь, будет только глотку свою драть: подавай ему и того и сего, и индюшечку-то подай, и теленочка-то зарежь, и капустки-то наруби... да божье-то добро, вместо того чтоб в рот брать, он под стол да под лавку!..

— Это истинно-с! Вот у меня кучер Прохор — изволите, чай, знать? — так он, коли хмелинка у него в голову попадет, так-таки никак в рот куском попасть не может, а все, знаете, мимо сует... презабавно на него в ту пору смотреть бывает!

— Ну, вот видишь ли! а он теперь еще в страхе находится: что ж это будет, коли на него и страху-то уж не станет! У меня вот Семка-дурачок есть, так он даже и есть-то путем не попросит, коли посторонние не накормят... ну, и он, стало быть, барином сделается?

— Да-с, это будет любопытно-с,— отвечал Грузилов, хихикнув от удовольствия.

— Нет, ты не смейся! — сказала Прасковья Павловна строго,— это дело слез, а не смеха стоюще! Мое теперь дело сторона, а я больше об них жалеючи говорю. Ты возьми, сударь, то в расчет, что у них и натура так создана, что они больше, как бы сказать, к тяжелым трудам приспособлены, а не то чтоб к нежностям да к музыкам или там об душе что-нибудь побеседовать... Ведь это, значит, в них уж не человеческое, а релегеозное! Стало быть, если у них эти телесные упражнения отнять, что же из этого будет? одно забвение, и больше ничего!.. Ну, опять и то подумай: что ж, значит, мы, дворяне, после этого будем? Теперь, как у меня что есть, так всякий это видит, всякий, значит, и уважает меня как дворянку! А как ничего-то у меня не будет, кто же мне, как дворянке, уважение сделает? Ведь на лбу-то у меня не написано, что я дворянка! Что одета-то я почище — так нынче мещанки-то лучше дворянок еще одеваются! Всякий, значит, и скажет: какая ты дворянка! пошла, скажет, голубушка, прочь!

Прасковья Павловна проницательно посмотрела в глаза Грузилову.

— Вот и служили мамону,— сказала она,— вот и дослужились!

При вторичном напоминании слова «мамон» Грузилову сделалось нестерпимо тоскливо. На этот раз он даже решился преодолеть природную свою робость и напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства.

— Матушка Прасковья Павловна,— сказал он, заикаясь,— не соблаговолите ли... закусить что-нибудь?

— Не знаю, сударь, не знаю, как теперь и приказывать! Попроси разве сам дворянок-то: может, и дадут что-нибудь из милости! Я теперь и насчет себя ничего не знаю! будут они мою ласку помнить — ну, дадут что-нибудь: рыбки, что ли, солененькой, огурчиков, что ли! а не будут — и не евши день просижу... А уж перед холопками своими унижаться не стану!

Однако ж ожидания Прасковьи Павловны не сбылись. И закуска, и вслед за тем обед были поданы, как обыкновенно, без всякого замешательства. Грузилов ел с величайшим аппетитом, хрустел зубами, щелкал языком и причмокивал губами. Нельзя сказать того же о Прасковье Павловне: она почти все время исподлобья следила за движениями лакея Федьки и вслед за каждым проглатываемым куском приговаривала: «Ну вот, может быть, и в последний раз так едим!» Иногда аппетит ее даже совсем пропадал, и она с досадой бросала на стол вилку и ножик и отодвигала от себя тарелку с непочатым еще кушаньем.

— Прах побери, да и совсем! — восклицала она восторженно,— пусть все пойдет прахом; пусть все пойдет прахом!

В этот же день, вечером, по отъезде Грузилова, когда девка Маришка доложила барыне, что постелька их уж готова, Прасковья Павловна взглянула на нее как-то особенно кротко и сказала:

— Нет уж, Мариша, я разденусь сама' где мне тебя беспокоить... поди почивать! — Маришка остановилась в недоумении.— Или тебе меня жалко? — продолжала Прасковья Павловна,— ну, что ж, если у тебя такое доброе сердце, что ты хочешь раздеть свою барыню — раздень, я препятствовать не стану!

Ночью привиделся Прасковье Павловне сон.

Снилось ей, будто она пожалована в скотницы и доит преогромную корову. Только доит она и никак не может ее выдоить, а между тем сзади стоит Порфишка и приговаривает: «Доить тебе всю жизнь и не отдоиться, доить и не отдоиться!» Она будто бы хочет вскочить и замахнуться на Порфишку — не тут-то было: ноги словно приросли к земле, хотя самое ее так и подмывает, так и подмывает.

— Это, матушка, значит, деньгам переводу не будет,— объяснила ей ключница Акулина, которой она имела привычку сообщать свои сны.

— Ах, уж какие теперь, Акулинушка, деньги! — сказала Прасковья Павловна и потихоньку при этом вздохнула.

Надо, однако ж, сознаться, что в девичьей не преминули воспользоваться нравственной переменой, происшедшей в Прасковье Павловне. По уверению Акулины, девки совсем от рук отбились, а Порфишка безвыходно поселился в девичьей и с утра до вечера тем только и занимался, что играл в гармонию и нашептывал девкам любезности, от которых они мгновенно шалели. Однако Прасковья Павловна только покачивала головой, когда ей докладывали обо всех этих беспорядках, и, не делая никаких распоряжений, уныло говорила: «Это

еще что! дай сроку, и не то еще будет!» Одним словом, из прежней деятельной и бойкой барыни Прасковья Павловна превратилась в какую-то институтку-мечтательницу: по целым дням просиживала у окна, взглядывая в безграничную даль, и томно при этом вздыхала...

Однажды ей доложили, что пришел староста.

— Ну, что, Авенирушка, скажешь? — обратилась она к нему,— барыню, что ли, свою старую вспомнил?

— Хлеб, сударыня, весь измолотили.

— Ну, спасибо тебе, Авенирушка! спасибо вам, мои голубчики, что старую барыню не оставляете!

— Куда завтра народ гнать прикажете?

— А куда гнать? известно, куда нонче всех гнать велят!.. Нет, Авенирушка, я нонче приказывать не могу... приказывайте лучше вы мне!

Авенирушка неосторожно осклабился; Прасковья Павловна, которая зорко за ним следила, заметила это.

— Ты, кажется, смеяться вздумал? — спросила она его строго,— так я тебе еще докажу, подлец ты этакой, что значит барыню на смех подымать... вон с глаз моих, грубиян!

— Я, сударыня, помилуйте... я ничего... как можно этакому делу смеяться! Этакому делу плакать должно!

Прасковья Павловна несколько смягчилась.

«Вот хорошие-то да благонравные все так говорят!» — подумала она.

— Что же насчет барщины изволите приказать? — приставал староста.

— Нет, Авенирушка, хоть я и знаю, что ты добрый, а приказывать не могу!.. Нет моих сил, Авенирушка!

Очевидно, отношения ее с каждым днем становились тяжелее и натянутее. Самые ничтожные затруднения, которые в былые времена Прасковья Павловна разрешала одним взмахом руки, принимали теперь в ее воображении неприступные, чуть не чудовищные формы. Горькие, безотрадные мысли посещали ее голову во время безмолвного сидения у окна.

«Как же теперь я кушанье сама себе готовить буду? — думала она,— я человек неженный...»

Пробегал ли в это время мимо окна теленок, или петух, взобравшись на кучу навоза, громким голосом взывал к своим хохлатым подругам:

«Стало быть, и это все — им! — думала Прасковья Павловна,— и теленочек, и курочка!»

Проходила ли по двору девка Аришка, исправляющая в доме должность прачки, неся на плече коромысло, обремененное мокрым, сейчас только выполосканным, бельем:

«Успокойся, милая! — думала сама с собой Прасковья Павловна,— успокойся, подлячка! не долго тебе мыть! скоро, очень скоро...»

Но тут мысль ее запутывалась и, незаметно для нее самой, получала такие кудреватые разветвления, что не было никакой возможности уловить их.

Даже преданная Акулина делалась в глазах ее чем-то вроде отогретой у пазухи змеи.

— А ведь ты от меня сейчас же стречка дашь! — говорила она, когда Акулина, видя ее горесть и заботясь об ней, как о малом ребенке, приносила ей пирожка людского попробовать или соченька с молодым творожком отведать.

— Христос с вами, сударыня! Куда мне, старухе, от вас зря бежать, ведь я вас еще эконьких знавала!

Акулина отмеривала морщинистой рукой своей пространство на пол-аршина от земли.

— Это нужды нет, что знавала! — продолжала неумолимая Прасковья Павловна,— я тебя насквозь, ехидную, вижу! Лучше, что ли, ты Феклушки-то?

— Нашли с кем сравнить! ой, барыня!

— А останешься, так еще хуже того будет! навяжетесь вы мне на шею, калеки да хворые! Чем бы за мной походить, ан еще я за вами ухаживать должна... чай, и Семка останется!

— Покушайте-ка лучше, сударыня!

— Вот видишь! видишь, как ты со мной обращаться стала! ну, смела ли бы ты прежде меня есть принуждать! Нет, всех, всех с глаз долой!

Прасковья Павловна с негодованием отвергла подносимый ей жирный сочень, произнеся при этом следующие обидные слова: «Еще ядом, может, обкормить меня хочешь!»

И все-таки я должен сознаться, что Прасковья Павловна была совсем не дурная женщина, и даже внутренно сама себе не верила, обвиняя Акулину в недостатке преданности, а тем более в злостном желании обкормить ее. Она вполне была убеждена, что Акулина была преданнейшим и безответнейшим существом, какое только могло выработаться на русской почве, под влиянием тех горьких отношений, которые некоторыми героями не без иронии называются патриархальными.

Она действительно знала, что Акулина возилась с ней еще в ту радужную пору, когда она была «эконькой», и что с тех пор завязалась между ними та неразрывная связь, по свойству которой в глазах Акулины не было человека краше Прасковьи Павловны, а в глазах Прасковьи Павловны не было ключницы честнее и преданнее Акулины. Если и происходили у них иногда стычки по поводу некоторых весьма невинных

вопросов, как, например, пролитого кваса, без вести пропавшего кусочка сахара, еще вчера вечером виденного на комоде, разбитой тарелки и т. п., и если Прасковья Павловна никогда не пропускала случая назвать Акулину старой воровкой и разорительницей, то последняя не только не обижалась этими импровизированными ласками, но, напротив того, считала бы, что в жизни ее нечто недостает, если бы их не было. Поэтому и настоящий казусный случай не только не изменил этих отношений, но еще более скрепил их. Нередко, когда барыня, безмолвствуя по целым часам и перебирая в уме своем все ужасы, которые представляло угодливое ее воображение, смотрела в окошко, Акулина потихоньку становилась в дверях ее комнаты и, пригорюнившись, смотрела на ненаглядную свою барыню.

— Куда это она огурцы несет? Куда она огурцы несет? — вскрикивала Прасковья Павловна, заметив, что девочка Васютка воровски пробирается около забора, неся под фартуком деревянную чашку с солеными огурцами.— Акулька! мерзкая! так-то ты барское добро бережешь!

Акулина опрометью бросалась из комнаты, чтоб накрыть виновную с поличным.

— Ах нет! — кричала ей вслед Прасковья Павловна,— ах нет! оставь ее, Акулинушка! пусть их едят, ненасытные! пусть все прахом пойдет!

И снова погружалась в мечтательность. В таких тревогах прошел целый месяц.

Однако Прасковья Павловна с величайшим изумлением вдруг заметила, что в течение этого времени вокруг нее никаких существенных изменений не произошло. По-прежнему «девки-поганки» подавали ей умываться и оправляли ее постель; по-прежнему «Федька-подлец» чистил ножи, ставил самовары и подавал за обедом кушанья; по-прежнему Авенирушка каждый вечер являлся за приказаниями... Даже пассажей особенных не было, кроме нескольких краж огурцов да изредка раздававшихся робких звуков гармонии (что, впрочем, случалось и в прежнее время).

Надо было истолковать себе это явление.

Но и тут Прасковья Павловна никак не могла вывести свою мысль на прямую дорогу из круга сомнений и противоречий, в котором она упорно вращалась.

«Нет, это они недаром! — думала она иногда, по-своему зорко присматриваясь и прислушиваясь ко всему окружающему,— это они нарочно смиренниками прикинулись!»

И вместе с тем, следом за этою черною мыслью, возникала в уме ее другая, более утешительная: «А что, если Грузилов

наврал? что, если ничего этого нет, и все это только звон и брех пустых и неблагонамеренных людей?»

— Эти дворняжки кургузые только смуту заводят! ездят по соседям да только — тяф-тяф!..

Чтоб положить предел этим мучениям, она решилась ехать в город к тому самому Семену Иванычу, в котором, по свидетельству Грузилова, заключался первоначальный источник, из которого струилось смутившее ее известие.

Город, обыкновенно тихий до мертвенности, был как-то неестественно оживлен, когда в него въехала Прасковья Павловна: по улицам суетливо сновали и щегольские возки, и скромные, обтянутые рогожей баулы, и лихие сани, запряженные тройками, с гремящими бубенчиками и заливающимися колокольцами.

Обстоятельство это не ускользнуло от внимания Прасковьи Павловны.

«Ишь, черти, обрадовались!» — произнесла она мысленно.

И с этой минуты уже не сомневалась. «Как только я это увидела,— рассказывала она в тот же вечер Акулине,— что они, с позволения сказать, как черти в аду беснуются, так с той же минуты и положилась во всем на волю божию!»

Однако с Семеном Иванычем повидалась, хотя бы для того, чтоб испить чашу горечи до дна. Семен Иваныч был всеми уважаемый в уезде старец и точно так же ненавидел *этот яд,* как и Прасковья Павловна. Сверх того, он имел еще ту особенность, что говорил картаво и невнятно, но взамен того умел мастерски свистать по-птичьи, подделываясь с одинаковым успехом и под щелканье соловья, и под карканье вороны. Старики свиделись и немножко взгрустнули; Прасковья Павловна даже прослезилась.

— Сколько лет, сколько зим! — сказал Семен Иваныч, в грустном изумлении простирая руки.

— И как все вдруг изменилось, Семен Иваныч! — отвечала Прасковья Павловна.

Они сели друг против друга и несколько минут безмолвствовали, как бы боясь вымолвить тайное слово, обоих их тяготившее.

— Правда? — произнесла наконец Прасковья Павловна.

— Правда,— отвечал Семен Иваныч, поникая головой.

Снова последовало несколько минут безмолвия, в течение которых собеседники, казалось, с усиленным вниманием прислушивались к бою маятника, в этот раз как-то особенно назойливо шатавшегося из стороны в сторону. Что слышалось им в этом несносном, мерном до тошноты «тик-так»? Слышалось ли, что каждый взмах маятника есть взмах, призываю-

щий их к смерти? Чувствовалось ли, что кровь как будто застывает в их жилах, что во всем организме ощущается тупое беспокойство и недовольство?

— Так прах же побери и совсем! — неожиданно вскрикнула Прасковья Павловна, шумно поднимаясь с места и с сердцем отталкивая свой стул.

И кто бы мог подумать? она тут же начала упрекать Семена Иваныча, обвинять его в волтерианстве и доказывать как дважды два — четыре, что это он, своим поганым языком, все наделал.

— Вам бы только те-те-те да та-та-та! — разливалась она, очень удачно передразнивая Семена Иваныча,— вам бы только сплетни развозить да слухи распускать — вот и досплетничались! Может быть, без ваших сплетней да шушуканьев и не догадался бы никто, и все было бы смирно да ладно!

С этих пор спокойствие ее было окончательно нарушено. Всякое произнесенное при ней слово, улыбка, взгляд, движение руки, даже всякое явление природы — все мгновенно приурочивалось ею к одному и тому же вопросу, который всецело царил над всеми ее помышлениями.

— Мутит, это, мутит все во мне! хоть бы смерть, что ли, поскорей пришла! — жаловалась она беспрестанно, оставаясь наедине с Акулиной.

— Что вы, что вы, сударыня! ведь ишь что выдумали! — урезонивала ее Акулина.

— Да куда же я пойду! ну, говори, дура, куда я денусь-то! — тосковала Прасковья Павловна,— в богадельню меня не возьмут: я не мещанка! в услуженье идти — сил моих нету! дрова колоть — так я и топора в руки взять не умею!

— Чтой-то, господи! уж и дрова колоть! — возражала Акулина.

— Нет, ты скажи, куда же я денусь! Ты вот только грубиянничать да отвечать мастерица. Я слово, а она два! я слово, а она десять! А ты вот научи меня, куда мне деваться-то? В скотницы, что ли, по-твоему, идти?.. Так врешь ты, холопка! еще не доросла ты до того, чтоб барыне твоей в скотницах быть!

Наконец пришла и весна. Обновилась ею вся природа, но не обновилась Прасковья Павловна. Таяние снега, журчание воды и постепенное обнажение полей — явления, обыкновенно столь радостные в деревне,— возбуждали в Прасковье Павловне досаду и озлобление, напоминая ей о приближающейся с каждым днем развязке.

— Тай, батюшка, тай! — говорила она, смотря на снег,— авось времечко скорей пролетит.

Прилетели скворцы. В этот год их было как-то особенно много, и мигом наполнились все скворечницы неугомонным и болтливым их населением.

Прасковья Павловна, которая всегда питала к скворцам особенную нежность, на этот раз возненавидела их.

— Болтайте, скворки, болтайте! — говорила она,— точно наши дворняжки! болты-болты, и нет ничего!

Наконец загремел первый гром. Вся природа разом встрепенулась и ожила: зелень как-то гуще окрасила листву дерев и стебельки травы; растения разом вытянулись, цветы раскрыли свои чашечки; муравейки закопошились, засуетились взад и вперед по земле... Все кругом заблагоухало, все пришло в движение, все затрепетало каким-то сладостным, томительным трепетом...

— Греми, батюшка, греми! — сказала Прасковья Павловна, услышав в первый раз этот призыв природы к жизни,— греми! гром не грянет, мужик не перекрестится!

А тут еще и по дому неприятности беспрестанно выходят: то вдруг Надёжка оказалась с прибылью, то Федька с пьяных глаз лег на горячую плиту спать...— Господи! Что же мне делать! что же мне делать! — тоскливо восклицает Прасковья Павловна,— ин, и впрямь умирать пора!..

I

СОГЛАШЕНИЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иван Павлыч Сергеев, молодой человек, уездный предводитель дворянства.

Андрей Карлыч Кирхман, уездный судья, чистенький и благообразный старичок.

Разумник Федотыч Примогенов, помещик, средних лет; ходит прямо, виски прилизаны; посредине лба кок.

Иван Иваныч Петров, помещик; маленький, кругленький и до того сластолюбивый, что когда при нем говорят о женщинах, то в ногах его образуется движение вроде того, какое замечается у очень влюбленного петуха. Домашний друг г-жи Антоновой.

Иван Фомич Сидоров, старик помещик, сыряга.

Отставной капитан Савва Саввич Постукин, помещик.

Целестин Мечиславич Мощиньский, молодой помещик; между своими слывет под именем «выходца».

Степанида Петровна Антонова, дама средних лет; очень полна.

Софья Фавстовна Лизунова, вдова лет шестидесяти; лицо коричневое, платье коричневое, сидит прямо и ни на кого в особенности не смотрит; беспрестанно вынимает из засаленной бумажки мятные *лепешки и сосет.*

Действие происходит в деревне Сергеева; театр представляет просторную и довольно хорошо меблированную комнату; Антонова и Лизунова сидят в глубине сцены на диване, Кирхман — на стуле около Антоновой; рядом с ним в креслах расположился Примогенов, величественно протянувши ноги; Сидоров дремлет в углу; Мощиньский, заложивши руки в карманы, юлит и суетится во все стороны; Постукин, с чубучищем в руках, ходит по комнате, по временам останавливается и хочет нечто сказать, но, пожевавши губами, стискивает в руке чубук и опять отправляется в путь; Петров придерживается преимущественно той стороны сцены, где находится Антонова.

СЦЕНА I

Все, кроме Сергеева.

Мощиньский. Мне девки выгоднее! Мне девки больше дохода приносят!

Антонова. А ведь об этом надо подумать, Софья Фавстовна!

Лизунова *(бормочет)*. Я уж подумала, Степанида Петровна, я подумала.

Антонова *(вздыхая)*. Хорошо, как кто думать может! А вот я: и сама думать не могу, и Семен Семеныч у меня не приучен... хоть ты что хочешь!

Примогенов. Слишком строго вы его держите, Степанида Петровна!

Антонова. Да как и не держать-то, Разумник Федотыч! Ведь он у меня ни на час без проказ! Намеднись надо было мне к Марье Ивановне съездить; вот я ему и говорю: «Ты, Сенечка-душечка, посиди около детей, пока я съезжу!» — «Слушаю, душечка»,— говорит. Только что ж бы вы думали? не успела я за ворота выехать, как он в ту же минуту подобрал свою шайку: Ваньку-столяра да Ионку-подлеца, да и укатили в Доробино пьянствовать! Насилу-насилу уж на другое утро пьяного-распьяного подле дороги нашли!

Петров. Это точно-с; еще надобно удивляться, как Степанида Петровна покойны могут быть!

Антонова. Нет, уж я теперь научилась; я его на ключ в спальной заперла!

Мощиньский *(на ходу)*. Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят!

Антонова. Да, бишь... девки! А я вот, с большого-то ума, еще третьёводни-с за семьдесят бумажкой на вывод девку продала!

Петров. Да еще какую канареечку-с!

Антонова. Поди-ка, другие какие барыши получают! Полтораста серебрецом на круг! Тут, чай, ведь всякие, Андрей Карлыч? и худая, и хорошая?

Кирхман. Всякие-с.

Антонова. А я вот за семьдесят бумажкой! Люди за полтораста серебрецом, а я за семьдесят бумажкой! Люди всякую: и худую, и хорошую, а я самую что ни на есть лучшую! Ай да я! Ай да Степанида Петровна!

Все смеются.

Смейтесь, батюшки, смейтесь!

Кирхман. Изволили просчитаться, сударыня.

Антонова. И никто-то ведь не скажет! *(Лизуновой.)* Вы, Софья Фавстовна, продали?

Лизунова. Продала... много... много продала.

Антонова *(добродушно)*. Ну, вот счастье какое! Андрей Карлыч! научите меня, родной, как бы третьёводнишнюю-то девку воротить? Чай, еще замуж-то не успела выйти?

Кирхман. Надо подумать-с.

Антонова. Сейчас уж и думать! Для других небось не думавши делаете! И никто-таки слова не вымолвил! Что бы, кажется, по-христиански предупредить: вот, дескать, Степанида Петровна, какая выгода по хозяйству предвидится! Нет-таки. Ах, совсем нынче настоящего христианства не видно!

Лизунова сочувственно кивает головой

Кирхман. Это потому, сударыня, что нынче всякий прежде всего об себе думает.

Лизунова кивает головой два раза

Примогенов. Да; при современном вопросе, оно и не лишнее об себе подумать...

При словах «современный вопрос» Постукин внезапно останавливается перед Примогеновым.

Вы, капитан, сказать что-нибудь хотите?

Постукин мнет губами, но, не сказавши ни слова, машет рукою и уходит.

Петров. Да; этот современный вопрос... штучка!

Антонова *(задумчиво)*. Да как же это, однако! Ведь Прохладин-то купец, а купцам владеть крепостными не велено?

Примогенов Эк вас забота-то иссушила, сударыня!

Антонова. Да нет, ведь это выходит, что я на одной Аришке рублей четыреста прозевала! Воля ваша, а я этого оставить не могу.

Примогенов. Ну, и не оставляйте.

Мощиньский *(на ходу)*. Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят!

Антонова. Ах, да хоть не мутите вы меня, дайте сообразить, Целестин Мечиславич! *(Кирхману.)* Как же ты-то, немчик, позволяешь купцам девок скупать?

Кирхман. Они не проданы-с; это так только, на разговорном языке-с... Все дело сделано на законном основании-с...

Примогенов. А вы, чай, все-таки, на всякий случай, в суде не присутствовали?

Кирхман. По болезни-с.

Петров. У нас Андрей Карлыч всегда в таких случаях прихварывает.

Примогенов. Пускай, мол, другие, купаются! Что ж, это резон!

Лизунова многократно кивает головой.

Кирхман. Всегда по болезни-с.

Петров. Намедни Анна Николаевна из-за двести верст чуть не целую деревню на фабрику пригнала, со всеми, и с малолетными-с... в одно утро всех Андрей Карлыч окрутил!

Кирхман. Не я, а суд-с.

Примогенов. Ай да Анна Николаевна!

Петров. Оне, по вдовству, управляющего при себе имеют: он им это предприятие и внушил-с ..

Примогенов. Подите-ка: женщина, а какую афёру соорудила!

Петров. Как же не афёру-с! Посудите сами: их на фабрику-с, стало быть, одними, можно сказать, ихними телами всю ценность окупила: земля-то, стало быть, даром-с, да еще имущества ихнего сколько!

Антонова (*внезапно поняв, вскакивает*). Ах, черт возьми!

Общий смех.

Петров. И представьте себе, даже управляющего-то этого сами для себя отыскали. Остановились оне в Москве, в нумерах-с: ну, натурально, как женщина молодая, к коридорному-с: где бы, говорит, такого управляющего найтить...

Примогенов. Чтоб из себя был не мал и не тощ...

Антонова (*наивно*). Вот ведь мне эдакого случая не выдастся!

Все смеются.

Мощиньский (*останавливаясь*). А я, господа, вот что придумал. Так как Прохладин всем нам благодеяние сделал, то, во-первых, дать ему обед, а во-вторых, просить, чтоб и на будущее время действий своих по приобретению не прекращал.

Петров. Уж Целестин Мечиславич всегда что-нибудь к ущербу придумают!

Антонова. На обед не согласна, а просить согласна.

Лизунова кивает.

Кирхман (*рассудительно*). Я того мнения, что если господин Прохладин принимает в этой операции участие, стало быть, он усматривает в том для себя интерес.

Примогенов Основательно.

Петров. Знаете ли что, Целестин Мечиславич? Не лучше ли вместо обеда-то Ивану Данилычу транспарант поднести? Так, дескать, и так: благодетельному купцу благодарные такие-то...

Антонова *(перебивая)*. Просят продолжать... вот на это я согласна!

Петров. Обед-то ведь, Целестин Мечиславич, съестся-с...

Мощиньский. А транспарант останется... а что вы думаете, ведь это недурно!

Примогенов. Verba volant, scripta manent [1].

Сидоров *(кричит во сне)*. А? что? куда яблоко дела?

Петров. Ивану Фомичу и во сне-то видится, что у него яблоки воруют! А еще говорят, что одного чистоганчику у него тысяч на двести в ланбарде лежит!

Антонова. Так что ж, что лежит! Стало быть, по-вашему, коли у кого двести тысяч есть, так и смотреть сквозь пальцы, как все кругом растаскивают да разворовывают?

Примогенов. Не бредить же, однако, сударыня!

Антонова. Нет, уж вы меня извините! После этого я должна заключить, что вы не хозяин! Я и сама не нищая, а яблоки воровать не позволю!

Сидоров вздрагивает во сне, вскакивает, крестится, потом опять садится и засыпает.

Примогенов. Да, двести тысяч — это достоверно! Вот Андрей Карлыч знает, откуда Ивану Фомичу тысячи-то достались!

Кирхман снисходительно улыбается.

Антонова. Ах, я слышала, это целый роман!

Примогенов. Пожалуй, даже целых два. Вот Андрей Карлыч знает.

Петров. Андрей Карлыч обо всех помаленечку знают.

Кирхман. И не помаленечку-с. *(Учтиво.)* Многим могу неприятности сделать.

Входит лакей. Его окружают все мужчины, кроме Сидорова. Постукин бросается к лакею почти с остервенением.

Примогенов. Ну что, Сеня, как благодетель? проснулся?

Лакей. Умываются.

Примогенов. Ну, а насчет того... говорил что-нибудь?

---

[1] Сказанное исчезает, написанное остается.

Петров (*тончайшим фальцетом*). Разумник Федотыч! мэ комман де се шоз... доместик иси![1]

Лакей. Не слыхать-с. (*Хочет уйти.*)

Примогенов (*удерживая его*). Постой, постой, Сеня! А водку скоро подадут?

Лакей. Иван Павлыч приказали до обеда никому водки не давать.

Общее впечатление. После ухода лакея следует несколько минут молчания.

Примогенов. Однако... это вещь!

Петров. Да-с, это задача-с! Бывало, шесть ли часов, девять ли, двенадцать ли, а уж как собрались дворяне, значит, ту ж минуту и водку на стол волокут. (*Смотрит на часы.*) А теперь бы и время-то самое настоящее!

Кирхман. Иван Павлыч смолоду переимчивы были. Может быть, насмотрелись нынче в Петербурге, что в хороших домах не подают водку безвременно, — ну и между нами обычай этот ввести желают!

Примогенов (*значительно*). Дай бог! Дай бог!.. А по-моему, так просто Иван Павлыч нами гнушается!

Петров (*тихо Примогенову, указывая на Мощиньского*). Разумник Федотыч! финиссе! полонэ иси![2]

Мощиньский (*останавливаясь посреди авансцены, к зрителям*). Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят!

Антонова (*тоскливо*). Ах, ты, господи! совсем было даже забываться стала, а Целестин Мечиславич тут как тут... точно вот ядом! точно вот ядом!

Кирхман. Memento mori, сударыня! Это значит: всякий помышляй о смертном часе!

Примогенов. Так, так! вот и нам, может, придется помышлять об нем... об смертном-то часе!

Постукин прислушивается.

Вы, капитан, что-нибудь сказать желаете?

Постукин горько улыбается, крутит усы и крепко стискивает в руке чубук.

Антонова (*тихо Лизуновой*). Чтой-то, однако, Софья Фавстовна, Савва Саввич-то? Помнет-помнет губами, да и прочь пойдет! Помните, какой он развеселый да разговорчивый был?

---

[1] но зачем об этом... слуга здесь!
[2] перестаньте! поляк здесь!

Лизунова *(тихо)*. Взволнован очень... от современного вопроса взволнован... не спит, не ест... только трубку... трубку только курит!

Петров. А любопытно бы знать, очень бы любопытно, какие-то Иван Павлыч вести из Питера вывез?

Антонова. Однако позвольте вас, Разумник Федотыч, спросить, об каком это вы смертном часе изволите говорить?

Примогенов. Точно вы, сударыня, маленькие!

Антонова. Нет, я не маленькая, а только если вы насчет этой эмансации говорите, так я вам вот что скажу *(с торжествующим видом)*: ничему я этому не верю!

Постукин вновь горько улыбается.

Мощиньский. Молодец, Степанида Петровна! Charmant! délicieux! [1]

Антонова. Да, не верю! вы вот мужчины, да верите, а я и дама, да не верю!

Примогенов. Позвольте, однако...

Антонова. Я этим глупостям совсем, совсем не верю! Я еще давеча всем своим девкам сказала: девки-подлянки! если вы этой эмансации дожидаетесь, так у нас, говорю, становой не далеко! Так это, стороной, дала им понятие!

Примогенов. Поверите, Степанида Петровна, коли на бумаге покажут.

Антонова. Не поверю, Разумник Федотыч!

Примогенов. И бумаге не поверите?

Антонова. И бумаге не поверю... потому, не натурально.

Кирхман. Это весьма любопытно. *(Смеется.)*

Антонова. Смейтесь, смейтесь, Андрей Карлыч! Я ведь давно знаю, что у вас змея на языке!

Кирхман смеется сильнее.

А я вот не верю, да и не верю!

Примогенов. Зачем же вы приехали, коли не верите? Зачем Семена-то Семеныча без призору оставили!

Антонова. Скажите пожалуйста, какую вы власть надо мной взять хотите! Что ж, по-вашему, я и выехать без вашего позволения не смей!

Примогенов. Успокойтесь, сударыня! Я это больше на тот предмет сказал, что, может быть, вы спички в спальной оставили, так Семен Семеныч...

Антонова *(всплеснув руками)*. Ах, оставила! ах, оставила!

---

[1] Очаровательно! прелестно!

Примогенов. А это бывает. Прошлого года у Андрея Петровича на деревне крестьянский мальчишка... взял, знаете, наложил под лавку щепочек да лучиночек: сем-ко я, дескать, яичницу сотворю.

Антонова. Ах, не убивайте!

Примогенов. И можете себе представить, ведь шутя, каналья, всю деревню спалил!

Двери с шумом отворяются; входит Сергеев.

СЦЕНА II

Те же и Сергеев (белокурый молодой человек весьма приличной наружности; корчит дипломата и потому бреет усы и бакенбарды и расчесывает сзади пробор à l'anglaise;[1] ходит лениво, несколько переваливаясь; говорит отрывисто и вообще желает принять начальственный тон). При появлении его все встают.

Примогенов *(кланяется, касаясь рукой до земли)*. Отцу и благодетелю от сирот...

Мощиньский. А мы, mon cher[2], глаза проглядели, вас ждавши!

Сергеев. Здравствуйте, господа! mesdames![3] *(Жмет всем руки.)* А Иван Фомич по обыкновению?

Петров. А вы ему, Иван Павлыч, гусара-с... прикажете?

Сергеев *(сухо)*. Теперь не такое время, чтоб шутками заниматься.

Петров конфузится.

Очень рад, господа, видеть вас у себя.

Примогенов *(в сторону)*. Вон оно куда пошло! И гусары в немилость попали! *(Громко.)* Благополучно ли в Питер съездить изволили, благодетель?

Сергеев. Благодарю вас, я своей поездкой очень доволен.

Мощиньский. Еще бы! нынче там нашего брата пробинциала обеими руками хватают!

Сергеев. Это правда. Ждут от нас... да! я имел честь об этом со многими сановниками совещаться, и все в один голос говорят: attendez, messieurs[4], вы будете призваны, чтоб высказаться! Поздравляю вас, господа!

Примогенов. Вот оно что-с!

---

[1] по-английски.
[2] дорогой мой.
[3] дамы!
[4] подождите, господа.

Мощиньский. Au fait [1], оно и естественно, потому что мы ведь сердце России.

Примогенов. Об чем же мы высказываться будем, благодетель?

Сергеев. В этом отношении, господа, вы можете быть покойны. Конечно, об нас озаботятся и дадут что-нибудь... ну, руководство какое-нибудь...

Кирхман. Диалоги-с.

Сергеев снисходительно улыбается.

Мощиньский. А ведь это отлично, mon cher, будет! Встанешь с места... разумеется, побледнеешь... *(Становится в позу.)* «Господа! пользуясь дарованною нам милостью, я прошу у вас позволения поговорить о различных недугах, снедающих наше любезное отечество»...

Антонова. Гм... мы, кажется, подобру-поздорову... Мудрено это! Чудно̀, право чудно́ чтой-то вы говорите, господа! Слушаю я вас, да только молчу! Слушаю, да молчу!

Мощиньский *(заигрывая)*. А что ж, почтеннейшая Степанида Петровна, разве худо?

Антонова. Уж какие мы, сударь, с тобой говорители! Сидели целый век около печи да молчали! Разве по хозяйству что-нибудь распорядишься, так и тут больше рукой покажешь... а то говорить! Ну, позовут хоть меня, ну, посадят, разумеется: «высказывайтесь, мол, Степанида Петровна, какая у вас там статистика... сколько коровушек, индюшечек, поросяточек?» А другой еще озорник подъедет: «сколько, мол, у вас денег в шкатулке, Степанида Петровна?» Так, по-вашему, я и должна на все эти глупости отвечать? Как же? Держи карман!

Сергеев, а за ним и прочие смеются; Лизунова сочувственно кивает головой.

Кирхман. А шкатулочка-то, видно, с секретом, Степанида Петровна?

Антонова *(сентиментально)*. Про то только бог может знать, что у кого есть, Андрей Карлыч! Тот, которого считают богачом, может вдруг оказаться бедным... так бедным, так бедным, что хуже Лазаря!..

Кирхман. Так-с.

Антонова *(язвительно)*. А тот, который весь век притворяется неимущим, вдруг может оказаться мильонщиком!

Кирхман смеется.

---

[1] В самом деле.

Мощиньский. Нет, что касается до меня, то я непременно воспользуюсь! *(Прохаживается по сцене и жестикулирует. К Сергееву.)* А что, mon cher, нынешний петербургский сезон очень весел был?

Сергеев. Н-да... может быть... но я, признаюсь, не тем был занят...

Примогенов *(в сторону)*. В носу ковырял! *(Громко.)* Уж пойдут ли на ум веселости, благодетель! чай, одних вопросов, проектов да соображениев и невесть что!

Сергеев. Да, я таки поработал! *(Смотрит на всех усталыми глазами.)*

Мощиньский. Ну нет, я бы не вытерпел, я бы ничего не пропустил! Представьте себе, господа, что нынче в Петербурге устрицы целую зиму не переводились! Кронштадтский рейд так-таки и не замерзал совсем! Уж я бы поистребил их — ручаюсь!

Петров. Охотники-с?

Мощиньский. А главное, то в Петербурге хорошо, что все так деликатно! Возьмите самую простую вещь: какую-нибудь котлетку у Дюссо — ведь весело посмотреть, как все это подается! Не то, что где-нибудь в Новотроицком, где одной салфеткой три поколения утираются! *(К Сергееву.)* Не правда ли, cher?

Сергеев. Н-да... может быть... впрочем, каюсь: я как-то не тем был занят.

Петров. Ну нет, Целестин Мечиславич, в Новотроицкий обходить для чего-с? Там тоже лампопо такое есть, что пальчики оближешь!

Мощиньский. Нашли с чем равнять! Нет, господа, только там, среди этого вихря приличий, можно постигнуть, до чего может дойти comme il faut![1] Даже в самом себе вдруг чувствуешь перемену: точно вот на высоту взошел, и все это перед тобой открывается! Чувства совсем не те делаются; манера, поступь... все совершенно другое!

Примогенов. Генералов много перед глазами, Целестин Мечиславич! Смотришь это на них, ну, и сам чем-нибудь заразишься!

Сергеев лениво улыбается. Несколько минут молчания.

Антонова. Ахти-хти-хти! Слушаешь вас, да только дивуешься! И устрицы, и генералы, и бог знает чего вы еще не приплетете! А об деле-то, об кровном-то, хоть бы слово!

---

[1] порядочность, хороший тон!

Мощиньский. Да ведь вы не верите, Степанида Петровна?

Антонова. Все же, сударь, любопытно! Иногда и мельница мелет, и ту послушать любопытно! Болты́-болты́ — и нет ничего!.. ну, и отойдешь!

Кирхман. У начальства, конечно, побывать изволили, Иван Павлыч?

Сергеев. Разумеется. Ну, конечно, приняли меня как нельзя лучше. Вообще, господа, должно сознаться, что Петербург стал неузнаваем. Я имел честь понравиться многим значительным лицам... беседовал с ними... представлял мои резоны... Даже противоречил, и никто ни разу не сказал мне ничего неприятного!

Мощиньский. Согласитесь, что это прогресс!

Петров *(Примогенову)*. Что ж он, однако ж, об деле-то? Начните хоть вы, Разумник Федотыч!

Примогенов. А у нас, Иван Павлыч, слухи какие-то безобразные пали...

Постукин приближается.

Сергеев *(глубокомысленно)*. Н-да?

Примогенов. Такие слухи, что будто бы тово... совсем будто бы ничего не будет!

Петров. Намеднись у меня Степанида-скотница продать кой-что по хозяйству в город ходила, так на базаре такого, говорит, страмословия наслушалась, что даже волос дыбом встал!

Антонова. У скотницы-то? Перекрестись, батюшка!

Петров. А что ж, Степанида Петровна, разве это не может быть? Она преданная-с...

Антонова. Да хоть распреданная, а волосы-то у ней все же, чай, в косу заплетены!

Петров конфузится.

А по-моему, Иван Павлыч, так ровно никаких слухов нет Известно, разносчики французскую революцию распускают Так это и прежде бывало, и нынче есть. Покойник папенька, как служил исправником, сколько их за это секал!

Примогенов. Надо бы, благодетель, насчет этого дела ладком да мирком посудить!

Кирхман. И мне, Иван Павлыч, из Петербурга пишут, что есть что-то.

Сергеев. Ну да, ну да. Потолкуемте, господа. Я очень рад вас у себя видеть. Действительно, нынче в Петербурге все как-то об меньшей братии рассуждают.

Примогенов. Гм... те-э-к-с.

Сергеев. Что ж, это наш долг... это. можно сказать, наша первая обязанность...

Постукин выдается вперед.

Вам угодно высказать ваше мнение, капитан?

Постукин (*шевелит губами и наконец издает какой-то звук*).

Сергеев. Я полагаю, господа, что и с христианской точки зрения меньшая братия заслуживает...

Примогенов. Те-э-к-с.

Сергеев. Как члены просвещенного сословия, мы с своей стороны обязаны... это наш первый долг, господа! Я был во многих аристократических салонах в Петербурге, и везде, решительно везде только и разговору что об меньшей братии! Даже дамы — и те... vraiment![1]

Антонова. А я бы им, Иван Павлыч, язык-то к пятке пришила, так они бы узнали, что значит рот-то непокрытый держать!

Сергеев (*снисходительно*). Вы, Степанида Петровна, все по-прежнему?

Антонова. Что, батюшка, по-прежнему? Ты-то с чего свихнулся у нас, отец? Бумагу, что ли, из Питера вывез?

Примогенов. Да, благодетель, если уж у вас бумажка есть, так вы бы уж потрудились...

Мощиньский. А по мне, так хоть завтра: я свои меры принял! (*В сторону.*) Завтра же, чем свет, всех к Прохладину!

Сергеев. Действительно, господа, у меня есть бумаги. Эй, Семен!

Входит лакей.

Там, в кармане дорожного пальто, есть бумага: подай ее сюда!

Лакей уходит.

Антонова. Любопытно это; очень это любопытно.

Сергеев. Впрочем, господа, я должен вам наперед сказать, что с своей стороны я уж достаточно убежден, что без «этого» нельзя обойтись. В Петербурге все лучшие умы так думают. (*Решительно.*) Для меня ясно, как день, что без вольного труда мы скоро должны будем сойти на степень второстепенной державы, следовательно, какое бы вы ни предприняли

---

[1] право!

решение, я все-таки буду действовать согласно с моими убеждениями!

Лакей входит с бумагой, которую Постукин вырывает из рук его. Все, кроме женщин и Сергеева, бросаются к нему. Несколько времени по комнате раздается гул.

Антонова. Любопытно это! очень любопытно! Точно шмели! точно шмели! *(Судорожно смеется.)*

Примогенов *(громко)*. «Первое»...

Антонова *(захлебываясь)*. Ну, первое, и четвертое, и десятое! *(Дразнится.)* И десятое, и десятое! и десятое! И ничему этому я не верю!

Сергеев. Позвольте, однако ж, Степанида Петровна, господам дворянам заняться.

Антонова. Ну, и пускай занимаются! Пусть занимаются — я не мешаю! Я только то знаю, что завтра же *(смотрит на Петрова)* к господину губернатору «бумажка» полетит, что в нашем уезде вольные мысли распространяются!

Чтение прекращается; Постукин стоит мрачно и крутит усы; прочие лица озабочены.

Лизунова. Мне бы... бумажку бы мне почитать!

Петров подает ей.

Антонова. Позвольте-ка! позвольте-ка! *(Заглядывает в бумагу через плечо Лизуновой.)* Какая же это бумага? Первое дело *(читает)*: «господину начальнику» — ан тут вон пустое место оставлено! Какому начальнику? какой губернии? Ан, может быть, до нашей-то и не дойдет никогда!

Сергеев *(смеется)*. Ну, а второе что-с?

Антонова. А второе, что всякая бумага, коли она бумага, должна быть на гербовой. Я, батюшка мой, сама и невесть что денег за гербовую переплатила... я знаю! Нет, воля ваша, а это обман! Это такой обман, что даже самый *(ищет слова)*... самый фальшивый обман!

Сергеев. Так не верите?

Антонова. Не верю, не верю и не верю! Покажите мне на гербовой, тогда поверю!

Кирхман. Однако, сударыня, это дело очень серьезное! вы бы не мешали нам!

Антонова *(стала на своем)*. Покажите на гербовой — тогда поверю!..

Кирхман. Убедительно просим вас дать нам заняться! дело слишком серьезно...

Антонова. Ничего я тут серьезного не вижу.

Кирхман. В таком случае, мы, с позволения Ивана Павлыча, перейдем в другую комнату, чтоб вы не мешали.

Антонова. Ну молчу... ах, батюшки, какой грозный! Молчу, сударь, молчу!

Водворяется молчание.

Сергеев. Как же вы думаете, господа?

Примогенов. Уж вы бы нам прежде свое мненьице высказали, Иван Павлыч!

Сергеев. Н-да... то есть вы желали бы узнать мои убеждения, с тем чтоб принять их на будущее время в руководство? Очень рад-с, очень рад-с. Я не имею надобности скрывать мои убеждения, господа! Мои убеждения смелы, открыты, непоколебимы! Я не скрывал их перед высшим начальством, охотно поделюсь и с вами. Итак, я убежден, милостивые государи, что наш первый долг, наша, можно сказать, первейшая обязанность — как можно скорее доказать, что мы люди и ничто человеческое не чуждо нас. Кроме того, что это доставит нам случай насладиться сознанием свято исполненного долга, это покажет нас, в глазах целой России, как людей, сочувствующих современному направлению умов. Откровенно говоря, с нашей стороны было бы очень любезно... вызваться самим... предложить свои услуги... одним словом, что-нибудь в этом роде... Я надеюсь, господа, что вы меня поняли?

Кирхман. Понять можно-с. Это тем более необходимо, Иван Павлыч, что если мы теперь не вызовемся, то завтра или там на будущей неделе все-таки придется вызваться.

Сергеев. Это иначе не может и быть. Во время пребывания моего в Петербурге я имел случай убедиться, что в настоящем деле вопрос поставлен слишком ясно, чтоб можно было допустить какие-нибудь сомнения. Рассуждения, противоречия, представления и т. п. тогда только хороши и уместны, когда в них ощущается потребность самими теми... *(ищет выражения)* одним словом, теми, которые имеют на это конфиденциальное, так сказать, полномочие; в настоящем же случае потребности этой не ощущается. Я как сейчас помню мой разговор об этом с графом Петром Петровичем: «Согласитесь, mon cher, — сказал он мне, — что человек, который стоит на высоте, имеет гораздо более возможности рассмотреть все эти виды, перспективы и тому подобное, нежели человек, стоящий в яме». Я совершенно согласен с графом Петром Петровичем. *(Закидывает назад голову.)* А потому убеждения мои в этом деле так определенны и так тверды, что я не только себе, но и другим не позволю отступить от них ни на шаг!

Примогенов. Стало быть, уж и рассуждать нельзя, Иван Павлыч?

Сергеев *(сухо)*. Нельзя-с.

Петров *(в сторону)*. Смотрите-ка, генерал какой выискался!

Антонова. Видно, уж вы в губернаторы к нам поставлены, Иван Павлыч, что так цыцкаете. Так нынче и губернаторы-то уж не цыцкают; напротив того, летось приезжал генерал-то в город, собрал дворян: «Поговорите, говорит, господа! поговорите! я, говорит, вас послушаю!»

Сергеев *(сухо)*. А я слушать не желаю.

Антонова. Не знаю... уж не будет ли это слишком строго!

Примогенов *(вполголоса)*. Как же мы, однако ж, таким манером «высказываться»-то будем?

Наступает несколько минут тяжкого молчания.

Сергеев. Следовательно, господа, вам известны теперь мои убеждения, и таким образом вам предстоит засим один труд: в точности сообразоваться с ними. Теперь, если вы желаете переговорить между собой, я не хочу стеснять своим присутствием свободное выражение ваших мыслей. Я либерал не на словах только, но и на деле; я везде и во всем ищу свободы... одной свободы! Я оставляю вас, господа, но предваряю, что никакое возражение в ретроградном смысле мною допущено не будет. В этом случае я буду тверд и неумолим. Подумайте... обсудите... и когда вы решитесь, то дайте мне знать: я весь к вашим услугам! *(Встает и звонит.)*

Входит лакей

Семен! можешь дать водки господам дворянам! *(Величественно озираясь, выходит.)*

Мошиньский *(вслед ему)*. И я за вами, mon cher! Я уж решился! Стало быть, мне рассуждать тут не об чем! *(Уходит.)*

СЦЕНА III

Те же, кроме Сергеева и Мошиньского.

Несколько времени проходит в глубоком безмолвии. Постукин делает движение чубуком и держит его на весу. Первая просыпается от оцепенения Антонова

Антонова *(передразнивая Сергеева)*. Фу-фу-фу, ту-ту-ту, фить-фить-фить! И все вышел пшик! Так тебя и послушались, Мамеля Тимофевна! *(К Постукину.)* Ты-то что, батюшка, стоишь, словно блаженный, да чубучищем-то помахиваешь?

Постукин желает говорить.

Нечего, нечего на нас-то махать, ты бы на него помахал! Он говорит, а они-то молчат! Он разглагольствует — а они-то помалчивают! Он-то рассыпается — а они-то усищами пошевеливают! Точь-в-точь тараканы! Ай да отцы родные! ай да защитители! *(Указывает на Кирхмана.)* И немчик-то, и миротворец-то наш! Вместо того чтоб молокососу нос утереть, а он только сидит да ножками сучит!

Кирхман смеется.

Смейся, сударь, смейся! Я вот одного такого знала, тоже все смеялся: хи-хи-хи! да ха-ха-ха! да так на всю жизнь со смехом и остался. Кинулись это к нему, ан у него уж и рот на сторону свело. Вот тебе и ха-ха-ха!

Общий смех.

Примогенов. Да, крутенек-таки стал Иван Павлыч! Однако это удивительно, какая в нем вдруг перемена сделалась! Как поехал от нас, какой, кажется, был благонамеренный!

Петров. И какие веселые были! Бывало, уж никак без того не обойдутся, чтоб над Иваном Фомичом не пошутить, а нынче даже разгневались...

Антонова. Никогда он благонамеренным не бывал. Я еще в рубашонке его знавала, и тогда уж змеей смотрел. Так, бывало, и посинеет весь, так и закатится.

Лизунова. Пискун был... пискун, пискун был! *(Кивает головой.)*

Петров. А помните, Разумник Федотыч, как они однажды Ивану Фомичу усы нарисовали, а на голову-то песочку посыпали... сколько в ту пору смеху у нас было!

Антонова. Смеялись да смеялись, а теперь вот плакать да плакать приходится.

Петров. Нарядиться ли, бывало, с девушками ли поиграть — на все первый сорт были!

Кирхман. Позвольте, господа! что было, того уж не воротить, а нам теперь предстоит предметом своим заняться. Итак, начнем.

Антонова. Выручайте, батюшки! выручайте!

Кирхман. Ну-с, Иван Иваныч, ваше мнение?

Петров *(смущаясь)*. Я-с... тово-с... я-с... конечно-с... Отчего же вы, однако ж, Андрей Карлыч, с меня-с? Тут ведь и другие господа дворяне есть!

Кирхман. Отчего же не с вас-с?

Петров. Нет, Андрей Карлыч, это вы по злобе на меня, как вы надеетесь меня этим сконфузить...

Кирхман. Ну-с, стало быть, Иван Иваныч мнения не имеют... *(Обращается к Примогенову.)*

Петров *(взволнованный)*. Нет-с, вы меня извините, Андрей Карлыч, я свое мнение очень имею! Я, Андрей Карлыч... желаю-с!

Кирхман. Чего вы желаете?

Петров. Да-с... желаю-с! хоть это, может быть, некоторым и неприятно, однако я бунтовщиком никогда не был-с!

Антонова. Эк, батюшка, вывез!

Кирхман. Ну-с, стало быть, это раз. Вы-с? *(Обращается к Примогенову.)*

Примогенов. Полагаю принять к сведению... но не к руководству!

Кирхман. Вы, капитан?

Постукин потрясает головой.

Понятно. Вы, Софья Фавстовна?

Лизунова. Не знаю... не знаю... ничего я не знаю...

Антонова. А я так и знать ничего не хочу!

Кирхман. Итак, мнения собраны. Один голос за, три — против, один сомнительный. Результат довольно благоприятный. Что до меня, господа, то вы, конечно, не удивитесь, если я скажу, что вполне согласен с Иваном Иванычем *(не без иронии)*... потому что бунтовщиком никогда не был и быть не желаю!

Антонова *(встает и приседает перед Кирхманом)*. Подарил, голубчик!

Кирхман. Да-с, я согласен с Иваном Иванычем и имею на то свои основательные причины. Я очень знаю, что коль скоро это дело пошло в ход, то нам не желать нельзя. Сегодня мы не желаем, завтра не будем желать, а уж послезавтра пожелаем... непременно!

Антонова. Не знаю; разве язык из меня вытянут или мысли в голове совсем разобьют!

Кирхман. И разобьют-с. Следственно, нам прежде всего нужно поспешить заявлением нашей готовности, а потом... *(вполголоса)* а потом можно будет оставить все по-прежнему-с...

Петров *(хихикая от удовольствия, тончайшим фальцетом)*. А потом можно будет оставить все по-прежнему!

Антонова. Вот на это я согласна!

Примогенов. Это похоже на дело. Что называется, измором, то есть измором, измором ее!

Антонова. Эмансацию-то!

Кирхман. Разумник Федотыч постиг мою мысль во всем ее объеме. В делах такого рода, господа, прежде всего форму соблюсти надо, чтоб все глядело прилично и гладко.

Петров *(хихикая)*. А потом оставить все по-прежнему. Бесподобно!

Кирхман. Объясню вам это примером. Был у меня в суде секретарь. Бывало, позовешь его, разъяснишь, что такое-то дело следует решить так-то. Вот он приготовит все, поднесет к подпису; смотришь — совсем не то! Опять призовешь его, опять внушишь; на другой день он опять приготовит, и опять не то. И до тех пор таким образом действует, покуда не махнешь на все рукой и не подпишешь, как ему хочется. Не можем ли мы из этого примера извлечь для себя поучение?

Примогенов. Можно!

Петров. Даже очень можно-с!

Кирхман. Или вот пример еще более практический. Бывало, когда губернское начальство требует от суда каких-нибудь очень неприятных объяснений, я всегда поручал объясняться этому секретарю. Я делал это в том уважении, что господин секретарь имел дарование писать столь обширно и столь непонятно, что губернское начальство удовлетворялось немедленно.

Петров. Как же! как же! Бывало, мы так и говаривали ему: напиши-ка, брат Иван Дорофеич, объясненьице да с приплетеньицем!

Кирхман. Не можем ли мы, господа, и из этого примера извлечь для себя поучение?

Примогенов. Ничего, можно!

Петров. Даже очень можно-с!

Кирхман. Итак, господа, в настоящем положении дела я еще не вижу причины огорчаться. Я думаю, что не только следует безусловно исполнить желание нашего достойного представителя, но не мешало бы даже для вида прикинуть что-нибудь! Так, самую малость... по части чувств!

Примогенов. Букетами, то есть, пустить!

Петров *(окончательно повеселев, почти визжит)*. А потом оставить все по-прежнему!

Кирхман. Ибо прежде всего надобно смотреть на дело прямо, не пугаясь его. Если вообще во всяком предмете есть своего рода мягкое место, то отчего же и здесь ему не быть?

Примогенов. Это совершенно справедливо.

Кирхман. А если есть это мягкое место, то зачем же нам заранее тревожиться опасениями, быть может, и воображаемыми? Не лучше ли приступить к делу с легким сердцем и устроить таким образом, чтоб все осталось по-прежнему?

Антонова. Ах, как это хорошо! Я уж теперь начинаю чувствовать, как все это во мне дрожит!

Кирхман. Это оттого, сударыня, что вы благодетельствовать очень любите.

Антонова. А что вы думаете, Андрей Карлыч! Я вот иногда сижу одна и все думаю, и все думаю! Что вот у нас и курочка-то есть, и поросеночек-то есть, и всего-то довольно, и всем-то мы изобильны, а у них ничего-то, ничего-то этого нет! Нет, как ни говорите, а это ужасно!

Примогенов. Вот оно что значит немецкая-то нация! Куда бы мы делись без немцев! Сейчас Андрей Карлыч все разрешил, даже Степаниду Петровну в чувство привел!

Антонова. Меня, Разумник Федотыч, в чувство очень привести можно! Ах, кабы кто только знал! Ах, кабы кто только знал! Все-то это во мне ослабло! Ничего-то во мне крепкого нет!

Кирхман. Стало быть, разногласия нет, господа?

Все. Согласны! согласны!

Петров. Позвольте, надо у Ивана Фомича мнение спросить.

Антонова. Да уж отстань, стрекоза! что его, убогого, трогать! Иван Фомич! Иван Фомич!

Сидоров пробуждается и смотрит кругом с изумлением.

Петров. Иван Фомич! все кончено, домой ехать пора!

Все смеются. Сидоров молча достает из-под стула шапку.

Кирхман. Следственно, мы и Ивану Павлычу можем сказать, что согласны?

Все. Согласны! согласны!

Петров. Не хватить ли «уру», господа?

Постукин делает решительное движение вперед.

Примогенов. Господа! капитан предику сказать желает!

Молчание.

Постукин *(долго жует губами, но наконец говорит)*. Согласен! дда! я согласен! Только уж тово... по мордасам... бббуду! Ххоть ммиллион штрафу... а бббуду!

Смех и рукоплескания.

Антонова. Ахти-хти-хти! Вот и веселыце наше к нам воротилося.

Занавес опускается.

II

ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Зубатов.
Кузнеев, старичок лет семидесяти; одет бедно.
Пересвет-Жаба, сорока лет; отставной ротмистр, бель-ом с весьма любезными манерами; говорит с акцентом.
Кувшинников, штабс-капитан.
Пьер Уколкин } молодые люди; цвет и надежда
Simon Накатников } Глупова.
Сеня Бирюков.
Мадам Артамонова.
Антоша, ее сын, восемнадцати лет.
Дама под вуалем.
Дежурный чиновник.

Театр представляет приемную комнату в доме Зубатова. Утро. Бьет десять часов.

СЦЕНА 1

Дежурный чиновник, молодой человек; сидит около окна и ничем в особенности не занимается; иногда положит одну ногу на другую крестом, иногда обе ноги уставит на пол; иногда взглянет на потолок и задумается; иногда устремит глаза в угол и тоже задумается.

Чиновник. Что бы такое сегодня вообразить? Удивительно, как это уединение действует! Барыни какие-то являются, целый роман в голове происходит! Если бы я теперича сосчитал, сколько меня, со времени поступления моего в канцелярию, барынь полюбило, порядочный бы куш вышел! Намеднись целую неделю вел интригу с Анной Ивановной... поизрасходовалась она немного, а ничего... можно! Главное, манера приятная, белье тончайшее, ну и то еще лестно, что начальница! Бывало, докладываешь ему, что черноглазовский городничий явился, а сам думаешь: эх, кабы ты только знал, в каких мы отношениях с твоей-то сейчас были! *(Смеется.)* Не дурна тоже председателева жена, только бойка очень! Ну и с этой ладком покончили! *(Зевает.)* Что бы, однако, сегодня вообразить? Разве уже сызнова начать с Анной Ивановной канитель тянуть? Что ж, начнем! А то опять эти черти просители развлекут!

СЦЕНА II

Тот же и Кузнеев (входит робко и бочком пробирается к чиновнику).

Чиновник *(в сторону)*. Вот уж и принесла кого-то нелегкая ни свет ни заря!

Кузнеев. Осмелюсь беспокоить вас, милостивый государь, вопросом: скоро ли будут принимать их превосходительство?

Чиновник. Я над ихними мыслями распоряжения не имею. *(Мечтает.)*... «Сходите-ка в сад, говорит, доложите Анне Ивановне, что завтрак подан». Иду я это по аллее и вижу: сидит она в беседке, в белом неглиже...

Кузнеев. Я, признаться, еще в восемь часов заходил, однако их превосходительство почивали.

Чиновник. Если бы вы в шесть зашли, так и жандарма, пожалуй, нашли бы спящим! *(Мечтает.)*... Сидит она в беседке и книжку читает, ножки под себя сложила и неглиже на грудке приподнялось.

Кузнеев. Вот я и в девять не поленился зайти, однако опять почивают... ну, я и опять в садике погулял-с: солнышко-то нынче уж очень хорошо греет, сударь! веселое солнышко!

Чиновник. Дело вешнее-с. *(Мечтает.)* «Читали ли вы, говорит, Александра Дюма?»

Кузнеев. Только, слышу, на соборной колокольне десять бьет; я, знаете, бежать, ан бежать-то уж ноги не бегут... Приплелся кой-как трусочком, докладываю швейцару: встали? — «Сейчас, говорит, встали...» Ну, и слава те господи!

Чиновник *(мечтает)*. На другой день призывает он меня опять: «Подите, говорит, доложите Анне Ивановне, что пора ей к Матрене Ивановне ехать...»

Кузнеев. Осмелюсь обеспокоить вас, милостивый государь, вопросцем?

Чиновник. Законами не воспрещается. *(Мечтает.)* «Антропов! говорит, у меня, кажется, подвязка на правой ножке развязалась!»

Кузнеев. Всеконечно, вам не безызвестно, сколько по здешнему уезду этих новых мест роздано?

Чиновник. Всеконечно, не безызвестно, но сие есть государственная тайна. *(Мечтает.)* Вот я бросаюсь это на пол...

Кузнеев. Однако?

Чиновник. Ну, и «однако» все же тайна. *(Мечтает.)* Только в это самое время входит лакей и докладывает, что лошади готовы.

Кузнеев. Просителей-то, просителей-то, я чай, по утрам... и не пересчитаешь!

Чиновник. Да таки вроде того: пятые сутки с утра до вечера словно стадо в приемной — не продохнешь! *(Мечтает.)* «Благодарю, говорит, господин чиновник, что бумажку подняли!»

Кузнеев. Осмелюсь, сударь, доложить вам про свое обстоятельство. Неподалеку у меня тут именьице: так, сударь, домишечко убогенький, однако и заведеньице есть, и землицы малая толика... уж как бы для меня-то способно было!

Чиновник *(рассеянно)*. Вы говорите — неподалеку?

Кузнеев. Всего, сударь, верст с пяток, а прямиком и того не будет.

Чиновник. Гм... да... прямиком... оно конечно... *(Мечтает.)* На третий день приходит в приемную горничная Маша: «Вы, говорит, чиновник Антропов?» — а сама смотрит на меня и смеется...

Кузнеев. Опека у меня, сударь, на руках. После дочки шестеро внучат осталось... уж как бы для них-то эти полторы тысячки пригодились!

Чиновник *(зевая)*. Полторы тысячи? да... это не вредно... *(Мечтает.)* «Вам, говорит, приказано сказать, что вы очень из себя интересны...»

Кузнеев. Ну, и я тоже: хоть стар, а могу... и побранить могу... и взыскать могу.

Чиновник. Однако вы мне мешаете.

Кузнеев *(съежившись)*. Помилуйте-с; я полагал-с, что вы не заняты-с...

Чиновник. А почем вы знаете, что у меня в голове происходит? может быть, я обдумываю...

СЦЕНА III

Те же, мадам Артамонова и Антоша.

Артамонова очень бойкая барыня; одета пышно; Антоша во фраке и в белых перчатках; в продолжение всего действия стоит неподалеку от матери и по временам кусает ногти.

Артамонова *(чиновнику)*. Генерал дома? *(Подозрительно взглядывает на Кузнеева; сквозь зубы.)* Опередил-таки!

Чиновник. Дома-с.

Артамонова. Ну, слава богу. Представьте себе, мой милый, мое беспокойство: едем за десять верст и всю-то дорогу

думаем: а что, если генерала вдруг дома нет? *(Сыну.)* Antoine! ne rongez pas vos ongles! [1]

Чиновник. Им некуда выехать-с. *(В сторону.)* Уж не начать ли с этой?

Артамонова *(отводя чиновника к стороне)*. Нельзя ли, голубчик, узнать, как насчет этих новых мест... много роздано?

Чиновник *(любезно)*. Хоть это и секрет-с, однако для вас извольте-с: просьб поступило очень достаточно.

Артамонова *(беспокойно)*. Скажите пожалуйста! и есть кандидаты с сильными рекомендациями?

Чиновник. Все больше от Матрены Ивановны-с... Статский советник Стрекоза тоже довольно ходатайствует... генерал Брылкин-с... штатс-дама Кровопийцева... Вы не можете себе вообразить, сударыня, даже с Кавказа очень многие пишут-с...

Артамонова. Этим-то какая печаль?

Чиновник. Да так-с... пишут, что очень было бы приятно, и больше ничего-с...

Артамонова. Ну так и есть: опять опоздали! *(Сыну.)* C'est toujours toi, mauvais sujet! [2]

Антоша *(хочет что-то сказать)*.

Артамонова. Уж молчи пожалуйста! *(Передразнивает.)* «Чего, маменька, нам спешить?» да «вот, маменька, попросохнет». Mais qu'avez-vous donc sur la chemise? [3]

Антоша вытирается.

Чиновник. Напрасно, сударыня, изволите так тревожиться. Почти утвердительно можно сказать, что счастье поблагоприятствует вам. *(Сентиментально.)* Счастье есть лотерея, сударыня, из которой вам, всеконечно, достанется самый лучший билет!

Артамонова. Благодарю вас, мой милый. Мне очень приятно, что здешние чиновники почтительны. Вы хороши с генералом?

Чиновник *(конфузясь)*. Я-с... сударыня...

Артамонова. То есть, можете иногда напомнить ему? *(Обдумывая.)* Впрочем, я полагаю, что об этом всего лучше попросить генеральского камердинера? как ваше мнение?

Чиновник. Я-с.. сударыня... право, не могу...

Артамонова. Камердинеры всегда большое влияние имеют. С ними могут соперничать только правители канцелярий — это уж я знаю! *(Указывая на Кузнеева)*. Это кто?

---

[1] Антуан! не грызите ногти!
[2] Это все ты виноват, негодник!
[3] Да что такое у вас на рубашке?

Чиновник. Не знаю-с. Кажется, тоже насчет новых мест-с.

Артамонова. Этот-то?

Антоша фыркает.

Antoine! vous salirez votre chemise! [1]

Антоша. Не могу, maman! очень уж смешно!

СЦЕНА IV

Те же и Кувшинников (входит и кланяется на все стороны; потом садится на стул и вынимает прошение, которое внимательно и с некоторым беспокойством прочитывает).

Артамонова (*издали косясь на бумагу*). Желала бы я знать, что там такое написано?

Кувшинников (*читает вполголоса и с расстановкой, как будто силится понять*). «Будучи приведен в известность, что чрез обстоятельства высшего соизволения, прежде предполагаемые ныне к осуществлению удовлетворительно развиваются»... к сему... гм... к сему...

Антоша внезапно прыскает со смеху.

Артамонова. Antoine! c'est très impoli ce que vous faites-là! [2]

Антоша. Maman! il n'y a pas de substantif! [3]

Кувшинников (*продолжает читать*). «И обладая именим малым, большею частью из песков состоящим, с некоторым присовокуплением каменистой и худородной земли»... Прошению... гм... прошению! (*Встает в волнении со стула и некоторое время ходит по комнате. Наконец с решительным видом подходит к Кузнееву.*) Позвольте просить вас, милостивый государь, прочитать это прошение!

Кузнеев принимает от него бумагу и читает. Антоша вновь не может удержаться и прыскает. Кувшинников смотрит на него с изумлением.

Это очень любопытно...

Артамонова. Antoine! mais vous allez vous attirer une histoire, mauvais sujet! [4]

---

[1] Антуан! вы запачкаете рубашку!
[2] Антуан! то, что вы делаете, очень невежливо!
[3] Мама! тут нет имени существительного!
[4] Антуан! негодник, это кончится для вас плачевно!

Антоша. Maman! позвольте мне выйти в швейцарскую!

Артамонова. Restez ici et n'osez pas rire! [1]

Кувшинников *(Кузнееву)*. Поняли?

Кузнеев. Темновато несколько... однако, отчего же-с... понять можно-с... *(Тыкает пальцем в бумагу.)* Вот тут бы... вот тут бы... одно только словечко... самое, знаете, маленькое... чтоб только, знаете, вид дать... *(Показывает первым и указательным пальцем нечто действительно очень маленькое.)*

Кувшинников. Представьте себе, я сряду три дня читаю... даже в пот бросает...

Антоша внезапно убегает из комнаты, закрывши рот рукою.

(Артамоновой.) Сударыня! я, кажется, не подал никакого повода вашему сродственнику...

Артамонова. Извините, капитан, это с ним без всякой причины бывает. *(К чиновнику.)* Посмотрите, мой милый, что там с ним делается?

Чиновник уходит, выражая при этом самую любезную готовность служить.

СЦЕНА V

Те же и дама под вуалью.

Дама *(встречая чиновника в дверях)*. Позвольте узнать, мсье, где здесь можно подождать генерала?

Чиновник. В этой комнате, сударыня.

Дама. Как? здесь? ах, как это странно! *(Отходит в сторону и садится.)*

Артамонова *(в сторону)*. Чему же она удивляется, однако?

СЦЕНА VI

Те же и Пересвет-Жаба (входит с письмом в руках; смотрит на всех благосклонно и любезно улыбается). За ним входит и чиновник.

Артамонова *(в сторону)*. Вот и еще кого-то принесла нелегкая! хоть бы принял поскорей, развязал бы уж, что ли! *(Чиновнику.)* Ну что, мой милый?

---

[1] Оставайтесь здесь и перестаньте смеяться!

Чиновник. Они сейчас пожалуют-с.

Артамонова. Благодарю вас, голубчик.

Пересвет-Жаба *(чиновнику)*. Нельзя ли доложить генералу, что ротмистр Пересвет-Жаба приехал!

Чиновник. Они сейчас выйдут-с.

Пересвет-Жаба. С письмом от Матрены Ивановны... вероятно, генералу угодно будет принять меня особенно...

Чиновник. Они кушают чай-с.

Пересвет-Жаба. А! ну это другое дело! *(Окидывает всех ласковым взором.)* Конечно, чай такое занятие, которое прерывать не следует! *(Садится неподалеку от дамы с вуалью.)*

Воцаряется молчание, которое длится несколько минут. Антоша возвращается и садится около матери, которая ему выговаривает.

(К даме с вуалью.) Вы, конечно, с просьбой к генералу, сударыня?

Дама *(оправляя вуаль, чуть слышно)*. Да-с.

Пересвет-Жаба. Да, надо правду сказать: нынче уж век такой наступил, что всякому чего-нибудь хочется.

Дама. Я не всякая-с.

Пересвет-Жаба. Помилуйте, сударыня, зачем же так понимать мои слова? Я не смею и думать-с... я вообще... я к тому это сказал, сударыня, что век наш вообще имеет направление практическое...

Артамонова. Я думаю, однако, что и в прежнее всякому чего-нибудь хотелось.

Пересвет-Жаба. Не смею с вами спорить, сударыня, но все-таки, если вам угодно будет сравнить недавнее прошедшее с нашим настоящим, вы сами удивитесь, сколько мы в какие-нибудь пять лет прожили! Пытливость ума какая-то... пароходы... акционерные компании... Нет, как хотите, а это шаг!

Вновь воцаряется молчание.

Приятно жить в такую эпоху, сударыня! Приятно чувствовать, как все это кругом обновляется, молодеет! Начну, например, с себя: конечно, я человек со средствами, мог бы существовать независимо... наслаждаться природою... увлекаться с любимым писателем в страны воображения... однако нет! В воздухе, знаете, что-то такое... так вот и подталкивает: действуй, действуй и действуй! *(Махает руками.)*

Кузнеев *(умильно)*. Даже мы, старики, и мы это чувствуем, господин ротмистр!

Пересвет-Жаба *(смотрит на Кузнеева ласково)*. А что

вы думаете, ведь это правда! У меня сосед по имению есть, лет уж осьмидесяти старик... ну и паралич тоже... осьмой год недвижим лежит... а и он намеднись говорит: «Пожил бы, Станислав Казимирович, еще вот как пожил бы!» Эпоха такая!

Артамонова. Ну, пожить-то и во всякую эпоху хочется!

Пересвет-Жаба. Не смею с вами спорить, сударыня, но все-таки позволю себе продолжать думать, что в настоящей эпохе есть именно что-то живительное, возбуждающее. *(Нюхает в воздухе.)* Конечно... жить... то есть пользоваться земными благами... *(скороговоркой)* попить... поесть хорошего... конечно, такое желание законно во всякое время; но согласитесь, что в прежнее время не было ни этой пытливости, ни этой полноты, ни этого жару... а это великая вещь, сударыня! Всякому, знаете, хочется применить, провести что-нибудь.. убеждение какое-нибудь эдакое... Я даже так полагаю, что со стороны человека, который имеет убеждения, было бы непростительно не выступить с ними на поприще гражданственности!

Кувшинников *(в сторону)*. Эхма! кабы все это да в просьбу вклеить!

Пересвет-Жаба. Скажу опять-таки про себя. Я человек независимый, имею хорошее состояние, следовательно, мог бы, по-видимому, жить, ни в ком не нуждаясь. Однако я чувствую, что это было бы с моей стороны непростительно... даже подло... и вот я готов! *(Декламируя.)* Приветствую тебя, век пытливости! век изобретательности ума! век железных дорог и телеграфов!

Кувшинников *(в сторону)*. Ахти-хти! и я бы готов, да этот чертов сын стракулист, кажется, всю просьбу испакостил!

Кузнеев. Это справедливо, господин ротмистр, что на зов отечества всякий из нас свою лепточку... *(Делает крошечное движение рукой.)*

Пересвет-Жаба. И возьмите, сударыня, что во всем это так... во всем это движение, эта жизнь! Начнем с нашего благонамеренного, нашего истинно благодушного начальника. Скажите на милость, когда же была видна такая заботливость, такое истинное христианское попечение обо всем? Чтоб все это было хорошо, чтоб все это благословляло, все радовалось... чтоб помещик был доволен, чтоб мужичок был счастлив... согласитесь, что никогда? Поверите ли вы мне, я даже в губернский город лет десять не ездил — так все это было противно! И вдруг теперь приезжаю — какое приятное изумление! Мостовая везде с иголочки... там бульварец... тут театрик... не тряхнет нигде... просто даже странно после прежнего

безобразия! Нет, как хотите, а он не бюрократ! Он дворянин! именно дворянин! Есть в нем эта сила, это что-то неуловимое, это... это...

Кузнеев. Осмелюсь доложить, господин ротмистр, что был здесь, лет тридцать тому назад, начальником Федор Петрович Фютяев... тоже и театров и бульваров — страсти сколько настроили! а после них поступили генерал Вислоухов, и все это опять уничтожать начали!

Пересвет-Жаба. Да?

Кузнеев. Точно так-с. А Федор Петрович именно пряной начальник были! И так это строго себя против всех держали, что даже смотреть на них внушительно было!

Пересвет-Жаба. Ах, да не то! да не в строгости тут сила, милостивый государь! Тут просто что-то неуловимое... как бы это вам выразить? «Ну, сделай это, mon cher!» [1] — и всякий сделает с удовольствием.

Кузнеев. Конечно-с, мерами кротости... это так! Однако осмелюсь доложить вашему высокоблагородию, что с купцами не всегда это удобно. Пойдут это у них сказы да рассказы, да отговорки разные — ну, а начальству не всегда досужно бывает.

СЦЕНА VII

Те же, Уколкин и Накатников (входят очень шумно и вообще выказывают развязность самого лучшего тона; одеты пестро; часто между собой перемигиваются, указывая на прочих соискателей).

Уколкин *(чиновнику)*. В каком положении начальство?

Накатников. То есть в «положении» или уж в «состоянии»?

Уколкин. Joli! [2]

Чиновник. Чай кушают-с.

Уколкин. А импресарио?

Чиновник. Прошли к ним-с.

Уколкин. Ну, волоките его сюда; скажите, что Тамберлик и Кальцоляри ждут... joli?

Накатников. Да вы не перевирите: не скажите: «трубочист и канцелярия»...

Уколкин. Joli!

Чиновник. Сейчас-с. *(Уходит.)*

---

[1] голубчик!

[2] Мило.

Уколкин *(вполголоса, подмигивая на прочих действующих лиц)*. Катнем?

Накатников. Вальнем!

Уколкин. Как... как... как это ты давеча сказал: «вот он-он»?

Накатников. С пальцем девять, с огурцом пятнадцать, наше вам-с!

Уколкин. Charmant![1]

Артамонова *(в сторону)*. Это, прости господи, что еще за скоморохи ввалились?

Пересвет-Жаба *(очевидно заигрывает с Уколкиным и Накатниковым)*. Вот хоть бы взять, например, нынешнее молодое поколение... Скажу откровенно: я тоже был молод, и тоже в свое время не последнюю роль играл, однако, нет... не то! Не было, знаете, этого дельного взгляда, не было этого изящества, этой волшебной простоты, которая так очаровывает в нынешнем молодом поколении!

Уколкин *(вполголоса Накатникову)*. Гм... однако этот антрепренер не дурак!

Накатников. У него аппетит очень силен... joli?

Кузнеев *(подходя к Накатникову)*. Позвольте, Семен Петрович! вы, кажется, не изволите узнавать меня... Кузнеев, Хрисанф Степанов.

Накатников. Боже! да это, кажется, тот самый Кузнеев, который...

Кузнеев. Именно, Семен Петрович, тот самый...

Накатников. Знаменитый Кузнеев!

Уколкин. Достославный Кузнеев!

Кузнеев *(Уколкину)*. И вас тоже, Петр Николаич, имею честь знать... Точно-с, мы, как бы сказать, люди темные: куда нам с образованными людьми компанию весть! Однако и мы тоже слышим!

Уколкин. И много лестного слышите?

Кузнеев. Столь много, Петр Николаич, что, кажется, если бы у меня был такой сын, то я именно почел бы себя счастливым!

Накатников. А у вас сын разве очень плох?

Кузнеев. Я совсем не имею сына, Семен Петрович!

Накатников. В таком случае я понимаю! Достославный Кузнеев, томясь жаждой родительской любви, желает усыновить нас! Папаша! позволь облобызать тебя!

Уколкин. Бесценный родитель! позволь придушить тебя в объятиях сыновней нежности!

---

[1] Прелестно!

СЦЕНА VIII

Те же и Бирюков; за ним дежурный чиновник.

Бирюков выходит из внутренних апартаментов; Уколкин и Накатников немедленно устремляются к нему; Пересвет-Жаба встает и расшаркивается; лицо Кузнеева принимает выражение человека, на всю жизнь осчастливленного; Кувшинников держит руки по швам; дама с вуалем беспокойно подергивается на стуле; мадам Артамонова взирает с любопытством и делает знак Антоше, чтобы он поправился. Бирюков, высокий, румяный и плечистый молодой человек, гладко выстрижен, слегка картавит, держится прямо и вообще всей складкой выражает некоторое подобие английскому джентльменскому типу, в противоположность Уколкину и Накатникову, в приемах которых видно нечто, напоминающее французов-куаферов.

Бирюков. А, солисты! *(Жмет им руки.)* Который же из вас Тамберлик?.. mais savez-vous que le général a beaucoup ri! [1]

Уколкин. Joli? не правда ли? Ведь это я выдумал! едем мы сюда, а я и говорю Накатникову: знаешь что, Simon? велим об себе доложить: Тамберлик и Кальцоляри?

Накатников. Ну, а как же там-то, Сеня? *(Показывает глазами наверх.)* Вальнем?

Уколкин *(перебивая его)*. А то вчера вечером идем мы в клуб, и вдруг нам навстречу мужик: «Вот он-он!» — кричит; а Накатников ему так, знаешь, равнодушно: «С пальцем девять, с огурцом пятнадцать — наше вам-с!» Да ты понимаешь? с пальцем девять... понимаешь? И так, знаешь, равнодушно... délicieux! [2]

Бирюков смеется.

Накатников. Ну да полно же, Уколкин! Так как же, Сеня,— вальнем?

Бирюков *(вполголоса)*. L'affaire est baclée [3].

Уколкин и Накатников жмут ему руки.

Уколкин. Сеня! Vous avez un noble cœur! [4]

Накатников. Сеня! Vous avez bien mérité de la patrie! [5]

Бирюков *(ласково)*. Шуты! перестаньте! l'on va descendre à l'instant! [6]

Уколкин. А нам нужно ждать?

---

[1] Знаете ли, генерал ведь очень смеялся!
[2] прелестно!
[3] дело в шляпе.
[4] У вас благородное сердце!
[5] Вы заслужили благодарность отечества!
[6] Сейчас выйдут!

Бирюков. Нет, вас Анна Ивановна обедать зовет. Je vous dis que c'est une affaire arrangée [1].

Уколкин. Нет, да ты пойми, Сеня, какую ты вещь устроил: ты, я, Накатников... et Mokrotnikoff pour président... [2] Да ведь мы вчетвером такой концерт...

Бирюков. Будет еще пятый.

Уколкин. Кто же?

Бирюков. Маленький князек.

Уколкин. Соломенные ножки? Ну что ж, это ничего: он будет у нас вместо флейточки! Ну, а в других уездах как?

Бирюков. Un choix admirable [3]. Анна Ивановна шутя говорит, что у нее следующей зимой составится un quadrille des myrovoys [4].

Уколкин. Mais quelle femme séduisante! [5]

Накатников. Гм... в старину были телеса...

Бирюков. Молчи ты, шут гороховый! Вот зададут тебе «телеса»!

Уколкин. Да! à propos: [6] чуть-чуть не позабыл... позволь рекомендовать тебе родителя!.. Достославный Кузнеев! ползите сюда!

Кузнеев. Петр Николаич шутят-с. Однако я очень рад-с. *(Подает Бирюкову руку, которую тот не берет.)*

За дверьми слышится шум.

Бирюков. Тсс... сам! Убирайтесь!

Накатников и Уколкин скрываются, слышится. «Au revoir!», «Au plaisir!» [7] и проч.

СЦЕНА IX

Те же и Зубатов (румяный и бодрый старик; держит себя по-военному; глаза голубые; нос большой; густые бакены с проседью; привык повелевать и потому часто делает попытки перейти в ругательный тон, но, вспомнив о существовании благодетельной гласности, сдерживает себя). Повторяется та же сцена, что и при появлении Бирюкова, но в усиленном градусе.

Зубатов *(подходя к Артамоновой)*. Чем могу быть полезным, сударыня?

---

[1] Говорю вам, это дело решенное.
[2] и Мокротников председателем...
[3] Выбор замечательный.
[4] кадриль мировых.
[5] Но какая обольстительная женщина!
[6] кстати.
[7] До свиданья! До приятного!

Артамонова. Permettez-moi de vous recommander mon fils, général... Antoine! faites donc votre révérence au général! [1]

Зубатов *(несколько изумлен)*. Очень рад, очень рад! но в чем же дело, сударыня?

Артамонова. Mon général...

Зубатов *(мало-помалу багровеет)*. Позвольте вас просить объясняться по-русски, сударыня.

Артамонова. Я приехала, генерал, рекомендовать вам моего сына на одно из новых мест.

Зубатов. А ваш сын где кончил воспитание?

Артамонова. Мой сын воспитывался дома, и я сама наблюдала, чтобы внушить ему самые строгие правила, генерал.

Зубатов. Очень жаль-с! очень жаль-с! Но нам необходимы люди, кончившие курс в высших учебных заведениях!

Артамонова. Однако согласитесь, генерал, что это тирания!

Зубатов. Очень соболезную! И даже соглашаюсь с вами отчасти; но таковы намерения высшего начальства, а я... я раб, сударыня! то есть, я хочу сказать: я раб своего долга!

Артамонова. Однако это странно...

Зубатов. Что ж делать, сударыня! Я сам не всегда понимаю... и вполне сочувствую вашему материнскому горю, но проникать в высшие намерения не почитаю себя вправе...

Артамонова. Итак, мы не можем питать никакой надежды?

Зубатов. Очень жаль-с! очень жаль-с! *(Подходит к даме с вуалью.)* Чем могу служить, сударыня?

Дама *(подняв вуаль)*. Мой муж служит на Кавказе, ваше превосходительство...

Артамонова *(перебивает)*. Но, быть может, для сына моего сделают исключение, генерал?

Зубатов *(очень любезно, но уже весь багровый)*. Может быть-с, может быть-с... не знаю, сударыня... очень рад буду за вашего сына!

Артамонова. Потому что если бы Antoine, по молодости, и не смог чего сделать, то я, как мать, могу ему помочь! Я пятнадцать лет вдовею и двадцать лет управляю имением, генерал!

Зубатов. Очень понимаю, сударыня! но что ж прикажете делать? я раб... то есть, я хочу сказать: раб своего долга!

---

[1] Позвольте, генерал, представить вам моего сына... Антуан! поклонитесь же генералу!

Дама с вуалью. Мой муж служит на Кавказе, ваше превосходительство... *(Останавливается.)*

Зубатов. Что ж прикажете, сударыня?

Дама *(некоторое время молчит; потом застенчиво, почти плача)*. Я позабыла-с.

Зубатов *(снисходительно)*. Постарайтесь вспомнить, сударыня... ну, например, что б такое? ну, например... быть может, супруг ваш места ищет...

Дама *(повеселев)*. Точно так! точно так! новые места! новые места!

Зубатов. Ваш супруг помещик здешней губернии?

Дама. Никак нет-с, ваше превосходительство, мы не помещики-с.

Зубатов. Очень жаль-с! очень жаль-с! но нам необходимы именно помещики, и именно здешней губернии!

Дама. Так это переменить невозможно?

Зубатов. Я не полагаю-с. Конечно... быть может... в воздаяние заслуг... нет правил без исключений...

Дама. Мой муж мне именно пишет, что потребуется строгость, и что он, как военный...

Зубатов. Очень соболезную, очень соболезную, сударыня, что должен лишиться такого полезного сотрудника, но что ж делать? предписания закона ясны, тверды и положительны!

Дама *(несколько подумав)*. Ваше превосходительство! нам бы эти полторы тысячи...

Зубатов. Что ж делать, что ж делать, сударыня! Я имел уже честь объяснить вам, что слова закона ясны, тверды и положительны!

Дама. Очень вам благодарна, ваше превосходительство! *(Закрывает лицо вуалем и выходит.)*

Артамонова. Как вы думаете, генерал, если я напишу к графу Ивану Никитичу... Это будет хорошо?

Зубатов. А вы коротко знаете графа?

Артамонова. Гм... не то чтоб коротко, а так. Я однажды с ним в одном вагоне по железной дороге ехала.

Зубатов *(почти посинел от злости, но еще сдерживается; еще минута, и обругает)*. Гм... да... это будет не дурно!

Артамонова. Да вы поймите, генерал, что нам, с нашим влиянием в уезде, с нашим состоянием, остаться ни при чем...

Зубатов *(вышел из себя и издает только бессложные звуки)*. Ффф... ззз...

Артамонова *(сначала смотрит на него с изумлением,*

потом пугается). Antoine! allons-nous en! allons-nous en![1] *(Быстро убегает с сыном.)*

Пересвет-Жаба *(подавая письмо, вкрадчивым голосом)*. От Матрены Ивановны, ваше превосходительство!

Зубатов *(видимо встревоженный побегом госпожи Артамоновой и мыслью, что она может прибегнуть к благодетельной гласности)*. Что вы хотите сказать этим, милостивый государь? *(К Бирюкову.)* Семен Петрович! эта дама... успокойте!

Бирюков выходит; из передней слышится: «De grâce, madame..», «mais non, il nous battra!»[2] и т. п. По боковым подергиваниям, которые овладевают Зубатовым, видно, что его сильно подмывает выйти в переднюю.

Пересвет-Жаба *(вразумительно)*. От Матрены Ивановны, ваше превосходительство!

Зубатов. Я вас спрашиваю, что вы хотите этим сказать?

Пересвет-Жаба увядает; Кузнеев видимо намеревается улизнуть; входит Бирюков.

Бирюков. Cette dame retournera demain à pareille heure[3].

Зубатов. Благодарю. *(Пересвет-Жабе.)* Так вы говорили, что имеете письмо от Матрены Ивановны?

Пересвет-Жаба *(расцветает)*. Точно так, ваше превосходительство. *(Подает письмо.)*

Зубатов *(читает письмо)*. Очень жаль! очень жаль!

Пересвет-Жаба мгновенно увядает.

У меня все это уж организовано... люди подобраны... ждем только сигнала из Петербурга... очень жаль! очень жаль-с!

Пересвет-Жаба. Ваше превосходительство! Я в целом околотке известен своею строгостью!

Зубатов. Тем больнее для меня отказать вам. Потому что нам нужна строгость! *(Видимо, желает прочесть лекцию о строгости.)* Строгость — это, так сказать, главнейший нерв администрации! *(Подходит к Кузнееву.)*

Пересвет-Жаба машинально облизывается.

Кузнеев *(струсил и съежился)*. Позвольте мне уйти, ваше превосходительство!

Зубатов. Вы разве только поглядеть сюда пришли?

Кузнеев. Нет-с, я, ваше превосходительство, с просьбицей-с; только просьба-то моя, вижу, не дельная.

---

[1] Антуан! уйдем отсюда! уйдем!
[2] «Помилуйте, сударыня...», «нет, нет, он нас побьет».
[3] Эта дама придет завтра в такое же время.

З у б а т о в. В чем же ваша просьба?

К у з н е е в. Самая, ваше превосходительство, не дельная. Нет, уж увольте, ваше превосходительство! позвольте уйти!

З у б а т о в *(давая ему дорогу, обидчиво)*. Я, государь мой, не держу вас!

Кузнеев уходит, наклонив голову, как будто ожидая удара.

Странно! это очень странно! *(К дежурному чиновнику.)* Вы, прежде нежели допускать просителей до меня, обязаны обстоятельно расспрашивать, об чем они просят.

Чиновник раскрывает рот, чтобы говорить.

Молчать! Семен Петрович! потрудитесь сказать Предпочтительному, чтобы он вперед не присылал ко мне этого дурака на дежурство!

Ч и н о в н и к *(в сторону)*. Вот тебе и Анна Ивановна!

З у б а т о в *(Кувшинникову)*. Вам что?

Кувшинников молча подает просьбу.

Извольте объяснить словесно, в чем заключается ваша надобность.

К у в ш и н н и к о в. Там все написано-с.

З у б а т о в *(читает)*. Ничего не понимаю! положительно-таки ничего не понимаю!

К у в ш и н н и к о в. Желаю получить место-с.

З у б а т о в. Нет места-с.

К у в ш и н н и к о в. Так нет места-с?

З у б а т о в. Нет места-с.

К у в ш и н н и к о в. И на два с полтиной нет-с?

З у б а т о в *(изумленный, вращает кругом глазами)*. Что это такое? что это такое?

Б и р ю к о в *(смеясь, вполголоса Зубатову)*. Il demande s'il ne pourrait pas être nommé comme candidat [1].

З у б а т о в *(поняв)*. А! *(Кувшинникову.)* И на два с полтиной нет места-с.

К у в ш и н н и к о в. Благодарю покорно-с! *(Делает полуоборот налево и выходит.)*

З у б а т о в *(к Пересвет-Жабе)*. А! вы еще здесь?.. Гм... так вы говорите, что вы строги?

---

[1] Он спрашивает, не может ли он быть кандидатом

Пересвет-Жаба *(расцветая)*. Весь наш уезд засвидетельствует вашему превосходительству. Смею уверить ваше превосходительство, что у меня все это останется по-старому!

Зубатов. Ну, хорошо! ну, хорошо! я вижу! Семен Петрович! *(Неожиданно оборачивается спиной и уходит во внутренние комнаты, насвистывая дорогой: «Jeune fille aux yeux noirs!»* [1])

Пересвет-Жаба раскрывает рот от огорчения.

Бирюков. А это значит, что вам следует отправиться в канцелярию его превосходительства, к господину Предпочтительному... там есть механик такой: он вас запишет.

Пересвет-Жаба задыхается от радости и хочет поцеловать у Бирюкова руку.

Mais finissez donc! mais finissez donc! [2]

Занавес опускается.

---

[1] «Черноокую девушку!»
[2] Перестаньте! Перестаньте!

НЕДОВОЛЬНЫЕ

Сцена

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Андрей Иваныч, Иван Андреич — Пожилые, оставшиеся за штатом действительные статские советники. Похожи друг на друга до смешного; не тощи и с виду добродушны. Андрей Иваныч посолиднее и выше ростом; Иван Андреич ростом не велик и когда сидит на стуле, то не достает ногами пола.

Иван Андреич. Конечно, ваше превосходительство, кабы на место Семена Петровича Степана Иваныча, на место Василия Кирилыча Сергея Николаича, а на место Федора Федорыча Петра Григорыча...

Андрей Иваныч *(держа в зубах сигару).* А Федора Федорыча куда ж?

Иван Андреич. Федора Федорыча можно бы в сенаторы-с... С сохранением, разумеется...

Андрей Иваныч. С сохранением... н-да!.. это пожалуй...

Иван Андреич. Русское царство, ваше превосходительство, очень обширно; отчего Федора Федорыча не прокормить? Сколько теперича одних жидов прокармливает, железнодорожников, подрядчиков-с, а чтоб Федора Федорыча...

Андрей Иваныч. Прокормить в состоянии.

Иван Андреич *(заискивающим голосом, как бы намереваясь пощекотать Андрея Иваныча.)* А на место бы Петра Григорьича...

Андрей Иваныч *(перебивает его).* Мечта одна!

Иван Андреич. Отчего же мечта-с? Ваше превосходительство в таких еще летах...

Андрей Иваныч. Мечта одна!

Иван Андреич. А как бы дело-то пошло-с!

Андрей Иваныч *(распускаясь и скороговоркой)*. К концу месяца — чисто! ни единой, ни самомалейшего отношения... *(Делая над собой усилие.)* М-мечта одна!

Минута молчания

Иван Андреич. Нынче, ваше превосходительство, все фантазии на службе пошли... ничего положительного нет-с...

Андрей Иваныч. Правда.

Иван Андреич. Пошла в ход филантропия-с... протолериат-с...

Андрей Иваныч. Пролетариат то есть.

Иван Андреич. Мы, бывало, в неизвестное-то не пускались-с. Видишь по бумагам, что коллежскому секретарю время на титулярные приспело — ну и пишешь: «аксиос».

Андрей Иваныч. То есть не «аксиос», а «внести в общее присутствие».

Иван Андреич. Ну, конечно-с. Нас, ваше превосходительство, воображениям-то не учили... с нас дела спрашивали...

Андрей Иваныч. Это так.

Иван Андреич. А нынче «титулярного-то советника» — в сторону-с... все норовят, как бы в «уничтожение чинов» ударить!

Андрей Иваныч *(глубокомысленно)*. Оно к тому идет.

Иван Андреич *(хихикая)*. Стало быть, ваше превосходительство, таким манером у нас, в департаменте, какой-нибудь коллежский секретарь директором сделаться может?

Андрей Иваныч *(усиленно выпуская дым)*. Оно к тому идет.

Иван Андреич. Ну, это уж очень что-то забавно будет!.. Я думаю, наши-то, департаментские, так и прыснут, как он войдет этак фертиком в департамент?

Андрей Иваныч. Не прыснут!

Иван Андреич. Да нет-с, после этого, ваше превосходительство, и сторож Михей надежды иметь может...

Андрей Иваныч. Ну, этот еще погодит.

Иван Андреич. А что ж, ваше превосходительство, нынче и эту идею подать можно... право-с! *(Хихикая.)* Нынче эти новости вот как любят! Только презабавно, презабавно это будет; войдет это Михей, да вместо портфеля-то — щетка в руках...

Андрей Иваныч. Этого-то еще не будет, а что колежский секретарь будет директором, так это верно.

Несколько минут молчания, в продолжение которых Иван Андреич сидит смущенный, а Андрей Иваныч скрещивает ноги и смотрит на собеседника с торжеством, как бы говоря ему: «Да, брат, и я либерал! А ты что думал!»

Иван Андреич *(в раздумье)*. А ведь как поразмыслишь, так это именно правда, что оно к тому идет.

Андрей Иваныч. К тому.

Иван Андреич. Везде-с... по всем ведомствам-с... Возьмем, например, почтовое ведомство-с... Уж какое было, кажется, смирное: муха, бывало, пролетит, и то слышно... И вдруг-с: сперва штемпельные куверты, а потом и этого мало показалось — марки выдумали!

Андрей Иваныч. Выдумали.

Иван Андреич. А кому, кажется, какое зло штемпельный куверт сделал?

Андрей Иваныч. Совершенно никому.

Иван Андреич. Или вот домà-с. Надоело, что по фамилиям называются, все это старо, изволите видеть... Что ж! переформировали и это-с! Нумерами какими-то окрестили — налево чет-с, направо нечет-с...

Андрей Иваныч. Смотреть скучно!

Иван Андреич. Идешь иногда по улице, видишь все это разрушение... даже вздохнешь потихонечку-с.

Андрей Иваныч. Все комитет о сокращении переписки сделал.

Иван Андреич. Н-да-с, этот комитет, доложу вам... Ведь какое, кажется, место, даже и не место совсем, а просто как бы сказать... комитет-с!.. А сколько яду пролил!

Андрей Иваныч. Даже остроты ума никакой нет. Вот губернаторам разрешили: под бумагами полной фамилии не подписывать, а только одни буквы начальные.

Иван Андреич *(вздохнув)*. Заварили кашу!

Андрей Иваныч. Каково-то будет расхлебывать!

Иван Андреич. Расхлебать-то бы еще можно, а главное, ваше превосходительство, слуг хороших нет!

Андрей Иваныч. И то правда.

Иван Андреич. То есть, таких слуг, как в наше время были, чтоб за начальство в огонь и в воду, чтоб и написать могли, и поправить бы могли, и отношения эти понимали бы... кому и как. Словом, чтоб все это шито да крыто было...

Андрей Иваныч. Да, были мастера!

Иван Андреич. Уж такие мастера, что в нынешнее время даже постичь трудно. Помните ли, например, ваше пре-

восходительство, как обер-полицеймейстер к нашему графу бумагу прислал, что такого-то числа найден на улице без чувств лежащий человек, назвавший себя чиновником Лепехиным? Помните ли, как мы в ту же минуту отвечали, что такого чиновника в нашем ведомстве не состоит, а между тем этого Лепехина задним числом из службы выключили?

Андрей Иваныч. А помните ли вы, как у нашего графа князь Р. мнения по делу Тепицына спрашивал?

Иван Андреич. Помню, помню!.. Еще мы ему отвечали, что наше мнение то же, что и по делу Чурилова... Помню!

Андрей Иваныч. И как он к нам потом приставал, что обстоятельства сих двух дел совершенно различные, а мы ему в ответ все одно да одно: ответствовано, дескать, тогда-то, за номером таким-то!

Иван Андреич. Ха-ха!

Андрей Иваныч. Да, были мастера! Были... да сплыли.

Иван Андреич. Оно и нынче, ваше превосходительство, не мудрено бы... Все эти марки, номера... Можно бы ко всему привыкнуть... Только вот слуг нет!

Андрей Иваныч. Нет. *(Задумывается и вздыхает.)*

Иван Андреич *(после нескольких минут молчания)*. Вот и нас с вами, ваше превосходительство...

Андрей Иваныч. Сократили.

Иван Андреич. А мы могли бы еще послужить, ваше превосходительство.

Андрей Иваныч. И очень.

Иван Андреич. Вашему превосходительству и всего-то пятьдесят с небольшим!

Андрей Иваныч. Да и вашему превосходительству не больше шестидесяти...

Иван Андреич. Мы еще много полезных вещей могли бы сделать, ваше превосходительство!

Андрей Иваныч. Да, мы бы... тово...

Иван Андреич. Возьмем хоть инспекторскую часть: сколько бы тут граф новых можно было поделать! Или еще: приказы издаются нынче по ведомствам, а можно бы, сверх того, издавать их и по алфавиту...

Андрей Иваныч. Полезно.

Иван Андреич. Иной, ваше превосходительство, не знает, в каком ведомстве служит лицо, его интересующее, а по алфавиту его в одну минуту отыскать можно.

Андрей Иваныч. Удобство большое!

Иван Андреич. И удобство-с, а главное, что для всех безобидно...

Андрей Иваныч. Это главное.

Новое молчание, в продолжение которого Иван Андреич хочет что-то сказать, но некоторое время не решается.

Иван Андреич *(заискивающим голосом)*. А что, ваше превосходительство, если действительно оправдается слух этот самый, что вас на место Петра Григорьича?

Андрей Иваныч *(повертываясь на стуле от внутреннего довольства)*. Разве слух есть?

Иван Андреич. Ходит, ваше превосходительство, ходит.

Андрей Иваныч *(тревожно)*. Разве сказывал кто?

Иван Андреич. Как же-с, ваше превосходительство, как же-с! Давеча иду я по Гороховой (я нынче от нечего делать моционом больше занимаюсь), и вдруг это, из-за угла, навстречу мне Гаврило Петрович...

Андрей Иваныч. Гаврило Петрович? Он, кажется, благонамеренный?

Иван Андреич. Отличный человек-с! Ни про кого, кроме приятного, ничего не скажет! А уж как ваше превосходительство уважает, так даже захлебывается весь-с!..

Андрей Иваныч. Надо иметь в виду... Ну-с!

Иван Андреич. Ну-с, встречается со мной Гаврило Петрович. «А слышали, говорит, ведь Андрея-то Иваныча на место Петра Григорьича хотят назначать? А мы, говорит, думали, что у нас уж и департамент-то весь прахом пошел!»

Андрей Иваныч *(подумавши)*. Что ж, я послужить не прочь!

Иван Андреич. А уж для службы-то было бы как полезно!.. Уж так полезно! так полезно! Без лести вашему превосходительству доложу!

Андрей Иваныч *(повеселев)*. Ну, уж и вы тогда на меня не пеняйте, Иван Андреич! Я ваше превосходительство опять на свежую воду выведу! В вицы, сударь, ко мне, в вицы! Вот мы, сударь, как вас!

Иван Андреич *(внезапно покрываясь маслом)*. Что ж, ваше превосходительство!.. И я от трудов не прочь!

Андрей Иваныч. Славно мы заживем!

Иван Андреич. Главное, ваше превосходительство, что единодушие будет... Потому что у меня, ваше превосходительство, и ухо, и око, и все, так сказать... Это как перед истинным богом-с!.. Потому что, при исполнении служебных обязанностей, и душа и тело — все это не мое, а начальниково-с.. Вот я как себя понимаю!

Андрей Иваныч. Это... основательно!

Иван Андреич. А по тому самому я и позволяю себе думать, что если бы на место Петра Григорьича назначили ваше превосходительство — эта часть большому бы подверглась преуспеянию!

Андрей Иваныч. Да, я бы... тово!

Иван Андреич. Возьмем хоть инспекторскую часть... Сколько тут доброго можно сделать!

Андрей Иваныч. Да, я бы... тово...

Иван Андреич. Или вот насчет определений и увольнений... Ведь это теперь, ваше превосходительство, в младенчестве...

Андрей Иваныч. Да, я бы... тово... Я бы все это двинул.

Иван Андреич. У вас бы, ваше превосходительство, не зазевались!

Андрей Иваныч. Надо так полагать!

Иван Андреич. Одним словом, ваше превосходительство, только бы это устроилось, а уж мы бы... *(Махает рукой и задумывается.)*

Андрей Иваныч тоже некоторое время рассеянно пускает кольца дыма. Оба встают.

Вместе *(к публике)*. Да, мы бы... мы бы... *(Скороговоркой и решительно.)* Да, мы бы... тово!

СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

(Посвящается любителям отечественного просвещения)

Май у нас нынче особенно душист и радошен. На воле, за городом, так хорошо, свежо, нарядно и благоуханно, что, кажется, век бы не вышел оттуда. Поля в ином месте уже покрыты сильными зеленями, в другом еще сверкают чернова-тыми полосами только что взрыхленной земли, деревья одеты довольно густою, но еще молодою, искрасна-зеленою листвою, воздух влажен и весь проникнут испарениями нежащейся на весеннем солнце земли; в синем небе не видно ни облачка, и все оно словно играет, словно сверкает, но не тем давящим сверканием, каким бывает облито знойное июльское небо, а каким-то мягким, ласковым, радостным, точно милое, улыбающееся лицо ребенка, только что освеженное студеной водою; в пространстве волнами ходят звуки, бог весть откуда и кем заносимые; радостные и торжествующие, они сплошным гулом стелются по земле, словно сама всецелая природа в этих звуках стонет под бременем внутренней силы и ликования. И неизвестно, посредством какого тайного процесса все это ликование, все это цветение, вся эта сила, звучность и ясность вдруг переходят внутрь человека, и делается ему так легко, так хорошо жить на свете, что даже душа как будто играть начинает... право!

Зато картина пустеющего города с каждым днем делается печальнее и печальнее. Замер последний звук польки, разыгранной усердным оркестром гарнизонного батальона, замерли балы, пикники, рауты и катанья; замерли таинственные речи более или менее любовного содержания, нашептываемые ловкими канцеляристами и обольстительными юристами училища правоведения во время кадрилей и мазурок; белая, едкая пыль густою стеною стоит на улицах; дорожные экипажи различных видов и свойств то и дело снуют по направлению

к заставе, унося своих обладателей куда-то далеко-далеко, на лоно неумирающей природы и умирающего крепостного права; все суетится, все рвется вон из города

Замерли и начатки нашего красноречия.

Да, и у нас оно выросло, это пресловутое древо красноречия, которым до сих пор мы любовались лишь издали; и у нас, под прохладною тенью его, уже многие приобрели для себя мир душевный и невозмутимость сердечную; и у нас, dieu merci [1], боярин Сергий, насытившись вдоволь разъедающими речами раба божия Павла, может в веселии сердца своего воскликнуть: «Ах, черт возьми, кто бы мог думать, что у нас явятся такие ядовитые бестии!.. да ведь это Jules Favre pur sang!» [2] (только видимый с затылка, прибавлю я от себя),— да, и мы, наконец, с законною гордостью можем сболтнуть изумленной Европе, что в наших

... ...parages
Le doux ramage [3] —

уже не мечта разгоряченного воображения, а настоящая, истинная истина!.. И если вам, о любители отечественного просвещения! доселе остается неизвестным сей достопримечательный факт, то это происходит оттого, что вы слишком охотно рассуждаете о свойствах буквы ижицы и из-за ижицы не замечаете обновляющейся России.

Что до меня, то я сам его видел, сам убедился в существовании этого милого растения, называемого древом красноречия, и, если хотите, могу даже сообщить вам «краткое» описание его. Почва, в которой лежат его корни, болотиста и злокачественна; ствол его жидок и тонок, но верхушка объемиста, и если не густа, то косматa; листья бледны и бессочны, но снабжены колючками, которые если не наносят положительного вреда, то производят в субъекте, к ним прикасающемся, чесотку и волдыри. Вообще, это дитя хилое, больное, слабосильное и, несмотря на свои колючки, весьма безобидное. При малейшем дуновении ветра оно всей своей растрепанной массой приклоняется к земле и рабски-болезненно притом стонет. «Я безвреден! я безвреден! — слышится в этом жалобном стоне,— меня можно бить, и потому незачем убивать!» И ветры все дуют да дуют, а дерево все живет да живет, как будто для того, чтоб доказать нелепую мысль, что и в мраке есть свет и в смерти есть жизнь.

---

[1] слава богу.
[2] чистейший Жюль Фавр!
[3] ...местах сладкое щебетанье.

Приятель мой Иван Педагогов, великий охотник до всякого рода словоизвержений, едва лишь издали завидел вершину этого дерева, как уже не в силах был воздержать необузданность своего сердца, преисполненного благими намерениями и бескорыстнейшими побуждениями. Он вдруг, без всякой побудительной причины, уподобился укушенному шакалу, начал соваться и бегать и в заключение стиснул меня в своих объятиях, в которых, однако ж, я, в качестве наблюдателя, не мог не заметить сильного присутствия реторики. «Любезный друг! ты делаешь сочинение на тему: «Восход солнца»!» — думал я, покуда он задыхающимся от искусственного волнения голосом декламировал передо мной: «О, как мы должны радоваться, как мы должны гордиться тем, что дожили до такого момента! Друг мой! если бы да к этому на место Петра Петровича назначили Федора Федоровича, то нет сомнения, что обновление нашего любезного отечества можно было бы считать совершившимся!» После этой речи мы оба заплакали, заплакали гнусными, деланными слезами, и я до сих пор не могу отделаться от тяжести, которая легла на мое сердце от этих неприличных слез.

Появление на нашей почве древа красноречия тем более должно было поразить, что до сих пор мы думали, что ораторское искусство не может быть добродетелью россиян. Предки наши занимались возделыванием земли, утучняли стада свои, были гостеприимны и благодушны, сидели большею частью «уставя брады», когда же хотели солгать, то приговаривали только: «да будет мне стыдно», и затем были уже совершенно уверены, что любезный собеседник обязан принимать слова их за чистую монету. Вот свидетельство, оставленное нам историей. Сверх того, известно, что россияне с успехом занимались приготовлением многоразличных сортов меда, но, во всяком случае, в числе этих сортов никогда не значилось меда красноречия.

Очевидно, что при таком земледельческом, скотоутучняющем характере цивилизации страсти к словоизвержениям не могло быть дано много места. «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами», гласит нам мудрость веков; а «Пчёлы» да «Измарагды» прибавляют: «Человеку даны два уха, чтоб слушать, и один язык, чтоб говорить».

И действительно, отцы наши говорили или чересчур сжато, или же хотя по временам и размазисто, но больше наполняли свои речи украшениями и учтивостями вроде: «тово», «таперича», «тово-воно как оно», «с позволения сказать» и т. д. В подкрепление моей мысли позвольте мне представить вам

несколько образцов этого древнего, коренного нашего витийства.

Красноречие Марса. «Не рассуждать! руки по швам!» При этом, гласит предание, нередко случалось и так, что Марс, вместо слов, ограничивался простым рычанием, что, без сомнения, представляет самую сжатую форму для изъяснения чувств и мыслей.

Красноречие сельское. Но об этом виде красноречия я много распространяться не стану: оно вполне резюмировано г. Тургеневым в звуке: «чюки-чюк! чюки-чюк!».

Красноречие бюрократическое. «Да вы знаете ли, милостивый государь? да как вы осмелились, государь мой? да известно ли вам, что я вас туда упеку, куда Макар телят не гонял!»

Красноречие торжественное, или, так сказать, обеденное. «Очень рад, господа, что имею случай... тово... Это таперича доказывает мне, что вы с одной стороны... чувства преданности... ну и прочее... а с другой стороны, и я, без сомнения, не премину... от слез не могу говорить... Господа! за здоровье Крутогорской губернии!»

Одним словом, пользуясь указаниями опыта и бывшими примерами, мы имели полное право догадываться, что у нас скорее может процветать балет, нежели драматическое искусство.

И вдруг мы задумали отречься от преданий, завещанных благоразумными отцами нашими, и в юношеском восторге забыли даже пословицу: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. Мы, весь свой век твердившие: «А вот поговори ты у меня, так узнаешь, как кузькину мать зовут», мы, проливавшие слезы умиления при одном слове «безмолвие», которым грады и веси цветут,— мы... вдруг почувствовали, что у нас одно ухо, чтоб слушать, и два языка, чтоб говорить, и что пирог, который мешал нам свободно разевать рот, съеден весь без остатка... Да полно, мы ли это?

Н-да, это мы.

В одно морозное, светлое ноябрьское утро мы проснулись и без всякой причины ощутили в себе нечто в высшей степени странное. Как будто вокруг нас что-то изменилось: и простор сузился, и пригорочки на ровных местах появились, как будто в нас нечто оборвалось, как будто и извне и изнутри что-то, в одно и то же время, и покалывает, и тревожит, и возбуждает, и смущает нас. Добро бы еще это случилось весной, когда, по пословице, и щепка щепку обнять желает, а то, рассудите сами, на дворе осень, глубокая, темная осень, а в нас происходит явление чисто весеннего свойства! И в то же самое

время (должно полагать, вследствие общего ненормального состояния организма) в оконечностях языка почувствовали мы нестерпимое раздражение... «Папаса, хацу гавалить!» — сказали мы. «Говори, друг мой!» — отвечали нам.

Какая же причина столь внезапного явления? Что заставило нас заменить наше прежнее необузданное молчание столь же необузданною болтовнею?.. Хотя отвечать на этот вопрос довольно трудно, однако попытаюсь.

Ближайшие исследования дают повод думать, что первою и главною побудительною причиной было то, что нам вышло позволение говорить, подобно тому как выходят: отставка, определение, отсрочка, новые формы и т. д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить? Если вышла человеку новая форма одежды, может ли он продолжать ходить в старой? Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильным ослушанию воле начальства?

Разрешение этих скромных вопросов вовсе не так легко, как это может показаться с первого взгляда. Я даже думаю, что для совершенно ясного их разумения необходимо перенестись на историческую почву, нужно принять в соображение et ceci, et cela [1]. Как понимал, например, слово «дозволение» Гостомысл? какой смысл давали ему Рюриковичи? и прямо или перекосясь взирали на него Батыевичи? Но, вступая на историческую почву, я прежде всего должен откровенно признаться, что сведения мои о Гостомысле весьма слабы. Помню, что когда я был маленький, то с именем его в уме моем соединялась мысль о мраке времен, а с мыслью о мраке времен соединялось представление темного чулана, ключ от которого постоянно хранился у ключницы Акулины. А так как старая Акулина охотнее согласилась бы расстаться с жизнью, нежели поделиться с кем-нибудь драгоценным ключом, то мне оставалось сожалеть только о том, что чулан недостаточно велик, чтоб скрыть в своем мраке, кроме Гостомысла, еще десятка два лиц, которые, без ущерба для своей репутации, могли бы воспользоваться этим убежищем. Впоследствии я пришел в возраст; изучение истории продолжалось, но старую Акулину уже заменил почтенный наш публицист М. П. Погодин. Он также никому не поверял ключа от своего чулана, и я, вновь не имея возможности познакомиться с «мраком времен», по-прежнему негодовал на моего руководителя: зачем

---

[1] и это и то.

он не окутал подвальным туманом хотя удельный период, эту безалабернейшую тюрю из всех недоеденных тюрь, когда-либо хранившихся в подвалах и чуланах расчетливых русских хозяек. Итак, все, что я могу сообщить читателям о Гостомысле, заключается в том, что это был тот самый старичина, который разрешил своим однодеревенцам просить варягов в наши хлевы хлеба-соли откушать. Как будто сквозь сон мелькает перед глазами моими лубочная картина, виденная мною еще в том счастливом возрасте, когда Акулина была неразлучною спутницей моих исторических изысканий. Гостомысл изображен на ней лежащим на кровати (к сожалению, фамилия мебельного мастера, делавшего кровать, осталась неизвестною); вокруг него стоят, как водится, уставя брады, в длинных парчовых мантиях, коварные царедворцы того времени, к которым маститый старец держит речь свою.

Внизу безобразнейшим шрифтом было изображено: «Гостомысл *разрешает* своим единоплеменникам призвать варягов из-за моря». Заучивши наизусть эту подпись, я был твердо уверен, что варяги были какие-нибудь благодетельные гении, вроде бывшего в то время в нашем городе городничего, беспрестанно слонявшегося по мясным рядам без всякой иной цели, кроме попечительного наблюдения, чтоб жителям не были продаваемы съестные припасы в испорченном виде. Каково же было мое удивление, когда я впоследствии из книг и наставлений нашего почтенного публициста узнал, что эти варяги только и делали, что жгли и грабили русскую землю; что они были не только непростительно невежливы с нашими дамами, но даже не давали себе труда попросить в своих невежествах извинения у их мужей; что они угоняли стада наши, бесцеремонно выпивали наш мед и, дергая наших доблестных предков за бороды, давали сим последним (то есть бородам) презрительное наименование мочалок! Известившись об этих неистовствах, я долго не мог прийти в себя от огорчения. «Что могло заставить,— восклицал я в мучительном беспокойстве,— что могло заставить наших предков внезапно забыть все оскорбления и стремглав броситься за море к варягам?» И я долго мучился бы этим вопросом, если бы с летами не стал твердою ногою на ту историческую почву, с которой мне сделалось ясным, как дважды два, что весь узел этой драмы заключается именно в слове «разрешение». Да; не «разреши» Гостомысл — и долго, быть может, не было бы порядка в земле русской, и долго, быть может, оставалась бы она только великою и обильною! И затем всюду, куда я потом ни обращался, бродя по дебрям и лесам нашей истории, всюду видел, что слово «разрешение» имело для нас такую магиче-

скую силу, от которой слабели не только умы. но и желудки наших предков. Вот Рюриковичи, разрешающие своим добрым подданным полянам колотить добрых подданных кривичей, а кривичам — добрых подданных радимичей. И все эти поляне, кривичи и радимичи не только не задают себе вопроса, откуда и на какой конец этот град колотушек, но, пользуясь данным разрешением, с бескорыстною отчетливостью тузят друг друга и по сусалам, и под микитки, и в рождество! Вот Батыевичи, любезно разрешающие нашим предкам платить им дани многи, и предки не только пользуются этим дозволением, но даже всякий раз произносят при этом «хи-хи!». Вот Иван Грозный, разрешающий утопить в Волхове целое народонаселение, вот Петр Великий, разрешающий дворянам вступать на службу и брить бороды... Боже! как делается легко, как все становится ясно, если перенесешь вопрос на историческую почву! И что бы мы стали делать, если бы не было у нас этой благодетельной исторической почвы? Пожалуй, смотря на наших нынешних ораторов, мы и впрямь могли бы подумать, что они заговорили — чего доброго — не дождавшись разрешения!..

Но, слава богу, этого нет, и я надеюсь, о любители отечественного просвещения! что в настоящее время слово «разрешение» имеет для вас ясный и определенный смысл и что самая история настоящей цивилизации вполне разъясняется посредством одного этого слова.

Итак, если кем-либо употребляется, например, выражение «дозволяется быть веселым», то это положительно значит, что веселость есть вещь обязательная и что всякий, кто отныне осмелится взглянуть исподлобья или быть недовольным погодой и проч., должен подлежать истязанию, как нарушающий общественную симметрию. Подобно сему, слова «позволяется говорить» положительно означают... не то, что отныне могут пользоваться даром слова желающие, а то, что всякий благонамеренный гражданин должен считать своею обязанностью говорить, и не просто говорить, а без устали, до истощения сил, говорить до тех пор, пока на устах не покажутся клубы пены, а глаза не пропадут бог весть куда... Выходит, что это уж не красноречие, а нечто вроде щекотания под мышками....

Второю причиной, побудившей нас к словесным подвигам, было, кажется, то, что в последнее время развелось на Руси много людей, которые вдруг, ни с того ни с сего, начали утверждать, что вечно спать невозможно. Сначала одинокие голоса эти нас забавляли; мы даже охотно им верили, потому что дело касалось нас еще стороною. Но вот мало-помалу они

начали раздаваться назойливее и назойливее, и в то самое время, когда, погруженные в волшебный сон, мы ходили по коврам и по бархату, некто взял на себя труд окончательно растолкать нас. «Очнитесь, лежебоки! — услышали мы,— вставать велено!» Можете себе представить, в какой переполох мы пришли от этого приветствия! Спросонья мы были некоторое время в недоумении, не зная, трусить ли нам или быть храбрыми, уткнуться ли снова в подушку или выставить измятое лицо на свет божий... Вокруг нас все смотрело как-то ново и непривычно; кипела новая жизнь, проходили новые люди, которые глядели на нас хотя без злобы, но с какою-то сдержанной иронией. «Что нам делать? что нам делать? — восклицали мы, ощущая все муки предсмертной тоски,— откуда все эти пришельцы? что значат эти приготовления?» И долго бы колебались мы, если бы время не убедило нас наконец, что над нами много смеются и очень мало злорадствуют. «Следовательно, надо быть храбрыми!» — воскликнули мы, и в то же мгновение разразились целым потоком слов. Мы внезапно почувствовали, что и мы можем лицом товар показать, тем более что нам предстояло защитить свое право лежания, сладкое право, без боя добытое нашими предками.

Итак, второю причиной нашей болтливости было живое и законное чувство самосохранения.

Об чем же мы говорим и как говорим? спросите вы. Прежде нежели отвечать на этот вопрос, позвольте мне рассказать несколько печальных историй.

У меня был знакомый, который вместе с прелестнейшим голосом был одарен от природы и чувствительнейшей душою. По-видимому, нежный тенор и чувствительная душа — две вещи, которые как нельзя более идут друг к другу, однако на деле выходило совершенно противное. Едва, бывало, затянет мой приятель: «oh, perchè non posso odiar ti» [1], как голос его внезапно оборвется, и изумленные слушатели вместо пения делаются свидетелями самых горьких, а иногда и безобразных рыданий. Таким образом, мы, почитатели вокальных дарований нашего друга, так-таки и не могли добиться случая насладиться звуками его голоса, хотя ни один из нас ни на минуту не усумнился в том, что голос этот должен быть прелестен.

У меня был другой знакомый, который мог бы быть образцовым помещиком, если бы... если бы не та же чувствительность, бедственные последствия которой описаны уже мною выше. Бывало, неделю-другую приятель мой только и дела,

---

[1] о, отчего не могу я ненавидеть тебя.

что благодетельствует, а потом вдруг, ни с того ни с сего, взгрустнет... и пошел все в рыло да в рыло...

У меня есть третий знакомый, который мог бы быть весьма приятным публицистом, если бы перо его, собственным своим побуждением, не производило всякий раз такого клякса, после которого деятельность публициста становится совершенно невозможною.

Примеров таких маленьких несчастий встречается не мало, и я рассказал об них для того собственно, что у меня развелось в настоящее время множество знакомых, которые могли бы затмить своим красноречием и Беррье, и лорда Дерби, если бы не препятствовало тому несовместное с ораторскою карьерой косноязычие.

Однако вы можете себе представить, как я должен чувствовать себя несчастливым, проводя жизнь среди таких неудавшихся дарований! Очевидно, я должен их утешать, уверять деликатным образом, что это ничего, что это пройдет, что, может быть, и их усердие принесет со временем желаемые плоды... Но к делу.

«Об чем мы говорим и как говорим?» Легко вам поставить такой вопрос, но каково тому, кто принял на себя добровольную обязанность отвечать на него! Уловите мне «сию мечту», которая вот-вот сейчас зародилась в голове вашего молчаливого и углубившегося в себя соседа! А между тем «сия мечта» существует — в этом вы не можете сомневаться, потому что сами видите, как она явственно играет на губах и в бровях молчаливого господина! Уловите мне это благоухание, эту раздражающую эманацию любви, которая горит в воздухе, окружающем вашу возлюбленную. А между тем вы ни на минуту не можете усумниться в существовании их, потому что слишком явственно ощущаете, как сердце ваше мучительно раскрывается, чтоб принять в себя эти жгучие испарения! Поймайте мне, наконец, рукой первый палец той же руки, заключенный между вторым и третьим пальцами...

Уверяю вас, что уловить характер и содержание нашего красноречия гораздо труднее, нежели... нежели даже поймать вышеупомянутый первый палец.

Однако попытаюсь.

Во-первых, я должен с прискорбием сознаться, что сжатость, которою преимущественно щеголяли наши предки, утрачена нами безвозвратно. Увы! мы уже не говорим больше: «Цыц, собака!» Мы уже находим, что эти первобытные формы не соответствуют современному состоянию цивилизации и что никакая речь не может быть, в строгом смысле, названа человеческою, если она не обставлена приличными делу обстоятель-

ствами и не заключает в себе силлогизма. Поэтому мы стараемся выразить мысль нашу не прямо, а как-нибудь стороною; даем, например, почувствовать, что «на свете становые существуют», что «если они существуют, то надо полагать, что есть какая-нибудь цель этого существования», а следовательно: «Так вот видишь ли, мой милый, говорить-то много и нельзя!» Или, например, по поводу искреннего желания содрать кожу с нашего ближнего, мы отнюдь не выскажем прямо, что очень бы, дескать, приятно и, так сказать, пользительно, но прежде углубимся в девственные леса Америки, поднимем завесу, скрывающую от нас древний Рим, «с истинным прискорбием» найдем, что везде и всегда обдирание ближнего считалось чуть ли не доблестью, и только тогда уже, когда достаточно забросаем слушателя грязью наших исторических и статистических изысканий, осторожненько заключим, что если везде были люди, везде человеки, что если древний Рим, покоривший полвселенной... то почему же бы и нам и т. д.

Признаюсь откровенно, я душевно оплакиваю такое направление нашего красноречия. Во-первых, я всякий раз вспоминаю при этом наше древнее «да будет мне стыдно», а во-вторых, мне истинно жаль, что столько драгоценного времени, которое можно было бы с пользою употребить за зеленым столом, тратится на сомнительное и торопливое ознакомление с «краткой всеобщей историей» Кайданова.

Второе качество, дающее содержание нашему красноречию, заключается в желании нашем доказать, что мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Казалось бы, что людям нечего и доказывать, что они люди: ведь так естественно быть человеком! Однако мы усиливаемся, мы заявляем об этом всем и каждому, мы просим верить и даже очень огорчаемся, если бы кому-нибудь вздумалось покачать при этом головою. Что означает этот факт? То ли, что мы до сих пор были слишком робки, или то, что нами искони обладало чрезмерное высокомерие?

Я полагаю, что в этих беспрестанных оговорках и извинениях есть частица того и другого. Многие из нас были действительно до того скромны, что название «людей» охотно присвоивали всем и каждому, исключая самих себя. Француз — человек, англичанин — человек, даже немец — отчасти человек, но мы... как мы смеем! Другие, напротив того, до бесконечности злоупотребляя словом «человек» или «чеаек», не на шутку убедились, что нам можно называться барами, благородиями, превосходительствами и т. д., но отнюдь не «человеками». Следовательно, появление в нашем разговорном языке

слова «человек», в собственном его смысле, было так ново и так оригинально, что нет ничего удивительного, если на первых порах мы желаем вдоволь натешиться им. Зато посмотрите на нас, как мы краснеем и потупляем глаза, когда объявляем во всеуслышание о своей принадлежности к общечеловеческой семье! Сквозь каждый звук нашего голоса просвечивает и нетерпение наше как можно скорей получить диплом на звание человеков, и наша неуверенность в том, действительно ли мы «люди» и не напустили ли мы на себя это мнение, подобно тому как долгое время напускали на себя убеждение в том, что мы герои и целый мир шапками закидать можем. Тем не менее (после того говорите, что я человек мало снисходительный!), несмотря на то, что эти стыдливые, прикрытые фиговым листом протестации, эти жалобные моления страшно раздражают мне нервы,— я все-таки вижу в них успех и нахожу их похвальными и заслуживающими поощрения. И в этом случае я не только не противоречу самому себе, но, напротив того, имею даже совершенно основательные причины радоваться такому искажению мысли человеческой. По крайней мере, думаю я, теперь реже и реже встречаются те неистовые герои, которые некогда зыком своим приводили в ужас самую природу, их создавшую. По крайней мере, если древнее ехидство еще живо, то оно уже не поднимает головы, не говорит во всеуслышание, что оно ехидство, но робко извивается по земле и, заговаривая льстивыми голосами, просит пожаловать ему ручку поцеловать. Согласитесь, что это уж изрядный шаг вперед, и что всякий, желающий пользы делу, о том только и должен умолять богов, чтоб неуверенность в человеческом достоинстве продолжилась в нас, по крайней мере, до тех пор, когда мы и в самом деле сделаемся людьми. Ибо, в противном случае, мы, чего доброго, сневежничаем и как раз уподобимся тем мужикам-бахвалам, про которых сложена поговорка: «Человек он умный: на пусто не плюнет, а все в горшок да в чашку».

Третье качество, в котором мы искренно желаем заверить почтеннейшую публику, нам внимающую, есть современность. Когда все кругом нас говорит и пишет об обветшалости крепостного права, о вреде откупов, о безобразии взяточничества и казнокрадства, можем ли мы оставаться равнодушными? Можем ли мы, спрашиваю я вас, удержать биения сердец наших и не преподнесть нашего собственного изделия букетов на алтарь отечества? Очевидно, что нет,— во-первых, потому, что это не будет à la mode [1], а во-вторых, и потому, что

---

[1] по моде.

кто же бы тогда стал внимать нам? Вымолви-ка мы теперь такое слово, как, например: *откупа полезны,* где ж бы нашлась публика для таких речей?! Итак, мы условились единодушно и заранее, что откупа — гадость, взяточничество — мерзость, казнокрадство — мерзость, ябедничество — мерзость, а крепостное право — une chose sans nom [1]. Но, господи! что за горечь кипит в наших сердцах, когда мы произносим эти слова! Какое горькое дрожание усматривается на побледневших губах наших, что за соленый вкус ощущается на языке, когда он лепечет заповедное вступление к предстоящей речи: «Господа! нет сомнения, что предмет, нас занимающий, заслуживает искреннего нашего сочувствия!» «Черта с два, искреннего!» — думаем мы в это самое время, и поверьте, что для нас было бы во сто крат приятнее, если бы заставили нас проглотить ежа, нежели выдавить из себя эту простую, невинную фразу! Однако ж мы выдавливаем ее, и хотя внутри нас все колышется и как будто хохочет, но слова наши в порядке, носы не буйствуют, языки в порядке и даже физиономии в порядке... Да, черт побери... в порядке!..

Из всего сказанного выше вы можете сами легко сделать заключение о том, что составляет содержание нашего красноречия. Это, во-первых, старание не войти в слишком явное противоречие с грамматикой и синтаксисом, во-вторых, желание убедить всех и каждого, что ничто человеческое нам не чуждо, и в-третьих, стремление, хоть как-нибудь, хоть боком приобщиться к общему, современному направлению идей. Словом, чтоб определить характер нашего витийства одним термином, можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожним.

Однако я сознаю, что вы вправе возразить мне, что с таким малоразнообразным фондом можно с грехом пополам составлять только вступления или предисловия. К сожалению, я ничего не могу сказать против этого, потому что и мне достоверно известно, что до сих пор мы действительно говорили одни вступления. Но, с другой стороны, вы, конечно, будете снисходительнее, если примете в расчет молодость наших лет, нашу неопытность и другие качества, столь бесценные в молодых ягнятах. Откуда взять нам действительного содержания для наших ораторских упражнений? Из науки — но разве мы учились? Из жизни — но разве мы жили?

В первом отношении, я вам скажу по секрету, что если бы не «Русский вестник», то решительно неизвестно, как бы мы вывернулись из наших тесных обстоятельств. Он впервые поведал изумленному миру, что есть на свете государства благо-

---

[1] вещь, для которой нет названия.

устроенные, есть государства так себе, что называется середина на половине, и есть государства совершенно расстроенные (мы же до сих пор, в простоте души, объясняли себе, что государство есть государство, и больше ничего); он довел до нашего сведения, что усовершенствованные пути сообщения не в пример лучше неусовершенствованных; он поразил наш слух словами: «кредит» (под этим словом мы разумели исключительно опекунский совет, в котором закладывали свои имения), «спекуляция» (с этим словом в уме нашем соединялось смутное понятие о чем-то вроде мазурика), «поземельная рента» (под этим выражением мы ровно ничего не разумели) и многими другими, при произнесении которых мы благодарно раскрывали наши рты. Что было бы, что было бы, если бы не существовал «Русский вестник»? часто спрашиваю я самого себя. Я трепещу произнесть, но мне кажется, что мы поневоле ввергнись бы в бездну «Истории г. Кайданова» и «Статистики г. Зябловского». Но так как, с другой стороны, «Русский вестник» издается периодически и небольшими книжками и, следовательно, не может зараз обучить всему, то очевидно, что покуда он будет издаваться, покуда не извлечет из первобытной тьмы всего, что нам на потребу, мы все-таки не можем с уверенностью сказать, что мы действительно что-нибудь знаем. «Что, если вдруг «Русский вестник», в следующей же книжке, начнет рассматривать известный вопрос с другой точки зрения?» — думаем мы, бледнея... И вдруг окажется, что то, что в таком-то нумере доказывалось так убедительно и осязательно, на самом деле вовсе не убедительно и не осязательно? Куда мы тогда поспели с своими «кредитами» и «поземельными рентами»? Страх этой неизвестности заставляет нас быть осторожными и держаться более берегов, не пускаясь далеко в многоволнистое море научных изысканий. Вот когда «Русский вестник» изобретет компас, когда он окончит свое земное странствие и с свойственною ему скромностью произнесет: «Здесь пределы человеческой мудрости, добрые сограждане!» — тогда милости просим поговорить с нами.

Что касается до жизни, то какие поучения могли мы извлечь из нее? Шли мы все по отлогому месту, не знали ни оврагов, ни пригорков, не ехали, можно сказать, а катились. Урожай у нас — божья милость, неурожай — так, видно, богу угодно; цены на хлеб высоки — стало быть, такие купцы дают; цены низки — тоже купцы дают... Господи! и жарко-то нам, и объелись-то мы, и не умеем-то, и не знаем-то... поневоле со всякою мыслью свыкнешься, со всяким фактом примиришься! О чем тут думать, чем озабочиваться! Жили как-нибудь прежде, проживем как-нибудь и теперь и после! Разве поможешь

тут думаньями да размышлениями? И точно, мы не думали и не размышляли; разве по хозяйству что-нибудь укажешь, да и то больше рукой, а не словом...

Итак, ни наука, ни жизнь не дают действительного содержания для нашего витийства. Понятно, что при таких данных мы поневоле должны ограничиваться одними вступлениями и предисловиями, но зато в искусстве предисловий мы в самое короткое время сделали столько успехов, что едва ли не обогнали на этом поприще все народы земного шара.

Послушаем наших ораторов.

— Милостивые государи! — говорит престарелый князь Оболдуй-Тараканов (о происхождении и заслугах этого значительного древнего рода я когда-нибудь доложу читателю особо).— Милостивые государи! не подлежит никакому сомнению, и все вы, конечно, со мною согласитесь, что нашему любезному отечеству открывается будущность не только прекрасная, но даже, смею думать, и блестящая. Я, милостивые государи, и часто и много об этом помышляю в тиши моего уединения, и сознаюсь вам искренно, что результат моих помышлений есть таков: ни одно в мире отечество не имело столько прекрасных залогов, столько утешительных и вместе с тем несомнительных принципий и данностей будущего благополучия, сколько имеет их наша матушка-Русь православная. Возьмемте древний Рим, взглянемте из нашего отдаления на Северо-Американские Штаты, сошлемтесь на Францию и Англию (уж я не говорю, милостивые государи, об Испании!) — что мы видим? Везде раздоры, везде партии; Марий завидует Сулле, Аннибал Сципиону и т. д. Взамен того, что видим у нас? Города цветут, селения процветают, порядок не нарушается, армии удивляют мир своею благоустроенностью, пролетариат невозможен, просвещенное дворянство стремится и изъявляет готовность на все, что может приумножить честь и славу отечества, почтенное купечество с своей стороны жертвует, добрые земледельцы благоденствуют и наслаждаются плодами рук своих... одним словом, все сословия соединены одною, и притом неразрывною, так сказать, цепью! Не говорю здесь о разных географических данностях, но не излишним считаю напомнить здесь, что мы имеем Сибирь, которая, как известно, составляет весьма важное подспорье в нашем гражданском и государственном быту. Таково наше настоящее, милостивые государи! Есть ли что-нибудь подобное в других государствах? Встречалось ли такое соединение единодушия с благодушием в какие бы то ни было отдаленные времена истории? Никогда и нигде.— Вот плоды моих посильных размышлений! Но от настоящего обращусь к грядущему,

позволяя себе поднять трепетною рукою завесу, его скрывающую. *(Лицо князя начинает мало-помалу перекашиваться.)* Что̀ вижу я там, достойные мои слушатели? Я вижу усовершенствованные пути сообщения, вижу беспримерное развитие нашей промышленности, испытавшей на себе влияние благотворного и оплодотворяющего кредита, вижу процветание земледелия и скотоводства, вижу свободный труд, господа! Нет сомнения, что сей последний есть такой же нерв земледелия, как кредит — нерв промышленности. Благодаря новейшим изысканиям наших ученых, это истина несомнительная, и с нашей стороны было бы не только неблагоразумно, но и нерасчетливо отвергать ее. Итак, прежде всего заявим, милостивые государи, наше сочувствие благодушной принципии, которая в отвлечении, то есть взятая сама по себе, не терпит возражения. Да, я первый готов подать пример в этом смысле, первый во всеуслышание готов сказать всем и каждому, что без свободного труда нет и не может быть надежных условий истинного процветания для государства! И не один я так думаю; все мы, господа, сколько нас ни есть, единодушны в этом отношении! Но если с вершин отвлеченности мы спустимся к низменностям практичности, если от умозрений великодушия обратимся к применяемости обыкновенных наших житейских условий — что мы должны заключать? То, милостивые государи, что всякая теоричность прежде всего должна быть поверена практичностью, и только тогда можно судить, в какой степени может быть достигнута применяемость условий. Но несправедлив будет тот из вас, достойные слушатели, кто из слов моих заключит, что я враг теорических требований или осуждаю свободный труд в его отвлеченности. Повторяю, что мы все, и притом всеми силами души, должны стремиться к осуществлению этой мысли, но, как человек практичности, как земледелец, прибавляю: надо предварительно поверить эту мысль в ее осуществительности, надо определить течение ее в ее постепенности, надо приготовить почву, милостивые государи, и тогда уже, и только тогда, начать сеять наше прекрасное семя! Сойдем в тайники души своей, спросим себя с полною откровенностью: готов ли *он* к встрече с теми трудностями жизни, с которыми будет неизбежно сопряжено его новое положение? И заметьте, господа, я не говорю о готовности умственной или нравственной... нет, я говорю о простой готовности физической... да, не более как физической! Какие отличительные черты встречаем мы в поселянах наших? Младенческую беспечность и некоторую наклонность к сладостному far-niente[1]. Поселянин, как дитя,

[1] безделию.

срывает цветы жизни, не заботясь о будущем и вполне следуя евангельскому изречению: *довлеет дневи злоба его*. И все в его существовании было приспособлено к этому порядку вещей, все ему улыбалось и ничто не огорчало. Требовались ли правительством подати и повинности — они платились за него; постигал ли страну неурожай — его ожидали богаты запасы землевладельца, всегда готового поспешить на помощь ближнему. Повторяю: он срывал цветы жизни, не касаясь корней ее. Если мы оторвем его от этого идиллического настроения души, если поставим его лицом к лицу с суровой мачехой-действительностью — чего можем мы ожидать? Не того ли, что он захиреет и зачахнет, как хиреют и чахнут тепличные растения, быв пересажены из теплой и влажной атмосферы теплиц на холодную и негостеприимную почву наших северных полей?.. Итак, господа, во имя живого, всегда присущего нам чувства чести, я умоляю вас быть осмотрительными! Я умоляю вас не спешить навстречу волнам пожирающего океана, но девизом ваших будущих действий избрать слова, глубоко начертанные в моем собственном сердце: неторопливость и постепенность!

Князь кончает при всеобщем ропоте одобрения. Он очень доволен собою и, по-видимому, с гордостью сознает, что вполне исполнил долг, предписываемый природою: сходил в Америку, побывал в Риме, заехал даже во Францию, не говоря об Испании, высказал несколько приятных слов о «теоричности» и не навлек никакого сомнения насчет знакомства своего с грамматикой и словосочинением. Престарелое лицо его лоснится; рот улыбается до такой степени широко, что, кажется, так и хочет сбегать посмотреть, что делается на затылке; самая спина вздрагивает какою-то веселою, юношескою дрожью, как будто и она во что бы то ни стало хочет принять участие в недавнем словесном торжестве.

Слушатели тоже, с своей стороны, довольны. Приятель князя, Андрей Карлыч Кирхман, успел шепнуть им на ушко, какой истинный смысл следует придавать словам: «постепенность и неторопливость»; многие, вследствие этого толкования, весело потирают себе руки, а уважаемый Сила Терентьевич Барсученко считает долгом незамедлительно и от имени всех возблагодарить князя.

— Позвольте и мне, господа,— говорит он мягким, словно бланжевым голосом,— позвольте и мне положить свою лепту на алтарь отечества!.. Золотое вы слово сказали, князь, насчет этой теоричности! Конечно, в том и сомневаться нельзя, что все мы не прочь, и все мы чувствуем, что любовь к матушке-России есть первый долг и священная обязанность.

Князь очень верно это выразил, и хотя я не имею блестящего образования, но понимать могу. Только уж насчет этой теоричности скажу, что лучше бы совсем ее не было! Я долго на свете живу; сначала в полку служил, а с тех пор, вот уж тридцать лет, управляю имениями моими и жены моей, и всегда имел пред глазами одну практичность, а теоричности нигде не видал. Да и не было ее совсем в наши времена. Следственно, если слово ваше, князь, об теоричности можно назвать золотым, то другие слова ваши о постепенности и неторопливости нельзя назвать иначе, как бриллиантовыми! Довольно.

За Барсученком выступает на сцену отставной капитан Постукин, но он не говорит, а только беспорядочно махает руками и страшно при этом оттопыривает губы. За Постукиным следуют Петровы, Ивановы. Федоровы, Григорьевы и прочие потомки коллежских асессоров, Амалатбековы, Уланбековы, Млодзиевские, Войдзицкие... и всю эту компанию достойным образом заключает отличающийся представительной наружностью маркиз де Шассе-Круазе. Сердце земли надрывается скорбью, реки выходят из берегов, Лиссабон разрушается, и рыба-кит выбрасывает из себя Иону от их благодарных воплей и восклицаний: «Постепенность! Постепенность!» — стонет этот новый кагал!

Потревожился и другой князь. Князь этот — его сиятельство князь Полугаров, всех кабаков, выставок и штофных лавочек всерадостный обладатель и повелитель. Он покидает бочку, в которой, как Диоген, скрывался от взоров людских, и громким хрюканьем заявляет желание сказать слово на пользу общую.

— Господа! — говорит он,— вы меня извините; я пышных этих слов не знаю, а говорю просто, что бог на сердце положит. Теперича я рассуждаю так: железные дороги — хорошо, грамотность — хорошо, пароходство — и того лучше. Все это рождает новые потребности, новые потребности рождают новые отрасли промышленности, а новая промышленность пускает в народное обращение денежные знаки — все равно что масло в кашу! Да я и не к тому веду речь. Известно, что матушка-Русь православная не погибнет. Это мы сто раз доказали и передоказали, и есть такие признаки, которые дают право думать, что мы докажем это и не один раз. Поведу речь прямо и откровенно об откупах. Я, господа, был откупщиком, есмь откупщик и буду откупщиком (hilarité générale[1]). Говорю по опыту: ремесло неблагонадежное, все равно почти что

[1] общий смех.

воровать. Мужику после тяжелой дневной работы хочется подкрепить свои силы рюмкой доброго полугара, а ему вместо вина дают какую-то мутную жидкость, от которой только воняет сивухой — свинство! Такого дела защищать нельзя — это ясно как день, а потому нельзя и не сочувствовать нашей благодетельной литературе, которая выводит нашего брата откупщика на свежую воду. И все-таки, господа, я был откупщиком, есмь откупщик и не теряю надежды умереть откупщиком — что ж это значит? Не значит ли это, что действия мои разногласят с убеждениями? Не значит ли это, что я говорю одно, а делаю другое? А ларчик просто отворялся, сказал дедушка Крылов, и сказал истину святую. Я есмь и буду откупщиком, потому что не убежден, чтоб мы были достаточно приготовлены к принятию какой-нибудь другой системы. Ныне существующая откупная система не стоит выеденного яйца — об этом ни слова, но чем ее заменить? Во время тридцатилетней моей откупной карьеры я и примеривал и прикладывал и действительно пришел к тому убеждению, что откупа — свинство! Однако мы к этому свинству привыкли, однако это свинство доход дает — вот на что я хочу указать. Поговорю о привычке. Известно, что истый русский человек без клопов спать не может, без тараканов щи хлебать не в силах, без ухабов и рытвин езда ему не в езду. Отнимите у него эти привычки (комфорт) — и вот ропот! Кто ж может предусмотреть, что без откупов самая жизнь ему не будет в тягость? Никто. А это статья важная. Теперь поговорю о доходе. Что такое доход? А доход, господа, это тот самый «мальчик с пальчик», та самая «птичка-невеличка», которая в государстве все суставчики в движение приводит. От определения обращусь к самому делу, то есть к откупам. Тут, господа, уж не то что «плев сто рублев», тут пахнет миллионами, а запах миллионов — сильный, острый, всем любезный, совсем не то, что запах теорий. Чем заменить эти миллионы? какою новою затыкаемостью заткнуть эту старую поглощаемость? Прикидывал я и на глазомер, прикидывал и на аршин, тридцать лет только и делал, что измерял эту поглощаемость — и все как с гуся вода! И опять-таки скажу: великое русское спасибо господам писателям, которые выводят на свежую воду нашего брата откупщика! Об одном только они маленько забывают — это об том, что и в этом деле, как и во всяком другом, необходимы два непременные условия: *постепенность и неторопливость.* Слова нет, государи мои, идите вперед и идите неуклонно, рассматривайте, обсуждайте, взвешивайте! Одним словом, помогайте нашей улиткоподобной близорукости вашею орлоподобною далекозримостью! Но

действуйте постепенно, не торопясь; по копейке собирайте в общую русскую сокровищницу — и вот перед вами миллиард в тумане! Это я всегда скажу. Монумент новой литературе на свой счет воздвигну, а правду скажу. Ибо правды не боюсь. Хлеб-соль ешь, а правду режь, говорит русская пословица. И еще: «Варвара мне тетка, а правда мне мать!»

Можно себе представить, какое электрическое действие производит на нашу улиткоподобность такого рода словоизвержимость! Мы постепенно открываем наши раковины и высовываем оттуда наши рожки. Слова «откупа — свинство!» сначала пугают нас, но после, прислушиваясь к музыке речей, мы начинаем одобрительно помавать рожками и даже неблагоразумно высовываем из раковины все туловище, забывая, в минутном упоении, что где-нибудь вблизи таится грозная пиявка, которая ждет только минуты, чтоб воспользоваться нашею одуряемостью и испробовать вкус нашей извлекаемости. «Да, да! постепенность и неторопливость!» — восклицают все эти Гершки и Ицки, все эти Бестианаки и Мерзоконаки и, восклицая, скрежещут зубами.

– Почтенный князь Полугаров! — шипит в ответ Иосель Гершсон, молодой, но уже вконец изворовавшийся еврей,— позвольте от лица всего нашего собрания изъявить вам истинную признательность за то, что вы так верно выразили мысль нашу. В своей простой, но откровенной речи вы вполне примирили требования современной мысли с благоразумием, свойственным мудрому! Никто из нас не станет защищать того, что несовместно ни с требованиями века, ни с требованиями строгой справедливости... Все мы давно уже прокричали откупам: «Pereant!»[1] Но мудрый, прежде нежели начнет разрушать старое здание, всегда приведет в точную известность, достаточно ли у него приготовлено материалов, чтоб воздвигнуть новое. Вы, почтенный князь, поступили подобно этому мудрому и указали нам ту самую дорогу, по которой всегда и везде шло человечество, в величественном поступании своем, от времен древнего, доисторического мрака и до настоящих светлых минут. Честь вам и слава!

Но вот и еще некто выходит из тьмы, по всей вероятности, гакже с благою целью положить грош на алтарь отечества. Ба, да, никак, это старый знакомый наш, Порфирий Петрович! Что вызвало его из мрака? Что заставило его покинуть зеленый стол, на котором он сейчас только соорудил большой шлем князю Чебылкину? Посмотрите, как он торопится и семенит ножками, как он пыхтит и краснеет! Я бьюсь об заклад,

---

[1] Да погибнут!

что он горит нетерпением поделиться с слушателями какою-то радостною новостью! «Что такое? что такое? — с беспокойством вопрошают друг друга члены почтенной крутогорской публики.— Не изобретен ли порох? Не открыта ли Америка? Или найден новый способ выиграть семь в червях с восьмеркой сам-друг козырей?» Все эти недоумения разрешаются Порфирием Петровичем самым неожиданным образом.

— Ну, господа! — начинает он, предварительно потоптавшись на одном месте, как это приличествует всякому оратору, получившему первоначальное образование в городе Сергаче и потом с честью окончившему курс наук в сморгонской академии,— вот и мы наконец воспользовались двумя первейшими благами жизни: устностью и гласностью... тэ-э-к-с!..

Однако добрые жители Крутогорска (известные под именем aimables kroutogoriens) [1], еще не освоенные с безвредным значением этих слов, в испуге окружают Порфирия Петровича и осаждают его вопросами.

— Откуда приходят к вам подобные новости? — восклицает до глубины души оскорбленный генерал Змеищев.

— Свихнулся, старик! — произносит губернский врач.

— За такие новости его надо в Вятку сослать! — настаивает генерал Змеищев.

— В Вятку! — добродушно повторяет Алексей Дмитрич Разумовский.

— Господа! — продолжает между тем Порфирий Петрович, нисколько не смущаясь,— новость эта получена мной из верных рук, а именно, от одного одолженного мною столоначальника (*произнося последние слова, Порфирий Петрович издает горлом звук*)...

— Гм...— замечает губернский врач.

— Признаюсь откровенно, я от души порадовался. Вот, подумал я, как отечество-то наше процветает! Давно ли, кажется, давно ли?.. А вот теперь и с гласностью!

— Да еще и с устностью! — раздается чей-то голос в толпе, возбуждая общий сочувственный хохот.

— Да и можно ли этому не радоваться! — бесстрашно напевает Порфирий Петрович,— ибо если мы молча совершали подвиги, то чего ж можно и должно ожидать, когда мы все вдруг заговорим! Теперь, значит, всякий будет иметь возможность пожинать от трудов рук своих; я, скажет, думаю так-то, а я, скажет, думаю так. И так далее, по мере сил и способностей, и выйдет теперича у нас тут обмен прожектов, мыслей, чувств и замечаний. Лежат два кремня рядом — ну

---

[1] любезных крутогорцев.

и ничего: лежат и безмолвствуют. Идет мимо искусный прохожий; берет один кремень, берет другой; рассматривает их внимательно, осторожно ударяет их друг об друга — и вот искра! Выходит, что и мы, штатские, призваны теперь, чтобы с мечом в руках ополчиться против неправды и злоупотреблений. Стало быть, не одним военным принадлежит эта честь. Военные пусть обнажают меч против внешних врагов отечества, а мы, штатские, будем обнажать наш меч против врагов внутренних — всякому свое! Таким образом, если меня, например, угнетет исправник, то я, не говоря никому ни слова, прибегаю к гласности...

— Сначала-то следует прибегнуть к устности,— перебивает чей-то голос в толпе,— загнуть то есть. .

— Прибегаю к гласности,— продолжает Порфирий Петрович,— и вот угнетателю моему стыдно! Или посылаю, например, я кухарку на рынок; купец, разумеется, ее обманывает, берет втридорога и вдобавок продает дурной продукт. Что ж? я прибегаю к гласности — и купцу стыдно! Нельзя, господа, не сочувствовать такому явлению! Нельзя не радоваться таким благим преднамерениям и не менее благим предначертаниям. Людям с чистым сердцем нечего опасаться гласности. Не только она не потревожит их мира душевного, но еще и воздаст каждому по делам его. Чего, например, могу я бояться, если я исполнил долг свой по совести и данной присяге? Утром я встал, помолился богу...

— Умылся и чаю напился,— прерывает голос в толпе.

— Что ж, и в этом постыдного я ничего не вижу! — отвечает Порфирий Петрович и затем, обращаясь к течению своей речи, продолжает: — Итак, помолившись богу, отправился в палату, исправил там что следует; потом, возвратясь домой, провел несколько часов в кругу своей семьи ..

— Часочек-другой всхрапнул,— прерывает тот же враждебный голос, но на этот раз уже не возбуждает ни в ком сочувствия.

— Шш! — раздается со всех сторон, и Порфирий Петрович получает возможность продолжать речь свою беспрепятственно.

— Потом вечером поехал в клуб или в гости... Таким образом, я исполнил долг христианина, долг гражданина, долг семьянина и не упустил из вида обязанностей члена общества!.. Спрашивается, что может сказать обо мне пасквильного, или гнусного, или противоестественного «гласность»? Окромя хорошего, ровно ничего. Итак, гласность есть дело святое, и нижайший поклон от всех тому, кто первый это слово произнес.

Порфирий Петрович останавливается и тяжело дышит. По всему видно, что до сих пор он взвозил в гору какую-то огромную и тяжелую фуру, которую наконец и поставил благополучно на вершину. Теперь ему предстоит труд эту же самую фуру спустить под гору, у подошвы которой расстилается цель его путешествия — отличное, покрытое плесенью, болото.

— Но, употребляя слово «гласность»,— начинает он помаленьку спускать,— я, само собой разумеется, понимаю гласность благонамеренную, то есть такую, которая никого не обижает, никого не затрогивает и предоставляет всякому спокойно пожинать плоды рук своих. Конечно, многие, быть может, поймут это дело иначе и возмечтают, что во имя гласности можно всех и каждого по зубам колотить. Для лиц подобного образа мыслей я кратко повторяю прежнее мое уподобление: лежали два кремня и безмолвствовали; шел мимо *искусный* прохожий, *осторожно* ударил один кремень о другой — и вот искра! Что, если бы прохожий был *неискусен?* Что, если бы он ударил *неосторожно?* Если бы поблизости оказался навоз или другой удобовоспламеняющийся материал? Извлеченная из кремня искра упала бы в сей материал, воспламенила бы его — и вот пожар! Подобно сему и гласность, находящаяся в руках неискусных и употребляемая без осторожности, может произвести не умеренное и благопотребное для любезного отечества освещение, но пагубный и малопотребный для оного пожар. Руководствуясь этими соображениями, и я соболезную о гласности неблагоразумной, и радуюсь гласности *благо*разумной; соболезную о тех, которые в ослеплении своем и в солнце думают зреть пятна, и радуюсь о тех, которые, пользуясь благодетельною гласностью, за правило себе поставили: *постепенность и неторопливость.*

Порфирий Петрович умолк. Он несколько сконфужен, но не потому, чтоб солгал, а единственно по новости дела. Но чтоб не испортить своей репутации в глазах сограждан, он всячески старается маскировать свое смущение, топчется на месте, покрякивает, отирает слезящиеся глаза и в заключение столь искусно повертывается на одной ножке, что окончательно сбивает с толку своих слушателей, которым становится ясно как день, что для Порфирия Петровича всякая штука — как с гуся вода. Добрые жители Крутогорска взволнованы и растроганы. Они густою толпой окружают Порфирия Петровича, жмут ему руки и вообще выказывают какое-то необыкновенное нервное расслабление.

Увы, и я, с своей стороны, изумлен и растроган, хотя и не спешу облобызать Порфирия Петровича в сахарные уста.

«Гласность! свобода! — думаю я,— откуда, из каких тем-

ных нор вызвала ты всех этих тараканов, которые до сих пор спокойно себе копошились в горшке над куском черного хлеба, покуда всеистребляющая рука заботливой кухарки не заливала их кипятком и не прекращала тем прожорливой их деятельности? Подобно тому как на выборы являются лица, никем не виданные, являются для того только, чтоб изумить вселенную безобразием мохнатых шапок, узостью панталон, густотою рыка и необыкновенным ожирением затылков, изумить и через несколько дней снова потонуть во мраке; подобно тому и на торжество гласности и разума являются какие-то страшные чудища, лишь заменившие мохнатость шапок — мохнатостью понятий, а узость панталон — узостью стремлений, и сохранившие во всей неприкосновенности и густоту рыка, и необыкновенное ожирение затылков!»

Что, ежели, вместо того чтоб потонуть по миновании надобности во мраке, чудища эти укоренятся навсегда с их мохнатыми шапками и узкими панталонами?

Утомленный болтовнею дня, я не без сладостного чувства надежды взираю на сумрак вечера, постепенно окутывающий окрестность. Жадно и зорко слежу я за последними движениями угасающего дня, и все мне кажется, что огни в окнах недостаточно скоро меркнут, что собаки на улицах слишком громко лают, как бы продолжая и преобразуя своим лаем ту безлепицу, которая преследовала меня в течение дня. Окна общественного клуба еще ярко освещены, и сквозь застилающее их облако дыма я замечаю, как снуют взад и вперед какие-то неимоверные, усатые фигуры с чубучищами в руках, снуют без дела и без цели, останавливаясь только затем, чтоб выпить рюмку водки. Но вот и огни стали окончательно гаснуть; вот в последний раз, и как будто сквозь сон, где-то взвизгнула охрипнувшая от злобы шавка; вот и капитан Постукин выпил последнюю рюмку очищенной, выпил, крякнул и закусил кусочком черного хлеба .. Покой! забвение! ты ли грядешь?..

Но, увы! горькая работа сердца, раз начатая, уже не в силах улечься и угомониться вместе с затихающими звуками. Мохнатые чудища продолжают преследовать меня даже в моем одиночестве и производят столь сильное раздражение во всем моем существе, что я чувствую, как ходит кровь ходенем в жилах моих. Ночь, которую я звал с таким нетерпением, вместо желаемого успокоения приносит мне лишь мучительные грезы. В безмолвии, которое меня окружает, мне

слышатся какие-то досадные звуки, смутный гул которых заставляет болезненно сжиматься мое сердце; серые тени, одна за другой, сменяются перед глазами моими... Я ощущаю боль во всем организме; все чувства мои насторожены; какая-то особенная чуткость объемлет все мыслящие способности души моей; глаз мой видит незримое, ухо мое слышит неслышимое, руки мои осязают неосязаемое...

«Все ночь, все еще ночь!» — думаю я.

Мучимый внутреннею тревогой, изнемогая от жажды успокоения, я с злобным нетерпением обращаюсь к востоку: не видно ли там луча, не сверкнула ли там, среди черных туч, та яркая полоса, которая должна воссиять миру светом радости? Восток! восток! скоро ли осветишься ты?

«Засни! — шепчет мне ночь,— засни, замученный! засни, истомленный! Сон убаюкает тебя на мягких крыльях своих; он неслышно пронесет тебя чрез суровые пространства, чрез трудные времена в ту волшебную страну, где бегут голубые реки, где горит голубое небо, в ту страну, где, торжествующ, блещет лик человеческий, не изнуренный вечными исканиями, вечными и горькими стремлениями...

Кинь ты черную думу, забудь о страждущем брате своем! Зачем замечать, сколько гнетов наслоилось над головой его, сколько зол теснит его душу, сколько нужд точит его изможденное тело! К чему эти странные, серые картины, на которых так любит останавливаться уязвленное воображение твое? Взгляни, сколько еще разлито света в самых сумерках, окружающих тебя! Сколько еще теплится красоты и добра под темным флёром, наброшенным на жизнь!»

Но мне не спится. Ни шепот ночи, ни усталость от прожитых волнений дня не усыпляют меня... Сладко было бы мне забыться, сладко было бы, без тревог, не глядя вперед и не оборачиваясь назад, окунуться в волны реки забвения, но есть внутри меня нечто гнетущее, что мешает мне поддаться убаюкивающему обаянию ночи. В невыразимой тоске продолжаю я обращаться к востоку: «Восток, восток! скоро ли, ах, скоро ли осветишься ты?»

Но что же за видение отделяется в глубине из мрака, объемлющего окрестность? Потрясая косою, стуча всем составом своим, неподвижно неся безокую голову, оно проходит мимо меня, цепеня мою мысль, обдавая холодом и ужасом все существо мое. Смерть! ты ли это? Если это ты, желанная, если это ты — конец и разрешение тревог и исканий жизни! Если это ты — успокоение мучительных надежд и обагренных кровью сердца желаний! Если это ты — мир и забвение! То зачем же воображение мое населяет огнями ада зияющие впа-

дины головы твоей? Зачем самая тьма их кажется мне сверкающей? Не тебя ли я столько лет жаждал — то с томительной тоской, то с сладостным трепетом? Не к тебе ли обращались все упования и мечты моего сердца? Сладко умереть! думал я. Сладко забыться и быть забытым среди кликов растления, среди воплей удовлетворенных лакеев, среди постящихся и знаменующихся лицемеров-грабителей, среди ликующих откупщиков и осклабляющихся ябедников. Стоны торжища жизни, стоны, от которых надрывается сердце земли, пронесутся мимо меня, разъедая только живое и не касаясь того, что заранее и добровольно обрекло себя забвению!

Отчего же теперь, когда ты явилась передо мной, грозная и торжествующая, меня объемлет иной трепет, иная тоска? Или запала в сердце мое робость? или срослась со мною эта горькая привычка жить, которую многие почему-то называют сладкою? Да, я не без радостного волнения вижу, как проходит мимо меня грозное видение, не задев меня своею косой; я сладко вздыхаю по мере того, как оно от меня удаляется... «Я хочу жить!» — кричу я из всех сил, подобно тому выздоравливающему, который, еще шатаясь на дрожащих и ослабевших ногах, не знает, как надышаться ему свежим воздухом, и пьет не напьется золотых лучей солнца, горячим светом обливающих и его, и всю природу.

И вот безграничная панорама открывается передо мной: скорбные образы восстают из мглы и тумана; далекая-далекая, окутанная снежным саваном равнина расстилается перед глазами моими... и все мне кажется, что некто вблизи меня стонет, что весь мир полон горечи и страданий...

Смерть! Смерть! куда же лежит разрушительный путь твой? кого обрекла ты на гибель?

Она идет, стуча всем составом своим; она идет по холмам и по лугам, по лесам и по полям, идет через рвы и реки, через расселины и топи... Она проникает всюду, где только слышится трепет и дыхание жизни!

И вот вдали, в длинной веренице городов и сел, чертогов и хижин, замелькали огни, послышалась суета и движение. Люди ветхие, хворые, еле дышащие, выходят на дорогу; иные идут с поникшими головами, другие еще трепещут от неостывшего сознания недавнего торжества; иных терзает раскаяние, черты других исказились ненавистью; одни еще простирают дрожащие руки, чтоб оборониться от прикосновения Смерти, другие клонятся под ударами ее безропотно.

Вот тучный, весь претворившийся в брюхо откупщик. «Я современный человек! я действительно был когда-то мерзавцем, но теперь... теперь я воистину человек современный! — вопиет

он, пряча оторопевшими руками за пазуху штоф с мутной, испорченной жидкостью.— Виноват, я грабил... я много грабил! Но если душе моей не безызвестен позор преступления, то не заглаживает ли его столь же нечуждая ей сладость раскаяния? Прочитай мои статьи, выслушай мои речи... и пощади меня!»

Вот и умирающий торгаш. Живой, он никогда не доводил себя до сознания, что вся жизнь его есть непрерывная сеть хитросплетенного плутовства и неправедных стяжаний; но пред лицом смерти он струсил. Тщетно окружает его толпа алчных родственников и прихлебателей, тщетно усиливаются они вырвать сокровище из хладеющих, но все еще страстно его прижимающих рук... Он глух к их стонам, слеп к их кривляниям. Иные звуки терзают его слух, иные образы смущают его цепенеющую мысль. Там, вдали, среди облаков черного дыма, прорезываемого красными языками неугасимого огня, представляется ему царь тьмы, сидящий на престоле из змий, видятся ему огненные сковороды, раскаленные клещи, видится собственная душа его, ходящая по мытарствам... «Страшно! страшно!» — лепечет коснеющий язык его. Ах, не вам, добрые родственники, и не вам, преданные прихлебатели, оставит он кубышку свою! Новое любостяжание, новое неслыханное воровство смущает его бедную голову: нельзя ли, думает он, на те самые деньги, ради которых погубил он душу свою, купить для нее царство небесное?..

Вот деревенский лорд, застигнутый с розгой в руках. Уподобясь пойманному врасплох школьнику, он бросает в толпу поличное и заверяет Смерть древней своей честью, что он патриарх и желает только счастья, счастья и счастья своей меньшей братии.

Вот испитой, пожелтевший, с подобранным животом ябедник. Он трусливыми руками засовывает в карман свой донос или извещение и отвратительно жалобным голосом вопиет, что он оклеветан, что он совсем не ябедник, а масон, бескорыстно источавший из себя ябеду и клевету, по долгу данного им обязательства.

Вот закоренелый казнокрад и взяточник. Он застегнул мундир на все пуговицы, вымыл руки и, показывая их Смерти, заискивающим голосом шепчет: «Обе чисты!»

Вот наивный, оплешивевший на службе столоначальник, пойманный с входящим регистром в руках. Он божится, клянется, что это лишь горькая случайность, что он в жизнь свою *туда* ничего никогда не вписывал и делал *там* только кляксы.

Вот и ты, бедная, сгорбленная нуждой, бабушка Ненила. Спокойно сидишь ты у ворот покосившейся избенки твоей,

чертя клюкой по земле и бормоча про себя все одни и те же с младенчества затверженные слова. Без страха ждешь ты минуты, когда среброкудрые ангелы возьмут твою душеньку и успокоят ее на лоне Авраамовом... Однако отчего же и ты порой задумываешься? Отчего по временам губы твои смыкаются, рука крепче сжимает клюку, и ты всеми остатками твоего существа как будто прислушиваешься к чему-то, как будто припоминаешь нечто? Или еще не порвалась нить, привязывающая тебя к жизни? или жизненное начало, независимо от тебя самой, еще совершает в тебе работу свою? или не совсем еще застыло старое горе, не все еще выплакались старые слезы, не покрылось еще пеплом забвения пережитое и выстраданное иго жизни...

Смерть! Смерть! где же остановишь ты шествие свое? Ужели ни слабость, ни бедность, ни кротость, ни искренность не избегнут косы твоей? Где же будет ютиться жизнь, кому суждено быть сосудом ее? Для кого заалеет восток давно желанным светом радости?

И вдруг мне чудится, что я тихо-тихо опускаюсь, что меня со всех сторон обхватывает нечто мягкое, нежащее... Вот заалел восток... вот улеглись тени ночи... в воздухе пронеслось словно неявственное дребезжание и наполнило слух мой... предметы, покрытые цветами радуги, внезапно закружились перед глазами моими... вот ворвалось в мою комнату, неизвестно откуда, облако белесоватого тумана... вот, наконец, и ничего не видно... Сон! ты ли это?

СОН

Встал-встрепенулся дурак Иванушка, пожелал он, голубчик, глаза протереть, руки-ноги протянуть, поразмять свое тело белое. Только глянул он — ан в глазах у него белый свет словно мутен стоит; хочет руку поднять — ан рука, ровно чужая, обок болтается; чует ногами, что под ним дорога торная, а куда идти, взад ли, вперед ли — не ведает. Ишь до чего, лежебок, доспался, что забыл, в которую сторону головами лежал'.. Всплакался тогда Иванушка.

— Эко чудо! — говорит,— слышишь, дяденька, никак, я маленько вздремнул, что глаза у меня словно не разлипаются?

— Ишь, соня, хватился! — отвечает дядя,— спал на печи без просыпу, да туда же на свет божий взглянуть хочет! А ты поди сперва да промой глаза-то живой водой!

Побежал Иванушка к тому ручью, где живая вода бежит, обмылся, обчистился, да и в ручеек, по старой привычке, кстати плюнул и пошел на дорогу.

Видит: идут по дороге люди ветхие, идут и руками разводят, словно сомневаются. Шибко не показались они Иванушке.

— Что за мразь! — говорит,— и куда это я попал? Эй вы, господа честные, молодцы удалые! не можно ли вас поспрошать, в кои страны больно спешно ползете?

Возопили к нему старцы ветхие:

— Идем мы, младый юношь, Иван сын Иванович, от миру прелестного, от жизни прелюбезныя в страну преисподнюю...

— Ну, мне, видно, с вами идти несподручно будет! — молвил Иванушка и пошел от них прочь.

Пошел Иванушка по той нетореной дороге, где младая жизнь кишит, где цветут цветочки алые, где растет трава шелковая, где поют птицы райские, где бегут ручьи молочные... Любо Иванушке! Глаза у него разгорелися, кудри русые по широким плечам разметалися, ходенем пошла грудь могучая, встрепенулось в ней сердце богатырское, пьет не напьется он воздуха вольного...

. . . . . .

— Ваше благородие! ваше благородие! — раздается в ушах моих знакомый голос,— извольте скорее вставать: Иванушку-дурака за стол посадили!

Слова эти поражают меня, я спешу встать и прихожу в комнату, посредине которой поставлен стол и которая видом и убранством своим напоминает мне нечто знакомое. За столом сидит молодой малый с русыми волосами, круглым и добродушно осклабляющимся лицом...

— Это он самый Иванушка и есть, — объясняет мне тот же голос, который разбудил меня.

Но Иванушке неохота сидеть в креслах; краска робости, или, лучше сказать, той милой застенчивости, которая составляет врожденное свойство истинного сына полей, выступает на лице его; он рвется и мечется в кресле. и если бы не удерживала его сзади сильная рука известного своими административными способностями Зубатова, приставленного к нему в виде дядьки, то нет никакого сомнения, что Иванушка без оглядки бежал бы из этой душной комнаты в те родные равнины, над которыми широко раскинулось серенькое небо, где привольно и беспрепятственно гуляют буйные ветры, разнося из конца в конец перекатистую песню Иванушки.

— Сиди же, Иванушка! сиди, любезный! — увещевает Зубатов.

Но Иванушка продолжает барахтаться. На открытом лице его я безошибочно могу прочесть тревожную думу, которая неотступно преследует его во время этого барахтанья.

«Врешь! не обманешь! — думает он,— разве мы своего места не знаем!»

С этим словом Иванушка ловким маневром выскользает из рук его и совершенно неожиданно скрывается под стол.

— Господи! вот детище-то бог послал! — угрюмо ворчит сторож, отправляясь вытаскивать Иванушку.

— Да сядь же, Иванушка! сядь, голубчик! — продолжает усовещивать Зубатов,— как перед богом, обмана тут нет, а именно посадить тебя от начальства приказано!

Иванушка вслушивается и, по-видимому, начинает сдаваться. Но переход от сомнения к уверенности совершается в нем быстро и резко. Минуту назад он прятался под стол, теперь же, к полному изумлению всех предстоящих, он не только сел на месте, но даже ноги на стол вскинул.

— Не годится, Иванушка, не годится так,— снова вступается Зубатов,— ты поїми, голубчик, что не для озорства здесь посажен... Сядь, Ваня! сядь же смирнехонько, подожми под себя ноженьки, коли совладать с ними невмочь!

Некоторое время, однако, Иванушка сомневается. Видал он на своем веку виды и потому знает верно, что все на этом месте спокон веку именно так сиживали, как он сидит! Все думается ему, не издевается ли над ним Зубатов, не надувает ли его, не будет ли ущерба его значению, если он сядет, как все люди сидят. Однако добрые его инстинкты возымели свое действие. Не прошло четверти часа, как вижу я: сидит Иванушка на месте прямо и чинно, руками не болтает, ногами не неистовствует, смотрит ласково и радошно.

— Ну, давай, коли так, судить да рядить! — говорит он, предварительно перекрестившись.

НАШ ГУБЕРНСКИЙ ДЕНЬ

ВВЕДЕНИЕ

Как там ни шути, а жить скучно. Жизнь сорвалась с прежней колеи, а на новую попасть и не смеет, и не умеет. Люди ходят как сонные или сидят себе сложа руки, вперив взоры в туманную даль — ничего в волнах не видно! Особенно мастерски умеем скучать мы, провинциалы. Там, в Петербурге, что-то затевается, какая-то все стряпня идет; одни болтают, что готовится нечто громадное, другие брешут, что чересчур что-то маленькое. Мы сидим в мурье и недоумеваем; нам-то желалось бы, чтоб все это было маленькое да миниатюрненькое... а вдруг, черт возьми, левиафана хватят? Ведь с нашими робятами и это случиться может!

Вот пронеслись слухи, будто откупа трещат — председатель казенной палаты дрожит и слабеет желудком. «Куда же я с малыми детьми денусь? — спрашивает он сам себя,— да пойми же ты, черт, что у меня восемь дочерей, и каждой надобно по приданому!»

До сведения губернатора доходит, что в губерниях будут заведены новые какие-то учреждения, совсем будто бы независимые учреждения, которых все и назначение будто бы в том заключаться будет, чтоб давать щелчки в нос его превосходительству. «Как же я теперича повелевать буду? — вопрошает он сам себя.— Да пойми же ты, черт, как я за благосостояние губернии-то отвечать буду?»

Губернский штаб-офицер пронюхал, будто отныне всякое дело начистоту надо вести будет. Легкая бледность внезапно отуманивает его красивое чело; надушенные усы дрогнули; в самых манерах, которых благородству удивлялись во время экзекуций все помещики, появилась порывистость и даже некоторое верноподданническое дерзновение (я, мол, свое дело

сделал, а там как угодно!). «Ну что ж, это хорошо! Ну что ж, и пускай их! и пускай их! — скрипит он про себя,— только что ж это со мной-то они делают? Да пойми же ты, черт, как же я теперь в люди-то покажусь?»

Председатель судебной палаты тоже узнал кое-что о гласном судопроизводстве и тоже совсем растерялся. Он то застегнет, то расстегнет свой вицмундир, то берется за шляпу, точно идти куда-то собирается, то бросает шляпу на стол и садится. Наконец решается послать за секретарем.

— Иван Ксенофонтыч! слышал?

— Поговаривают-с.

— Ну?

— Поговаривают-с.

— Как же это... в публике-то сидеть?

— Будем прописывать-с.

— Да, но как же, брат, это... в публике-то?

— Будем прописывать-с.

— Да пойми же ты, любезный: ведь кругом-то везде публика понатыкана! Пу-бли-ка!

— Что же-с? Каждому кто что заслужил-с!

— О, черт побери да и совсем!

— Это точно-с.

Одним словом, все повесили головы, все отстали от дела, которое уже признается старым, отжившим свой век, все ждут чего-то нового, а новое не идет.

— Хоть бы развязали, что ли!— слышится со всех сторон.

Все эти люди сидят начеку, словно куда-то собираются, словно теперь только почему-то вспомнили, что они лишь временные жильцы этого мира. Очевидно, нечто волнует их, и мы, конечно, поймем и это волнение, и эту озабоченность, если припомним, что это «нечто» — ни более, ни менее, как вопрос о жизни и смерти их.

Скучно жить! Скучно видеть людей, которые разучились смеяться, которых мысль постоянно находится в отсутствии. Подойдешь к губернатору, спросишь: «Не угодно ли вашему превосходительству карточку?»— а он вместо ответа выпучит глаза и бормочет какие-то бессвязные фразы: «Гм... да... что?.. об чем бишь мы говорили?» Прошу покорно тут думать о каких-нибудь общественных удовольствиях при виде столь огорченного начальника!

Да и один ли губернатор, один ли председатель опустили носы? Увы! улицы пусты, базары обезлюдели! Полиция слоняется как шальная: не знает, драться ли ей или вежливенько приглашать: пойдем, дескать, милый мой, я тебя в части посеку! Обыватели тоже пришли в сомнение: не знают, точно ли

их бить не велено, или нет-нет да и пойдет треск и гвалт на всю улицу? То, что прежде разрешалось в одно мгновение ока и одним мановением руки, нынче перекладывается с места на место, перевертывается с боку на бок, да так на боку и остается.

— Да разреши ты мою нужду! — пристает несчастный обыватель к лицу власть имеющему.

— Нельзя, братец, закона нет! — ответствует лицо власть имеющее.

И добро бы дело о нужном шло! А то ведь об том только и разговор, как сечь: с соблюдением ли законных форм или без соблюдения, просто как бог на душу пошлет... ох, уж эти мне либералы!

— Ох, да хоть бы уж развязали поскорей! — вопит обыватель, и следом за ним эхо из конца в конец перекатывает: — «Ох, да хоть бы уж развязали поскорей!»

Как жить? как поступать? чем быть? — вот вопросы, которые слышатся всюду. Пойдешь направо — назовут ретроградом; сунешься налево — прослывешь прогрессистом... Оба прозвища равно не безопасны. Один мой знакомый говорит: «А мы пройдем середочкой!» Гм... хорошо, коли кто эквилибристике обучался; а каково тому, кто этой науки не знает? Каково идти-то по этой переузине? Каково целую жизнь об том только думать, как бы не покачнуться ни направо, ни налево и не выронить из рук спасительного шеста? Нет, воля ваша, это не жизнь, а какое-то мучительное театральное представление.

Об чем писать? какие подвиги воспевать? Подвигов нет — их место заступило унылое балансирование; героев нет — их место заступили люди, у которых трясутся поджилки; фестивалей и пиршеств нет — их место заступили молчаливые сборища с головными помаваниями, с односложными речами и скорбными дрожаниями уст и ноздрей. Что за время! что за время!

Увы! я охотно бы рассказал, например, о том, как Леонид Звонский, протанцевав тур вальса с Пульхерией Пронской, почувствовал, что все его существо внезапно охватилось током любовного электричества, но не могу, потому что мне никто не поверит. «Подите! — скажет мне читатель,— да разве вы не знаете, что нынче Леонид Звонский насчет любовных дел совсем слаб стал?» И читатель будет прав, потому что действительно Звонский не тем занят: он думает о том, будет или не будет определен помощником управляющего питейными сборами, и, весь погруженный в расчеты и соображения, взирает на Пульхерию не только с холодностью, но даже не без иронии.

Еще охотнее я начал бы свой рассказ так: «Леонид Звонский принадлежал к одной из великих либеральных партий, которые в последнее время оказали столько услуг для отечественного преуспеяния. Он ненавидел откупа со всею искренностью пламенной души» и т. д. и т. д. Конечно, тут было бы больше правдоподобия и больше животрепещущего интереса (ибо кто же, в самом деле, не принадлежит нынче к одной из либеральных партий?), однако я и этого написать не решусь. Во-первых, если я углублюсь в свой предмет надлежащим образом, то рассказ может выйти не совсем цензурный; во-вторых, откупной либерализм уже несколько провонял сивухой и в этом виде давно сдан в архив.

Один мой приятель предлагает такого рода сюжет: Леонид Звонский, начитавшись мемуаров Казановы, ощутил и т. д. «Тут может выйти целый ряд очень миленьких сцен, да и цензура непременно пропустит рассказ!» — прибавляет приятель. Но нет... я не могу писать и на эту тему! Я не сомневаюсь, что цензура пропустит рассказ мой, но сомневаюсь, чтоб нашелся журнал, который решился бы напечатать его.

Что ж остается мне делать? Очевидно, остается грустить вместе со всеми, остается быть летописцем вздохов... поймите, как это трудно!

Да и какой еще вздох? какой его цвет? какой его запах? Во времена счастливые, в те времена, когда жизнь изживается «без тоски, без думы роковой», ответ на эти вопросы дать не трудно. Тогда вздох бывает голубой и пахнет фиалкой. Вот Леонид Звонский, который только что кончил вторую фигуру кадрили с возлюбленной Пульхерией; он садится возле предмета своих страстных, но законных помышлений, и вздыхает... Вздох не задерживается в груди его, не вылетает оттуда ураганом, он выходит легко, ровно, благоуханно. Очевидно, Звонский вздыхает потому только, что он счастлив; он принадлежит Пульхерии, Пульхерия принадлежит ему; кадриль кончится, и растроганные родители благословят их... Вот патриарх-помещик, в «боях домашних поседелый», который только что получил оброк с возлюбленных домочадцев своих. Он сидит за конторкой, разглаживает замасленные и измятые пачки ассигнаций и вздыхает... Мир царствует во всем существе его; он пересчитывает деньги и, чем больше пересчитывает, тем сильнее в душу его закрадывается уверенность, что недоимки нет и что, следовательно, домочадцы его блаженствуют и живут припеваючи. Веселые картины рисует его воображение: пейзанки гуляют в кумачных сарафанах, пейзане в синих суконных поддевках; а там горелки, хороводы, орехи, пряники... Тут вздох понятен: тут он служит выражением того кроткого

блаженства, которое напояет душу и катится благоуханной струей по всем жилам... Вот чиновник, который сейчас только сходил в карман своего ближнего; он тоже нечто считает, он умилен духом, он чувствует, как дыхание спирается в его зобу, он вздыхает. Понятно, что и тут вздох не может быть горьким.

Все это вздохи голубые, пропитанные запахом фиалки. Человек, который вздыхает таким образом, может сказать об себе: я вздыхаю, потому что во мне играет сердце, потому что природа разыгрывает в мою пользу постоянное увеселительное представление. Я вижу цветок — и радуюсь; я внимаю пению птички — и радуюсь; я слышу мычание осла — и радуюсь; все в божьем мире манит и взирает на меня светлыми очами, все говорит: живи и наслаждайся!

Но я имею дело с миром огорченных, с миром людей трепещущих и скучающих. Они тоже вздыхают, но их вздохи желтые и пропитанные тлением органических остатков. Иметь дело с подобными вздохами почти невыносимо.

А других вздохов нет. Странно изменился мир божий; уже не смотрит он на человека светлыми очами, не приглашает его жить и наслаждаться. Подобно буре, вырывающей с корнем столетние дубы и щадящей молодые, гибкие побеги, смерть прошла крылом своим по рядам человеческим и посекла в один миг все, что считало себя навеки несокрушимым. Валятся люди, а за ними валится целый порядок явлений, валится целая жизнь.

Летописец минуты, я роковою силой осужден разделять настроение ее. Мир грустен — и я грущу вместе с ним; мир вздыхает — и я вместе с ним вздыхаю. Мало того, я приглашаю грустить и вздыхать вместе со мной и читателя.

Из последующих очерков он увидит, что сталось с нашим провинциальным «днем», этим днем, который еще столь недавно был днем веселия и утех.

I

У ПУСТЫННИКА

Мы составляем особое общество, status in statu[1]. Нас немного: губернатор, губернский предводитель дворянства, я, председатель казенной палаты, управляющий палатой госу-

---

[1] государство в государстве.

дарственных имуществ и жандармский штаб-офицер. Еще допускается к нам откупщик, потому собственно, что имеет очень приятное обхождение.

До тех пор, пока мы не начали грустить, мы жили очень весело: днем распоряжались, а вечером играли в стуколку; но теперь это все переменилось. Коли хотите, мы продолжаем и распоряжаться, и играть в стуколку, но на все это легла какая-то печать уныния. Все идет машинально, без присказок, без острых слов, словно не сами мы все это делаем, а играет и распоряжается в нас не порвавшийся еще процесс нашего прежнего, веселого существования. Скоро он порвется, а с ним вместе порвутся распоряжения и стуколка...

Есть у нас приятель, который слывет между нами под именем пустынника. Почему мы дали ему такое прозвище, объяснить не могу. Разве потому, что он любит прибегать к славянским оборотам речи, а может быть, и потому, что в действительности ничто так не противно его природе, как уединение. Человек он старый и одинокий, но еще до сих пор сохранивший в душе своей юношескую веселость и проказливость. Мы любили посещать его. Когда ни придите к нему, у него всегда словно масленица: либо сам песни поет, либо соберет мальчишек, да и заставит их голосить, а сам сидит на диване и благодушествует.

— Величай, душе! — дерут во все горло мальчишки.

— Преславнаго и пречестнаго! — подтягивает им пустынник, и когда придется забирать голосом высоко, то вытянет шею и руки простpет, точь-в-точь как делают регенты.

И таким образом время проходит быстро, весело и для души невредительно.

— Не люблю, государи мои, не люблю один оставаться! черти в уединении посещают! — говаривал он нам, когда мы веселою толпой врывались в его уединенную комнату. И потом, словно о чем-то задумавшись, прибавлял: — И по хлебе явися ему диавол... Вот и выходит, государи мои, что диавол-то завсегда нам тайно соприсутствует, ибо еще отцы наши выражались: веселие есть Руси пити и ясти... Ахти-ахти! грехи наши!

И действительно, такой страстной жажды общества, сопровождаемой беспримернейшим гостеприимством, редко можно было встретить. Бывало, чуть немного засидится без гостей, как уж бредет на балкон и выглядывает оттуда, не видать ли где праздношатающегося, которого можно бы залучить, накормить, напоить и утешить. И благо тому, кто, завидев издалека его приземистую фигуру с распущенными по ветру волосами, последует влечению сердца и, не оглядываясь по сторонам,

пойдет прямо туда, где ожидают все утехи, каких только может пожелать самый прихотливый желудок.

— Не хотите ли зернистой икорки закусить? Мне наши черноглазовские девки вот эко место в презент прислали! — приветствует он гостя и тут же сряду дрожащим старческим голосом запоет,— при-и-ди-те поклони-и-и-и-мся!.. Да балык тоже преотменный есть: это наши мужики из Полорецка презентовали!

И не пройдет получаса, как одно за другим переберутся все произведения глуповской природы во всех видах и со всевозможными приправами. Не пройдет получаса, как гость уже ощущает себя и сытым, и глупым.

— Теперь бы вот поплясать гожо! — восклицает пустынник,— я смолоду-то куда дерзок плясать был!

И вот призываются песенники, шлются гонцы за новыми собеседниками, стол уставляется новыми снедями и питьями, и зачинается пир горой до самой ночи.

Увы! этому ликованию, этой вечной масленице суждено было прекратиться!

На днях я посетил утром пустынника и был самым грустным образом поражен происшедшею в нем переменой. По обыкновению, он сидел на диване и, по обыкновению же, кого-то дрожащим голосом величал. Это тоскливое величание и прежде порой досаждало мне; теперь же, как только я его заслышал, сердце мое сжалось, как бы томимое тяжким предчувствием. Действительно, закуски на столе не было: пустынник сидел и качал головой из стороны в сторону, словно белый медведь, оторванный от родной стихии и посаженный в зверинец. Казалось, даже лысина его потускнела.

— Что с вами, пустынник? — спросил я его после обычного приветствия.

— Скорблю!

Я посмотрел на него в недоумении. Грешный человек, я подумал сначала, что у него вышел весь запас свежей икры, что откупщик забыл прислать ему обычную дань водки и пива, и эта догадка тоскливо подействовала на мой желудок.

— Мятутся! — продолжал он, и вслед за тем в грустно-минорном тоне запел: — И смятошася людие...

Я все-таки не понимал, хотя нельзя было сомневаться, что нечто произошло. Конечно, мне небезызвестно было, что наше маленькое общество с некоторого времени прониклось гражданскою скорбью, но какое же дело до нее пустыннику? Пустынник — отрезанный ломоть от общества; пустынник самой природой таким образом устроен, что было бы у него вдоволь ества да пойла, да малахай шелковый, так не проймешь его

никакою скорбью — это ясно! И вдруг о чем-то скорбит и произносит отрывистые и неподобные речи!

— Да что же случилось, пустынник? — спросил я.

Он, в свою очередь, взглянул на меня, но в этом взгляде виделась скорбная прошя.

— Не велеть ли разве рыбки подать? Мне намеднись преотменной из Песчанолесья прислали! — сказал он, но в звуках его голоса слышался укор, и я даже явственно различал, что укор этот относится именно ко мне, как будто он говорит: «Малодушный человек! я знаю, что ты думаешь об осетрине... в такую горестную для отчизны минуту!»

— Да нет, позвольте же, зачем рыбки? Если в самом деле что-нибудь важное случилось, то можно и без рыбки... Скажите, что же случилось?

Он посмотрел на меня строго.

— Да что ты, сударь, смеешься, что ли?

— Нет, не смеюсь.

— Не знаешь, что ли, что делается!

— Да что же такое, наконец?

— А вот, сударь, что! Приходит ко мне сегодня один из моих жеребцов стоялых (пустынник называл таким образом своих дворовых) и кланяется мне... вот эдак (пустынник кивнул головой с невыносимым пренебрежением)! Я на него смотрю и думаю: не в горячке ли малый, не очунется ли? Однако нет: стоит как столб бесчувственный.— Постой! что ты, дама, что ли? — спрашиваю я его.— Нет, говорит, я не дама, а, по вашему мнению, выходит, я жеребец стоялый! — Ну, уж меня, знаешь, и разбирать зачало, однако все терплю.— Что ж, говорю, коли ты не дама, зачем же так кланяешься? — Все еще, знаешь, мыслю, что он очунеет... Хорошо. Только что ж бы, ты думал, он сделал? — А коли, говорит, мой поклон тебе не нравится, так и нет тебе ничего! Повернулся хребтом-то, да и был таков! А? что? хорошо?

— Гм... да...

Я не знал, что ответить пустыннику, но чувствовал, что в голове моей бродит не то мысль, не то ощущение, одним словом, нечто такое, что можно бы формулировать словами: «Эге! да это явления одного и того же порядка!»

— Так вы думаете?..— сказал я вслух.

— Чего тут думать... оно!

— Гм... да... это оно!

Мы не объясняли друг другу, что значит это «оно»: мы поняли. Я вознамерился было посетовать, высказать несколько жалких слов, как это обыкновенно делают люди, которых претензии ограничиваются желанием выпить и закусить и ко-

торых вместо того заставляют ломать голову над какими-то проклятыми вопросами. Но пустынник оказался и решительнее, и воинственнее меня. Он вскочил с дивана и накинулся на меня с такою неистовой яростью, что я одну минуту думал, что он растерзает меня на части.

— Чего же вы-то, гражданское начальство, смотрите? — закричал он на меня, сверкая глазами.

Я поник головой.

— Ведь это зараза,— продолжал он, все более и более наступая,— ведь это чума!

Я почувствовал себя сугубо виновным. Мне не приходило даже в голову сказать в свое оправдание стереотипную фразу: «Да чем же я виноват?» — которою, по заведенному исстари обычаю, оправдываются все птенцы бюрократии. Мне как-то вдруг пришли на ум все пословицы, вроде: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж», «Люби кататься, люби и саночки возить» и проч. Я вдруг почувствовал, что на мне лежит какая-то ответственность, что я должен был предугадать, предвидеть, предозаботиться и продотвратить! Держа в руках своих миллионную частицу административной вожжи, имея право, в миллионной части, решить и вязать, я обязан был тянуть свою тягу, насколько ставало моих сил. Если вожжа ослабла,— следовательно, я не натягивал ее с надлежащею заботливостью, следовательно, я не исполнил своего долга, следовательно, я был без оправданий. Виноградник, прежде столь чистый, порос куколем и крапивою — чего смотрели виноградари? где они были? чай, в карты дулись или с метрессами [1] проклаждалися?

Пустынник, казалось, понял, что во мне происходит нечто очень тяжелое, и смягчился.

— Да уж не велеть ли рыжичков подать? Мне девки мелконьких таких в уксусе прислали! — сказал он ласково.

Но мне было не до грибков. Черт знает, что бродило в это время в голове моей, но только вместо того, чтоб отказаться и поблагодарить, я отвечал:

— А кто их знает, может быть, они не девки, а бабы!

Пустынник усмехнулся.

— Да ну уж, ну! велеть, что ли? Вижу! все вижу! Обидел я тебя!

— Нет уж, увольте... Лучше потолкуем!

Я был смущен: мне представлялась «зараза». Не могу определительно объяснить фигуру этого существа, но помню, что это было нечто похожее на громадное черное пятно, ко-

---

[1] любовницами.

торое безобразно шевелилось перед моими глазами, словно угрожая лечь мне на грудь всею своею массой. Стало быть, она поселилась везде, коли проникла даже в такое тихое пристанище, как дом нашего милого пустынника!

— Так потолкуем! — повторил я.

— Потолкуем! — отвечал он.

Но уста наши немели. Было какое-то слово, которое, казалось, вертелось на губах, но оно словно застыло там.

— Вот каково оно тяжко! — произнес наконец пустынник,— что даже слов не измыслишь!

Что за будущее представлялось воображениям нашим! Серое, неприглядное, покрытое бурьяном и колючками! Нужны мы или не нужны? — беспрестанно приходило на мысль.— Или мы тот самый бурьян и есть, который предстоит настоятельная надобность скосить? Если мы бурьян, то какое же сделают употребление из нас, подкошенных? Отдадут ли на корм ослам или просто кинут в навоз? Если же мы не бурьян, то за что же, господи! за что же!

- Ну, я с своими-то, пожалуй, справлюсь,— заговорил между тем пустынник,- вот вы-то, гражданские, что будете делать? ведь у вас, государи мои, все врознь полезло!

На это замечание я не мог возражать, ибо в отношении прозорливости оно было поразительно.

— Веселихомся и играхом! — продолжал пустынник,— а теперь вот и нам, подобно древним иудеям, на реках Вавилонских седящим, приходится обесить органы своя... и шабаш!

Странное дело! В то время, когда наши души были полны скорби, в саду, прилегавшем к пустынникову дому, беззаботно чиликали птички. Для них горизонт был чист и безоблачен, им не угрожала ни гласность, ни устность, ни уничтожение откупов; вокруг них природа оставалась неизменною: вчера она радовала, насыщала и убаюкивала и завтра будет точно так же радовать, насыщать и убаюкивать. Майский солнечный день так и врывался в комнату сквозь отворенную дверь балкона, врывался со всем своим влажным теплом, со всеми благоуханиями молодой, только что распустившейся флоры. Хорошо там в саду; хорошо птицам, хорошо жучкам и мошкам, хорошо цветам! Только человеку скверно; скверно везде: и на солнышке, и в тени, и в саду, и на погребе; везде преследует безотвязная дума, везде насквозь прохватывает мысль о заразе...

Но если так скверно жить современному человеку вообще, то можно себе вообразить, сколь пакостно должно быть существование губернатора!

По мнению моему, этот почтенный бюрократ положительно должен целый день «караул» кричать!

«Расхитят! растащат! по кусочкам разнесут!» — должен он ежемгновенно твердить себе, чтоб не ослабнуть духом. Каково тут жить? Каково недремлющим-то оком всю жизнь глядеть? Ну, а чем он, например, виноват, если и в самом деле растащат? Разве он не человек? Разве не хочется ему и погулять, и выпить, и с девушками побаловать, и на птичек полюбоваться? Разве весна-то не действует на него?

— А чего вы смотрели, покуда у вас злонамеренные мысли распространялись? — спросят его, быть может, строгие ценители и судьи.

— А я,— скажет,— в это время у Матрены Ивановны пирог с грибами ел, ибо я тоже обязан и о соединении общества подумать.

— Правда. Ну, а где вы были в то время, как у вас в Оковском уезде некоторый продерзостный нахал на полной сходке утверждал, что словесное производство лучше бессловесного?

— А я в это время у себя в кабинете на приговорах уголовной палаты «согласен», «согласен», «согласен» писал!

— Правда.

Такого рода разговор можно продолжать хоть до завтра, и все-таки в результате ничего иного не выйдет, кроме: правда, правда и правда.

Признаюсь, если бы я был губернатором, я отнюдь не затруднился бы никаким вопросом. Я бы заранее для себя такой катехизис составил, в котором начертал бы простодушные, но дышащие истиной ответы на всевозможные вопросы.

Вопрос. Это что?

Ответ. Не разорваться же мне!

Вопрос. А это что?

Ответ. А это правитель канцелярии напутал!

Вопрос. Ну, а это что?

Ответ. Гм... это? Помнится, что я посылал туда своего чиновника, а он ничего не сделал! и т. д. и т. д.

Дела пошли бы у меня как по маслу, начальство было бы довольно, я был бы прав, а обыватели славословили бы имя мое.

Размыслив все это, я почувствовал себя облегченным; идея об ответственности уже не лежала тяжелым камнем на сердце; призрак слабонатянутой административной вожжи не тревожил воображения. Очевидно, весна подействовала благотворно; я даже не прочь был отведать грибков.

— Однако вы несправедливы, пустынник, к начальнику-то к нашему! — молвил я, покоряясь новому порядку идей.

— В чем же, сударь?

— А относительно гражданского-то начальства... Ведь его превосходительство даже побледнел от заботы...

— А коли побледнел, так и с богом!

— Намеднись я был у него по делам... Только, знаете, слово за слово, он мне и открылся: «Поверите ли, говорит, Николай Иваныч, вот третий вицмундир приходится бросить с тех пор, как эти слухи пошли!» А уж дальше что будет, так это одному богу известно!

— Что ж, по́том, что ли, оно из него выходит?

— Смейтесь там или не смейтесь, а что человек скорбит — это верно!

— Гм... да... чай, расход на одёжу большой!

Мне стало обидно и больно.

— Пустынник! — сказал я серьезно,— поймите, что это дело совсем не шуточное! Ведь мы все, сколько нас ни есть, должны будем, так сказать, сократиться... исчезнуть...

— Скорблю! — вздохнул пустынник.

— Вместо того чтоб смеяться друг над другом, нам надлежало бы соединиться!

— О сем мечтаю и всечасно сего желаю!

— Вот у Ивана Николаевича восемь дочерей-невест; ведь ему и с дочерьми исчезнуть придется!

— Яко исчезает дым, да исче-е-езнут! — затянул пустынник.

— Намеднись я у Семена Петровича был; он тоже говорит: что я с этой устностью буду делать?

— Куда прочие, туда и он!

— Да ведь люди-то какие!

— Люди отменные!

— И всех вот словно холерой посекло! Ведь мухе зла не сделали! Иван-то Николаич курицы в супе не съест без того, чтоб не сказать: «Вот, курочка! Кабы не плотоядность человеческая, клевала бы ты да клевала теперь по зернышку!»

— Что и говорить!

— А вы еще обвиняете!

— Постой! Я в чем обвиняю? Я в том, сударь, и обвиняю, что много в вас добродетели этой развелось... да! Возьмем хоть губернатора: сажает, это, всякого, руку подает — пристойно ли? Нет, вот я с предместником его хлеб-соль важивал, так тот и слово-то молвит, бывало, так словно укусит, того гляди! Вид-от один дикий что предвещал!

— Однако как же руки не подать? согласитесь!

— Да так: не подавай, да и шабаш! Иной еще такой озорник выищется: ты ему руку подашь, а он на нее плюнет!

Признаюсь, это предположение совсем сшибло меня с ног своей непредвиденностью. Во все время моей административной карьеры ничего подобного не приходило мне на мысль — и вдруг!

«А ну, если и в самом деле плюнет?» — подумал я.

Вся кровь во мне закипела; я явственно слышал, как внутри меня разом поднялись тысячи голосов, которые кричали: в острог! в острог его!

— Так-то вот, сударь! Дело-то оно с маленького начинается: там посадишь, там погладишь, ан он уж и думает, что и завсегда его сажать да гладить следует... Черти!

— Да ведь велено! — сказал я голосом, полным отчаяния,— кому бы охота, кабы не велено!

— А коли велено, так, стало быть, и шабаш!

Мы умолкли; часы заунывно простонали двенадцать. Странное дело! я еще не завтракал, а между тем был так сыт, как будто целого осетра одолел.

— Сколько добродетельных людей чрез это самое погибнуть должны! — промолвил пустынник.

«Может быть, и я!» — подумал я.

«Может быть, и я!» — подумал пустынник.

В это время, неся поднос и гремя тарелками, влетел в комнату прислужник в длинном кафтанчике на манер ополченского. На подносе красовались вещи знакомые, но вечно милые: янтарный балык, свежая икра, духовая осетрина, копченые стерляди и проч.

— Ну, мы дозде побеседовали; теперь потрапезуем!

— Нет, нет! уж увольте! я сыт!

— Чем же сыт? разве у кого потрапезовал?

— Нет, ни у кого! Я... я просто сыт...

— Гм... оно и вправду... какая нынче еда!

— Какая еда!— повторил я машинально.

— Не о хлебе едином... так-то!

— Прощайте, пустынник!

— Куда же?

— Да надобно бы... тово...

Я хотел было сказать, что надобно бы распорядиться, но вспомнил, что все уже кончено, что зараза уже совершает разъедающий круг свой,— и запнулся.

— Нет, уж прощайте!

— Ну, прощай, сударь, прощай! Я-то с своими справлюсь; вот вы-то, гражданские, как?

Я взялся за шляпу и спешил уйти. Слова пустынника да-

вили меня; никогда еще я не понимал так отчетливо, что все кончено; никогда будущее не представлялось мне в таком черном цвете.

«Зараза! — думал я, возвращаясь домой,— зараза!»

И таким образом, погибая от думы, я пробыл в этот день не завтракавши.

II

ОБЕД

Бьет четыре часа; дела покончены, пора обедать. Впереди еще остается целый день, пустой и длинный день... Куда деваться? куда деваться так, чтоб уйти от политических соображений, не слыхать политических вздохов, не видать политических взоров? Свидание с пустынником положительно расстроило меня. Представьте себе, что когда секретарь принес мне к подпису бумаги, то я вместо своей фамилии везде подписался: «зараза», «зараза», «зараза»... Хорошо, если ни одна из этих бумаг не отправлена по начальству, а то ведь от этих приказных станется, что и нарочно пошлют,— каков тогда срам!

Куда деваться? Дома оставаться нельзя, во-первых, потому, что дома нечего делать, а во-вторых, и потому, что мы положительно не привыкли к уединению. Как только останешься один, так вот тебя и томит, так и сосет что-то: десятки да двойки в глаза мечутся, нагие плечи, розовые улыбки, французские речи — так и тревожат воображение... Правду говорил пустынник, что в уединении черти посещают.

— Не зайдете ли к нам отобедать? — вдруг раздался под окном моим ласковый голос, и вслед за тем показался украшенный брильянтовым перстнем палец, который легонько постукивал по стеклу.

И палец и перстень принадлежали генералу Голубчикову. Разумеется, я поспешил воспользоваться приглашением с благодарностью.

Генерал Голубчиков — тот самый председательствующий старец, у которого восемь дочерей. Он любит и видимо ласкает меня, потому что полагает, что из этого выйдет гименей. Быть может, это предположение и не лишено основания, однако я еще креплюсь: пускай, думаю, старик покопит!

Генерал — очень маленький и чистенький старичок. Когда он бывает в хорошем расположении духа, мы называем его мышиным жеребчиком, когда же в мрачном (а это случается

всякий раз, как только зайдет речь об уничтожении откупов), то карим мерином.

— Господа! сегодня наш генерал в образе мышиного жеребчика! — раздается в одном конце комнаты, как только он войдет.

— Нет, он сегодня в образе карего мерина! — раздается в другом конце.

И таким образом шутки идут не прерываясь, но шутки безобидные, незлостные, доказывающие лишь наше расположение к милому генералу.

Увы! я не могу не сознаться, что с некоторого времени генерал почти постоянно является в образе карего мерина. Глаза его тусклы, нос как-то раздался вширь и вытянулся, словно хочет слиться с мясистыми губами; в звуках его голоса слышится нечто похожее на томное, расслабленное ржание; одним словом, по всему видно, что его насквозь пронизывают заботы о любезных восьми дочерях.

Как и все мы, генерал гостеприимен, но в нем это гостеприимство усугубляется вечно присущим воспоминанием о дочерях. Милые птенцы! им необходимы развлечения, им нужно общество, им нужны, наконец, женихи! Рассказывают, будто его зятьям не житье, а масленица: я этому очень верю. Я сам, неоднократно обедая у генерала, замечал каких-то двоих господ, которых генеральша раз навсегда рекомендовала мне так: мужья моих двух старших дочерей (эти дочери были выданы замуж еще до возникновения слухов об уничтожении откупов). Господа имели вид здоровый, ели за обедом с двояким аппетитом, и никто им в этом не препятствовал ни косвенными взглядами, ни тонко брошенным намеком на то, что вот, дескать, есть люди на свете, на которых и пропасти нет. Напротив того, мне даже достоверно известно, что этих господ не только поят и кормят, но даже одевают, обувают и обмывают. По этому случаю их в нашем обществе называют в шутку наемными мужьями.

— Да поскорее! — весело торопил меня генерал, покуда я облекался в сюртук,— вы, может быть, не слыхали еще, что сегодня у нас по палате распоряжение получено, которое дает основание заключать, что откупа остаются на неопределенное время... да!

— Ну вот, и слава богу! — отвечал я также весело.

С одной стороны, меня радовала мысль, что хоть на этот раз я убегу от политики; с другой стороны, я все-таки невольно говорил сам себе: пускай старик покопит! пускай его!

Я вышел; мы поздоровались.

— Представьте, как все это неожиданно вышло: сидим мы

сегодня в палате и, по обыкновению, рассуждаем о том, что ожидает впереди нашу матушку-Русь православную, как вдруг приходит пакет. Раскрываю — и что же, например, вижу? «Снисходя, говорит, к ходатайству нежинского грека Мерзоконаки, оставляем»... ну, одним словом, оставляем, да и все тут!

Генерал хихикнул, как будто его кто-нибудь нечаянно щекотнул пальцем под мышкой.

— Ну, и слава богу! — повторил я.

— Я, впрочем, заранее знал, что это так будет! Да оно, коли хотите, и неправдоподобно! Не было еще примеров в истории, чтоб правительство просвещенное добровольно отказывалось от таких полезных сотрудников...

— Да, об них именно можно сказать, что это истинные верноподданные!

— Это так. Потому живут смирно и никого не задевают!

— Мало того что не задевают, но всегда, так сказать, на общую пользу стремятся!

— И это опять-таки именно так. Кто во время последней войны неестественные суммы, с явным для себя ущербом, на торгах набавил?

— Мерзоконаки и Лампурдос!

— Кто нашего губернатора из беды выручил, когда велено было женские училища везде заводить?

— Лампурдос и Мерзоконаки!

— Кто обществу угодил, когда оно постоянный театр иметь пожелало?

— Лампурдос, Лампурдос и Лампурдос!

— Как вспомнишь да соединишь все это в один фокус, так оно денег-то и многонько выйдет!

— Что уж и говорить!

— А ведь им тоже с деньгами-то, чай, жаль расставаться! А ведь они даже вида этого не подадут, что жаль! А ведь у них только и слов, что «сейчас» да «с нашим удовольствием»! Самый, то есть, кроткий, безответный народ!

Таким образом славословя Лампурдоса, мы дошли до самой квартиры генерала. Стол был уж накрыт, и нас встретила в зале сама Прасковья Петровна, которая приветствовала меня самым утонченным образом. За нею стояла Nathalie, та самая, на которую старики Голубчиковы наиболее рассчитывали в отношении гименея. Я взглянул на нее, и так как был в отличном расположении духа, то мне опять пришло на мысль: пускай старик покопит! пускай!

Надобно сказать правду, что в наружности Nathalie было нечто двойственное. Когда она имела основание надеяться и,

вследствие того, чувствовала себя счастливою, то была похожа на мать и могла нравиться; когда же сладкие надежды гименея покидали ее и будущее покрывалось черным флёром, то была похожа на отца и нравиться не могла. Сколько раз, бывало, видя ее в этом последнем образе, я с досадой восклицал: «Ох уж этот мне карий мерин! даже хамелеонство свое проклятое потомству передал!» Однако делать было нечего.

На этот раз Nathalie была похожа на отца. Вообще с некоторого времени на всем доме генерала лежала словно опала какая-то. Не говоря уж об нем самом, все семейство его, очевидно, скорбело. Прасковья Петровна, несмотря на утонченную светскость манер, предписывающую выказывать как можно больше равнодушия к житейским мелочам, беспрестанно прорывалась. То не донесет до рта ложки с супом и с криком «Ах, это ужасно!» положит ее опять в тарелку; то потянется, чтоб достать соли, но на обратном пути почувствует дрожание в руке и рассыплет свою ношу на стол, и т. д.

— Хоть не евши сиди! — говаривал мне иногда генерал с полными глазами слез.

Да, политические кризисы ужасны; они возбуждают чувства и уничтожают аппетит. Но еще чаще бывает так, что аппетит остается прежний, а орган, долженствующий служить ему, внезапно, вследствие каких-то нелепых политических соображений, отказывается от исполнения своих обязанностей. Несноснее этого положения ничего быть не может. Человек, постигнутый таким несчастием, постепенно линяя и выцветая, делается, наконец, способным только ронять ножи и вилки, которые, как орудия еды, во всякое другое время могли бы доставить ему полное удовольствие. Только во время глубокого мира, когда политический горизонт совершенно безоблачен, можно найти полную гармонию между аппетитом и чувствами; только тогда они пополняют и даже, так сказать, подстрекают друг друга; чувства рождают новый аппетит, аппетит рождает новые чувства. Веселее и приятнее этого положения нельзя себе ничего вообразить.

— А я, ma chère [1], приятную новость принес! — начал генерал.

— Ну, вот и прекрасно! А то, признаюсь вам, Николай Иваныч, даже противно жить стало: кругом все только пошлости одни слышишь!

— Да вы спросите наперед, какую новость-то! — сказал я, желая несколько помучить генеральшу,— ведь дозволено огла-

---

[1] дорогая.

шать все злоупотребления... и с именами, Прасковья Петровна, с именами-с!

— Да к тому же и гласное судопроизводство вводится! — брякнул за мной генерал, любезно подмигивая мне.

Но генеральша не могла видеть подмигивания, потому что с ней сделалось дурно. Разумеется, генерал струсил и засуетился около нее; он беспрестанно хлопал ей по ладони и нежным голосом ворковал на ухо:

— Ma chère! я пошутил! Этого не будет! этого никогда не будет! Напротив того, откупа продолжены, а типографии все до одной закрыты!

— А! — слабо вскрикнула Прасковья Петровна.

Признаюсь, я не ожидал, чтоб слово «откуп» заключало в себе такую магическую силу. Конечно, все мы, члены великой отечественной консервативной партии, чувствуем искреннюю преданность к откупщику, но это все-таки не мешает нам сохранять некоторый decorum [1] в выражении чувств наших. Со стороны генеральши подобный поступок мог быть объяснен только силою материнских чувств и деликатностью женских нерв.

— Maman всегда так! Когда papa в первый раз получил известие, что откупщиков всех выгоняют, она по пяти раз в день в обморок падала! — сфискалила мне на ухо Nathalie.

«Какая, однако, милая девушка!» — подумал я.

— Потому что ведь нам нельзя,— продолжала Nathalie,— у papa денег не будет, если откупщиков выгонят.

«Ну, деньги-то у papa, пожалуй, и теперь есть!» — подумал я.

Между тем генеральша оправилась совершенно; она уж шутила и даже пребольно выдрала генерала за ухо за его неуместную выходку.

— И вам бы то же следовало сделать,— сказала она, обращаясь ко мне,— да так уж и быть, на этот раз я снисходительна.

В глазах ее я прочел: «Прощаю тебя, но сделай же милость, не медли: сделай счастливою мою дочь!»

— Maman! вы, однако ж, забыли, что к papa письмо из Петербурга есть? — вступилась Nathalie.

— Ах да, действительно, к тебе есть письмо, Jean; enfants, apportez donc la lettre à papa! [2]

Я совершенно согласен, что лучше, если бы этого письма совсем не было, но, уж во всяком случае, было бы лучше, если

---

[1] приличие.

[2] дети, принесите-ка письмо папе!

бы оно пришло после обеда. Едва генерал прочитал несколько строк, как уже позеленел от верхнего края до нижнего; сердца всех присутствующих сжались болезненным предчувствием.

— Вот так штука! — сказал наконец генерал каким-то унылым голосом, как будто все внутренности его в одну минуту отсырели.

В письме было изображено:

«Нет сомнения, что вы уже получили, почтеннейший друг, распоряжение насчет продолжения откупной системы. Скажу без хвастовства: нужно было много ловкости, чтоб при настоящем откупновраждебном настроении умов провести нашу мысль, однако мы не пощадили ни трудов, ни издержек и провели. Но не спешите радоваться, ибо радоваться в наше время столь же несовместно, как и мечтать о временах недавнего, но увы! невозвратимого отечественного благополучия. Едва успели мы покончить, как противная партия уже ударила в набат. Что говорилось и писалось по этому случаю, того бумаге доверить не могу, однако, положа руку на сердце, скажу: уши вянут! Подобно злым и неотвязным шавкам набросились школяры на наш проект и неистовым своим криком (именно одним криком) успели-таки поколебать величественное здание его.

Мы стояли на твердой почве и упирались в казенный интерес; противники наши приводили возражения мечтательные и опирались на требования нравственности. «Нравственность,— говорили мы,— есть вещь второстепенной важности, когда дело идет об интересе казны и славе любезного отечества» (вам должно быть по опыту известно, почтеннейший друг, что слава без денег мертва есть).— «Интерес казны,— возражали наши противники,— есть вещь второстепенной важности, когда дело идет о нравственности». И таким образом сговориться никак не могли, тем более что и самое прение как бы о том только шло, чтоб сказуемое на место подлежащего поставить, а подлежащее на место сказуемого. Все сие было бы смешно, если бы не заключало в себе, как в зерне, зачатка самых горьких последствий. Границы российские, как вам известно, обширные — войска требуется пропасть; народ русский многочислен и склонен к увеселениям — полиции требуется пропасть; полиция, с своей стороны, обладает некоторою игривостью нравов — губернаторов требуется пропасть, а там генерал-губернаторов, а там министров — всего и не перечтешь... С одной стороны, обширность, с другой, лесистость и малообработанность — вот положение нашего любезного отечества в финансовом, экономическом и административном отношениях!

Доныне все это шло, все это удовлетворялось; войска защищали границы и получали неприхотливое, но верное содержание; полиция воздерживала народ в пределах скромности и не оставалась без возмездия; губернаторы, генерал-губернаторы и министры — каждый обращался в своем круге и, конечно, не без процентов. Таким образом, обширность была обеспечена, лесистость уничтожалась, к возделыванию полей принимались меры. Откуда извлекались средства для всего этого? спрашиваю я вас. Откуда, как не из откупов? Они представляли и для государства, и для общества убежище постоянное и непоколебимое; они изображали собой шкатулку, в которую всякий достойный гражданин свободно запускал руку, без опасений завязить ее. Тут была целая государственная теория, на место которой нынешние мечтатели предлагают что? Предлагают нравственность!.. Скучно слушать! И тем не менее победили! Откупа окончательно и безвозвратно уничтожены...

Не могу по этому случаю не выразить моего искреннего соболезнования о вас и о всем вашем почтенном семействе. Знаю по себе, что подобные удары переносить не легко, но думаю, что упование на милость божию и в сем крайнем случае не оставит вас. Оно одно»... И т. д. и т. д.

Подписал: *«Георгий Лампурдос»*.

Описать сцену ужаса и смятения, которая произошла вследствие чтения этого письма, я не в силах. Скажу одно: лица у дочерей-невест вытянулись, и на лицах этих я очень явственно мог прочесть, что женихи улетели. Наемные мужья, пользуясь общей суматохой, незаметно удрали. Генерал, вдруг преобразившись в карего мерина, шагал по комнате и беспрестанно повторял, что жизнь есть обман. Генеральша, едва заметно вздрагивая ноздрями, возражала, что жизнь совсем не обман, а что, напротив того, дураки сами во всем виноваты.

— Представьте себе, Николай Иваныч! — сказала она, обращаясь ко мне,— даже в детях эта зараза действует! Намедни, на бале у Пеструшкиных, подходит мой Иван Николаич к сыну Шалимова, гимназисту, и хочет, знаете, по щечке его потрепать... Только как бы вы думали, что этот мальчишка сделал? Повернулся эдак к нему спиной, да и говорит: «Я, говорит, с вами незнаком, потому что вы откупа защищаете!»

— Ссс...

— Нет, да каков клоп! Ведь от земли не видать букашку, а туда же в политику лезет!

— Скажите пожалуйста!

— Право! Как же теперь можем мы жаловаться, когда уж

детей своих не умеем в истинных правилах воспитать! Когда мы сами везде кричим: откупа гадость! крепостное право мерзость! Ну, и докричались!

— Я, ma chère, никогда ничего подобного не кричал! — отозвался генерал.

— Ах, отстань, пожалуйста! Не об тебе и говорят!

— Я положительно от того терплю, что жизнь есть обман! — приставал генерал.

— Да отстань же, сделай милость! Разве кто-нибудь с тобой спорит?

— Я положительно утверждаю, что жить в настоящее время не только гадко, но даже и не безопасно.

Генеральша пожала плечами.

— Взгляните в микроскоп на каплю воды — вы увидите, что инфузории с жадностью пожирают друг друга! Взгляните на наш человеческий мир даже без увеличительного стекла — вы увидите, что люди с такою же жадностью пожирают друг друга, как и бессмысленные инфузории!

— Mais qu'est-ce qu'il a donc? [1] — сказала генеральша, с беспокойством глядя на мужа.

— Я положительно удостоверяю, что Лампурдос подлец! — провозгласил генерал торжественно.

Генеральша вскочила со стула и, вся перепуганная, устремилась к мужу.

— Jean! что с тобой, друг мой? — сказала она.

— Грек Лампурдос подлец, потому что лишил меня аппетита! Грек Лампурдос подлец, потому что, не будь его поганого письма, я был бы в настоящую минуту счастлив! Вот все, что я желал сказать.

Генерал заплакал.

— За доктором! ради бога, за доктором! — вскрикнула встревоженная генеральша.

— Меня ни один доктор лечить не станет! — продолжал жаловаться генерал,— мне даже крошка Шалимов в глаза сказал, что я ретроград... да! О, если бы я был либералом! Я был бы теперь здоров, и всякий доктор согласился бы лечить меня с удовольствием!

Генеральша металась; малые дети взвизгивали и машинально хватались за фалды генерала, словно боялись, что он улетит... Смутно стало на душе моей. С одной стороны, мне представлялся вопрос: неужели я и обедать сегодня не буду? С другой стороны, взирая на генерала, я невольно говорил сам себе: ну нет, брат! копить ты уж больше не будешь!

---

[1] Что с ним такое?

— Кушать подано! — гаркнул в это время лакей.

Никто не тронулся.

— La soupe est sur la table, maman! [1] — робко подсказала Nathalie, которая, надо сказать правду, и в мирное, и в смутное время кушала с одинаковым аппетитом.

Но генеральша так строго взглянула на дочь, что та, наверное, откусила себе язык.

Я увидел, что надеждам моим суждено разлететься в прах, взялся за шляпу и поспешил уйти. На другой день весь город знал, что генерал лишился рассудка, что он без умолку говорит какие-то странные речи, упоминает о греке Лампурдосе и грозит детям, что если они будут дурно учиться, то он отдаст их в ретроградьі, а сам останется в либералах и будет носить белый колпак.

III

ПЕРЕД ВЕЧЕРОМ

Удивительное дело, как все это было пригнано, какая во всем сказывалась система и гармония! Потомство решительно не поверит. Поговорим хоть о губернском надзоре. Всякий согласится, что без надзора нельзя: во-первых, обывателям некому будет жаловаться, во-вторых, куда же денутся все эти лица, которым вверен надзор? в-третьих... ну, да вообще как-то неловко без контроля! Что могли бы сказать о нас иностранцы, если бы у нас не было контроля? Могли бы сказать: у них царствует произвол, потому контроля нет! Могли бы сказать: удивительно, как это люди живут в такой стране, в которой контроля нет! А теперь, как контроль есть, то иностранцы должны молчать, и ничего больше.

Главное дело, чтоб контроль был безобидный и шел, так сказать, в виде непрерывного перекрестного огня. Объясним это примером. Если меня будет контролировать мужик, что может из этого выйти? Разумеется, ничего путного, потому что и он меня не понимает, и я его не понимаю, и станем мы целый день разговаривать, я по-русски, он по-татарски. Совсем другое дело, когда сойдутся люди просвещенные и скажут друг другу: ты надзирай за мной, а я буду надзирать за тобой. Ясно, что здесь не может случиться ни раздоров, ни недоумений; ясно, что просвещенные люди поймут друг друга и будут объясняться единственно по-русски. Таким образом, подозре-

---

[1] Суп на столе, мама!

ние о произволе устраняется; обыватели на каждом шагу встречают лицо, которому могут принести жалобу; приличия соблюдены, все довольны, а вместе с тем и раздоров никаких...

Возьмем другой пример, более осязательный.

Наш почтенный начальник края постоянно находится под контролем весьма нелегким; за ним надзирает и губернский штаб-офицер, и губернский прокурор,— а между тем, спросите его по совести, чувствует ли он это? Нет, он не чувствует, ибо, с другой стороны, штаб-офицер и прокурор находятся и под его контролем. Следовательно, сойдутся вместе, переговорят между собой ладком, ан, смотришь, и прекратятся разом все недоумения, смотришь — и пошли опять козырять как ни в чем не бывало.

Наш глуповский полковник был именно такого мнения о контроле. Во-первых, он вообще одобрял всю систему, а во-вторых, хвалил в особенности то, что контроль именно поручен ему, а не кому другому. «Это,— говаривал он,— именно величественное здание, в котором всякий находится при том круге, где кому по способностям быть следует».

Я знаю, что в последнее время развелось много неблагонамеренных людей, которые утверждают, будто бы не предстоит никакой надобности ни в штаб-офицерах, ни в прокурорах, ни даже... в начальниках края! Для управления обывателями, говорят они, достаточно одних законов! Конечно, если рассуждать с точки зрения теоретической, то нельзя не сознаться, что законы в своем роде тоже представляют величественное здание; но, с другой стороны, бывают случаи, когда они говорить не могут и когда личное искусное вмешательство одно может предотвратить величайшие бедствия. В особенности удобно и необременительно сие средство в делах свойства, так сказать, домашнего (ибо в нашем любезном отечестве еще встречаются дела сего свойства). Приходит, например, ко мне жена и жалуется, что муж ее поступает с ней не как супруг, а как человек посторонний. Что сделал бы закон? Закон, во-первых, сказал бы: «Сударыня, докажите!» Во-вторых, если бы и последовало доказательство, то закон отвечал бы: «Это, сударыня, не мое дело!» Напротив того, что сделаю я? Во-первых, я призову мужа и скажу ему: «Как же тебе, любезный, не стыдно! посмотри, какая у тебя жена хорошенькая!» Во-вторых, если он этим не убедится, я пригрожу ему законом: «Да, скажу, любезный! у нас на этот счет и закон есть!» А так как он законов не знает, то и убедится наверное. Смотришь — ан дело-то и покончено к общему удовольствию! Другой пример: приходит ко мне работник и жалуется, что хозяин жалованья ему не платит. Натурально, я за хозяином: «Зачем ты,

любезный друг, денег не платишь?» Ну, он мне: так и так. От хозяина я опять к работнику: «Разве ты не можешь, любезный друг, подождать?» Смотришь — ан дело-то и покончено к общему удовольствию!

Но важнее всего то, что мы, россияне, от рождения нашего питаем к судам нелюбовь. Одаренные от природы воображением впечатлительным и характером живым, даже строптивым, мы требуем, чтоб дела решались немедленно, а желания наши удовлетворялись беспрепятственно. Что бы это такое было, если бы существовали одни суды и не существовало начальства? Страшно подумать, но предугадать не трудно. Во-первых, обыватели пришли бы в уныние; во-вторых, в делах произошел бы застой. Результат же всего этого — хаос, среди которого люди стремились бы не к тому, чтоб сделать себе одолжение, но к тому, чтоб поедать друг друга подобно тем прожорливым инфузориям, о которых упоминал огорченный генерал Голубчиков.

Повторяю, наш полковник вполне разделял эти убеждения. Он находил, что в особенности полезен надзор негласный, который благодетельствует, так сказать, в тишине уединения. В таком виде, по мнению его, он уподобляется провидению, всегда нам соприсутствующему. Обиженный не имеет основания унывать, ибо знает, что есть рука, которая защитит его и покарает злодея. При такой уверенности не может не житься легко, ибо жизнь, так сказать, сама выносит обывателя на крылах своих. В этом же, быть может, заключается и действительная причина того, что в государствах, где подобный контроль устроен, лица обывателей принимают вид откровенный и беззаботный, не говоря уже о том, как это приятно начальству.

Вообще, наш полковник чудный малый и слывет в губернии завидным женихом. Он очень мило изъясняется по-французски, а благородной изысканности его манер удивляются все помещики. Он несколько сухощав и вообще сложен, если позволено так выразиться, меланхолически; при этом строен и имеет черты лица не только выразительные, но даже язвительные. Правильности его носа еще не так давно удивлялась купеческая жена Барабошкина, а пристального взгляда его серых глаз не мог вынести сам губернский предводитель дворянства, когда его, по поводу ущерба какому-то казенному интересу, велено было келейным образом допросить. Но человек чистый и невинный мог смотреть ему в глаза смело и с уверенностью всегда встретить в них теплое участие. Ко всему этому (как бы в довершение общего очарования), он употребляет какие-то анафемские духи, которыми умащает себе усы и тело и от которых так и разит чем-то таинственным.

Кроме того, полковник не лишен и благородного честолюбия: он желает быть флигель-адъютантом. Однажды он был даже близок к цели своих прекрасных стремлений: это было по случаю экзекуции, происходившей в имении одного значительного лица. Надо сказать правду, полковник покрыл себя неувядаемою славой и даже повредил себе ногу, работая в пользу водворения общественного спокойствия,— следовательно, было за что наградить. В эту достославную эпоху вошедши однажды в кабинет его в ту минуту, как он умащал духами свое тело в соседней комнате, я увидел на письменном столе лист белой бумаги, испещренный надписями: флигель-адъютант полковник Стопашовский, флигель-адъютант полковник Стопашовский,— и тотчас же понял причину меланхолии, которая составляла отличительный характер его телосложения. Бедный! он и до сих пор не получил награды, которую стяжал ценою вывихнутой ноги!

Полковник человек холостой, но не прочь жениться. Если он до сих пор не принес себя в жертву гименею, то это произошло совсем не оттого, чтоб наших девиц не пленяла его обольстительная наружность, но оттого, что он желает сделать партию во всех отношениях блестящую. Ему мало того, что девица, на которую он обращает свои взоры, пышка, ему надо, чтоб и отец ее был пышка, то есть снабжен надлежащими капиталами. «Жена должна принести мужу деньги и протекцию»,— говорит он и, совершенно довольный собой, мечет жгучие взоры на сонмище тающих девиц.

Живет он просто, но мило, в доме той самой купчихи Барабошкиной, которая так восхищалась правильностью его носа. Говорят, будто бы он не платит за квартиру, но если это и правда, то, во всяком случае, он обделывает свои дела так скромно, что никто уличить его ни в чем не может. В какое бы время вы ни зашли к нему, всегда можете найти добрый привет, добрую сигару и добрый стакан вина.

Полковник очень приятный собеседник; он проницательный политик и умеренный, но глубокомысленный философ. Трудно поверить, но при всех своих многочисленных занятиях он находит время даже следить за течением планет и, руководствуясь Брюсовым календарем, охотно объясняет обычным своим собеседникам тайное их значение. Так, например, не далее как прошлой зимой он по течению планет очень верно предсказал, что в персидской стране произойдут козни тайных врагов, стремящихся огорчить любезное отечество, но что козни эти будут открыты некоторым царедворцем Олоферном, который и посрамит кознелейцев. Все точно так и сбылось: через две недели мы уже читали в газетах, что Олоферн поймал и обличил

злодеев, которые были посажены в мешок и ввержены в море. Есть у него и библиотека, составленная исключительно из книг, трактующих о разных видах любви к отечеству. По мнению его, только такие книги и могут услаждать душу государственного человека, да еще сочинения эротического содержания; но сии последние должны быть читаемы с умеренностью и втайне, дабы не породить соблазна в народе, который, по простодушию своему, может, чего доброго, принять преподанные там правила за руководство в жизни.

Одним словом, такие люди, как полковник, составляют истинное украшение городов, в которых поселяются; а так как в России нет губернского города, в котором не было бы подобного полковника, то и оказывается, что все они изукрашены в этом отношении преестественно.

Имея в виду впереди бал у губернатора и потом ночную пирушку у откупщика, я зашел к полковнику, чтоб отвести душу в умеренно-либерально-политико-философской беседе.

Я застал его за чтением нового обширного трактата о любви к отечеству; неподалеку, на случай отдохновения, валялся новый роман Поль де Кока.

Прежде всего мы, разумеется, разговорились о различных благодетельных реформах, ожидающих наше любезное отечество, потом о действии, которое они оказывают на обывателей. Оказалось, что это действие покамест ограничилось тем, что генерал Голубчиков сошел с ума в ожидании уничтожения откупов да председатель уголовной палаты запил мертвую в ожидании судебной реформы. Мы, разумеется, погоревали.

— Удивляться тут нечему,— сказал мне полковник по поводу неприятного происшествия с генералом Голубчиковым,— такая весть может поразить и более крепкие организмы.

— Какой, однако, удар для всего семейства!

Полковник только махнул рукой, как бы говоря: погоди! то ли еще будет!

— Странно одно,— продолжал он,— как это Иван Николаич до сих пор не приготовился! Посмотрите на меня: я уж давным-давно ко всему готов!

— Что, разве получили что-нибудь?

— Не получил, но получу!

Полковник сказал это с таким дрожанием в голосе, что я не сомневался, что он получил нечто, но до поры до времени скрывает. Любопытство задело меня за живое.

— Вот вы говорите, что генерал не приготовился,— сказал я, желая увлечь его в откровенную беседу,— да помилуйте, как же тут и приготовиться-то! Ведь он еще нынче утром получил радостное для себя известие!

— И все-таки надо было приготовиться!

— Да как же это, однако ж?

— Поверьте мне, что ничего нет легче. Нужно только соображение и христианское смирение! — возразил полковник и, немного помолчав, прибавил: — Да, главное все-таки христианское смирение, как там кто ни говори! — Полковник, который курил в это время трубку, стал дуть в нее с такою силой, что искры целым облаком посыпались на ковер.— Я был сегодня у обедни и молился,— продолжал он таинственным голосом,— только, когда пропели херувимскую, я вдруг почувствовал, как будто что-то кольнуло меня в самое сердце... Я, знаете, впал в забвение, стою и молюсь, стою и молюсь... Ах, что я видел в эту сладкую минуту! ах, что я видел! Скажу одно: с этого мгновения бремя жизни скатилось с души моей! с этого мгновения я... готов!

«Черт возьми! а ведь дело плохо, коль скоро полковнику видения являются!» —подумал я, невольно припомнив катастрофу, приключившуюся с генералом Голубчиковым.

— И представьте себе, друг мой, едва я возвратился из церкви, как мне подают письмо от одного петербургского приятеля: он у нас в штабе по секретной части служит... Не угодно ли полюбоваться!

Он подал мне дрожащей рукою письмо, в котором я прочитал следующее:

«Мы провалились, любезный друг Simon, и ты можешь укладывать свои чемоданы, не опасаясь на этот раз быть введенным в ошибку. На днях все покончено: нас не будет! Мы должны перестать существовать, превратиться в дым — мы и дела наши! Первою мыслью моею было, разумеется, подумать о тебе, и знаешь ли, что я придумал? На днях наши финансисты скомпоновали какой-то невинный проект по винной части: не удрать ли нам с тобой штуку, пристроившись по части хересов и розничной продажи сивухи? Говорят, такой состряпали проектец, что пальчики оближешь; следовательно, надежда есть. А я, к тому же, коротко знаком с самим его сивушеством князем Целовальниковым, следовательно, и тут надежда есть! Вспомни, дружище, стишки: «Надежда, кроткая посланница небес»... и еще: «надежда утешает царя на троне» — дальше, хоть убей, не помню — и валяй в Питер! А не то и еще имеется в виду убежище: поговаривают, что учреждается серьезный надзор над пристанищами праздности и разврата и что по этому случаю также потребуется много деятелей. Что ж, можно махнуть и по части клубнички! Конечно, деятельность не очень почетная, но наш брат опричник за

толчком не погонится: видали виды! Со мной, дружище, даже на днях случилось происшествие в этом роде. Послали меня за одним фигурантом — ну, я, разумеется, разлетелся, однако обращаюсь к нему учтивым образом: пожалуйте, говорю, так и так: наша прискорбная и даже, можно сказать, гадкая обязанность — ну, одним словом, все, что в подобных оказиях говорится.— А кто, говорит, вам велел брать на себя такую обязанность, которую вы сами называете гадкою? Да как хлопнет меня по щеке! Однако я не растерялся.— Вы огорчены, милостивый государь, говорю ему.— Да, говорит, огорчен... да как хлопнет в другой раз! Веришь ли, друг, ведь я выдержал — истинным богом! Только и сказал ему, что в другое время я, конечно, вызвал бы его на дуэль, но теперь и так далее, одним словом, все, что в таких обстоятельствах говорится. И за все это, за все такие, можно сказать, рылопожертвования — вдруг абшид! [1] Но надежда еще блистает: не там, так тут исполнять священные обязанности долга везде сладостно!

Ожидающий тебя с нетерпением

Никифор Малявка».

— Однако вам еще не изменила надежда! — сказал я, прочитавши письмо.

— Не изменила-то не изменила, а все-таки больно.

Полковник размахнулся и ударил чубуком об стену.

— Больно, Николай Иваныч! Больно в особенности с точки зрения благородного человека! — сказал он, останавливаясь предо мною,— поймите, ведь наша служба была самая благородная! Ведь мы были почти... масоны!

— Ссс...

— Да, масоны! Это я берусь доказать, хоть и знаю, что в нашем отечестве масоны не допускаются. Но мы масоны очищенные, мы масоны, у которых, кроме любви к отечеству, ничего в предмете не осталось!

— Да скажите мне, ради бога, полковник: что такое были эти масоны?

— Масоны были и будут существовать, покуда стоит мир; масоны — это просто благонамеренные люди, из которых некоторые заблуждаются, а некоторые не заблуждаются!

— Гм... это, конечно... всякой вещи бывает в мире по два сорта...

— Заблуждающиеся масоны имели между собой разные

---

[1] отставка!

таинственные знаки, без дозволения начальства называли друг друга вымышленными именами: Никифора Петром, Петра Степаном, и тому подобное... Согласитесь, что в государстве этого допустить невозможно!

— Да, оно конечно... как-то подозрительно.

— Ну, и вся эта принадлежность перешла от масонов к нам. Мы те же масоны, но масоны, так сказать, от правительства!

— Если я вас понял, любезный полковник, то, стало быть, цель этих масонов заключается в том, чтоб покровительствовать несчастным.

— Совершенно так. Видишь, например, утопающего, ну, подойдешь, подашь ему руку — и он опять пошел себе жить да поживать. Или, например, обыграли вас в карты; вы приходите, объясняете... Я с своей стороны призываю лицо, воспользовавшееся вашею доверчивостью, и говорю ему: «Отдай деньги, потому что иначе тебе может быть худо!»

— Знаете ли что, полковник? Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что такого рода учреждение — истинное благодеяние для человечества. Тихо, смирно, миролюбиво, без разговоров — сколько тут одного сокращения переписки!

— Да еще то ли мы делывали! ведь на нас, можно сказать, лежало благоденствие и спокойствие целого отечества — поймите это! Ведь, можно сказать, ни одной мысли в голове не зарождалось без того, чтоб эта мысль не была нам предварительно известна... Ведь это целый роман!

— На вашем месте, полковник, я непременно писал бы свои мемуары.

— Я думал об этом.

Полковник задумался и улыбнулся. Видно было, что над мыслями его пролетали воспоминания и что воспоминания эти улыбались ему.

— Да, были дела! — сказал он, щипля свой надушенный ус,— были дела!

Я знал отчасти эти дела. То были дела чудодейственной ловкости, то были дела ночных розысков и таинственных похищений. Полковник целую жизнь все ловил и хватал и, наконец, доловился и дохватался до настоящего скорбного положения. Согласитесь, что это сразит хоть кого.

— Не то больно,— сказал он,— что жалованья там какого-нибудь на время лишусь, то больно, что практики-то этой не будет!

— Да, привычка — великое дело!

— Грудью, вот этою самою грудью жертвовал! И что ж в результате? — абшид!

Полковник, видимо, впадал в лиризм, потому что колотил себя в грудь самым неестественным образом.

— Что мне нужно? — декламировал он, став в позицию, как это обыкновенно делают благородные, но огорченные люди,— что мне нужно? Добрую сигару и стакан доброго вина!

Добрую сигару я отдам приятелю; стакан вина разделю с ним же!

Теперь у меня нет ни того, ни другого! Последнюю сигару я выкурил вчера, последний стакан вина выпил каналья денщик сегодня, в то время, как я молился богу!

Новых я купить не в состоянии. Я не знаю даже, буду ли в состоянии сшить себе новые сапоги!

Это горько! это неблагодарно!

— Яшка! — прибавил он совершенно неожиданно, кликая денщика,— ступай, подлец, к Барабошкиной и спроси, не осталось ли у ней хоть одной бутылки моего любимого вина?

Последний возглас оживил меня несколько. Нет ничего несноснее, как присутствовать при посторонней горести. Конечно, эта горесть не могла назваться и для меня совсем постороннею: ибо и я, наравне с другими, мог погибнуть в стремнине политического переворота; но все-таки я страшных писем еще не получал, следовательно, гибель моя представлялась еще отдаленною, и мысль о ней не портила еще моего аппетита в такой степени, в какой портила аппетит других моих сотрудников по вертограду администрации. Одним словом, от этих унылых стонов мною начинало уже овладевать нетерпение, и я имел основание думать, что появление бутылки вина хоть несколько изменит направление разговора.

— Тут была целая система,— приставал между тем полковник,— система, могу сказать, строго соображенная во всех своих частях и подробностях. Мы связаны между собой вот как!

Полковник соединил обе руки и просунул пальцы одной из них между пальцев другой.

— Спрашиваю я вас теперь, можно ли оставаться без системы? — добивался он.

— Знаете ли что? — отвечал я, как бы озаренный свыше вдохновением,— ведь я думаю, что без системы оставаться решительно никак невозможно!

— Стало быть, можно, коли оно так есть: взгляните и судите! — иронически заметил он.

Такого рода разговоры обыкновенно продолжаются до бесконечности. Источником им служат раны человеческого сердца, а раны эти, как известно, сочатся до тех пор, покуда не иссочат из себя всего гноя обид и оскорблений, в них накопив-

шихся. Наш разговор был прерван появлением подлеца Яшки, который доложил, что купчиха Барабошкина с дерзостью отозвалась, что у нее никакой бутылки вина для полковника нет и не было.

— Вот видите! даже Барабошкина — и та отвечает! — сказал мой амфитрион, окончательно сраженный,— подлая! пронюхала, должно быть!

Полковник неистово зашагал по комнате.

— Любопытно! любопытно это будет, как-то они без нас обойдутся! Поверите ли, Николай Иваныч, когда мне в первый раз сказали, что нас не будет,— я думал, что это насмешка, я даже недалек был от мысли, что насмешка эта прямо относится к высшему начальству...

— Да, оно похоже на то.

— Нет-с, это была не насмешка. Намедни ж приезжаю я в Москву, являюсь к своему старику, и первое слово, которое от него слышу: А мы, брат, с тобой в трубу вылетели! — Кто же теперь следить будет? — спрашиваю я его,— кто доносить будет, ваше превосходительство? — И знаете, стою эдак перед ним, весь вне себя от изумления. Только что ж бы, вы думали, он мне в ответ? — Я, братец, говорит, в пенсию все свое содержание получаю, так мне до этого дела нет!!! — Так-то вот, ни в ком, просто ни в ком сочувствия нет.

— Скажите на милость!

— А намедни вот у Пеструшкиных на бале, мальчишка Шалимовский, гимназист, подходит ко мне, мерзавец, и говорит: «А вы, говорит, знаете, Семен Михайлыч, что вас уничтожают?» Спрашиваю я вас, каково мне эти плюхи-то есть?

— Даже мальчишки, и те!

— Да в мальчишках-то и сила вся! Откровенно скажу, что если бы не мальчишки, мы и до сих пор благоденствовали бы! Это они своим тявканьем, это от них все загорелось. Господи! жили-жили, и вдруг напасть!

— Да и старики-то, Семен Михайлыч, хороши!

— И мальчишки, и старики, и Барабошка, и весь мир заодно!

— Однако ж ведь вам недавно мундир переменили: по-видимому, это должно бы поощрить!

— Да, и переменили, и поощрили! Ну да, и переменили, и поощрили! Что ж, и поощрили!

— Как же это, однако?

— Вот видите, Николай Иваныч, я целый месяц об этом знаю... Вы понимаете, что у меня должно *тут* происходить? — Он указал на грудь.— Все это время я думал... все думал...

— И что же?

— Я просто пришел к заключению, что все это не более как страшный сон!

— Тсс...

— Да, это страшный сон, потому что этого не может быть!

— Однако вы имеете письма?

— Имею действительно, но в то же время питаю уверенность... что мы возродимся!

— То есть как же это?.. Вы думаете, значит, что вам опять дадут новый мундир?

— Да нет, не то, не в мундире тут сила: дух времени не таков! Но что мы возродимся — это верно. Потому ненатурально! Опять-таки спрашиваю я вас, возможно ли существовать без системы?

— Нет, я положительно убежден, что без системы и одного дня пробыть невозможно.

— Ну, а какого же тут черта систему выдумаешь! Следовательно, мы возродимся: в мундирах ли, без мундиров ли, но мы возродимся — это верно! Конечно, сначала все это будет как будто под пеплом, а потом оно потеплится-потеплится, да и воспрянет настоящим манером!

— Да вы-то? вы-то? что с вами будет?

— Что обо мне говорить! Я... я могу найти для себя убежище в одном из новых учреждений, о котором пишет Малявка... Но это все равно! Главное все-таки в том, что мы возродимся!

Полковник был велик: я понял это и позавидовал ему. Мне думалось о том, как сладко и велико должно быть гражданское чувство, в силу которого человек забывает о себе, чтоб всем существом своим устремиться к одному предмету — любезному отечеству!

Мы расстались утешенные и облегченные. Всю дорогу я твердил себе:

— Мы возродимся, ибо без системы существовать нельзя!

IV

НА БАЛЕ

В бывалые времена, когда губернаторша желала повеселить себя и своих demoiselles [1], то просто говорила губернатору:

— Губернатор! что ж ты не прикажешь откупщику бал дать?

---

[1] барышень.

— Можно! — ответствовал обыкновенно губернатор и тотчас же посылал за откупщиком.

— Бал? — вопрошал губернатор.

— Можно-с,— ответствовал откупщик.

И дело устроивалось легко, просто и умилительно. Губернатор оставался доволен, что он дал возможность откупщику повеселиться; откупщик оставался доволен, что он хотя на несколько часов мог послужить в некотором смысле административным орудием для соединения общества.

Наш глуповский губернатор не дальнозорок (употребляю это слово не в обидном для этого сановника смысле, но просто желая выразить, что он близорук). Помещики знают это и говорят: «это ничего»; чиновники знают это и говорят: «это ничего»; наконец, местные либералы знают это и говорят: «это ничего». Для всех «ничего» — стало быть, очень хорошо.

С своей стороны скажу: это хорошо именно потому, что это «ничего». Горе тому граду, в котором «князь» юн, усерден по службе и не чужд разговоров о самоуправлении. «Князь» может забрать себе в голову, что он благонамереннейший и образованнейший человек, и черт знает чего наделает! Почнет купцов за бороды трясти, а помещикам реприманды делать, почнет женские гимназии устроять, почнет заботиться о распространении обществ трезвости... одним словом, учредит нечто вроде временного землетрясения.

Наш начальник края принадлежит к так называемой старой школе. Он управляет с прохладою, любит поесть, попить и поврать с барынями, о самоуправлении же не имеет никакого понятия. Зато чиновники боготворят его, зато помещики беспрестанно зовут его к себе откушать, зато откупщик устрояет в честь его обжорные торжества и говорит на них благодарственные спичи, в которых сравнивает его с Минервою; зато землетрясения ни временного, ни постоянного у нас нет и не бывало. Зато он приехал к нам на губернию худенький и мизерненький (словно кошка, у которой от голода шерсть вылезла), а в два года отъелся так, что сделался совершенной кубышечкой, и только последние моральные потрясения возвратили его к первоначальной худобе и мизерности.

На днях как-то губернаторша, по старой привычке, обратилась к мужу с обычным вопросом относительно устройства какого-либо увеселения.

— Губернатор! — сказала она,— ты забываешь, душа моя, что откупщик уж третий месяц ничего не делает!

— Мож...— отвечал было губернатор, но потом спохватился и, махнув рукою, прибавил очень решительно: — Нельзя!

— C'est inconcevable! [1] — сказала губернаторша.

— Чего тут «inconcevable»! — запальчиво возразил губернатор,— ты знаешь ли, сударыня, что за нами с тобой нынче тысячи глаз наблюдают?

В это время маленький Володя (сынок их превосходительств) навел на maman свое зеркальце (на детском языке это называется «устроить зайчика»), и отражение света на минуту ослепило глаза ее. Губернаторша подумала, что это смотрят те самые тысячи глаз, о которых только что упомянул губернатор.

— Во всяком случае, хоть нам самим, да следует что-нибудь устроить! — сказала она,— ведь это невозможно! Aglaé и Cléopâtre (pauvres petites! [2]) совсем никаких развлечений не имеют!

— Я сам об этом... да! надо положить конец этим распрям, надо соединить обе партии! — пробормотал губернатор, как бы обдумывая нечто грандиозное.

— Ну, вот и прекрасно! Кстати же мы так давно не доставляли никаких удовольствий обществу!

Слово «партия» не ново в провинции, но значение его на наших уже глазах совершенно изменилось. В прежние времена у нас обыкновенно свирепствовали две партии: старого предводителя дворянства и нового предводителя дворянства. Обе партии исключительно занимались тем, что объедали и опивали своих патронов и бушевали на выборах, кладя им шары направо, поднося им шары на блюде и вообще оказывая самые разнообразные знаки верноподданнической преданности. Тут борьба не имела никакого политического оттенка, тут дело шло единственно о том, кто кого перекормит. И, господи! что за обеды проистекали из этого благородного соревнования! Петр Петрович шесть недель спаивает с круга какого-то благорожденного теленка, холит и ублажает некоторую необычайную свинью; белые как снег поросята визжат и мятутся от желудочных болей, следствия неслыханного обжорства... Партия Петра Петровича притаила дыхание, взирая на эти приготовления, и заботится только о том, чтоб Иван Яковлевич как-нибудь не прознал об них и не успел отразить удар чем-нибудь в том же роде. Но Иван Яковлевич тоже не промах; с помощью преданных ему клевретов он зорко следит за своим противником, и в то время, как тот торжествует мысленно победу, он наносит ему удар в самое сердце, посылая в

---

[1] Это непостижимо!
[2] бедные малютки!

Москву за такою провизней, о которой мудрецам глуповским и во сне не снилось.

— Фазанов! фазанов! фазанов! — кричит он восторженно и от нетерпения даже подпрыгивает.

И вот через какой-нибудь день после обеда у Петра Петровича, где гости до оглупения объедались неслыханными колбасами и чудодейственною телятиной, устраивается обед у Ивана Яковлевича, где гостям предлагают фазанов и тончайшее вино в бутылках с золотыми ярлыками... Чудное время! где ты?

Мы, предержащие власти, а также те из благоразумных людей, которые находили для себя выгодным равно уважать и Петра Петровича, и Ивана Яковлевича,— мы с одинаковым рвением ели и у того и у другого. Мы ели и радовались, что в отечестве нашем процветает гостеприимство, что в отечестве нашем откармливаются неслыханные свиньи и что это не мешает фазанам населять отечественные леса. Души наши ничем не возмущались, ибо мы были сыты; сердца наши стучали в груди ровно, ибо мы были пьяны: понятно, какое благотворное влияние оказывало это обстоятельство на дела.

Увы! партии остались, но это партии, так сказать, голодные Нынче не едят и не пьют, но разговаривают. Порою кажется, что мир должен потонуть в потоке словес, стонов и восклицаний. Завелись ретрограды, завелись либералы красные, либералы умеренные, завелись даже такие люди, которые соглашаются и с одними, и с другими, и с третьими и надеются пройти как-нибудь посередке (не потомки ли это доблестных мужей, которые во времена оны обедывали и у Петра Петровича, и у Ивана Яковлевича?). И странное дело! прежние люди партий, встречаясь в обществе, все-таки подавали друг другу руки и даже взаимно друг у друга обедывали; нынешние же не только взаимно не угощаются (и самим-то, видно, перекусить нечего!), но даже выказывают друг другу совершенное презрение, выражая оное шлепками, пощечинами и плеванием в глаза... Вот как ожесточилось человечество в какие-нибудь два года!

У нас в настоящее время две партии: ретрограды и либералы (разумеется, умеренные). Представителем первых служит Сидор Петрович (сын Петра Петровича), представителем последних — Эмманюель Иваныч (сын Ивана Яковлевича). Чего хотят ретрограды, чего добиваются либералы — понять очень трудно. С одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляют оппозицию, с другой стороны, либералы являются ретроградами, ибо говорят и действуют так, как бы состояли на жалованье. Повторяю: понять очень трудно. Если

же захотеть объяснить, какой смысл имеет у нас слово «оппозиция», то наверное въедешь в такой дремучий лес, из которого потом и дороги не найдешь. Скажу одно: если гнаться за определениями, то первую партию всего приличнее было бы назвать ретроградною либералией, а вторую — либеральною ретроградией.

Наш начальник края искренно сокрушался, взирая на все эти раздоры.

— Ах, mon cher [1],— не раз говаривал он мне,— мне хотелось бы, чтоб все это было полегче да потише...

Желание вполне законное. По мнению его, благосостояние губернии было нарушено, ибо благосостояние это тогда только возможно, когда помещики совершенно довольны. Сколько положил он труда, чтоб умирить враждующие стороны! Сколько истинно своднических способностей выказал он, перебегая из одного лагеря в другой и успевая пошептаться à parte [2] со всяким из враждующих членов! И все вотще! Члены, вместо исполнения его желания, показывали ему языки (да, нынче и это делается!) и даже с дерзостью замечали, что он суется не в свое дело. Бал представлялся последним, крайним средством для сближения врагов.

— Если и после того я не успею,— сказал начальник края,— тогда...

Он хотел сказать: «тогда выйду в отставку», но запнулся и подумал: «тогда... я останусь на службе по-прежнему!»

Когда мы приехали, бал был в полном разгаре. Волнующееся море танцующих пестрело самыми яркими и разнообразными цветами; дамы грациозно колыхались; кавалеры, большею частью из правоведов, нашептывали любезности и выделывали такие па, которые положительно доказывали, что они с честью выдержали весь курс петербургских шпицбалов. В одном углу интересная блондинка млела под звуки речей местного льва, Свербиллы-Замбржицкого, который рассказывал, что вчера проиграл в стуколку последние пять целковых, что сегодня утром он успел изобличить во взятке своего надсмотрщика и что однажды в Петербурге в него влюбилось разом пять княгинь. В другом углу очень бойкая брюнетка спрашивала своего кавалера: «Что вы зеваете?» Танцующих обступила густая толпа праздных зрителей, которых довольные лица, казалось, говорили:

— Эге! да ведь это всё наши!

Хорошая вещь бал, господа, но в особенности хорош бал

---

[1] дорогой мой.
[2] отдельно.

в провинции. Он хорош тем, что служит как бы продолжением наших домашних дел, что никто из нас не переделывает себя по этому случаю, что все мы находимся как бы в семейном кружке своем. В этой непринужденности отношений есть своя особенная, неисчерпаемая прелесть. Хотя мы знаем друг друга наизусть, хотя все эти женщины с благоухающими плечами и цветущими улыбками суть, если позволено так выразиться, наши «общие жены», хотя я, например, совершенно достоверно знаю, в каком месте и какого вида находится родимое пятнышко у Варвары Соломоновны, но это не мешает нам видеть друг друга каждый раз все с новым и новым наслаждением. Причина такого явления, я полагаю, заключается в том, во-первых, что мы сами очень уж милы, а во-вторых, в том, что нам не нужно много затрудняться и насиловать воображение, чтоб найти предмет для разговора. Предметы эти общи нам всем в равной степени, и хотя мало разнообразны, но зато прямо вытекают из нашего существования и потому затрогивают нас гораздо сильнее, нежели какой-нибудь вымученный разговор о преимуществе Тамберлика перед Кальцоляри. Те, которые распространяют мнение о чопорности провинциальных балов, те или клевещут на провинцию, или не знают сами, о чем говорят и пишут. Да, они не видали тех подмигиваний и улыбок, которые пересылаются от одного конца залы в другой, они не слыхали тех веселых покрякиваний, которыми сосед соседу выражает свою мысль. Что же касается до того, что на провинциальных балах царствует чинопочитание, то это и не может быть иначе: чинопочитание существует в природе, а потому нет резона не быть ему и на балах.

В самых дверях зала я встретился с Сидором Петровичем и с первого же взгляда убедился, что предприятие нашего почтенного начальника края совершенно не удалось.

— Скажите, пожалуйста, что это с вашим префектом сделалось? совсем, что ли, он голову потерял? — обратился ко мне этот ретроград.

Сидор Петрович в шутку называл всех вообще губернаторов «префектами», ибо стоял за self-government [1], а централизацию признавал вредным порождением наплыва французских демократических идей. С другой стороны, Эммануэль Иваныч называл всех губернаторов «пашами», потому что был сторонником самой строгой административной централизации и находил, что наше губернское учреждение есть горький плод нашей древней азиятской распущенности.

— Разве что-нибудь случилось? — спросил я.

---

[1] самоуправление.

— Чего «случилось»! Он, кажется, вознамерился нынче потешать публику увеселительным представлением! Вообразите: ведь он выдумал сводить меня с нашим доморощенным Лафайетом... да ведь так и толкает, так и толкает! А тут ему сдуру Лампадников взялся помогать: тот Лафайета на меня толкает — чуть было носы нам не разбили! Изволите видеть, это у них называется примирять враждующие стороны!

— Вероятно, однако ж, его превосходительство имел при этом в виду какую-нибудь благонамеренную цель...

— Да черт его дери с его благонамеренными целями! да какое нам дело до его дурацких целей!

— Однако ж согласитесь сами, Сидор Петрович, его превосходительство, как начальник края...

— Нет, да вы представьте себе: ведь так и толкает! так и толкает! «Позвольте, господин префект,— говорю я ему,— разве в ваших instructions[1] написано, чтоб толкаться? Да вы за маленького, что ли, или за вашего adjoint или substitut[2] меня принимаете?» Так ведь нет, не унялся: щекотит у меня под мышками, да и полно! Насилу ведь освободился!

— Ах, как это неприятно! Куда ж вы теперь?

— Домой, батюшка, домой, и с этой минуты на все эти bals de la préfecture[3] ни шагу! Нет, да каков, однако? Щекотаться выдумал!

— Послушайте, Сидор Петрович, ваш отъезд может глубоко огорчить начальника края... Конечно, я советовать вам не смею, но с своей стороны, полагал бы, что благоразумное снисхождение и, так сказать, покорность воле начальства...

Но я не успел кончить, потому что Сидор Петрович как-то странно обозрел меня с ног до головы и тотчас же начал спускаться по лестнице. «Эге! — подумал я,— да какой же ты ретроград! Ты, брат, либерал, да еще какой — в нос бросится!»

Между тем в кабинете его превосходительства разыгрывалась другая история. Начальник края стоял посреди комнаты совершенно растрепанный и застенчиво выслушивал заносчивые речи Эмманюеля Иваныча. Гости сжались и приталились; некоторые изъявили явное намерение улизнуть, другие попрятались к стороне, но ни один не пикнул. Среди этой всеобщей тишины привольно было раздаваться громкому голосу нашего либерала.

— Вы обязаны были, государь мой,— кричал он,— предварительно осведомиться, приятно ли будет *мне... да, мне!* а не

---

[1] инструкциях.
[2] помощника или заместителя.
[3] балы в префектуре.

подмигивать какому-нибудь башибузуку Лампадникову толкаться!

— Эмманюель Иваныч! поверьте, я никак не думал, чтоб вы так горячо приняли такое действие, которое, в сущности, заключало в себе лишь желание примирить двух благонамеренных сограждан и...

— Я, государь мой, ни с кем не ссорился! Я имею свои политические убеждения, а Сидор Петрович — свои! Мы можем оспаривать друг друга, мы можем даже враждовать, но толкать себя никому не позволим! Jeu de mains — jeu de vilains; [1] время пашей прошло безвозвратно, государь мой! Вы должны бы более других помнить и понимать, что мы живем в цивилизованном государстве, которое некогда имело во главе своей блаженной памяти государя императора Петра Великого и которое мы имеем честь и счастье называть своим отечеством!

— Но поверьте...

— Извините, мне здесь не место!

Сказав эти слова, Эмманюель Иваныч вышел, гордо потрясая головой. Зрители мгновенно вышли из оцепенения и зажужжали, как шмели в рою. Все до одного выражали непритворное соболезнование о нашем добром начальнике, который за свое усердие и благонамеренность вознагражден столь пакостным образом. Но начальник стоял бледный, приложив палец к носу, и как бы в забытьи повторял:

— Стало быть, толкаться нельзя... славно!

— Мое почтение, ваше превосходительство! — сказал я, подходя к нему.

— Здравствуйте! Вы слышали, что он говорил?

— Отчасти, ваше превосходительство; я пришел уж на самом кончике...

— Да, у него отличный дар слова! я всегда это утверждал и теперь утверждаю! Тот... Сидор... тот ничего! Поболтал-поболтал руками — и дело с концом! А этот... орел!

Я смутился; я уже надеялся, что во второй раз буду свидетелем умственного расстройства.

— Он говорит, что толкаться не следует — это так! — продолжал между тем начальник края,— но разве я толкался? Я просто хотел их свести... я просто желал, чтоб общество наше не помрачалось...

— Несомненно, что цель вашего превосходительства была самая благонамеренная...

— Не правда ли? Ведь я имел не только право, но и обязанность так поступить? Ведь мое назначение какое? Мое на-

---

[1] Руки в ход пускают только плебеи.

значение быть миротворцем, мое назначение улаживать, соединять, предотвращать... а он говорит, что я толкаюсь!

Но хотя мы все хором спешили подтвердить, что сводить людей еще не значит толкаться, гармония была уже нарушена. Губернатор повесил нос, губернаторша бросала окрест беспокойные взоры, губернаторские demoiselles, танцуя, болтали руками, что случалось с ними лишь тогда, когда их волновали политические соображения.

— Я бы этого старого Манюшку (презрительное от «Эммануэль») за ноги повесил! Просто всю картину испакостил, подлец! — шепнул мне на ухо тот самый Лампадников, который помогал начальнику края примирять враждующие стороны.

— Я просто не знаю, что делать! — нашептывал мне с другой стороны начальник края,— управление губернией сделалось решительно невозможным!

— Я полагаю, ваше превосходительство...

— Вот вы увидите, что они на предстоящих выборах наделают!

— Я полагаю, ваше превосходительство, что относительно этих обывателей надлежит быть строже! — осмелился заметить я, возмущенный всем мною виденным и слышанным, — необходимо, чтоб они всегда чувствовали руку над собой...

— Нельзя, mon cher! — отвечал он мне решительно, — зайдите ко мне завтра утром, и я объясню вам подробно, où nous en sommes! [1]

— N'est-ce pas quel esclandre? — обратилась ко мне губернаторша,— ces vieux grigous qui se donnent des airs! [2]

— Ах, матушка! — прервал ее губернатор.

— Да помилуй, Nicolas!

— Ах, матушка! — вновь настаивал губернатор.

— Папасецка! ты, навейное, этих гьюбиянов в тюйму посадишь? — сказала старшая губернаторская demoiselle, подлетевшая к нам в эту минуту и имевшая обыкновение при посторонних картавить, как маленький ребенок.

— Ах, матушка! — опять возразил губернатор.

Губернаторша и ее demoiselle спешили удалиться, потому что по опыту знали, что когда губернатор начнет говорить: «Ах, матушка!», то из него уж ничего, кроме этих слов, и не выбьешь. В этом отношении он несколько походил на попугая; бывало, вдруг нападет на него стих говорить: «Нельзя-с» — ну, целый день и говорит «нельзя-с»; в другой раз вздумает гово-

---

[1] до чего мы дошли!

[2] Не правда ли, какой скандал? — жалкие старики задирают нос!

рить: «Закона нет» — так и пойдет на целый день «нет закона». До такой степени зарапортуется, что даже когда докладывают, что кушанье подано, он все-таки кричит: «Нет закона!»

— Ах, Nicolas, какой ты рассеянный! — заметит, бывало, губернаторша.

— Ах, матушка! — возразит губернатор и с этой минуты вместо «нет закона» почнет пилить: «Ах, матушка!»

Надо сознаться, что с непривычки это крайне затрудняет сношения с нашим начальником края, а незнакомых с его обычаями повергает даже в крайнее изумление. Я помню, один эстляндский барон, приехавший из-за двести верст жаловаться, что у него из грунтового сарая две вишни украли, даже страшно оскорбился, когда начальник губернии, вместо всякой резолюции, сказал ему: «Ах, матушка!» — и чуть ли даже не хотел довести об этом до сведения высшего начальства.

— На что это похоже! — сказывал он мне, — у него ищут правосудия, а он: «Ах, матушка!»

Но когда присмотришься к людям, когда поймешь, что все это от незлобивости происходит, тогда все сделается ясно, и в сношениях никакой помехи происходить не будет.

Вдруг по зале пронесся зловещий шепот. Пьер Уколкин, цвет и надежда нашей молодежи, весь взволнованный, переходил от одного гостя к другому и таинственно передавал какую-то новость. «Телеграфическая депеша! телеграфическая депеша!» — слышалось всюду, и внезапно, вопреки всем приличиям, по углам образовались кружки, так что губернаторское семейство осталось совершенно одиноким посредине залы.

— Да что там такое? — спросил меня губернатор, встревоженный горьким предчувствием.

Губернаторша озиралась во все стороны, губернаторские demoiselles с изумлением смотрели на мать, как бы говоря: maman! maman! да что ж мы не танцуем!

— Господа! ваше поведение крайне изумляет его превосходительство, — сказал я, подходя к той группе, в которой ораторствовал Пьер Уколкин.

— Шт... le gouverneur est flambé! [1] — отвечал Уколкин.

Я не понял: я все еще думал, что речь идет об этой поганой истории между Сидором Петровичем и Эммануэлем Ивановичем, и поспешил выразить все мое изумление.

— Mais non, il ne s'agit pas de cela! — шепотом сказал мне Уколкин,— je vous dis que le gouverneur est flambé! [2]

---

[1] губернатор пал!

[2] Да нет же, дело не в этом! говорю вам: губернатор пал!

В глазах у меня завертелись зеленые кружки. С одной стороны: «бедный старик!» — с другой стороны: «черт возьми, нельзя ли как-нибудь мне на его место!» — все это странным образом перемешалось в моей голове. Во всяком случае, я был крайне смущен, ибо на мне лежала тяжкая обязанность предуведомить обо всем губернатора. К счастью, ее добровольно принял на себя Лампадников.

— Ваше превосходительство! — сказал он,— в древности знаменитейшие философы, будучи настигаемы ударами судьбы, венчали себя розами...

Кругом оратора мало-помалу образовалась толпа.

— Ваше превосходительство! от лица всего общества принимаю смелость выразить вам наше соболезнование! — вмешался Пьер Уколкин.

Губернатор все еще хлопал глазами.

— Vous n'êtes plus gouverneur! [1] — шепнул я ему на ухо.

Губернатор не изумился, не заплакал и не закричал. Он только инстинктивно расшаркался и сказал:

— Честь имею поздравить!

— Mais qu'est-ce que c'est donc cela? mais qu'est-ce qu'ils ont, Nicolas? [2] — приступала губернаторша.

— Честь имею поздравить! — повторил губернатор.

— Mais dites donc! mais dites donc! [3]

— Честь имею поздравить! — неизменно отзывался губернатор на все приставания.

Легко можно представить себе, в какое положение были поставлены присутствующие! Ясно, что танцы должны были прерваться, ясно, что ужин... При этой мысли волосы мои встали дыбом.

«Да ведь Лампадников говорит, что в древности философы венчались розами,— думал я,— стало быть...»

Но скоро сомнения мои рассеялись окончательно. Я собственными глазами увидел, как гости один за другим брались за шляпы и незаметно исчезали.

— Какая неблагодарность! — шептала губернаторша, не объясняя, однако ж, к кому относятся ее слова.

— Честь имею поздравить! — отозвался губернатор,— а впрочем... увенчаем себя розами, как говорит Лампадников! Эй, человек! шампанского!

Но зала была пуста.

---

[1] Вы больше не губернатор!
[2] Да что же это такое? да что у них такое, Николай?
[3] Да скажите же! да скажите же!

— Честь имею поздравить! — в последний раз уныло повторил начальник края.

«Кумир развенчанный все бог!» — не без иронии подумал я, надевая калоши,— однако поужинать так-таки и не удалось!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы не завтракаем, не обедаем и не ужинаем. Хотя я сам отчасти делаю то же самое, но порою, когда голод уже слишком настоятельно дает себя чувствовать, в голову мою невольно закрадывается сомнение, действительно ли мы правы, поступая столь самоубийственным образом?

Действительно ли нам угрожает опасность?

Действительно ли мир погибает под гнетом новых идей, утопает в разврате реформ и преобразований?

Действительно ли в воздухе пахнет фиалками, а не скотным двором?

Оглядываюсь кругом себя — и с удовольствием примечаю, что все обстоит благополучно. Те же попечения, та же ревнивая заботливость о благе обывателей, те же благонамеренные усилия, направленные к водворению между ними нравственности и смиренномудрия. Правда, что появилось множество неслыханных прежде промышленных обществ, но действия их ограничивались доселе только невыдачею дивиденда простодушным акционерам. Правда, что появилось множество разнообразнейших комиссий и комитетов, которые как будто намереваются перевернуть вверх дном вселенную, но действия их доселе даже и не ограничивались, а как-то лезли все вширь да вглубь да ввысь, так что вряд ли когда-нибудь и насладишься плодами их. Правда, что заварилась какая-то каша насчет трезвости, устности и гласности, но каша так и осталась кашею. Правда, что старики вымирают или кротко стушевываются, но молодые, которые взлезают на упраздненные места, отнюдь их не хуже. В них тот же запах, тот же вкус, та же закваска. Собственно, отечество нисколько от того не теряет.

Скажу более: отечество даже много выигрывает.

Мы, старики, смотрели на божий мир слишком простодушно; мы не строили систем, не добивались принципов; мы жили и действовали сплеча. Решаясь на что-либо, мы справлялись только о том, так ли было поступаемо в подобных случаях прежде; но почему поступалось именно так, а не иначе, почему Петр всегда оказывался правым, а Иван всегда виноватым, почему добродетель и смирение служат украшением

простолюдинов, а пороки и непокорливость, не украшая их, служат лишь к огорчению начальства — все эти вопросы, вся эта философия жизни ускользала от нас. Мы благодетельствовали единственно по доброте сердца, и если были у нас под руками рецепты на различные административные случаи, то это были рецепты, механически списанные из домашнего лечебника, без исследования причины целительности их свойств. Напротив того, молодое поколение успело привести все это в ясность, и там, где мы говорили: «Видно, так богу угодно»,— сумели доискаться до системы, а там, где мы говорили: «Сам черт не разберет»,— дорылись до принципов. Таким образом, хотя сущность осталась та же, что и прежде, но Иван уже знает, почему он должен оставаться виноватым, а простолюдины не оставлены в неведении насчет того, что именно должно считаться их украшением и что посрамлением. Ясно, что жизнь сделалась несравненно более приятною.

Конечно, наш милый полковник Стопашовский и грек Лампурдос справедливо выразились, что без системы нельзя, но они ошиблись, сказав, что именно в настоящее время мы живем без системы. Удостоверяю их, что никогда «система» не сказывалась столь настоятельно, как в настоящую минуту. Прежние системы были не что иное, как младенческий лепет перед теми, которые воздвигаются ныне. Легко выговорить: мы масоны! но не легко доказать это. Разумеется, нельзя отрицать, что в полковнике, как и во всех нас, было нечто масонское, но это было масонство, если позволено так выразиться, нелепое, носящее на себе признаки галиматьи. Спрашиваю полковника: имел ли он таинственные совещания насчет постепенного и неторопливого развития человечества с другими масонами-полковниками? Был ли составлен у них руководящий кодекс чернокнижия? Усматривали ли они связь явлений, чувствовали ли необходимость дисциплины, и не действовали ли единственно в силу личных ощущений? На все эти вопросы он сам, конечно, не дает иного ответа, кроме отрицательного: скажите же на милость, какая тут может быть система?

Я не говорю уже о том, что у каждого из нас, старых масонов, были правители канцелярий и секретари, которые также в своем роде были масонами; важнее всего то, что мы не имели понятия о том, что такое дисциплина, что такое корпорация. Мы думали, что всякий из нас может дуть в свою дудку, как ему угодно; мы свободно якшались с суетными и непосвященными; мы охотно прохаживались с ними по хересам, отнюдь не подозревая, что это общение приучает их смотреть на нас как на простых смертных и поселяет в них

вредную мысль о возможности кормить нас со временем подзатыльниками. Напротив того, истинный масон всегда живет особняком и сохраняет гордую неприступность; подобно идолу, он стоит где-нибудь в углу, одетый сумраком; жрецы (правители канцелярий) сметают с него пыль, а обыватели только кадят и славословят — и ничего более.

Истинные масоны только теперь нарождаются на Руси и, надо отдать им справедливость, понимают свое дело отлично. Несмотря на молодость и неопытность, они сразу постигли, что галиматья, взятая сама по себе, есть вещь отличная и что вся штука заключается в том, чтоб возвести ее в перл создания. Вот они и возводят; собирают воедино разрозненные клочки, сдабривают их принципом законности, подправляют и упрощают принципом формальности, освещают принципом неприступности и наконец скрепляют все это особою меркуриально-административною подболткою. Какое выходит из этого кушанье, про то знают обыватели. Что нового произошло? — Ничего.

Какие вторглись в нашу жизнь новые идеи? — Никакие.

Какие такие реформы гложут нас и заставляют ежечасно бледнеть? — Никакие.

Итак, галиматья осталась, но галиматья, возведенная в перл создания. Отчего же мы испугались, отчего потеряли аппетит, составлявший доселе лучшее украшение нашей жизни? Я вам скажу — отчего.

Несмотря на дряхлость и истощение сил, мы желаем жить. «Послужил бы, ей-богу, еще послужил бы!» — повторяем мы беспрерывно: до такой степени слова «жить» и «служить» сделались в понятиях наших синонимами. Привыкнув действовать всегда во имя личных ощущений, мы и на все происходящее в мире смотрим в силу этих же ощущений. Если бы мир разрушался, но нас это разрушение не коснулось,— мы не почувствовали бы его, мы не ощутили бы ни озлобления, ни негодования. Но худо то, что мир стоит, а мы разрушаемся. Это мы уже считаем дерзостью, и на все, что не валится кругом нас, смотрим как на посягателей, отнимающих наши лакомые куски. Отсюда стоны, раздирающие воздух, отсюда вопли о вторжении новых идей, угрожающих будто бы смертью старым порядкам.

История эта не новая. Всякий раз, как какой-нибудь Иван Петрович сходит с деятельного поприща и на смену его является Петр Иваныч, мы уже трясемся и надсаживаем себе грудь, крича, что послезавтра имеет быть революция. Кто нашептывает нам эту мысль, кто внушает нам такое обидное мнение о Петре Иваныче — мы и сами затруднились бы объ-

яснить это, но несомненно, что явление это повторяется без ошибки каждый раз, как на горизонте восходит новое светило. Нам и в голову не приходит, что светило это вовсе даже не светило, а просто-напросто новый милостивец, что ни сущность дел, ни течение их нимало от того не изменяются и что вся штука ограничивается тем, что на место Ивана Петровича, покровительствовавшего многочисленной династии Трифонычей, поступил Петр Иваныч, покровительствующий не менее многочисленной династии Сидорычей. А кто же и в какие времена мог уловить политические признаки, характеризующие эти две разновидности?

Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифонычей — вот, благодарение богу, все политические перевороты, возможные в нашем любезном отечестве. Если такая перетасовка королей и валетов может назваться революцией, то, конечно, нельзя не согласиться, что она совершается и на наших глазах. Пожалуй, можно сказать даже, что в настоящее время она совершается сугубо, потому что на место старых и простых Трифонычей поступили Трифонычи молодые, сугубые, махровые.

Но вопрос не в этом; вопрос в том, следует ли из этой перетасовки заключать, что на том месте, где ныне стоит любезное отечество, будет завтра дыра? Следует ли полагать, что те куски, которые нынче, по естественному ходу вещей, попадают нам в рот, с завтрашнего дня начнут попадать в рот Иванушкам? — Отнюдь! Напротив того, я даже уверен, что благодаря усугубленной деятельности нео-Трифонычей, у нас будет со временем не одно, а полтора отечества, и что в наши рты попадут даже те куски, которые, по всем правам, следовали бы Иванушкам...

Соображая все вышеизложенное, я нахожу, что мы имеем более причин радоваться, нежели унывать. Что нужды, что нас оттирают, а отчасти и умерщвляют? Подобно полковнику Стопашовскому, мы обязаны в этом случае позабыть о себе и иметь в виду одно отечество. Если оно довольно, если преемники наши не только не отступают от мудрой политики своих предков, но даже видимо оную совершенствуют — этого достаточно для успокоения уязвленных сердец наших!

Итак, забудем наши горести и станем жуировать жизнью в надежде, что доблестные потомки не посрамят имен и дел доблестных отцов своих. Благо тому, кто в этой сладкой уверенности может встретить тихий закат жизни своей! Благо тому, кто, взирая на резвящуюся юность, может без озлобления сказать: «Да, и я был молод! и я в свое время проказничал!»

ЛИТЕРАТОРЫ-ОБЫВАТЕЛИ

Пчелка златая!
Что ты жужжишь?
Все вкруг летая,
Прочь не летишь?

Конечно, вам случалось, читатель, пробегать в газетах и журналах последнего времени различные «голоса» из всевозможных концов России: и из Рязани, и из Елабуги, и из Астрахани, одним словом, отовсюду, где только слышится человеческое дыхание. Вы, вероятно, заметили также, что характер этих «голосов», «заметок», «впечатлений» и проч. совершенно не тот, каким отличались подобные же литературные произведения, еще столь недавно находившие себе убежище в «Московских ведомостях». В них уже не идет речи о том, что вчерашнего числа в городе N выпал град величиною с голубиное яйцо, но повествуется преимущественно о предметах, близко касающихся нашего умственного и гражданского развития, о граде же хотя иногда и упоминается, но вскользь, и единственно для того, чтоб заявить, что при единодушных усилиях местных полицейских властей и этот бич не мог бы иметь тех пагубных для земледельца последствий, с которыми он сопряжен в настоящее время. Не говорится в них даже и о том, что такого-то числа в городе Б., на бульваре, играла музыка белобородовского пехотного полка, а господа офицеры наслаждались благоприятною погодой и очаровывали дам своим благонравием; напротив того, если порою и встречается рассказ о каком-либо происшествии подобного рода, то музыка и самая погода являются здесь делом побочным; главные же усилия автора направлены к тому, чтоб заявить, что во время музыки произведен был скандал, причем прапорщик К*** ущипнул жену винного пристава («не сын ли это вышневолоцкого готтентота?» — спрашивает анонимный корреспондент).

Не знаю, как кого, а меня это явление очень радует. Как человек благонамеренный и современный, я с удовольствием

взираю, как любезное наше отечество полегоньку выворачивается наизнанку. И не то чтоб мне нравился собственно процесс этого выворачивания, но я искренно убежден, что только благодаря ему наша изнанка в непродолжительном времени перестанет быть скверною и дырявою, какою была до сих пор, и с помощью соединенных усилий калужских, рязанских и астраханских корреспондентов заменится, хотя неизящною, но зато несокрушимою подкладкою из арестантского холста.

И действительно, многие уже заявленные в этом смысле попытки самым отрадным образом убеждают меня, что если корни гласности горьки, то плоды ее отменно вкусны и сладки. Таким образом, например, следя за «голосами из Рязани», я с удовольствием вижу, что город этот решительными и быстрыми шагами изготовляется к совершенству. Там процветает женская гимназия; там открыты воскресные классы и публичная библиотека; там, в Зарайском уезде, благоденствовали общества трезвости, покуда известный публицист и либерал (по-русски: «свободный художник») Василий Александрович Кокорев (он же и местный откупщик) своими очаровательными манерами вновь не приковал мужичков к кабаку; там в недавнее время устроен бульвар в таком месте, где со времен Олега сваливался навоз («куда же мы теперича навоз валить будем?» — спрашивают друг друга смущенные обыватели — не литераторы); там имеет быть выстроен, стараниями откупщика, каменный театр, и носятся даже слухи об устройстве водопровода... Отдыхая сердцем на этих утешительных известиях, я живо представляю себе и обывателей города Рязани, спешащих принесть свою лепту на общественное устройство, и душку-откупщика, устремляющегося выстроить не питейный дом, как бывало прежде, а храм искусств, в котором будут приноситься посильные жертвы Талии и Мельпомене! И все это без малейшего подзатыльника, без самоничтожнейшей административной затрещины; по одному только искреннему убеждению, что пора и нам... тово... тово воно как оно! И я невольным образом восклицаю: «Ах! если бы можно было умереть в Рязани!»

Но если хороша Рязань, то не дурна и Калуга. И в ней с большим рвением принимаются за анализирование отечественных нечистот, и в ней болезненно звенит в воздухе вопрос о женской гимназии, и в ней идет усердная очистка улиц и деятельно освобождаются площади от наслоившегося на них навоза. Одним словом, все шло бы хорошо, если бы, несколько месяцев тому назад, не подпакостили шесть или семь молодых прогрессистов, которые, явясь пообедавши в театр, неизвестно почему вообразили себе, что пришли в баню и начали вести

себя en conséquence [1]. «Не дурно умереть и в Калуге!» — размышляю я, ибо надеюсь, что упомянутые прогрессисты потому только действовали столь бесцеремонно, что были пообедавши и что перед обедом они парни смирные.

Меня до слез трогала полемика между селом Ивановом и Вознесенским посадом. «Коварные вознесенцы!» — восклицал я, читая статейку ивановского обывателя. «Да куда же, однако, вы лезете, ивановцы!» — думал я, с другой стороны, смакуя возражение обывателя вознесенского. И я до сих пор не мог уяснить себе, в чем заключаются обиды и язвы, которыми преисполнен этот знаменитый спор двух муниципий, но лицам, имеющим чувствительное сердце, не советую читать относящиеся до него документы, так как чтение это может довести до идеи о самоубийстве.

Вот сладкие плоды гласности! Подобно лире Орфея, она приводит в движение утесы, в гранитности которых никто доселе не сомневался, и заставляет плясать бессловесных, которые до настоящей минуты паслись по привольным равнинам обширного нашего отечества. Под влиянием тихого ее веянья умственные тундры наших бюрократов населяются цветами проектов и предположений, а сердца обывателей воспламеняются неутолимою жаждой просвещения и добровольных пожертвований. Под сенью ее весело засыпают все «Ивановы», «Батраковы», «Калужане», «Угличане», «Проезжие», «Прохожие» в сладком убеждении, что и они не бесполезные члены общества, что и им удалось пролить капельку в обширную лохань родного преуспеяния.

И если противники гласности указывают мне на какой-то Краснорецк, где будто бы и до сих пор, подобно ветру пустынь, рыскает по улицам Рыков, сокрушая зубы попадающимся навстречу обывателям, то я отнюдь не смущаюсь этим обстоятельством. Во-первых, рассуждаю я, свету истины не суждено проникать с одинаковою легкостью во все закоулки земного шара, и если существуют на свете целые страны, погруженные в скверну исламизма, то почему же Краснорецку не быть погруженным в скверну зуботычин? Во-вторых, если Рыков и действительно не внемлет спасительным уветам гласности, то это составляет лишь частный случай, доказывающий, что голова Рыкова подобна каменоломне, для разработки которой потребен железный лом, а не гласность. И в-третьих, наконец, что значит мрачный скрежет зубов одинокого Краснорецка перед радостными кликами, раздающимися в пользу

---

[1] соответственно.

гласности в Пензе, Тамбове и других центрах отечественного просвещения?

И, не обращая более внимания на унылый Краснорецк, я с сердечным замиранием жду каждого нового нумера «Московских ведомостей». Из них я узнаю, во-первых, что у нас, в городе Глупове, городничий совсем от рук отбился; на главной площади лежит кучами навоз; по улицам ходят стаями собаки, готовые растерзать всякого indiscret; [1] в трактирах вонь и мерзость; торгующее сословие продает втридорога и притом дурной товар; в довершение же всего, на днях виден был на небе метеор, но никто не заблагорассудил обратить на него внимание, ибо купцы и мещане в это время уж спали, а городничий и прочие аристократы играли в карты. «Да, брат, плох ты! совсем, старик, плох! — обращаюсь я мысленно к глуповскому городничему,— пора бы тебе в отставку да с женой на печку спать!» Во-вторых, я узнаю, что в городе Нововласьевске был предложен обществу вопрос о женском училище, но общество оказало при этом не только равнодушие, но даже невежество, соединенное с тупоумием; городничий, как урожденный насадитель просвещения, простер было десную свою, чтоб учинить бородотрясение одному из ревнителей тьмы, но должен был остаться при одном намерении, ибо общество единодушно оскалило зубы. «Да, брат! — обращаюсь я мысленно и к нововласьевскому городничему,— лет шесть тому назад попытки твои, всеконечно, увенчались бы успехом: и бороды были бы вытрясены, и Нововласьевск не остался бы без просвещения, а теперь вот... ахти-хти-хти!» И еще, наконец, узнаю, что в окрестностях города Ляказина ухает в болоте какая-то птица; что крестьяне в один голос говорят, что это ухает леший и предвещает войну, а исправник и не думает об истреблении этих предрассудков, как будто бы это и не его дело!

Прочитавши все это, я ощущаю спокойствие во всем моем организме. Я убеждаюсь до очевидности, что нет уголка на Руси, который не имел бы своего песнопевца, карателя пороков и оградителя чистоты и невинности; что десница его оградит меня в моих странствиях и удержит станционного смотрителя от отказа мне в лошадях, если сии последние действительно находятся налицо, а не в разгоне. Я сознаю себя безопасным; я чувствую, что могу жить и дышать свободно; что если кровожадный откупщик отпустит мне скверной водки, то не останется без обругания; что если ночью на улице нападут на меня собаки, то бдительный градоначальник выскочит

---

[1] слишком любопытного.

из-за угла и не допустит растерзать меня; что если у меня в доме случится пожар, то местная пожарная команда распорядится мною и моим имуществом прежде даже, нежели я о том проведаю.

Вот сладкие плоды гласности! — снова восклицаю и, полный прочитанного, спокойно засыпаю себе с «Московскими ведомостями» в руках, а во сне между тем бесчисленными группами восстают передо мной все новые и новые родные сра-моты!

Не могу до сих пор позабыть то ужасное, потрясающее действие, которое произвело в нашем родном городе Глупове получение первой обличительной статьи, направленной против нашего градоначальника. Погода в этот день стояла тихая и радостная; дороги были в самом исправном положении, и почта по этому случаю пришла необыкновенно рано, как бы сговорившись с редакцией «Московских ведомостей», чтоб сколь возможно неотложнее поразить наш город скорбью. Почтенный наш градоначальник, как нарочно, встал утром с постели правой ногой и, будучи в отличном расположении духа, отправился обрезывать сухие сучья у недавно посаженных им яблонь; супруга его, сидя на крылечке, варила варенье из только что поднесенной ей сочной и крупной клубники; маленький Коля и крохотная Ляля прыгали и резвились, поминутно перебегая от нежно любимой баловницы-матери к строгому, но справедливому отцу.

— Мамаса! эту кубнику купец пысьяй? — пищала суетливая, от природы наделенная замечательным хозяйственным взглядом Ляля.

— А вцеласнее сено папасе Иван Фомич пысьяй! — задумчиво рассуждал Коля, заглядевшись на вкусные пенки, накипавшие на варенье.

— Мамаса! это за то, стоб папаса Андьюску ихнего высек? — допытывалась резвая Ляля.

— Цыц, пострелята! — отозвался наш градоначальник, вслушавшись в долетавшие до него отрывки невинного детского разговора,— уйми ты их, сударыня! этак они, пожалуй, при губернаторе сдуру ляпнут!

Одним словом, все здесь дышало идиллией, но не той приторно-сладкой идиллией, в которой действующими лицами являются разрумяненные пастухи и пастушки, а нашею родною, отечественною идиллией, которая преимущественно избирает себе убежище в самом сердце полиции (по пословице: «невинное к невинному льнет») и в которой замечается полное отсутствие барашков (барашки эти, в виде брюхастых купцов и изворовавшихся мещан, обыкновенно пасутся там, где кончается

картина, а именно в глуповском гостином дворе),— одним словом, идиллией, в которой нередко слышатся доносящиеся с пожарного двора крики: «Ай, батюшки, не буду!»

Но в мире всегда так бывает, что чем чище и непорочнее невинность, тем менее она приобретает прав наслаждаться плодами своей безукоризненности. Невинный ягненок едва успел подойти к ручью, чтоб утолить жажду, как на него уже наскакивает хищный волк и самым наглым образом придирается к нему, что он мутит воду («а я совсем и не мутил!» — пищит ягненок). В реке Ниле беспечно купается бедный мальчик, а из-за камышей уже стережет его крокодил. В городе Нововласьевске некоторый фабрикант, благодетельствуя своим меньшим братьям, деятельно выкупает их на волю, как вдруг налетает на него бюрократ и как дважды два — четыре доказывает, что товаром сим спекулировать воспрещается («Ваше превосходительство! позвольте мне двадцать тысяч на общеполезное устройство пожертвовать!» — как белуга ревет фабрикант, силясь освободить попавшую в капкан лапу. «Изволь, братец»,— отвечает его превосходительство). Тем менее должен был ожидать себе от судьбы пощады наш градоначальник, который, несмотря на чистоту своих побуждений, все-таки был менее невинен, нежели упомянутые выше ягненок, купающийся мальчик и нововласьевский благодетельный фабрикант. И действительно, царствовавшая в городническом доме с утра идиллия была возмущена самым неожиданным образом, и крокодилом на этот раз явился уездный стряпчий.

Стряпчий вбежал прямо в сад, как говорится, словно с цепи сорвался.

— Необыкновенная вещь! удивительная вещь! — во все горло кричал он, еще издали махая только что полученным нумером газеты.

У градоначальника во рту сделалось горько: ему представилось, что в руках у стряпчего указ губернского правления о предании его за невинность суду, и вдруг, не более как в несколько секунд, он пережил всю прежнюю жизнь свою.

— Что такое? что такое? — мог он только проговорить, устремляясь навстречу гостю.

— Вот уж подлинно гость хуже татарина! — ворчала между тем градоначальница, которая от испуга чуть-чуть не выронила из рук тазик с вареньем.

— А вот-с, прочтите-с! — отвечал стряпчий, тыкая пальцем в одно место развернутого листа.

В этом месте было изображено:

«Что сказать вам о нашем городе? Несмотря на всеобщее стремление к преуспеянию, у нас оказывается полное равнодушие к общественным интересам, а в кругу наших аристократов только и слышатся что толки о вчерашнем преферансе. Грустно! За доказательствами, впрочем, ходить не далеко. В недавнее время был в нашем городе пожар; сгорели холостые постройки при доме мещанки Залупаевой, и как бы вы думали, кто последний явился на пожаре? Стыжусь за свой город, но из уважения к истине (amicus Plato, sed magis amica veritas) должен во всеуслышание объявить, что последнею прибыла наша пожарная команда, и притом прибыла в то время, когда пожар был окончательно потушен усилиями частных лиц. Говорят, будто городничий был в то время на пульке у одного из наших аристократов и не мог оторваться от интересной игры; говорят, будто и пожарная команда была занята совсем другим делом... Мало ли что говорят! Поневоле вспомнишь описанный в вашей многоуважаемой газете пожар в городе А**, во время которого начальник губернии действовал лично, и притом с таким самоотвержением, что у него обгорели фалды! А пора бы, кажется, и нам!

Туземец».

Когда наш градоначальник прочел эту рацею, окружающие предметы внезапно исчезли из глаз его, и воздух наполнился зелеными струистыми кругами, которые то отделялись друг от друга, то снова сплывались. За ними, словно сквозь дымку, виднелась черная пропасть, из которой грозилось губернское начальство. Уничтоженный и ошеломленный, стоял он, выпустив газету из рук и ухватясь за фалды. Конечно, в эту минуту он ничего так страстно не желал, как того, чтоб глупые его фалды сгорели дотла и он уподобился бы тому герою, который прославил собою город А**.

— Что там за глупость еще написана? — вступилась градоначальница.— Ляля! подай-ка сюда газету!

— Да-с, пощелкивают-таки нашего брата! — задумчиво заметил стряпчий,— эта гласность, доложу вам, словно тля: раз заведется, так и съест поедом человека дотла!

— Да и вы хороши! разбежались с маху, точно и бог знает радость какую принесли! — колко отозвалась градоначальница.— Это все, я думаю, учителишки пакостят!

Голос дорогой супруги возвратил градоначальника к сознанию горькой действительности, но этот возврат выразился в нем как-то беспорядочно.

— Желал бы я! желал бы я! — вдруг вскрикнул он таким неестественным голосом, что стряпчий затрясся и побледнел

как полотно, а дети в испуге заметались и, в довершение всего, разразились самым неистовым плачем.

Вероятно, он имел намерение выразить этим восклицанием, что желал бы знать, кто был неизвестный составитель пасквиля, но по стиснутым кулакам можно было догадываться, что восклицание имело и другой смысл.

— Я тебе говорю, что это учителишки пакостят! — отозвалась градоначальница, которая одна не потеряла присутствия духа.

— Жив не хочу быть, коли не изуродую! — воскликнул градоначальник.

— А я бы на вашем месте презрел-с! — заметил стряпчий.

— Нет, уж это аттанде![1] Истинным богом клянусь, что зубы в пепел обращу.

— Еще неизвестно, как губернское начальство посмотрит! — благоразумно увещевал стряпчий,— с следующей же почтой запросца надо ожидать-с!

— Ну что ж, я так и отвечу, что распоряжение сделано!

— Ну да-с... а все-таки будто сомнительно! Нынче, Федор Ильич, пасквилянты-то не дóлу смотрят, а больше взодравши нос ходят! Я с своей стороны полагал бы не горячась, а исподволь... домашними средствами... через час по ложке...

— А что ты думаешь? ведь Иван-то Пахомыч правду говорит! — заметила градоначальница.

— Сквозь строй жизненных обстоятельств пропустить,— задумчиво пояснил свою мысль стряпчий,— чтоб человека сего, так сказать, постепенными и неторопливыми мерами огня и воды лишить... так-то-с!

— Понимаю,— отвечал градоначальник.

— Например, если человек этот имеет привычку прогуливаться, можно неизвестных людей на него напустить, которые, будто пьяные, могут легонько бока ему помять, а потом скрыться-с!

— Понимаю,— сказал градоначальник.

— Ах, это бесподобно! — воскликнула градоначальница.

— Или, например, Яшку-вора научить, чтоб он у того человека в квартире пошарил!

— Понимаю!

— Или, например...

— Понимаю! — воскликнул градоначальник, переходя от уныния к восторгу и благодарно сжимая в руках своих обе руки стряпчего.— Анна Петровна! водки и закусить!

— Так-то лучше будет! — задумчиво заключил стряпчий.

---

[1] увольте!

Выпивши и закусивши, градоначальник наш, по обычаю, отправился пешком осматривать город, и глуповские мещане могли собственными глазами убедиться, что в лице его было что-то ангельское. В этот достопамятный день в городе Глупове не было разбито ни одной рожи, а торговля и промышленность внезапно процвели яко крин сельный. Пришедши в лавку мясника Брадищева и увидев, что мясо покрыто не холстом, а грязной рогожей, градоначальник не полез на хозяина, как озаренный, но кротко и учтиво сказал, что говядина, любезный мой, по Своду законов, должна быть чистым полотенцем покрыта. «Это не я, милый мой, говорю, а Свод законов!» — На такую речь Брадищев мог лишь выпучить глаза, как бы говоря ими: «Да что ж ты по зубам-то меня не бьешь?» — но и за всем тем градоначальник не воспользовался своим правом, а только вздохнул и отправился тихим манером в лавку мясника Усачева, где также действовал кроткими мерами убеждения.

На возвратном пути из обзора встретился исправник, который, по всему было видно, поспешал к Федору Ильичу, чтоб поделиться с ним свежею новостью и сообща пособолезновать.

— Скажите, какая новость! — крикнул он ему с дрожек, остановив на минуту ретивую пару кругленьких саврасок.

Но Федор Ильич, не прекращая шествия, лишь улыбнулся кротко и махнул рукой.

— Да стойте же! — закричал ему вслед исправник,— на пульке-то сегодня будете?

Градоначальник остановился и несколько секунд пребывал в мучительной борьбе с самим собою.

— Буду! — сказал он наконец решительно и плюнул при этом в сторону, как бы отбиваясь от дьявольского наваждения.

— То-то же! — присовокупил с своей стороны исправник,— смотреть-то на них нечего!

Вслед за тем встретился судья, который шел пешком и, по причине тучности, до того запыхался, что, ставши лицом к лицу с градоначальником, некоторое время разводил только руками. Федора Ильича несколько покоробило.

— Скажите, какая новость! — проговорил между тем судья.

— А вам что за дело? — со злобою отвечал городничий и, отвернувшись от судьи, пошел своею дорогой.

Но не успел он пройти и десяти шагов, как из-за угла вскинулся на него почтмейстер.

— Скажите, какая новость! — кричал он, как-то странно всхлипывая.

— Эк вас, чертей, развозило! — процедил сквозь зубы гра-

доначальник и потом, в свою очередь наскочив на почтмейстера, не без азарта спросил: — Позвольте, Иван Максимыч, вам что от меня угодно?

— Помилуйте, Федор Ильич... я ничего-с... я собственно по чувству христианского человеколюбия-с...

— Ну, так я вам вот что скажу: когда про вас будет в газетах написано, что вы на почтовых лошадях по городу ездите, что вы с почтосодержателей взятки берете, что вы частные письма прочитываете... тогда я вам крендель пришлю! А теперь прошу вас оставить меня в покое!

Сказав это, градоначальник почти бегом добежал до дому, и только тогда отдохнул душой, когда взялся за скобку двери.

Одним словом, в среде нашей уездной аристократии переполох был решительный. Каждый из членов ее счел нужным сойти в глубину души своей и проверить свою служебную и даже домашнюю деятельность. Оказалось, что дело совсем дрянь выходит. Почтмейстер простер свою щепетильность в этом отношении до того, что вдруг почувствовал, будто в квартире его пахнет чем-то кисленьким, и в ту же минуту приказал покурить везде порошками. Окружный начальник сначала храбрился и не прочь был даже посочувствовать неизвестному корреспонденту, но потом, пошептавшись о чем-то с исправником, вдруг побледнел и с этой минуты начал звонить во все колокола, что это ни на что не похоже и что этак, чего доброго, незаметно можно подорвать величественное здание общественного благоустройства. Один исправник остался совершенно равнодушен к общей тревоге и в этот же вечер, обыграв, по обыкновению, своих партнеров в карты, с самым убийственным хладнокровием произнес: «По мне, лишь бы выигрывать, а затем милости просим!.. хоть в каждом нумере!»

Весть о посрамлении городничего дошла и до граждан города Глупова, но здесь эффект, ею произведенный, был совершенно особого рода. Прежде всех, как и водится, узнал городской голова, к которому прямо от городничего забежал стряпчий. Должно быть, рассказ стряпчего был особенно умилителен, потому что голова, слушая его, совсем растужился.

— Ишь ты что! — сказал он, когда стряпчий кончил,— что ж теперича мне-ка делать?

— Да надо бы... тово...

— Опчество собрать, видно, надоть,— продолжал голова и жалобно вздохнул.

— Общество не общество, а именитых.

Голова вновь вздохнул.

— Однако, как же это? — произнес он,— не в пример, значит, прочим?

— Ну, так что ж такое?

— Ничего-с... я так только — к примеру, что опчество собрать, видно, надоть... ничего-с, можно-с!

На скорую руку были собраны в дом головы именитые, к которым хозяин держал речь.

— Ну, именитые,— сказал он,— градоначальника нашего обидели... Бог грехам терпел, царь жаловал, губернии начальник благодарность объявлял, а пес борзой облаял... подиткось!..

— Значит, смириться должон! — произнес один из именитых.

— Это, Федор Афанасьевич, значит, для смирения ему бог послал,— произнес другой.

— Божьи дела судить нам не приходится,— сказал голова,— а выражение от нас по этому случаю потребуется!

Именитые переглянулись.

— Что ж, именитые, почтить начальника в горести, по мере силы-возможности, есть каждого долг и обязанность...

Молчание.

— Итак, возблагодарим создателя! — произнес голова, вспомнив, что однажды начальник губернии именно этими словами кончил речь свою. Одним словом, совещание кончилось благополучно, и именитые вполне оправдали при этом звание граждан города Глупова, которое они с честью носили.

И вот таким образом «Московские ведомости» сделались причиной, что наш градоначальник был в этом году лишний раз именинником.

В этот же вечер, в трактире купца Босоногова, собрались всех шерстей приказные. Разговор, как и следовало ожидать, шел об афронте, полученном городничим, но все решительно терялись в догадках насчет сочинителя этого афронта. Спор шел горячий и оживленный; говорили и pro и contra;[1] находились защитники и у городничего, но справедливость требует сказать, что большая часть спорящих оказалась приверженною благодетельной гласности.

— Нельзя достаточно похвалить неизвестного корреспондента,— произнес секретарь уездного суда Наградин,— в настоящем случае он явил себя истинным гражданином.

— Лихо откатал городничего! — отозвался столоначальник Благолепов.

— Чего уж откатал! в самое рыло угодил! — присовокупил секретарь магистрата Столпников.

— Не об откатании идет здесь речь,— заметил Награ-

---

[1] за и против.

дин,— ибо статья написана без излишеств, и истина является в пристойном ей одеянии. Достохвально то, что неизвестный корреспондент отважился взять на себя защиту прав человечества против посягательства лица сильного и власть имеющего!

— Не могу, однако ж, не сказать, что неизвестный поступил крайне неосторожно,— возразил секретарь полиции Попков,— ибо городничий, какой бы он ни был, все-таки установленная власть!

— Патрона своего защищаете, почтеннейший!

— Нет, не патрона защищаю, а сужу дело по существу!

— Несть власть, аще не от бога! — вздохнув, сказал архиварпус Пульхеров и как-то тоскливо заглянул в следующую комнату, где на большом столе, в симметрическом порядке, красовались графины с различными сортами водок.

— Против этого не возражаю, но не могу от себя не заметить, что и в Писании не похваляются глупые девы, погасившие светильник; в настоящем же случае градоначальник наш едва ли не уподобился означенным глупым девам.

При этих словах в залу трактира вошло новое лицо; при появлении его собеседники значительно переглянулись, как будто бы всех их озарила одна и та же мысль. И действительно, вошедший был не кто иной, как учитель глуповского уездного училища Корытников.

— Иван Фомич! милости просим побеседовать! — радушно пригласил Столпников.

Корытников был еще молодой малый, только что преодолевший трудности гимназического курса. Поселившись в Глупове с недавнего времени и имея слишком ограниченные средства жизни, он вообще редко показывался в обществе; но на этот раз почему-то нашел нужным изменить своей обычной нелюдимости и, войдя в трактир, обнаружил особенную потребность к душевным излияниям. Он выступал какою-то смелою, бойкою поступью, и все его молодое лицо как будто светилось улыбкою.

— Что, господа, не о сегодняшнем ли нумере газеты рассуждаете? — спросил он.

— Вообще о гласности,— отвечал Наградин,— желательно бы знать мнение ученого сословия на этот счет.

— А что? ловко статейка написана? — спросил Корытников, которого, по-видимому, более интересовало впечатление, произведенное статьею, нежели отвлеченные рассуждения о последствиях гласности.

— Нечего сказать, лихо откатал неизвестный! — отозвался Благолепов.

— Угодил в самое рыло! — повторил Столпников, которому, очевидно, понравилось это выражение.

Корытников, смеясь, пожал Столпникову руку.

— Я, господа, так рассуждаю, что настоящее время — самое благоприятное для гласности! — сказал он, становясь в позу и незаметно впадая в дидактизм,— для России наступает, так сказать, эпоха очищения. Потребность очищения чувствуется повсюду; она разлита в воздухе; она проникает все слои нашего общества; она до такой степени присуща всем нам, что если я, например, встречаю на улице подлеца, то не могу воздержать себя, чтоб не высказать ему во всеуслышание, что он подлец!

— Не будет ли слишком шибко? — возразил Попков, сомнительно посмеиваясь.

— Нет, это будет только священною обязанностью со стороны каждого гражданина, сознающего свой долг в отношении к обществу! Я убежден, что если все мы будем так действовать и мыслить, то очевидно, что подлецам, негодяям и тунеядцам невозможно будет существовать на свете! Единодушия, милостивые государи! единодушия требует от вас страждущее общество, и вы сами изумитесь, как скоро и как естественно воцарятся на земле добро и истина!

— И подлецов будут по рылу бить! — воскликнул Благолепов, весело подпрыгивая.

— А учителя и архивариусы будут господствовать! — задумчиво заметил Пульхеров, почесывая себе коленки.

Все засмеялись.

— Позвольте, господа! — отозвался Наградин,— заключение Ивана Фомича хотя и нельзя признать безусловно верным (ибо подлецы бывают телосложения различного, и не всякий из них допустит сказать ему в лицо слово истины!), но вместе с тем нельзя и отрицать, что обличение, выраженное в форме легкого нравоучения, несомненно должно принести пользу. С этой точки зрения я не могу не радоваться, что и наш родной Глупов нашел своего дееписателя.

— А что? ведь ловко статейка написана?

— И ловко, и благоразумно... нет недостатка в словесных украшениях, но нет и излишеств...

Корытников, при такой похвале, весь вспыхнул от наслаждения.

— Одним словом,— продолжал Наградин,— если неизвестный сочинитель скрывает себя в лице вашем, то позвольте приветствовать вас и поздравить с успехом!

Наградин протянул руку Корытникову, а за ним и все прочие бросились поздравлять его. Со всех сторон посыпались

восклицания и радостные возгласы; причем Столпников не преминул в третий раз сказать: «Угодил в самое рыло!» Один Попков смотрел как-то сумрачно и исподлобья.

— Вы угадали, господа! — сказал Корытников взволнованным голосом,— автор статьи, вызвавшей ваше сочувствие, действительно я! Но не могу не оговориться при этом, что я действовал в этом случае не сам собою; я был не что иное, как орудие, выразившее общую потребность! Повторяю, господа, времена созрели! Умолчи я, несомненно нашелся бы другой, который, быть может, еще с большею резкостью выразил бы чувства общего негодования! Так или иначе, но кара была неизбежна — таков непреложный закон общественной Немезиды!

— Это справедливо! — выразился Наградин, как бы давая тем почувствовать, что и он не прочь бы попытать счастия на поприще гласности.

— Стой, братцы! — воскликнул Благолепов,— уж коли на то пошло, так и я... тово... решился!

— Ура! — загремели присутствующие.

— Давеча прочитал я статью Ивана Фомича, и вдруг как будто свыше меня озарило! Думаю: катать так катать... чем наша изба хуже городнической!

— При тебе? — лаконически спросил Наградин.

— При мне-с,— отвечал Благолепов, робея.

— Послушаем,— сказал Наградин.

Благолепов вынул из бокового кармана бумагу, откашлялся и совсем было приступил к чтению, но вдруг смалодушествовал и застыдился.

— Валяй! — поощрили присутствующие.

Благолепов начал:

«У нас судья очень хороший человек. Тучности столь необыкновенной, что даже когда в кресле сидит и ничего не делает, то и тут, по времени, столь запыхается, как бы верст тридцать не кормя сделал. А фанты и он вынимать мастер».

Автор остановился.

— Продолжай! — сказал Наградин.

— Все-с,— отвечал смущенный Благолепов.

— Недостаточно,— сказал Наградин.

— Отделки мало,— отозвался Корытников,— мысль есть, но не мешало бы, так сказать, округлить ее, чтоб она являлась не в наготе, а окруженная приличными атрибутами!

— У меня еще другое есть написано-с! — проговорил Благолепов.

— Послушаем,— произнес Наградин.

«У нас заседатели хорошие люди»...

— Это можно изменить-с.— сказал он, вдруг остановившись.

— Ничего, продолжай! — сказал Наградин.

«У нас заседатели хорошие люди. Придут в суд и ковыряют в носу, доколе секретарь не сунет в руки докладного и не заставит резолюции переписывать. Один на днях начал с оборота листа переписывать и сим образом весь докладной перепакостил...»

— А ведь это истинное происшествие! — прервал Наградин, снисходительно улыбаясь.

«...и сим образом весь докладной перепакостил. Другой, дабы избежать надзора секретаря, почасту выбегает из присутствия в сторожевскую и услаждает свой вкус неприхотливой беседой со сторожами и приводимыми арестантами. Прелюбопытно это видеть, как они сидят на своих местах, уткнувшись в докладные, и, держа перья всеми пальцами (на манер малолетних), пыхтят и отдуваются, машинально списывая резолюции с заготовленных нарочито лоскуточков, меж тем как мысли их заняты совсем не отправлением суда, а предстоящими щами и кулебякой!»

— Тут есть уже факт,— сказал Наградин, между тем как присутствующие единодушно смеялись.

— И все-таки голо! — отозвался Корытников.

— Помилуйте? отчего же-с? — возразил Благолепов, несколько обиженный.

— Обработки мало!

— С этим, конечно, нельзя не согласиться,— сказал Наградин,— но в сравнении с первой статьей успех заметен.

— По мнению моему, обе статьи следовало бы соединить в одну, и тогда, с помощью некоторой переработки, может быть, что-нибудь и выйдет! Если автор дозволит, это можно сейчас же.

И так как Благолепов не возражал, то через полчаса, благодаря Корытникову, статья явилась на суд публики уже в следующем обновленном виде:

«В настоящее время, во всех концах России, все, даже самые отсталые люди, начинают сознавать живую потребность в суде правом и нелицеприятном. И действительно, что может быть святее, что может быть естественнее этой потребности? Но наши глуповцы и тут умудрились выделиться из общей массы, жаждущей возрождения! Справедливо гласит русская пословица: «Не бойся суда, а бойся судьи»; мудрость этого изречения нам приходится испытывать на боках наших! Как бы вы думали, чьим рукам вверены у нас весы Фемиды? Я не буду ни слова говорить о личных качествах наших «судей пра-

ведных»... Бог с ними! Быть может, все они хорошие семьяне, подают нищей братии, неуклонно исполняют христианские обязанности — все это остается при них! Но способны ли они, но имеют ли они право судить подобных себе? — вот вопрос. Для разрешения этого вопроса, позвольте мне представить вам портретную галерею наших «судей праведных». Предупреждаю: не ищите в этих портретах остроумия — ищите одну истину, одну голую истину! Судья отличный человек: тучен до того, что даже когда, ничего не делая, сидит в креслах, то и тут, через каких-нибудь полчаса, так запыхается, как будто не кормя во весь дух тридцать верст проскакал. Не дурные люди и заседатели: придут в суд и слоняются из угла в угол, покуда секретарь почти насильно не засадит их за докладной и не заставит резолюции переписывать. Казалось бы, работа не головоломная, но и тут бывают смехотворные случаи. На днях один заседатель, переписывая с черновой довольно длинную резолюцию, занимавшую две страницы, что бы вы думали ухитрился сделать? Начал с оборота листа, а кончил началом! И это бывает сплошь да рядом! А другой заседатель, чтоб избежать надзора секретаря, беспрестанно, как школьник, бегает в сторожевскую, где проводит время в разговорах с сторожами и арестантами. Вообще довольно любопытно заглянуть в наш суд и видеть, как наши «судьи праведные» сидят за докладными и, пыхтя и потея, бессознательно списывают резолюции с листочков, на которых они предварительно пишутся секретарем, между тем как мысль их «далече отстоит» от предмета их занятий и поглощена исключительно щами и кулебякой, ожиданием которых уже с утра раздражено их воображение. Таков состав нашего суда! Можно ли после этого удивляться, что если бы не почтенный секретарь суда Р. Е. Н., то у нас не только правого, но и никакого суда не было бы. А фанты вынимать и наши судьи мастера!»

— Превосходно! — отозвались присутствующие.

Наградин крепко пожал руку Корытникову и тут же заказал для всей компании пуншу.

— Я, с своей стороны, на переделку согласен,— отозвался Благолепов,— но зачем же вы опустили, что заседатели в носу ковыряют?

— Это подробность, которая мало идет к делу,— отвечал Корытников.

— Нет, я не могу с этим согласиться! нет, это не подробность, а, так сказать, занятие их жизни! Я требую, чтоб это обстоятельство не было выпущено из вида!

— Что ж, Иван Фомич, можно потешить малого! — снисходительно заметил Наградин.

— Я желаю, чтоб было сказано так: «придут в суд и, *ковыряя в носу,* слоняются из угла в угол»...— настаивал Благолепов.

Спор был в самом разгаре, когда появился пунш. Купец Босоногов, как бы в ознаменование важного события, превзошел самого себя, и по комнате внезапно разлился тот острый запах клопов, который, по мнению канцелярских служителей, составляет непременное условие отличного пунша.

— Пожалуйте! — сказал Наградин, приветливо приглашая присутствующих.

— Хлеб наш насущный даждь нам днесь,— произнес Пульхеров, вздыхая и почесывая себе коленки.

— Разве за здоровье гласности выпить! — отозвался Столпников.

И вновь полилась шумная беседа, вновь полились словоизвержения, словопрения, словоизлияния... И вечер кончился бы прекрасно, если бы не подгадил предатель Попков. Когда уж было достаточно выпито, он вдруг ни с того ни с сего начал придираться к автору.

— А ведь ты тово... ты, брат, сквернослов! — сказал он, обращаясь к Корытникову.

— Господину Попкову, кажется, не нравится статья моя? — возразил Корытников, несколько приосанясь.

— Да ты скажи, чему в ней нравиться-то? — сквернословие пополам с пустословием — вот и все!

При этих словах Корытникову сделалось холодно, несмотря на достаточное количество выпитого пунша. Только теперь он сообразил, что сделал великую глупость, признав себя перед Попковым автором неприязненной городничему статьи.

— Я надеюсь, однако, господа, что здесь сидят благородные люди, которые не употребят во зло моей откровенности!— проговорил он, несколько заикаясь.

— Держи карман, «благородные»! — сказал Попков, язвительно усмехаясь.

— Да он не скажет! — успокоивал Наградин.

— Ан скажу! отсохни у меня язык, если не скажу! — с своей стороны уверял Попков.

— После этого, позвольте мне возразить вам, господин Попков, что вы подлец! — сказал Корытников, сам не помня, что говорит.

— Ну, и пущай подлец!

— Позвольте, однако ж, просить вас...

— А коли подлец, так зачем у подлеца прощения просишь?

— Я не прощенья прошу, я прошу...

— Нет уж, сказано: «Подлец!» — так подлец и есть; сле-

довательно, и неестественно тебе у подлеца прощения просить!

Одним словом, Попков утвердился на том, что он «подлец», и нашел позицию эту столь для себя выгодною, что соединенные усилия всей компании не могли вышибить его из нее.

Не могу сказать утвердительно, что произошло после этого, но знаю, что в скором времени послышались звуки битой посуды, и купец Босоногов, для собственного своего спасения, вынужден был преждевременно потушить свечи и дать знать в полицию.

Целую ночь, со связанными назад руками, провел Корытников в так называемой сибирке; на нарах, занимавших почти все пространство тесной и душной каморы, в которую он был брошен, во всю мочь храпела пьяная нищенка, а в другом углу беспокойно метался парень, за полчаса перед тем пойманный в воровстве. Напрасно Корытников протестовал, напрасно заявлял, что он учитель, напрасно бранился и угрожал: сторож сначала только посвистывал в ответ на его протесты, а потом разостлал на полу шинель, перекрестился и, затушив ночник, преспокойно растянулся себе на полу.

Бывают минуты в жизни, когда, несмотря на всю очевидность явления, рассудок человека упорно отказывается верить в возможность происходящего. Кажется, что все это видишь в каком-то страшном бреду, в какой-то горячечной тоске, что вот-вот пройдут горячечные симптомы, и сама собой исчезнет эта невозможная, гнетущая обстановка. Игрок, окончательно проигравший все свое состояние, человек, сделавший подлость, в которой тут же его уличили, господин, не привыкший получать по лицу и получивший, бедняк, у которого украли последний рубль,— должны именно находиться в этом мучительном состоянии неверия очевидным свидетельствам рассудка. В таком точно положении был и Корытников. Сначала он еще находил в себе довольно силы, чтоб браниться и протестовать, но потом, когда сторож потушил свечу, когда камору вдруг охватил со всех сторон густой мрак, когда кругом воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь безобразным храпом пьяной бабы, когда окончательно исчезла надежда услышать откуда-нибудь живое слово, им овладел ужас и оцепенение. Инстинктивно он еще продолжал изредка стучать ногами от злобы и порывался разорвать веревку, связывавшую его локти, но потом опять стихал и так же инстинктивно начинал то плакать, то скрежетать зубами. Измученного физически и нравственно застало его утро.

Когда его привели в полицию, градоначальник наш был крайне изумлен и даже огорчен.

— Ба! Иван Фомич! какими судьбами! — воскликнул он, простирая к нему руки.

— Да вот, благодаря вашим сбиррам... а быть может, и лично вам,— ответил Корытников и вдруг затрясся всем телом.

— Ах, что это за свиньи народ! — в отчаянии закричал Федор Ильич,— ну, что прикажете с такими анафемами делать! Эй, кто тут есть! позвать ко мне старшо́го!

— Прикажите, по крайней мере, мне руки на первый раз развязать! — осмелился заметить Корытников.

— Как! и руки связаны! ну, скажите на милость! — счел долгом вновь изумиться Федор Ильич.

Одним словом, оказал отеческую заботливость; назвал себя свиньею и старым дуралеем; извинился за полицейских; извинился за себя; извинился чуть не за всю полицию Российской империи. Оказалось, что это было одно недоразумение, происшедшее от того, что подлецы полицейские не наметались еще отличать людей образованных от необразованных. Попкову, как главному виновнику недоразумения, была посулена отставка, причем Федор Ильич энергически погрозил ему кулаком.

Не стану описывать дальнейших приключений Корытникова; скажу, однако ж, что программа стряпчего была не только выполнена, но даже и украшена значительными присовокуплениями. Происшествия и так называемые истории как будто взапуски ловили бедного публициста; не успевал он освободиться от одного казуса, как из-за угла ждал его уже другой. Явились девицы, которые положительным образом доказывали, что они шли себе по ровному месту, и шли бы благополучно таким манером и до сей минуты, но, повстречавшись с Корытниковым, вдруг оступились. Число этих оступившихся было так велико, что весь город отшатнулся от виновника стольких падений, а городничиха даже отплевывалась каждый раз, как при ней произносили фамилию Корытникова. Сам начальник края усумнился и счел долгом пригласить к себе на совет директора училищ.

— Что это у вас в Глупове... Дон-Жуан какой-то... mille e tre! [1] — сказал начальник края, кстати вспомнив фразу Лепорелло из Моцартова «Дон-Жуана».

— Молодой человек-с, ваше превосходительство! — отвечал директор, умильно осклабляясь.

— Однако ж, все-таки! Александр Македонский был вели-

---

[1] тысяча три!

кий человек, но зачем же стулья ломать! — заметил начальник края, вспомнив кстати фразу из «Ревизора».

— Как прикажете, ваше превосходительство!

— Да я полагал бы покончить это домашним образом... ха-ха!.. mille e tre! Я полагаю, всего лучше перевести его в другое место... подальше от Дульциней!

И таким образом, en petit comité [1], был решен вопрос о переводе публициста Корытникова из города Глупова в город Дурацкое Городище.

К чести Корытникова я должен сказать, что несправедливость судеб отнюдь не заставила его упасть духом и понурить голову. Проникнутый убеждением в святости своего гражданского назначения, он с легким сердцем отправился в Дурацкое Городище, твердо уверенный, что и там найдется мещанка Залупаева, и там найдется градоначальник, не брегущий о благосостоянии и здравии пасомого им стада.

Что, если бы Залупаевой не оказалось? Что, если бы градоначальник, вместо того чтоб играть в карты, непрестанно тушил пожары и ходил по городу не иначе, как с обгорелыми фалдами? Что, если бы ни один метеор, ни одна комета не проходили в городе Глупове незамеченными? Что, если бы заседатели не ковыряли в носу? Угомонилась ли бы тогда публицистская деятельность Корытникова? Произнес ли бы он тогда «nunc dimittis» [2] и обмакнул ли бы обличительное перо свое, вместо чернильницы, в песочницу, в знак того, что дальнейшее служение его обществу становится бесполезным?

К общему удовольствию всех «Проезжих», «Прохожих», «Калужан», «Угличан» и проч., ответить на эти вопросы столь же мудрено, как и на то, когда бы кто, не шутя, спросил: что было бы, если бы русский народ не был мужествен в боях, тверд в перенесении бедствий и великодушен в счастии? И в самом деле: «что было бы тогда?» — А черт его знает, что бы тогда было! — отвечаю я и нахожу, что ответ мой есть единственно приличный в этом случае. Что было бы, если бы русский народ и т. д.? Признаюсь, я даже не могу прийти в себя от потрясения, произведенного во мне этим непристойным вопросом.— А что было бы, если бы ты ходил вверх ногами, а вниз головой? А что было бы, если бы у тебя, вместо двух глаз во лбу, был один на затылке? И я столь близко подхожу к лицу вопрошающего, что он бледнеет и в то же мгновение просит меня извинить его.

Но если дико и непонятно кажется нам сомнение в добле-

---

[1] в тесном кружке.
[2] ныне отпущаеши.

стях наших соотечественников; если, с одной стороны, не предвидится конца мужеству русских в боях, твердости их в перенесении бедствий и великодушию в счастии, то, с другой стороны, кто дает нам право предполагать, что когда-нибудь умрет мещанка Залупаева, а заседатели перестанут ковырять в носу? Поистине, никто!

Допустим, что вы живете далеко от Глупова, допустим, что вы лишены даже удовольствия дышать благорастворенным воздухом Дурацкого Городища. Что ж из этого? Не думаете ли вы, что вот так-таки и избавились и от Залупаевой, и от городничего, приносящего жертвы мамоне, а не современным интересам? Ошибаетесь, мой милый! Ваш родной Глупов всегда находится при вас, и никуда не уйти вам от Дурацкого Городища!

Вы выходите на улицу. Вон бедный Ванька, с заиндевевшею от мороза бородой и с побелевшими щеками и носом; на улицах пустынно и тихо! ковыряющие в носу заседатели сидят себе в тепле по домам и едят пироги с начинкой; нет седока бедному Ваньке, и он со злобой настегивает свою худую клячу, которая в ответ на это помахивает хвостом, как-то учтиво, кротко, умиленно помахивает. Этот Ванька — мещанка Залупаева; эта ободранная, избитая кляча — мещанка Залупаева! Вот, на базаре, принесла старуха салопница продать поношенную и разрозненную пару шерстяных носков; подходит служивый и предлагает за товар девять копеек; что ж, цена, по-видимому, хорошая, но старуха упрямится и просит двенадцать; с одной стороны, кавалер готов в ступе старуху истолочь, с другой стороны, старуха не прочь горло кавалеру перервать — и все из-за трех копеек! Эта старуха — мещанка Залупаева! Этот кавалер — мещанка Залупаева!

Увы! мир кишит Залупаевыми! Они ходят по белому свету и с бородами, и без бород, и в паневах, и в зипунах, и о двух ногах, и о четырех! Если вы любитель русской фауны и имеете крошечку любознательности, то не стесняйтесь, сделайте милость, пронзайте булавочкой всех этих Залупаевых и, пришедши домой, насаживайте их на лист белой бумаги — увидите, какая у вас образуется коллекция!

А городничие, поклоняющиеся мамоне? А заседатели, начинающие переписывать с оборота листа? Ужели иссякнет родник их? Да чем же тогда будет сладка наша жизнь? Чем будет сдабриваться наше горькое существование? Воображаю я себе, если бы наш (не глуповский, а полоумновский) Федор Ильич не заигрывался до запоя в карты и не наедался до отупения золотыми стерлядями, вытаскиваемыми из орошающей наше отечество реки Большой Глуповицы... Господи! что бы

это было! Во-первых, чело Федора Ильича навеки задернулось бы непроницаемым мраком начальнического всемогущества; во-вторых, он с утра о том бы только и думал, как бы кого-нибудь оборвать, как бы сокрушить кому-нибудь зубы! Коли хотите, это был бы своего рода Катон, но нам едва ли пришлось бы от этого легче. Нет, я решительно держу сторону Федора Ильича в том виде, в каком он представляется мне au naturel! [1] По крайней мере, теперь я знаю, что и он не изъят своего рода слабостей и, следовательно, как человек, снизойдет и к моим прегрешениям. По крайней мере, теперь я знаю, что наступит вечер, зажгутся в квартире исправника огоньки, Федор Ильич весь углубится в карты — ан Глупов-то и поотдохнет мало-мало!

Messieurs! [2] сознаюсь откровенно, я человек слабый и терпеть не могу Катонов, которые прут вперед, сами не зная куда! Я понимаю русского человека, который расшибет своему ближнему нос, да тут же и водочки поднесет, и я понимаю русского человека, которому расшибут нос и в то же время водочки поднесут. Кулак, рассматриваемый с этой точки зрения, утрачивает свою свирепую, искаженную злобой физиономию и принимает в моих глазах какое-то благодушное, почти ангельское выражение.

Итак, мы логическим путем приходим к тому заключению, что всякое сомнение в неиссякаемости Залупаевых и заседателей должно быть устранено. Но, с другой стороны, передо мной возникает новый, не менее важный вопрос: возможно ли, естественно ли при такой обстановке не сделаться публицистом? Я замечаю, что рассуждения увлекли меня слишком далеко и что я, сам того не подозревая, попал, так сказать, в самое сердце болота, составляющего предмет настоящей статьи. О боже! что это за удивительное болото! и как должно трепетать сердце охотника, взирающего на неоглядные глазу равнины его! Сколько в нем кочек! сколько ржавых трясин и колдобин! сколько куликов и чибисов! Стон стоит в воздухе от разнообразных взвизгиваний этих добродетельных птиц, которые не имеют в жизни иной цели, кроме выживания бесчисленного множества невинных цыплят! Что, если бы не было охотника, от времени до времени разрежающего своими меткими выстрелами эту сплошную массу пернатых? Что, если бы вверху, над облаками, не реял коршун, высматривающий с тактом знатока-помещика, который из цыплят покормнее и пожирнее?

---

[1] в натуре!
[2] Господа!

Но к делу.

Прежде всего я должен оговориться, что всей душой сочувствую Корытникову. Cher [1] Корытников! вашу руку! Прохожий! прими меня в свои объятия! Житель Ярославля!

Лобзай меня! твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина!

Но шутки в сторону; я сердечно убежден, что все вы почтенные люди и горячо и искренно сочувствуете тем начаткам истины и добра, появление которых приветствуете с такою радостью. Горесть мещанки Залупаевой не может не трогать вашего сердца, ибо в сердце этом всегда найдется отклик для всякого истинного горя. Преступная беспечность Федора Ильича не может не возбуждать вашего негодования, ибо в ней заключается источник зол действительных, невымышленных, зол, которых жало преимущественно обращено против бедного и беспомощного. Сосредоточиваясь в самих себе и размышляя о вещах мира сего, вы невольным образом переноситесь мыслью к временам вашей юности, к тем золотым временам, когда с кафедры к вам обращалась живая речь, если не самого Грановского, то одного из учеников его, вызывая к деятельности благороднейшие инстинкты души, когда с иной, более обширной кафедры, лилось к вам полное страсти слово Белинского, волнуя и утешая вас, и наполняя сердца ваши скорбью и негодованием, и вместе с тем указывая цель для ваших стремлений! Будем же верны добру и истине! будем верны памяти наставников наших! — восклицаете вы, и бодро выступаете вперед на честный бой с лицемерием, равнодушием и неправдою!

Да, замечательное было это время! То было время, когда слово служило не естественною формой для выражения человеческой мысли, а как бы покровом, сквозь который неполно и словно намеками светились очертания этой мысли; и чем хитрее, чем запутаннее сплетён был этот покров, тем скорбнее, тем нетерпеливее трепетала под ним полная мощи мысль и тем горячее отдавалось ее эхо в молодых душах читателей и слушателей! То было время, когда мысль должна была оговариваться и лукавить, когда она тысячу раз вынуждена была окунуться в помойных ямах житейского базара, чтоб выстрадать себе право хотя однажды, хотя на мгновение засиять над миром лучом надежды, лучом грядущего обновления! И чем тяжелее был гнет действительности, тем сильнее крепла в сердцах бодрых служителей истины вера в будущее, вера в

---

[1] дорогой.

человечность! И, стало быть, крепки были эти люди, если и при такой обстановке они не изолгались, не измелочничались, не сделались отступниками!

Я верю, о «Прохожий»! что когда ты берешься за перо, чтоб обличить раба спящего и лукавого, то перед тобой невольно и неотразимо восстают те светлые личности наставников, которым ты жадно внимал в былое время. И в душе твоей заманчиво рисуется живая преемственность мысли и стремлений, на служение которым ты хочешь принести посильную лепту твою.

Повторяю, я верю твоей искренности. Но ты не замечаешь, что иные люди, иные вещи, что целый новый мир народился кругом тебя. Ты забываешь, что и в устах твоих наставников отвлеченные интересы человечества служили только покровом, под которым не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, более реальной деятельности. Ты забываешь, что ты перенял от учителей только фразу и что переимчивость, как бы ни была она счастлива, не представляет еще достаточного права, чтоб поучать людей!

Но странная и неудержимая сила обстоятельств! В то время, как ты мучишься в потугах рождения, чтоб бросить миру какую-нибудь высокопарную мысль о человечестве и постепенном поступании его на пути совершенствования, трезвая и неподкупная действительность силой приковывает тебя к тесной твоей раковине, к родному твоему Глупову! И выходит тут нечто нелепое: Глупов — и человечество, судья Лапушников — и вечные законы правды...

Корытников! именем той же преемственности, убеждаю вас — бросьте под стол перо ваше или обуздайте вашу мысль!

Неужели вы не можете сневежничать без того, чтоб этот акт вашей жизни не сопровождался целым громом тромбонов и труб?

Неужели солнце правды, солнце гласности, солнце устности, солнце трезвости, которое вечно светит в душе вашей, до того лучезарно, что мешает вам просто и без ужимок подойти к той навозной кучке, которую вы взялись, которую вам фатально суждено описывать?

Юный друг мой! если наставники ваши горькою необходимостью вынуждались окунать мысль свою в помои, то вы совершенно добровольно, совершенно никем не вынуждаемые окунаете ее в многочисленные солнца души вашей, и я принимаю смелость заверить вас, что эти солнца неизмеримо неприятнее помой Белинского и Грановского!

Зачем, когда вы беретесь за перо, вас внезапно одолевает какое-то адское самоуслаждение? Зачем вы с самозабвением

склоняете набок вашу слабенькую головку, жмурите ваши голубенькие глазки, уподобляясь соловью, заслушивающемуся своих собственных песен? Зачем это?

Вспомните, mon cher [1], что соловей потому имеет право наслаждаться самим собой и заслушиваться до опьянения своих песен, что песни, которые он поет, суть его собственные песни! Сделайте-ка нам ваше собственное «фю-ию-ню-ию», и тогда я первый готов буду признать ваше право на самонаслаждение.

Вспомните и то, что мир кишит кругом вас примерами горьких последствий самоуслаждения. Я могу указать вам на целый кружок весьма почтенных людей, которые, заручившись одной идейкой, до того перемололи ее на все лады и образцы, что в настоящее время не могут без тошноты взирать друг на друга («Господи! и в нем сидит эта треклятая идея!»), не могут без ужаса вспомнить о той минуте, когда надобно будет вновь вести беседу, и вновь на ту же тему... потому что иной в запасе не обретается!

Если этого мало для вас, то укажу еще на каплунов. Этот достойный сожаления народ, не имея никаких иных видов в будущем, кроме удовольствия быть обкармливаемым до отвратительности, также с неистовством предается самоуслаждению, в продолжение всего того времени, покуда грецкие орехи, комки творогу и прочая дрянь переваривается в зобах их. А тут между тем не имеется даже ни одного наличного достоинства, а есть лишь весьма неприятный изъян, из чего вы можете убедиться, что для того, чтоб считать себя вправе наслаждаться самим собою, вовсе нет необходимости быть бог весть каким соловьем, а достаточно в иных случаях быть и простым каплуном.

Зачем вы взираете на себя как на историка и философа, тогда как вы просто-напросто летописец, а быть может, отчасти и водевилист?

На вашем месте я писал бы статьи мои так:

«Января... дня 18.. года. Город Полоумнов. Сего числа Удар-Ерыгин, в присутствии всех, проглотил шпагу, или, точнее сказать, целое скрал дело (имярек); он показал при этом столь замечательное проворство, что никто даже не ахнул.

Туземец».

И довольно! Неужели вы думаете, что статья эта, несмотря на свою сухую, летописную форму, менее задерет Удар-Еры-

---

[1] дорогой мой.

гина, нежели та же статья, разбавленная рассуждениями о том, что «в наше время, когда, казалось бы, воровство преследуется повсюду», или о том, что «в наше время, когда привычки законности мало-помалу проникают во все административные трущобы» и т. п.?

Смею вас уверить, Корытников, что нет. Прочитавши вашу статью, он скажет: «Что за черт! о каком это он воровстве говорит! разве я вор?» — ибо он убежден, и вслед за ним убеждено и большинство, что воровством называется только похищение чужих платков из карманов; акт же, подобный тому, который им совершен, он называет административною ловкостью. Или еще скажет: «О каких это привычках законности он там проповедует? Э! да он, кажется, позабыл пословицу: «что русскому здорово, то немцу смерть!» и наоборот: «Хорош бы я был, кабы действовал на законном основании!» И с своей точки зрения, он будет прав; конечно, это будет точка зрения удар-ерыгинская, но все-таки точка зрения, с которою, быть может, согласятся и многие другие: иные по слабости, другие из страха, третьи из корысти, четвертые, наконец, по привычке во всем соглашаться с лицом, обладающим известною степенью нахальства. Напротив того, прочитавши мою статью, он позеленеет, и губы его затрясутся. Поймите, что я оскорбил его в том, в чем он считал себя непогрешимым: в его проворстве! Затроньте его честность — он скажет, что честность понятие относительное; затроньте пользу общественную — он скажет, что еще бабушка надвое сказала, черное ли бело или белое черно. Но не затрогивайте его проворства! Он думал, что никто не подозревает, что он глотает шпаги; он воображал, что все глаза устремлены на него с детскою доверчивостью, что никому и на мысль не приходило видеть в нем фокусника... и вдруг! Уверяю вас, что он устыдится; устыдится хотя того, что был недостаточно искусным фокусником...

Столоначальник Благолепов гораздо с большим тактом попал пальцем в небо, когда кратко доложил читателю, что «судья у нас хороший человек» и проч. (зри выше). Вы испортили статью его, драгоценную по своей наивности; вы напустили туману туда, где следовало бы только исправить орфографические ошибки и проставить знаки препинания. Я уверен, что будь Благолепов не столоначальником, а секретарем уездного суда, он не дозволил бы вам переменить ни йоты в своем произведении, и был бы прав. Итак, больше краткости, любезный Корытников! больше той величественной краткости, которая прямо и неуклонно впивается в самую морду заподозренного в гнусности субъекта — и тогда смело дерзайте на поприще гласности!

И еще позволю себе одно замечание: вы не всегда удачно выбираете темы для ваших обвинений и не вполне удачную берете для них обстановку.

Начнем хоть с Федора Ильича. Слова нет, что происшествие, которое послужило канвой для вашей красноречивой статьи, весьма печальное происшествие, ибо оно лишило мещанку Залупаеву ее холостых строений. Но с другой стороны, если бы вы потрудились объясниться с обвиняемым, то, может быть, и вполовину не были бы так строги к нему. Вспомните, Корытников, что вы не просто нравы и обычаи административные описываете, а желаете поучать!

Итак, если бы вы спросили Федора Ильича: «По какому случаю вы, государь мой, не явились своевременно на пожар, бывший в доме Залупаевой?» — я уверен, что, вместо ответа, почтенный наш градоначальник молча повел бы вас на пожарный двор.

Там он представил бы вам:

1) Две пожарные трубы, из которых одна носит название *новой* и действует плохо, а другая именуется *старою* и, что называется, только колобродит, то есть брызжет во все стороны и обливает водой одних зрителей.

2) Четырех лошадей (отчего ж и не двух?), из которых две изъявляют сильное желание окунуться в купель силоамскую.

3) Десяток инвалидов, из которых двое в эту самую минуту, что называется, без задних ног.

— Что ж вы не представляете куда следует? — спросите вы.

— Представляем-с!

— Что ж отвечают?

— И отвечают-с!

— Да что отвечают?

— А отвечают: здорово живешь-с!

Таким образом, один пункт обвинения устранен, и Федор Ильич осязательно доказал вам, что никакой в свете пожар не может и не обязан бояться его, под опасением прослыть за трусишку и дурака.

— Но как же вам не стыдно, только и дела, что в карты дуться? — продолжаете вы свои обвинения.

— Помилуйте, отчего же-с? день-то деньской слоняешься, день-деньской всякую нечистоту по городу прибираешь — надо же и отдохнуть-с.

Вы начинаете понимать, что не виноват же Федор Ильич, что карты служат для него единственно доступным средством отдохновения; что тут есть нечто, кроющееся в самой среде, в которой он процветает; что Федор Ильич сам по себе не может ни жить, ни действовать иначе, нежели как он живет и

действует. И вы невольным образом повторяете: «Отчего же и не отдохнуть хорошему человеку?»

Я же, с своей стороны, могу, в оправдание нашего градоначальника, прибавить, что он вовсе не так равнодушно принял весть о пожаре. Напротив того, когда ему доложили: «Мещанка Залупаева горит, ваше высокоблагородие!» — то он стремительно бросил карты и воскликнул при этом: «Ведь дернула же ее нелегкая гореть в такую пору!» Стало быть, он страдал.

Но, кроме изложенных выше обвинений, вы позволили вашей фантазии увлечь вас дальше, нежели сколько было нужно для выполнения вашей же собственной задачи. Вы указали на героя, прославившего собою город А***, и пожелали, чтоб Федор Ильич, подобно этому герою, ходил с обгорелыми фалдами. Позвольте сказать вам, что упрек этот сколько несправедлив, столько же и неоснователен.

Сам Федор Ильич всего более возмущен был именно этим местом вашей статьи.

— Ну, скажите на милость! — говорил он в тот самый вечер собравшейся у исправника компании единомышленников,— ну, что ж было бы хорошего, если бы я, как профан какой-нибудь, без фалд по городу бегал? Да и на чей я счет, кукиш с маслом, буду фалды новые покупать?

Резоннее и складнее этого ответа я ничего придумать не в состоянии.

Или опять судья: чем виноват он, что тучен? Или заседатели: чем виноваты, что ковыряют в носу? Благолепов правду сказал, что это занятие всей их жизни, а если это так, то, следовательно, никто и не имеет права лишать их возможности предаваться этому занятию.

Извините меня, Корытников, но мне кажется, что вы скользите только по поверхности; вы только подозреваете, что есть где-то, в окрестностях ваших, болото, но где оно и какого оно свойства — это тайна, которую вам вряд ли суждено когда-нибудь проникнуть.

Но времена созрели, и как бы ни была малопоскусна песня Корытникова, он не может не петь. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концерт задают там воробьи! Стадами они перелетают с одной крыши на другую; вприпрыжку и как бы торопясь куда-то, снуют по улице; суетливыми и веселыми обществами хлопочут около обнажившихся кучек старой ветоши, и что за неистовые чирикания оглашают в то время теплый, насыщенный влагою воздух! Воробка, воробка! зачем так подпрыгиваешь? зачем, дурачок, так весело чирикаешь?

Но не дает ответа воробка, а только пуще и пуще чирикает, уморительнее и уморительнее подпрыгивает.

Подобно сему и Корытников, объятый весенним чувством, поет возрождение природы, поет красоту гласности и самоуправления, поет взволнованность своих собственных чувств. Спросите, зачем поет он песню про городничего, он в ответ споет вам песенку про почтмейстера; спросите, зачем поет про почтмейстера, он споет вам песню об исправнике... Дальнейших объяснений от него не требуйте, ибо это объяснение лежит в его артистически устроенном горлышке и в той весенней оттепели, которая чувствуется в воздухе.

И потому Федор Ильич поступил не только нечестно, но даже и нерасчетливо, преследуя Корытникова с такою неумолимостью. Во-первых, он этим преследованием ничего не выиграл, ибо хотя и удалось ему изгнать Корытникова, но место его тотчас же занял Благолепов, занял Наградин, занял Столпников, и в настоящую минуту нет в России города, в котором так часто раздавалось бы чирикание воробьев, как в нашем родном городе Глупове. Во-вторых, не достигши своей цели, Федор Ильич сделался грустен и раздражителен. Он без разбора хватал и ловил приезжающих на базар мужиков и торговцев, везде предполагая измену, во всяком неизвестном ему лице заподозревая насадителя клеветы и распространителя ложных слухов. Взятки стал брать пуще прежнего: первее всего, следующие ему вообще, по установленным праотцами обрядам, а потом следующие ему же за страх будущего обругания.

— Пускай пишут! пускай пишут! — приговаривает он, с каким-то диким наслаждением пересчитывая и разглаживая на столе ладонью поднесенные ему ассигнации.

Но нет! он обманывает лишь себя, говоря таким образом! В ту самую минуту, как он притворяется равнодушным к филиппикам Благолепова (доказывающего, между прочим, что Федор Ильич до того беспечен, что не дает себе даже труда выдергать вылезающие из его носа волосы), он чувствует, что внутри его нечто колышется и хохочет, что руки его судорожно сжимаются, как бы обвивая мысленно длинную шею Благолепова.

— Желал бы я! — восклицает он в бессильной ярости, но уже не тем здорово-зычным голосом, которым восклицал в начале нашей статьи, а тонами двумя пониже.

И все оттого только, что он чирикание воробья принял за крик орла! все оттого, что дернула нелегкая какую-то мещанку Залупаеву гореть в такое время, когда к нему, градоначальнику, привалило восемь в червях, а пожарные лошади

отъезжали в луга за сеном для собственного своего прокормления!

Да! разрушительно действуешь ты, о гласность, на организмы человеческие! Пенза! Уфа! Саратов! Ужели никто, никто не избежит ее всепожирающего зева! Везде, даже там, где прежде спокойно грабили почту на главной улице, даже там, где некогда, среди бела дня, безнаказанно застреливали людей (и никто не слыхал выстрела!), везде восстает свой домашний бард, берет в руки гармонику и воспевает славу или стыд своей отчизны!

Сам генерал Зубатов смутился и поистине не знает, что ему делать. И до него доползло весеннее чувство, но не подновило, а, напротив того, произвело лишь расслабление в ветхом его организме.

— Что это за женские гимназии? что это за воскресные училища? — восклицает он, ломая в отчаянии руки.

И в ту же минуту отправляет гонца за откупщиком.

Откупщик изумляется и вызывает кассира.

— За майскую треть дадено? — спрашивает он.

— Дадено,— отвечает кассир.

— Что за черт!

Однако, делать нечего, напяливает фрак и отправляется.

— Ну, мой милый! — еще издали кричит ему генерал, как-то особенно приветливо улыбаясь,— вот теперь-то мы посмотрим, действительно ли вы патриот?

Его сивушество слегка съеживается, точно ему змею за пазуху пустили, но в то же время старается сохранить веселый и непринужденный вид, ибо вздумай он нахмуриться — генерал, чего доброго, скажет ему: «Невежа! пошел вон!»

— Что прикажете, ваше превосходительство? — говорит он, развязно расшаркиваясь.

— Для себя — ничего, для отечества — многое! — отвечает генерал, пронзая откупщика взорами и как бы измеряя глубину его патриотизма.

— Прикажете бал-с... маскарад-с... ваши слуги, ваше превосходительство!

— Гимназию! — восклицает генерал неожиданно.

Его сивушество стоит озадаченный, очевидно недоумевая, какое может иметь отношение очищенная и трехпробная к отечественному просвещению.

— Гимназию; женскую гимназию! — повторяет генерал, полоснув себя краем ладони по горлу в знак того, что гимназия у него вот где сидит.

Откупщик покраснел как рак. Он понимает, что как тут ни вертись, а от издержек не отвертишься, но не умеет еще сооб-

разить, какою суммою можно отделаться. А ну, как ляпнешь сдуру такой куш, какого совсем и не требуется!

— Да, мой милый! — грустно говорит между тем генерал,— было... было! Было время, когда мы думали о том, как бы общество наше соединить... чтоб пикники там... parties de plaisir... [1] Теперь это все надо кинуть!

Генерал умолкает и как будто начинает грустить, но через несколько минут поправляется и продолжает уже с некоторою молодцеватостью:

— Теперь мы о гимназиях рассуждаем... да!

Но его сивушество все еще не собрался с духом. Ему слишком отчетливо представляются и недавнее пожертвование спирта для освещения города, и недавняя покупка десяти фунтов чаю для больницы, и другие посильные жертвы... ах, черт побери, да и совсем!

— Конечно, ваше превосходительство,— говорит он наконец,— гимназия... и в особенности для благородных девиц... очень приятное заведение.

— Ну-с?

— Я к тому, ваше превосходительство... что еще в недавнее время... освещение города... а также и другие общеполезные устройства-с...

— Ну-с? — повторяет генерал.

Откупщик откашливается.

— Я ничего, ваше превосходительство... мы гимназиям не препятствуем-с... мы, напротив того, с нашим удовольствием... я только насчет того, что еще в недавнее время...

— Гм?.. стало быть, вы допустите, чтоб в какой-нибудь мерзкой газетишке на всю Россию опубликовали, что *у меня* нет гимназии?

— Помилуйте, ваше превосходительство, зачем же-с?

— Стало быть, для вас все равно, что какой-нибудь щелкопер осмелится выразиться обо мне, что я не имею достаточно энергии, что я человек несовременный... что *у меня* нет гимназии, наконец?

— Я, ваше превосходительство...

— Так я вам докажу, милостивый государь, что у меня еще есть энергия! — восклицает генерал, величественно выпрямляясь.

Одним словом, его сивушество смиряется, и вопрос о женской гимназии, едва-едва не претерпевший крушение, разрешается благоприятно. В следующем же нумере местных ведомостей редактор уже предвкушает ее учреждение в особо написанной по этому поводу статье:

---

[1] прогулки.

СЛУХИ

Слух носится, что, благодаря неусыпным попечениям (чьим, на это ответит всякое сердце Полоумновской губернии), у нас в скором времени будет открыта женская гимназия и что все нужные распоряжения уже сделаны. Мы уполномочены объявить, что старания начальства в этом истинно полезном и благотворительном деле встретили полное и просвещенное содействие со стороны местного управляющего акцизно-откупным комиссионерством купца М., готового, как известно, на всякого рода пожертвования, имеющие целью счастие и пользу ближнего.

Носятся и другие, не менее отрадные слухи (как, например, об открытии в нашем городе воскресных классов), но покамест умолчим о них, предоставляя себе право поделиться с читателем нашими надеждами в то время, когда они будут более близкими к осуществлению.

Но так как всякая медаль имеет свою хорошую и свою дурную сторону, то не можем пройти молчанием, что дело просвещения и в нашей губернии не везде встречает одинаковое сочувствие. Так, например, дикие и невежественные нововласьевцы и доселе упорствуют в своем коснении и твердо принятом намерении оставаться безграмотными во что бы то ни стало. Когда же луч солнца осветит это непроходимое болото?

— Вот тебе и с праздником! — говорит нововласьевский городской голова Прудов, прочитав эту любезность.

— За что ж он нас по зубам-то треснул? — спрашивает, в свою очередь, гласный Клубницын.

— А так вот: проезжал поблизости — и заехал! Поди, судись с ним!

И я, в свою очередь, спрошу вас, почтенный редактор полоумновской газеты: за что вы треснули по зубам граждан города Нововласьевска?

Я с вами наперед соглашаюсь, что просвещение — хорошая вещь, что учение — свет, а неучение — тьма и т. п. Сознаюсь также, что образование, которое дается нашим девицам, убийственно. Образованнейшая из них еще может порассказать вам кое-какие подробности о Гвадалквивире, потому что

Ночной зефир
Струит эфир,
Шумит, бежит Гвадалквивир...

или о Бренте, потому что

Ночь весенняя дышала
Ароматной тишиной.
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной.

Но чуть дело коснется Мансанареса, последует неизбежный тупик, ибо Мансанарес речка маленькая и, должно полагать, очень вонючая, если ни в одном русском романсе об ней не упоминается. Согласен, что при таком уровне образования девицы наши не в состоянии интересоваться полезною деятельностью географического общества, ни даже принять участие в споре, возникшем по поводу определения действительного дня смерти Бориса Годунова.

Но чем виноваты во всем этом нововласьевские граждане? Тем ли, что в среде их не отыскалось, как в Полоумнове, благодетельного откупщика? Тем ли, что их уж тошнит от общеполезных устройств и сопряженных с ними пожертвований? Тем ли, что они, быть может, имеют причины (по их разумению, даже весьма законные) не желать именно *ваших* общеполезных устройств?

И между тем, не разобравши дела порядком, вы разогорчили нововласьевских граждан всех до единого!

Повторяю: разрушительно действуешь ты, о гласность! и не только на отдельных людей, но и на целые общественные организмы. Несмотря на учреждение женских гимназий и воскресных школ, несмотря на процветание трезвости, несмотря на успехи, которые в последнее время сделала мысль о самоуправлении, провинциальный наш люд скучает и бьет в баклуши. Прежняя привольная жизнь провинции исчезает все более и более; вместо нее является какая-то чопорная натянутость, какой-то нелепый антагонизм, еще не высказывающийся явно, но уже дающий себя чувствовать особого рода метанием взоров, расширением ноздрей, покорублением уст и общим рылокошением. Старая веселая Русь (old merry Russia) прячется по домам и втихомолку переворачивает анекдоты о загнанных жидах и обманутых немцах. Подобно стыдливым фиалкам, члены ее собираются друг у друга интимными кружками, и тут, сокрушаясь и вздыхая, беседуют о временах минувших, когда и солнце горело светлее, и земля, без помощи удобрения, приносила сам-двадцать, и Фильки отправлялись на конюшню беспрекословно, и винокуренные заводчики уделяли милостивцам по четыре копейки с ведра, а не по две, как ныне. Вот они все тут: вот и заиндевевший обладатель множества Филек и Прошек, и застенчивый от-

купщик, и облизывающийся аристократ из казенной палаты,— одним словом, все те, которым дорого, чтоб наша отечественная цивилизация развивалась постепенно, а не скачками.

— Какое изобилие рыбы в реках было! — тоскует помещик Птицын.

— И какая была все крупная-с! — вздыхает недоросль из дворян Сагитов.

Присутствующий при этом разговоре отставной капитан Постукин хотя и не принимает словесного участия в разговоре, но оттопыривает губы и отмеривает руками два аршина, чтоб показать наглядно, каких размеров водилась в реках рыба.

— Во всем, во всем изобилие было! — вступается генерал Голубчиков, облизываясь и сгорая нетерпением дать разговору винокуренное направление.

— И музицки больсе вина кусали! — подвиливает хвостом Герш Шмулевич.

— И винокуренные заводчики свой расчет находили! — подхватывает Голубчиков.

— Да и люди были какие-то особенные! — рычит отставной корнет Катышкин,— примерно доложу хоть насчет дорог — что это за бесценный народ в дорогах был! Засядешь, бывало, в трущобу, экипажи были всё грузные, от лошадей так и валит пар — ну, просто смерть! Ничуть не бывало! Кликнешь только: «Трошка!» Слезет это Трошка с козел: тут ногой, там плечом — и пошла в ход колымага!

— Сердечный народ был! любовный!

— И как, бывало, все просто делалось! Угодил, бывало, финизерв какой-нибудь к обеду сочинил — рюмка водки тебе; сплошал, таракана там, что ли, в суп пустил — не прогневайся, друг! сейчас его au naturel, и марш на конюшню!

— И не роптали!

— Не только не роптали, а еще бога за господ молили, поильцами, кормильцами называли!

Но — увы! как ни велики, как ни искренни сетования Постукина и Сагитова, не подлежит сомнению, что прежнее веселое время исчезло без возврата. Какое-то мрачное шпионство, какое-то пошлое подглядывание и подслушивание всасываются повсюду: и в присутственные места, и в клубы, и в частные дома, не говоря уже об улицах, перепутьях, распутьях и местах пустопорожних. Садитесь ли вы в клубе за карты, вы, даже зажмурив глаза, ощущаете, как из темного угла сверкают на вас глаза местного публициста, как будто

говоря вам: «Малодушный! как мог ты найти в себе решимость заниматься презренными картами в то время, когда отечество столь сильно нуждается в хороших людях!» Идете ли вы по улице и, зазевавшись по сторонам, ощущаете необходимость заняться носом, перед вами из земли вырастает другой публицист и, прерывая ваше занятие, вопиет: «Время ли, сударь, ковырять в носу, когда отечество требует служения беспрестанного, неуклонного и неумытного?» Вздумаете ли созвать к себе гостей, перед вами восстает третий закорузлый в обличениях публицист и, поедая приготовленные закуски и яства, в то же время неистовствует руками и ногами, мещет огненные взоры и одаряет веселящихся язвительными улыбками, ясно говорящими: «Смейтесь! веселитесь! скоро, скоро наступит благорастворение воздухов, и помелом очищено будет ваше нечистое торжище!»

Одним словом, нет возможности предпринять самое простое действие: сшить себе новое пальто, купить фунт икры и т. д., чтоб действия этого не подсмотрел местный бард и тут же бесцеремонно не выразил, что «чем икру-то пожирать, лучше бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать!».

О, Корытников! дай мне вздохнуть на минуту! Я готов умереть, если это может доставить тебе удовольствие, но не смотри же на меня своими черными глазами, покуда я говорю последнее «прости» жене и детям!

Но нет, даже здесь, даже в моем уединении, ты не оставляешь меня! Покуда я дописываю настоящую статью, из-за тонкой перегородки, отделяющей мою квартиру от соседней, долетают до моего слуха знакомые звуки. То беседуют два друга-публициста, и в разумной их беседе принимает участие и жена моего соседа.

— А трезвость продолжает-таки делать успехи! — говорит гость,— еще несколько усилий, и победа за нами!

— Ах, какой циркуляр насчет этого в Самаре вышел! — восклицает моя соседка.

— Н-да, нашему генералу такого не написать! — отзывается хозяин дома.

— А в Саратове, напротив того, дикости какие-то делаются! Представьте себе, там трезвых людей бунтовщиками называют!

— Всякая плодотворная идея имеет своих мучеников! — говорит гость.

— Нет, воля ваша, а со стороны саратовских властей это просто отсутствие всякого понятия о гражданской доблести.

— Ах, Марья Ивановна! разве всякий в состоянии вместить в себе это понятие? — уныло спрашивает гость.

— Конечно... однако ж, какое варварство!

Разговор стихает; звуки стаканов и чашек мешают мне следить за продолжением его. Одна только фраза долетает до меня, и рука моя невольным образом передает ее печати:

— А я сегодня читала «Морской сборник»! — говорит жена соседа.— «Правительственные распоряженія» до такой степени увлекли меня, что я совершенно забылась!

1860 г.

КЛЕВЕТА

(Посвящается добрым моим приятелям)

Что Глупов возрождается, украшается и совершенствуется, это, я полагаю, давно всем известно. Он не имел никаких понятий — явились понятия; он не имел страстей — явились страсти. Глупов задран за живое.

Глуповцы спокойно жили доселе в своем горшке и унавоживали дно его. Когда-то какая-то рука бросила им в горшок кусок черного хлеба, и этого было достаточно для удовлетворения их неприхотливых потреб. Постепенно этот кусок сделался истинным палладиумом глуповского миросозерцания, глуповских надежд и глуповского величия. В нем одном находили для себя глуповцы источник жизни и силы; он один имел привилегию пробуждать от сна и вызывать к деятельности этих зодчих праздности, этих титанов тунеядства и чревоугодничества. Они суетились, бегали и ползали; они плевали друг другу в глаза, и в нос, и в рот (и тут же наскоро обтирались); они толкались и подставляли друг другу ногу... и все из-за того, чтоб стать поближе к лакомому куску, чтоб вырвать из него зубами как можно больше утучняющего вещества.

Настало другое время; явилась другая рука. Стало казаться странным, что божий дар обгаживается самым непозволительным образом; возникли опасения, что при дальнейшем обгаживании божий дар может окончательно утратить свой первобытный образ; почувствовалась необходимость, чтоб та же рука, которая бросила приваду в горшок, взяла на себя труд и вынуть ее оттуда. Рука явилась и ошпарила глуповцев.

Понятно, что после этого Глупову невозможно не развиваться и не стремиться к совершенству. Он и рад бы снова юркнуть в горшок, но видит, что кипятку еще предостаточно,

и потому сгрубить не осмеливается. Но не менее понятно и то, что Глупов, хотя и доведенный столь решительным оборотом дела до раскаяния, не должен, однако ж, питать никаких особенно благодарных чувств.

Свои чувства он таит про себя и, чтоб успешнее надуть публику, шевелит усами, целует ручку и уверяет, что исправился и вперед не будет. Но не увлекайся, о неопытный путник, манящею наружностью зеленого ковра, покрывающего трясину! Не успеешь ты поставить на него ногу, как трясина уж засосет тебя; не успеешь ты войти во вкус глуповских протестаций, как Глупов уж засосет тебя!

Я достаточно наблюдал над нравами глуповцев, чтоб уметь распознавать истинные движения сердец их от движений мнимых. Я знаю, что если глуповец, несмотря на мое упорство, ловит у меня руку поцеловать, то это значит, что он почему-то меня боится, что он ждет от меня какой-то милости. Быть может, он заблуждается; быть может, я не имею возможности сделать ему ни добра, ни зла, но я напрасно стал бы заверять его в этом: не поверит ни за что в свете. Он подлец и потому убежден, что всякий, кто имеет силу, имеет ее для того, чтоб бить, и что от этих побоев можно избавиться только кривляниями. В таких обстоятельствах, если я сам человек глупонравный и бесстыжий, то могу делать над глуповцем все, что моей душе угодно: могу заставить его снимать с меня сапоги; могу заставить его брать сигару зажженным концом в рот, пить из полоскательной чашки, представлять Фанни Эльснер и вообще производить все увеселительные упражнения, на изобретение которых так торовато глуповское воображение. Но зато я знаю также, что если я чуть-чуть оплошал, если глуповец почему-либо утратил веру в мою силу, если он не имеет побуждения ни бояться меня, ни ждать от меня милости, он сейчас же подбежит к столбику и поднимет ногу.

И потому, когда глуповец гримасничает и говорит мне «ха-ха!» — я всегда совершенно явственно слышу, что в утробе его бурчит «хо-хо!»; когда глуповец жмет мою руку, я всегда самым положительным образом ощущаю, что в его руке есть трясение какое-то, есть ехидная какая-то судорога; когда глуповец лезет целоваться со мной, я знаю наверное, что в это время у него щелкают зубы.

Зрелище унизительное и в высокой степени безнравственное! Надо без оглядки бежать из этой страшной среды, чтоб не засосаться в нее, чтоб не осквернить свою душу.

Во всяком случае, глуповскими протестациями в любви увлекаться нельзя. Во-первых, глуповец слишком ошпарен, а во-вторых, он ищет только случая, как бы поудобнее и побез-

наказеннее поднять ногу. Повторяю: не доверяй слишком опрометчиво, о неопытный путник, манящей наружности зеленого ковра, покрывающего сию трясину! Ковер — это распухшая от водки рожа глуповца; трясина — это исполненная ехидства душа его!

Самая простая и вместе с тем самая действительная манера поднимания ноги — это сплетня и клевета, и глуповец пользуется ею до пресыщения. Я бы сказал, что сплетня разъедает Глупов, что со временем она должна вконец уничтожить его, если бы не знал наверное, что тут ни разъедать, ни уничтожать нечего, что тут живет одно тление, которое потому и живет, что оно тление. Сплетнею и клеветой занимался Глупов еще до ошпаривания, еще в то время, когда он, в веселии сердца, унавоживал дно горшка. Он был великий на это художник и предпочитал этому искусству разве искусство смешить и увеселять своих добрых начальников. Первое он называл своим незаконопротивным упражнением души и сердца, второе — своею политикой. Первое доставляло ему утешение; второе бросало ему в рот катышки со стола богатого Лазаря.

По-видимому, какое дело Флору Лаврентьичу Ржанищеву, что у Николая Семеныча Примогенова нос вавилонами вырос? Ан дело, потому что Флор Лаврентьич об том только и печалится.

Какое дело Федьке Козелкову, что Сеня Бирюков и лег и встал у Катерины Силантьевны? Ан дело, потому что Федька Козелков находится по этому случаю в больших попыхах: он наскоро сообщает об этом по секрету своему другу Володьке Паршивину, а Володька Паршивин приходит в ужас и тут же делится полученною новостью с Петькой Перетыкиным.

Какое дело кабаньей жене, что поросенков брат третьего дня с свиньиной племянницей через плетень нюхался? Ан дело, потому что кабанья жена до исступления чувств этим взволнована, потому что кабанья жена дала себе слово неустанно искоренять поросячью безнравственность и выводить на свежую воду тайные поросячьи амуры.

Какое дело всем этим Терентычам, Сидорычам и Трифонычам, что я ел сегодня пирог с капустой, потом заходил к Матрене Ивановне и у нее ел пирог с налимьими печенками? Ан дело, потому что едва я вхожу в залу клуба, как ко мне подлетает Терентьич.

— А вы сегодня пирог с капустой ели? — говорит он и при этом строит такую рожу, как будто хочет спросить: «А раскуси-ка, брат, как я это узнал?»

— Ну да, ел.

Не отлетел еще Терентьич, как подлетает Сидорыч:

— А вы сегодня у Матрены Ивановны были?

— Ну да, был.

За ним подлетает Трифоныч:

— А вы сегодня у Матрены Ивановны пирог с налимьими печенками кушали?

— Ну да, ел.

И благо мне, если я ограничусь краткими ответами. Но если я истинный глуповец, то непременно пущусь в разыскания, буду мучиться мыслью, каким образом все это узналось, буду допытываться, буду приставать. И выйдет из этого такая благодатная штука, которая самым приятным образом наполнит мое существование в продолжение нескольких дней.

Все это, однако ж, было очень невинно и потому мало кого трогало. Конечно, рассказ о лежании и вставании Сени Бирюкова довольно пакостного свойства, но свойство это значительно умерялось тем, что если Федька Козелков рассказывал о похождениях Сени, то и Сеня, в свою очередь, передавал под величайшею тайной, что вчера ночью достоверные люди видели, как Федька влезал через окно к Матрене Ивановне, и что вследствие этого сегодня утром у Федьки появились золотые часы. И оба были довольны, и оба не питали ни малейшей друг к другу претензии.

Да и можно ли было оставаться недовольным? Если Флор Лаврентьич треснет Николая Семеныча по уху, а Николай Семеныч также треснет за это Флора Лаврентьича по уху,— стало быть, они квиты. Если Федька Козелков плюнет Володьке Паршивину в лицо, а Володька Паршивин за это также плюнет Федьке Козелкову в лицо,— стало быть, они квиты. «Гарсон! подай шампанского!» — и все тут. Это круговая порука, в которой не было ни одного не битого и насквозь не исплеванного.

Однако бывали клеветы и погнуснее.

Поверит ли, например, благосклонный читатель, что в одной из глуповских палестин некоторый старец десять лет состоял под судом по жалобе эстляндской уроженки девицы Фрик на обольщение ее тем коварным старцем и что жалоба эта и самая девица оказались впоследствии остроумным вымыслом некоторых развеселых глуповских робят, в котором принимал участие и сам глуповский судия? А между тем такое дело было, я видел его собственными моими глазами!

Девица Фрик! — а позвать старца к ответу! Хи-хи!

— Милостивые государи! — взывает старец,— никогда такой девицы не бывало! Сами вы видите, что это пасквиль!

Нужды нет! — отнестись к начальству Эстляндской губернии о разыскании девицы Фрик... Хи-хи!

— Нет девицы Фрик! — ответствует начальство Эстляндской губернии.

А сделать девице Фрик повсеместный по Российской империи розыск... Хи-хи!

А предписать глуповской земской полиции произвести по прошению девицы Фрик настрожайшее следствие... Хи-хи!

А объявить старцу, что, по свойству взводимого на него обвинения, он обязывается отыскать лицо, которое согласилось бы взять его на поручительство... Хи-хи!

И вот старец, который, быть может, мечтал только о том, чтоб остаток дней своих посвятить посыпанию песком аллей своего сада, чувствует существование свое отравленным. Он день и ночь строчит ответы и объяснения; он мечется как угорелый и сорит деньгами, чтоб достать по себе поручителя («Чего доброго, еще напляшешься с таким сорванцом!» — не без иронии говорят глуповцы), он подает жалобу за жалобой, он ездит, он кланяется, он умоляет... Но нет ничего мрачнее глуповцев, когда они принимаются острить! Напрасно кланяется и умоляет старец — они не внемлют; они стоят себе в кружке да покатываются.

— Скажите пожалуйста, какая неприятная история! — говорит один из них огорченному старцу.

Старец клянется, что он невинен.

— Да как же ты, Панфил Пантелеич, не умел концы в воду схоронить? — говорит другой.

Старец вновь клянется, что невинен.

— Э! да ты Дон-Жуан, Панфил Пантелеич!

— Э! да тебя, брат, семейному человеку в дом к себе опасно пускать!..

И, проводя таким образом жизнь, глуповцы возносили к небу благодарные молитвы, блаженствовали, наслаждались и умирать отнюдь не желали. Казалось бы, что такого рода занятие следовало бы оставить, особливо в настоящее время, когда и т. д. Казалось бы, что кабаньей жене надлежало бы более интересоваться тем, что в Глупове о сю пору не заведено женской гимназии, нежели амурными похождениями поросенкова брата. Но, увы! все это только «казалось бы»! Отнюдь не следует забывать, что глуповское возрождение есть в полной мере глуповское и что, следовательно, самые проявления и последствия его должны быть глуповскими.

Глуповец упорен, и от привычки своей (особливо если она ему пришлась по сердцу) не отстанет ни за что в свете. Раз-

рушайся в глазах его вселенная, лопайся откуп, сокрушайся крепостное право — он останется верен своей привычке и тверд как скала. Казалось бы, какая дрянная привычка (и как бы легко ее бросить!) ковырять в носу, класть в рот пальцы, плеваться, когда говоришь, а глуповец и ее не оставил! Как же после этого требовать от него, чтоб он бросил сплетничать и клеветать, когда в этом заключалась вся отрада его жизни, весь внутренний смысл ее? Очевидно, что такое требование было бы не только не практично, но даже и крайне притязательно.

А потому никто и не предъявляет подобного требования, а потому никто и не мечтает, чтоб глуповец когда-нибудь мог перестать быть глуповцем.

Но глуповец ошпарен, и потому клевета его принимает другой характер. Прежде она была легкой забавой, бесценным препровождением времени; теперь она делается клеветою злостною, клеветою, имеющею, черт побери, политический оттенок.

Глуповец любит пригибаться к земле и прикидываться сидоровой козой, но он помнит. Он так хорошо помнит то огорчение, которое причинило ему внезапное ошпаривание, что даже дает себе слово пересказать об этом в назидание всему свиньину потомству («вот, мол, друзья мои, какое страшное дело было, что у нас в горшке словно мгла поднялась»). На первый раз он был как будто ошеломлен, но теперь он уже шевелит усами и нюхает, но теперь изъязвленные места начинают уж вновь мало-помалу зарастать шерстью. Он нюхает, откуда бы могла прийти на него такая напасть, но так как голову высоко поднять не может, то нюхает больше поблизости. И всякий смертный, не разделяющий безусловно глуповских убеждений, не погрязший безусловно в болоте глуповского миросозерцания, кажется ему личным врагом, которого надлежит приличным образом опакостить. Всякий, кто заблаговременно выполз из горшка, кого ошпаривание не застало врасплох, кажется ему отступником от отеческих преданий, против которого дозволительна всякая гнусность. Эта мысль охватила все существование глуповца. С тех пор как она в нем засела, он видит веселые сны, он чувствует в себе какую-то страстность, он уподобляется тому немощному старцу, который, женившись на молодой и здоровой девушке, явственно ощущает, как ветхое его тело крепнет и восстановляется на счет молодого и свежего организма. Он позабыл даже о девице Фрик, он не обращает внимания на похождения поросенкова брата. Ненависть сделала его почти красавцем; она сделала его почти умным...

Но если цель и намерения клеветы изменились, то приемы и содержание ее остались те же, какие были и прежде. Поговорим наперед о содержании.

Страннее всего то, что глуповцы не могут придумать клеветы более гнусной и омерзительной, как назвать своего противника глуповцем же. В этом отношении они патриоты самые несостоятельные. Русский, например, никогда не скажет в укоризну французу: «Ах ты, русак-вахлак!» — но либо назовет его мусью беспардонным, либо напомнит ему то славное время, когда

Барклай де Толли и Кутузов
В Москве морозили французов...

Но глуповец — совсем дело другое. Он так и прет вперед с своим «глуповцем».— Мотри, мотри, робята! — говорит он,— ведь это наш! ведь это наши робята на солнце онучи сушат!

Я полагаю, это происходит оттого, что горизонт глуповской мысли еще не достаточно расширился, что глуповец еще не успел выработать себе иных понятий, кроме тех, которые дала ему жизнь в горшке. Например, он драл взятки с живого и с мертвого, и по писку, который поднимали обыватели горшка, подвергнутые такой реквизиции, заключал, что им не должно быть очень сладко. И хотя это соображение отнюдь не останавливало его от дальнейших подвигов на том же поприще, но в голове его уже рождалось смутное понятие, что взятки дело нехорошее и что тот, кто занимается таким делом, есть подлец. От этого, даже в его понятии, слово «взяточник» сделалось словом ругательным. От этого, если он хочет уязвить своего врага, то распускает слух, что он взяточник. И выходит тут нечто странное, потому что, в сущности, глуповец ругается здесь своим собственным именем. И выходит это столь же странно, как если бы Сила Терентьич, вздумав хорошенько отделать Терентья Силыча, не нашелся сказать ему ничего более гнусного, кроме фразы: «Ах ты, Сила Терентьич!»

Возьмем другой пример. Глуповцу нередко приходилось претерпевать побои, и он всякий раз чувствовал, что это больно. Сверх того, как он ни был обмят и обколочен, но не мог в то же время не сознавать, что это и стыдно. Но если даже ему казалось больно и стыдно принимать побои, то каково же должно это казаться тому, кто в продолжение целой жизни не испытывал ни малейшей затрещины? Это соображение проникает страшным лучом света в его голову. Глуповец понимает, что положение этого человека должно быть нестерпимо,

и потому, если хочет уязвить своего противника, то распускает слух, что его побили. И тут глуповец обругал своим собственным именем, и тут Сила Терентьич назвал Терентья Силыча — Силой Терентьичем!

Возьмем третий пример. Известно, что глуповец имел совесть покладистую и готов был на всякий подвиг, лишь бы инициатива подвига исходила от лица, могущего дать на водку. Стоило только поманить глуповца рукой и сказать ему: «Вот тебе, Сидорыч, двугривенный: поди и подслушай там-то и там-то!» — и Сидорыч устремлялся стремглав; он уделял гривенник своему сообщнику и на остальной гривенник не только подслушивал и подсматривал, но даже и присочинял. С такими теплыми парнями можно было действовать широкой рукой: и дешево, и сердито. Однако подобные подвиги не всегда же сходили глуповцу с рук удачно. Случалось, что ему с замечательною щедростью накладывали за это и в зубы, и в нос, и в скулы, а нередко повреждали и самые бока. Глуповец помнит это и по степени полученных повреждений заключает о непригодности ремесла. «Стало быть,— рассуждает он,— скверно подглядывать! если меня бьют за это!» А потому, если он хочет уязвить своего врага, то дает почувствовать, что он подкуплен, что он действует так, а не иначе, не потому, что это согласно с его убеждениями, а потому, что так велено.

А глуповцы ахают и верят. Дыхание спирается от радости в их зобах; им сладко и жутко от этих рассказов; они молодеют и переносятся мыслью к тем незабвенным временам, когда их били ежеминутно, били, не зная усталости, били и притом мазали сальной свечой по морде, били и притом приговаривали: «Не подслушивай! не мошенничай! не передергивай в карты!» Они верят, они не могут не верить, если бы даже и хотели. Они так созданы, что не в силах даже представить себе, чтоб мог существовать такой мир, в котором не было бы ни взяток, ни подглядывания, ни мордобития!

В этом случае клевета приобретает характер естественный, почти законный.

Положим, что горькая сила неизбежной судьбы приковала вас к Глупову, акклиматизировала среди глуповцев. Положим даже, что вы до такой степени акклиматизировались, что ничем особенным и не отличаетесь от глуповцев; что у вас, как и у них, два желудка и только половина головы; положим, что вы, в довершение всего, играете в карты и не презираете водку. По-видимому, тут есть все, чтоб обворожить глуповцев, чтоб приобрести между ними популярность и снискать их доверие. Однако нет. У глуповца имеется своего рода чутье; он

нюхает день, нюхает два, и наконец поднюхивает-таки в вас нечто несродное Глупову. И с этой поры он вас ненавидит, хотя и продолжает целовать ваши руки; он ненавидит вас тем сильнее, что любовь к картам и снисхождение к водке кажутся ему с вашей стороны лишь преднамеренным притворством. С этих пор он считает себя вправе взнести на вас всякую мерзость из того богатого запаса мерзостей, который хранится в его душе.

И тут-то именно выступают на сцену истинные глуповские приемы. Поговорим о приемах.

И в этом случае глуповец остается верен самому себе, и здесь он прежде всего памятует, что за клевету могут помять ему бока. Он знает, как это больно, и потому действует с осторожностью.

— Вы знакомы с мосье Шалимовым? — спрашивает петухову свояченицу курицын племянник.

— Еще бы! — отвечает петухова свояченица.

— Правда ли, что он...? — подвиливает курицын племянник, показывая рукою хапанца.

Петухова свояченица, которая за минуту перед тем даже не мечтала о возможности подобного вопроса, внезапно воспламеняется.

— Еще бы! да это весь Глупов знает! — восклицает она и как-то желчно при этом обдергивается.

По-видимому, это неосторожно; по-видимому, петухова свояченица рискует, что мосье Шалимов всенародно за это ее поцелует. Однако она не смущается. Не смущается она потому, во-первых, что у мосье Шалимова нет привычки целовать морвёзок, а во-вторых, потому, что она ни на минуту не забывает, что живет в Глупове и что в этом любезном городе есть такое болото, которое в одну минуту засосет в себя какую угодно мерзость.

И действительно, вслед за курицыным племянником является к ней на выручку индейкин сын.

— А вы знаете, что курицын племянник рассказывал про мосье Шалимова? — спрашивает она его.

Индейкин сын разевает рот.

— Он говорит, что мосье Шалимов ужаснейший взяточник! — продолжает она и, в видах собственного своего ограждения, прибавляет: — Впрочем, это не может быть!

Но индейкин сын уже проглотил. Он берется за шляпу и спешит поделиться новостью с куликовой тещей, которая, в свою очередь, передает ее цаплину внуку, а цаплин внук сообщает сестрицам-чекушечкам.

— Слышали? слышали? — стонет болото.

— А слышали ли вы, какую намеднись наш чибис трепку мосье Шалимову задал? — ввязывается кукушкин сирота.

— Неужто?

— Лопни мои глаза!

— Да кто ж это видел?

— Да где ж это случилось?

— Ай да чибис!

— А я так наперед знал, что наше болото задаст себя знать! Ай да лихо!

Мосье Шалимов сидит в это время дома и, по своему обыкновению, скорбит о глуповцах. Он думает о том, какими средствами можно бы сделать из них умновцев, и до такой степени погружен в свои мечтания, что даже не замечает, что против него уже с полчаса, как очарованный, сидит индейкин сын и, очевидно, сгорает нетерпением нечто снаушничать. Натурально, мосье Шалимов, выслушав мерзость, прежде всего плюет, но потом размышляет и так, что не жирно ли будет, если курицыным детям будут даром проходить все их противоестественности. Расправа.

— А ну-те, подлецы! — говорит мосье Шалимов,— сказывайте, кто из вас первый эту пакость выпустил?

— Это не я, это цаплин муж! — спешит прежде всех отозваться петухова жена.

— Это не я, это сестрицы-чекушечки выдумали! — оправдывается цаплин муж.

— Что ты? пьян, что ли? Не при тебе ли куликова сноха это рассказывала? — щебечут, не на шутку струсив, сестрицы-чекушечки.

— Ан сами вы пьяны! Не верьте им, добрые люди, ведь они известные сплетницы! — возражает куликова сноха.

И тут начинается одна из тех сцен взаимных поклепов и обоюдных доносов, истинная прелесть которых понятна только глуповцу. В продолжение многих часов воздух оглашается односложными возгласами, вроде «нет, ты!» «ан, ты!», покуда наконец кукушкин сирота не наплюет в глаза цаплину мужу в доказательство своей невинности.

Засосало! засосало-таки проклятое болото!

Нет сомнения, что существует же на свете тот курицын сын, который считает для себя полезным и выгодным наклеветать на Шалимова; но кто именно этот курицын сын и какая именно курица, дымчатая или крапчатая, высидела такую ехидную гадину, это остается тайною глуповской почвы и глуповской природы.

Однако, постой же, достойный сын Глупова! умерь на минуту клеветнический пыл свой, и объяснимся.

Я очень хорошо понимаю, что ты имеешь полное право клеветать. Ты глуповец, и в качестве глуповца не можешь себе представить оружия более легкого и более действительного. Ты убежден, что Шалимов был не непричастен тому ошпариванию, которое наделало тебе столько хлопот, итак, клевещи на него, облыгай его, удовлетворяй потребности твоего сердца без церемоний!

Но для чего ты хоронишься? для чего ты бежишь в кусты, когда нить исследования приводит к тебе? Для чего ты не говоришь прямо: «Да, это я солгал! это я наклеветал!»

Не оттого ли, что ты жалеешь свои щеки? Нет, ты не жалеешь их. Ты очень хорошо понимаешь, что они самой природой созданы для пощечин; ты неоднократно доказывал это самым убедительным образом, ибо не только безгорестно *принимал пощечины, но даже, немедленно после того,* отправлялся играть в бабки. Не оттого ли, что в тебе еще остались кой-какие огрызки совести, которые мешают тебе смотреть прямо в глаза честным людям после такого подвига? Нет, и не оттого, ибо ты достаточно совершал на своем веку и не таких подвигов и всегда смотрел на свет божий не только прямо, но даже с нахальством.

Сказать ли тебе, почему ты прячешься?

Ты прячешься потому, что чувствуешь панический страх при одном имени Шалимова. Шалимов, в твоих понятиях, не просто молот, могущий раздробить твою голову, не просто ступа, которая может стереть тебя в табак: Шалимов — это принцип, который подрывает все основы твоей внутренней жизни, Шалимов — это навеки нарушенный твой сон.

Еще никогда в жизни ты не испытывал такого потрясения, какое испытываешь в настоящее время. В тебе совершился целый психологический переворот. Ты был убежден до сих пор, что у твоей жизни есть только физическая основа, и эта сладкая мысль наполняла твою душу тем тихим веселием, которое может ощущать только невинность теленка, заранее уверенного, что ему не грозит в будущем недостатка ни в сене, ни в резке. И вдруг явились обстоятельства, доказавшие тебе самым положительным образом, что ты заблуждался. Представь себе, в самом деле: ведь и тобою руководил какой-то нравственный принцип! ведь и ты не все же ел, да пил, да посягал, а тоже веровал и мыслил!

Да, ты веровал, ты мыслил — это несомненно, хотя верования твои были нелепы, хотя мысли твои были поганы. Это несомненно уже по тому одному, что вот теперь тебя и не бьют, и кормят исправно, а тебе еще больнее, нежели в то время, когда тебя и били и оставляли без обеда. Ты в пер-

вый раз понял, что значит настоятельное прикосновение к нравственным основам жизни и какую страшную боль причиняет это прикосновение. Что плюха? — съел плюху, съел две — встряхнулся и пошел щеголять по-старому... Но тут ведь сердце умирает от боли! но тут ведь кровь разлагается в жилах от жестокого обращения!

И все эти бедствия, и все это нравственное посрамление причинил тебе Шалимов и ему подобные! Истинно говорю тебе, что понимаю всю ненависть, которая должна закипать в твоем сердце при одном упоминании этого имени!

Но откуда, однако, эта сила в Шалимове? Почему же он сила, а сосед твой, Флор Лаврентьич Ржанищев,— навоз, а другой твой сосед, отставной капитан Постукин,— бутыль, наполненная желудочной настойкой? По-видимому, и общественное глуповское мнение мало симпатизирует Шалимову, и массы остаются к нему равнодушными... и все-таки он сила! Стало быть, есть нечто среднее между глуповским поветрием и глуповскою массою; стало быть, есть нечто еще не выразившееся, но уже предосязаемое, нечто неизвестное, но уже предощущаемое, что благоприятствует и покровительствует Шалимову.

Если желаешь, я могу тебе это растолковать.

По всем признакам, положение Глупова одно из самых безнадежных: его точит какой-то недуг, который неминуемо должен привести к одру смерти. Однако он не только не умирает, но даже изъявляет твердое намерение жить без конца. И несмотря на видимую нелепость этих надежд, я не могу не разделять их, я не могу не признать их вполне основательными. Почему? А потому, достойный мой глуповец, что хотя сограждане твои и поражены проказой, но воздух Глупова чист, ибо освежается прилегающими из Умнова ветрами. Благодаря этой чистоте, в глуповском воздухе ощущается та струя честности, которая полагает непереступаемые границы нравственной распущенности глуповцев. Благодаря ей, глуповское миросозерцание не делается владыкою мира, но остается в пределах своего горшка. Благодаря ей, глуповский абориген, который с трудом может отличить свет от тьмы, не смеет, однако ж, открыто не признавать благотворной, всепроникающей силы добра, точно так же как ни один глуповский jeune homme bien élevé[1] не решится сказать, что гром оттого бывает, что Илья-пророк по небу ездит, хотя наверное знает, что в этом именно и заключается единственная и настоящая причина грома.

---

[1] благовоспитанный молодой человек.

Сойди в трущобы своего собственного сердца, о глуповец! и очисти их от наслоившегося веками навоза! И там ты отыщешь зачатки некоторой застенчивости, и там ты доскребешься до чего-то похожего на робкое признание силы добра! Конечно, этот эмбрион стыдливости слишком слаб, чтоб подействовать решительно на твое собственное нравственное возрождение, но все же он достаточен, чтоб внести в твою душу тот спасительный трепет, который не дозволяет ей надругаться над тем, что, по общему, вселенскому сознанию, признается за добро.

Ты не отречешься от клеветы, но будешь клеветать потихоньку. Ты не отречешься от клеветы, но, клевеща, будешь озираться кругом, не подслушивает ли тебя кто-нибудь. Ты не отречешься от клеветы, но при первом шорохе струсишь, но при первом настоятельном вопросе отопрешься и скажешь: «Это не я, это индейкина дочь!»

Да, и в самых растленных обществах имеется своего рода стыдливость! и самый великий, самый несомненный подлец никогда еще не доходил до такого цинизма, чтоб всенародно признавать себя за подлеца и гордиться этим званием!

Влияние этой честной, благотворной струи, которая спасает Глупов от окончательного разложения, я могу доказать тебе многими несомненными фактами.

Скажи мне, например, почему госпожа Падейкова, которая свою горничную всегда называла Аришкою, халдою и чумичкою, вдруг начала ее называть Аришею и голубушкою? Изменила ли она свое воззрение на нее, убедилась ли, что Ариша, в самом деле, стала из халды голубушкой? Ни то, ни другое. И госпожа Падейкова, и Ариша остались верными самим себе: по-прежнему первая непреклонна в своих убеждениях; по-прежнему последняя упорствует в своей халдоватости. Однако нечто изменилось между ними; однако во взаимных отношениях их поселилась какая-то холодность, делающая их подчас весьма неприятными. Что же произошло, что изменилось? А изменилась, друг, та атмосфера, в которой они до сих пор жили и действовали, и вследствие этого изменения госпожа Падейкова и хочет, да не смеет, а девка Аришка и не хочет, а смеет. Ясно ли?

Отчего сосед мой, капитан Постукин, известный целому околотку, как малый лихой и притом весьма развязный на руку, внезапно опустил длань свою, начал хиреть и задумываться? Отчего он, вместо того, чтоб действовать чубуком наотмашь, усовершенствовал себя до той степени деликатности, что только стискивал свой чубучище в руке, но бить им никого не бил? Получил ли он внезапно убеждение, что чубук не со-

ставляет еще совершенного доказательства? Нет, не получил, и это доказывается тою судорогою, которая коверкает его руку. Закралось ли в его душу сомнение насчет возможности получить сдачи? Нет, не закралось; ибо до самого конца жизни он оставался сложенным до такой степени прочно, что один поверхностный взгляд на его наружность сразу подрывал всякое предположение о возможности сдачи. Что ж изменилось? И тут, повторяю, изменилась лишь атмосфера, изменились лишь отношения — и ничего больше.

А если бы ты знал, о достойный глуповец, какой страшной, неслыханной борьбы стоило Постукину его воздержание! Он несколько месяцев сряду умирал ежемгновенно, и все молчал, и все курил трубку, и все хотел что-то высказать... и не высказал! С тем мы его и похоронили. Только напоследях, перед самой своей кончиной, он собрал своих челядинцев и сказал им:

— Ну, подлецы, прощайте! По крайней мере, не при мне...

Но и тут не досказал, и тут сама судьба не допустила его отдать на поругание тайну его сердца.

Отчего у другого моего соседа, отставного прапорщика Сидорова, прислуга вдруг объявила, что не хочет кислого молока хлебать? Изменилось ли свойство молока? Сделались ли желудки менее устойчивыми? Ни то, ни другое. Еще вчера ела прислуга то же самое молоко, ела, и вид здоровый и бодрый имела. Ели это самое молоко отцы, ели дедушки, а никогда-таки на животы не жаловались,— и вдруг словно вот оборвалось! Тщетно господин Сидоров уговаривает их: «что, мол, вы, сударики,— вафель, что ли, вам хочется?» Тщетно он подбегает то к одному, то к другому: «а ну-ко, Егор!» — «а ну-ко, Прохор!»... Увы! ни в ком не находит он никакого раскаяния! Что ж изменилось? Опять-таки изменилась одна атмосфера: «Не ешь, братцы, молока!» — да и шабаш!

Отчего ключница Матрена, видевшая прежде во сне, что доит коров либо на погреб за огурцами ходит, с некоторого времени видит, что гуляет в саду по цветам? Оттого, что атмосфера изменилась.

Отчего госпожа Антонова, как только войдет в комнату истопник Степушка, тотчас же прерывает интересный разговор и предупреждает своего собеседника: «парле франсе, доместик иси»? [1] Оттого, что атмосфера изменилась.

Многие глуповцы, пораженные столь неожиданными для них явлениями, прежде всего ищут объяснить их себе чисто

---

[1] говорите по-французски, здесь слуга.

внешним образом. Им все кажется, что тут действуют какие-то зачинщики и подстрекатели, без тайных козней которых все шло бы как по маслу. Так, например, господин Сидоров утверждает, что начало всей смуте положил Егорка-Лысый, а госпожа Антонова божится и клянется, что перемена в характере сновидений ключницы Матрены произошла именно с тех пор, как эта подлая тварь снюхалась с подлецом Ионкой. Приятель мой Удар-Ерыгин идет в этом случае еще дальше. Когда до его сведения доходит слух о подобной смуте, он даже не дает себе труда разобрать, в чем дело, но просто-напросто приказывает отобрать пяток или десяток зачинщиков.

Однако опыт и добросовестные исследования самым положительным образом доказывают, что подобный способ оценки явлений совершенно несостоятелен.

Допустим, что Егорка-Лысый действительно первый сказал: «Не ешь, братцы, кислого молока!», но почему ж он сказал это? Почему он вчера не говорил ничего, а нынче сказал? Почему, наконец, не предположить и того, что если бы Егорка, на одну только минуту, прикусил себе язык, то эти же самые слова не были бы высказаны прежде его Антипкой или Прошкой? А может быть, Егорка дал еще довольно умеренную форму требованиям, долгое время таившимся на дне всех вообще сердец Прошкиных? А может быть, не вырази этого требования Егорка, выразил бы его Филька-Косач, и тогда бог весть, какая вышла бы из этого кутерьма? А может быть, Егорка явился еще миротворцем; может быть, своим вмешательством он еще спас дело?

Но, конечно, еще более несостоятельною представляется манера Удар-Ерыгина. Тут все случайно, тут все так-таки просто ни на что не похоже. Почему именно пяток, а не десяток зачинщиков? И каких зачинщиков: блондинов или брюнетов? И если блондинов, то почему не брюнетов?

Я серьезно обращаю внимание гг. Сидорова и Удар-Ерыгина на эти вопросы и приглашаю их размыслить, ибо, мне кажется, они смотрят на это дело слишком легко.

Конечно, если взирать с высот глуповских на всех этих Антипок и Прошек, которые там, внизу, копошатся, то кажется, что они составляют безразличную массу и что, в смысле общеглуповских интересов, все равно, кого ни вырвать из этой массы: Антипку или Прошку. Но это не так. Микроскопические наблюдения доказывают нам до очевидности, что каждый из этих Антипок имеет свое собственное очертание. Затем наблюдения психологические доказывают еще больше: они доказывают, что каждый Антипка имеет не только свое собственное очертание, но и свою собственную нравственную

физиономию, так что если, например, Антипку высекут понапрасну, а Прошку не высекут и за дело, то оба они этим обижаются. Стало быть, в воззрениях Сидорова и Удар-Ерыгина на мир Антипок и Прошек кроется ошибка: стало быть, и сечь не следует зря, а тоже рассматривать. Это первый результат, к которому должно привести размышление.

А второй результат будет заключаться в том, что и Антипка, и Прошка, после тщательного разбора дела, наверное очистят себя от всяких несправедливых нареканий. Антипка скажет: «Не я!», Прошка скажет: «Не я!» — и оба будут правы, ибо виноват не Антипка, а время, а струя, которая, несмотря ни на что, держится себе да держится в глуповском воздухе...

Итак, вот почему ты весь трясешься при одном имени Шалимова, курицын сын! Вот почему ты боишься его пуще палки и боя смертного! вот почему ты прячешься!

Но как ни искусны действия клеветника, как ни бесследно засасываются они болотом, составляющим поприще клеветы, тем не менее положение его должно быть ужасно.

Каждую минуту он должен опасаться, что вот-вот его уличат; каждую минуту он должен трепетать, что вот-вот настанет страшное мгновение, когда он вынужден будет всенародно принести покаяние, всенародно назвать себя клеветником!

А ну, как болото не засосет?

А ну, как индейкин сын смалодушествует?

И пораженному ужасом воображению клеветника представляются, как живые, все малейшие подробности, вся мелочная обстановка, сопровождавшая его гнусный поступок. Тогда-то он был там-то и сказал то-то («еще в это время ветчину с горошком подавали!» — подсказывает глуповское брюхо); тогда-то, при таких-то свидетелях, курицына дочь высказала такую-то мерзость, и он не только не протестовал, но даже сомнительно улыбнулся («цаплина внучка чай разливала!» — подсказывает брюхо); тогда-то он до такой степени увлекся, что выставлял себя даже очевидцем небывалого происшествия («не хотите ли еще кусочек каплуна?» — спрашивала его в это время куликова теща).

Волосы шевелятся на голове его, во рту делается горько...

Что плюха? видал он на своем веку виды! И десять, и сто плюх съесть ничего; но быть униженным перед своей братией, но попасться, но быть пойманным, но быть названу подлецом в такое время, когда подлецы перестают производить фурор,— вот где ужас! вот казнь, которую он не мог предви-

деть и ожидание которой заставляет его всечасно бледнеть и умирать!

Только вор может испытывать нечто подобное, когда лезет ночью в окно чужого дома...

Но, кроме страха, клеветник должен по временам ощущать и приливы раскаяния. Когда впечатление, произведенное ошпариванием, ослабевает, он не может не сознавать, что происшествие, столь много его огорчившее, исходит не от Шалимова, но вообще от силы ошпаривающих обстоятельств. И тогда он начинает ругать себя подлецом и свиньею и даже изъявляет намерение намазать свой глупый язык горчицей.

Только каплун может испытывать нечто подобное, когда, думая, что поймал носом кусок творогу, он внезапно догадывается, что поймал кусок извести.

Во уважение этого глупого страдания, во внимание к этому нелепому раскаянию, убеждаю тебя, Шалимов: плюнь на клеветника!

Для тебя это тем легче сделать, что наблюдения над общим строем глуповской жизни должны были дать тебе удовлетворительный материал для плевания и достаточно развить в тебе способность к такому способу выражения чувств и движений души. Плюй же смело! плюй прямо, плюй направо, плюй налево: может быть, доплюешься и до клеветника!

Помни, что Глупов не может не клеветать, потому что он возрождается. Возрождение вызвало в нем новые страсти и новые понятия, но прежде всего вызвало ненависть к самому возрождению. Хоть это, по-видимому, и противоречие, но оно разрешается очень просто. Еще не остыл на Глупове пот прежней, горшечной его жизни; еще не перегорел внутри его старый хлам, накопленный там веками; он все еще прежний, ветхий Глупов, который так забавлял тебя своим оригинальным миросозерцанием... Странно было бы, если бы он покончил со своим прошлым, не поговорив немного, не сневежничав хоть ради очищения совести!

Но, быть может, ты возразишь, что глуповские палестины обширны и клевета разливается в них с зазорною быстротой. Скучно и досадно жить посреди жалкого гвалта, поднимаемого курицыными детьми, омерзительно видеть эти глупо разинутые рты, эти выпученные от радостного удивления глаза. И не потому досадно, что трогает самый крик курицыных детей, но потому, что крик лезет в уши, что он посрамляет мысль, что он во что бы то ни стало хочет вгрызться в существование, совершенно непричастное глуповской жизни.

Согласен; действительно, все это и скучно и омерзительно. Но в таком случае, не лучше ли сразу покончить с Глуповым?

Ты сам отчасти виновен в том, что Глупов сделался развязен, что он забыл пословицу, что розга для его же добра существует. Ты был слишком снисходителен к глуповцам, ты слишком якшался с ними. Ты сам некоторым образом заразился глуповскими привычками, сделался причастным глуповскому миросозерцанию, а глуповцы, видя это, и впрямь заключили, что ты совсем сделался глуповцем. И вот начались между ними «ха-ха» да «хи-хи», и вот появилась толпа amis cochons[1], которая, утеряв всякий страх, приглашает тебя выпить водочки и сыграть пулечку...

Сбрось с себя эту дрянь! покончи с Глуповым и делай свое дело, иди своею дорогой! Стань в стороне от Глупова и верь, что грязь его не забрызжет тебя!

---

[1] друзей-свиней.

НАШИ ГЛУПОВСКИЕ ДЕЛА

В надежде славы и добра
Идем вперед мы без боязни..

Вот и опять я в Глупове; вот и опять потянулись заборы да пустыри; вот и опять широкой лентой блеснула в глаза река Большая Глуповица и узенькой — река Малая Глуповица; вот и опять пахнуло на меня ароматами свежеиспеченного хлеба... Детство! родина! вы ли это?

Сердце мое замирает; в желудке начинается невыразимо сладостная тревога... передо мною крутой спуск, а за спуском играет и нежится наша милая, наша скромная, наша многоводная Глуповица! Господи! сколько стерлядей лавливали здесь во время оно! И какие славные варева сочинял из них повар Трифоныч! Даже теперь язык невольно подщелкивает, даже теперь рассудок отказывается верить, чтоб Тигр и Евфрат могли предложить первому человеку что-либо подобное ухе из налимьих печенок, которую ест самый последний из обитателей берегов нашей родной реки!

Да, мы гордимся нашей рекой и имеем на это право, ибо Глуповица (шутка сказать!) река историческая. Во-первых, на берегах ее кто-то кого-то побил. Во-вторых, это истинная колыбель тех золотых поросятообразных стерлядей, которыми объедались достославные наши предки, которыми продолжаем объедаться и мы. В Глуповице, как в неподкупном зеркале, отражается вся жизнь Глупова. Вместо того чтоб рыться в пыли архивов, вместо того чтоб утомлять свой ум наблюдениями над живыми проявлениями жизни, историку и этнографу стоит только взглянуть на гладкую поверхность славной нашей реки — и всякая завеса, будь это самая плотная, мгновенно спадет с его глаз. Глупов и река его — это два близнеца, во взаимной нераздельности которых есть нечто трогательное, умиляющее.

Весною Большая Глуповица широко разливается. Холодные, мутные волны лениво перекатываются от одного берега к другому, а над рекой стоит какой-то приятный, расслабляющий гул. Не бурлит родимая Глуповица, разливая по лугам и ложбинам сокровища утучняющей влаги; ничего и никого не уносит она в течении своем; не слышно ни треску, ни гвалта в воздухе, когда, освободившись от зимних оков, вдруг хлынет на вольный свет черная, негостеприимная масса вод... Нет, учтиво и благодушно разливается наша Глуповица; неохотно и неуклюже лезут волны ее одна на другую, производя тот вежливый, расслабляющий гул, о котором говорится выше. Под этот гул славно спится глуповцам.

Летом Глуповица пересыхает. Там, где темнели бурые волны, выглядывают острова песков рудо-желтых; лукавая корова охотно рискует переправиться вброд, чтобы забиться в поемные луга; бесчисленные стада водяных курочек обседают песчаные берега и тоскливым своим криком приводят в раздражение нервы заезжего человека-необывателя; вода светла и прозрачна, сладко, чуть слышно журчит река, катя в бесконечную даль голубую ленту струй своих. Под это журчание славно спится глуповцам.

Осенью Глуповица надувается и как будто проявляет желание подурить. Я охотно хожу тогда посмотреть на реку; все мне кажется, что она сбирается какую-то неслыханную дебошь сделать. Но ожидание мое напрасно. Тщетно вглядываюсь я в колышущуюся пучину вод, тщетно жду: вот-вот разверзнется эта пучина, и из зияющей пропасти встанет чудище рыба-кит! Вместо того я слышу только, как шлепают волны об берега, как они разлетаются в брызгах, и опять шлепаются, и опять разлетаются .. Под звуки этого шлепанья славно спится глуповцам.

Но вот наступает и зима. Зимою славно спится глуповцам под звуки собственного своего храпения.

Некоторые местные исследователи полагают, что от реки Большой Глуповицы поднимаются какие-то пары особенные, которые снотворным образом действуют на жителей Глупова. Напротив того, другие исследователи полагают, что пары поднимаются собственно от обывателей и снотворным образом действуют на Глуповицу. Я, с своей стороны, склоняюсь к последнему мнению, ибо я сам однажды видел, как нечто вроде пара поднималось над лысиной прокурора, когда он без шапки возвращался с обеда от откупщика.

Особы, люди и людишки, наездом посещающие Глупов, не нарадуются на него. Во всякое время, когда угодно, тишина и благорастворение воздухов; даже среди белого дня, когда,

как известно, в Вавилоне происходило столпотворение, Глупов откликается на зов жизни только тем, что собаки, спавшие доселе у ворот, свернувшись калачиком, начинают потягиваться и повиливать хвостами. Один заезжий аптекарь, взирая на эту картину мира и безмолвия, даже заплакал от умиления. Он вообразил себе, что в больших каменных домах, ограничивающих главную улицу, обитают трудолюбивые сапожники, богобоязненные колбасники и друзья порядка — булочники; что колбасники отдыхают от трудов среди вымывших руки жен и дочерей, что старшая дочь, белокурая Гретхен, читает собравшемуся семейству трогательную повесть Лафонтена, а маленький сынишка Карл, завладевши, с дозволения папаши, негодной кишкой, набивает ее лоскутами и всякой дрянью, воображая, что делает колбасу... И много потребовалось усилий, чтоб растолковать честному немцу, что тишина происходит совсем не оттого, что город населен колбасниками, а оттого, что таково прирожденное свойство обитателей Глупова (их грех первородный): не могут они шевелиться, ибо отяжелели. Начальствующие отдыхают в объятиях секретарей, помещики — в объятиях крепостного права, купцы — в объятиях единоторжия и надувательства. Чтоб поверить такой отзыв, аптекарь стал вслушиваться в эту тишину, и до слуха его действительно долетели странные ночные звуки. Услышав их, немец покраснел и поспешно стал собираться в дорогу, а обыватели, провожая его сонными глазами, приговаривали: «Что русскому здорово, то немцу смерть!»

У Глупова нет истории. Всякая вещь имеет свою историю; даже старый губернаторский вицмундир имеет свою историю («а помните, как на обеде у градского головы его превосходительству вицмундир соусом облили?» — любят вопрошать друг друга глуповцы), а у Глупова нет истории. Рассказывают старожилы, что была какая-то история и хранилась она в соборной колокольне, но впоследствии не то крысами съедена, не то в пожар сгорела («помните, в тот самый пожар, перед которым тараканы из города поползли и во время которого глуповцы, вместо того чтоб тушить огонь, только ахали да в колокола звонили?»).

Рассказывают, что было время, когда Глупов не назывался Глуповым, а назывался Умновым, но на беду сошел некогда на землю громовержец Юпитер и, обозревая владения свои, завернул и в Глупов. Тоска обуяла Юпитера, едва взглянул он на реку Большую Глуповицу; болезненная спячка так и впилась в него, как будто говоря: «А! ты думаешь, что Юпитер, так и отвертишься! — шалишь, брат!» Однако Юпитер

отвертелся, но в память пребывания своего в Умнове повелел ему впредь именоваться Глуповым, чем глуповцы не только не обиделись, но даже поднесли Юпитеру хлеб-соль.

Наезжала еще в Глупов Минерва-богиня. Пожелала она, матушка, знать, какую это думу мудреную думает Глупов, что все словно молчит да на ус себе мотает, какие есть у него планы и соображения насчет глуповских разных дел. Вот и созвала Минерва верных своих глуповцев: «скажите, дескать, мне, какая это крепкая дума в вас засела?» Но глуповцы кланялись и потели; самый, что называется, горлан ихний хотел было сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмелился, а только взопрел пуще прочих. «Скажите, что ж вы желали бы?» — настаивала Минерва и топнула даже ножкой от нетерпения. Но глуповцы продолжали кланяться и потеть. Тогда, бог весть откуда, раздался голос, который во всеуслышание произнес: «Лихо бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмеялись тем нутряным смехом, которым должен смеяться Иванушко-дурачок, когда ему кукиш показывают. С тех пор и не тревожили глуповцев вопросами.

Глуповцы и доселе с умилением передают эти предания как в назидание юному поколению, так и в удовлетворение любознательности исследователей-энтузиастов, которые и до сего часа не перестали веровать в возможность истории Глупова. Путешествующим археологам охотно показывают дом, в котором останавливался Юпитер, и комнату, в которой подписан был указ о наименовании города Глуповым. Скажу даже, что после гармоники и рассказов о невзгодах, которым подвергался губернаторский вицмундир на различных обедах и пирах, передача этих преданий составляет любимейшее занятие глуповцев. И при этом из внутренностей их излетает тот самый смех, которым смеялись достославные их предки во время переговоров с Минервою.

Охотники также глуповцы покалякать на досуге о разных губернаторах, которые держали в руках своих судьбы их сновидений. Были губернаторы добрые, были и злецы; только глупых не было — потому что начальники! Был Селезнев губернатор; этот, как дорвался до Глупова, первым делом уткнулся в подушку, да три года и проспал.

— Так сонного, сударь, и сменили! — прибавляет от себя убеленный сединами глуповец-старожил.

А то был губернатор Воинов, который в полгода чуть вверх дном Глупова не поставил: позвал, это, пред лицо свое глуповцев, да как затопочет на них: «Только пикните у меня, говорит, всех прав состояния лишу, на каторгу всех разошлю!»

— А мы, сударь, и не пикали совсем,— прибавляет от себя тот же убеленный сединами рассказчик.

— Однако не что̀ взял, умаялся! — замечает другой обыватель и, позевывая, удаляется на печку спать.

Достославный Селезнев! и до сих пор в глазах глуповцев не иссякает источник благодарных слез при воспоминании о тебе! То-то было времечко! то-то были храп и сопение великое! Еще недавно собирались глуповцы около колокольни (той самой, где съедена крысами история Глупова) потолковать о том, не следует ли монумент воздвигнуть для увековечения твоего имени, но толковать не осмелились и, помахавши руками, разошлись по домам.

Рассказывают еще о губернаторе рыжем, в котором только и имелось замечательного, что был он рыжий, и глуповцы пугали им детей своих, говоря: «Погоди вот! ужо рыжий черт придет!»

Рассказывают еще о губернаторе сивом, о губернаторе карем, о губернаторе, красившем свои волосы, «да так, сударь, пречудеснейше, что все только ахали!»

— А помните ли, Иван Саввич, Кузьму Петровича Фютяева? Какая нынче барыня преотменная была? — говорит старожил Павел Трифоныч.

— Уж такая-то преотменная, что, кажется, и не нажить нам другой такой! — отвечает Иван Саввич,— в те поры, как родился у меня Ванюшка, она сама его, покойница, посадила на ладоночку, да и говорит мне-ка: «Молодец, говорит, будет у тебя Ванюшка, торговец!» Такая была барыня предобрейшая!

И жадно внимает этим рассказам путешественник-археолог, жадно вписывает в записную свою книжку каждую крупицу, каждую мелкую срамоту и, возвратясь в Петербург, предает собранные материалы тиснению. Но тщетно пыжится археолог; тщетно надувается он в надежде, что пишет о глуповцах для глуповцев же, которые, пожалуй, и не различат анекдотов от истории: истории Глупова все-таки нет как нет, потому что ее съели крысы!

В то счастливое время, когда я процветал в Глупове, губернатор там был плешивый, вице-губернатор плешивый, прокурор плешивый. У управляющего палатой государственных имуществ хотя и были целы волосы, но такая была странная физиономия, что с первого и даже с последнего взгляда он казался плешивым. Соберется, бывало, губернский синклит этот да учнет о судьбах глуповских толковать — даже мухи мрут от речей их, таково оно тошно!

— А что, Василий Иваныч,— скажет губернатор управ-

ляющему палатой государственных имуществ,— нельзя ли черноглазовскому лесничему внушить, чтоб рябчиков для меня постреляли?

— Как изволите приказать, ваше превосходительство!— ответит управляющий.

— Н-да; повар у меня таперича манную кашу какую-то на рябчиковом бульоне выдумал: пропасть рябчиков выходит! — объяснит губернатор.

— А заметили, ваше превосходительство, какую вчера у Порфирия Петровича стерлядь за ужином подали? — молвит вице-губернатор и от удовольствия даже передернется весь.

Его превосходительство, вместо ответа, только улыбнется во весь рот, словно арбуз проглотить собирается.

— Это ему семиозерский казначей в презент прислал,— заметит прокурор и вздохнет потихоньку.

Подметив этот вздох, губернатор вновь улыбнется и ласково щелкнет прокурора по брюшку, а вице-губернатор, изловив на лету улыбку его превосходительства, загогочет, как жеребец, и скажет:

— А что! верно, стряпчие-то тово...

— Верно, стряпчие-то тово,— добродушно повторит губернатор и вслед за этим обратится к присутствующим,— а что, господа, бумаги-то, кажется, подписать можно? Господин секретарь, пожалуйте сюда бумаги!

И бумаги подписывались, а плешивый синклит удалялся в столовую, где были уж приготовлены и стерлядка копченькая, и рыжички черноглазовские в уксусе, и груздочки соленькие, и колбаски разные: и с чесночком, и на мадерце, и рябчиковая, и на сливках...

Да хорошо еще, коли дело так обходилось. А не то, грехов наших ради, и взаправду начнут рассуждать об делах — вот когда заслушаться можно!

Секретарь докладывает, что на реке Малой Глуповице мост, от старости лет, опасен стал.

— Что же таперича делать? — говорит губернатор.— Я полагаю, господа, городничему написать?

И обводит присутствующих глазами, словно он и впрямь Мартына Задеку съел.

— Да, да,— гвоздит вице-губернатор,— да не мешает еще подтвердить, чтоб тово... наблюл...

— Стало быть, предписать и подтвердить,— изрекает губернатор.

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство,— некстати вмешивается секретарь.

— Извольте, сударь, писать, как присутствие полагает,—

строго замечает губернатор и дает секретарю знак умолкнуть.

И не забудет, бывало, своего приказания (злопамятный был старик!), и долго потом, всякий раз, как секретарь подсовывает ему журналы подписывать, непременно спросит:

— А это не тот ли, по которому присутствие положило предписать и подтвердить городничему?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Ну, то-то же! Что присутствие положило, то должно быть свято, молодой человек!

Мудрено ли, что глуповцы блаженствовали, видя над собой такое диковинное управление! Мудрено ли, что глуповцы земли под собой от счастия не слышали; мудрено ли, что они славословили и пели хвалу!

Да и общество-то какое было (само собой разумеется, я говорю здесь о высшем глуповском обществе) — именно такое, какое требуется в соответствие описанному выше управлению! Это именно было то общество «хороших людей», о которых сложилась мудрая русская пословица: «Сальных свечей не едят и стеклом не утираются!» Глупов и Глуповица, управляющие и управляемые — все это, взятое вместе, представляло такую сладостную картину гармонии, такое умилительное позорище взаимных уступок, доброжелательства и услуг, что сердцу делалось больно и самый нос начинал ощущать как бы прилив благородных чувств.

Увы! тип «хороших» людей доброго старого времени исчезает и стирается с каждым днем, почти с каждой минутой! Увы! нынче даже отличные люди не едят сальных свечей!

И потому, опасаясь, чтоб тип этот не затерялся совсем, я постараюсь восстановить характеристические черты его, в назидание отдаленному потомству.

Между «хорошими» людьми доброго старого времени (old merry Gloupoff [1]) много было плутов, забулдыг и мерзавцев pur sang [2]. Почему они назывались «хорошими» людьми, а не каналъями, это тайна глуповской почвы и глуповской природы. Но, разбирая дело внимательно, полагаю, что это происходило оттого, что над упомянутыми выше качествами парило какое-то добродушие, какая-то атласистость сердечная, при существовании которых как-то неловко думать о вменяемости. Для объяснения прибегну к примерам. Бывало, «хороший» человек выпорет вплотную какого-нибудь Фильку и вслед за тем скажет другому такому же «хорошему» чело-

---

[1] старый веселый Глупов.

[2] чистокровных.

веку: «А пойдем-ко, брат, выпьем по маленькой». Разве это не добродушие? Или, например, передернет нечаянно в карты (за что тут же получит возмездие в рождество) и вслед за этим воскликнет: «А не распить ли нам бутылочку холоднень-кого?» Разве это не атласистость сердечная?

А коли есть добродушие, коли есть атласистость, стало быть, и говорить не об чем: chantons, buvons et... aimons! [1] — и все тут!

Сообразно с этими наклонностями, «хорошие» люди и разговоры имели между собой самые простые, так сказать, первоначальные. Надо сказать правду, что «хороший» человек старого времени не имел обширных сведений в области наук. По части истории запас его познаний не выходил из круга рассказов о том, как в тринадцатом году русский бился с немцем об заклад, что сотворит такую пакость, от которой у него, немца, глаза на лоб полезут,— и действительно сделал пакость на славу. По части географии он мог утвердительно сказать только то, что на том самом месте, где он в настоящее время играет в карты и закусывает, рос некогда непроходимый лес и что недавно еще уездный стряпчий Толковников из окна своей квартиры бивал из ружья во множестве дупелей и бекасов. Юридическое образование его ограничивалось: по части прав состояния — отсылкою грубиянов на конюшню; по части гражданского права — выдачею заемных писем и неплатежом по ним.

И между тем жили, пили, ели, женились и посягали, славословили, занимали начальственные места и пользовались покровительством законов наравне с людьми, которым небезызвестно даже о распрях, происходивших в Испании между карлистами и христиносами.

«Хороший» человек имел привычки патриархальные. Обедал рано и в послеобеденное время любил посвятить часок-другой гастрическим сновидениям, сопровождая это занятие аккомпанементом всевозможных шипящих звуков, которыми так изобилуют преисподние глуповских желудков. По исполнении этого он, по крайней мере в продолжение двух часов, не мог прийти в себя и вплоть до самого вечера чувствовал себя глупым. Тут выпивалось несчетное количество графинов холодного квасу; тут испускались такие страшные потяготы и позевоты, от которых содрогались на улице прохожие. «Господи! какая тоска!» — беспрестанно восклицал он, отплевываясь во все стороны, и в это время не суйся к нему на глаза никто: разобьет зубы!

---

[1] будем петь, пить и . любить!

«Хороший» человек имел слабость к женскому полу и взятых им в полон крепостных девиц называл «канарейками».

— Ну, брат, намеднись какую мне канарейку из деревни прислали! — говорил он своему другу-приятелю,— просто персик!

И при этом причмокивал, обснял и облизывался.

В обращении с «канарейками» он не затруднялся никакими соображениями. Будучи того убеждения, что канарейка есть птица, созданная на утеху человеку, он действовал вполне соответственно этому убеждению, то есть заставлял их петь и плясать, приказывал им любить себя и никаких против этого возражений не принимал. Если же со временем канарейка ему прискучивала, то он ссылал ее на скотный двор или выдавал замуж за камердинера и всенепременно присутствовал на свадьбе в качестве посаженого отца.

«Хороший» человек в непривычном ему обществе терялся. В гостиной, в особенности в присутствии женщин, он был застенчив, как фиалка, и неразговорчив, как пустынножитель. В таких тесных обстоятельствах он с мучительным беспокойством поглядывал на дверь, ведущую в кабинет хозяина, где, как ему известно, давным-давно поставлена водка и разложен зеленый стол, и пользовался первым удобным случаем, чтоб бочком-бочком проскользнуть в обетованную дверь. Вообще, он любил натянуться дома, в халате, с добрыми знакомыми, и называл это жуировать жизнью; в публику же показывался редко, и то в клубах, и притом лишь тогда, когда ему было известно, что там соберутся такие же теплые други-приятели, как и он сам. Напившись, наевшись и досыта наигравшись в карты, он, ложась на ночь спать, с легким сердцем восклицал: «Вот, слава богу, я наелся, напился и наигрался!»

В это хорошее старое время, когда собирались где-либо «хорошие» люди, не в редкость было услышать следующего рода разговор:

— А ты зачем на меня, подлец, так смотришь? — говорил один «хороший» человек другому.

— Помилуйте...— отвечал другой «хороший» человек, нравом посмирнее.

— Я тебя спрашиваю не «помилуйте», а зачем ты на меня смотришь? — настаивал первый «хороший» человек.

— Да помилуйте-с...

...Бац в рыло!..

— Да плюй же, плюй ему прямо в лохань! (так в просторечии назывались лица «хороших» людей!) — вмешивался случавшийся тут третий «хороший» человек.

И выходило тут нечто вроде светопреставления, во время

которого глазам сражающихся, и вдруг, и поочередно, представлялись всевозможные светила небесные...

«Хороший» человек был патриот по преимуществу. Он зарождался, жил и умирал в своем милом Глупове. Он был, так сказать, продуктом местных нечистот; об них одних болело его сердце; к ним одним стремились его вожделения, и никаких иных навозных куч он не желал, кроме тех, которыми окружено было его счастливое детство. Петербурга он не любил и не понимал; он охотно допускал, что хорошие люди могут зарождаться в Москве, в Рязани, в Тамбове и, разумеется, в Глупове; но в Петербурге, по его мнению, могут существовать только выморозки, не имеющие ни малейшего понятия о том, что за блаженство есть буженину, когда она изжарена в соку и притом легонько натерта чесноком...

Повторяю: тип «хорошего» человека исчезает, и вместе с тем исчезает и глуповское добродушие, и глуповская сердечная атласистость. Фильку наказывают по-прежнему, но уже без прибауток; передергивают в карты по-прежнему, но, получая возмездие в рождество, уже протестуют и притворяются оскорбленными.

Но мы, которые были свидетелями и этого добродушия, и этой атласистости, мы, молодые люди прежнего времени, мы не можем быть равнодушными к нашим воспоминаниям. Мы должны хранить их во всей непорочности, мы должны оберегать их от всякого нечистого прикосновения! Боже! как было тогда все тепло и уютно! как любили и уважали мы этих доблестных руководителей нашей юности! и как, с другой стороны, и они радовались и утешались, взирая на нас!

Да и посудите сами, можно ли было не радоваться на нас, тогдашних молодых людей. Возьмите, например, Сеню Бирюкова: что это за прелесть молодой человек был! Во-первых, наружность чисто английская: плечи широкие, щеки румяные, голова выстрижена, даже сзади ящичком — все как следует джентльмену. А во-вторых, и занятия-то у него какие благородные: утром, до двенадцати часов, ногти чистит, от двенадцати до трех визиты делает, от трех до четырех рубашку переменяет, потом едет обедать к Матрене Ивановне, оттуда, dans l'avant-soirée [1], к Петьке Козелкову, потом опять рубашку меняет, потом, вечером, к губернатору... И везде-то, во всяком-то доме умеет что-нибудь почтительное сделать: у Матрены Ивановны ручку поцелует; Петру Петровичу сообщит, что к купцу Загребину в лавку новых сельдей привезли; Палагею Александровну поблагодарит, от имени маменьки, за присла-

[1] перед вечером.

ный рецепт, как солонину делать... Или опять Свербилло-Замбржецкий Болеслав — что это за необыкновенный малый был! И уклончив, и как будто самостоятелен, и в душу лезет, и как будто кукиш в кармане кажет! Или Бернард Форбрихер, или Петька Козелков! Да, наконец, и сам я... какой я был тогда милый человек! Бывало, что-нибудь и совру, так все такое выходило милое, что у старушки Матрены Ивановны даже брюшко от моих слов пощекочет, и вся она просияет, а меня, грешного, только за ушко легонько потянет...

Удивительно ли после этого, что дела шли без задоринки. Иногда вмешивались в них Матрена Ивановна и Палагея Александровна, но они хлопотали не о мосте через реку Глуповицу, а преимущественно о том, как бы подрадеть родному человечку.

— Матрена Ивановна просила напомнить вашему превосходительству о месте станового для Зонтикова,— докладывает, бывало, Сеня Бирюков.

— Это для усача-то? — спрашивает его превосходительство.

— Да с, вот что вчера вашему превосходительству прошение подал.

— Быть так... определяем! — говорит его превосходительство и потом, уставив глаза в Сеню, повторяет: — Во уважение просьбы Матрены Ивановны, определяем усача в становые!

И таким образом были у нас становые-усачи, становые-бакенбардисты, становые с бородавкой, становые шестипалые. Старик наш фамилий не помнил, и когда, бывало, докладываешь ему о ком-нибудь из становых, он непременно спросит:

— Это который?

— С бородавкой, ваше превосходительство.

— А! с бородавкой!

И затем уж понимает, о ком идет речь.

Хотя мы сами и урожденные глуповцы, но глуповцы, так сказать, отборные, всплывшие на поверхность нашего родного горшка. О том, что происходило там, в глубине горшка, мы не тужили; мы знали, что там живут Иванушки (Иванушки, да еще глуповские — поди, раскуси такую штуку!), что Иванушками этими заправляют бакенбардисты и шестипалые, а бакенбардистов и шестипалых определяет Матрена Ивановна, у которой отменно приготовляют пироги с налимьими печенками, и Палагея Александровна, у которой после обеда такой liqueur des îles [1] подают, вкусивши которого остается только убираться поскорей восвояси да часика три соснуть.

---

[1] ликер с островов.

Затем жизнь наша была постоянным праздником: мы пили, ели, спали, играли в карты, подписывали бумаги и, подобно сказочной Бабе-яге, припевали: «Покатаюся, поваляюся на Иванушкиных косточках, Иванушкина мясца поевши!»

. . . . . .

И ведь нужно же было, при такой-то жизни, какому-то, прости господи, кобелю борзому заговорить о возрождении! А заговорил! именно заговорил! и не отсох у него язык, и не провалился он сквозь землю, и не пожрал его огонь, и не лопнули его глазыньки!

Глупов, еще загодя, бледнел и трясся при этом слове, и все про себя шептал: «Господи! ах, кабы да мимо!» Еще загодя, при малейшем шорохе, он махал онучами и шугал, как шугает баба-птичница, завидев в небе коршуна, кружащегося над всполошившимся стадом вверенных ей цыплят. «Чем наша жизнь не красна? — говорил он потихоньку,— или пуховики у нас не толсты? или ватрушки наши не сдобны?»

— Старики-то, старики-то наши разве хуже нас были? — шептал обыватель Сила Терентьич на ухо обывателю Терентью Силычу.

— На могилку, видно, ужо к ним сходить! — грустно ответствовал Терентий Силыч.

— Эхма! жили-жили, а теперь на-поди!

— Родителей-то жалко, Сила Терентьич!

— Старики-то наши во какие были!

— Кряжистые были!

— И возможно ли теперича все порядки нарушать! Чтоб господин теперича у стула с тарелкой стоял, а раб за столом развалившись сидел? Или опять, чтоб купец исправника в морду бил, а исправник ему за это барашка в бумажке сулил?

— Праховое дело затеяли!

— Да и то опять ты возьми, что люди-то мы непривышные. Протори́ли себе дорогу одну, ин и ходить бы по ней до скончания!

— Это точно, что непривышные!

— У меня вон воронко́: привык на пристяжке ходить, ну, и сам бес его теперича в оглобли не втащит... Так-то!

— Оно пожалуй, что втащить можно! — говорит Терентий Силыч, задумчиво улыбаясь.

— Оно конечно, коли захочу втащить, отчего не втащить! — соглашается Сила Терентьич.

— Можно втащить! — положительно утверждает собеседник.

— Отчего не втащить! Втащим!

— Да ведь отцы-то наши .. пойми, друг!

— Это точно, что отцы наши во какие были!

— Кряжистые были!

И затем в продолжение целых часов разговор развивался на ту же тему и наконец доходил до такого умоисступления, что кроме «ах ты господи!» да «во какие!» ничего и разобрать было нельзя. Глуповцы именовали подобные беседы совещаниями, а некоторые из них, прислушавшись к речам Силы Терентьича и Терентья Силыча, называли их даже бунтовскими и, подмигивая друг другу, приговаривали: «А? каково? каково катают наши-то! Вот бы кого министром сделать — Силу Терентьича... да!»

Одним словом, мы так безмятежно были счастливы, так детски невинны и доверчивы, что предшествовавшее слову «возрождение» время, несмотря на соединенные с ним тревоги и ожидания, все-таки ничего не вызвало на поверхность. Подойдите к луже, взбудоражьте чем ни на есть ее спящие воды — на поверхности их покажутся пузыри. В Глупове и пузырей не показалось.

Указывают мне на Силу Терентьича, как на несомненный пузырь, но, ради бога, какой же это пузырь? Я охотно соглашаюсь, что местный либерализм достиг в нем высшего своего выражения; я соглашаюсь, что ссылка на стариков и их кряжистость есть довольно смелая, в своем роде, штука; но, сознаюсь откровенно, для меня этого недостаточно, чтоб признать его действительным пузырем.

Истинный, благородный пузырь лопается во всеуслышание, лопается публично, лопается, невзирая ни на какие особы. Напротив того, Сила Терентьич лопался и проявлял свой либерализм лишь под воротами своего дома и притом в такое, по преимуществу, время, когда прочие глуповцы исключительно были поглощены игрою на гармонике.

Истинный пузырь никогда не появляется на поверхности одиноким, но всегда приводит за собой целую семью маленьких пузырей и пузырят, которые тянут к нему и ищут с ним слиться. Напротив того, куда бы ни обратил свои взоры Сила Терентьич, везде он встречает пустыню. Добрые глуповцы если и слышали и подозревали что-нибудь, то старались не слышать и не подозревать, и, при всем сочувствии к нему, потупляли взоры при встрече с ним, чтоб, боже сохрани, не попасть в историю с таким болтуном.

Наконец, истинный пузырь не терпит никакого внешнего давления. Ткните в него пальцем — и его уже нет. Качество это, по мнению моему, свидетельствует о благородстве свойств пузыря, который скорее соглашается не существовать вовсе, нежели нести на себе иго тыкающего пальца. Напротив того,

Сила Терентьич продолжает благоденствовать и доселе, несмотря на то что обстоятельства и время сильно ткнули в него пальцем. Он продолжает бормотать под воротами, хотя бормотание его запоздало и не может ни на волос изменить силу тыкающих обстоятельств.

Скажите же на милость, какой это пузырь?

Да; ты осталась верна самой себе; ты никого, ни единой личности не вынесла на поверхность волн своих, кормилица-поилица Глуповица! По-прежнему вяло и неуклюже лезут эти волны одна на другую, по-прежнему на поверхности их белеют щепки да какая-то дрянная, нечистая накипь... Правда, что, по временам, глуповцы словно шарахаются из стороны в сторону, но над шараханьем этим всецело царит чувство тупого испуга, и ничего более.

Как ни пристально вглядывался я в причины, ход и последствия этих чисто физических движений, как ни жадно доискивалась душа моя во мраке глуповской жизни, в преисподних глуповского созерцания того примиряющего звена, которое в истории является посредником между прошедшим и будущим,— тщетны были мои усилия! «Испуг!» — говорили мне отекшие, бесстрастные лица моих сограждан; «испуг!» — говорили мне их нескладные, отрывистые речи; «испуг!» — говорило мне их торопливое, не осмысленное сознанием стремление сбиться в кучу, чтоб поваднее было шарахаться... Испуг, испуг и испуг! Взирая на весь этот переполох, я невольно вспомнил устные предания, которые ходили в Глупове по рукам. Вспомнился мне и громовержец Юпитер, и переговоры с матушкой Минервой... И вдруг я понял и прошлое, и настоящее моего родного города... Господи! мне кажется, что я понял даже его будущее!

О вы, которые еще верите в возможность истории Глупова, скажите мне: возможна ли такая история, которой содержанием был бы непрерывный бесконечный испуг?

Жизнь веков! ты, которая была столь обильна дарами для умновцев, ты, которая, подобно нестомчивой и ревнивой матери, заботливо ведешь народы по пути усовершенствования, охраняя их и от падения, и от поворотов назад,— чем была ты для Глупова? Ты не была даже мачехой, не была даже нянькой; стыдно сказать, но ты была чем-то вроде жалкого обеда за скучным табльдотом. «Зачем пичкают меня этим гнусным вареным картофелем? зачем не дают мне рябчиков?» — спрашиваю я, чувствуя, что злость закипает в моем сердце. А мне, вместо рябчиков, вновь подают картофель, и нет конца этому гнусному картофелю!

Возрождение! бесспорно, ты хорошая вещь, бесспорно, я

влекусь к тебе всем сердцем, всеми силами души моей; но где же, в каком отдаленном Умнове, видано, чтоб ты подавалось в виде манной каши с маслом изумленным твоим появлением посетителям обязательного табльдота?!

Но, делать нечего, картофель или рябчики, каша ли с маслом или желе, а приходится втаскивать воронкà в оглобли! Сомнения Силы Терентьича больше чем оправдались. Я сам видел, как выводили воронкà из конюшни, как его исподволь подводили к оглоблям, как держали его под уздцы, все в чаянии, что вот-вот он брыкнет. Не брыкнул. Старый воронкó! я видел, как прошибла тебя слеза, я видел, как дрожали твои мясистые губы, я слышал твой вздох, которым, казалось, ты умолял своих вожаков не впрягать тебя в корню, ибо это место принадлежит не тебе, а гнедку! Но ты не изменил обычаям праотцев, ты не исказил одним махом задних копыт истории Глупова, ты не брыкнул — хвалю тебя!

Свершилось: отныне Глупов обязывается есть манную кашу с маслом. Но не подавись ею, милый! ибо кашу эту надо есть умеючи. Умой руки, выполоскай рот и сиди вежливенько, ибо каша вещь хитрая: может и в рот попасть, может и глаза залепить.

Дурак Иванушко, чему смеешься?.. Или сердце в тебе взыграло?.. Или пахнуло на тебя свежим воздухом?.. Или почуял ты, что пришел конец твоему гореваньицу, тому злому-лютому гореваньицу, что и к материнским сосцам с тобой припадало, что и в зыбке тебя укачивало, что и в песнях тебе подтягивало, что и в царев кабак с тобой разгуляться похаживало?

Смейся, дурачок! Сам господин Зубатов отменно рад, что ты смеешься... В другое время он сказал бы тебе: «Чего, ска-а-тина, рот до ушей дерешь?» — ну, а теперь ничего, спешит даже поскорей домой, чтоб отрапортовать куда следует: засмеялся, дескать.

Зубатову хлопот полон рот. Он не призывал возрождения; по правде сказать, едва ли даже он желал его, хотя, в качестве обладателя и руководителя глуповских сновидений, и обязан был призывать и желать его.

— Ma chère![1] — не раз говаривал он супруге своей,— это возрождение — черт его знает, что это такое!

— Pourvu que tu conserves ta place, mon ami![2] — ответствовала обыкновенно Анна Ивановна, которую, очевидно, интересовала в этом деле существенная сторона, а не вертопрашество.

---

[1] Милая моя!

[2] Лишь бы ты сохранил свое место, мой друг!

И потому, как скоро Зубатов увидел, что все совершилось, то и он не брыкнул, и он поскорей побежал запрягаться в оглобли.

Что происходило в это время в душе его? Что понимал он под словом «возрождение»? — это известно единому богу всеведущему, ибо он один может проникать в трущобы сердец зубатовских. Глупов мог убедиться только в том, что Зубатов вскипел и взревновал бесконечно. Вследствие этой ревности самая наружность Глупова внезапно изменилась: на улицах засновали экипажи; в канцеляриях усиленно заскрипели перьями; из подворотен вылезли физиономии с усами и физиономии без усов, физиономии румяные и физиономии бледные; одни недоумевали и хлопали глазами, другие уже поняли и даже как будто приготовились насладиться плодами возрождения...

Что ж они поняли, и по какому поводу весь этот переполох, все эти шарахания из стороны в сторону?.. И что такое это «возрождение», от которого так усердно и так напрасно и отмаливались, и отплевывались добрые глуповцы?..

В самом деле, как определить, что может значить глуповское возрождение? Я допускаю возможность говорить о возрождении умновском, о возрождении буяновском, ибо там оно в чем-нибудь выражается... ну, хоть в том, например, что лица веселее смотрят, что ноги бодрее ходят... Но возрождение глуповское!.. воля ваша, тут есть что-то непроходимое, что-то до такой степени несовместимое, что мысль самая дерзкая невольно цепенеет перед дремучим величием этой задачи. Да помилуйте! Да осмотритесь же кругом себя! потяните же носом воздух! Ведь глуповцы даже полов в своих жилых покоях не вымыли! ведь глуповцы даже в баню лишнего раза не сходили! А без этого какое же может быть возрождение!

Посмотрим, однако ж, не знают ли чего-нибудь Сила Терентьич и Терентий Силыч? Они так долго чего-то боялись, так долго об чем-то между собой шушукались, что не может же статься, чтоб эта штука не была им досконально известна.

Увы! Сила Терентьич и Терентий Силыч только вздыхают и отдуваются. Сеня Бирюков взирает на них и, хоть убей, ничего не понимает. И не то чтоб они в самом деле не разумели; нет, и знают, и разумеют, да вот не хотят да и не хотят открыться! И рожу так состроят: «знаю, да не скажу» — и не говорят.

Мне положительно, например, известно, что Сила Терентьич подозревает, что все возрождение заключается в том, что на место Петра Иваныча сел Иван Петрович; однако ж

предположения своего он высказать не решается, потому что, быть может, оно и не то значит. Терентий Силыч идет дальше: он мнит, что возрождение означает возможность грубить и невежничать; однако ж мысли своей тоже не высказывает, потому что опасается, чтоб кто-нибудь за нее его не треснул. Оба чего-то ждут, а чего — не говорят. А я знаю, чего они ждут; они ждут, не придет ли когда-нибудь кто-нибудь и не зарубит ли у них на носу, что именно следует разуметь под возрождением. Если придет — мысли их прояснятся; а не придет — ну, и опять будет по-прежнему: «знаю, да не скажу»!

Но это не политично. Допустим, что вы передо мной скрывались, допустим, что вы имеете даже свои причины на это; но зачем же скрываетесь вы перед Сеней, за что же его-то вы вводите в заблуждение? Ведь он и впрямь, бедняжка, думает, что возрождение — это новые серые штаны с лампасами, что возрождение — это пробор à l'anglaise [1], что возрождение — c'est quelque chose de très porté et de très couru pour le moment [2]. Одним словом, он смотрит на возрождение как на что-то съедобное, как на что-то такое, что можно носить, мять, пачкать и вообще употреблять по своему произволу.

А ведь это заблуждение, даже очень опасное заблуждение, и Сеня, оставаясь при нем, может, по милости вашей, попасть в самый печальный просак.

Raisonnos [3].

Серые штаны с лампасами сбивают Сеню с толку. Он так увлекается щегольством и шикарностью их покроя, он так поощрен ласковыми взглядами, обращаемыми на него по этому случаю Матреной Ивановной и Палагеей Александровной, что в роговой его накипи, которую он, в шутку, называет своей головой, рождается положительное убеждение, что на ком нет точно таких же штанов, тот уж и не человек. Убеждение это, очевидно, может повредить его отношениям к глуповскому возрождению. Ибо, спрашиваю я вас, что будет, если Сеня, взирая на мир с точки зрения штанов, будет видеть в Глупове лишь пустыню, населенную зверьем, не имеющим никакого понятия ни о красоте лампасов, ни об изяществе полосок и клеток? Из этого выйдет, что глуповцы будут казаться ему чем-то вроде низших организмов, а отсюда...

Положим, что глуповцы не обидятся (натерпелись они,

---

[1] по-английски.
[2] это вещь вполне приемлемая и в данный момент очень модная.
[3] Обсудим.

бедные, и не таких потасовок!), но согласитесь сами, что ж это будет за возрождение! Щелк да щелк — разве это резон? «Он щелкнул в зубы, но почему же не в нос?» — спросит оскорбленный глуповец.

У глуповца зубы болят, а нос — слава богу; следовательно, ему выгоднее, чтоб его в нос щелкали. Ведь это несправедливость, которую не потерпит даже Зубатов! Но вопрос усложняется, если глуповцы обидятся; а ведь и это может случиться, благодаря тому же возрождению. Что может тогда выйти? Увы! я опасаюсь, что тут также выйдет... но только с другой стороны...

Итак, скрывать от Сени истинный, глуповский смысл возрождения противно его интересам, противно его репутации. Не лучше ли прямо объявить ему, что бывают в жизни минуты, когда сила обстоятельств заставляет нас, людей хорошего тона, забывать о штанах с лампасами и утирать нос рогою? Не лучше ли объяснить ему, что не мешает иногда и в зипун принарядиться, не взаправду, конечно, а так... для внушения в глуповцах доверия? Не лучше ли сказать ему: «Сеня! сделай это, мой друг, и надуй почтенную публику!»

Люди, понявшие характер и сущность глуповского возрождения, именно так и поступают. С этой стороны Сила Терентьич прав совершенно: Петр Иваныч сел на место Ивана Петровича — и больше ничего не случилось.

Старые «хорошие» люди исчезают — это верно. Словно персидский порошок бог весть откуда на них посыпался; но каждая новая минута есть вместе с тем и минута смерти для кого-нибудь из глуповских Гостомыслов. Гостомыслы умирают беспрекословно, скрестивши на груди руки и облачившись в свои лучшие глуповские одежды. Как некогда умирающий Трифоныч алкал предстать пред лицо божие тем же дворовым господина Чертопханова человеком, каким состоял в земной сей юдоли, так и ныне умирающие глуповцы выказывают твердое намерение и в загробной жизни воспрянуть старыми, непреклонными глуповцами, недоступными ни резонам, ни соображениям. В этом есть нечто древне-скандинавское, в этом есть нечто новейше-ирокезское.

Но место старых глуповцев не могло быть не занято уже по тому одному, что «место свято пусто не будет», а наконец, и потому, что «было бы болото, а черти будут». Вместо прежних «хороших» людей должны были явиться новые «хорошие» люди — и они явились.

Они явились — и мы были ослеплены их сиянием; они явились — и глуповские дамы всем собором объявили, что никогда еще глуповская жизнь не была так сладостна, никогда

еще не представляла она столько pittoresque и imprévu[1]. Бойко и ходко накинулись эти новые рюриковичи на тучно удобренную глуповскую землю, и глуповская земля не выдержала: из груди ее вырвался тяжкий и болезненный стон. Казалось, все «родители» разом запротестовали из могил своих...

Нынешний «хороший» человек в наружном отношении представляет совершенную противоположность «хорошему» человеку доброго старого времени. Последний был неряшлив и неумыт, частенько даже несло от него словно морскими травами; первый, напротив того, безукоризнен и чист, как кристалл. Последний был невежествен и груб; первый, напротив того, утончен и образован. Голова последнего положительным образом представляла собой плотную роговую накипь, сквозь которую трудно было даже с молотком пробраться; голова первого, напротив того, на свет прозрачна, а при малейшем щелчке звенит, как серебро.

Нынешний «хороший» человек в карты ни-ни, историй с рылами, микитками и подсалазками удаляется, buvons[2] употребляет лишь благородным манером, то есть душит шампанское и презирает очищенную, и только к aimons[3] обнаруживает прежнее exидное пристрастие. Зато прям как аршин, поджар как борзая собака, высокомерен как семинарист, дерзок как губернаторский камердинер и загадочен как тот хвойный лес, который от истоков рек Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитого океана.

Нынешний «хороший» человек не наедается за обедом до отвала и не падает, после гречневой каши, от изнеможения сил. Он обедает вообще умеренно (хотя и на чужой счет), и послеобеденное время любит посвятить разумной беседе с приятелями о прекрасном устройстве Оксфордского университета, о воскресных забавах англичан, о рыбном обеде английских министров и о других достопримечательностях, в которых старые глуповцы ни уха, ни рыла не смыслили. Он очень мило говорит об self-government[4] и даже находит qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci[5], но в то же время не может не поставить на вид, что большие континентальные государства едва ли, без опасения за свою самостоятельность, могут принять формы самоуправления.

Нынешний «хороший» человек в делах любви избегает

---

[1] живописного и непредвиденного.
[2] выпьем.
[3] возлюбим.
[4] самоуправлении.
[5] в сущности, во всем этом есть кое-что верное.

солнечного света. Он развратничает по уголкам и всему на свете предпочитает так называемые благородные интриги. Он любит, чтоб его называли Жоржем, а не Егорушкой, Мишелем, а не Мишуточкой, и pour rien au monde [1] не согласится любить женщину, которая носит рубашки из посконного полотна.

Нынешний «хороший» человек паче всего любит публичность и не затрудняется ни пред каким обществом. Он жаждет позировать неустанно, позировать наяву и во сне, позировать в гостиной и в чулане. Он всю свою изобретательность употребляет на то, чтоб подыскать себе публику, и, достигнув этого, охотно во всякое время выбрасывает перед нею накопившийся в затхлом архиве души хлам юродивства, прикрытого громкими именами бескорыстия, честности, гласности и т. д.

Нынешние «хорошие» люди, когда встречаются в обществе, не плюют друг другу в лохань, но ведут меж собой скромную и даже отчасти ученую беседу.

— А что, mon cher [2], читали вы в «Русском вестнике» последнее политическое обозрение?.. délicieux! [3] — говорит один «хороший» человек другому.

— А я, с своей стороны, рекомендую вам, mon cher, «Письмо из Турина»... charmant! [4] — отвечает другой «хороший» человек.

Таким манером все обходится тихо, сражающихся не бывает, и даже светил небесных никто не видит.

Хотя уроженец Глупова, нынешний «хороший» человек относится к своей родине с холодностью и даже с некоторым высокомерием. Конечно, глуповские дамы... oh! les dames de Gloupoff sont délicieuses, il n'y a rien à dire! [5] но зато le reste...[6] фи!.. К Глупову он привязан горькою необходимостью возрождения; в Глупов он явился для исправления диких нравов и показания своей благонамеренности, но мысль, но сердце его не здесь, а там, в том милом, вечно юном Петербурге, где живут его добрые начальники, где он целовал ручки у светлокудрой Florence, через которую и получил место в Глупове!.. Глупов — это anima vilis, над которою ему предоставлено провиденнем делать какие угодно

---

[1] ни за что на свете.
[2] дорогой.
[3] прелестно!
[4] очаровательно!
[5] о, глуповские дамы прелестны, ничего не скажешь!
[6] остальное.

операции; Петербург — это alma mater [1], к которой он привязан незримою, но прочною, несокрушимою пуповиной. В благоговении своем перед Петербургом он возвышается до фанатизма, он делается ужасен...

Тот, кто внимательно прочитал изложенное выше определение «хорошего» человека доброго старого времени и сравнит его с определением нынешнего «хорошего» человека, тот согласится, что между ними огромная разница. Одно меня несколько беспокоит, а именно то, что Матрена Ивановна не только не смущается появлением новых «хороших» людей, но даже начинает исподволь похваливать их. А она в этом деле знаток.

В «хорошем» человеке прежнего времени был air fixe какой-то, какая-то непосредственность девственная, нечто вроде запаха дикой фиалки, смешанного с запахом вареной капусты. В нынешнем «хорошем» человеке... ба! да нет ли и в нем этого air fixe? и не это ли драгоценное качество, цепко поднюханное тонким обонянием Матрены Ивановны, послужило основой ее благосклонности к новым людям?

Но прежде нежели отвечать на эти вопросы, займемся некоторыми необходимыми исследованиями.

Во-первых, что такое air fixe? есть ли это запах в собственном и тесном смысле этого слова? есть ли это другая какая-либо внешняя, чисто физическая особенность? или это есть особенность высшая, психологическая, особенность души и сердца?

Рассказывают о каком-то животном, что оно, будучи настигаемо охотником, как последнее средство обороны испускает из себя такой с ног сбивающий запах, который сразу ошеломляет охотника самого привычного. Очевидно, что в этом примере запах составляет истинный, неподдельный air fixe животного, что без него существование последнего было бы не обеспечено и самые средства обороны мнимы. Но очевидно также, что такое определение слишком тесно, чтоб исчерпывать собой весь air fixe глуповский. Нельзя отрицать, что истинный глуповский абориген не лишен своего собственного запаха; несомненно также, что если в комнату, наполненную умновцами, войдет глуповец, то я сейчас же почувствую это; но несомненно и то, что запах этот, как бы он ни был пронзителен, не составляет еще всего глуповца и что он, с помощью некоторых усилий и обветривания, может быть не только видоизменяем, но даже и вовсе уничтожаем. Глу-

---

[1] мать-кормилица.

повец, как и всякий другой представитель породы человеческой, есть организм сложный и притом доступный совершенствованию... Он пахнет, но вместе с тем ощущает и даже других заставляет ощущать; он пахнет, но вместе с тем он... мыслит. Если бы его настигал охотник, я не ручаюсь, чтоб он совершенно пренебрег столь сильным оружием, как запах; но ручаюсь, что он прибегнет и к другим средствам, находящимся в его распоряжении. Например, он может стать перед охотником на колени и сказать ему: «За что ты меня бить хочешь?»; или спрятаться от охотника за дерево, или, наконец, принять побои беспрекословно... Возьмем и еще пример. Идет глуповец по дороге и доходит до распутия. Одна дорога идет прямо, другая идет направо, третья налево; точь-в-точь как в сказках сказывается. Я и опять не ручаюсь, чтоб в этом затруднительном случае глуповец пренебрег запахом, но несомненно, что он пустит в ход и другие соображения. Например, он может зажмурить глаза и погадать с помощью указательных пальцев или закинуть на все три дороги по палке: которая дальше кинется, ту и считать звездой путеводной, и т. д. Это тем более для него удобно, что он сам хорошенько не знает, куда идет. Согласитесь, однако ж, что все это предполагает в глуповце возможность выбора, возможность делать сравнения и выводы, и следовательно, рекомендует его вниманию исследователя, как организм сложный и высший. Это первое. А второе важное преимущество состоит в доступности глуповца к совершенствованию. Чтоб убедиться в этом, не надо даже прибегать к таким избитым сравнениям, каково, например, постепенное усовершенствование различных пород домашних животных. Да сравнение это будет и неверно, потому, во-первых, что глуповец совершенствуется в диком, а не в домашнем состоянии, а во-вторых, самое совершенствование его состоит отнюдь не в увеличении его молочности, но в укреплении его мышц до той степени благонадежности, которая обеспечивала бы дальнейшее продолжение глуповской породы. Для этого достаточно вспомнить только о той пользе, которую принесли Глупову сначала эмигранты французские и потом оборванные остатки de la grrrande armée[1], и о той, которую до наших дней приносят французы-гувернеры, французы-куафёры, французы-камердинеры. Посмотрите, какие вдруг чистенькие и беленькие детки пошли у Матрены Ивановны взамен прежних чумазых и слюнявых. А отчего?.. Оттого, что в доме ее француз-гувернер по-

---

[1] великой армии.

селился... Итак, не подлежит спору, что глуповцы действительно доступны совершенствованию и что запах их посредством постепенных проветриваний может быть изменен до того, что не будет составлять даже отличительного признака... Следовательно, истинный, неподдельный air fixe может свободно существовать и помимо запаха фиалки, смешанного с запахом вареной капусты...

Но, может быть, он заключается в какой-нибудь другой внешней особенности, как, например, в способности огрызаться, лягаться и т. д. Сознаюсь, что я действительно знал некоего барбоса, который не только целый день, но и целую ночь лаял и огрызался, лаял на все и на всех, лаял на луну и на звезды, лаял на свой собственный хвост. С другой стороны, я знал некоторого пегашку, который не мог утерпеть, чтоб не брыкнуть, как только показывали ему хомут. Очевидно, в этом заключался air fixe барбоски и пегашки. Но я не могу согласиться, чтоб в этом же заключался и air fixe моих сограждан, и даже с негодованием отвергаю это предположение. Я знаю наверное, что глуповец никогда и ни на кого не огрызался, что даже в то время, когда его привязывали на цепь, он влезал в конуру и спокойно зарывался себе в солому, в надежде, что когда-нибудь да отвяжут же, а не отвяжут, так и на цепи накормят. Что же касается до лягания, то очевидно, что, имея две ноги, а не четыре, глуповец может прибегать к этому средству выражения душевных своих движений лишь с крайнею осторожностью. И в самом деле, история доказывает, что глуповец расточал пинки, сокрушал челюсти, превращал в пепел зубы, но не лягался; что он обзывал непотребно, но не огрызался... «Так, стало быть, в этом-то и заключался глуповский air fixe?» — спросит читатель. Нет, и не в этом, потому что и эти качества, несмотря на свою солидность, тоже доступны совершенствованию, потому что не одно и то же дать плюху с маху, и притом с таким расчетом, чтоб треск от удара разнесся из одного края Глупова в другой, и дать плюху легкую, плюху либеральную, почти изящную, звуки которой не распространялись бы далее четырех стен комнаты. Можно даже до такой степени усовершенствовать себя, что и вовсе не давать плюх... и все-таки оставаться глуповцем... Ибо повторяю: сокрушение челюстей, как оно ни фундаментально кажется с первого взгляда, все-таки представляет только манеру и ни в каком случае не исчерпывает всего глуповца. Ибо глуповец не только дерется, но и мыслит...

Следовательно, для определения глуповского air fixe нужно обратиться к данным, не столь легко подчиняющимся

внешнему натиску, к данным, составляющим, так сказать, подоплеку глуповской жизни,— одним словом, обратиться к глуповскому миросозерцанию.

— Какого вы образа мыслей? — спросил я однажды доброго моего соседа, Флора Лаврентьича Ржанищева.

Флор Лаврентьич выпучил на меня глаза.

— То есть как это... образа мыслей? — пробормотал он наконец вместо ответа.

— Ну да, какого вы образа мыслей? — настаивал я.

Флор Лаврентьич с минуту подумал и вдруг разразился самым добродушным хохотом.

— Ах ты проказник! — говорил он, держа себя за бока. Он вообразил, что я сказал остроту.

В этом коротеньком разговоре, несмотря на кажущуюся его незначительность, заключается вся сущность глуповского миросозерцания. Миросозерцание это состоит в отсутствии всякого миросозерцания. Нет мерила для оценки явлений, нет мерила для распознания не только добра от зла, но и стола от оврага. В глазах глуповца мир представляется чем-то разрозненным, расползшимся, чем-то вроде мешка, в который понапихали разнообразнейшей всячины и потом взболтали. Глуповец видит забор и думает о заборе, видит реку и думает о реке, а о заборе забыл. Это для него легко и удобно, потому что дает ему возможность целую жизнь забавляться игрою в бирюльки, вытаскивать которые он великий мастер. Конкретность внешнего мира подавляет его, и оттого он не может ни изобресть порох, ни открыть Америку.

Нельзя себе представить ничего довольнее и любезнее глуповца, когда он сыт, одет и пьян. Но зато нельзя себе представить ничего и несчастнее глуповца, когда он застигнут нуждою врасплох. Траву щипать он не может, без водки обойтись — не хочет, без одежды ходить — холодно. Тогда-то, в эти торжественные минуты, является ему на помощь то скромное мужество, которое для многих послужило источником обильных глуповских надежд и глуповских реклам к будущему. Мужество это заключается в той покорности, с которой он принимает смерть, этот венец глуповской жизни, этот роковой исход, к которому прибегает глуповец в затруднительных обстоятельствах (когда проиграет казенные деньги или уволят его по третьему пункту). «Умру, но беспокоить себя не хочу!»

Спроси я у всякого порядочного русского, спроси у француза, у итальянца, какого он образа мыслей, они не поглупеют внезапно и повсеместно, они не захохочут. Кроме супа

и макарон, ожидающих их за обедом, у них имеются интересы общественные, затрогивающие их заживо и окрашивающие их убеждения. Но глуповцы вправе и хохотать и глупеть, потому что у них действительно нет образа мыслей, потому что они не в силах до сих пор столковаться даже насчет моста через ручей «Дурий брод», который повалился назад тому десять лет и совершенно разобщил ядро города от его пригородков.

— Просто, братцы, бросовое дело! — говорят глуповцы, собравшись толпой около моста и махая руками.

— Дрянь дело, как есть! — подтверждают другие глуповцы.

— Ведь этак, пожалуй, в пять верст объезд надо делать? — мотают себе на ус первые глуповцы.

— Да ведь и ручей-то какой! самый, то есть, внимания не стоющий ручеишко! — вступаются другие глуповцы.

— Завалить бы его совсем!

— А и то завалить бы!

— А ну-ко, робята!

— А не то новый мост построить?

— Да такой еще, робята, мостище выстроим, чтоб черезо всю, значит, линия прошла.

И, потолковавши, расходятся по домам, как и в тот достопамятный день, когда был крик и махание великое по поводу монумента Селезневу.

Мне могут возразить, что ежели глуповцам нравится не иметь никакого образа мыслей, то они имеют полное право оставаться при своем убеждении, и никому до этого дела нет. Чувствую всю справедливость этого возражения, но согласиться с ним не могу. Я патриот, я люблю Глупов не за стерлядей его, а за то, что на дне родной его реки спит, как мне кажется, чудище рыба-кит. Я патриот и люблю Глупов не за безукоризненно здоровый его воздух, а за то, что в этом здоровом воздухе носится, словно мечта какая-то (по-глуповски, кисель), нечто как будто еще не определившееся, но уже предощущаемое и предосязаемое. Я патриот и желал бы, чтоб Глупов как можно скорей сказал свое слово, чтоб он немедленно же изобрел порох и открыл Америку. «Что-то скажет Глупов? Какого-то цвета порох он выдумает?» — твержу я и во сне и наяву, и убежден, что всякий, кто хотя раз в жизни испытал прилив патриотических чувств и начитался притом на ночь истории Глупова, конечно, поймет тревогу, меня волнующую.

А поводов опасаться, и даже весьма серьезных, предостаточно. Возьмем для примера хоть тот один, что приятели мои

Прижимайлов и Постукин совершенно искренно исповедуют наивное убеждение, что с Глуповым, относительно миросозерцания, без понудительных мер ничего не поделаешь. В соответствие своим фамилиям, Прижимайлов думает, что Глупов поприжать надо, а Постукин мечтает, что все пойдет хорошо, когда он достаточно настучит Глупову голову.

Но, говоря по совести, я никак не могу согласиться с мнениями этих достойных преобразователей, хотя и отдаю должную справедливость их добрым намерениям. Во-первых, в настоящую минуту, как ни жми, а из Глупова положительно ничего не выжмешь. А во-вторых, я опасаюсь, чтоб, при неумеренном стучании в головы глуповцев, как бы нам с вами, мсье Постукин, совсем не застучать эти головы. Забить гвоздь в стену легко, мсье Постукин, но каково-то будет его потом вытаскивать? А может быть, вы думаете, что и вытаскивать совсем не надо? Однако ж что до меня, то я, с своей стороны, видел в жизни один только пример удачного стучания в голову, а именно: отставной подпоручик Живновский, с помощью этого процесса, выучил своего Прошку декламировать «Мистигриса» Беранже. Но и этот пример не убедителен, ибо прошкоподобно декламировать «Мистигриса» глуповцы умеют уж давно, а мне хотелось бы, чтоб они умели рассказывать эту милую песенку своими словами, чтоб они умели перелагать ее в прозу и украшать различными фестончиками своего собственного изобретения. Для этого, по мнению моему, необходимо, чтоб головы их были свободны от всякого внешнего подавливания и постукивания. Вы скажете, что из голов этих ничего, кроме монстра, не выйдет — согласен. На первый раз действительно выйдет монстр, какая-то смесь из письма сидельца к родным и счета мелочной лавочки, но по времени, и именно по мере постепенного ослабления пожимания и постукивания, монстр будет видоизменяться к лучшему и к лучшему, покуда, наконец, и впрямь заговорят глуповцы своими словами. Тогда вы и сами, messieurs [1], увидите, что за милые дети эти глуповцы, как они скромно себя держат и как понятливо излагают трогательную историю о Мистигрисе. И вы дадите себе слово навсегда оставить скверную привычку жать и стучать.

Я не говорил бы так пространно о моих опасениях, если бы не вынуждали меня к тому сами глуповцы. Страннее всего, что они сами непритворно убеждены, что относительно их без постукивания и пожимания никак-таки обойтись невозможно. Мало того, что они убеждены в этом — они чувст-

---

[1] господа.

вуют страсть, они дуреют от любви к тому, кто стучит им в головы; они скучны, они унылы, если стучание почему-либо временно прекращается. Я уверен, однако ж, что это не больше как недоразумение. Вы заблуждаетесь, достойные мои сограждане, и заблуждаетесь оттого, что никто еще не пробовал употребить относительно вас систему поглаживания по головке, никто еще не пытался позволять вам, в награду за хорошее поведение, погулять после обеда и действовать на вас посредством лакомств. Поймите, что от вас совсем даже не так много требуется, как вы думаете; что никто не ожидает, чтоб вы непременно, не сходя с места, сделались умновцами, немедленно сказали новое слово и изобрели порох! От вас требуется только, чтоб вы оказали охоту и прилежание — и ничего больше! Порох и Америка придут впоследствии: они придут тогда, когда вы вытвердите азбуку и когда при этом не будет ни пожиманий, ни постукивания.

Но возобновим слишком давно прерванную нить размышлений наших.

Итак, мы сказали, что истинный глуповский air fixe заключается в глуповском миросозерцании, а истинное глуповское миросозерцание состоит в отсутствии какого бы то ни было миросозерцания. Мы показали это наглядно, обозрев наш родной город, так сказать, à vol d'oiseau [1] и не вдаваясь в исторические изыскания, так как эта последняя задача еще до нас весьма удовлетворительно исполнена М. П. Погодиным. (Здесь, мимоходом, возникает весьма важный вопрос: труды ли Михаила Петровича сделали то, что Глупов кажется Глуповым, или Глупов сделал то, что труды Михаила Петровича кажутся глуповскими? Петр Великий создал Россию, или Россия создала Петра Великого?) Но, с другой стороны, нам могут заметить, что отсутствие миросозерцания есть такая же нелепость, как отсутствие масла в каше, как отсутствие дегтя в колесах мужицкой телеги. Подобно тому как каша без масла обдирает горло вкушающего, скажет мой возражатель, так и жизнь без миросозерцания должна всечасно обдирать мозги глуповцев, что, очевидно, невозможно, если принять в соображение продолжительность среднего термина глуповской жизни (от ста до ста двадцати лет, но вороны глуповские живут и долее).

Мне самому неоднократно приходило на мысль это возражение, и я всякий раз должен был внутренно соглашаться, что оно справедливо. В самом деле, как-таки прожить жизнь

---

[1] с птичьего полета.

без миросозерцания не только целому и в своем роде знаменитому городу, но даже и отдельному человеку? Ведь таким образом на каждом шагу будешь стукаться лбом об стену, будешь попадать ногами в лужу и дойдешь, наконец, до такой неопрятности, которая не только в Глупове, но и в доме умалишенных терпима быть не может. Я думаю, сам Михаил Петрович должен был чувствовать это, стукаясь то об Ярослава, то о Мстислава, то об Ивана Берладника, и не нащупывая из них ни которого.

Итак, я обязан сознаться, что миросозерцание есть, но миросозерцание, пришедшее извне (как извне же приходят град и поветрия разные) и управляющее Глуповым наравне с прочими городами и весями. Это не то тонкое, доступное лишь внутреннему постижению миросозерцание, которое дает себя чувствовать как продукт целого строя жизни, но миросозерцание внешнее, миросозерцание, которое можно ощущать, которое можно облобызать, но на которое можно и наплевать; одним словом — миросозерцание вроде знаменитых правил: «Цветов не рвать, травы не мять, птиц и рыб не пугать».

Выучивши наизусть эти правила, можно жить легко и приятно. Стоит только смирно гулять по дорожке, и если обладаешь какой-нибудь гнусной привычкой, как, например, кряхтишь во всю мочь или откашливаешься (это пугает рыб), или ногами дрыгаешь (это наносит вред прозябанию трав), то можно и совсем в сад не ходить.

В доказательство, что все это нисколько не затруднительно и что человек, руководимый этими правилами, легко может остаться жив, Флор Лаврентьич Ржанищев доставил мне выдержки из своего журнала, в котором он изо дня в день описывал все законные и непротивные правилам глуповского миросозерцания деяния свои.

Не могу не поделиться с читателями некоторыми из этих выдержек.

«*2 ноября* (1858 г.). Каждую ночь посещают меня видения, а днем мучусь предчувствиями. Ездил к Ивану Фомичу побеседовать о пустоши, называемой «Дунькино болото», и побранился. Вечером виден был огненный столп на небе.

9 ноября. По обыкновению, встал, умылся и помолился богу. Утром выбирали с Настасьей Петровной нового форейтора, вместо Андрюшки, который от старости стал сед и вырос безобразно. Однако, за душевною смутой, ни на ком остановиться не мог. Черт их знает, а в ихнем звании и законы природы как будто власти не имеют. Вот Андрюшке давно бы

уж пора перестать расти, а он растет себе да растет как ни в чем не бывало. А говорят еще, что мало кормим! Во сне видел птицу.

11 ноября. Приезжал англичанин с фабрики; спрашивал, не соглашусь ли отпустить в работу девок, и цену за сие давал изрядную. Решились выбрать до десяти наилучших. Настасья Петровна, которая за все эти дни заметно дулась, после сего повеселела и заявила надежду, что у нее будет новая шляпа. Володин француз поздравил меня с выгодною сделкой, на что я ему ответил, что это совсем не сделка, а просто доброе дело. Но француз, не будучи достаточно знаком с особенностями национального духа (каждая нация имеет свой дух — это верно!), пожал лишь плечами. Володя расшалился и почти каждую минуту повторял: «На фаблику! на фаблику!»

15 ноября. По случаю разнесшихся слухов, размышлял о том, прилично ли было бы, если бы деревья и злаки одевались не зеленым, а красным цветом? Во сне опять видел птицу.

20 ноября. Все сие совершилось.

22 ноября. Был на гумне... совсем не так молотят! Однако решился переносить с кротостью. Сбирали дворовых мальчишек для выбора форейтора, но решили, что мысль эту надобно оставить. На что храбра Настасья Петровна, но и та, взглянув на сие сборище, воскликнула: «Ах, друг мой! если ты хочешь, чтоб я была покойна, не вверяй мою жизнь этим разбойникам!»

29 ноября. Читал книгу, называемую «Русский вестник», от которой будто бы *все* произошло. В составлении книги большое участие принял Василий Александрович Кокорев, нашего уезда откупщик. Подписка принимается в Москве, в Армянском переулке.

25 декабря. Ездили в храм божий к обедне, но не шестерней, а четвериком, и парадных ливрей на лакеях не было (ныне, сказывают, их не лакеями, а служителями называть велено). После обедни, сверх чаяния, пришли люди поздравить с праздником. Настасья Петровна заметила в их лицах иронию; я же хотя и желал сказать им: «А что, братцы, скоро ли господами будете?» — однако воздержался. За обедом, по древнему обычаю, подавали буженину, натертую чесноком. Так как в сей день каждый глуповский помещик непременно ест буженину, то я полагаю, что в обычае сем есть нечто масонское. На сей раз буженина была отменная, и по этой причине я имел после обеда гастрическое сновидение.

1 января. Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской. Никаких мыслей, кроме *тех препротивных,* в голову не приходит, но и сих не можем свободно друг другу сообщать, ибо беспрестанно люди шныряют и вслушиваются, а выгнать их не имеем духа. Вследствие сего принужденного состояния душевного произошла скука, а вследствие скуки произошло то, что Настасья Петровна великое пристрастие к Володину французу получила. Сегодня, отходя ко сну, внушал ей, что француз этот, быть может, в отечестве своем служительскую должность исправлял; но она в ответ лишь смеялась и в досаду мне повторяла, что зубы у него отменно белые»... И т. д. и т. д.

Прочитавши дневник этот, конечно, не удивишься ни смелости мыслей, ни глубине соображений, но все-таки подумаешь-подумаешь, да и скажешь: «Ничего! жить можно!»

Итак, мы добились-таки того, что можем с спокойною совестью воскликнуть: вот истинное глуповское миросозерцание! вот неподдельный глуповский air fixe! Посмотрим теперь, права ли была Матрена Ивановна, поднюхавшая этот air fixe и у новых «хороших» людей, которые засели в Глупове по поводу возрождения.

По моему мнению, вопрос в этом случае может быть поставлен следующим образом: есть ли в новоглуповцах что-нибудь свое, ими самими выработанное, или же они продолжают пробавляться тем самым миросозерцанием, которое и до них царило над Глуповым? Вносят ли они, кроме новых фраков и жилетов, кроме новых грациозных манер, какой-нибудь новый нравственный элемент в глуповскую жизнь, или же продолжают представлять собой неизменно верных отеческим преданиям сынов Глупова?..

Веря в проницательность Матрены Ивановны, я заранее убежден, что решение этих вопросов несомненно должно состояться в ее пользу; но так как я вместе с тем обязан убедить в том же и читателя, который легко может быть подкуплен красивою внешностью обязательных поборников новоглуповского возрождения, то, делать нечего, будем сравнивать и рассуждать.

Мне говорят, что нынешний «хороший» человек ищет просветить свой ум познаниями, что он любознателен и уже не признает безусловной верности аксиомы, в силу которой жизнь являлась лишь рядом физических упражнений... И в доказательство, что это справедливо, мне приводят в пример мною же подмеченную фразу: «А вы читали, mon cher, политическое обозрение?.. charmant!»

Фраза действительно не дурна, но — увы! подобных ей я могу выбрать достаточно и из истории физических упражнений прежнего «хорошего» человека, ибо и он в свое время говаривал: «А какую мне нынче канарейку из деревни привезли... персик!»

Конечно, внешнее содержание обеих фраз совершенно различно; конечно, одна из них трактует о политическом обозрении, а другая о канарейках; но этим только и ограничивается различие... Все остальное, и притом самое важное, а именно внутреннее настроение говорящих и отношение их к предметам, о которых они говорят, и в том и в другом случае совершенно тождественны. И старый глуповец, и новый глуповец равно не имеют намерения выразить что-либо особенное, и тот и другой горят лишь нетерпением набить чем бы то ни было два-три досужих часа, которые, по заведенному обычаю, принято посвящать диалогам... В сущности, обе фразы имеют лишь смысл междометий, произносимых оконечностями языка, без всякого участия мыслящей силы.

Но выбор предмета, скажут мне; но почему же разговор не вертится по-прежнему на канарейках, а постепенно вторгается в область интересов, сфера которых уже значительно выше той, где самое видное место занимали запросы желудка и похоти? Ответ на это весьма прост: всякому возрасту, равно как и всякому времени, приличествует свой особенный разговор. И древние глуповцы никогда не дозволяли себе говорить зимою: «Ах, как жарко сегодня! Мы целый день на погребе просидели!» — но говорили: «Ну уж и морозище нынче завернул! только и спасаемся, что на печку греться лазим!» Подобно сему, и новые глуповцы, сообразив, что статья о канарейках уж поистерлась, нашли необходимым заменить ее другою. Но какой именно будет сюжет этой другой статьи, но почему этим сюжетом будет именно рыбный обед английского министерства, а не светопреставление, а не чудо св. Макария — это устраивается независимо от воли глуповцев, это предопределяется отчасти слухами, долетающими из Умнова, отчасти присылаемыми оттуда же новейшими диалогами.

Повторяю: в таком спорном деле прежде всего необходимо разъяснить отношение говорящего к фразе. Разрешите мне, например, почему глуповцы так словообильно распространяются об рыбном обеде и так скупы на размышления о своих собственных делах? И какое отношение может иметь к его жизни эта историческая странность, утратившая смысл даже в месте своего рождения? Очевидно, что ника-

кого; и я убежден, что глуповцы, болтая об этом обеде, должны ощущать ту самую головную боль, которую ощущают, по словам лондонского корреспондента «Русского вестника», и английские министры, объевшись вкусных маленьких рыбок, составляющих существенную принадлежность обеда.

Но, может быть, имеются какие-нибудь особенные и весьма секретные причины тому, что глуповцы так охотно беседуют о чужих делах и так упорно умалчивают о своих собственных? Согласен: может быть, и существуют такие причины; но согласитесь же и вы со мной, что, покуда они существуют, покуда слово будет представляться чем-то оторванным от жизни, чем-то существующим по себе и для себя, до тех пор не может быть и речи о каких-либо новых основах для жизни, до тех пор глуповцы останутся глуповцами. Скажу более: их ожидает на этом поприще новая и весьма существенная опасность, ибо, будучи поставлены, так сказать, в постоянное отлучение от своей собственной жизни, глуповцы могут утратить смысл ее, могут увлечься, могут принять средства за цель, полезную подготовку к делу за самое дело, и окончательно погрязнуть в бездне рыбных обедов... И тогда произойдет нечто странное: то, что в сущности составляет лишь негнусное препровождение времени, мало-помалу до того въестся в глуповские нравы, что глуповцы сочтут себя вполне удовлетворенными и получат сладкое убеждение, что для них действительно не может быть более приятного занятия, как облизываться, внимая рассказам о рыбных обедах.

Матрена Ивановна очень хорошо постигла пустопорожний характер этих бесед глуповских.

— Пущай побалуют! — призналась она мне однажды, в минуту откровенности,— это, батюшка, еще лучше, потому что мысли у них разбивает! Они, сударь, и невесть бы чего начудесили, кабы все молча да насупившись сидели; а теперь вот сойдутся да набрехаются досыта... ан сердце-то у них и отойдет!

И вот отчего Матрена Ивановна не только не боится новоглуповцев, но даже считает их заместо своих детей...

Указывают еще на общественную деятельность новоглуповца и отыскивают в ней признаки несомненной гражданской доблести. Рассказывают, например, что тогда-то такой-то неподкупный блюститель глуповского возрождения в три шеи выгнал от себя Терентья Силыча, явившегося на поклон с кулечком... Приводят факт и еще поразительнейший: Сила Терентьич, думая расположить в свою пользу другого такого

же блюстителя, позвал его к себе на обед; но блюститель не только не тронулся этим, но даже всенародно и в собственном Силы Терентьича доме невежничал и паскудничал над ним самым постыдным образом и, возвратившись домой, тотчас же распорядился лишить этого обывателя всех прав состояния.

Действительно, перелистывая древнюю историю Глупова, я не нахожу в ней примеров столь доблестных. Древний глуповский magistrat был прост на этот счет: он любил, чтоб к нему ходили с кулечками, и не скрывал этого. Если случалось, что он и без того сыт по горло, то и тогда он не гнал просителя в три шеи, но кротко говорил ему: «Отдай, брат, это ребяткам: я сыт!..» От обедов же решительно никогда не отказывался и, принимая хлеб-соль Силы Терентьича, ел истово, ног на стол не клал, божьего дара под стол не кидал, банта всенародно не расстегивал и хозяйскую бороду мочалкой не обзывал.

Сравнивая эти две формы общественной деятельности, я ни на минуту не мог колебаться насчет того, которой из них отдать преимущество. Конечно, древний глуповец был отвратителен, но вместе с тем он был и мил... Он представлялся милым уже потому, что был не ужасно, а смешно отвратителен. Он весь был нелепость, а потому и оценка его деятельности могла быть только нелепая. Человек, доведенный до необходимости вступить в сношения с ним, имел полное право воскликнуть: «Ах, да какая же ты славная бестия!» — но не имел права считать свою руку осквернённою прикосновением его руки. Новый глуповец продолжает быть отвратительным и в то же время утратил способность быть милым. Его прикосновение положительно оскверняет.

Но, переходя от форм деятельности к самому содержанию ее, я колеблюсь еще менее. Содержание это до такой степени тождественно, что невозможно без смеха даже подумать об этом. И в том и в другом случае пространно и размашисто развивается все та же знаменитая глуповская пословица: «Кого люблю, того и бью»,— и в том и в другом случае мотивы и побуждения деятельности нераздельно слиты с общим строем глуповского миросозерцания.

По-прежнему глуповцы оказываются бедными инициативой, шаткими и зависимыми в убеждениях; по-прежнему гибко и недерзновенно пригибаются они то в ту, то в другую сторону, беспрекословно следуя направлению ледовитых ветров, цепенящих родную их равнину из одного края в другой.

По-прежнему они наивно открывают рты при всяком во-

просе, выработанном жизнью, и не могут дать никакого разрешения, кроме тупого и бесплодного гнета, не могут дать никакого ответа, не справившись наперед в многотомном и, к сожалению, еще не съеденном мышами архиве канцелярской рутинной мудрости. Скажу более: в прежние времена глуповская необузданность смягчалась подкупностью и другими качествами, гнусность которых хотя и не подлежит спору, но которые в свое время все-таки оказывали не малую практическую пользу; а нынче и это последнее убежище глуповских вольностей рухнуло, благодаря каплуньему высокомерию и каплуньим операциям in anima vili, производимым ревнителями глуповского возрождения.

Новоглуповец откровенно и даже залихватски кладет ноги на стол; но спросите его, что он желает выразить этим действием, чего он требует, чего он ждет от Глупова,— он станет в тупик. Темное ярмо тяготеет не только над действиями его, но и над помыслами. Да, и над помыслами, потому что он до такой степени усовершенствовал себя, что нашел средство поработить не только тело, но и свободную душу.

В сущности, и старый и новый глуповец руководятся одним и тем же правилом: «Травы не мять, цветов не рвать и птиц не пугать». Но на практике, но в способах проведения этого правила в жизни, между ними замечается ощутительная разница. Старый глуповец видел эти слова написанными на доске и выполнял их не рассуждая. Новый глуповец не только выполняет, но и резонирует, не только резонирует, но и любуется самим собою. Он возводит исполнение правила в принцип, и в этом принципе находит достаточно содержания для наполнения всей своей жизни. И горе тому, кто затронет новоглуповца в этом последнем убежище, горе тому, кто отнесется легко к этой последней святыне его сердца: он в одну минуту налает столько, сколько не успели налаять его достославные предки в продолжение многих столетий; он загрызет, он докажет целому миру, что и в Глупове могут зарождаться своего рода Робеспьеры, что и глуповская почва способна производить сорванцов исполнительности.

Глуповское миросозерцание, глуповская закваска жизни находятся в агонии — это несомненно. Но агония всегда сопровождается предсмертными корчами, в которых заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы, этих ужасных попыток древлеглуповского миросозерцания удержаться на старой почве служат новоглуповцы. В лице их оно празднует свою последнюю, бессмысленную вакханалию; в лице их оно исчерпывает последнее свое содержание; в лице

их оно торжественно и окончательно заявляет миру о своей несостоятельности...

Итак, Матрена Ивановна права: старинный глуповский air fixe, усовершенствованный и усиленный, целиком переселился в новоглуповцев. Но она не права в другом отношении: она думает и надеется, что глуповцам не будет конца, что за новоглуповцами последуют новейшие глуповцы, а за новейшими — самоновейшие, и так далее, до скончания веков.

Этого не будет.

В этом отношении я даже чувствую некоторую симпатию к новоглуповцу. Он мил мне потому, что он — последний из глуповцев.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ПРЕДЧУВСТВИЯ, ГАДАНИЯ, ПОМЫСЛЫ И ЗАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

1-е ноября. Встал нынче утром необыкновенно рано. Целую почти ночь не спал. Третий раз сряду снится, будто ворон вцепился в меня когтями и клюет мне желудок. Справлялся с «Сонником», ответ вышел короткий: «злодей не дремлет». Желал проникнуть в сокровенный смысл этих слов, но как ни вникал, а разгадать не мог, по той причине, что тайна будущего от нас, по милости божией, непроницаемой завесой скрыта. Однако ж, раздумавшись об этом, пренебрег и хозяйственными заботами. Давно бы вот надо форейтора выбрать на место Андрюшки...

2-е ноября. Опять во сне видел птицу: вырвала кусок моего мяса и, поднявши нос, смакует. Словом сказать, хоть не ложись спать. Приезжал с соседней фабрики управляющий, спрашивал, не соглашусь ли отпустить в работы девок. Настасья Петровна настаивала, чтоб отпустить, потому что цену дают сходную. Однако, по причине расстройства душевного, не мог ничего сообразить, а потому и разговор до времени отклонил. Потом приходил Андрюшка и опять приставал, чтоб его сменить. Оно и точно, что безобразно: и борода седая, да и вырос как-то неестественно. Черт их знает, а в ихнем звании и законы природы как будто власти никакой не имеют. Вот ему давно бы пора перестать расти, а он ничего, растет как ни в чем не бывало! А говорят еще, что мало кормим!.. Однако, за душевною смутой, и этого дела не мог сообразить.

8-е ноября. День был пасмурный; снегу навалило столько, что в течение какого-нибудь часа стал зимник. Хотя видения меня и оставили, однако ж хозяйственных распоряжений никаких делать не мог. Поэтому целый день из халата не выходил и размышлял о том, кто мы?

9-е ноября. Кто мы? Если вопрос разобрать теоретически, то, конечно, нельзя не согласиться, что все мы люди, все

человеки. Ежели же разбирать этот вопрос практически, то есть как все в природе происходит, то выйдет, что всякому человеку на свете не только свое место определено, но и всякий человек из своего собственного сферовращения никаким образом в чуждое ему сферовращение переступить не может. Есть люди малайцы, есть люди индейцы; есть люди черные, люди коричневые и люди белые. Каждый из них в своем кругу. Поэтому есть люди, так сказать, подначальные, у которых тоже свой круг и свое обращение. Можно ли и должно ли границы сии преступать? На это ответ простой. Известно, что все земные бедствия, как-то: голод, град, холера, эпизотия и пр.— все от греха первородного. Можем ли мы все сие отвратить? Не можем, всеконечно. Но если сих, так сказать, прирожденных роду человеческому бедствий предотвратить не можем, то, следственно, не можем и черного человека сделать белым и наоборот. Dixi et animam levavi,[1] как пишут нынче господа газетчики, что значит: сказал и душу тем себе упразднил.

10 ноября. Нет, не упразднил. Мужик, целый день предающийся прирожденной лени и праздности, или человек, денно и нощно не только о самом себе, но и о целой государственной системе помышляющий; мужик, ищущий отдохновения в вине и в непристойной пляске, или человек, отдыхающий от забот в умственных упражнениях, в философических разысканиях и в тайной беседе с отсутствующими! Граница проведена ясно. Отчего темный человек рассуждает о двуперстии, о нестрижении бороды и других нелепостях, а дворянин о том не рассуждает? Оттого, что дворянскому званию сие неприлично. Отчего темный человек обращается с навозом и другими низкого свойства предметами, а дворянин пребывает лишь в сферах благоухающих? Оттого, что сие званию дворянскому пристойно. Вопросов сего рода можно бы множество предложить, а предложивши, убедиться, что здесь все чувства природы, как-то: обоняние, вкус, зрение, осязание и слух — словом, все разнствует. Итак, не будем же удивляться, что в природе существуют и белый, и зеленый, и красный цвета, что зеленому, а не красному цвету прилично одевать дерева и злаки, что стол, на котором я начертываю сии заметки, красный, а бумага белая. Все сие выше скудного нашего рассуждения и не от нас непреложно устроено.

11 ноября. Поводом же к таковым рассуждениям послужил заседатель от дворян Снежков, привезший известие, будто бы... но нет! скорее отечество наше превратится

---

[1] Сказал и облегчил душу.

в бесплодную степь Сахару, нежели рука моя начертает слово погибели и злорадства.

15-е ноября. Вновь мучили душу предчувствия. За обедом Прохор докладывал, что тараканы ползут из дому; вечером столп огненный показался на небе. От всех сих предзнаменований такое точно происходило ощущение, как бы половину достояния отнимали. А Настасья Петровна между тем все продолжает приставать с Андрюшкой... женщина! *Замечательное:* во время послеобеденного сна весьма мучился; казалось, что Андрюшка налег на меня всею своею <тя>жестью и давит. Сновидение сие можно назвать гастрическим.

Ноября 19-е. Опять приезжал с фабрики управляющий и от философических упражнений обратил к действительности. Решили выбрать до десяти наилучших девок. Настасья Петровна, которая заметно на меня, в продолжение последних двух недель, сердилась, после этого повеселела и за ужином даже заявила надежду, что у нее будет новая шляпа. Володин француз поздравил меня с выгодною сделкой (une bonne spéculation), на что я ему ответил, что это совсем не сделка, а скорее доброе дело, ибо девки, проводя время в праздности, ничего, кроме пороков и развития страстей, в будущем для себя не приобретают. Но француз, не будучи достаточно знаком с особенностями национального духа (каждая нация имеет свой национальный дух — это верно!), пожал лишь плечами. Конечно, я его и не разуверял. Володя тоже расшалился и почти каждую минуту повторял: на фаблику! на фаблику! Одним словом, в семействе нашем поселилось то душевное спокойствие, которое совершенно вознаградило меня за несколько дней, проведенных в тревоге и без сна.

Ноября 20. Снежков сказал правду.

Ноября 21. Впечатление, которое произвела сия ужасная весть, вряд ли кто в силах будет описать. В темных людях скакание, играние в гармонику и страмословие; в людях происхождения патрициянского — уныние и воздыхания! После обеда приезжал Иван Федорыч Сиводеров, и оба долгое время пребывали неутешны. Настасья Петровна наотрез объявила, что знать ничего не хочет, но идея сия, сколько верна теорически, столь же неприменима практически. Ибо сего еще от провидения нам не дано. Кажется, что мысль о замене Андрюшки новым форейтором придется отложить на неопределенное время.

Ноября 22. Был на гумне... совсем не так молотят! Однако решился переносить с кротостью.

Ноября 30. Читал книгу, называемую «Русский вестник», от которой, как уверяет Иван Федорыч, *все* произошло. Не знаю. Напротив того, мне показалось, что издатели люди благонамеренные, мыслят о *сем* благонравно и совершенно так, как бы я и сам мыслил. Большое участие в составлении книги принимает Василий Александрыч Кокорев, нашего уезда откупщик. Подписка принимается в Москве, в Армянском переулке.

Декабря 5-е. Все прежние предположения приходится оставить. Стыдно сказать, что даже форейтора приличного в наш просвещенный век русскому дворянину иметь нельзя! Едва лишь собрали сегодня дворовых подростков, чтобы сделать из них выбор, как я уже сразу увидел, что дело сие надо бросить. На что уж храбра и самонадеянна Настасья Петровна, но и она, взглянув на сие сборище, воскликнула: «Друг мой! если ты хочешь, чтоб я была покойна, не вверяй мою жизнь этим разбойникам!» Итак, еще с одной любимою мечтой пришлось расстаться!

Декабря 6. Сего числа Настасья Петровна, после непродолжительных страданий, благополучно разрешилась от бремени дочерью Аннетою. По сему случаю невольно призадумался. Умножение семейное, прежде сего служившее источником радости, ныне великое представляет в будущем претковение. Наипаче же дочь, ибо женщины ни в какой стране мира ни по военной, ни по гражданской части хода не имеют. Сказывают об амазонках, но должно думать, что рассказы подобного рода суть не что иное, как баснословие. Посему отыскали кой-какую рубашоночку худенькую, в которую и одели ее, мою бедную, как дитя, которого родители не знают, кàк и о себе-то промыслить. Господи! спаси рабу твою, Аннету! Страдания не помешали, однако, Настасье Петровне предъявлять мне горькие упреки насчет моей медлительности. По словам ее, не будь я столь непростительно медлен, то и форейтор был бы найден, и девки давно работали бы на фабрике. Горько мне было. В другое время приказал бы я высечь за это негодяя Андрюшку, как первую причину семейного несогласия нашего, но ныне от такого намерения воздержался.

Декабря 12. Крестили Аннету. Бедный ребенок, как бы в предведение будущего, плакал все время столь неутешно, что едва могли грудью унять.

Декабря 25. Ездили в храм божий в возке всем семейством, но не шестериком, как прежде, а четвернею. Вообще решились сокращать все расходы и приучаться к тому образу жизни, который, как кажется, всем нам отныне в удел будет

дан. После обедни думали провести праздник в одиночестве, однако ж люди пришли поздравлять по обыкновению. Настасья Петровна заметила при этом в лицах иронию, я же хотя и не мог не сказать им «ну что, братцы, скоро, что ли, господами будете?», однако ж для праздника все сие им простил. За обедом, по заведенному обычаю, подавали буженину, натертую чесноком. Так как в сей день каждый истинно русский помещик непременно ест буженину, то я полагаю, что в обычае сем есть нечто масонское, или, лучше сказать, это есть условный знак, по которому помещики друг друга без ошибки узнавать могут. На сей раз буженина была отменная, и я по этой причине имел после обеда гастрическое сновидение.

Января 1-е. Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской. Никаких мыслей, кроме *тех препротивных,* в голову не приходит, но и сих не можем друг другу свободно сообщать, ибо беспрестанно люди по комнатам шныряют, а выгнать их недостает духа. Оттого вынуждаемся более молчать, а между тем, вследствие сего принуждения, Настасья Петровна большое пристрастие к Володину французу приобретает, что̀ не мало также меня беспокоит. Вот каково *это дело,* что не только отечество в пустыню превратить обещает, но и в недрах семейств уже раздор поселяет!

Января 2-е. Был Станислав Мечиславич Мощи́ньский. Рассуждали с ним об деле; он радовался и говорил, что пора. «Что̀ пора-то?» — спросил я его. Весь день я был смущен, потому что во время наших споров Настасья Петровна постоянно с французом шепталась. Отходя ко сну, внушал ей, что француз этот, быть может, в отечестве своем служительскую должность отправлял, но она лишь смеялась и в досаду мне повторяла, что зубы у него отменно белые.

Января 3-е. Француз, доселе обходившийся без лакея, вдруг потребовал для себя особенного служителя. «Время ли теперь, сударыня, такие реформы делать?» — заметил я по этому поводу Настасье Петровне, однако ж она отвечала, что знать ничего не хочет. Вынужден был уступить, но зато, отходя ко сну, не мало-таки стыдил ее.

Января 4-е. Видел во сне, якобы ничего *этого* не будет.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

В бывалое время, когда о ком-нибудь выражались: «вот хороший человек!» — то разумели под этим всякого, кто, по пословице, «сальных свеч не ест и стеклом не утирается». Нынче не то. Нынче сальных свеч даже отличные люди не употребляют.

Между хорошими людьми доброго старого времени много было плутов, забулдыг и мерзавцев par sang[1]. Почему они назывались хорошими людьми, а не каналъями — это тайна русской почвы и русской природы. Прежде хороший человек выпорет, бывало, вплотную какого-нибудь Фильку и вслед за тем скажет другому такому же хорошему человеку: «А пойдем-ка, брат, выпьем по маленькой!» И ничего. Или, например, передернет нечаянно в карты (за что тут же получит надлежащее возмездие в рождество), и вслед за этим воскликнет: «Не распить ли нам бутылочку холодненького?» Одним словом, други-приятели были, теплые были... buvons, chantons et aimons[2], вот какие были люди!

Ну и в области наук тоже больших сведений не имели. По части, например, истории запас их познаний не выходил из круга рассказов о том, как в тринадцатом году русский солдат разговаривал с немцем по-русски и сумел-таки заставить понять себя, или анекдотов о том, как русский бился об заклад с немцем, кто из них дальше плюнет или сотворит такое невежество, от которого у прохожего свидетеля глаза на лоб полезут. По части географии они могли утвердительно сказать только то, что на том самом месте, где они теперь играют в карты, рос когда-то непроходимый лес, и что в не-

---

[1] чистокровных.

[2] пить, петь и любить.

давнее еще время на улице Страминихе уездный стряпчий Толковников из окна своей квартиры бывал из ружья во множестве дуэлей и бекасов. Юридическое образование их ограничивалось: по части прав состояния — отсылкой грубиянов на конюшню или в часть, а по части гражданского права — выдачею заемных писем и неплатежом по ним.

И между тем жили, жили, ели, женились и посягали, занимали начальственные должности, славословили и пользовались покровительством законов наравне с людьми, которым не безызвестно даже о распрях, происходивших в Испании между карлистами и христиносами!

Напротив того, нынешний хороший человек чист как кристалл, образован как «Русский вестник», и голова у него звенит, как серебро. В карты он ни-ни! историй с рылами, микитками и подсалазками удаляется, buvons не употребляет, а к aimons прибегает лишь втихомолку и с крайнею расчетливостью. Зато прям как аршин, поджар как борзая собака, высокомерен как семинарист, дерзок как губернаторский камердинер и загадочен как тот хвойный лес, который от истоков рек Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитого океана.

Поприще для деятельности хороших людей всех времен, пород и видов — по преимуществу провинция. Но и в этом отношении между хорошими людьми старого закала и нынешними существует бесконечная разница. Прежний хороший человек рождался, жил и умирал в губернии. Он был, так сказать, продуктом местных нечистот, об них одних болело его сердце, к ним одним стремились его вожделения, а никаких иных навозных куч он не желал, кроме тех, которыми окружено было его счастливое детство.

Петербурга он не любил и не понимал; он охотно допускал, что вообще во всех местностях обширной России могут жить и процветать хорошие люди, но в Петербурге, по его мнению, живут не люди, а выморозки.

— Помилуйте, жить и лишнего куска не сметь съесть! — восклицал он, слушая рассказы наезжающих изредка петербургских чиновников об аккуратностях столичной жизни.

То ли дело провинция! В рассказах на эту тему хороший человек был неистощим. Он с увлечением повествовал о том, какую он ел однажды буженину в Тамбовской губернии, как, в таком-то году, проезжая через Пензу, он три дня и три ночи сряду проиграл в преферанс, как в Нижнем Новгороде... В Петербурге хорошему человеку негде развиться. Нет тех милых болотцев, нет тех вязких разговорцев, нет той лесистости в понятиях и соображениях, которые способствуют питанию и возрастанию хорошего человека. В Петербурге на

каждом шагу можно встретить пронырь, интриганов, людей с загадочными средствами существования, торжествующих лакеев и ликующих откупщиков, но отнюдь не хороших людей. Можно даже с уверенностью сказать, что истинно хорошему человеку (если б таковой и народился) там с первого же шага плюх надают, мозоли отдавят и выгонят в лакейскую, уже за то одно, что хороший человек говорит преимущественно о добродетели и прибегает притом к афоризмам, что для живых, хотя и нехороших людей хуже всякой холеры. Зато в губернии хорошему человеку раздолье; там он, с по-

<После этого отсутствуют 4 листа автографа.>

С каждым годом, с каждым днем все более и более исчезает прежняя привольная жизнь провинций, и вместо нее появляется какая-то чопорная натянутость, какой-то нелепый антагонизм, еще не высказывающийся явно, но уже дающий себя чувствовать особого рода метанием взоров, расширением ноздрей, покороблением уст и общим рылокошением. Даже искушенная опытом мудрость генерала Зубатова, который, как и все наши древние администраторы, полагает, что главная задача его административных потуг заключается не в том, чтобы край управлялся законами божескими, а в том, чтоб аристократы города N не грызлись между собой и не предавались в излишестве сплетничанью, даже и эта мудрость, говорю я, разбивается вдребезги перед упомянутыми выше рылокошениями и спиноотворачиваниями. Грустное и безотрадное чувство овладевает человеком при взгляде на наши нынешние общественные собрания. С одной стороны присутствуют хорошие люди прежнего времени, наша старая веселая Русь (old merry Russia), и втихомолку переваривают анекдоты о загнанных жидах и обманутых немцах. Тут заседает и заиндевевший обладатель множества Филек и Прошек, и застенчивый откупщик и облизывающийся аристократ из казенной палаты; одним словом, все те, которым дорого, чтоб наша отечественная цивилизация развивалась постепенно, а не скачками («поспешишь — людей насмешишь» и еще: «поспешность потребна только блох ловить»). Все они, потихоньку вздыхая, разговаривают о временах минувших, когда и солнце горело светлей, и земля, без помощи удобрения, приносила сам-двадцать, и Фильки отправлялись на конюшню беспрекословно, и винокуренные заводчики уделяли по четыре копейки с ведра, а не по две, как ныне.

— Какое изобилие рыбы в реках было! — тоскует помещик Птицын.

— И какая была все крупная-с! — вздыхает недоросль из дворян Шалимов.

Присутствующий при этом отставной капитан Постукин хотя и не принимает словесного участия в разговоре, но оттопыривает губы и отмеривает руками два аршина, чтоб показать наглядно, каких именно размеров водилась в реках рыба.

— Во всем, во всем изобилие было! — вступается генерал Голубчиков (из аристократов казенной палаты), облизываясь и сгорая нетерпением дать разговору направление винокуренное.

— И музицкий бо́льса вина ку́сали! — подвиливает хвостом Герш Шмулевич.

— И винокуренные заводчики свой расчет находили! — подхватывает Голубчиков.

— Вспоминать больно!

— И весьма.

— Да и люди были какие-то особенные! — рычит отставной корнет Иван Сергеев Ка́тышкин,— примерно скажу хоть насчет дорог. Что это за бесценный народ был! Засядешь, бывало, в трущобу, экипажи были все грузные, лошади надседаются — ну, просто смерть! Ничуть не бывало! Кликнешь только: Трошка! Слезет это Трошка с козел, там ногой, тут плечом — и пошла в ход карета!

В это время капитан Постукин пыхтит и делает такое движение плечом, как будто бы действительно выпирает им из трущобы карету.

— Сердечный народ был, любовный!

— А главное, то хорошо в старину было, что все это просто делалось! Угодил, финизерв какой-нибудь к обеду соорудил — рюмка водки тебе, а оплошал, таракана там, что ли, в суп пустил — ну, не прогневайся, друг! сейчас его au naturel[1] и марш на конюшню!

— И не роптали!

— Не только не роптали, а еще бога за господ молили! поильцами, кормильцами чествовали!

— Веселое было времечко!

— Веселое!

— Рыба-то, рыбица какая была!

— И не говорите! Еще как теперь вижу, каких у меня карасей в пруде ловливали! Выволокут его, бывало, так даже весь мохом оброс, бестия! А уж о вкусе и не спрашивайте... млеет!

— Вспоминать больно!

---

[1] в натуральном виде.

— И весьма.

Но вот мало-помалу в другом конце зала образуется иной кружок. В нем не слышится разговоров ни о рыбе, ни о «финзервах», но, взамен того, до слуха изумленных гостей долетают слова, вроде: «вменяемость», «подсудность», «гласное судопроизводство» и проч. Люди, составляющие этот кружок, суть те самые «хорошие» люди, которые служат предметом настоящего исследования.

Завидевши их, люди старинного века умолкают и стараются поскорее пристроиться к карточным столам.

— Интриганты пришли! ишь их привалило! — говорит Катышкин, уходя восвояси, и затем, в продолжение целого вечера, уже ничего не произносит, кроме «пас», «семь без козырей», или «Петр Иваныч опять-таки подсидел»...

Между тем хорошие люди, засевши в противоположном углу, продолжают вести разумную беседу об устности, гласности и бескорыстии. Они держат себя гордо, выступают плавно и не давая притом никому дороги, а в отношении к хорошим людям старого покроя выказывают отменную строгость, и только в редких случаях, а именно когда у кого-нибудь из них уж слишком забавная наружность, то есть или нос вавилонами, или на руке, вместо пяти, шесть пальцев, позволяют себе относиться к нему с благодушием, напоминающим материнскую снисходительность.

— У меня сегодня по палате крайне неприятный случай был! — восклицает некоторый молодой и совершенно поджарый председатель,— один из моих чиновников дозволил себе нарушение канцелярской тайны!

— Тсс... сколько ведь раз их за это учили — и все как с гуся вода! что ж вы сделали?

— Ну, разумеется, вон его!

— Конечно, это наш долг — очищать воздух!

— Однако, господа,— вступается прокурор, который весь погружен в свое звание истолкователя сомнений,— однако не будет ли это противно «гласности»?

— Гм... да,— переглядываются присутствующие.

— Позвольте, господа! — восклицает тот же председатель,— по моему мнению, гласность сама по себе, а исполнение долга само по себе! Эти две вещи смешивать нельзя!

— Н-да, нельзя! — поддакивает товарищ председателя Курилкин.

— Я тоже согласен с мнением Ивана Тимофеича,— вмешивается другой председатель,— я с своей стороны полагаю, что гласность есть вещь хотя желательная, но существующая еще лишь в большем или меньшем отдалении, тогда как ис-

полнение долга есть вещь действительная, не терпящая ни рассуждений, ни отлагательства.

— Итак, Иван Тимофеич поступил весьма здраво, отсекши гнилой член от административного тела,— заключает вице-губернатор.

— Это ясно, как день.

— Да... теперь и я вижу, что так,— уныло бормочет прокурор, которого угрызает совесть за то, что, не далее как третьего дня, у него в канцелярии случился подобный же пример недержания канцелярской тайны, и он, во имя «гласности», не только не растерзал дерзновенного чиновника на части, но даже посулил ему дать прочесть статью об этом предмете, напечатанную в «Русском вестнике».

— Конечно, если мы, люди новые, не будем очищать воздух и отсекать гнилые члены, то на ком же будут покоиться надежды России? уж не на этой ли архивной рже?— справедливо заключает вице-губернатор, указывая на заседающих за карточными столами.

И разговор продолжается все в том же тоне и духе, переходя от нарушения канцелярской тайны к вопросу о том, может ли чиновник, получающий целковый в месяц жалованья, прилично содержать себя (ответ: хотя и не роскошно, но может), от этого вопроса к рассуждениям о пользе ревизионного стола, причем вице-губернатор представляет глубочайшие соображения относительно посылки нарочных на счет нерадивых чиновников.

В это время, за одним из карточных столов, внезапно раздается энергический протест.

— Нет, нет, нет! это, брат, шутишь!— восклицает помещик Птицын,— играть я с тобой сколько угодно буду, а уж сдавать карты не позволю... ни-ни, и не думай!

Кто же они, эти зараженные новыми идеями люди? кто эти робеспьеры формалистики? эти террористы начальстволюбия? эти сорванцы исполнительности?

Выше было сказано, что нынешние хорошие люди суть те же самые убогие мыслью, нечистые сердцем субъекты, которыми и в старину изобиловала Русь, и которых точно так же, как и нынче, величали людьми хорошими. И действительно, если формы древнего сосуда несколько очистились, то из этого отнюдь не следует, чтобы содержанием для них служило что-либо новое, а не прежнее промозглое и мутное вино. Изменение форм в этом случае есть следствие единственно нашей переимчивости, а не внутренних потребностей духа. Относительно этих последних все обстоит как и прежде. По-прежнему мы оказываемся бедными инициативою, шаткими

и зависимыми в убеждениях; по-прежнему гибко и не дерзновенно пригибаемся то в ту, то в другую сторону, следуя направлению ледовитых ветров, иссушающих нашу родную равнину из одного края в другой. По-прежнему, лишенные всякой дельной подготовки, мы отнюдь, однако ж, не сомневаемся, что можем управлять судьбами, если не целого мира (для этого высшее начальство есть), то, по крайней мере, одного из его захолустьев; по-прежнему мы наивно открываем рты при всяком вопросе, выработанном жизнью; по-прежнему не можем предложить никакого разрешения, кроме тупого и бесплодного гнета, не можем дать никакого совета, не справившись наперед в многотомном и, к сожалению, еще не съеденном мышами архиве канцелярской рутинной мудрости. Скажу больше: изменение форм не только не принесло пользы, но положительно послужило во вред делу. В прежние времена наша необузданность, по крайней мере, смягчалась нравственною распущенностью, подкупностью и другими качествами, гнусность которых хотя и не подлежит сомнению, но которые (какова должна быть среда, в которой подобные свойства могут быть чтимы на

<После этого отсутствуют 6 листов автографа.>

— Тем более что «Морской сборник», вместе с поступанием вперед, соединяет и замечательную ясность души, которая еще действительнее должна помогать ему в деле приискивания ясных форм.

Хороший человек умолкает и смотрит на жену с тою ласковостью, под которою скромно теплится тихое сознание о собственном его превосходстве над нею.

«Женщина эта — мое создание! если б не я, сделалась ли бы она когда-нибудь «хорошею» женщиной!» — думает он и прибавляет вслух: — Ты ничего не имеешь сказать больше, дружок?

— Ах, душенька! Фомка-кучер опять вчера пьян напился! Я к тебе с вопросом: не прикажешь ли отправить его в часть?

— Гм... да... в часть...

Хороший человек в смущении, потому что вопрос действительно чрезвычайно щекотлив. Конечно, до октября 1858 года хороший человек не встретил бы затруднения в разрешении его. В то блаженное время он был еще убежден, что всякий человек (то есть тот вид человека, который в просторечии именуется Ванькой), не исполнивший своего ванькинского долга, а именно: не вычистивший барские сапоги, разбивший бутылку с квасом и т. д., обязан отвечать за это по закону, а следовательно, и кучер Фомка мог быть, в силу тогдашних

убеждений, подвергнут за свою продерзость ответственности по закону. Но в упомянутом выше и достославном в летописях русской криминалистики октябре 1858 года некто кн. Черкасский взял на себя труд доказать, что если бы кто-либо из Ванек и действительно оказал нерадение в чищении барских сапог, то из этого вовсе не явствует, чтобы следовало снимать с него кожу, каковую слишком строгую меру можно и даже должно, но и то лишь в видах смягчения слишком большой резкости в переходе от сдирания кожи к совершенному ее несдиранию (ибо внезапное лишение человека его привычек, комфорта, может даже возбудить в нем ропот), и впредь до тех пор, когда в Ванькиных сердцах утвердятся правила истинной нравственности, заменить увещанием посредством так называемых детских розог. Это изобретение, равносильное изобретению компаса (ибо оно должно послужить нам путеводною звездой в плавании по многоволнистому океану крепостного права, указывая на синеющийся в туманной дали мыс Доброй Надежды), крайне смутило хорошего человека. Конечно, он и прежде постоянно отличался либерализмом и гуманностью своих юридических стремлений, в доказательство чего мог кому угодно показать начатую им статью, под названием: «об отмене кнута с точки зрения правомерности наказания», в которой осязательным образом намеревался доказать, что с тех пор как высшее начальство признало возможным изгнать кнут из нашего уголовного кодекса, идея правомерности наказания не потерпела никакого ущерба, но так далеко он еще не заходил. И под влиянием горьких сомнений и внутренней борьбы уже сбирался он писать статью под названием: «вопросные пункты кн. Черкасскому», в которой этот знаменитый публицист допрашивался, между прочим, о следующем: а) кто должен быть признан судьею в определении детскости или недетскости розог, то есть отдать ли это определение на суд «сведущих людей» или предоставить установленной полицейской власти? б) если предоставить полиции, то не следует ли при этом принять в соображение физические свойства полицейских служителей, положительно противоречащие представлению о детскости, и какие принять меры к устранению случаев превышения власти и т. д., как вдруг «Русский вестник» разразился громовою статьей, в которой с прискорбием протестовал против употребления розог в русской литературе. Хороший человек смутился, однако не поверить «Русскому вестнику» не посмел. Но не смутился кн. Черкасский и вновь доказал весьма осязательно, что, конечно, розги сами по себе дрянь, но временем они необходимы, как уступка общественному мнению,

и сверх того тем еще хороши, что составляют как бы знамя, вокруг которого примиряются и соединяются люди самых противоположных убеждений. И завязалась тут в нашей литературе «брань да история», результатом которой было то, что хороший человек окончательно очутился между небом и землей.

— Гм... в часть...— повторяет он задумчиво,— я, дружок, покаместь еще не могу на это решиться...

— Отчего же, друг мой? он вполне этого заслужил!

Однако в ответ на это хороший человек не отвечает ни да, ни нет, а только бормочет про себя что-то похожее на «гласность», и глубоко при этом вздыхает, вероятно вспоминая о том блаженном времени, когда «Московские ведомости» еще не открывали у себя особого отдела обывательской литературы. Таким образом семейная конференция и кончается, потому что хорошему человеку уже время на службу.

Подъезжая к присутственным местам, хороший человек не без удовольствия усматривает, что навстречу ему уже вылетел вахмистр в треугольной шляпе и с булавою в руках. Эта предупредительность обещает ему еще более острое наслаждение впереди, а именно удовольствие видеть всполошившихся, по случаю его прибытия, канцелярских чиновников, стоящих по местам чинно и вкопанно, не шевелящих руками и не болтающих бесполезно ногами. В присутствии хороший человек рассуждает о распространяющемся всюду бескорыстии, о том, что подлецов следует в бараний рог гнуть, и хотя не читает подаваемых ему журналов и бумаг, но, подписывая их, всякий раз предостерегает секретаря: «Вы у меня смотрите, чего-нибудь «этакого» не подсуньте! я ведь не затруднюсь и по второму пункту хватить!» Исполнивши таким образом долг свой и вновь мимоходом взглянув омерзительным оком на поднявшуюся на ноги канцелярскую сволочь, он оставляет присутствие и отправляется с утренними визитами к прочим хорошим людям, которые столь же своевременно исполнили долг свой и уже отдыхают по домам. Однако к трем часам он дома, и с удовольствием видит, что стол накрыт и на столе, кроме воды, никаких других напитков не имеется. В продолжение обеда завязывается поучительный разговор.

— А трезвость продолжает-таки делать успехи! — говорит хороший человек,— еще несколько усилий, и победа за нами!

— Ах, мой друг! в Самаре какой циркуляр насчет этого вышел — просто очарование!

— Да, уж конечно, нашему генералу такого не написать!

— А в Саратове, напротив того, дикости какие-то делаются! Представь себе, друг мой, трезвых людей бунтовщиками называют!

— Всякая сильная идея имеет сначала своих мучеников! — вздыхает хороший человек.

— Нет, а по моему мнению, со стороны саратовского генерала это просто отсутствие всякого понятия о гражданской доблести!

— А разве всякий в состоянии вместить в себе это понятие? — уныло вопрошает хороший человек.

— Конечно; но меня больше всего удивляет, что прокурор не протестовал против такого варварства! кажется, нынче прокуроры все вообще хорошие люди!

— А почему ты знаешь, что он не протестовал? Быть может, он, в тиши своего кабинета, не только протестовал, но и чувствовал при этом нестерпимую горечь?

— Бедненькой!

— Да; только бог один может видеть, какие мучительные минуты переживает иногда сердце прокурора! Донести хочется, а между тем боишься, что донесение не будет уважено!

Наступает несколько минут молчания, которыми хороший человек пользуется, чтоб высморкаться.

— А ты, Сенечка, будешь защищать трезвость? — говорит хороший человек, обращаясь к старшему сынишке.

— Я, папаса, всех пьяниц в полицию посадить велю! — бойко отвечает Сенечка, махая руками.

— А я, папаса, их без пирожного оставлю! — пищит Машечка, болтая под столом ножками.

— Мы, папаса, откупсенка изварить велим и отдадим собаке Валетке! — кричат взапуски Сашечка, Ванечка и Нюточка.

— Умница, душенька! всегда оставайтесь при этих убеждениях, друзья мои! — говорит хороший человек, растроганный до слез и с торжеством прибавляет: — Да, есть надежда, что, несмотря на происки и попустительство саратовских властей, трезвость не умрет!

В таких разговорах быстро летит время, и обед незаметно приближается к концу. После обеда, облекшись, вместо халата, в форменный пальто, хороший человек делает кратковременный кейф, причем объясняет детям значение слова «взятка» и убеждает их ополчиться, подобно ему, на искоренение этой язвы. Затем, приняв во внимание, что человеку рабочему нужен отдых, он отправляется в спальную и спит сном невинных вплоть до осьми часов.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

К ЧИТАТЕЛЮ

Два отрывка доцензурной редакции

1

Только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях; только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса. В древности Самсон употреблял ослиную челюсть, чтоб внести смятение и страх в лагерь филистимлян, в наше время место этого невинного орудия занял меч мысли, но желательно было бы, чтоб оружием этим действовали с тем же проворством и силою, с каким действовал Самсон челюстью. И это тем более удобно, что ревнители тьмы уже не скрывают своей игры, не забрасывают грязью подслащенных фраз, но прямо и открыто признают себя именно ревнителями тьмы. Следовательно, героев нет и не может быть, следовательно, руки и умы развязаны, следовательно, мы свободны от всяких обязательств...

Но, договорившись до такого заключения, я чувствую, что перо мое выпадает из рук, я чувствую, что в мысль мою, словно жало змеи, врезывается горькое раздвоение, которое уничтожает всякую мысль о близком деятельном влиянии на жизнь. Давно ли блеснул мне в глаза луч света, и уже снова поднимается мгла из недр земли! Давно ли казались мне открытыми врата будущего, и уже снова я нахожу их замкнутыми! Давно ли мне слышался там, за этими воротами, призывный шум и клики жизни, и уже снова все глухо, снова все спит непробудным сном!

В самом деле, шутка сказать человеку: доведи мысль свою до того напряженного состояния, до той страстности, которая разрешается героизмом! Где подготовка для этого? С каким материалом, с какими силами приступить к совершению подвига? да и какое, наконец, будет содержание самой мысли?

Побеседуем прежде всего о подготовке и средствах.

Ласковое, добродушное теля! Выступая с таким легким сердцем на борьбу, знаешь ли ты, что такое борьба? Знаешь ли ты, что борьба есть страдание столько же нравственное, сколько и физическое, что если первое жестоко, то второе жестоко тем более, что противно самой природе человека, что борьба есть ряд уничижений и обид, что борьба есть голод и жажда, что борьба есть первая и ближайшая посылка к смерти? Ты, который обрекаешь себя на служение истине, знаешь ли ты, что истина, как древле Ваал, любит мясные жертвы? Утучнил ли ты свое тело в такой степени, чтобы жертва эта была приятна?

Допускаю, что, предаваясь умственному труду в уединении своего кабинета, ты не ограничиваешься одними призрачными туманными мечтаниями, ты не с одним сочувствием, не с одною восторженностью относишься к делу освобождения человека от уз пленения смертного, не стремишься наудачу к неясно очерченному будущему, но мыслишь действительно, но зрело обдумываешь и даже рассчитываешь весь ход, все развитие великого дела будущего, к которому так беспокойно и так настойчиво стремится человечество от первого дня своего рождения. Допускаю, что ты относишься к делу даже практически, то есть предусматриваешь те условия, при которых оно может иметь успех, и те, при которых оно должно погибнуть, что ты с математическою верностью определил даже средства, чтобы обеспечить беспрепятственное действие первых и устранить последние. Допускаю, наконец, что до чуткого уха твоего доходят, и не бесплодно доходят, те многоразличные стоны, которые с такой мучительной покорностью судьбе вырываются из груди природы-матери, что чуткое ухо передает эти стоны чуткому сердцу, а сердце кипит злобою, а сердце млеет и умирает от гнева и омерзения. Волнение, не передаваемое языком человеческим, овладевает всем существом твоим; ты видишь раны и струпья, ты слышишь вздохи и сетования... ужас! ужас! восклицаешь ты, и нет пределов твоему отчаянию...

Что ж из этого?

Пришел ли ты к убеждению, что мысль, доколе она заключена в кабинете твоем, есть лишь бесплодная и притом растленная потеха души твоей? Пришел ли ты к убеждению, что место мысли героической, мысли воинствующей не в усидчивой работе за фолиантами, не в беседе приятельской, даже не в более или менее смелых, более или менее верных поисках в области будущего, что ей, этой мысли, точно так же необходим хлеб насущный, как твоему желудку?

Допускаю, однако ж, что и эти убеждения не составляют для тебя новости, но они пришли к тебе точно так же теоретически, как и твоя Икария, но они явились к тебе мельком, в виде страшного ультиматума, с которым не может освоиться, который желала бы отклонить мысль твоя. В самом деле, ты готов на все: ты готов защищать свою мысль шаг за шагом, ты готов принять диалектический бой со всяким противником, но злоба дня, та страшная злоба дня, которая не хочет слушать ни убеждений, ни доказательств твоих, которая хохочет и кривляется над ними, которая спокойно продолжает злодействовать, покуда ты изливаешь восторженные потоки красноречия, эта злоба дня застает тебя безоружным.

Злоба дня застает тебя безоружным, потому что ты не только презирал ее, но просто-таки не считал ее ни во что. И ты был прав, презирая, потому что, говоря абсолютно, взирая на мир с точки зрения беспримесной чистоты твоей мысли, она действительно ничего, кроме презрения, не заслуживает. Но эта презренная злоба дня нынешнего была истиною дня вчерашнего, но она еще вчера была источником жизни для бесчисленного множества тебе подобных существ, но у нее есть корни, и очень крепкие корни, в прошедшем... обойти ее трудно, обойти ее невозможно.

Волею или неволею, но ты должен сойти до нее, ты должен исследовать ее и даже принять к сердцу ее интересы. Ибо что должно, что может составлять предмет твоей деятельности? Или открытая борьба с злобою дня, или нравственно-воспитательное на нее действие. И в том и в другом случае ты должен знать слабые и сильные стороны своего противника, и в том и в другом случае ты обязан с осторожностью и даже с нежностью держать в своих руках гадину, которую намереваешься убить. Но ты остановишь меня на этом и будешь уличать в противоречии. Давно ли, скажешь ты, было взываемо к опрятности мысли, давно ли говорилось об исключительности, и вот на сцену снова выступает осторожность и даже какая-то нежность.

Но противоречия этого нет. Действительно, не дальше как две страницы тому назад я утверждал, что исключительность необходима, что примирения и компромиссы не ведут ни к чему, кроме запутанности и постыдного поражения, но тогда я обращался к тебе, как к человеку убеждения, человеку теории. Теперь же я обращаюсь к тебе, как к человеку действия, и в этой двойственности твоего характера заключается полное объяснение замеченного тобой противоречия. Пусть внутренний мир твой остается цельным и не доступным ни для каких

стачек, пусть сердце твое ревниво хранит и воспитывает те семена ненависти, которые брошены в него безобразием жизни,— все это фонд, в котором твоя деятельность должна почерпать для себя содержание и повод к неутомимости. Но оболочка этой деятельности, но форма ее должны слагаться независимо от этого внутреннего мира души твоей. Над ними тяготеют требования победоносной еще злобы дня, и требованиям этим она волею или неволею должна подчиниться, под опасением остаться бесплодною. Ты истец; ты тревожишь спокойное течение жизни, ты ищешь, чтоб она поступилась в твою пользу частью или всем своим историческим достоянием; следовательно, не она, а ты обязан подать и первый пример соблюдения необходимых в этом случае формальностей.

Да притом я не говорю тебе ни о нежности сердечной, ни о сострадательности, ни о других добродетелях этой категории: под нежностью я разумею просто нежность мускулов, нежность механическую, которая заслоняла бы от слишком любопытных взоров духовную исключительность, составляющую содержание твоего внутреннего человека, которая позволяла бы держимой между пальцами козявке держаться там смирно, без мучительных судорог и содроганий. Не говорю также и о снисходительности или приблизительной покладистости, ибо то, что с первого взгляда кажется снисходительностью, есть собственно любознательность, необходимая каждому, изучающему предмет с целью дальнейших операций.

Одним словом, я желал бы, чтоб ты сделался на время Удар-Ерыгиным, чтоб при каждом иудином лобзании, даваемом тобою злобе дня, ты в то же время вырывал один из ее вредоносных удов, чтоб ты действовал по точному разуму русской пословицы, гласящей: *не плачь, козявка! дай только сок выжму!*

— Фуй! какая, однако ж, мерзость! — восклицаешь ты,— ведь Удар-Ерыгина за это зовут шельмой, ведь Удар-Ерыгин действует так, потому что им руководят только низшие инстинкты: лукавство, низкопоклонничество, чревоугодие, наконец!

Ну да, и я совершенно с тобой согласен насчет Удар-Ерыгина (стоит только взглянуть на плоскодонную его голову, стоит только попристальнее вглядеться в блуждающий огонь его глаз, чтоб определить человека); ну да, и я согласен, что ты не только на определенное время, но даже на минуту не в состоянии сделаться Удар-Ерыгиным... Помыслы твои слишком чисты, ты сам слишком опрятен для этого... но какие же последствия этой брезгливости? не те ли, что мысль твоя без-

выходно должна будет уединяться в стенах твоего кабинета, что она никогда не придет в живое соприкосновение со злобою дня, которую, однако ж, имеет претензию поработить!

Именно потому-то я и утверждаю, что ты не в силах окрылить свою мысль до того, чтоб она не боялась окунуться в грязь базара житейской суеты, чтобы она при вопросе о средствах имела в виду только цель, которой надлежит достигнуть.

Но зато как же и бесцеремонно обращается с тобой злоба дня! Она высылает на тебя Зубатова, который, замечая в твоей физиономии нечто угрюмое, не подходящее к детской беззаботности, требуемой правилами патриархального этикета, сварливо подступает к самому твоему лицу и тоном, не терпящим оговорок, требует, чтоб ты говорил «хи-хи!». Она высылает на тебя Удар-Ерыгина, который, в свою очередь, видя, что ты принял на себя образ жалкой отощавшей дворняжки, робко пробирающейся сторонкой, чтоб стащить со стола кусок мяса, хладнокровно ошпаривает тебя горячими помоями. Она высылает на тебя, наконец, своего панегириста, преемника Булгарина, преемника Кайафы, который, чуткий к рутинным инстинктам и бессознательным ненавистям толпы, выбрасывает ей на поругание одну за другой задушевные помыслы твои, не давая даже себе труда опровергать их, потому что ему стоит только обнажить их, чтоб указать на их несообразность с требованиями той исконной мудрости, которою привыкла руководиться толпа. И толпа рукоплещет, толпа надрывается плотоядно-зверским смехом, видя, как тебя ошпаривают, как тебя заставляют говорить «хи-хи!», как тебя обличают в посягательстве на удобства и наслаждения толпы!

И не то чтоб толпа была кровожадна, но она любит пряные зрелища. Толпе так горько, так трудно жить, что самая мысль о мире лучшем кажется ей дикостью и посягательством; она так освоилась с безвыходностью своего положения, до такой степени утратила всякое сознание об идеале, что человек, поставленный в положение зверя, не режет ей глаза, не кажется вопиющей ненормальностью. Она рассуждает так: можно мыслить, развиваться и совершенствоваться, когда дух свободен, по крайней мере, от самых гнетущих материальных забот и лишений, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п., но нельзя мыслить, развиваться и совершенствоваться, когда вся мыслительная способность человека сосредоточена на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду, и будущее сулит только чищение сапогов да ношение подносов («смотри же, подлец! не

урони подноса: морда отвечать будет!» — кричит господин, имеющий возможность развиваться и совершенствоваться). И, рассуждая так, она не глядит ни вверх, ни по сторонам, а глядит все в землю, то есть туда, куда наклонили ее целые столетия гнета, наслоившиеся над нею. Естественно, что при таком озверении всех инстинктов она не умеет различить своего адвоката от паскудника, что чувство ее может быть возбуждено и отчасти принять игривое направление только при виде чьего бы то ни было уничижения, чьей бы то ни было беззащитности. Естественно, что она трепещет и плещет руками при виде торжества грубой силы над разумом: она рукоплещет тут не торжеству собственно, а издевается лишь над неразумием разума, осмелившимся не признать законности силы.

Следовательно, нужно победить еще равнодушие толпы, нужно еще возбудить ее смысл.

2

Вновь обращаюсь к тебе, добродушное, ласковое теля! и вновь повторяю: нужно победить равнодушие толпы, нужно возбудить ее мысль!

Мало того что ты по образу мыслей считаешь вправе называть себя адвокатом толпы: нужно еще, чтоб толпа сама признала тебя за своего адвоката, а чтоб достигнуть этого, необходимо подладиться к ней, необходимо самому стать толпою, принять ее инстинкты, прожить ее жизнью. Вот если б ты, увидев дантиста налетающим на преследуемого субъекта, сам налетел на него орлом, толпа действительно признала бы тебя за адвоката своего, и вопила во сто крат ходчее и веселее: «Хорошень его! накладывай, накладывай ему!» И ты внезапно вырос бы в глазах толпы, стал бы ее героем... чем-то вроде Гарибальди, переложенного на русские нравы.

А ты еще лучший из лучших, ты избраннейший из избранных! Кому же протянешь ты руку, к кому обратишь жаждущую сочувствия мысль? Да; тяжела должна быть для тебя жизнь. Жизнь не составляет ига только под одним условием: а именно, когда работу ее сопровождает успех. Успех не только дает силу и бодрость мысли, но и оплодотворяет ее, помогает ей идти вперед и развиваться. Без помощи успеха мысль незаметно оскопляется, дичает и делается ничтожною. Для тебя этот успех невозможен, потому что ты слишком разобщен от толпы, потому что ты не понимаешь ни законности ее прихотей, ни законности ее невежества, ни закон-

ности ее злодеяний. Такое отношение к жизни делает для тебя возможною одну только роль: роль той мясной жертвы, которой дым так приятно щекочет обоняние Ваала.

И я нисколько не удивлюсь, если ты, взвесив всю безотрадность пути, предстоящего тебе в будущем, закроешь лицо руками и содрогнешься; я не удивлюсь даже, если ты проникнешься робостью и сделаешь попытку побежать с поля сражения. Но ты не побежишь, потому что и над твоим существованием тяготеет роковая сила, заранее начертавшая путь, по которому тебе предстоит идти; ты не побежишь, потому что над тобою тяготеет твое прошедшее, тяготеет масса выработанных тобой и глубоко пустивших корни убеждений... ты согласишься лучше принять грудью неотразимый удар судьбы, нежели обесславить постыдным бегством те верования, которым ты служишь. Жертвоприношение совершится, и жертва будет приятна Ваалу.

Повторяю: ты лучший из лучших, избраннейший из избранных — и вот, однако ж, какого рода результатов можешь ты ждать от твоей деятельности. Что из того, что ты просто и бестрепетно примешь смерть от рук жрецов Вааловых, что ты не опозоришь себя при этом ни жалким отступничеством, ни гнусным предательством? Пойми, что, несмотря на твою геройскую бестрепетность, роль твоя все-таки будет чисто страдательною, что симпатии толпы все-таки останутся на стороне силы, и что в пользах твоего дела было бы гораздо лучше, если б ты где-нибудь в уголку, где-нибудь втихомолку испросил на коленках прощения и получил за это возможность исподволь, но неотразимо напакостить твоим врагам!

Увы! Я знал многих из твоих собратий, людей с честным сердцем и непосрамленною душою, которых протесты против торжествующей злобы дня именно ограничиваются только агнчею способностью примиряться со всеми унижениями и оскорблениями. Их втопчут в грязь — они ничего: и в грязи, говорят, живем — что, взяли? Им свяжут руки, их бросят в жертву смрада и мерзости, на них плюют — они оботрутся и опять ничего: нас, дескать, этим не оскорбишь — что, взяли? И в наивности душ своих мечтают, что злоба дня очень огорчена такою их стойкостью! А злоба дня проходит мимо и нагло хохочет над этим бессильным кривлянием, и плюет, и плюет, и плюет, при неистовых рукоплесканиях полудикой толпы! А сколько есть таких, которые, еще не заглянув в храм, уже бегут от порога его, сколько есть слабых духом, робких сердцем, сколько таких, которые даже временно не могут примириться с идеею аскетизма в жизни! Ужели они сомкнут ряды свои, чтоб твердо стать за торжество мысли,

которой не знают и которой не могут сочувствовать их внутренности, ужели не охватит их панический страх, и не побегут и не рассыплются они при первом суровом натиске действительности? Всякое сомнение в этом случае было бы только праздным и вредным самообольщением. Неестественно, чтобы общество представляло собой сплошную массу героев-аскетов, подчинивших исключительному торжеству мысли все прочие интересы жизни. Правда, что общество принимает иногда такие суровые формы, но это бывает лишь в те редкие и крайние минуты, когда потребность обновления захватывает дыхание всего живущего, когда человечество, идя извилистыми путями одряхлевшей цивилизации, внезапно видит себя в глухом переулке, откуда имеется один только выход — на стену. Такие минуты называются эрами в истории человечества, а много ли можно назвать таких эр? Да притом минута всегда остается минутою; дело созревшей мысли совершилось, стена опрокинута, торжество отпраздновано с приличною случаю помпою: назавтра наступают будни с кропотливою, ненарядною своею деятельностью, назавтра вступает в права свои жизнь, маленькая жизнь с маленькими интересами, и вновь на развалинах отжившей мысли зреет злоба дня и вновь, рядом с нею, но не признаваемое и гонимое, зачинается семя грядущего... Все это весьма естественно, и даже не потому, чтобы над судьбами человечества исключительно царило начало зла, а просто потому, что, по молодости лет и слабости рассудка, оно еще пока не может определить тех форм добра, которых с таким напряженным усилием ищет. Естественно, следовательно, и то, что в обществе, даже между людьми наиболее симпатичными, скорее можно встретить таких, которые предпочитают жить в мире с действительностью, нежели открыто идти в разлад с нею, которые охотно согласятся пожурить и даже по временам и ущипнуть действительность, но без скандалу, mon cher, без скандалу. Ибо согласие с действительностью представляет свои бесконечные удобства, ибо согласие с действительностью вносит за собой мир и благоволение в сердца человеков.

Mon cher! мне очень приятно видеть вас, человека с широкими, непреклонными убеждениями; я вам сочувствую, и не только с удовольствием, но даже с учащенным биением сердца прислушиваюсь к речам, горячим потоком льющимся из уст ваших,— но оставьте меня наслаждаться этим сладким биением сердца в спокойствии, не тормошите, не огорчайте меня, не отрывайте меня от раковины, в которой я с таким комфортом обмял себе место! Слушая вас, я воображаю себя в театре, я вижу мысленно процессию, несущую

с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы — все это очень хорошо, все это раздражает мои нервы, и раздражает, могу сказать, в самом благородном смысле, но не могу же я... не могу же я... согласитесь, что ведь я не могу?

И волею или неволею, с болью в сердце и, быть может, с проклятием на устах, но ты должен будешь согласиться, ласковое добродушное теля, что я действительно не могу, и не могу не потому, чтоб я был нравственно растлен, а потому, что я имею на жизнь тот естественный законный взгляд, в силу которого она является не суровым аскетическим подвигом, но наслаждением. Кому же ты подашь руку свою? на ком остановится скорбящая мысль твоя?

ПРИМЕЧАНИЯ

Общие вводные статьи
к «Невинным рассказам» и «Сатирам в прозе»
написаны *А. С. Бушминым*

Текстологические разделы статей и примечаний
подготовлены *В. Н. Баскаковым*

Реально-исторические комментарии —
В. Н. Баскакова и *С. А Макашина*

Произведения, входящие в этот том, создавались Салтыковым, за исключением юношеской повести «Запутанное дело», вслед за «Губернскими очерками» и первоначально появились в периодических изданиях 1857—1863 годов в такой последовательности:

1. Приезд ревизора.— «Русский вестник», 1857, декабрь, кн 2.

2. Святочный рассказ. (Из путевых заметок чиновника) — «Атеней», часть I, 1858, № 5, январь.

3. Губернские честолюбцы. I. Утро у Хрептюгина. Драматический очерк.— «Библиотека для чтения», 1858, № 2

4. Развеселое житье.— «Современник», 1859, № 2.

5. Из «Книги об умирающих». I. Генерал Зубатов.— «Московский вестник», 1859, № 3, вышел в марте. (Впоследствии озаглавлено «Зубатов».)

6. Гегемониев. (Из книги об умирающих).— «Московский вестник», 1859, № 15, вышел в мае.

7. Из «Книги об умирающих». I. Госпожа Падейкова.— «Русская беседа», 1859, кн. 16, вышла в июле.

8. Погребенные заживо Драматическая сцена.— «Московский вестник», 1859, № 46, вышел в ноябре. (Впоследствии озаглавлено «Недовольные».)

9 Скрежет зубовный.— «Современник», 1860, № 1.

10. Наш дружеский хлам — «Современник», 1860, № 8

11. Литераторы-обыватели.— «Современник», 1861, № 2.

12. Клевета.— «Современник», 1861, № 10.

13. Наши глуповские дела.— «Современник», 1861, № 11.

14. К читателю.— «Современник», 1862, № 2.

15. Недавние комедии. I Соглашение. II. Погоня за счастьем — «Время», 1862, № 4.

16. Наш губернский день — «Время», 1862, № 9.

17 Невинные рассказы. I. Деревенская тишь II Для детского возраста. III. Миша и Ваня.— «Современник», 1863, № 1—2.

18. После обеда в гостях.— «Современник», 1863, № 3.

Все эти рассказы, очерки, драматические сцены были собраны Салтыковым в две книги: «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе».

В первую книгу вошли №№ (в порядке размещения произведений): 6, 5, 1, 3, 17 (II и III), 10, 17 (I), 2, 4, 18; во вторую — 14, 7, 15, 8, 9,16, 11, 12, 13.

Кроме перечисленных произведений, Салтыков ввел в «Невинные рассказы» переработанную и сокращенную редакцию своей юношеской повести «Запутанное дело». (Первопечатный текст повести, опубликованный в журнале «Отечественные записки», 1848, № 3, см в т. 1 наст. изд.)

В разделе «Неоконченное» печатаются два наброска, датируемые 1860—1861 годами: «Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека» и «Хорошие люди». Эти наброски, частично использованные писателем в других его произведениях, впервые были опубликованы (первый — полностью, второй — в отрывках) много лет спустя после смерти автора. Кроме того, в разделе «Из других редакций» печатаются два отрывка доцензурной редакции очерка «К читателю».

Каждый из сборников — и «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» — выходил при жизни автора трижды — в 1863, 1881, 1885 годах.

«Невинные рассказы» открываются более ранними произведениями, чем «Сатиры в прозе». Этим определяется местоположение сборников в настоящем томе, хотя первое издание «Невинных рассказов» появилось в 1863 году несколькими месяцами позднее «Сатир в прозе».

Сборники объединяют рассказы, очерки и сцены разных групп. Можно выделить по меньшей мере три группы, имеющие ясно выраженные признаки принадлежности входящих в них произведений к определенным циклам. Это, во-первых, рассказы и сцены, непосредственно примыкающие к «Губернским очеркам» и объединяющиеся с ними в так называемый «крутогорский цикл» (№№ 1, 2, 3), во-вторых, это произведения, предназначавшиеся для начатого, но распавшегося цикла «об умирающих» (№№ 5, 6, 7, 8, 9) и, в-третьих, это вещи, входящие в «глуповский цикл» (№№ 11, 12, 13, 14, 16, 18). К ним было присоединено еще несколько рассказов и очерков, стоящих вне названных циклов или на грани их (№№ 4, 10, 15, 17).

Отобранные для двух сборников вещи Салтыков распределил между ними и расположил в каждой из книг, не придерживаясь хронологической последовательности написания произведений и не сохраняя границ первоначально предполагавшихся циклов. Однако отсутствие строгого сюжетно-композиционного плана не лишает «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» известной цельности. Она определяется характером изображаемых в них общественных явлений и позиции автора по отношению к этим явлениям.

Содержание произведений обоих сборников отражает острую идейную, политическую, классовую борьбу в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Салтыков всесторонне и последовательно прослеживает настроения и действия различных социальных слоев общества и царской администрации, разоблачая идеологию, психологию и социальную практику бюрократии и дворянства, пустословие и лицемерие либералов.

Все явления социально-политической борьбы он оценивает с точки зрения интересов крестьянства.

Для Салтыкова пятилетие его литературной деятельности после «Губернских очерков», то есть 1858—1862 годы, было периодом сложных идейно-творческих исканий, деятельного самоутверждения на передовых общественных позициях. Его взгляды на судьбы классов, на ход исторических событий, на реформы в этот короткий промежуток времени претерпели заметную эволюцию Теоретические искания и политическая тактика писателя не были свободны от колебаний. Но это были колебания крестьянского демократа, страстно искавшего путей и способов общественной борьбы с крепостничеством и самодержавием в сложной обстановке «эпохи возрождения».

«Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» дополнили образную галерею «Губернских очерков», хотя и не оставили таких типов, которые не были бы заслонены в памяти читателей более яркими фигурами, созданными писателем позднее. Обогащение типологии выразилось прежде всего в появлении образов крепостных крестьян и помещиков. До этого прямых предметных картин крепостного быта в произведениях Салтыкова почти не было. В «Невинных рассказах» и в «Сатирах в прозе» помещики и крестьяне выступают в своих конкретных взаимоотношениях, здесь развертываются картины крепостнического рабства и все обостряющегося классового антагонизма, появляются рельефно и полно написанные портреты крепостных крестьян и усадебных крепостников-помещиков («Госпожа Падейкова», «Развеселое житье», «Миша и Ваня», «Деревенская тишь»).

Претерпевает изменения и одна из главнейших тем «Губернских очерков» — разоблачение чиновничества. Обличение взяточничества остается уже пройденным этапом; специально к этому Салтыков после «Губернских очерков» больше не возвращается. Рецензент «Сына отечества» (1858, № 9, 2 марта, стр. 255) заметил, что рассказ «Приезд ревизора» (1857, «Невинные рассказы») «имеет от всех других произведений г. Щедрина то отличие, что в нем, от начала до конца, никто не берет денежной взятки: чуть ли не первый пример в литературной деятельности автора «Губернских очерков»». Правда, во всем дальнейшем творчестве Салтыкова взяточничество затрагивается, но только как побочный мотив или как прямое воспоминание писателя об «обличительном» этапе своей деятельности (см., например, «Игрушечного дела людишки», 1880; «Пошехонские рассказы. Вечер второй», 1883).

Мелкое и среднее чиновничество, преобладавшее в первой книге писателя, уступает в «Невинных рассказах» и в «Сатирах в прозе» первое место высшим представителям губернской бюрократии. Наиболее яркими ее олицетворениями служат Удар-Ерыгин и особенно генерал Зубатов, образ которого, проходя через ряд рассказов, перерастает в символ всей государственной администрации царизма. В связи с перемещением акцента на бюрократические верхи сами приемы обрисовки относящихся сюда типов становятся более резкими, бичующими.

Критика и публицистика живо реагировали на «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» как при первом появлении в печати входящих в эти книги произведений, так и по выходе в свет отдельных изданий сборников. Однако отклики эти (см. о них ниже) были менее обильными и менее единодушными по сравнению с теми, какие были вызваны «Губернскими очерками». Объясняется это прежде всего дальнейшим углублением идейно-политической борьбы. Единодушное признание необходимости отмены крепостного права, объединявшее широкие оппозиционные слои, стало все более исчезать, сменяясь обостряющейся борьбой между либералами и демократами по всем основным социально-политическим вопросам и прежде всего по вопросу о крестьянской реформе. Освобождение крестьян, осуществлявшееся царским правительством на условиях, выгодных для крупных землевладельцев, удовлетворяло дворянских либералов и исчерпывало их оппозиционную программу. Салтыков же, все более утверждавшийся на позициях революционной демократии, клеймил и открытых крепостников, и вступавших с ними в сделку либералов, вызывая тем самым к себе озлобление одних и охлаждение других.

«Отпали от поклонников его,— писал один из критиков об авторе «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов»,— прежде всего, конечно, люди, непосредственно затронутые как реформой, так и сатирой; потом оптимисты, чаявшие уже у нас водворения златого века и которым казалось, что Щедрин просто из каприза или по ремеслу продолжает обличать, когда нужно бы, по их мнению, лишь радоваться и торжествовать; наконец, до известной степени удалились от Щедрина люди, воспитанные на идеях спокойного, объективного творчества и встретившие в сатире его раздражение и резкость, несовместимые, по их мнению, с достоинством литературных отношений к общественным вопросам и явлениям. Но именно там, где разошлось с Щедриным большинство, он и является по преимуществу оригинальным, многосторонним, и изучение этой новой его деятельности и представляет для нас наибольший интерес по количеству поднятых им самых живых вопросов и по твердости и смелости постоянно сохраняемых им отношений к действительности» [1].

В критической литературе о «Сатирах в прозе» и «Невинных рассказах» не появилось ничего, что хоть в какой-нибудь мере приближалось бы по своему значению к статьям Чернышевского и Добролюбова о первой щедринской книге — «Губернских очерках». После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского достойной оценки нового пятилетия литературной деятельности Салтыкова можно было бы ожидать прежде всего от Писарева. Но его статья «Цветы невинного юмора» («Русское слово», 1864, № 2), посвященная двум новым книгам писателя, произвела впечатление полной неожиданности и вызвала в свое время большой шум. Критик низводил «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» до уровня развлека-

---

[1] Е. Н. Эдельсон Наша современная сатира.— «Библиотека для чтения», 1863, № 9, Современная летопись, стр. 23.

тельной литературы, истолковывал сатиру Щедрина как безобидный смех и отказывался признать за нею какое-либо общественное значение. Статья «Цветы невинного юмора», которой не замедлили воспользоваться противники сатирика, была серьезной ошибкой знаменитого критика, увлеченного и ослепленного возникшей в это время журнальной полемикой между «Русским словом» и «Современником» (см. об этой полемике и о позиции в ней Писарева в т 6 наст. изд.).

НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ

В январско-февральской книжке «Современника» за 1863 год Салтыков напечатал три небольших произведения «I. Деревенская тишь. II. Для детского возраста. III. Миша и Ваня». Они появились под общим заглавием «Невинные рассказы», которое было сделано впоследствии названием сборника. Определение *невинные* заключало в себе, конечно, иронический смысл. Но оно имело первоначально и некоторое формальное основание: в упомянутых рассказах идет речь и о лицах «невинного», детского возраста. Этим и воспользовался Салтыков как внешним поводом для безобидного заглавия, в котором таилась скрытая ироническая мотивировка. И заключалась она в том, что рассказы эти были написаны вместо запрещенных цензурой «Глупова и глуповцев», «Глуповского распутства» и «Каплунов» (см. об этом в т. 4 наст. изд). Разгневанный длительной и тяжелой цензурной историей названных произведений, Салтыков как бы бросил цензуре: ну вот, теперь получайте *невинные* рассказы! На первый взгляд это смягчало остроту сатиры, но по существу контрастно подчеркивало далеко не невинное содержание рассказов, рисовавших картины острого классового антагонизма («Деревенская тишь», «Миша и Ваня»). Ирония стала еще более едкой, когда под рубрику «невинных» были подведены в сборнике острые сатиры, изобличавшие чиновничество и бюрократов высокого ранга.

В открывающем сборник рассказе «Гегемоников» разрабатывается одна из основных тем всего творчества Салтыкова: «народ и власть». Сатирически интерпретируя летописную легенду о призвании «варягов» на Русь, Салтыков развивает взгляд на царскую монархию со всем ее многочисленным бюрократическим аппаратом как на силу враждебную народной массе.

За этой общей характеристикой бюрократии следуют рассказы, сатирически воссоздающие картину тех настроений, которые овладели помещичье-чиновничьим обществом в начальный период подготовки крестьянской реформы.

Вынужденные ходом исторических событий включиться в преобразовательную деятельность, правящие верхи и привилегированные слои общества были озабочены прежде всего охраной своих классовых интересов. Салтыков показывал, что казенный либерализм бюрократии и дво-

рянства не шел дальше лицемерных заявлений о сочувственном отношении к «меньшому брату», за которыми скрывалась все та же крепостническая «старая душа» («Приезд ревизора»). Понимая, что «нельзя иногда без того, чтоб фестончик какой-нибудь не поправить», ревнители «древнего величия» хотели только этим и ограничиться, не нарушая издревле установленной в отечестве «гармонии» («Наш дружеский хлам»).

Наиболее яркое представление о подлинных соображениях и интересах, определявших реформаторскую деятельность царской бюрократии, дает образ генерала Зубатова Он является олицетворением типа администратора крепостнического закала, сторонника суровых мер и безусловного повиновения. Неусыпный страж интересов господствующих сословий, Зубатов неукоснительно исполняет все предписания высшего начальства. Как враг всего нового, он, получив распоряжение о подготовке реформ, сперва оторопел, но затем поспешил заявить себя рьяным реформатором. В этой непривычной, «подневольной» роли преобразователя Зубатов выступает в целом ряде произведений и прежде всего в рассказе, носящем его имя.

Первые два из «Невинных рассказов» — «Гегемониев» и «Зубатов», заканчивающиеся сценой умирания героев, Салтыков готовил для «Книги об умирающих». История этого незавершенного замысла важна как для понимания связанных с ним произведений, так и для уяснения идейно-творческой эволюции писателя.

Общественный подъем в конце 50-х — начале 60-х годов, впервые в истории России сложившаяся революционная ситуация, высокая активность молодой революционной демократии, возглавленной Чернышевским,— все это внушало Салтыкову надежды на скорое осуществление коренных демократических преобразований в стране. На короткое время Салтыкову показалось, что помещики-крепостники и реакционная бюрократия бессильны противостоять ходу событий, что дело их безвозвратно проиграно. История, расчищая дорогу для новой жизни народным массам, обрекает крепостников и весь связанный с ними деспотический режим на скорое «умирание»; она неизбежно и неумолимо отбросит их с командующих постов как обветшалый хлам. В соответствии с таким пониманием хода событий писатель собирался пропеть сатирическую отходную старому миру в «Книге об умирающих», которая была начата в 1857 году, вслед за «Губернскими очерками» и в развитие идеи, выраженной в их заключительной символической сцене, изображавшей «похороны прошлых времен» (см в наст. изд., т. 2, стр. 466—468).

О работе над этим замыслом Салтыков сообщал И. С. Аксакову в письме от 17 декабря 1857 года: «Очерки, которые я готовлю... носят заглавие «Умирающие». Дело начинается запевкой, в которой, в песенном складе, объясняется, как проснулся дурак-Иванушко, пошел на дорогу и встречает ветхих людей. Затем следуют четыре рассказа о ветхих людях: старый приказный, старый забулдыга, генерал-администратор и идеалист. В заключение: эпилог, в котором Иванушко-дурачок снова выступает на сцену: судит и рядит, сначала робко, а потом все лучше и лучше. Эпилог

мною еще не написан, а он-то и будет в особенности труден, потому что я предположил употребить в дело сказочный тон, требующий очень много работы... Скажите, как Вы находите мою мысль относительно «умирающих»? Разумеется, эти умирающие еще совершенно живы и здоровы, но я предположил себе постоянно проводить мысль о необходимости их смерти и о том, что возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака. Мысль эта высказывается во всех моих сочинениях <...> но здесь она выступит еще яснее».

Из письма следует, что, за исключением эпилога об Иванушке, все «четыре рассказа о ветхих людях» были к декабрю 1857 года уже написаны. Они появились в разных периодических изданиях в 1858—1859 годах. с обозначением «Из книги об умирающих». Это — «Два отрывка..» (из которых первый — «Смерть Живновского» — посвящен «старому забулдыге», второй — «Из неизданной переписки» — «идеалисту»), «Зубатов» (о «генерале-администраторе») и «Гегемониев» (о «старом приказном»). (Первые два рассказа см. в т 4 наст. изд.)

Очевидно, уже к началу печатания произведений из цикла об «умирающих» Салтыков решил не останавливаться на первоначально написанных четырех рассказах. «Два отрывка из «Книги об умирающих» появились в печати в марте 1858 года со следующим примечанием: «Под названием «книги об умирающих» автор предположил написать целый ряд рассказов, сцен, переписок и т. д., в которых действуют люди, ставшие, вследствие известных причин, в разлад с общим строем воззрений и убеждений. Здесь предлагаются два отрывка, представляющие крайние границы этой галереи начало и конец ее. *Авт.*» [1]. Первые четыре рассказа об «умирающих» изображали чиновников разных степеней и не затрагивали помещиков, которые и составляли главную социальную опору «прошлых времен». Пробел восполняется появлением в июле 1859 года пятого рассказа из «Книги об умирающих» — «Госпожа Падейкова»,— рисующего предреформенное смятение заскорузлой помещицы, напоминающей дикой невежественностью своих понятий гоголевскую Коробочку.

После этого рассказы с обозначением из «Книги об умирающих» не появлялись. Но есть основание отнести к этой же «книге» комедию «Смерть Пазухина» (1857; ранние варианты заглавия — «Смерть», «Царство смерти»), первоначально предназначавшуюся для продолжения «Губернских очерков», повесть о смерти никчемного помещичьего сынка «Яшенька» (1857) и сцену об отстраненных от дела за ненадобностью чиновниках «Погребенные заживо» (1859; впоследствии озаглавлено «Недовольные»). (Первые два произведения см. в т. 4 наст. изд.)

Однако в 1859 году, уже на последней стадии работы, Салтыков отказался от завершения широко задуманной и далеко продвинувшейся «Книги об умирающих», признав идейно несостоятельным этот свой творческий замысел. Действительность не подтверждала надежд Салтыкова

---

[1] «Русский вестник», 1858, март, кн. 2, стр. 199.

на то, что «ветхие люди» (так именовал писатель крепостников) сдадут свои командные позиции без сколько-нибудь значительного сопротивления. Представители старого дореформенного режима, которые обрекались на «необходимую» гибель в «Книге об умирающих», не хотели умирать и не примирились, а продолжали здравствовать и активно бороться за сохранение своего господствующего положения в стране.

Взятые в отдельности рассказы об «умирающих» сохраняли известное типическое значение, но характеризовали уже не весь класс «ветхих людей», а только те слои дворянства и бюрократии, которым отмена крепостного права действительно несла разорение. В сгруппированном же виде эти рассказы произвели бы впечатление некоей широкой социально-политической концепции, которую автор уже признал в эту пору несоответствующей исторической истине. Поэтому Салтыков снял в своих сборниках начала 60-х годов все указания на «Книгу об умирающих», служившие в журнальных публикациях путеводной нитью для читателя, и перетасовал введенные в сборники рассказы распавшегося цикла с произведениями другого идейного содержания.

Вызванная ходом реальных событий перемена во взглядах Салтыкова на перспективы предреформенной борьбы получила, между прочим, и другое своеобразное творческое выражение. Первоначальная редакция рассказа «Зубатов» — 1857 г.— завершалась сценой умирания генерала. Печатая рассказ в 1859 г, Салтыков оставляет своего «героя» в живых (см. ниже, стр. 562—565). С Зубатовым, здравствующим и все более овладевающим общественными преобразованиями, читатель неоднократно встретится в «Сатирах в прозе», создававшихся параллельно с «Невинными рассказами» Он вновь появится сперва в «Скрежете зубовном», выступая здесь в роли «дядьки», приставленного к Иванушке (это имя у Салтыкова олицетворяет народные массы, крестьянство) и уговаривающего его «сидеть смиренько», а затем и в других рассказах — «Литераторы-обыватели», «Наши глуповские дела» и в комедии «Погоня за счастьем».

В зависимости от того, о каких явлениях жизни или о каких социальных слоях общества идет речь, Салтыков в «Невинных рассказах» выступает то ядовитым сатириком, то сострадательным лириком. Резкий юмор, меткие изобличающие определения, приемы художественной карикатуры характерны для тех произведений, в которых автор беспощадно разоблачает, обнажает и высмеивает плутовскую психологию и практику всей многочисленной армии царского чиновничества («Гегемониев»), деспотизм ретивых бюрократов-администраторов («Зубатов»), бредовые мечтания помещика-крепостника, помешавшегося на ненависти к крестьянам («Деревенская тишь»).

Тон суровых обличений сменяется другим, уступает место глубокому сочувствию, когда предметом изображения становится непосредственно жизнь порабощенного крестьянства. Эта черта писателя — гуманиста и демократа — проявилась еще в «Губернских очерках». В типах простонародья, как это было замечено Добролюбовым, Салтыков открывал под на-

носным слоем предрассудков и следов духовного и материального рабства прекрасные человеческие черты, которые давно утрачены людьми правящих классов.

Непосредственным продолжением рассказов о жизни крестьянства в дореформенную эпоху, вошедших в «Губернские очерки» («Отставной солдат Пименов», «Пахомовна», «Аринушка»), служат три «невинных рассказа». «Миша и Ваня», «Святочный рассказ», «Развеселое житье». В них, в отличие от рассказов первой книги Салтыкова, правдивое воспроизведение подневольной жизни народа дополнено картинами пробуждения настроений активного протеста в крестьянстве, хотя формы этого протеста еще индивидуальные. В самоубийстве ищут избавления от зверств помещицы крепостные мальчики («Миша и Ваня»), бегством спасается от рекрутчины крестьянский юноша («Святочный рассказ»), из ненависти к помещику-насильнику уходит в леса, в разбой крепостной Иван, чтобы хоть там обрести себе волю («Развеселое житье»).

В рассказах о крестьянстве нашли свое яркое выражение характерные черты писателя-демократа: превосходное знание быта, психологии, нужд и чаяний простого народа, глубоко сочувственное отношение к его бедственному положению, кровная заинтересованность в коренном изменении его судеб. Все это проявилось и в том чувстве симпатии, с которым обрисованы действующие лица, и в лирических признаниях писателя. «Я,— пишет Салтыков,— несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни» («Святочный рассказ»).

Со времени «Губернских очерков» для Салтыкова становится обычным обращение к фольклору, и особенно в произведениях о крестьянстве. Так обстоит дело и в «Невинных рассказах». В народно-поэтическом творчестве писатель находил не только существенные элементы художественной формы, отвечающей требованиям темы, но и постигал сам образ народного мышления, думы, настроения, чаяния простого народа. Так, в рассказе «Развеселое житье» Салтыков мастерски осуществил повествование от лица крепостного крестьянина-бунтаря. Рассказ насыщен народно-поэтическими элементами, проявляющимися в лексике и фразеологии, в народных речениях и в прямом использовании удалых и разбойничьих песен, в которых русское крепостное крестьянство воплотило свои свободолюбивые мечты, свою тоску по воле, в которых прославляло своих смелых сынов, отваживавшихся на неравную борьбу с угнетателями.

Характерная для Салтыкова связь и перекличка между отдельными произведениями относится и к «Невинным рассказам». С одной стороны, по содержанию, жанровой форме, стилю, месту действия и общности некоторых персонажей они примыкают, как сказано, к «Губернским очеркам». С другой — в некоторых из них намечаются мотивы, которые отзовутся или будут развиты в последующем творчестве сатирика. В этом отношении

наиболее показателен рассказ «Деревенская тишь» (1863). Здесь, как и в более раннем рассказе «Госпожа Падейкова» (1859), представлен разоряющийся помещик, Кондратий Трифоныч, помешавшийся, в связи с крестьянской реформой, на «сословном антагонизме». Отдавшись праздным и злобным мечтаниям, он то рисует в своем воображении картину внезапного обогащения от того, например, что его паршивый кустарник в одну минуту превратится в высокий и частый лес, за который он получит огромные деньги; то видит себя во сне превратившимся в медведя, который торжествующе сминает непокорного слугу Ваньку; то грезит о машине, которая совсем освободит его от работников, и т. д. Изображение подобных бредней деградирующего сознания крепостников впоследствии найдет продолжение и развитие в сказке «Дикий помещик» (1869) и особенно в той главе «Господ Головлевых» (1875—1880), где рисуются «выморочные» фантазии Иудушки.

Основные идейные мотивы, образы и характерные черты сатирической поэтики «Невинных рассказов» получили свое непосредственное продолжение и развитие в сборнике «Сатиры в прозе», отобразившем высший фазис антикрепостнической борьбы в России.

По остроте тематики, обращенной преимущественно к дореформенной поре, сборник «Невинные рассказы» в момент своего появления в 1863 году заметно уступал «Сатирам в прозе». Этим прежде всего и объясняется то обстоятельство, что след, оставленный «Невинными рассказами» в критической литературе, бледен; книге, взятой в целом, не было посвящено ни одной обстоятельной статьи, она прошла как бы на правах дополнительного материала к критическим суждениям об авторе «Сатир в прозе» и чаще использовалась для тенденциозных нападок на сатирика (см. упомянутую статью Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора»). Вместе с тем некоторые рассказы сборника — «Деревенская тишь», «Миша и Ваня» и др.— служили предметом оживленных критических споров (см. ниже комментарий к отдельным произведениям).

Первое отдельное издание «Невинных рассказов» вышло в начале августа 1863 года (ценз. разр.— 23 июля). Оно было выпущено, как и первое издание «Сатир в прозе», книжным магазином Н. А. Серно-Соловьевича в то время, когда владелец его находился уже в Петропавловской крепости, арестованный одновременно с Н. Г. Чернышевским 7 июля 1862 года.

Подготавливая первое издание сборника, Салтыков провел значительную стилистическую правку включенных в него произведений. Кроме того, рассказ «Зубатов» и повесть «Запутанное дело» он ввел в сборник не в первопечатных, а в новых редакциях, и внес ряд изменений в текст рассказа «Развеселое житье», стремясь сгладить изъяны, нанесенные этому произведению цензурой.

При жизни Салтыкова сборник переиздавался в 1881 и 1885 годах, а также вошел в первый том девятитомного собрания сочинений 1889 года («издание автора»). Какие-либо существенные (и даже стилистические) изменения в этих изданиях отсутствуют, если не считать сокращения двух абзацев в рассказе «Миша и Ваня», произведенного Салтыковым в издании 1881 года (см. об этом в комментарии к этому рассказу).

В основу настоящего издания «Невинных рассказов» положен текст третьего издания сборника 1885 года. Единственное отличие по составу от этого и других прижизненных изданий «Невинных рассказов» относится к рассказу «После обеда в гостях». В согласии с замыслом Салтыкова, разрушенным цензурой, этот рассказ печатается под своим первоначальным заглавием «Перед вечером», в качестве третьей главы очерка «Наш губернский день», входящего в «Сатиры в прозе» (более подробную мотивировку см. в комментарии к названному очерку).

Все рукописи произведений, вошедших в «Невинные рассказы», хранятся в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

ГЕГЕМОНИЕВ

(Стр. 7)

Впервые — в газете «Московский вестник», 1859, № 15, стр. 182—185 (ценз. разр.— 18 мая), с подзаголовком — «(Из книги об умирающих)». Подпись: Н. Щедрин.

Рукописный материал представлен: 1) черновым автографом ранней редакции под заглавием «Отходящие. I» и с эпиграфом: «Старость не радость: и пришибить некому, и умирать не хочется» (1857, ноябрь — декабрь), 2) авторизованной рукописью с тем же заглавием и эпиграфом; на полях большие авторские вставки, сделанные при подготовке произведения к печати (1859, апрель), 3) авторизованной рукописью начала рассказа, без заглавия и эпиграфа, но с обозначением «I» (1859).

Возникновение замысла произведения об администраторах-варягах, основанного на сатирическом использовании летописного повествования о призвании варягов на Русь, относится к осени 1857 года. Он был подсказан И. В. Павловым, который 13 августа 1857 года писал Салтыкову — своему школьному товарищу: «...Сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это, так сказать, прообразование всей русской истории. «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет», вот мы и призвали варягов княжить и владеть нами. Варяги — это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицеймейстеры — одним словом, все воры, администраторы, которыми держится какой ни на есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся наша 14-классная бюрократия, этот 14-главый змий поедучий, чудс

поганое наших народных сказок»[1]. Отвечая И. В. Павлову, Салтыков 23 августа 1857 года сообщал: «Твоим мифом о призвании варягов я намерен воспользоваться и устроить очерк под заглавием «Историческая догадка». Изложу ее в виде беседы учителя гимназии с учениками»[2]. Однако, работая в это время над «Книгой об умирающих», Салтыков вложил легенду о варягах-администраторах в уста не учителя гимназии, а удаленного от службы подьячего Зиновея Захарыча Гегемониева.

В декабре 1857 года рассказ «Гегемониев» был закончен Из письма Салтыкова к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 года видно, что в числе написанных к этому времени четырех рассказов «о ветхих людях» (для «Книги об умирающих») был и рассказ о «старом приказном», то есть о Гегемониеве. Первоначально он не имел своего заглавия. Весь цикл, включающий «Гегемониева», «Зубатова», «Два отрывка из «Книги об умирающих», назывался «Отходящие» и имел приведенный выше эпиграф. Вслед за эпиграфом шли четыре рассказа, перенумерованные римскими цифрами. В 1859 году, подготавливая рассказ к печати, Салтыков в значительной степени переработал его Сохранившаяся рукопись рассказа с упоминанием о Зубатове («об административных подвигах которого мы имели счастье в недавнем времени докладывать нашим читателям») позволяет отнести доработку рассказа к апрелю 1859 года, то есть ко времени между появлением в печати «Зубатова» (март) и «Гегемониева» (май)

Переработка рассказа в 1859 году прежде всего коснулась его экспозиционной части. В первоначальной редакции вступительная часть рассказа была предельно кратка и не могла дать ясного представления о той среде, в которой растут и формируются подобные Гегемониеву «братцы меньшие». С включением эпизода в приемной генерала Зубатова и описания попойки, устроенной Потанчиковым, охват чиновничьей жизни в рассказе значительно расширился. Генерал Зубатов, вице-губернатор, чиновники губернского правления пополнили число действующих лиц, в рассказе появилась жизненная среда, взрастившая и воспитавшая не одно поколение Гегемониевых и Потанчиковых. В этой редакции рассказ и был опубликован в «Московском вестнике», фактически редактировавшемся тем самым И. В Павловым, который подсказал Салтыкову мысль о варягах-администраторах.

Еще до появления рассказа в печати Салтыков выступал с чтением его в литературных кружках Петербурга[3], а в марте 1860 года артист П. М. Садовский читал «Гегемониева» на вечере в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым[4].

---

[1] «Литературное наследство», т. 67, М 1959, стр. 456.
[2] Там же, стр. 457—458.
[3] См.: П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого, ЗИФ, М.—Л. 1930, стр. 60.
[4] См. «Московский вестник», 1860, № 13, 1 апреля, стр 207.

Цензурная история рассказа «Гегемониев» непосредственно связана с цитированным письмом Салтыкова к И. В. Павлову от 23 августа 1857 года. Это письмо подверглось перлюстрации и на основании извлеченных из него сведений 22 октября 1857 года в Главном управлении цензуры было заведено дело «О предполагаемой к напечатанию статье г. Салтыкова под заглавием «Историческая догадка»»[1], а попечители Московского и Санкт-Петербургского учебных округов, в чьем подчинении находились цензурные комитеты, получили строгое распоряжение «в случае поступления на рассмотрение <...> сочинения или журнальной статьи г. Салтыкова под заглавием «Историческая догадка», изложенной в виде беседы учителя с учениками, обратить на оную особенное <...> внимание»[2].

Однако рассказ, напечатанный Салтыковым в 1859 году под заглавием «Гегемониев», по своему сюжетному оформлению мало соответствовал тому замыслу, о котором писатель сообщал И. В. Павлову в 1857 году. Салтыков дал рассказу другое название; место учителя гимназии занял в рассказе отставной подьячий Гегемониев, а гимназистов, для которых должна была излагаться легенда, сменил вновь назначенный становой пристав Потанчиков. Такое преобразование замысла ввело в заблуждение цензуру, которая пропустила рассказ в печать, не обратив на него не только «особенного», но и никакого внимания.

Стр. 8. *...прежде всего к Зиновею Захарычу сходить следует...*— Здесь Салтыков развивает сюжетный мотив, который наметился у него в рассказе «Жених» («Современник», 1857, № 10; см. в т. 4 наст. изд.). В этом рассказе впервые упоминается выгнанный со службы подьячий Гегемониев; он представлен в роли наставника молодых чиновников, которые, вступая на административное поприще, обращаются к нему за советом и наставлениями.

Стр. 10. *...этого нового Улисса...*— то есть увлекательного рассказчика о необыкновенных приключениях; Улиссом римляне называли Одиссея, героя древнегреческого эпоса, в том числе гомеровских поэм.

Стр. 11. *Вертоград этот ...в каких-нибудь сто лет, разросся...*— Государственный аппарат самодержавия был создан в результате петровских преобразований. В январе 1722 года Петр I ввел 14 классную «Табель о рангах», послужившую основой для дальнейшего развития русской бюрократии.

...невещественных отношений вещественное изображение...— Несколько перефразированное выражение из романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» («вещественные знаки .. невещественных отношений...»). Упрек в заимствовании этих слов содержится в статье Д. И. Писарева «Цветы не-

---

[1] Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (далее — ЦГИАЛ), ф 772, оп. 7, 1857—1859 гг., п. 42, д. 226 151595.

[2] «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 124.

винного юмора» (Д. И. Писарев. Сочинения, т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 348).

«Земля наша велика и обильна ..» — Здесь и далее в рассказе Зиновея Захарыча используются выражения из «Повести временных лет» — русской летописи, содержащей изложение известной легенды о призвании варягов (см. «Повесть временных лет», ч 1. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихачева, изд. АН СССР, М.— Л. 1950, стр 18)

Стр. 12. *...чтоб пермете не сказать.*— Чтобы не спросить разрешения (*франц.* permettez — разрешите).

Стр. 13. *Призываю я меньшого своего братца, который хоть и весь в меня, а считается будто твоим депутатом. .*— Речь идет о депутатах от того сословия, к которому принадлежит обвиняемый. Эти депутаты должны были присутствовать в качестве наблюдателей при производстве уголовных следствий.

...птицу Финик...— Искаженное название легендарной птицы Феникс.

Стр. 14 .. *не плюй в бороду-то, не плюй! ...жизнь-то твоя вся в бороде заключается.*— Имеется в виду купечество — главный источник незаконных поборов и взяток для провинциальной администрации.

...его сивущество иерусалимского князя Полугарова паче звезд уважай — Этот сатирический псевдоним служит у Салтыкова обозначением откупной системы, предоставлявшей отдельным лицам монопольное право торговли вином в той или иной местности. Он образован от названия русской водки («полугар») с определением «иерусалимский», которое содержит в себе намек на еврейское происхождение целого ряда богатейших откупщиков (Гинцбург, Ванштейн, Рабинович, Френкель и др.).

ЗУБАТОВ

(Стр. 15)

Впервые — в газете «Московский вестник», 1859, № 3, стр. 32—37, под заглавием «Из «Книги об умирающих». I. Генерал Зубатов» (ценз. разр.— 27 февраля). Подпись: Н Щедрин.

Сохранилась авторизованная рукопись (1857, ноябрь — декабрь), по которой Салтыков вырабатывал окончательную редакцию рассказа.

Как и «Гегемониев», рассказ «Зубатов» посвящен теме ухода из жизни «ветхих людей». Герои этих рассказов находятся на разных ступенях бюрократической лестницы, но социальная сущность их одна и та же. В «Зубатове» Салтыков создал сатирический образ администратора «старой школы», действующего в годы подготовки крестьянской реформы.

Первая редакция «Зубатова» была написана в ноябре— декабре 1857 года (см. письмо Салтыкова к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 года). В этой редакции рассказ завершался сумасшествием и смертью Зубатова, что полностью соответствовало замыслу «Книги об умирающих». Через два года Салтыков вновь вернулся к рассказу и коренным образом

изменил его заключительную часть. В редакции 1859 года Зубатов не сходит с ума и не умирает. Чувствуя, что ничего, по существу, не изменилось, он обретает бодрость и душевное равновесие и с новыми силами вершит свои административные дела

Приводим полностью заключительную часть рассказа по редакции 1859 года, напечатанной в «Московском вестнике». Публикуемый фрагмент в журнальном тексте следует после слов. «...оказывается чуть-чуть не злостным банкротом.. ужасно!» (см. стр. 26):

«— Что ж это такое! что ж это такое! — восклицает он тоскливо, прерывая внезапно наши занятия и хватая себя обеими руками за голову,— заколдовано оно, что ли?

— Не могу знать, ваше превосходительство.

— Да помилуйте, Николай Иванович! Ведь я желаю слышать ваше мнение!

Но так как у меня, в жизнь мою, никогда никто мнения не спрашивал, и как, напротив того, всегда мне внушалось, что рассуждать на службе не следует и что за рассуждения в военное время расстреливают, то весьма естественно, что во мне могло выработаться собственное мнение только относительно жилетов, брюк, шато-лафита и тому подобных предметов.

— Не прикажете ли, ваше превосходительство, на первый раз написать проектец о разбитии английского сада на городской площади? — осмелился я заметить стороною.

— Н-да... это полезно... но, к сожалению, предместники мои уж столько поразводили садов, что высшему начальству это может в глаза броситься... Отчего бы, однако, оно нейдет? Отчего старики наши, что, бывало, ни задумают,— все сейчас же принимается?

— Пристукнуть надо, ваше превосходительство!

— Ах, да нет же! нельзя, нельзя, говорю я вам! не велено!

Одним словом, беспокойства генерала приняли такие размеры, что Анна Ивановна имела полное основание опасаться за самую его жизнь В собиравшемся у нее по вечерам интимном кружке часто раздавался голос, произносивший горькие жалобы

— Семен Семенович истинный мученик,— говорила она,— вы вообразите только, что с него спрашивают, от него требуют.. toutes sortes de choses...[1] и при этом никаких средств!.. Вспомните, какой штат *нашей* канцелярии... c'est affreux![2]

Однако мало-помалу и страшная, разъедающая деятельность Семена Семеныча начала стихать. Постепенно я стал замечать, что он заговаривает о проектах все реже и реже, и даже старается замять разговор, как скоро дело коснется железных дорог, системы взаимного обучения и т. д В течение самого короткого времени душа его возвратила прежнюю ясность, а щеки снова покрылись густым румянцем, который в сочетании с седыми бакенбардами и соответствующим рангу ростом делал из него в одно и то же время и приятного мужчину, и представительного администратора. Иногда он даже заигрывал со мной по поводу недавних наших проектов.

— Пристукнуть! — говорил он мне с любезнейшей улыбкой на устах.— Пристукнуть? ah, mais savez-vous que l'idée est ingénieuse![3]

Анна Ивановна вторила ему своим детским нервным смехом.

---

[1] самых разных вещей.

[2] это ужасно!

[3] а знаете ли, эта мысль заслуживает внимания!

винного юмора» (Д. И. Писарев. Сочинения, т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 348).

«Земля наша велика и обильна ..» — Здесь и далее в рассказе Зиновея Захарыча используются выражения из «Повести временных лет» — русской летописи, содержащей изложение известной легенды о призвании варягов (см. «Повесть временных лет», ч 1. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихачева, изд. АН СССР, М.— Л. 1950, стр 18).

Стр. 12. *...чтоб пермете не сказать.*— Чтобы не спросить разрешения (*франц.* permettez — разрешите).

Стр. 13. *Призываю я меньшого своего братца, который хоть и весь в меня, а считается будто твоим депутатом...*— Речь идет о депутатах от того сословия, к которому принадлежит обвиняемый. Эти депутаты должны были присутствовать в качестве наблюдателей при производстве уголовных следствий.

..птицу Финик...— Искаженное название легендарной птицы Феникс.

Стр. 14 *...не плюй в бороду-то, не плюй! ...жизнь-то твоя вся в бороде заключается.*— Имеется в виду купечество — главный источник незаконных поборов и взяток для провинциальной администрации.

...его сивущество иерусалимского князя Полугарова паче звезд уважай.— Этот сатирический псевдоним служит у Салтыкова обозначением откупной системы, предоставлявшей отдельным лицам монопольное право торговли вином в той или иной местности. Он образован от названия русской водки («полугар») с определением «иерусалимский», которое содержит в себе намек на еврейское происхождение целого ряда богатейших откупщиков (Гинцбург, Ванштейн, Рабинович, Френкель и др.).

ЗУБАТОВ

(Стр. 15)

Впервые — в газете «Московский вестник», 1859, № 3, стр. 32—37, под заглавием «Из «Книги об умирающих». I. Генерал Зубатов» (ценз разр.— 27 февраля). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась авторизованная рукопись (1857, ноябрь — декабрь), по которой Салтыков вырабатывал окончательную редакцию рассказа.

Как и «Гегемониев», рассказ «Зубатов» посвящен теме ухода из жизни «ветхих людей». Герои этих рассказов находятся на разных ступенях бюрократической лестницы, но социальная сущность их одна и та же. В «Зубатове» Салтыков создал сатирический образ администратора «старой школы», действующего в годы подготовки крестьянской реформы.

Первая редакция «Зубатова» была написана в ноябре— декабре 1857 года (см. письмо Салтыкова к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 года). В этой редакции рассказ завершался сумасшествием и смертью Зубатова, что полностью соответствовало замыслу «Книги об умирающих». Через два года Салтыков вновь вернулся к рассказу и коренным образом

изменил его заключительную часть. В редакции 1859 года Зубатов не сходит с ума и не умирает. Чувствуя, что ничего, по существу, не изменилось, он обретает бодрость и душевное равновесие и с новыми силами вершит свои административные дела.

Приводим полностью заключительную часть рассказа по редакции 1859 года, напечатанной в «Московском вестнике» Публикуемый фрагмент в журнальном тексте следует после слов. «...оказывается чуть-чуть не злостиым банкротом.. ужасно!» (см. стр 26):

«— Что ж это такое! что ж это такое! — восклицает он тоскливо, прерывая внезапно наши занятия и хватая себя обеими руками за голову,— заколдовано оно, что ли?

— Не могу знать, ваше превосходительство.

— Да помилуйте, Николай Иванович! Ведь я желаю слышать ваше мнение!

Но так как у меня, в жизнь мою, никогда никто мнения не спрашивал, и как, напротив того, всегда мне внушалось, что рассуждать на службе не следует и что за рассуждения в военное время расстреливают, то весьма естественно, что во мне могло выработаться собственное мнение только относительно жилетов, брюк, шато-лафита и тому подобных предметов.

— Не прикажете ли, ваше превосходительство, на первый раз написать проектец о разбитии английского сада на городской площади? — осмелился я заметить стороною.

— Н-да... это полезно.. но, к сожалению, предместники мои уж столько поразводили садов, что высшему начальству это может в глаза броситься... Отчего бы, однако, оно нейдет? Отчего старики наши, что, бывало, ни задумают,— все сейчас же принимается?

— Пристукнуть надо, ваше превосходительство!

— Ах, да нет же! нельзя, нельзя, говорю я вам! не велено!

Одним словом, беспокойства генерала приняли такие размеры, что Анна Ивановна имела полное основание опасаться за самую его жизнь В собиравшемся у нее по вечерам интимном кружке часто раздавался голос, произносивший горькие жалобы

— Семен Семенович истинный мученик,— говорила она,— вы вообразите только, что с него спрашивают, от него требуют.. toutes sortes de choses...[1] и при этом никаких средств!.. Вспомните, какой штат *нашей* канцелярии... c'est affreux![2]

Однако мало-помалу и страшная, разъедающая деятельность Семена Семеныча начала стихать. Постепенно я стал замечать, что он заговаривает о проектах все реже и реже, и даже старается замять разговор, как скоро дело коснется железных дорог, системы взаимного обучения и т. д

В течение самого короткого времени душа его возвратила прежнюю ясность, а щеки снова покрылись густым румянцем, который в сочетании с седыми бакенбардами и соответствующим рангу ростом делал из него в одио и то же время и приятного мужчину, и представительного администратора. Иногда он даже заигрывал со мной по поводу недавних наших проектов.

— Пристукнуть! — говорил он мне с любезнейшей улыбкой на устах.— Пристукнуть? ah, mais savez-vous que l'idée est ingénieuse![3]

Анна Ивановна вторила ему своим детским нервным смехом.

---

[1] самых разных вещей.

[2] это ужасно!

[3] а знаете ли, эта мысль заслуживает внимания!

— Когда же, ваше превосходительство, прикажете доложить вам проект *о вменении всем купцам в обязанность выстроить фабрику или завод?* — прерывал я.

— Пристукнуть! — продолжал генерал, как бы не вслушавшись в мои слова и заливаясь при этом здоровым сочным смехом.

Наконец и совсем все стихло. Однажды, когда я осмелился заговорить об одном проекте, который тяжелым камнем лежал у меня на сердце, то, к изумлению моему, услышал от генерала следующую речь.

— А знаете ли что, mon cher![1] Я убедился, что все эти projets, contreprojets etc[2],— все это niaiseries[3], и что благоденствие края преимущественно зависит от *текущих*.. Поэтому я, конечно, не прочь... иногда... отчего же?.. но все-таки сущность дела заключается в *текущих,* и потому я решился заняться преимущественно ими!

Вы не поверите, любезный читатель, какую гору сняли с плеч моих эти слова и с каким увлечением я вальсировал в этот вечер с ее превосходительством Анной Ивановной.

— Mais qu'avez-vous donc, cher Nicolas![4] — сказала она мне чуть слышно, когда я усаживал ее на место. Я очень хорошо заметил, что в это время глазки ее искрились и на губах играла томная улыбка.

С этой минуты я сделался ревностным ее поклонником. «Жизнь дана для наслаждения,— рассуждаю я,— а не для того, чтобы кукситься... chantons, buvons et... aimons!»[5]

Переработка концовки рассказа явилась прямым откликом на вмешательство крепостнической реакции в дело подготовки крестьянской реформы. В 1859 году Салтыков, хотя и сохранил подзаголовок «Из «Книги об умирающих»», по фактически вывел Зубатова из общего ряда «умирающих». Он возвратил генералу, разобравшемуся в характере преобразовательной политики, прежнюю энергию и готовность к новым административным «подвигам».

В 1863 году, включая «Зубатова» в сборник «Невинные рассказы», Салтыков вновь переработал рассказ. Он ввел в текст фрагменты, отсутствовавшие в журнальной редакции, возможно, по цензурным причинам (о сеянии ржи на камне, о третьем сорте диалектиков, см. стр. 15—16), снял развернутую характеристику Анны Ивановны, в основных чертах совпадавшую с характеристикой Дарьи Михайловны Голубовицкой из рассказа «Приезд ревизора», вычеркнул отрывок о настроениях крутогорского чиновничества, заметившего, что их генерал, выступающий здесь в качестве преемника князя Чебылкина, начал «задумываться и скучать». Наиболее серьезным изменениям в 1863 году подверглась опять-таки концовка рассказа. Салтыков вернулся к рукописной редакции 1857 года, завершавшейся сумасшествием и смертью Зубатова, сняв при этом лишь последнюю фразу («Через неделю он действительно скончался, нисколько не подозревая, какая глубокая истина заключалась в последних словах его»).

---

[1] голубчик!
[2] проекты, контрпроекты и т. д.
[3] глупости.
[4] Что с вами, дорогой Николай!
[5] будем петь, пить и... любить!

Причины, заставившие Салтыкова вернуться к первоначальной редакции рассказа, следует искать, видимо, в цензурных обстоятельствах. Документация о цензурной истории первого издания «Невинных рассказов» неизвестна, но вполне возможно, что в условиях усилившейся реакции Салтыков сам решил смягчить одно из наиболее острых в политическом отношении мест и тем самым обезопасить свою книгу.

В последующих изданиях «Невинных рассказов» «Зубатов» перепечатывался без существенных изменений.

В конце 50-х — начале 60-х годов образ Зубатова не сходит со страниц произведений Щедрина. Он выступает в «Гегемониеве», в «Скрежете зубовном», в «Литераторах-обывателях», в «Наших глуповских делах», в «Погоне за счастьем». Если слить воедино все то, что говорится о Зубатове в этих произведениях, то образ генерала-администратора перерастает в широкий обобщающий сатирический символ, олицетворяющий собой русскую бюрократию, ее опасения, стремления и надежды в тревожные пред-реформенные годы.

Стр. 17. *Рогуля* — персонаж из «Губернских очерков» (см. наст. изд., т 2, рассказ «Общая картина»).

Стр. 19. *...вроде пословиц Альфреда Мюссе...* — Имеются в виду «Comédie et proverbes» (1840), одноактные драматические произведения, большей частью — комедии, французского писателя Альфреда де Мюссе, написанные на темы известных пословиц. Произведения эти получили большое распространение в любительских спектаклях светского общества во Франции и в России.

Но не хочу, о други, умирать; // Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать... — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»).

Ведь в наши дни спасительно страданье.. — строка из поэмы И. С. Тургенева «Параша» (1843).

Стр. 22 *.. специалисты ...утверждают, что на пятьсот грамотеев двести непременно оказываются негодяями...* — Сатирический выпад в адрес В И. Даля и его выступления «Заметка о грамотности (Письмо в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей»)». Утверждая, что без соответствующего умственного и нравственного развития народа распространение среди него грамотности приводит к плачевным результатам, Даль в подкрепление своей мысли сообщает об известном будто бы ему примере, когда «из числа 500 человек, обучавшихся в 10 лет в девяти сельских училищах, 200 сделались *известными* негодяями» («Санкт-Петербургские ведомости», 1857, № 245, 10 ноября, стр. 1269). Поход Даля против распространения грамотности среди народа впервые был высмеян Салтыковым в «Губернских очерках», в рассказе «Озорники» (см. наст. изд., т. 2, стр. 263 и 539).

Стр. 26. ...*способен и достоин*...— слова из формуляра о службе.

..*«благорастворение воздухов и изобилие плодов земных»*...— слова из богослужения православной церкви (литургии).

..*скоро будет святая, и тогда* .— Зубатов намекает на возможность получения ордена к празднику пасхи.

ПРИЕЗД РЕВИЗОРА

(Стр. 28)

Впервые — в журнале «Русский вестник», 1857, декабрь, кн. 2, стр. 771—802 (ценз. разр.— 31 декабря). Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи рассказа не сохранились.

«Приезд ревизора» является, по-видимому, одним из тех рассказов, предназначавшихся первоначально для «Губернских очерков» (для «журнальной редакции 1856 г.»), которые, по словам Салтыкова, не были своевременно напечатаны по не зависящим от автора обстоятельствам (см в наст. изд., т 2, стр 515). Действительно, и место действия рассказа — Крутогорск, и упоминаемые в нем персонажи — те же, что и в первой книге Щедрина: генерал Голубовицкий, учитель Линкин, чиновники Порфирий Петрович, Змеищев, Фурначев и др. Кроме того, в рассказе, как и в «Губернских очерках», широко используется материал знакомой Салтыкову вятской действительности.

Идейный стержень произведения составляет резкое сатирическое выступление Салтыкова против пьесы В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856). В центре этой благонамеренно-обличительной пьесы находится образ идеального чиновника Надимова, в уста которого вложено высокопарное обращение ко всем честным чиновникам с призывом приступить к обновлению России. Первая сатирическая реплика была направлена Салтыковым в адрес Надимова еще в рассказе «Озорники» из «Губернских очерков» (см. наст. изд., т. 2, стр. 266 и 539); в «Приезде ревизора» она получила дальнейшее углубление и развитие. В споре и разногласиях о сущности образа Надимова, возникающих между статским советником Голынцевым (ревизором) и исполнителем роли Надимова чиновником Семионовичем, Салтыков определяет свое отношение к автору «Чиновника» как литературному лидеру официального либерализма. В этом споре точка зрения Голынцева в своих основных чертах соответствует взгляду Соллогуба: в России появился новый чиновник, который, при всех прочих неизменных условиях, несет в себе новую душу и призван «крикнуть на всю Россию, что пришла пора», и «искоренить зло с корнем». Противоположного мнения придерживается Салтыков, вложивший свою оценку образа

Надимова в уста исполнявшего эту роль чиновника Семионовича. По его представлению, Надимов далек от той прогрессивно-преобразовательной роли, которую ему приписывает Соллогуб: сущность, взгляды его и убеждения («д у ш а») остались прежние, крепостнические, изменилось лишь слегка их внешнее проявление, форма их выражения («т е л о»).

Стр. 33. *«Рахиль, утоляющая жажду Иакова»* — Сюжет картины основан на библейском рассказе об Иакове и красавице Рахили, ставшей его женой.

Одалиска — рабыня или прислужница в гареме; в западноевропейской литературе — наложница в гареме

«Дон-Жуан и Гаидѐ» — картина, составленная по мотивам поэмы «Дон-Жуан» Байрона Г а и д ѐ — красавица, возлюбленная Дон-Жуана Упоминаемый дальше Л а м б р о из той же картины — ее отец, старый пират-контрабандист.

Стр 34 *«В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана»* — название популярного водевиля Д. Т. Ленского (1841)

Стр. 35. *Княгиня.*— Перечисляя действующих лиц комедии, Салтыков ошибочно заменяет г р а ф и н ю княгиней

Аксиос — достоин *(греч.)*. Формула православной церкви, провозглашаемая при посвящении в духовный сан.

Стр 37. *Падчерицын* — Иван Григорьич Падчерицын, уездный судья,— один из героев водевиля Д. Т. Ленского «Хороша и дурна, и глупа и умна» (1834).

Стр. 39. . *обрывает звонки.*— Речь идет о 2 и 3 явлениях 2 действия водевиля «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана».

«Wahlverwandtschaften» — роман Гете «Избирательное сродство». В романе проводится мысль о таинственном родстве душ мужчины и женщины. Героини его покидают своих мужей, чтобы соединиться с теми, к кому влечет их таинственная сила «избирательного сродства» (см. наст. изд., т. 1, стр. 188, 189, 416).

Стр. 44. *«Старинный русский разврат»* — взяточничество; неточное цитирование выражения Надимова из 12 явления пьесы «Чиновник».

Я хочу в кьясном мундийе ходить! — то есть в военном мундире.

Стр. 48. *...ябедничество слишком укоренилось здесь!* — В рассуждении о ябедничестве и кляузе в Крутогорске здесь, как и в других местах рассказа, имеются прямые отклики на доклад о ревизии Вятки и Вятской губернии чиновником А. Волковым в 1853 году. «Дух ябеды и кляузничества,— доносил А. Волков министру внутренних дел Бибикову,— развит в Вятской губернии вообще сильно; н о в с а м о м г о р о д е В я т к е о н п р е в о с х о д и т в с я к у ю д о з в о л и т е л ь н о с т ь» (см. С. А М а к а ш и н. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М. 1951, стр. 370—371).

...это все старая новгородская кляуза действует!..— Прообразом Крутогорска в значительной степени послужила Вятка, бывший Хлынов, осно-

вшная выходцами из Великого Новгорода и долгое время являвшаяся его колонией.

Стр. 48. ...*грамотность-то именно и распространяет у нас ябедников.* — намек на выступление В. Даля о вреде грамотности для народа (см. прим. к стр. 22).

...*ну, и сокращение переписки*...— сатирический отклик на одну из канцелярских реформ, породившую огромное количество бюрократической возни и волнений в чиновничьем мире (см. прим. к стр. 349).

Стр 50. *Madame Beauséant* — виконтесса де Босеан, дочь папаши Горио из романов Бальзака «Покинутая женщина» («La Femme abandonnée») и «Отец Горио» («Le Père Goriot»).

Марта — героиня романа Жорж Санд «Орас» («Horace»).

Лукреция Флориани — героиня одноименного романа Жорж Санд («Lucrezia Floriani»).

Стр. 52. ...*куплет о Пушкине*...— куплет Небосклоновой из 2 действия водевиля Д. Т. Ленского «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана», заканчивающийся словами: «Поэтов много нам осталось, // Но Пушкина другого нет!»

Стр. 54. ...*была напечатана в виде письма к редактору следующая статья.*— Рецензия является пародией на статью некоего Тянгинского о любительском спектакле в Вятке («Вятские губернские ведомости», 1852, № 22, 31 мая, часть неофициальная, стр. 174—176).

Стр. 56. ...*восстановить в России патриаршее достоинство*...—Единоличная власть патриарха в России была заменена коллегиальным управлением вновь созданного синода в 1721 году.

Стр 57. *When we two parted*...— Стихотворение Байрона, озаглавленное по этой начальной строке.

УТРО У ХРЕПТЮГИНА

(Стр. 58)

Впервые — в журнале «Библиотека для чтения», 1858, № 2, стр. 1—18 (вторая пагинация), под заглавием «Губернские честолюбцы. 1. Утро у Хрептюгина. Драматический очерк» (ценз. разр.— 4 февраля). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранившаяся рукопись «Утра у Хрептюгина» состоит из двух частей: первая — черновой автограф (сцены I—VIII), с незначительными отличиями от текста, опубликованного в «Библиотеке для чтения», вторая является авторизованной копией первоначальной редакции пьесы «Смерть Пазухина», заключительные сцены (X—XIII) которой Салтыков использовал при работе над «Утром у Хрептюгина» (см. наст. изд., т. 4).

Вместе с «Приездом ревизора» драматический очерк «Утро у Хрептюгина» входит в крутогорский цикл и представляет собой как бы продолжение рассказа «Хрептюгин и его семейство» из «Губернских очерков».

Однако «Утро у Хрептюгина» не могло предназначаться для третьего тома «Губернских очерков», так как было написано после выхода его в свет; по своему характеру оно не соответствовало и задуманной в это время «Книге об умирающих». Остается предположить, что отдел под названием «Губернские честолюбцы» был запроектирован для четвертого тома «Губернских очерков» и «Утро у Хрептюгина» является одним из осколков этого неосуществленного замысла.

Идея создания самостоятельного драматического произведения, посвященного погоне богатого провинциального «негоцианта» Ивана Онуфрича Хрептюгина за чином надворного советника и вскрывающего его взаимоотношения с губернской аристократией, зародилась у Салтыкова осенью 1857 года в процессе работы над комедией «Царство смерти» (первоначальную редакцию «Смерти Пазухина» см. в наст. изд., т. 4). Посвященные этой теме сцены, эпизоды и действующие лица, связанные с ее развитием, были исключены из окончательной редакции пьесы и послужили основой для создания «Утра у Хрептюгина» [1].

В октябре 1857 года «Утро у Хрептюгина» поступило в драматическую цензуру, в связи с предполагавшейся постановкой его на сцене Александринского театра 8 ноября в бенефис артиста П. И. Григорьева. Цензор И. Л. Нордстрем, на рассмотрение которого поступило «Утро у Хрептюгина», был хорошо знаком с драматическими произведениями Салтыкова. в октябре — декабре 1856 года по его представлению были запрещены сцены «Просители» и «Прошлые времена»; почти одновременно с «Утром у Хрептюгина» он дал неблагожелательный отзыв о пьесе «Смерть Пазухина», на основании которого она была запрещена. «Утро у Хрептюгина», по теме и направлению непосредственно связанное со «Смертью Пазухина», также получило отрицательную оценку и 21 октября 1857 года было окончательно запрещено управляющим III Отделением Тимашевым [2]. В 1862 году П. М. Садовский предпринял попытку поставить «Утро у Хрептюгина» в Малом театре, но цензура и на этот раз не допустила на сцену драматический очерк Щедрина [3]. Впервые пьеса увидела свет рампы 20 октября 1867 года, в бенефис артиста Александринского театра Ф. А. Бурдина. В получении разрешения на постановку пьесы (с некоторыми сокращениями в тексте) важную роль сыграл положительный отзыв о ней И. А. Гончарова, служившего в то время членом совета Главного управления по делам печати [4].

---

[1] Подробнее о творческой истории произведения см.: Д. Золотницкий. Щедрин-драматург, изд. «Искусство», М.—Л. 1961, стр. 72—82.

[2] Отзыв И. Нордстрема об «Утре у Хрептюгина» см.: «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 124.

[3] См.: «Санкт-Петербургские ведомости», 1867, № 285, 15 октября, стр. 2.

[4] См.: А. А. Мазон. Гончаров как цензор.— «Русская старина», 1911, № 3, стр. 481.

Критика холодно встретила появление на сцене «Утра у Хрептюгина». Отрицательные отзывы о постановке находим в «Голосе» (1867, № 293, 23 октября) и в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1867, № 294, 24 октября). Лишь в газете «Антракт» (1868, № 17, 5 мая) В. И. Родиславский отметил типичность некоторых действующих лиц, сатирическую направленность очерка и талант его автора.

После длительного перерыва «Утро у Хрептюгина» в 1904 году вновь появилось на сцене Александринского театра с В. Н. Давыдовым в главной роли.

Стр. 59. *Бедняк, сударь, что муха: где забор, там двор, где щель, там постель!* — В «Утре у Хрептюгина» Салтыков использовал список пословиц, составленный им в конце 1857 года (см. Ю. Соколов. Из фольклорных материалов Щедрина.— «Литературное наследство», т. 13—14, М 1934, стр. 493—504).

Стр. 61 .. *достойна и способна...*— см прим. к стр. 26.

Стр. 70. *...в вино вассервейницу малую толику подпустите* — то есть разбавите вино водой (от *нем.* Wasser — вода и Wein — вино).

...дивны дела твои, господи! — В прижизненных изданиях «Невинных рассказов» эти слова из «Псалтыри» (Псалом 138) отсутствуют, несомненно, по цензурным причинам. В настоящем издании они восстановлены по рукописи.

Стр. 71. *...у меня правая рука не знает, что делает левая...*— Фурначев применяет к себе наставление из «Евангелия»: «.. пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Матф., VI, 3).

Стр. 73. *...убогий Лазарь, о котором в Писании сказано!* — Имеется в виду евангельская притча о нищем Лазаре и Лазаре-богаче; первый за свои страдания попал после смерти в рай, второй, за свое бессердечие и богатство,— в ад (Лук., XVI, 19—31).

По палате у нас, слава богу, благополучно. Вчерашнего числа совершился заподряд... Слава всевышнему, благополучно! — Речь идет о казенной палате, где происходили торги на откупа. Слова Фурначева — председателя казенной палаты — о благополучном завершении откупной операции означают, что откупщик дал ему крупную взятку за выгодно совершенную сделку. «Все председатели казенных палат,— вспоминает известный финансист Е. И. Ламанский,— были на содержании у откупщиков, от которых получали также определенное вознаграждение и губернаторы» («Русская старина», 1915, № 3, стр. 577).

Стр. 74. *...и знакомые-то у него какие: все а к и да н д р о с ы!* — Намек на известных финансово-откупных дельцов того времени греческого происхождения (Родоконаки, Бенардаки, Посполитаки). См. также в т. 2 прим. к стр. 142 рассказа «Хрептюгин и его семейство».

ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

(Стр 75)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, стр. 181—195 (ценз. разр.— 5 февраля), под № II вместе с рассказами «Деревенская тишь» и «Миша и Ваня» с общим заголовком «Невинные рассказы» Подпись, общая для трех рассказов: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись под заглавием «Сказка». Она обрывается словами «..что Кобыльников страдает, что ему надо успокоиться» и отличается от опубликованного в «Современнике» текста значительным количеством вариантов стилистического характера. Наборная рукопись под заглавием «Невинные рассказы. Для детского возраста» содержит полный текст произведения и совпадает, за исключением купюр цензурного характера, с текстом журнальной публикации, которому полностью соответствуют и сохранившиеся в архиве А. Н. Пыпина корректурные гранки (вторая корректура), датированные 4 января 1863 года. В корректурных гранках рассказ не имеет номера (II), под которым он опубликован в журнале Это является свидетельством того, что публикация «Невинных рассказов» в том составе, в каком она появилась в «Современнике», сложилась в январе 1863 года, после запрещения цензурой произведений глуповского цикла (см. наст. изд., т. 4).

Рассказ написан в конце 1862 года для первой книжки возобновленного после приостановки «Современника». Об этом свидетельствует письмо Салтыкова к Некрасову, датируемое второй половиной декабря. Посылая при письме рассказ, Салтыков просил прочитать его и печатать «только в том случае, если он не слишком слаб».

В настоящем издании из рассказа устранены, путем обращения к рукописи, две купюры (см. стр. 78—79), с которыми текст его печатался во всех прижизненных изданиях: о будущей судьбе советников питейных отделений («Но ты, быть может... взирай на будущее!») и вице-губернаторов («Но, быть может... архистратигом!»). Эти купюры были сделаны в наборной рукописи самим Салтыковым или редакцией «Современника», по-видимому, в целях самоцензуры.

Стр 78. *Читатель! не знаю, живали ли вы в провинции ...воспоминания о виденных мною елках навсегда останутся самыми светлыми воспоминаниями прожитой жизни!* — Эти слова, хотя в них и звучат нотки иронии, имеют автобиографический характер; они навеяны воспоминанием о долголетней службе в провинции. Впечатления от рождественских елок с наибольшей полнотой отразились в рассказе «Елка» из «Губернских очерков» (см. наст. изд., т. 2).

Скоро придет бука и всех советников оставит без пирожного! Но... ум человеческий.. и из патентов пирожное сделать сумеет... — Речь идет

об упразднении должности советников питейных отделений в казенных палатах в связи с реорганизацией откупного дела в России. Эти советники, ведая откупами, получали со своих клиентов крупные «п и р о ж н ы е» — взятки. 26 октября 1860 года был издан закон об отмене откупной системы, вступающий в силу с 1863 года 4 июля 1861 года было утверждено Положение об акцизной системе, на основании которого никто не имел права производить спиртные напитки и торговать ими, не имея на то патента, выдававшегося вновь организованными питейно-акцизными управлениями после уплаты соответствующей суммы патентного взноса.

Стр. 84—85. *...с губернским прокурором против советника казенной палаты и батальонного командира.*— Первоначально Салтыков намеревался назвать среди участников карточной игры не батальонного командира, а жандармского полковника. В соответствующих местах рукописи он дважды начинал писать: в первом случае — «жан», во втором — «жандармский по». Затем в обоих случаях следовали вычерки и замены вычеркнутого словами «батальонный командир». На основании этих колебаний в рукописи Б. М Эйхенбаум заменил в т. III издания 1933—1941 годов «батальонного командира» в тексте рассказа на «жандармского полковника» (ср. Б Э й х е н б а у м. История текста «Сатир в прозе».— «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 6). Однако такую замену нельзя признать правомерной. Во-первых, «батальонный командир» в 60-е годы был у Салтыкова обычным цензурным псевдонимом жандармского губернского офицера (как правило, в чине полковника) и в этом качестве входил в общую систему эзоповских средств и приемов сатирика. Во-вторых, в те верхи губернской администрации, которые в данном случае называются, мог входить не только жандармский полковник, но и местный батальонный командир.

МИША И ВАНЯ

(Стр. 88)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, стр. 195—208 (цеиз. разр.— 5 февраля), под № III вместе с рассказами «Деревенская тишь» и «Для детского возраста», с общим заголовком «Невинные рассказы». Подпись, общая для трех рассказов: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Рассказ «Миша и Ваня» написан Салтыковым в декабре 1862 года (см. письмо Салтыкова к Н. А. Некрасову, датируемое второй половиной декабря 1862 года). В основу произведения положено событие, происшедшее в 1859 году в Рязани в период службы там Салтыкова Местная помещица истязаниями довела двух своих мальчиков-крепостных (лет десяти — двенадцати) до того, что, по взаимному согласию, они решили

зарезать друг друга столовыми ножами Младший погиб, старшего удалось спасти [1] Узнав о случившемся, Салтыков, исполнявший в ту пору должность рязанского губернатора, немедленно обратился с официальным отношением к губернскому прокурору, в котором писал: «Вчера, 27 сентября, два мальчика, находящиеся в услужении у полковницы Кислинской, проживающей в г. Рязани у г. Вельяшева, покусились на собственную свою жизнь. При этом в городе существует молва, что покушение это произошло от многократно повторявшихся жестоких истязаний как со стороны владелицы их, так и со стороны г Вельяшева... А потому предписываю вам о происшествии этом произвести строжайшее формальное следствие, по окончании представить оное ко мне» [2]. Однако расследование дела было искусственно затянуто и завершено уже после отъезда Салтыкова из Рязани оправданием виновных.

Первоначально рассказ не вызвал возражений со стороны цензуры и был пропущен в печать без каких-либо изъятий и замен. Однако вскоре после опубликования он привлек к себе внимание члена Совета по делам книгопечатания О. Пржецлавского. «...В <рассказе> «Миша и Ваня».. описываются возмутительные черты жестокости и разврата бывших помещиков в их отношениях к бывшим крепостным людям»,— писал О. Пржецлавский в своем докладе о двух первых книжках возобновленного «Современника». И продолжал: «.. не надобно забывать, что новые отношения между помещиками и крестьянами не вполне еще установились и окрепли, взаимная зависимость одних от других не совсем прекратилась. И поэтому нельзя не заметить, что в настоящем положении дела... очень неуместно и даже вредно разжигать страсти и в освобожденном от гнета населении возбуждать чувства ненависти и мщения за невозвратное прошедшее» [3].

Во втором издании сборника «Невинные рассказы» (1881) Салтыков исключил из рассказа следующий текст обращений «от автора» к Екатерине Афанасьевне и к «матери-земле», заключающих сцену самоубийства мальчиков в журнальной редакции рассказа и в первом издании сборника «Невинные рассказы» (1863):

«Катерина Афанасьевна! если бы вы могли подозревать, что делается в этом овраге, покуда вы безмятежно почиваете с налепленными на носу и на щеках пластырями, вы с ужасом вскочили бы с постели, вы выбежали бы без кофты на улицу и огласили бы ее неслыханными, раздирающими душу воплями.

Земля-мать! Если бы ты знала, какое страшное дело совершается в этом овраге, ты застонала бы, ты всколыхнулась бы всеми твоими мо-

---

[1] С Н. Егоров Воспоминания о М Е. Салтыкове.— «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. А. Макашина, Гослитиздат, М. 1957, стр 445 и 786

[2] В. М. Гайдуков М Е Салтыков как администратор.— «Русская мысль», 1914, № 6, отд. II, стр. 116—117.

[3] «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 125.

рями, ты заговорила бы всеми твоими реками, ты закипела бы всеми твоими ручьями, ты зашумела бы всеми твоими лесами, ты задрожала бы всеми твоими горами'» [1].

Исключая эти строки, Салтыков, по-видимому, согласился с ядовитыми замечаниями Д. И. Писарева в статье «Цветы невинного юмора». «Ах, мои батюшки! Страсти какие! Не жирно ли будет, если земля-мать станет производить все предписанные ей эволюции по поводу каждого страшного дела, совершающегося в овраге. Ведь ее, я думаю, трудно удивить; видала она на своем веку всякие виды .» [2]

Стр. 93 *Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар... от которого освободило Россию ...слово царя-освободителя...*— Имеется в виду крестьянская реформа. У Салтыкова признание того, что реформа не принесла народу подлинного освобождения, совмещалось с представлением о прогрессивности ее в той части, которая касалась ликвидации ужасов личного рабства для многомиллионных масс русского крестьянства. В конце 50-х годов писатель был непосредственным свидетелем борьбы государственной администрации с крепостнической «земщиной», активно выступавшей против реформы Отсюда некоторая идеализация роли правительства Александра II и самого царя в деле подготовки и проведения реформы, свойственная многим передовым современникам Салтыкова, в том числе и Герцену. Эта идеализация была замечена в демократических кругах и послужила поводом для резкого упрека в адрес Салтыкова, прозвучавшего со страниц журнала «Русское слово». В статье «Глуповцы, попавшие в «Современник»» Варфоломей Зайцев писал:

«Зачем же сами вы, почтенный муж, представлялись недовольным и делали вид, что чего-то желаете?.. Ваше недовольство было будированием, да и не мне одному это известно, а всякому, кто со вниманием прочел, например, рассказ «Миша и Ваня», имеющий солидарность с вашими фельетонами...» («Русское слово», 1864, № 2, отд. II, стр. 35—36).

НАШ ДРУЖЕСКИЙ ХЛАМ
(Стр. 99)

Впервые — в журнале «Современник», 1860, № 8, стр 351—370 (ценз. разр. — 14 августа) Подпись. Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись рассказа под заглавием «Один из многих». Первый лист ее представляет собой бланк рязанского вице-губернатора за 1858 год. Рукопись не завершена; она обрывается словами: «А главное, что без онёров! — повторяет Иван Фомич» — и отличается от основного текста множеством вариантов стилистического характера. Со-

---

[1] Н Щедрин. Невинные рассказы, СПб. 1863, стр. 168—169.
[2] Д И. Писарев. Сочинения, т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 352

хранилась и беловая рукопись. Она содержит полный текст произведения, который также отличается от основного текста рядом разночтений. В ходе работы над беловой рукописью Салтыков дал новую редакцию фрагмента о Петербурге, производящем «только чиновников и болотные испарения» (см стр. 101), сократил рассуждение о нововведениях (стр 108). После слов: «чтобы всякое дыхание бога хвалило, чтобы и травка — и та радовалась!» — в беловой рукописи следовало продолжение:

«Ведь и прежде бывали же мы в переделках, да и в каких еще! Однако, благодарение богу, и злого татарина поработили, и француза цыбулястого уняли и все этак ладно да мирно... без всяких нововведений! Ну, и опять татарин сунься — и опять управимся! и опять француз нагрянь — и опять уймем цыбулястого! Иль мало нас? К чему же, спрашиваю я вас, повели бы тут нововведения?»

Наиболее существенным из вычеркнутых в беловой рукописи фрагментов является характеристика Забулдыгина и Шалимова, следовавшая после слов. «А жаль молодого человека' Еще намеднись говорил я ему. «Плюньте, Николай Иванович!» — так нет же!» (стр. 113) Приводим ее полностью по рукописи.

«Забулдыгин поселился в нашем городе недавно, но уж успел всем надоесть по горло. По-видимому, и в мнениях он с нами не разнствует, и на откупа с надлежащей точки взирает, и по части гражданских доблестей никому не уступит, но есть в нем как бы лай административный какой, который, как кажется, независимо от него самого, природою в него вложен. Бывают такие люди на свете, что даже свой собственный нос в зеркале увидят, и тут думают «а славно, кабы этот нос поганый отрезать»! К числу сих людей принадлежит и Забулдыгин Иной раз, по-видимому, он обласкать человека хочет, но вдруг как бы чем-либо поперхнется (воспоминания грустные, что ли, у него есть?), и пошел лаять да лаять направо и налево. И добро бы лаял на Шалимова и подобных ему неблагонамеренных людей, но нет! и на нас свою пасть нередко разевает, хотя с нашей стороны, кроме уважения к отеческим преданиям и соблюдения древних палатских обрядов, ничего противоестественного или пасквильного отнюдь не допускается. А потому об нем можно сказать: так ограниченная от природы шавка злится и выходит из себя, лая на свой хвост, в котором, от ее же собственной неопрятности, развелись насекомые.

Что касается до Шалимова, то мы вообще никогда его не любили. Если же генерал Голубчиков и изъявлял сожаление об его падении, то полагаю, что он сделал это единственно по чувству христианского человеколюбия. Ибо человек этот заносчив и самонадеян, к красотам природы равнодушен, а к человечеству недружелюбен и предосудительно строг. Предметы видит как бы наизнанку».

В «Нашем дружеском хламе» Салтыков обратился к изображению «губернской аристократии» — высшего губернского чиновничества, дав яркую сатирическую зарисовку бедности его идейной жизни и низменности его быта. По своему характеру и условиям, в которых им приходится действовать, герои «Нашего дружеского хлама» значительно отличаются от своих предшественников из «Губернских очерков». Они живут не в безмятежные крутогорские времена, а в тревожный период подготовки крестьянской реформы, с часу на час ожидая новых реформ и

облегченно вздыхая при каждом известии об очередном колебании правительства в сторону реакции.

Герои рассказа имеют своих реальных прототипов в среде рязанской бюрократии. «По перемещении М Е. Салтыкова в Тверь,— вспоминает С. Н. Егоров, служивший в 50—60-х годах делопроизводителем Рязанского губернского правления,— в печати появился его очерк «Мой старый дружеский хлам». В нем можно видеть господ рязанцев того времени, которых теперь уже нет: «Генерал Голубчиков»— председатель казенной палаты В<ишневский>. «Рылонов» — советник той же палаты <Леонов>, «губернский Сенека»— правитель канцелярии губернатора Д<митриевский> и т. д. Рылоновым советник назван как по созвучию фамилии, так и по его громадному, с нечеловеческими челюстями лицу. Он был человек не старый, но по складу чиновник дореформенный, не гнушавшийся *видами* по службе. Рассказывали: когда Рылонов узнал о назначении Салтыкова в Рязань, то упал в обморок»[1].

Стр. 100. *...в том заведении, в котором он состоит аристократом, происходили сего числа торги.*— Речь идет об откупных операциях («торги»), совершавшихся в казенной палате (см. прим. к стр. 73).

..вижу.. генерала Голубчикова...— В рассказе «Наш дружеский хлам» продолжают действовать некоторые персонажи «Губернских очерков» — генерал Голубчиков, Корепанов — «губернский Мефистофель» и др, хотя действие происходит уже не в Крутогорске. Все действующие в рассказе «генералы» — это действительные статские советники, то есть штатские генералы.

Стр. 103. *«Что он Гекубе, что она ему?»* — слова из монолога Гамлета (2 акт, 2 сцена). Гекуба — одна из героинь гомеровской «Илиады»

Стр. 107. *...опасений никаких иметь не следует.*— В 1860 году Редакционные комиссии внесли в проект «Положений...» ряд изменений: в одних губерниях нормы земельных наделов были понижены, в других —увеличен крестьянский оброк и т. д. Подобные изменения давали дворянам-помещикам основание надеяться, что проведение крестьянской реформы в жизнь не нанесет значительного ущерба их привилегиям и правам.

Стр 108. *...преимущественно в ломбардных билетах, которые мы спешим в настоящее время променивать на пятипроцентные.*— Речь идет об участившейся в период подготовки крестьянской реформы продаже обремененных долгами помещичьих имений. Продавая имение, помещик взамен закладных получал, за вычетом долгов, стоимость имения различного рода обязательствами, приносящими 5% роста.

Стр. 110. *...не выходя из министерства финансов..* — Муж Голубчиковой служил председателем казенной палаты, то есть по ведомству министерства финансов.

---

[1] «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр. 445—446.

Стр 112 *.Шалимов в трубу вылетел!* — Г А Джаншиев в книге «А. М. Унковский и освобождение крестьян» (М. 1894, стр. 148) указывает, что в лице «выведенного Салтыковым оклеветанного Шалимова встречается не одна черта, напоминающая судьбу А. М. Унковского», тверского губернского предводителя дворянства, сосланного в феврале 1860 года в административном порядке в Вятку. Между тем, несмотря на такое указание хорошо осведомленного современника Салтыкова и биографа Унковского, нельзя отрицать и известной автобиографичности образа Шалимова. Явный намек на интриги, которые местная бюрократия плела против Салтыкова в период его вице-губернаторства в Рязани, находим в черновой и беловой рукописях рассказа, где первоначально вместо: «Шалимов в трубу вылетел!» — было. «наш вице-губернатор в трубу вылетел!».

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТИШЬ
(Стр. 117)

Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1—2, стр. 161—181 (ценз. разр — 5 февраля) под № I вместе с рассказами «Для детского возраста» и «Миша и Ваня», с общим заголовком «Невинные рассказы» Подпись, общая для трех рассказов: Н. Щедрин.

В архиве А. Н. Пыпина сохранились корректурные гранки журнала «Современник» (вторая корректура, датированная 28 декабря 1862 года), текст которых полностью совпадает с журнальной публикацией произведения.

В рассказе «Деревенская тишь» Салтыков создал образ помещика Кондратия Трифоныча Сидорова, наделив его первыми, пока еще чуть заметными, чертами будущего Иудушки Головлева (см. об этом выше, стр. 558). Вместе с помещицей Падейковой (из рассказа «Госпожа Падейкова» в сборнике «Сатиры в прозе»), Кондратий Трифоныч относится к тому ряду социальных типов, которым Салтыков предполагал посвятить «Книгу об умирающих».

В настоящем издании (как и в издании 1933—1941 годов) в основной текст внесено одно изменение. «батюшкин брат» на протяжении всего рассказа заменен «батюшкой». Этот псевдоним для обозначения священника был внесен в рукопись рассказа Салтыковым или редакцией «Современника» по соображениям цензурного характера.

Стр. 119. *...в книжке, называемой «Русский вестник»... подобная натянутость отношений называется сословным антагонизмом.*— Вопрос о «сословном антагонизме» возник на страницах «Русского вестника» еще в 1858 году (см. в № 9 статью В. Безобразова «О сословных интересах. Мы-

сли и заметки по поводу крестьянского вопроса»). Подробно о «сословном антагонизме» говорится в редакционной статье «Современной летописи» (приложение к журналу «Русский вестник»), посвященной результатам выборов в Петербургской городской думе (см. «Современная летопись», 1862, № 22, май, стр. 15—16).

Стр. 123 *С тех пор как... опекунский совет закрыл гостеприимные свои двери, глуповские веси уныли и запустели.*— Проведение в жизнь крестьянской реформы сопровождалось прекращением выдачи помещикам ссуд из заемного банка, сохранных касс, опекунских советов и приказов общественного призрения (закон от 16 апреля 1859 года), что заметно отразилось на экономическом положении многих дворянских поместий («глуповских весей»).

Сидорычи — одно из обозначений дворянско-помещичьего класса в щедринской сатире.

Распоряжения на конюшне — телесные наказания крепостных.

Поневоле ухватишься за антагонизм, хотя, в сущности, никакого антагонизма нет и не бывало, а было и есть одно: «Вы наши кормильцы, а мы ваши дети!» — Одно из множества обличений Щедриным самих угнетенных в покорности.

Стр. 131. *Николин день* — праздновался 6 декабря по ст. ст.

Стр. 132. *...а ведь я два года еще право имею...*— Для введения в действие «Положений 19 февраля» был установлен двухлетний переходный период, в течение которого крестьяне должны были отбывать барщину и платить оброк в прежних размерах.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ
(Стр. 135)

Впервые — в журнале «Атеней», ч. 1, 1858, январь, № 5, стр 304—328 (ценз. разр.— 31 января). Подпись. Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись (первоначальное заглавие «Рождественский рассказ»), отличающаяся от основного текста значительным количеством вариантов стилистического характера, а также черновая рукопись первоначальной редакции интермедии «Невыгодный нос», входящей во вторую главу «Святочного рассказа».

Сюжет рассказа основан на личных впечатлениях Салтыкова, связанных с его многочисленными поездками в качестве следователя по раскольничьим делам. В 1854—1855 годах, будучи советником Вятского губернского правления, Салтыков вел большое и сложное дело о раскольниках Ситникове и Смагине. Распутывая нити этого дела, он близко познакомился с жизнью и бытом раскольников Вятской и смежных с ней северных губерний. Действие рассказа относится к 1855 году (в рассказе

«18 **»). Рождественские праздники в этом году Салтыков провел в скитаниях по Чердынскому уезду Пермской губернии, отыскивая спрятанные в лесах скиты и поселения раскольников. Топография произведения полностью соответствует району деятельности Салтыкова как следователя: Срывный — это Сарапул, уездный город Вятской губернии, где были арестованы Ситников и Смагин; Усть-Деминская пристань — подлинное географическое название, неоднократно встречающееся в служебной документации Салтыкова периода вятской ссылки.

Важным моментом в «Святочном рассказе» является самокритичная оценка, данная Салтыковым своей прошлой следовательской деятельности («зарвался в порыве усердия» и т. д.), выраженная в размышлениях едущего на следствие чиновника, образ которого наделен писателем целым рядом автобиографических черт. В его голове рождаются «странные, противоречивые мысли» о бесполезности усилий, затраченных им на розыски слепых старух — раскольниц, о бесплодности его деятельности в целом.

По сравнению с другими произведениями из «Невинных рассказов», в «Святочном рассказе» заметнее проявляется сочувственное внимание Салтыкова к жизни и быту крестьян, стремление глубже проникнуть в духовный мир простых людей.

Стр. 138. *Гриша* — камердинер и спутник Салтыкова в период вятской ссылки, дворовый крепостной человек его родителей

Стр. 145. *...в том далеком-далеком городе...* — в Петербурге.

Стр. 152. *С Петра и Павла* — то есть с 29 июня ст. ст.

«Вот..нос! для двух рос, а одному достался!» — Пословица взята Салтыковым из списка, составленного им в 1857 году (см. Ю. Соколов. Из фольклорных материалов Щедрина.— «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 493—504).

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

(Стр 156)

Впервые — в журнале «Современник», 1859, № 2, стр. 441—469 (ценз. разр.— 15 февраля). Подпись. Н. Щедрин

Сохранились черновая и перебеленная рукописи. Последняя с большой правкой и вычерками. В последнем авторском чтении обе рукописи близки к основному тексту рассказа, за исключением фрагмента о жизни Ивана в Москве, который имеет две редакции.

Рассказ написан в самом конце 1858 года. «Я на днях послал в «Современник» рассказ под названием «Развеселое житье» из жизни бродяги,— писал Салтыков из Рязани 2 января 1859 года П. В. Анненкову.— Вы бы меня весьма обязали, сказав откровенно, годится ли эта вещь на что-нибудь, кроме подтирки». В конце декабря рассказ был прочитан Не-

красовым. Ожидая противодействия цензуры, Некрасов предпринял попытку преодолеть его при помощи коллективного воздействия на цензора влиятельных писателей. «Посылаю Вам рассказ Салтыкова,— писал он П. В. Анненкову в конце декабря 1858 года — Пожалуйста, завтра (вторник) приходите ко мне обедать и к этому времени прочтите рассказ, ибо нам предстоит уговорить Мацкевича, чтоб он его пропустил. Я дал его читать Гончарову, который тоже будет, и будет Тургенев»[1]. Как происходило обсуждение рассказа с цензором Мацкевичем, неизвестно. Но из цензуры в начале февраля «Развеселое житье» вернулось с многочисленными купюрами и сокращениями в тексте и в таком изуродованном виде появилось в печати. «Я по опыту знаю,— писал Салтыков П В. Анненкову 29 декабря 1859 года,— каково печататься в «Современнике», где редакция не дает себе труда даже связывать пробелы, оставленные цензорским скальпелем» Здесь речь идет, несомненно, о «Развеселом житье», так как к этому времени, кроме «Развеселого житья», Салтыков напечатал в «Современнике» только рассказ «Жених» (см. наст. изд., т. 4), благополучно прошедший через цензуру.

Характер цензурного вмешательства в текст произведения, а также историю работы над ним автора позволяют выяснить две редакции эпизода о жизни в Москве Ивана. В первой из них молодой барин, к которому нанялся Иван, увлекается француженкой, которая доводит его до полного разорения, а затем и самоубийства. В последующей редакции молодому барину Михаилу Васильевичу были приданы некоторые черты петрашевца (следует заметить, что Петрашевского тоже звали Михаилом Васильевичем), его любовница — француженка — превращена в тайно приставленного к нему агента политической полиции, введена сцена ареста молодого барина. Этот эпизод, представлявший первую попытку заговорить в литературе о петрашевцах, был полностью изъят цензурой и в прижизненных изданиях «Развеселого житья» не восстанавливался. Впервые он был опубликован Н. В. Яковлевым в статье «Петрашевцы в изображении Салтыкова»[2] и введен в основной текст произведения в томе III издания 1933—1941 годов.

Перо цензора прошлось по всему рассказу от начала до конца. Ни одно из произведений Салтыкова 50-х годов не пострадало столь жестоко от цензуры, как «Развеселое житье». В первом отдельном издании «Невинных рассказов» (1863) из текста «Развеселого житья», по-видимому, случайно выпало рассуждение дворового человека буфетчика Петра Филатова — одного из проповедников «рабского кодекса»: «Сказывал нам Петр Филатыч... призреваю» (см. стр. 160). При переизданиях «Невинных рассказов» Салтыков возвращался к работе над «Развеселым житьем», вносил в текст незначительные исправления, чаще всего стилистического характера, стремясь сгладить следы, оставленные «цензорским скальпелем».

---

[1] «Литературное наследство», т. 51—52, М. 1949, стр 6.
[2] См.: «Звезда», 1929, № 8, стр 209—214.

В 1863 году «Развеселое житье» было включено в «Сборник рассказов в прозе и стихах», изданный в Петербурге членами тайного революционного общества «Земля и воля» О. И. Бакстом и А. Д. Путятой (рассказ напечатан сокращенно по тексту журнала «Современник»; он обрывается словами: «...выпьешь третью,— ни земли, ни воды под тобой нет, да и люди — ровно точки в глазах мерещатся...» — см. стр. 174. В начале рассказа исключены слова. «Никто как бог... Значит — сила!» — см. стр. 156). Вскоре после выхода в свет сборника министр внутренних дел П. А. Валуев запретил продажу книги, а непроданные 2116 экземпляров ее распорядился конфисковать и уничтожить [1]. В 1868 году «Развеселое житье» было перепечатано (по тексту первого издания сборника «Невинные рассказы») в одном из женевских изданий русской революционной эмиграции: «От нечего делать. Собрание повестей и рассказов русских авторов», вып. 1 (место издания не указано, но на обложке и титульном листе помечено: «Продается у главнейших книгопродавцев Германии и Швейцарии»). Впоследствии рассказ «Развеселое житье» издавался в эмигрантской печати отдельными брошюрами: М. Элпидиным в Женеве (1897 и 1901) и в берлинском издательстве Г. Штейница (1904).

«Развеселое житье» — одно из самых ярких антикрепостнических произведений Салтыкова конца 50-х годов. Рассказ создан в то время, когда в стране складывалась революционная ситуация. В «Развеселом житье» писатель впервые обратился к теме сознательного и активного крестьянского протеста, хотя и в особой форме — разбойничестве. Рассказ написан сказово-ритмической прозой, первые образцы которой, созданные на основе духовного стиха, вошли в состав «Губернских очерков» («Пахомовна», «Аринушка»). В отличие от них, в основу ритмической прозы «Развеселого житья» положены разбойничье-удалые песни.

Стр. 156. *Станет царь-государь меня спрашивати...*— Эпиграф к рассказу взят из песни «Не шуми, мати зеленая дубравушка» Это одна из удалых, или разбойничьих песен, которые назывались также бурлацкими Салтыков познакомился с «Дубравушкой», вероятно, по книге «Песни русского народа» (ч. IV, в типографии Сахарова, СПб 1839, стр. 164—166)

Бывают и кавалеры. эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются.— Речь идет о беглых солдатах, скрывающихся от палочных наказаний (ср. в народной песне: «Пройдись, пройдись, молодец, скрозь зеленые леса!»)

Паратый — на языке охотников — быстрый в беге (о животных).

Смоленская — икона Смоленской божией матери, почитавшаяся чудотворной.

Стр. 160. *Машина «Ветерок» тебе сыграет...*— Скорее всего это была популярная в первой половине XIX века песня «Ветерок, повей сильнее...» на слова поэта Н. П. Николева.

---

[1] Л. М Добровольский. Запрещенная книга в России. 1825—1904, М. 1962, стр. 52—53.

Стр. 160. ...*приказный от Иверских ворот*...— В Москве у Иверских ворот обычно собирались отставные или изгнанные со службы приказные. Здесь их нанимали клиенты.

Стр 162. *И куда ж бы ты думал, однако, она меня привела?* — Далее в тексте пропуск. Подразумевается жандармское управление. Зачеркнутый Салтыковым рукописный вариант:

«И привела, братец, она меня — куда бы ты думал? — прямо в канцелярию, к большому дому. А об этой канцелярии я много раз от господ слышал».

Стр. 165. ...*около введеньева дня*...— около 21 ноября ст. ст.

Стр 166. *Сивир* — северный холодный ветер.

Стр. 173. ...*около благовещения*...— около 25 марта ст. ст.

Стр. 176. *Бекет* — пикет, дозор.

Стр. 179. *Ах где, жена, была* ..— Разгульная песня, начинающаяся указанными словами. Салтыков познакомился с ней, вероятно, по книге Сахарова «Песни русского народа» (ч. IV, СПб. 1839, стр. 121—122).

Стр. 180. .. *на самый егорьев день*.— 16 мая ст. ст.

Стр. 181. ...*куда Макар телят не гоняет*!..— Один из первых случаев впоследствии обычного в щедринской сатире обозначения административно-полицейских репрессий.

Стр. 183 *И молился я тут спасову образу*...— Заключительные строки из песни «Голова ль моя, головушка...» (Песни русского народа, ч. IV, в типографии Сахарова, СПб 1839, стр. 154—157).

Ах, в горе жить, некручинну быть! — слова из песни «А и в горе жить — некручинну быть» (первая строка. «А и горя, горе-гореваньица!») Салтыков мог познакомиться с песней по книге «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (М. 1818), в которой впервые и была опубликована эта песня.

ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО

(Стр. 184)

Впервые полная редакция повести «Запутанное дело» появилась в 1848 году в журнале «Отечественные записки» и явилась основной причиной, повлекшей за собой ссылку ее автора в Вятку (см. т. 1 наст. изд.).

В 1863 году Салтыков включил значительно сокращенную и дорабо-танную редакцию «Запутанного дела» в сборник «Невинные рассказы» (СПб., издание книжного магазина Серно-Соловьевича, стр 330—456). Учитывая, что в 1848 году повести инкриминировались «полутаинственные намеки», Салтыков счел их небезопасными в обстановке цензурных гонений и сделал ряд существенных купюр (см подробнее в т 1 наст изд., стр 417)

Подготавливая к печати второе (1881) и третье (1885) издания «Невинных рассказов», Салтыков продолжал работать над «Запутанным делом», совершенствуя его в стилистическом отношении. Но значительных сокращений и изменений, по сравнению с текстом 1863 года, сделано не было

САТИРЫ В ПРОЗЕ

Взятые в целом «Сатиры в прозе», объединяющие рассказы, очерки и драматические сцены 1859—1862 годов,— это замечательная по своим идейно-художественным достоинствам, многосторонняя и яркая, картина русской общественной жизни бурного периода 60-х годов. Это вместе с тем и важный этап в идейно-творческом развитии Салтыкова. Характерные особенности освободительной борьбы на рубеже 60-х годов и черты Салтыкова как мыслителя и художника, страстно отдававшегося этой борьбе, с наибольшей полнотой и рельефностью запечатлены в очерках «глуповского» цикла, составивших основную часть «Сатир в прозе».

Сложное идейное содержание этих очерков и их своеобразная литературная форма, богато насыщенная сатирическими метафорами и фигурами эзоповского иносказания, ставят современного читателя перед известными трудностями и потому в первую очередь требуют пояснения.

Очерки о «глуповцах» (1861—1862) тесно связаны с предшествующими им рассказами об «умирающих» (1857—1859). Те и другие объединяет одна общая идея об исторической обреченности представителей старого крепостнического режима, о крушении их политического господства, их нравственном и физическом умирании. Различие в замыслах относилось к пониманию самого процесса «умирания». Когда Салтыков задумал «Книгу об умирающих» (см. об этом в комментарии к «Невинным рассказам»), он полагал, что «ветхие люди» — так сатирик именовал людей крепостнических убеждений — не устоят перед напором общественных демократических сил, что они не сумеют сохранить своих командующих позиций в государстве. Приверженцы старины в серии рассказов об «умирающих» — «Гегемониев» и «Зубатов» («Невинные рассказы»), «Госпожа Падейкова» и «Недовольные» («Сатиры в прозе») — представлены озлобленными, но бессильными; они заканчивают свое существование, спрятавшись в домашнем углу, не проявляя ни воли к организованному сопротивлению, ни способности примениться к новым условиям. Ход событий скоро убедил Салтыкова в том, что его прогнозы относительно перспектив пореформенной борьбы излишне оптимистичны, что трудности решения крестьянского вопроса нарастают. Замысел книги о пассивном умирании «ветхих людей» уступил место циклу сатирических очерков о крепостниках, которые ожесточенно сопротивляются смерти, организованно отстаивают свои классовые привилегии. Считая, однако, это сопротивление исторически обреченным на скорый и неминуемый провал, тщетным и потому *глупым*, сатирик присваивает теперь «ветхим людям» наименование *глуповцы*.

Первым после появления рассказов об «умирающих» был очерк «Скрежет зубовный» («Современник», 1860, № 1). По времени написания, идейному содержанию и литературной форме он является переходным от цикла об «умирающих» к «глуповскому». Очерк заканчивается символической сценой шествия «умирающих», своеобразно повторяющей финал «Губернских очерков», и сказочной картиной «Сон», в которой представлено,

как Иванушка (олицетворяющий у Салтыкова крестьянство), проводив «ветхих людей» в страну преисподнюю, садится за стол «судить да рядить» государствеиные дела. Как известно со слов самого писателя, эта картина, выражающая его мечтания о демократическом государственном строе, должна была занять место эпилога в «Книге об умирающих» Отказавшись от завершения последней, Салтыков присоединил «Сон» к очерку «Скрежет зубовный», первая художественно-публицистическая часть которого предвещает стиль, форму и проблематику «глуповского» цикла.

Слово *глуповцы* в «Скрежете зубовном» еще не произнесено, но именно здесь Салтыков впервые указал на те попытки «ветхих людей» овладеть общественным движением в своих интересах, которые он вскоре обобщит в формуле «глуповское возрождение». Зубовным скрежетом встречают представители привилегированных сословий проекты демократических преобразований. Маскируя свои эгоистические интересы цветами пустого красноречия, на словах они заявляют себя сторонниками гласности, свободного труда, отмены откупов, а на деле горой стоят за сохранение прежних порядков, основанных на крепостном праве, призывают к «постепенности и неторопливости».

Администратор Зубатов, выступающий в конце очерка в роли вежливого «дядьки», увещевающего пробудившегося Иванушку,— это сатира, разоблачающая лицемерные заигрывания царской бюрократии с народом, ее попытки приручить посмелевшего и строптивого Иванушку, превратить его в прежнего верного слугу.

Написанные после «Скрежета зубовного» рассказы и очерки «глуповского» цикла, кроме трех запрещенных цензурой («Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство», «Каплуны»; они вошли в т. 4 наст. изд.), размещены в сборнике «Сатиры в прозе» без соблюдения хронологической последовательности. Два очерка, появившиеся в 1862 году («К читателю», «Наш губернский день»), выражавшие более зрелый взгляд автора на изображаемые явления, поставлены раньше трех очерков, опубликованных в 1861 году («Литераторы-обыватели», «Клевета», «Наши глуповские дела»). Рассмотрим их не в порядке размещения в сборнике, а в порядке их написания и появления в печати. Это позволит лучше уяснить эволюцию в общественных воззрениях сатирика и движущуюся картину отразившейся в его произведениях острой социально-политической борьбы, связанной с подготовкой и проведением крестьянской реформы.

Местом действия «Губернских очерков» и целого ряда произведений написанных Салтыковым вслед за ними, был город Крутогорск. Это вымышленное название первоначально не заключало в себе иного смысла, кроме условного географического определения, и в связи с местом ссылки Салтыкова нередко воспринималось читателями в значении псевдонима Вятки. Неудобство такого ограничительного понимания Салтыков все более осознавал по мере того, как его сатира углублялась в общий «порядок вещей» крепостнической монархии. И недаром образ города Глупова впервые появляется именно в очерке «Литераторы-обыватели» («Современник»,

1861, № 2), где Салтыков выразил внутренне назревшую к 60-м годам потребность открыто размежеваться с теми либеральными обличителями, которые, подчиняясь правительственным нормам «гласности», не шли дальше обличения отдельных фактов чиновничьих злоупотреблений и с которыми вольно или невольно смешивали Салтыкова некоторые читатели.

Таким образом, пришедший на смену Крутогорску город Глупов явился той ядовитой художественной метафорой, которая сопротивлялась локальному истолкованию и сатирически клеймила весь самодержавно-крепостнический режим.

В «Литераторах-обывателях» слово Глупов встречается просто в качестве названия места действия и в производных от него наименованиях: глуповский городничий, глуповские мещане, наши глуповцы В следующем очерке того же года — «Клевета» («Современник», 1861, № 10) — сатирик раскрывает нравственную сторону жизни глуповцев, характеризуя их как праздных тунеядцев, изъявляющих «твердое намерение жить без конца» В картину исторической схватки двух сил — господствующих глуповцев и пробуждающихся масс — вводится новый образ: город *Умнов*, символизирующий лагерь демократической интеллигенции. Свежая струя честности, прилетающая из Умнова, вызвала в глуповце прежде всего ненависть к самому возрождению и вынудила его приспособляться, что выразилось в попытках «глуповского возрождения», которое никаких положительных результатов дать не может. Происходит борьба между сторонниками подлинного, «умновского», и мнимого, «глуповского», возрождения. Первое, по убеждению сатирика, победит, ибо глуповца точит недуг, который неминуемо должен привести его к одру смерти. Глупов умирает, озлобляясь и агонизируя, положение его одно из самых безнадежных. Очерк «Клевета» написан уже после объявления крестьянской реформы. В ее куцем характере Салтыков видел признаки «глуповского возрождения», но считал, что это только начало в конечном счете победоносного процесса обновления

В очерке «Наши глуповские дела» («Современник», 1861, № 11), где образы глуповского мира обрастают новыми подробностями, Салтыков приходит к тому же самому выводу об обреченности Глупова, что и в «Клевете», но приходит уже более сложным путем. Новое здесь· появление рядом со староглуповцем *новоглуповца* (так сатирик окрестил дворянских либералов) и рядом с Умновом — *Буянова,* символизирующего стихийное восстание крестьянских масс. В лице новоглуповца, который сохраняет прежнее крепостническое миросозерцание и отличается только изяществом манер и либеральной демагогией, староглуповец делает попытку продлить свое существование. Общественная борьба принимает все более острые формы, а в связи с этим и первоначальная вера Салтыкова в победу Умнова начинает колебаться и ищет поддержки в Буянове. Указывая на растущую трудность освободительной борьбы, на переход ее в более острый фазис развития, Салтыков, однако, и в «Наших глуповских делах» считает, что дело кончится победой, а не поражением. В новоглуповце, поборнике глуповского возрождения, он видит всего лишь тщетное стрем-

ление древнеглуповского миросозерцания удержаться на старой почве и оптимистически оценивает его как «*последнего* из глуповцев» (курсив наш.— *А. Б.*).

Очерк «К читателю» («Современник», 1862, № 2), носящий в значительной мере обобщающий характер по отношению ко всему сборнику «Сатир в прозе» и поэтому поставленный в нем на первое место, выделяется многосторонностью освещения пореформенной борьбы и тех проблем, которые особенно волновали Салтыкова в это время. Здесь сатирик выдвигает свое знаменитое определение эпохи реформы как «эпохи конфуза» которое затем навсегда удержится в его сатире Ярые бюрократы-крепостники Зубатов и Удар-Ерыгин «сконфузились», оторопели, они готовы заявить себя сторонниками освобождения, но все это только умственный маскарад, прикрывающий прежние хищные вожделения. Разоблачая показной дворянский либерализм, Салтыков требует его «упорного, беспощадного отрицания», потому что он мешает расслушать честный мотив «действительного либерализма» Под последним Салтыков подразумевает «меньшинство людей мыслящих», кружки которых выступают во тьме «как зеленеющие оазисы будущего на песчаном фоне картины настоящего». Это мыслящее меньшинство подлинных демократов Салтыков резко отделяет от «либералов всех шерстей», маскирующих шумихою пустозвонных фраз старинную заскорузлость воззрений. Он полагает, что начался процесс неуклонного наступления честной мысли, и все попытки остановить ход исторических событий считает «нелепой претензией». «Наступает день расчета». Таковы чаяния и надежды Салтыкова

Напомним, однако, позднейшее признание Салтыкова («Имярек», 1887) относительно неустойчивости пережитых им в эту пору настроений, о переходах от расцветания к увяданию, от надежд — к признанию отсутствия всяких перспектив. Эту неустойчивость можно наблюдать уже в очерках начала 60-х годов, в частности, в очерке «К читателю». Когда Салтыков ведет речь в плане теоретического, философско-исторического сопоставления двух миросозерцаний — глуповского и умновского,— он полон веры в неизбежную смерть старого мира, констатирует начало процесса умирания и делает оптимистические прогнозы относительно неуклонности этого процесса. Но как только он переходит к суждениям о путях и способах практической борьбы, которая должна обеспечить победу нового над старым, надежды уступают место сомнениям, признанию отсутствия перспектив.

Вопрос о роли передовых идей и путях их проведения в массы, об условиях и методах просветительской деятельности «меньшинства мыслящих людей» занимает в очерке «К читателю» центральное место. Задача, говорит Салтыков, состоит в том, чтобы способствовать исторически назревшей победе новых идей над глуповским невежеством. Для этого передовые люди должны, во-первых, в чистоте хранить и отстаивать свои идеалы, ибо «только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях!». Во-вторых, люди героической мысли не должны

пребывать в скромном безмолвии, а обязаны действовать, нести свои идейные сокровища в широкую среду Но какими путями действовать? Если действовать крадучись, притворившись глуповцем, с тем чтобы в удобный момент снять с глуповцев «дурацкий колпак»,— то сам сделаешься глуповцем, пока будешь приспосабливаться. Если пойдешь напролом — сразу заклюют Удар-Ерыгины

Но, может быть, в глуповской среде есть свежие элементы, не подкупленные прошлым, на поддержку которых пропагандист новых идей может рассчитывать? И на этот вопрос Салтыков отвечает отрицательно Глуповцы старшие, кушающие сладко,— это народ отпетый, кремнистоголовый, никакая мысль не пробьется сквозь эту плотную каменную обшивку. Что касается глуповцев меньших, Иванушек, то их «мыслительные способности всецело сосредоточены на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду».

Писатель вынужден признать, что народная масса не доросла до сознательного протеста, до понимания необходимости коллективной самозащиты. Эту горькую истину Салтыков поясняет рассказом о происшествии на переправе через реку Большую Глуповицу. Человека, избитого за неподчинение распоряжениям начальства, толпа не поддержала, она «развратно и подло хохотала». Видимо, эта неспособность массы к организованной самозащите и побудила Салтыкова в очерке «К читателю» включить в социологию Глупова и народ (Иванушек), под именем «глуповцев меньших», хотя обычно в «Сатирах в прозе» народная масса противопоставляется глуповцам, под которыми подразумеваются дворянство и бюрократия

Так, в очерке «К читателю» сатирик пришел к грустному выводу об отсутствии широкой среды, которая явилась бы благоприятной почвой для скорого торжества новых идей. И пока, следовательно, передовая мысль вынуждена осуществлять свою историческую миссию исключительно силами «мыслящего меньшинства». «В наших собственных убеждениях,— заявляет писатель, обращаясь с призывом к этому «поколению»,— в жизненности наших собственных сил должны мы исключительно искать для себя опоры, и ни в чем ином». Но, несмотря на все возрастающие трудности борьбы, Салтыков остается при своем прежнем убеждении, что демократическая интеллигенция, проявив героические усилия, сумеет добиться скорой победы. Это убеждение нашло выражение и в рассказах «Глупов и глуповцы» и «Глуповское распутство», относящихся по времени написания к началу 1862 года, но не появившихся при жизни сатирика в печати

Во всех рассмотренных рассказах «глуповского» цикла Салтыков настойчиво проводит мысль об обреченности и «умирании» старого, крепостнического мира. Здесь то и дело встречаемся с утверждениями следующего рода глуповское миросозерцание «окончательно заявляет миру о своей несостоятельности»; «позволительно нынче окончательно рассчитаться с прежнею жизнью»; «для вас,— обращается Салтыков к командующим глупов-

том, что голова глуповца, обшитая плотной роговой оболочкой, не пропускает никаких новых идей

Восприняв закон исторической сменяемости социальных эпох прежде всего применительно к миросозерцанию, Салтыков сделал вывод, что наступило время, когда передовая, демократическая мысль, доведенная до энтузиазма, продолбит «камни невежества и предрассудков» («К читателю»). Многие страницы произведений «глуповского» цикла представляют собою страстные, патетические монологи, проникнутые глубокой верой автора в «волканическую силу» передовой мысли и горячим убеждением, что уже началось «обмирщение» и неуклонное торжество тех общественных идеалов, носителем которых пока является «мыслящее меньшинство». Это была просветительская мечта о возможности достижения больших и скорых практических результатов без насильственного переворота, путем идеологической войны; это была попытка просветительского штурма твердынь крепостничества и самодержавия. Салтыков разделял кратковременные иллюзии, что уже теперь, в начале 60-х годов, при пассивной поддержке народа, передовые интеллигенты, опираясь на свое идейное превосходство над противником, могут достичь коренных демократических перемен путем героической пропагандистской деятельности.

Позиция Салтыкова была объективно революционна по тем конечным целям, к которым он стремился, по той социальной программе, которую он выдвигал. Но она была уязвима в тактическом отношении, в понимании практических путей осуществления общественного идеала. Салтыков заблуждался, считая возможным завоевание решающих демократических побед мирным путем. Ситуация начала 60-х годов была понята им, в отличие от Чернышевского, не в смысле возможности революционного переворота, а в смысле наступления эпохи неуклонного практического торжества передового миросозерцания.

Вскоре Салтыкову станет ясно, что идейное превосходство над противником еще далеко не сразу обеспечивает победу в области социальной и политической жизни, что передовые идеи практически побеждают только тогда, когда они находят себе подкрепление в политической сознательности и организованности борющихся угнетенных масс. В очерке «Каплуны» (начало 1862 года), который писался в качестве «последнего сказания» к циклу о глуповцах, Салтыков, исправляя свою недавнюю ошибку, выражавшуюся в излишне оптимистической оценке ближайших перспектив, скажет: «Не будем ошибаться: насилие еще не упразднено, хотя и подрыто; в предсмертной агонии оно еще простирает искривленные судорогой руки»; «насилие не упразднено. а идеалы далеко».

Глупов не умер, «похороны» его отодвигались в неопределенное будущее. И Салтыков, предполагавший покончить с Глуповом в начале 60-х годов, был вынужден через десять лет вернуться к нему в «Истории одного города» во всеоружии своего карающего гения. Многие элементы содержания и формы этого знаменитого произведения восходят к первым очеркам о «глуповцах». Пытаясь на основе «устных преданий» проникнуть «во мрак

глуповской жизни» и видя в ней царство «тупого испуга», автор восклицает в рассказе «Наши глуповские дела»: «О вы, которые еще верите в возможность истории Глупова, скажите мне: возможна ли такая история, которой содержанием был бы непрерывный бесконечный испуг?» Ответом на этот вопрос явилась «История одного города». Можно указать в том же рассказе немало и других мест, получивших потом развитие в «Истории одного города». Так, пушкинская «История села Горюхина», входящая в число творческих источников салтыковской летописи Глупова, находит в рассказе близкое соответствие в выдержках из «журнала» глуповского обывателя Флора Лаврентьича Ржанищева, в котором он «изо дня в день списывал все законные и непротивные правилам глуповского миросозерцания деяния свои». Страница рассказа о губернаторах добрых и злецах, повелевавших в разное время судьбами глуповцев,— это зерно будущей «Описи градоначальникам», а фольклорный мотив о бабе-яге, пожирающей Иванушек, будет дословно воспроизведен в «Истории одного города». Таким образом, рассказы и очерки начала 60-х годов, в частности «Наши глуповские дела», уже намечали художественно и тематически родственную им «Историю одного города», хотя мысль о создании этого большого произведения явилась у Салтыкова не теперь, а много позднее.

Связь «Истории одного города» с «Сатирами в прозе» с достаточной определенностью характеризует роль последних в развитии щедринской сатиры. Если «Невинные рассказы» в художественном отношении остаются преимущественно в пределах, обозначенных «Губернскими очерками», то «Сатиры в прозе» и прежде всего входящие сюда очерки о «глуповцах» показывают весьма существенные признаки обогащения художественного метода Салтыкова, дальнейшего формирования его социально-политической сатиры. Жанровые формы эволюционируют от сюжетно построенного, «правильного» рассказа к художественному очерку, свободно сочетающему образность с элементами публицистики. Все более утверждаются такие характерные особенности литературного стиля Салтыкова, как иносказательная манера повествования, реалистическая фантастика, художественная гипербола, приемы шаржа и гротеска, острота типологических сатирических наименований, формул, оборотов, эпитетов.

Первое заметное проявление этих новых свойств стиля находим в «Скрежете зубовном» (1860). Очерк не имеет связного сюжета и как бы распадается на две разностильные части. Завершающее очерк описание ночных грез и сновидений автора (лирический монолог о смерти и сказка «Сон», стилизованная под фольклорную традицию) первоначально предназначалось, как сказано выше, для «Книги об умирающих» и несет на себе признаки этого заброшенного замысла. Начальные же страницы очерка — рассуждения о «древе красноречия», с экскурсом в историю, и иллюстрация к этим рассуждениям в виде речей ораторов в общественном клубе — это ранний опыт того свободного по построению художественно-публицистического жанра, который с течением времени утвердит свое господство в творчестве сатирика.

В развитии принципов сатирической типизации «Сатиры в прозе» примечательны прежде всего началом процесса создания «собирательных типов», «коллективных портретов», ставших одним из характерных признаков щедринской сатиры.

Перед читателем очерка «Скрежет зубовный» проходит ряд идеологически однородных фигур, особ высокого звания и положения. Крепостники и бюрократы старого, дореформенного закала, ничем не поступясь в своих убеждениях, маскируют их пустой либеральной фразой и заканчивают свои речи призывом к «неторопливости и постепенности». Один и тот же социально-политический тип варьируется в ряде лиц, напрашивающихся на единую для всех кличку, на единую сатирическую мерку.

В очерке того же года «Наш дружеский хлам», включенном в сборник «Невинные рассказы», но своей идейно-художественной тональностью сближающемся с «глуповским» циклом, представлено такое скопление губернских аристократов, какого ни в одном из предыдущих произведений Салтыкова еще не встречалось. Называя в числе действующих лиц *генерала* Голубчикова, статского советника *Генералова,* в шутку прозванного *генералом* аристократа Рылонова, Салтыков как бы ищет для всех них одно обобщающее определение, подобающую всем их сатирическую кличку.

В очерке «Наши глуповские дела» губернская бюрократия представлена в виде «плешивого синклита»: «губернатор там был плешивый, вице-губернатор плешивый, прокурор плешивый У управляющего палатой государственных имуществ хотя и были целы волосы, но такая была странная физиономия, что с первого и даже с последнего взгляда он казался плешивым».

Приведенные примеры показывают, как художественная мысль сатирика влечется логикой изображаемых явлений к собирательным образам, коллективным портретам, подготовляя почву для появления «историографов», «помпадуров», «глуповских градоначальников». Группируя в связи с каким-нибудь социально-политическим признаком множество однородных фигур, Салтыков испытывал необходимость в подыскании им соответствующего сатирического определения. «Сатиры в прозе» только намечают этот генерализирующий метод типизации, но уже и здесь на основе его достигнуты яркие обличительные и разоблачительные обобщения Высшие из них — *Глупов* и *глуповцы* —возникли в связи с просветительской верой в победу ума над глупостью и, таким образом, явились закономерным художественным выражением той позиции, которую занял Салтыков в годы первой революционной ситуации в России.

Именно в это время интенсивно складывается особая система «просветительской» поэтики Салтыкова, система эпитетов, метафор, зоологических уподоблений, гротескных образов и типологических обобщений, призванных, так сказать, графически, портретно заклеймить варварское миросозерцание и «скотообразие душ» крепостников: «мохнатые чудища», «кремнистоголовые», «огнепостоянные лбы» и т. д.

Обаяние идеалов, воспринятых Салтыковым от западных утопических

мыслителей, от Белинского и Петрашевского, было так велико, красота их так человечна, перспектива, открываемая ими угнетенному народу, так светла, что одно это уже внушало глубокую веру в их покоряющую силу; и с высоты этих же идеалов ярко выступала перед взором сатирика вся первобытность, звериная «мохнатость понятий» крепостника — человека в «дурацком колпаке».

Можно с полной основательностью сказать, что на всем протяжении своей литературной деятельности Салтыков никогда не выступал таким убежденным просветителем, глубоко верящим в непосредственную, практическую победу передовой мысли, как на рубеже 50 — 60-х годов. Останется он просветителем и в дальнейшем, но уже в более высоком, в более революционном смысле Просветительство его будет иметь задачей не достижение непосредственного практического результата, а подготовку народных масс для организованной и сознательной борьбы.

Демократическая критика, высоко оценивая художественные достоинства и общественное значение «Сатир в прозе», отмечала, что «каждая из них, отдельно взятая, есть полная, разносторонняя картина действительной жизни, каждая из них затрогивает чрезвычайно глубоко общественные вопросы, с возможной отчетливостью рисует нам живых людей, со всеми особенностями их характера и внешней обстановки» [1].

Новые произведения Салтыкова привлекали внимание современников не только силою сатирических обличений, блестящим остроумием и тонким анализом явлений общественной жизни, но и тем, что им был присущ глубокий лиризм, с покоряющей искренностью выражавший высокий гражданский пафос писателя-демократа. «Он,— говорилось в одной из анонимных рецензий,— лирик насквозь, до костей; гнев, им изображаемый,— его собственный гнев; страдания, им описываемые,— его собственные, непосредственные страдания, и каждое его слово, каждая страница есть крик, неподдельный крик его собственного сердца, жалоба, брань, хохот... Это настоящая великороссийская скорбь, настоящие великороссийские страдания!» [2]

В то же время критика, открыто враждовавшая с Салтыковым, заявляла, что «сатиры его никак не имеют общероссийского характера и что все, в них заключающееся, относится именно к какому-то Глупову, лежащему где-нибудь в глуши и затишье, и где все, совершающееся у нас, отражается лишь в каком-то странном, искаженном виде» [3].

Даже наиболее сочувственные отзывы либеральной критики о «Сатирах в прозе» обычно сопровождались упреками сатирику за односторонность картин, мрачность выводов, излишнюю резкость тона, то есть именно за все то, в чем наиболее ярко проявлялся демократизм убеждений

---

[1] Окнерузам [Н. Н. Мазуренко]. По поводу сатир Н. Щедрина.— «Народное богатство», 1863, № 258, 27 ноября, стр. 1.

[2] «Сатиры в прозе» Н. Щедрина.—«Голос», 1863, № 108, 4 мая, стр. 1.

[3] «Сатиры в прозе».— «Библиотека для чтения», 1863, № 3, Библиография, стр. 44.

Салтыкова, в чем он всего резче расходился с либералами. Так, П В Анненков, автор одной из лучших статей о «Сатирах в прозе», считая, что сатирические увлечения Салтыкова, «капризная игра его юмора» приводят к погрешностям против жизни, не находил его произведения вполне верными истине и рекомендовал читателям «мысленно вводить их в меру», принимать только с «поправками и оговорками». Вместе с тем критик, называя картину общественной жизни, представленной в «Сатирах в прозе», «мастерской вещью», выделял в качестве характерных особенностей Салтыкова-художника силу, искренность и достоинство его одушевления, постоянный интерес к исследованию мысли человека, беспощадность и меткость анализа явлений, необычайную изобразительность приемов, живописность слова, оригинальность стиля [1].

Первое отдельное издание «Сатир в прозе» было разрешено цензурой 9 января 1863 года При подготовке сборника Салтыков устранил из журнального текста некоторые цензурные искажения; при переизданиях в 1881 и 1885 годах он проводил мелкую стилистическую правку [2]

В настоящем томе «Сатиры в прозе» печатаются по третьему изданию (1885). Проверка текста по рукописям, корректурным гранкам и всем прижизненным изданиям позволила устранить ряд явных цензурных купюр и искажений в очерках «К читателю», «Скрежет зубовный», «Наш губернский день», «Литераторы-обыватели», «Наши глуповские дела», в рассказе «Госпожа Падейкова» и в пьесе «Соглашение».

Все рукописи и корректурные гранки произведений, вошедших в «Сатиры в прозе», хранятся в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

К ЧИТАТЕЛЮ

(Стр. 257)

Впервые — в журнале «Современник», 1862, № 2, стр. 601—642 (ценз. разр.— 9 марта), с подзаголовком «Прозаическая сатира». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранился неполный черновой автограф очерка (конец утрачен) и три рукописных фрагмента — «особые листы»,— содержащие тексты, вставленные в корректуру журнальной публикации и написанные Салтыковым после завершения очерка и просмотра его цензором. Фрагменты эти являются источниками текста следующих мест: 1. «Да, только доведенная до героизма мысль... Это те самые, которые так занозисто шумаркают в вагонах, которые, в сущности, ничего...» (стр. 278—282); 2. «Вот тебе старший

---

[1] П В. Анненков. Русская беллетристика и г. Щедрин.— «Санкт-Петербургские ведомости», 1863, № 85, 19 апреля, стр. 1—2.

[2] См.: Б. Эйхенбаум. История текста «Сатир в прозе».— «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934. стр. 11.

наш Глупов.. барки и лодки остановились и оцепенели, как **очарованные»** (стр. 284—286); 3. «Вот тебе младший наш Глупов... Ан и **выходит... выходит**, что ли, достойный сын Глупова?» (стр. 288—289).

Очерк «К читателю» написан, по-видимому, в октябре — ноябре 1861 года в Твери; в декабре текст очерка был набран, послан в корректурных гранках к цензору и вызвал у него ряд замечаний. Об этом свидетельствует следующее сообщение Салтыкова в письме к Некрасову от 25 декабря 1861 года из Твери. «Посылаю Вам, уважаемый Николай Алексеевич, в 3-х пакетах, корректуру «К читателю» с сделанными как в самой корректуре, так и на особых листах изменениями. Надеюсь, что цензор пропустит; если же и затем не пропустит, то лучше совсем не печатать, потому что выйдет бессмыслица». А через неделю, 3 января 1862 года, Салтыков уже запрашивал контору «Современника» о судьбе очерка: «...покорнейше прошу уведомить меня, будет ли помещена в январской книжке «Современника» статья моя «К читателю» в том виде, как она мною исправлена». Цензор пропустил переделанный Салтыковым текст, но время было упущено и очерк смог появиться не в январской, а лишь в февральской книжке журнала.

Какие именно изменения в тексте очерка были сделаны Салтыковым в декабре 1861 года, установить в настоящее время в точности невозможно, так как ни цензорская корректура, ни наборная рукопись неизвестны. Несомненно, однако, что текст чернового автографа содержит ряд вариантов первоначальной доцензурной редакции очерка. Впервые они были выявлены и опубликованы Б. М. Эйхенбаумом [1]. Эти варианты существенно дополняют смысл очерка; важнейшие из них приводятся в разделе «Из других редакций», а также в примечаниях к соответствующим местам текста.

Из особенностей печатных текстов очерка следует отметить лишь отсутствие фрагмента «Какие же тут могут быть еще сочинения?.. Und ich war in Arcadien geboren..» (стр. 292) в третьем издании сборника «Сатиры в прозе» (1885), где он пропущен, вероятно, случайно, в результате типографской погрешности, которая была исправлена при следующей публикации (Сочинения, т. II, изд. автора, СПб. 1889).

Очерк «К читателю» открывает сборник «Сатиры в прозе», но его трудно назвать вступлением. Он является своеобразным итогом идей и мыслей, пронизывающих всю книгу, объединяющим собранные в ней произведения в единое целое. В идейно-художественном отношении он состоит из двух частей. Первая из них посвящена критике либеральных и реакционных программ и выступлений, наиболее четко сформулированных в статьях Каткова, Ржевского, Юматова, печатавшихся в «Русском вестнике», «Современной летописи» и «Московских ведомостях». Вторая — рассмотрению методов и перспектив борьбы с Глуповом, принципов и программы действий революционно-демократического лагеря в этой борьбе.

---

[1] См.: «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 6—8, 12—18.

Появление «К читателю» в «Современнике» вызвало ряд резких нападок на очерк со стороны либеральной и реакционной русской журналистики А. Булкин (псевдоним А. С. Ладыженского) в «Московских ведомостях» (1862, № 136, 22 июня, стр. 1089) обвинил Щедрина в концентрации внимания на явлениях «нашей прошедшей и настоящей жизни», «имеющих интерес временный, скоропреходящий». В. Чибисов в «Одесском вестнике» (1862, № 52, 15 мая, стр. 235) бросил Щедрину упрек в пошлости, а Василий Заочный (псевдоним В. К. Ржевского) в «Северной почте» (1862, № 69, 28 марта, стр. 273) во враждебной Щедрину форме указал на связь очерка с идеями Чернышевского («каков шутник этот господин Щедрин! Пришло ему в голову написать пародию на редакторов «Современника» да и напечатать ее у них же в журнале!»).

Второй ряд критических отзывов об очерке «К читателю» содержится в статьях, посвященных разбору первого отдельного издания «Сатир в прозе». Упрек в «глубокой односторонности» щедринской характеристики «эпохи конфуза» прозвучал в анонимной заметке «Библиотеки для чтения» (1863, № 3, Библиография, стр. 42—49). Более благоприятно высказались об очерке П. В. Анненков и Н. Н. Мазуренко. Первый в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1863, № 85, 19 апреля, стр 353—354) отметил, что «превосходные типы новых либералов, превратившихся мгновенно из грубых, животных натур в лучезарных исповедников свободы», носят на себе «прикосновение художнической руки», а второй в «Народном богатстве» (1863, № 256, 24 ноября, стр. 1) дал высокую оценку очерку, подчеркнув его злободневное общественное значение («по всей справедливости статью эту можно назвать физиологическим очерком нашей не *прошлой*, но *настоящей* жизни»).

Стр. 258. . *недавние, счастливые времена...*— ироническое обозначение времен крепостного права.

Говоря об NN, мы не давали себе труда исследовать, какого разряда принцип вносит в общество деятельность этого человека...— В черновой рукописи суждение о NN имеет уточнение, следующее непосредственно за комментируемыми словами:

«.. стоит ли он на стороне свободы и света или же принадлежит к числу приверженцев мракобесия, сторонник ли он северных штатов Американского союза, или сердце его болит о плантаторах штатов южных».

Стр. 259. *И как не прижнуть, например, к NN... тогда как рядом с ним какой-нибудь MM нахально несет свою плоскодонную морду...*— Приводим вычеркнутую в рукописи сравнительную характеристику NN и MM:

«Невозможно же запретить рассудку сознавать, что NN действительно во сто крат лучше, благороднее и гуманнее, нежели MM, невозможно же запретить сердцу чувствовать симпатию и уважение к NN, ввиду того отвращения, которое возбуждает бесстыдство и нелепая злоба MM. Конечно, все это указывает на зыбкость той почвы, на которой стоят наши убеждения, все это свидетельствует о нашей собственной нравственной несостоятельности, но о несостоятельности, так сказать, законной, оправдываемой естественными побуждениями души и сердца».

Как полагает Е. П. Покусаев, в характеристиках NN и ММ отразились нравственные качества двух крупных бюрократов-современников, известных писателю,— тверского губернатора графа П. Т. Баранова и орловского вице-губернатора Н. П. Вульфа (см.: Е. Покусаев. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы, Саратов, 1957, стр. 94).

Стр. 260. *Россияне так изолгались в какие-нибудь пять лет времени...*— Имеется в виду эпоха расцвета буржуазно-дворянского либерализма в 1856—1861 годах и несоответствие пустозвонных фраз и трескучих выступлений либералов их подлинным взглядам и стремлениям.

Стр. 261. *Усачи* — люди помещичье-крепостнической партии.

И вплоть до самых Ушаков... вилла либерального fermier Василия Александрыча Кокорева ..— «Вилла» Кокорева находилась вблизи станции Ушаки Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, между Тосно и Любанью. В статье «Путь севастопольцев» В. А. Кокорев писал: «Проехали и Любань. Выезжая оттуда, я объяснил всем дорогим гостям, что следующая станция, называемая Ушаки, окружена моей землей: тут стоит моя русская изба, и я прошу, подъезжая к станции, взглянуть в окна с левой стороны» («Русская беседа», 1858, № 1, Смесь, стр. 130—131).

Стр. 262. *Женоподобный, укутанный пледами господин..* — В рукописи «женоподобный... господин» назван по имени.

«...вы ни на минуту не допускаете мысли, что в укутанном пледами господине скрывается почтенный Михаил Никифорович Катков».

Стр. 263 *..защитник свободы Владимир Ржевский, путешествующий .. в... образе господина Юматова ..*— В рукописи эти слова первоначально имели другую редакцию, потом зачеркнутую

«..сам Владимир Ржевский, путешествующий инкогнито в скромном образе господина Пановского».

В другом месте рукописи содержится дальнейшее развитие мысли о Ржевском как защитнике «свободы для дворян» (см. прим. к стр. 271). Подробнее о Ржевском и полемике с ним Салтыкова см в т. 5 наст. изд.— в прим. к статье «Об ответственности мировых посредников» и др.

Вы готовы вообразить себя в Икарии, где беспечально ходят нагие люди и непринужденно выбрасывают из себя всякий вздор, который взбредет им в голову...— Икария — идеально-фантастическая страна, где утвердился коммунистический строй, изображенная французским утопистом Этьеном Кабе в его романе «Путешествие в Икарию» (1840). Салтыков познакомился с «утопией» Кабе в 40-е годы, в период близости к кружку петрашевцев. Он относился к ней иронически, как и ко всем другим умозрительным конструкциям будущего. Эпизода с «нагими людьми» в «Путешествии в Икарию» нет.

Стр. 264. *«О моя юность! о моя свежесть!»* — цитата из «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 6).

..в одной и той же голове помещаются рядом такие понятия, как self-government и la libre initiative des poméschiks! — Салтыков разобла-

част мнимый либерализм дворянско-помещичьих «земств», крепостническую сущность их требований. Вскоре после объявления крестьянской реформы среди дворян наметилось движение, выступающее с требованием защиты их сословных прав и привилегий. Дворянские «земства» неоднократно подавали петиции и адреса на имя Александра II с целью добиться прочных гарантий уплаты крестьянами выкупа. Выдвигая идею «свободной инициативы помещиков», требуя введения «системы самоуправления», суда присяжных и свободы печати, дворянские «земства» прикрывали этими либеральными лозунгами крепостнический характер своих стремлений.

Стр. 265 *Недавно я, Степан Сергеич, статью господина Юматова в одной газете прочитал... писано.. в каком-то Сердобске ..*— Статья Н Н. Юматова «Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале» («Современная летопись», 1861, № 23, июнь, стр. 31), была прислана в редакцию из города Сердобска, где в это время находился ее автор, саратовский помещик (см. «Современная летопись», 1861, № 21, май, стр. 32). В ней Н Н Юматов выступает как пропагандист «английской джентри» на русской почве, что непосредственно связано с английской ориентацией русской крепостнической оппозиции, считавшей английское дворянство («джентри»), пользующееся вольнонаемным трудом и безвозмездно участвующее в местном самоуправлении, наиболее подходящим образцом в борьбе с нарастающим оскудением русского дворянско-помещичьего класса.

Гнейста там...— Среди идеологических источников, которые использовались публицистами дворянского лагеря в России 60-х годов, видное место занимали работы немецкого государствоведа, панегириста английской политической системы Рудольфа Гнейста (в первую очередь его труд «Das heutige englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht», B-de 1—2, Berlin, 1857—1860). В статье «Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале» Н. Юматов ссылался на сочинение Гнейста «Englische Communal-Verfassung», черпая из него аргументы в защиту одного из программных требований дворянско-олигархической оппозиции, чтобы все основные должности в местном самоуправлении («земстве») исполнялись бы не чиновниками за жалованье от правительства, а безвозмездно местными помещиками. «Главная причина прочности английского самоуправления,— писал Юматов, повторяя Гнейста,— заключается в <...> добровольной личной повинности, которую высшие и средние классы несут, принимая на себя должность мирового судьи».

...вот и господин Юматов: Гнейс-то Гнейстом, однако и об советниках губернских правлений упомянул...— Салтыков имеет в виду следующее место в статье Н. Юматова «Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале»: «Если б и советники губернского правления принадлежали к местному дворянству, то они дорожили бы общественным мнением своей родной губернии, и никто из этих советников не старался бы составить себе состояние и уйти домой на свою сторону, откуда они иногда приходят без сапог, а уходят, то есть уезжают, в карете шестериком с тысячами в кармане» («Современная летопись», 1861, № 23, стр. 31).

Стр. 266. .. *краснорецкий буй-тур Рыков*...— Вероятно, речь идет о титулярном советнике К. А. Рыкове, служившем в канцелярии рязанского губернатора. В 1859 году он был послан в город Егорьевск расследовать дело фабрикантов Хлудовых (см. прим. к комедии «Соглашение») Это о нем писал Дубенский в статье «Косвенные налоги на фабрики» (здесь Рыков скрыт под псевдонимом «фабричный»): дела «ломает, как лутошки» и бывает «пьян почти каждый день... а вечером ходит в погребок рассказывать, как он спрашивает и допрашивает, как обманул такого-то, избил такого-то» («Вестник промышленности», 1860, февраль, Смесь, стр. 86—87). В 1861 году К. А. Рыков был переведен в город Егорьевск в качестве судебного следователя.

.мы вступаем, так сказать, в эпоху конфуза.— «К о н ф у з», «э п о х а к о н ф у з а» — сатирические перифразы, обозначающие кризис общественного сознания и вместе с тем «кризис верхов» (кризис политики), которыми ознаменовались годы поражения России в Крымской войне и падения крепостного права, годы вызревания революционной ситуации В рукописи после комментируемых слов имеется следующая характеристика «эпохи конфуза», в процессе работы вычеркнутая·

«Однако мы не покаялись, не пришли к такому соображению: время нынче — черт его знает даже, что за время! выползают из щелей люди невиданные, вылезают из голов мысли неслыханные — словом, столпотворение вавилонское, переведенное на русские нравы, как и водится, в виде теории. Но, с одной стороны, остаться чуждым общему движению опасно, потому что могут совсем оттереть от жизни, а с другой стороны, отказаться совсем от любезной привычки хайлить жалко, потому что привычка-то хорошая. Попробуем-ка надуть почтенную публику и, продолжая, в сущности, хайлить по-прежнему, сделаем постную гримасу, как будто и нас, дескать, коснулся луч благодати! Отсюда бархатистая слизистость выражений, отсюда балетная грациозность движений, отсюда конфуз».

Стр. 267. *...истинным насадителем конфуза был... И. С. Тургенев...*— Салтыков высоко ценил тургеневские образы «лишнего человека». «..Вы в своих произведениях создали тип лишнего человека,— говорил Салтыков Тургеневу в беседе, состоявшейся весной 1876 года в Париже.— А в нем сама русская жизнь отразилась. Лишний человек — это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет» («И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», изд. «Academia», М — Л. 1930, стр. 120). В рукописи суждение о Тургеневе как «насадителе конфуза» имеет и другую, более полную редакцию.

«Эпоху эту еще в сороковых годах предрекал наш почтенный писатель Иван Сергеич Тургенев своими Гамлетами Щигровского уезда, своими Рудиными и проч. Как Иеремия, он призывал россиян к покаянию и убеждал их дать место чувству стыдливости в необрезанных сердцах. [И вот мы действительно восчувствовали, мы действительно уразумели, что пора перестать хайлить, что от этого у нас и промышленность плохо цветет, и науки совсем увядают, а главное, денег в кармане нет. Отсюда конфуз».]

...некоторые... помещики... удостоверяют, что первый, бросивший семена стыдливости в сердца россиян, был император французов Людовик-Наполеон.— Сатирический отклик на распространенные в помещичьей

среде слухи, будто упразднение крепостного права было предпринято Александром II по требованию Людовика-Наполеона (Наполеона III), изложенному в тайной статье Парижского мирного договора, которым закончилась Крымская война.

Зубатов видимо оторопел, Удар-Ерыгин, как муха, наевшаяся отравы, сонно перебирает крыльями. Оба видят, что на смену им готовится генерал Конфузов...— Зубатов и Удар-Ерыгин олицетворяют собой две стороны самодержавной власти в ее старых, «николаевских» устоях, еще не поколебленных никакими реформами. Зубатов персонифицирует самую суть этой власти, ее статут, ее «палладиум»; Удар-Ерыгин — ее исполнительный «механизм», многотысячное воинство становых, исправников и проч. Генерал Конфузов — это сатирическая персонификация правительственного курса периода кризиса верхов — курса официального либерализма.

«Delenda Carthago» — более полная формула: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam» («Впрочем, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен»). Этими словами заканчивал каждую свою речь в сенате римский полководец и государственный деятель Марк Катон Старший. Выражение Катона стало синонимом суровой непримиримости в отстаивании своих требований.

Стр. 268. *Замухрышкин* — персонаж из пьесы Гоголя «Игроки».

Стр. 269. *...я знаю, что ты задумался о том, как бы примирить инсти-нкты чревоугодничества с требованиями конфуза* — После этих слов в рукописи имеется следующая «сцена», убранная в процессе работы, возможно, по цензурным соображениям:

«Не далее как вчера принцесса твоего сердца доказала тебе осязательно, как это трудно, как это даже невозможно.

— Анна Ивановна!— говорил ты ей, внезапно превратившись из фокусника в сентиментального петушка, торопливо царапающего ножками землю около кокетливой хохлатки.— Анна Ивановна! пожалуйте ручку-с!

И глазенки твои искрились и бегали; на углах рта показывалась влажность.

— Нет вам руки! — сурово отвечала Анна Ивановна.

— За что же-с?

Вся утроба твоя как-то безобразно при этом хихикнула.

— Увольте Флюгерова! — решительно возражала Анна Ивановна.

— За что же-с?

— За то, что земля кругла!

— Помилосердуйте, Анна Ивановна, ведь нынче времена совсем не такие!

— Хорош же вы после этого магик!

— Анна Ивановна! перемените гнев на милость-с! простите Флюгерова, а мне пожалуйте ручку-с!

— Нет вам руки: удалите Флюгерова!

— Анна Ивановна! года четыре тому назад голову бы ему оторвал-с...

— Отчего ж не теперь?

— Теперь нельзя-с...

— Хорош же вы чревовещатель!

— Анна Ивановна! Пожалуйте ручку-с!

— Нет вам руки: удалите Флюгерова!

И ты уходишь от Анны Ивановны натощак, не получивши ляльки. Я желал бы сказать, что ты повесил нос, но не могу, потому что носа у тебя, собственно, нет, а есть нашлепка, которую даже повесить нельзя».

Стр. 269. *Разбитной, Чебылкин* — персонажи из «Губернских очерков».

Стр. 270. *Поборники конфуза — а их не мало...* — Перед этим абзацем в черновом автографе содержится не вошедшее в окончательную редакцию очерка обещание еще раз и более обстоятельно обратиться к генералу Конфузову:

«Но о Конфузове я поговорю когда-нибудь подробнее, теперь же обращусь к дальнейшему развитию мысли, составляющей главную задачу настоящей статьи».

Стр. 271. *Заглянем, например, в нашу текущую литературу...* — Вместо этого абзаца и следующего за ним («Каждый час, каждая минута...») в рукописи другой текст, не попавший в печать, по всей вероятности, по причинам цензурного характера:

«Пересмотрите наши журналы, нашу текущую литературу — что за маскарад представляется глазам! Возьмите, например, в расчет одного г. Ржевского — чем не либерал! По свободе не то что тоскует, а просто, так сказать, стонет,

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь...—

а об бюрократии отзывается с либерализмом даже загадочным: просто, говорит, бюрократ — да и дело с концом. Ноздревы, Пеночкины и Чертопхановы только ахают да руками разводят: «ах, говорят, вот-то отца родного нашли!» Даже Рудин и Лаврецкий — и те как-то застыдились, внимая музыке речей. И никому не приходит на мысль, что г. Ржевский потому только притворяется Лафайетом, что на дворе у нас стоит масленица, а об масленице как-то неловко человеку оставаться самим собою, что его свобода есть, собственно, свобода чистить сапоги и получать за это двугривенные, а бюрократ его, собственно, не бюрократ, а что-то другое, об чем он не осмеливается доложить публике, потому что, по неопытности, еще сам достоверно не знает, что такое это «другое». Расскажи он свою мысль без утайки, объясни он все, что желают его внутренности,— сам Ноздрев бы потупился, сам Ноздрев бы оторопел».

...*Корытниковы... «Проезжие» и «Прохожие»*...— представители обличительной литературы и журналистики. См. о них ниже, в очерке «Литераторы-обыватели».

Стр. 272. *Давно ли кн. Черкасский торжественно защищал розгу...* — В статье «Некоторые общие черты будущего сельского управления» («Сельское благоустройство», 1858, № 9) славянофил кн. В. А. Черкасский, активный участник подготовки, а впоследствии и проведения крестьянской реформы, выступил вместе с тем с требованием сохранения телесных наказаний для крестьян в переходный период.

Граф Монталамбер... в русском извлечении... доказал... — Наиболее полное на русском языке изложение взглядов гр. Шарля Монталамбера дано в книге Б. Н. Чичерина «Очерки Англии и Франции» (М. 1858). Глава этой книги «О политической будущности Англии» посвящена сочинению Монталамбера «De l'avenir politique de l'Angleterre» (Paris, 1855).

Стр 273. *...пустили шип по-змеиному... защелкали по-соловьиному.*— Несколько измененное выражение из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник».

Стр. 276 *.. потомки Буеракиных и Оболдуй-Тараканових* — то есть потомки дворян-помещиков эпохи крепостного права. Буеракин — персонаж из «Губернских очерков» («Талантливые натуры»); престарелый князь Оболдуй-Тараканов — впервые появляется в «Скрежете зубовном» и эпизодически проходит через очерк «К читателю», а также позднейшие сатирические циклы: «Помпадуры и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге» и «Современная идиллия».

Стр. 277. *...памятуя правило пресловутого Расплюева, что жаловаться следует тогда только, когда хватят, что называется, до бесчувствия.*— В несколько измененном виде использовано выражение Расплюева из пьесы А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» (действие II, явление 2).

Стр. 279. *«Все это», «химеры», «абстрактность», «скандал», «хористы»* — эти эзоповские выражения Салтыкова служат разоблачению позиции, занятой идеологами дворянско-помещичьего либерализма в развернувшейся борьбе за социально-политические преобразования («все это»). Страшась народных масс («хористов»), напрягая все усилия, чтобы избежать революции («скандала»), либералы пытались скомпрометировать как нереальные те освободительные идеи («химеры», «абстрактность»), с которыми выступала русская революционная демократия.

Стр. 280. *...я мысленно созерцаю процессию, несущую с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы...*— Речь идет об опере Джакомо Мейербера «Пророк» (1-я редакция, 1843 г.), которая шла в России под названием «Осада Гента», затем «Иоанн Лейденский». Содержащиеся в ней яркие картины народного движения и борьбы масс производили острореволюционное воздействие на радикально настроенную молодежь.

Стр. 282. *Сеня Бирюков, Бернгард Форбрихер! Федя Козелков!* — персонажи, прошедшие через ряд произведений Салтыкова 60-х — начала 70-х годов: Бирюков фигурирует в очерках «Клевета» и «Наши глуповские дела», в «Помпадурах и помпадуршах», в «Дневнике провинциала»; Форбрихер — в очерках «К читателю» и «Наши глуповские дела»; Козелков — в «Клевете», в «Признаках времени» и в «Итогах».

Стр. 286. *Дантист* — сатирическое наименование полицейского, практикующего кулачную расправу. Слово «дантист» в смысле «зубодробитель», «герой зубосокрушающей силы» впервые употреблено Гоголем в «Мертвых душах» (т. I, гл. 10).

Стр. 288. *...вскидывая вилами навоз на телеги и потом раскидывая его по полям.*— Вслед за этими словами в рукописи следует развитие мысли о бедности сознания толпы и, вследствие этого, ее пассивности:

«Поставьте себя на место этой толпы, возьмите самую легкую работу, которую каждый из ее членов обязывается исполнять ежедневно, и вы увидите, много ли у вас останется времени и силы для самоусовершенствования, и не будете ли вы больше об том помышлять, чтобы как можно скорее забыться в тяжелом сне, а завтра опять приняться за оглушающую работу и опять искать забвения ее в сне!»

Стр. 288. *Но... толпа. живет... под влиянием действий эмпириков и шарлатанов, которые научили ее горькому житейскому опыту.*— В рукописи это место имеет более распространенную редакцию, содержащую, в частности, упрек толпе в том, что она не пробовала «обняться с силою», то есть встать на путь организованной революционной борьбы. Приводим этот текст:

«Но сверх того, толпа имеет ту же непреклонную веру в роковую неизбежность силы, как и сам преследуемый. Она живет не под влиянием умозрений, не под влиянием действия эмпириков и шарлатанов, которые научили ее горькому житейскому опыту. Она пробовала прятаться от силы в лесах, она пыталась скрываться от нее в пещерах и везде была настигнута и накрыта. А задача настигнутия была нелегка, ибо известна лесистость нашего отечества. Одного она не пробовала — это обняться с силою, приголубить ее, так сказать...

И еще, сверх того толпа видит в несчастии своего ближнего отвлечение от горечи своего собственного несчастия. «Не мы одни страдаем» — великое утешение для организмов простых, так сказать, первоначальных. «Хорошенько! накладывай ему!» — вопит гнусная толпа, которая чувствует, что каждый из нее, будучи на месте дантиста (тоже одного из толпы), поступил бы точно так же, как и он. И точно так же поступил бы и на месте преследуемого. Ибо каждый был в своей жизни тысячу раз и дантистом и преследуемым».

Стр. 289. *...добросовестного выбирать ..*— Каждое городское общественное управление, состоявшее из лиц купеческого и мещанского сословий, избирало из своей среды «добросовестных свидетелей» — род понятых — для присутствия при описи имуществ, составления протоколов и т. п

Стр. 290. *..мои отставные герои: Фейеры, Живновские, Чебылкины, Порфирии Петровичи...*— К моменту создания очерка «К читателю» упоминаемые здесь персонажи «Губернских очерков» и ряда других связанных с этим циклом произведений «ушли в отставку» в щедринской сатире, уступили в ней место «героям» глуповского возрождения

Стр. 292. *Ах, люби меня без размышлений...*— Первая строка из стихотворения А. Н. Майкова «Fortunata» (1845). Цитируемая ниже строка «Что тут думать! я твоя, ты мой!..» — также из этого стихотворения.

Und ich war in Arcadien geboren...— Начальная строка стихотворения Ф. Шиллера «Resignation».

ГОСПОЖА ПАДЕЙКОВА

(Стр. 295)

Впервые — в журнале «Русская беседа», 1859, кн. 16, стр. 13—32 (ценз. разр.— 3 июля), под заглавием: «Из «Книги об умирающих». I. «Госпожа Падейкова»». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранились две рукописи рассказа. Черновая не имеет заглавия, она помечена римской цифрой III и отличается от печатного текста главным образом своей заключительной частью [1]. Текст белового автографа отличается от текста черновой рукописи незначительными вариантами стилистического характера, возникшими при переписке, и несколькими карандашными вставками на полях. Некоторые пометы и вычерки в беловом автографе (синий и красный карандаш) свидетельствуют о постороннем, возможно редакционном, вмешательстве в текст произведения. Так, например, в начале рассказа, где говорится о проницательном взоре Прасковьи Павловны — «до того проницательный, что, наверно, ни одна дворовая девка не укроет от него своей беременности» (стр. 295—296); последние слова («своей беременности») вычеркнуты синим карандашом, а сверху чьей-то рукой написано: «своих грешков». В журнале вместо «своих грешков» явились слова «своей провинности», которые в первом издании сборника «Сатиры в прозе» (1863) уступили место первоначальному авторскому тексту. В этом же абзаце вычеркнуты слова: «насчет кучера Фомки... все его дворовые ненависти и симпатии» Салтыков не согласился с этим сокращением и против зачеркнутого фрагмента на полях пометил: «писать». Редакция журнала все же настояла на своем, и развитие мысли о «честном» вдовстве помещицы исчезло из текста рассказа. Лишь в 1934 году К. И. Халабаев и Б. М. Эйхенбаум в т. III изд. 1933—1941 годов возвратили исключенный из прижизненных публикаций текст на свое законное место.

Интересна первоначальная редакция заключительной части рассказа. Прасковья Павловна едет по делам в город и на обратном пути вдруг чувствует, что внутри у нее что-то мутит. Далее следовало такое окончание:

«Однако, так как ее целый месяц только и делало, что мутило, то она не обратила особенного внимания на это обстоятельство. Приехавши домой, она отдохнула и даже попросила малосольной севрюжки, до которой была страстная охотница, но тут случилось нечто, что вновь и сильно ее расстроило. Акулина доложила ей, что любимая ее девчонка, Надёжка, которую, несмотря на ее осьмнадцать лет, все в доме (за исключением, однако ж, повара Петрушки), считали еще девчонкой, по всем приметам оказалась с прибылью. Прасковья Павловна, которая была на нравственность черт, вышла было в девичью, чтоб распорядиться, но вдруг вспомнила, что Надёжка такая же барыня, как и она, и что ничего другого ей не остается, как проглотить пилюлю. Тем не менее должно полагать, что пилюля засела далеко, потому что едва успела Прасковья Павловна скушать за ужином последний кусок, как почувствовала, что та самая севрюжка, которая только что была ею съедена, начала подступать ей прямо к сердцу.

— Ай, севрюжка! ай, батюшки, севрюжка! — вскрикнула она не своим голосом.

Прибежала Акулина, прибежали и прочие «дворянки», как она назы-

---

[1] Опубликована Б. М. Эйхенбаумом в «Литературном наследстве», т. 13—14, М. 1934, стр. 8—9.

вала в последнее время своих дворовых девок; начали тереть ей ладони, дуть в глаза, но все усилия остались тщетными.

Прасковья Павловна лежала без жизни. Не вынесла севрюжки русская барыня!»

Этот текст, отмеченный красным карандашом, Салтыков перечеркнул и приложил к рукописи отдельный лист, содержавший новую редакцию финала, которая и была напечатана в «Русской беседе».

Рассказ «Госпожа Падейкова» предназначался для «Книги об умирающих» и был, вероятно, намечен к публикации в «Московском вестнике» в качестве третьего (после «Зубатова» и «Гегемониева») звена из задуманного цикла. Только этим можно объяснить цифру III, заменяющую заглавие в черновой рукописи. Однако в процессе работы, которая протекала, как можно предположить, в мае — июне 1859 года, то есть после появления на страницах «Московского вестника» первых произведений из «Книги об умирающих», намерение Салтыкова изменилось: «Госпожа Падейкова» была обещана редакции «Русской беседы». Начинать сотрудничество в журнале с публикации на его страницах третьей главы из цикла о «ветхих людях», другие части которого напечатаны в «Московском вестнике», Салтыков не нашел возможным, а поэтому уже при переписке черновика рассказ получил заглавие: «Из «Книги об умирающих». I. «Госпожа Падейкова»», свидетельствующее о намерении Салтыкова продолжать как работу над «Книгой об умирающих», так и сотрудничество в «Русской беседе». Однако намерение это осуществлено не было: «Госпожа Падейкова» была последним рассказом, появившимся с обозначением его принадлежности к «Книге об умирающих», и единственным произведением Салтыкова, напечатанным на страницах «Русской беседы».

В «Госпоже Падейковой» Салтыков создал характерный для последних предреформенных лет тип русской помещицы, озлобленной и испуганной слухами о предстоящей отмене крепостного права. «Один слух о чем-то новом,— замечает критик Е. Н. Эдельсон,— о каком-то *яде,* который действует во всех подвластных ей Феклушках, Маришках, Порфишках и Прошках, выбивает ее совершенно из обычной колеи, запутывает все ее понятия, все отношения, кажет ей повсюду какие-то призраки и, наконец, окончательно сокрушает ее, когда сосед-дворянин привозит ей известие, что *оно* уже кончено» [1].

Цензурные материалы о рассказе «Госпожа Падейкова» неизвестны, если не считать краткой характеристики его в докладе министра народного просвещения Александру II от 31 июля 1859 года, где вслед за изложением содержания находим лаконическую оценку произведения: «Остроумная эта карикатура набросана с свойственным Щедрину талантом» [2].

Спустя два года после появления рассказа помещица Падейкова, все

---

[1] «Библиотека для чтения», 1863, № 9, Современная летопись, стр. 24.
[2] «Литературное наследство», т. 13—14, М 1934, стр. 128.

еще воспринимающая отмену крепостного права как личное оскорбление и ущемление своих сословно-дворянских привилегий, вновь промелькнула на страницах статьи Салтыкова «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» (см. в т. 5 наст. изд.): «И барыня Падейкова пишет туда, пишет сюда, на весь околоток визжит, что честь ее поругана, что права ее попраны.. »

Стр. 295. *В конце не помню уж какого года..* — В черновой рукописи читаем: «В конце 1857 года.» (первоначальная редакция: «В конце ноября 1857 года...»). См. след. прим.

...двадцатого ноября, в самый день преподобного Григория Декаполита... — 20 ноября 1857 года Александром II был дан «высочайший» рескрипт виленскому генерал-губернатору Назимову, в котором «разрешалось» дворянству ряда западных губерний приступить к составлению проектов «об устроистве и улучшении быта помещичьих крестьян». Этот рескрипт явился выражением официальной программы правительства по вопросу об отмене крепостного права и означал практический приступ к реформе.

Тандрессы — нежности (*франц.* tendresses).

Стр. 298. *...чтоб этого зла не было!* — то есть отмены крепостного права.

Стр. 300. *...французу по губам помазать...* — см. прим. к стр. 267.

И в древности Сим-Хам-Иафет были-с, и на будущее время нет им резона не быть-с! — В Библии старшие сыновья праотца Ноя — Сим и Иафет за почтение к отцу получили благословение, тогда как младший сын, Хам, за непочтительное отношение был предан проклятию и весь род его на веки вечные обречен на рабское подчинение родам Сима и Иафета («Бытие», IX, 18—29).

НЕДАВНИЕ КОМЕДИИ

СОГЛАШЕНИЕ
(Стр. 311)

Впервые — в журнале «Время», 1862, № 4, стр. 187—206 (ценз. разр.— 6 апреля), вместе с пьесой «Погоня за счастьем». Общее заглавие: «Недавние комедии». Подпись также общая: Н. Щедрин.

Рукописный материал пьесы сохранился не полностью. В нашем распоряжении имеются три черновых автографа. Они содержат фрагменты сцен I и II. Одна из рукописей — на бланке советника Вятского губернского правления 50-х годов.

«Соглашение» — в первоначальной редакции «Съезд» — написано в сентябре — октябре 1859 года в Рязани. Пьеса представляет непосредственный отклик на события, относящиеся к подготовке отмены крепостного

права. Проект крестьянской реформы, разработанный Редакционными комиссиями, предполагалось обсудить с депутатами губернских комитетов. В конце августа 1859 года представители двадцати одного комитета, так называемые «депутаты первого приглашения», прибыли в Петербург. Вместе с ними были вызваны предводители дворянства. По возвращении на места они должны были разъяснить помещикам своих губерний неизбежность того проекта реформы, на который правительство вынуждено было пойти в условиях складывавшейся в стране революционной ситуации. Этот этап подготовки реформы и нашел отражение в остросатирических сценах собрания, или «с ъ е з д а», помещиков в доме предводителя дворянства, только что вернувшегося из Петербурга, где он участвовал в обсуждении «с о в р е м е н н о г о в о п р о с а».

Другая злободневная тема, проходящая через всю пьесу, связана с так называемой «хлудовской историей», в расследовании которой Салтыков принял активное участие в период службы вице-губернатором в Рязани Суть дела заключалась в следующем. Воспользовавшись стремлением помещиков обезземелить крестьян накануне реформы, с целью сохранить в своих руках наибольшую часть земельных угодий, купцы Хлудовы (в пьесе «к у п е ц П р о х л а д и н»), владельцы крупной бумагопрядильной фабрики в городе Егорьевске Рязанской губернии, предложили помещикам за хорошую цену мошенническую сделку: крестьянам и дворовым людям тайно от них давалась «вольная», и затем, тоже без их ведома, от имени каждого, в качестве уже вольноотпущенного, заключался долгосрочный контракт с фабрикантом. В 1860 году Салтыков написал о «хлудовской истории» статью «Еще скрежет зубовный», которая была запрещена цензурой и появилась в печати лишь в 1915 году (см. т. 5 наст. изд).

Социально-политическая острота пьесы «Соглашение», резкое обличение в ней классового своекорыстия помещиков в крестьянском вопросе осложнили и надолго задержали появление произведения в печати. Работа над пьесой была завершена к середине октября 1859 года. В ответ на просьбу А В. Дружинина прислать что-нибудь для «Библиотеки для чтения» Салтыков 18 октября 1859 года писал: «У меня есть одна вещица, но она из быта помещичьего (съезд дворян по случаю *современного вопроса)*». Опасаясь, что пьеса встретит возражения со стороны петербургской цензуры, Салтыков сначала намеревался напечатать ее в Москве, где ему «дали слово пропустить» пьесу в печать Однако просьба Дружинина несколько изменила планы. «Если Вы думаете, что пропуск возможен и в Петербурге,— замечает он в том же письме,— то напишите: я к Вам ее вышлю» 20 ноября рукопись была отправлена из Рязани в Петербург Дружинину. «...Посылаю к Вам, многоуважаемый Александр Васильевич, пьесу «Съезд» Если цензура допустит, то прошу Вас напечатать ее в «Библиотеке для чтения», в январе или феврале».

Петербургская цензура встретила пьесу недоброжелательно. Справляясь о ее судьбе, 16 января 1860 года Салтыков писал П. В. Анненкову:

«Может ли быть пропущен «Съезд», посланный мною к Дружинину? Он ничего не пишет, хотя я покорнеише просил его уведомить меня». Цензурные мытарства затянулись на несколько месяцев. 13 февраля 1860 года Салтыков предупреждал Дружинина: «Если «Съезд» все-таки не пропущен, то и его оставьте у себя до личного моего свидания с Вами. Во всяком случае я заменю его другою статьею, которую, по всей вероятности, и привезу с собою». В конце концов пьеса была окончательно запрещена, и Салтыков, видимо, до 1862 года не предпринимал попыток провести ее в печать.

Во время своего пребывания в Петербурге осенью 1861 года Салтыков «случайно» встретился с Ф. М. Достоевским, который *«весьма убедительно»* пригласил его сотрудничать во «Времени» (см. «Гг. «семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха»» в т. 6 наст. изд.). Салтыков принял предложение Достоевского и 30 марта 1862 года послал ему из Твери «две драматические сцены»: «Соглашение», как стала теперь называться пьеса «Съезд», и «Погоня за счастьем». Они были объединены общим заглавием «Недавние комедии».

Появление «Недавних комедий» оживленных откликов прессы не вызвало. Лишь в «Северной почте» (1862, № 102, 12 мая) В. К. Ржевский — под псевдонимом Василий Заочный — обвинил Салтыкова в подражании «Дворянским выборам» Ф. А. Зиновьева («Современник», 1862, № 2), да В. Чибисов в «Одесском вестнике» избрал «Недавние комедии» поводом высказать свое неприязненное отношение ко всему творчеству Салтыкова, художественному и публицистическому.

Спустя полвека, в 1911 году, пьеса «Соглашение» была представлена в драматическую цензуру. Пьесу предполагалось поставить на сцене в связи с 50-летием крестьянской реформы. Однако она была «к представлению признана неудобной». Цензор С. К. Ребров дал ей такую характеристику в своем рапорте: «Пьеса из времен крепостного быта, и ведутся разговоры, соответствующие этой эпохе. В конце пьесы автор рисует противодействие дворян реформе 19 февраля. Дворяне будут соглашаться на все, однако впоследствии все вернут на старый путь. Вследствие возбуждения неудовольствия одного сословия против другого, пьеса эта неудобна к постановке на сцене» [1].

Стр. 312 *Мне девки выгоднее! мне девки больше дохода приносят!* — Эти слова помещика Мощиньского, неоднократно повторяемые в пьесе, непосредственно восходят к словам одного из участников «хлудовской истории» (см. выше), помещика Василия Введенского. Этот помещик в письме к директору бумагопрядильни Хлудовых англичанину Отсону просил прислать ему денег, обещая дать за это на фабрику еще «девок», от «которых для него больше выгод, нежели от мужчин» (Государственный архив Рязанской области, ф. 5, оп 50, св. 247, ед. хр. 13.— «Дело о приписке крестьян

---

[1] «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 128.

купцом Хлудовым в Егорьевское мещанство», л 439. Сообщено И. В Князевым).

Стр. 314 *...со всеми, и с малолетными-с ..*— Эти слова, отсутствующие во всех прижизненных изданиях, вероятно, по цензурным причинам, восстанавливаются по сохранившемуся фрагменту рукописи (впервые в т. III изд. 1933—1941 годов).

Стр 319 *Тот, которого считают богачом, может вдруг оказаться... хуже Лазаря!.* — См. прим. к стр. 73.

Стр. 329 *Предика* — наставление, поучение (от. *лат.* praedico).

Согласен! дда!.. Только уж тово . по мордасам .. бббуду! Ххоть ммиллион штрафу... а бббуду! — Образ отставного капитана Постукина восходит к рязанской действительности 29 июля 1858 года Салтыков писал В. П. Безобразову: «На одном дворянском собрании один отставной военный долго крепился и молчал, но под конец не выдержал и выразился так: «Отлично, господа! все это хорошо! Только я вам вот что скажу: хоть вы пятьсот рублей штрафу положите, а уж я по мордасам их колотить все-таки буду!» Отставной капитан Постукин и его сентенция упоминаются и в других произведениях Салтыкова 60-х годов («Скрежет зубовный», «Литераторы-обыватели», «Клевета»).

ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМ

(Стр. 330)

Впервые — в журнале «Время», 1862, № 4, стр. 207—223 (ценз. разр.— 6 апреля), вместе с пьесой «Соглашение». Общее заглавие: «Недавние комедии». Подпись также общая: Н. Щедрин.

Рукописный материал пьесы общий с очерком «Наши глуповские дела», в состав которого она первоначально входила. Сохранились две рукописи, черновая (последний лист — на бланке советника Вятского губернского правления) и беловая. Первая заключает в себе полный текст пьесы, вторая обрывается в VI явлении словами Пересвет-Жабы: «...конечно, такое желание законно во всякое время; но согласитесь» (см. стр. 337). Тексты беловой и черновой рукописи близки к печатному. Название «Погоня за счастьем» пьеса получила после изъятия ее из состава очерка «Наши глуповские дела» и оформления в качестве самостоятельного произведения В обеих рукописях она озаглавлена лишь по жанровому признаку: «Комедия».

Документальные данные о работе Салтыкова над пьесой отсутствуют. Время написания «Погони за счастьем» определяется лишь приблизительно по содержанию пьесы и ее первоначальному композиционному единству с очерком «Наши глуповские дела». «Новые места», искателями которых выступают посетители служебной приемной генерала Зубатова,— это места мировых посредников, институт которых был введен на основании

«Положений 19 февраля». Генерал Зубатов — он губернатор, что не могло быть обозначено ремаркой по цензурным причинам,— отказывает просителям, мотивируя свой отказ тем, что на эти места могут быть назначены лишь помещики данной губернии, имеющие высшее образование. Именно такое требование предъявлялось к мировым посредникам «Положениями 19 февраля». Избрание мировых посредников происходило в марте — апреле, а в мае — июне 1861 года они повсеместно приступили к исполнению своих обязанностей. Таким образом, «Погоня за счастьем» написана скорее всего летом или осенью 1861 года, но не позднее ноября, когда был подготовлен к печати очерк «Наши глуповские дела», в состав которого входила пьеса

После исключения из очерка «Наши глуповские дела» «Погоня за счастьем» была объединена с пьесой «Соглашение» общим заглавием «Недавние комедии» и 30 марта 1862 года отправлена в Петербург Ф. М Достоевскому для помещения ее в журнале «Время»

На сцене «Погоня за счастьем» не ставилась. Ее постановка была подготовлена Александринским театром для бенефиса вторых режиссеров и суфлеров 30 апреля и 1 мая 1905 года, но в последний момент она была отменена, видимо, не без вмешательства цензуры [1].

Стр. 331. *..пора ей к Матрене Ивановне ехать...*— Современники без труда узнавали в «Матрене Ивановне» салтыковской сатиры 50—60-х годов скандально известную в ту пору Мину (Вильгельмину) Ивановну Буркову, фаворитку министра двора, престарелого графа В. Ф. Адлерберга Герцен называл ее в «Колоколе» «Cloaca Maxima современных гадостей» и писал о ее закулисном всемогуществе: «Там, где нет гласности, там, где нет прав, а есть только царская милость, там не общественное мнение дает тон, а козни передней и интриги алькова. Там какая-нибудь Мина Ивановна перевесит негодование и стон целого города» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. XIII, изд. АН СССР, М. 1958, стр 81, 89). В произведениях Салтыкова Мина Ивановна выступает также под именами Каролины Карловны («Жених») и Клары Федоровны («Тени»).

Стр. 338. *...скажите, что Тамберлик и Кальцоляри ждут...*— Во время создания пьесы «Погоня за счастьем» гастролировавший в Петербурге знаменитый певец-тенор Энрико Тамберлик с огромным успехом выступал на сцене петербургской итальянской оперы вместе с Энрико Кальцоляри, премьером этой оперы, также тенором.

Стр. 346 *«Jeune fille aux yeux noirs»* — романс французского композитора Т. Лабарра на слова А. Бетурне. Написан в 1834 году и пользовался большой популярностью в России. В произведениях Салтыкова упоминается неоднократно.

---

[1] См.: Д. Золотницкий. Щедрин драматург, изд «Искусство», М.—Л. 1961, стр. 142.

НЕДОВОЛЬНЫЕ

(Стр. 347)

Впервые — в газете «Московский вестник», 1859, № 46, стр. 573—575 (ценз. разр.— 30 октября), под заглавием «Погребенные заживо. Драматическая сцена». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранился беловой автограф с правкой. Заглавие в рукописи: «Современные разговоры I. Оставшиеся за штатом». Текст соответствует журнальной публикации произведения. На полях рукой Салтыкова сделана следующая запись:

«1. Картина, изображающая Россию в виде здоровой женщины или кормилицы; кормит с ложечки расслабленного Фариса; 2. Политипаж, изображающий почтовую марку, из-за которой сверху виднеются рожки, снизу козлиные ноги, сбоку выдается рука с когтями, держащая знамя, на котором написано. fraternité, egalité и пр. В стороне валяется конверт с зачеркнутым штемпелем; 3. Политипаж, изображающий вход в цирульню, надпись над дверью: «здесь стригут и бреют»; 4. Политипаж: визитная карточка «Гр<ажданскйй> губ<ернатор> П<етр> Т<олстолобов>». 5 Политипаж, изображающий Петра Толстолобова, с остервенением приучающегося писать П. Т.; 6. Политипаж: крыльцо Инсп<екторского> д<епартамен>та, на котором стоят господа в вицмундирах, с открытыми и наивными физиономиями; глаза и лица обращены к публике, руки указывают на д<епартамен>т; все на одно лицо: одни повыше, другие пониже, одни потолще, другие похудее; 7. Политипаж: Андр<ей> Ив<аныч> и Ив<ан> Андр<ич> с бумагой в руках, с наивно радостными лицами, сзади толпа господ в вицмундирах (старого покроя), все очень похожи на Ив<ана> Андр<ича> и все рады; 8. Политипаж: собеседники стоят. В лице их видно некоторое затруднение. Ив<ан> Андр<ич> растопырил ноги по-детски».

Эта запись, ранее в печати неизвестная, является, по-видимому, перечнем-характеристикой сюжетов для задуманных, но неосуществленных иллюстраций («политипажей») к «сцене». Запись позволяет высказать предположение, что «Недовольные» («Погребенные заживо») первоначально предназначались для публикации в каком-то иллюстрированном издании, скорее всего, в известном сатирическом журнале «Искра», в котором в 1860 году Салтыков напечатал статью «Характеры» (см. т. 4 наст. изд.), и представляют собой первый и единственный номер из задуманной для этого издания, но по каким-то мотивам оставшейся неосуществленной, иллюстрированной драматической сюиты «Современные разговоры». Эта сюита близка по своему идейному содержанию к создававшейся в то же время «Книге об умирающих». «Оставшиеся за штатом» действительные статские советники дополняют и разнообразят галерею «ветхих людей» и становятся в салтыковской сатире в один ряд с Гегемониевым, Зубатовым, Падейковой.

Как всегда у Салтыкова, в «сцене» отразились злободневные, отлично известные ему по служебной практике, события в административно-чиновничьем мире. Как раз в 1859 году в связи с правительственным курсом на либерализм и предстоящими реформами была предпринята крупная

«чистка» кадров николаевской бюрократии. «Штаты сокращаются на целые сотни и тысячи чиновников»,— сообщал Н. А. Добролюбов А. П. Златовратскому в апреле 1860 года [1] Вопрос о судьбе сокращаемых старых чиновников и о выдвижении на их место молодых сил бюрократии живо обсуждался в общественных толках и в печати [2].

«Сцена» «Недовольные» («Погребенные заживо») была третьим (после «Зубатова» и «Гегемониева») и последним произведением Салтыкова. появившимся на страницах еженедельного журнала «Московский вестник», фактическим редактором которого был школьный товарищ и друг Салтыкова И. В. Павлов. В 1863 году Салтыков включил «сцену» под тем же заглавием, под каким она была опубликована в журнале, в сборник «Сатиры в прозе», где она вошла третьим номером в состав «Недавних комедий». В 1881 году Салтыков изменил заглавие пьесы на «Недовольные», ввел ее во второе издание сборника «Сатиры в прозе» в качестве самостоятельного произведения и исключил из текста сцены фрагмент, посвященный сатирическому изображению деятельности Комитета по сокращению делопроизводства и переписки (см. ниже).

В современной критике «сцена» не получила заметного отклика; лишь в 1863 году, после выхода в свет первого издания сборника «Сатиры в прозе», обратил на нее внимание критик Н. Н. Мазуренко ««Погребенные заживо»,— писал он,— живые, всем нам знакомые лица! И, к сожалению, вовсе не погребенные; напротив, здравствуют, живы, здоровы, даже веселы и чужой силой сильны» [3].

На сцену «Недовольные» попали лишь полвека спустя после появления их в печати Впервые «сцена» была поставлена Александринским театром в Петербурге 23 апреля 1905 года (спектакль в пользу Литературного фонда). Два года спустя, 1 мая 1907 года, «Недовольных» играли в бенефис суфлеров и помощников режиссеров, а в апреле 1914 года «сцена» была включена в программу спектакля, посвященного 25-летию со дня смерти Салтыкова-Щедрина. Роли исполняли: Андрея Иваныча — К. А. Варламов и В. Н. Давыдов; Ивана Андреича — П. М. Медведев и К. Н. Яковлев [4].

Стр. 347. *Федора Федорыча можно бы в сенаторы-с... С сохранением, разумеется...*— Существовали две формы перемещения уволенных в отставку крупных чиновников на почетные должности в высшие государственные

---

[1] Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. IX, изд. «Художественная литература», М.—Л. 1964, стр. 414.

[2] См., например: С. Черепанов. Об отставных чиновниках — «Санкт-Петербургские ведомости», 1859, № 185, 28 августа, стр. 1—2; В. П Об отставных чиновниках.— Там же, № 236, 31 октября, стр. 1—2.

[3] «Народное богатство», 1863, № 256, 24 ноября, стр. 2

[4] См.: Д. Золотницкий. Щедрин-драматург, изд. «Искусство», М.—Л. 1961, стр. 142—148.

учреждения империи — с сохранением содержания по прежней службе и без сохранения.

Стр. 348. *«Аксиос»* — см. прим к стр. 35.

Стр. 349. *И вдруг-с: сперва штемпельные куверты, а потом и этого мало показалось — марки выдумали!* — Штемпельные конверты в России были введены в 1845 году для городской почты Петербурга и Москвы, в 1848 году — для других городов Первая почтовая марка появилась в России в 1857 году.

Нумерами какими-то окрестили — налево чет-с, направо нечет-с... — Нумерация домов в Петербурге с разбивкой на четные (правая сторона) и нечетные (левая) была проведена еще в 1834 году (см А. Греч. Весь Петербург в кармане, СПб. 1851, стр 392). Упорядочение городской номерной системы было произведено летом 1859 года.

Комитет о сокращении переписки. — Комитет по сокращению делопроизводства и переписки был учрежден при министерстве внутренних дел в 1853 году и закрыт «по окончании возложенных на него занятий» 4 апреля 1861 года. В 1859 году деятельность комитета была расширена — ему была поручена разработка «предположений об улучшении вообще губернских правлений», что вызвало многочисленные толки и оживленные обсуждения в чиновничьих кругах. Первоначальная редакция фрагмента, посвященного этому комитету, была значительно полнее. В 1881 году, при подготовке к печати второго издания сборника «Сатиры в прозе», Салтыков исключил большую часть фрагмента из «сцены», оставив в ней лишь краткое упоминание о комитете, деятельность которого осталась фактом административно-бюрократической жизни конца 50-х годов и была неизвестна новому читателю. В рукописи, в журнальной редакции и в первом издании сборника «Сатиры в прозе» после слов. «.. одни буквы начальные» — читаем.

«Иван Андреич. Тсс .

Андрей Иваныч. Да В Крутогорске губернатором Петр Толстолобов был... Ну, и подписывался, бывало: «гражданский губернатор Петр Толстолобов». А недавно вот, на последних уж днях, получается от него в отделеньи бумага. Смотрим. «гр. губ П. Т...» Даже Иван Фомич рот разинул!

Иван Андреич. Чай, запросец-с?

Андрей Иваныч. Чист вышел! Так велено!

Иван Андреич. Тсс... Однако, «гр. губ» все-таки оставили?

Андрей Иваныч. Ненадолго.

Иван Андреич. Я думаю, ваше превосходительство, сколько он бланков перепортил, прежде нежели сокращенным-то образом подписываться выучился!

Андрей Иваныч. Самую жизнь проклял.

Иван Андреич. Ай да комитет!

Андрей Иваныч. Н-да! Это комитет штучка!

Иван Андреич. Надо полагать, что от него и в инспекторский департамент стрела пошла.

Андрей Иваныч. А от кого же?

Иван Андреич. Ну, скажите на милость! А кому он какое зло сделал?

Андрей Иваныч. Никому.

Иван Андреич. Я так даже полагаю, ваше превосходительство, что это были самые невинные люди... Горько это, ваше превосходительство!

Андрей Иваныч. И весьма.

Иван Андреич. Конечно, они, как люди невинные, выходя из здания, в котором провели лучшие часы свои, могут с чистым сердцем произнести. «Мы свое дело сделали, а там буди его святая воля...»

Андрей Иваныч: И все-таки горько».

Стр. 352. *В вицы, сударь, ко мне, в вицы!* — то есть в заместители, на должность вице-директора.

СКРЕЖЕТ ЗУБОВНЫЙ

(Стр. 353)

Впервые — в журнале «Современник», 1860, № 1, отд. I, стр. 377—408 (ценз. разр.— 21 января). Подпись: Н. Щедрин

Сохранилась черновая рукопись, текст которой очень близок к печатному. Конец рукописи утрачен (начиная со слов: «..порвалась нить», см. стр. 379).

«Скрежет зубовный» — одна из щедринских сатир на либеральную «гласность» и «постепенность» — написана в конце 1859 года в Рязани. Рукопись была послана Салтыковым П. В. Анненкову 29 декабря с просьбой передать ее в «Современник». Но заключительная часть очерка (после черты) — описание бессонной ночи, а затем «Сон» — была написана раньше первой и первоначально предназначалась для «Книги об умирающих», по-видимому, в качестве ее эпилога (см. об этом незавершенном замысле выше, в статье о «Невинных рассказах»). Об этом свидетельствует не только содержание заключительной части статьи. В рукописи эта часть «Скрежета зубовного» была первоначально самостоятельным произведением. Оно имело свое заглавие — «Смерть» и эпиграф — «Pallida mors» (из Горация). Впоследствии заглавие и эпиграф были зачеркнуты, а текст эпилога присоединен к «Скрежету зубовному».

Замысел сказочного эпилога к «Книге об умирающих» сложился у Салтыкова еще в середине 1857 года: в письме к И. В. Павлову от 23 августа Салтыков сообщал, что цикл о «ветхих» людях будет завершаться историей «о том, как Иванушку-дурака за стол посадили, как он сначала думает, что его надуют и т. д. Выйдет недурно,— прибавляет Салтыков,— только как бы того... не посекли». Более подробно этот замысел охарактеризован в письме к И. С. Аксакову от 17 декабря того же 1857 года: «В заключение: эпилог, в котором Иванушко-дурачок снова выступает на сцену: судит и рядит, сначала робко, а потом все лучше и лучше... я предположил себе постоянно проводить мысль... о том, что возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака. Мысль эта высказывается во всех моих сочинениях... но здесь она выступит еще

яснее». Из этих писем видно, какое важное значение придавал Салтыков «эпилогу» к «Книге об умирающих».

В письме от 16 января 1860 года он обратился к П. В. Анненкову со следующей просьбой: «Относительно «Скрежета» позвольте мне одну просьбу. Может быть, цензура затруднится пропустить его, имея в виду «Сон», который, в сущности, и заключает в себе всю мысль этой статьи. В таком случае можно было бы сон выпустить, но таким образом, чтобы читатель догадывался, что есть нечто. А именно, я полагал бы заключить статью так:

СОН

. . . . . .

и больше ничего. Это единственная уступка, которую я могу сделать, а иначе статья утратит весь свой запах». Но цензура, к удивлению Салтыкова, пропустила «Скрежет зубовный», не обратив внимания на «Сон». «Странно, что «Съезд» не пропускают, а «Скрежет зубовный» пропустили, хотя последняя вещь гораздо сильнее и резче»,— писал Салтыков А. В. Дружинину 13 февраля 1860 года из Рязани. Однако, как показывает сличение рукописного и печатного текстов, кое-какие купюры и замены в очерке пришлось сделать — самому Салтыкову или редакции. Так, например, явно по причинам цензурного характера были опущены при публикации три абзаца — о «деревенском лорде», «ябеднике» и «столоначальнике» (см. стр. 378). Эти купюры, как и некоторые другие изменения цензурного характера, были впервые устранены из щедринского текста при подготовке издания 1933—1941 годов.

В делах цензурных учреждений сохранился лишь краткий отзыв о «Скрежете зубовном» в докладе министра народного просвещения Александру II от 11 февраля 1860 года: «Рассказать содержание этой статьи Щедрина невозможно: это есть сатира на многие стороны нашей общественной жизни, а более всего на страсть красоваться и ораторствовать, злоупотребляя громкими словами, которыми нередко прикрываются весьма непохвальные стремления. Чертя ряд карикатур, автор обнаруживает много фантазии и остроумия»[1].

Современники подчеркивали злободневность и резкую сатирическую направленность очерка. «Статья Щедрина, по моему мнению,— писал А. Н. Плещеев Н. А. Добролюбову 12 февраля 1860 года,— одна из самых ехидных его статей. Много яду пролил»[2]. «Сардонический хохот «Скрежета зубовного» г. Щедрина в 1 книжке «Современника»,— отмечал рецензент «Московского вестника»,— придется многим не по сердцу и, вероятно, вооружит против себя многих *ярых,* которые, в пылу неведения и молодых порывов, видели даже в лице князя Полугарова идеал гражданина»[3].

---

[1] «Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 129.

[2] «Русская мысль», 1913, № 1, отд. 2, стр. 141.

[3] Д Сер — н. Петербургские письма.— «Московский вестник», 1860, № 7, 20 февраля, стр. 113.

Стр 354. *«...Jules Favre pur sang!» (только видимый с затылка..)* — По мемуарному свидетельству Г. А. Мачтета, «Жюль Фавром с затылка» Салтыков в шутку называл рязанского либерального деятеля кн. Сергея Васильевича Волконского («боляриш Сергиї») за его пристрастие к выступлениям в местном губернском комитете по крестьянскому делу («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр 465 и 793—794).

.. рассуждаете о свойствах буквы ижицы...— Вопрос об упрощении орфографии и о возможности исключения из алфавита ряда букв, в том числе и ижицы, оживленно дебатировался на страницах русской печати в конце 50-х — начале 60-х годов (см., например, М. Михайлов. Грамматические сомнения.— «Русский педагогический вестник», 1859, № 1 и др.).

Стр. 355. *.. «Пчелы» да «Измарагды»* ..— Приводятся, в их обобщенном, нарицательном значении, названия двух древнерусских сборников изречений и поучений, преимущественно из Священного писания и из «отцов церкви», призванных воспитывать христианские добродетели послушания и смирения.

Стр 356 *...несколько образцов этого древнего, коренного нашего властйства.*— Приводимые далее четыре вида «красноречия» — это четыре способа, посредством которых дворянско-чиновничье общество удерживало в подчинении народные массы: «Красноречие Марса» — солдафонский окрик и усмирения при помощи воинских команд; «красноречие сельское» — помещичья розга; «красноречие бюрократическое» — угроза административными репрессиями; «красноречие торжественное» — либеральное фразерство.

...оно вполне резюмировано г. Тургеневым в звуке· «чюки-чюк! чюки-чюк!» — В рассказе «Два помещика» из «Записок охотника» помещик Мардарий Аполлоныч Стегунов пьет чай и прислушивается к звукам, доносящимся с конюшни. Там по его распоряжению «шалунишку наказывают». Вторя ударам на конюшне, помещик ритмически приговаривает: «Чюки-чюк-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

В одно морозное, светлое ноябрьское утро...— 20 ноября 1857 года (см. прим к стр. 295).

Стр. 357. *Как понимал, например, слово «дозволение» Гостомысл?* — Рассуждение о «властителях» русской истории, полулегендарном Гостомысле и реальных Рюриковичах, Батыевичах, Иване Грозном и Петре Великом (более близкие по хронологии фигуры подразумевались, но называть их было нельзя), входит в одну из главнейших тем щедринской сатиры — тему обличения «попечительного» начальства и пассивного народа и общества. Это рассуждение содержит ряд выпадов против славянофилов и идеологов официальной народности (в частности, М. П. Погодина), идеализировавших в русской «исторической почве» как раз те элементы пассивности, покорности, в которых Салтыков усматривал «весь узел» драмы.

Стр. 358. *«Гостомысл разрешает своим единоплеменникам призвать варягов из-за моря».*— Лубочная картинка подобного содержания

действительно существовала и в XIX веке многократно переиздавалась. Подпись под ней: «Старейшина новгородский Гостомысл, на одре болезни, увещевает других старейшин избрать себе князей на престол, для прекращения смут и беспорядков».

Стр. 359. *...тузят... в рождество!* — то есть бьют по лицу

Вот Иван Грозный, разрешающий утопить в Волхове целое народонаселение. .— Салтыков имеет в виду следующий эпизод расправы царя над новгородцами в 1570 году, описанный Н. М. Карамзиным в «Истории Государства Российского»: «Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новгородцев, били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами» (Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. IX, изд А. Смирдина, СПб. 1852, стр. 152).

Стр. 364. *...«Русский вестник»... впервые поведал изумленному миру...*— Все следующие дальше в салтыковском тексте намеки соответствуют конкретным группам материалов, появлявшихся в 1856—1858 годах на страницах «Русского вестника», сравнительную характеристику политических, экономических и культурных уровней европейских государств («благоустроенных», «серединных» и «совершенно расстроенных») содержат статьи В. Безобразова, Г. Вызинского, В. Кокорева; о строительстве и усовершенствовании дорог писали И. Воскобойников, В. Кокорев; о «кредите» и «поземельной ренте» — Н. Бунге, Е. Ламанский, А. Головачев и др. Характеризуя содержание «Русского вестника» в связи с выступлением Салтыкова, критик «Московского вестника» писал: «...недавно г. Щедрин очень остроумно указал на педагогические достоинства «Русского вестника» в своем «Скрежете зубовном» (Д. Сер — н. Петербургские письма.— «Московский вестник», 1860, № 7, 20 февраля, стр. 112).

Стр. 365 *...ввергись бы в бездну «Истории г. Кайданова» и «Статистики г. Зябловского».*— Называются учебники казенного типа, далекие от подлинной науки. Салтыкову они были памятны по годам пребывания в Царскосельском лицее В своих произведениях он неоднократно с иронией упоминает об учебнике Кайданова (см., например, «Письма к тетеньке», «письмо девятое»).

Стр. 366. *.. о происхождении и заслугах этого значительного древнего рода я когда-нибудь доложу читателю особо...*— Этот замысел остался неосуществленным (см также прим. к стр. 276).

.. Сибирь... составляет весьма важное подспорье в нашем гражданском и государственном быту.— Намек на значение для самодержавно-помещичьего государства Сибири, как места каторги и ссылки деятелей революционного движения.

Стр. 369. *Маркиз де Шассе-Круазе.*— Фамилия этого персонажа щедринской сатиры, выступающего также в «Господах ташкентцах» и «Пись-

мах к тетеньке», взята из французской танцевальной терминологии. В данном случае название па в кадрили — chasser — croiser — может быть переведено идиоматическим выражением «и нашим и вашим».

Стр 369 *Потревожился... его сиятельство князь Полугаров* ..— Речь князя Полугарова представляет собой сатиру на выступления питейного откупщика В. Кокорева, который в условиях сильного массового движения против откупной системы, разорявшей население, стал произносить с конца 50-х годов либеральные речи и, под прикрытием заботы о «меньшем брате», печатал статьи в защиту акциза и государственной винной монополии. В статье «Об откупах на продажу вина» («Русский вестник», 1858, ноябрь, кн. 1. Современная летопись, стр. 24—37) Кокорев лицемерно выражал «благодарность» всем тем, кто выступал против него печатно или устно: «Высказав все пред судом общественного беспристрастного мнения ..— писал он,— перехожу к безмолвию ответчика и только благодарю *благодарением искренним* всех выражавших на меня свое неудовольствие прямо и намеками, в журналах и разговорах». Эти и подобные им фальшивые заявления Кокорева ядовито пародирует Салтыков, заставляя своего князя Полугарова говорить «великое русское спасибо господам писателям, которые выводят на свежую воду нашего брата откупщика».

Стр. 370—371. *Но действуйте постепенно, не торопясь... и вот перед вами миллиард в тумане!* — Сатирический выпад против нашумевшей статьи В Кокорева «Миллиард в тумане» («Санкт-Петербургские ведомости», 1859, №№ 5 и 6, 8 и 9 января), в которой предлагались хитроумные средства для изыскания дополнительных сумм государственного бюджета («миллиард рублей серебром»), необходимых «на уплату помещикам за владеемые крестьянами поля и покосы».

Стр. 371. *...все эти Гершки... Бестианаки...*— См прим. к стр. 14 и 74.

Стр 372. *...в Сморгонской академии...*— так называли школу дрессировки медведей, долгое время существовавшую в местечке Сморгонь быв. Виленской губернии.

Стр. 378. *Вот и ты, бедная, сгорбленная нуждой, бабушка Ненила* — Бабушка Ненила из стихотворения Некрасова «Забытая деревня» (1855).

НАШ ГУБЕРНСКИЙ ДЕНЬ

(Стр. 382)

Впервые, без главы III («Перед вечером»),— в журнале «Время», 1862, № 9, стр. 5—43 (ценз. разр.— 14 сентября). Глава III (под измененным названием «После обеда в гостях») впервые — в журнале «Современник», 1863, № 3, стр. 163—174 (ценз. разр.— 14 марта). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись очерка. Текст полный, очень близкий к печатному. Заглавие отсутствует. Нет еще и будущих названий первых

двух глав — «У пустынника» и «Обед». Они обозначены цифрами I и II, но следующие две главы, кроме порядковых цифр III и IV, имеют и названия — «Перед вечером» и «На бале» Сохранилась также полная корректура всех четырех глав очерка в гранках журнала «Время», где он имел заглавие «Четыре момента дня». Надпись карандашом на первой гранке, над текстом: «Ст<атс> сек<ретарь> Головнин» свидетельствует о том, что очерк восходил на рассмотрение к высшему руководителю цензурного ведомства министру народного просвещения А. В. Головнину. Документы этого рассмотрения неизвестны. Очерк появился в журнале с рядом изменений и сокращений и без главы III — «Перед вечером»,— предметом сатиры в которой была деятельность губернских органов политического надзора самодержавия — всемогущего III Отделения. Спустя полгода Салтыкову удалось, однако, напечатать эту главу в «Современнике». На гранках набора этой публикации имеется помета: «2 корр<ектура> 21 февр<аля> <1863 г.>» и вписано новое заглавие: «После обеда в гостях».

В конце 1862 года, подготавливая издание сборника «Сатиры в прозе», Салтыков ввел в него «Наш губернский день» в его журнальной редакции, то есть без главы III («Перед вечером»), еще находившейся в это время под цензурным запретом. А летом 1863 года, составляя другую книгу — «Невинные рассказы», Салтыков ввел в нее, в качестве самостоятельного очерка, с измененным названием, и главу III, поскольку она к этому времени была напечатана в «Современнике» и, таким образом, получила цензурную апробацию.

В таком расщепленном виде «Наш губернский день» и прошел через все прижизненные издания сочинений Салтыкова Первоначальный авторский замысел, разрушенный царской цензурой, был восстановлен лишь в 1934 году Б. М. Эйхенбаумом [1]. Текст настоящего издания повторяет эту реконструкцию с устранением из нее некоторых мелких ошибок и неточностей.

Очерк «Наш губернский день» («Четыре момента дня») насыщен острообличительным материалом, связанным со службой Салтыкова в Твери, на посту вице-губернатора, и мог быть задуман как произведение, предназначенное для обнародования лишь после того, как в начале 1862 года писатель расстался с службой и уехал из Твери. Точные даты и место написания очерка неизвестны, но скорее всего он был написан летом 1862 года в подмосковном имении Салтыкова Витеневе.

«Наш губернский день» — сатира на продолжавшуюся, уже в обстановке начавшейся общественной реакции, политику «правительственного либерализма». Салтыков показывает отношение высших губернских властей, гражданских и духовных, к «новым веяниям» из петербургских сфер. И архиерей, глава епархии («п у с т ы н н и к»), и председатель казенной

---

[1] См: «Литературное наследство», т. 13—14, М 1934, стр. 10—11, и т. III изд. 1933—1941 годов.

палаты (штатский «генерал Голубчиков»), и жандармский штаб-офицер («глуповский полковник») и сам губернатор — все они подходят к проводимым и ожидающимся новым реформам, ставшим неизбежными после отмены крепостного права, с точки зрения узколичного своекорыстия, опасаясь, как бы им не лишиться «жирного пирога», а то и места.

Вместе с темой растерянности губернского начальства перед новыми реформами еще более сильно звучит в очерке другая тема — бесплодности всяких реформ на глуповской почве. В заключительной части очерка эта важная для идейной позиции писателя мысль излагается без всякого цензурного камуфляжа. «Что нового произошло? — пишет Салтыков.— Ничего. Какие вторглись в нашу жизнь новые идеи? — Никакие. Какие такие реформы гложут нас и заставляют ежечасно бледнеть? — Никакие».

Вскоре после появления очерка в печати на него откликнулся В. Ржевский (Василий Заочный) в «Северной почте» (1863, № 27, 1 февраля). Один из самых ожесточенных противников Салтыкова в реакционно-дворянской публицистике 60-х годов, Ржевский дал резко отрицательный отзыв о произведении, общественно-политическое значение которого он хотел бы свести к нулю.

Авторы рецензий на сборник «Сатиры в прозе», Н. Н Мазуренко в «Народном богатстве» (1863, №№ 256 и 258, 24 и 27 ноября) и Е Н. Эдельсон в «Библиотеке для чтения» (1863, № 9), выразили иную точку зрения, отметив очерк как произведение, верно отражающее процессы, происходящие в растревоженном реформами русском обществе.

Стр. 384. *...как бы не покачнуться ни направо, ни налево и не выронить из рук спасительного шеста?* — На эту тему в журнале «Искра» (1862, № 21, 8 июля) была помещена карикатура Н. Степанова, изображающая либерала-эквилибриста с шестом в руках, отыскивающего «благоразумную средину».

Стр 385. *...«без тоски, без думы роковой»...* — строка из стихотворения А Н. Майкова «Fortunata».

...«в боях домашних поседелый»... — перифраза пушкинского выражения «в дружинах римских поседелый» из «Египетских ночей» (гл. V).

Стр. 386. *«Я»* — В этом перечне высших губернских чиновников «я» рассказчика означает вице-губернатора, то есть должность, которую занимал в Твери, а раньше в Рязани, сам Салтыков, что, однако, не дает основания отождествлять его с «я» рассказчика.

Стр. 387. *Есть у нас приятель, который слывет между нами под именем пустынника.*— В образе пустынника Салтыков вывел священнослужителя, сатирически изображать которого запрещалось духовной цензурой. Об этом свидетельствует ряд черт и намеков в тексте очерка: пустынник «любит прибегать к славянским оборотам речи», обучает собирающихся у него в доме мальчишек церковному пению, сам то и дело «дрожащим старческим голосом» затягивает псалмы (см. прим. к стр. 388, 391, 393). Он занимает видное место в губернском обществе: с предмест-

ником нынешнего губернатора «хлеб-соль важивал» (стр. 393), нынешний губернатор, а вместе с ним и вся губернская «аристократия» не избегают его хлебосольного дома (стр. 387). Пустынник в разговорах противопоставляет себя гражданскому начальству, намекая при этом, что его возможности отнюдь не ниже гражданской власти, а в иных случаях и выше ее («Ну, я с своими-то справлюсь... вот вы-то, гражданские, что будете делать?»). Все это указывает на то, что в образе пустынника Салтыков вывел в очерке архиерея, главу местной епархии.

Стр. 387. *...веселие есть Руси пити и ясти...* — несколько измененные слова князя Владимира из «Повести временных лет» («Повесть временных лет», ч. 1. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихачева, изд. АН СССР, М.— Л. 1950, стр. 60).

Стр. 388. *При-и-ди-те поклони-и-и-и-мся!* — Пустынник напевает «Хвалебную песнь Давида» из псалма 94 (ст. 6).

Малахай шелковый.— Здесь это обозначает архиерейскую рясу.

Стр. 389. *Жеребцы стоялые, дворовые подпустынники* — так непочтительно Салтыков называет монахов и архиерейских служек.

Стр. 391. *...подобно древним иудеям, на реках Вавилонских седящим, приходится обесить органы своя...*— Перефразированная цитата из псалма 136 (ст. 1—2). «Обесить органы своя...» — повесить (на вербах) свои арфы *(церковнославянск.)*.

Стр. 393. *Яко изчезает дым, да исче-е-езнут!..*— слова из псалма 67 (ст. 3).

Стр. 394. *Прислужник в длинном кафтанчике* — архиерейский служка в подряснике.

Стр. 397. *Мерзоконаки и Лампурдос* — намек на греческое происхождение ряда богатейших откупщиков (см. прим. к стр. 74).

...когда велено было женские училища везде заводить? — См. прим. к стр. 457.

Стр. 404. *Наш глуповский полковник.*— Печатая в 1863 году в «Современнике» главу «Перед вечером» (под заглавием «После обеда в гостях»), Салтыков вынужден был внести в текст ряд изменений цензурного характера. В частности, «глуповский полковник» превратился в «доброго и милого приятеля Семена Михайлыча Булановского». Рукописи очерка и корректурные гранки позволяют восстановить авторский замысел, что особенно необходимо в данном случае, так как замена «полковника» «добрым и милым приятелем Семеном Михайлычем Булановским» по недосмотру цензуры была проведена непоследовательно: и в публикации «Современника», и во всех прижизненных изданиях в двух случаях остался «полковник».

В сатирическом портрете Булановского — главы «губернского надзора» — нашли отражение черты одного из хорошо известных Салтыкову «деятелей» органов политического контроля самодержавия — жандармского штаб-офицера в Твери, полковника И. М. Симановского. Он осуществлял, в частности, негласный надзор за самим Салтыковым и посылал о

нем секретные донесения в Петербург. Сатирическое выступление против жандармов — «опричники», «масоны» (стр. 408—409), редкое даже у Салтыкова,—немедленно привлекло к себе внимание III Отделения. Через несколько дней после появления в свет очерка Салтыкова в III Отделении была уже подготовлена специальная «Записка» о нем, датированная 6 апреля 1863 года. В записке сообщалось, в частности, по поводу фигуры Семена Михайлыча Булановского: «Как Салтыков был несколько лет вице-губернатором в Твери, то с первого раза, при чтении этой статьи, родилась мысль, не описан ли тут тверской жандармский штаб-офицер. В самом вымышленном имени Булановского сквозит имя Ивана Михайловича Симановского. Кроме того, в описании наружности, манер, разговора и суждения нельзя не узнать полковника Симановского...» Затем давалась подробная характеристика образа Булановского сопоставительно с его прототипом, а потом следовало раскрытие еще одного «портретного» намека — о начальнике Московского жандармского округа (ему была подчинена Тверь) С. В. Перфильеве: «Между прочим, Щедрин сказал слова два об окружном генерале в Москве. В этих немногих словах почтенный Степан Васильевич Перфильев очеркнут в более неприятном виде, чем Симановский» (Центральный государственный архив Октябрьской революции, ф. 109 (III Отд.), оп. 1а (Секретный архив), ед. хр. № 1993). Возможно, до Салтыкова дошли какие-то слухи о недовольстве III Отделения или самого Симановского прозрачностью псевдонима, и, включая очерк в сборник «Сатиры в прозе», он изменил фамилию «Булановский» на «Стопашовский».

Стр 408. *«Надежда, кроткая посланница небес»...*— начальные слова прозаического отрывка В. А. Жуковского «К надежде». Приводимые дальше Салтыковым слова: «Надежда утешает царя на троне» — являются перефразированным выражением из того же отрывка. У Жуковского: «Без тебя царь несчастен на троне своем...»

Стр. 409. *Послали меня за одним фигурантом...*— то есть послали произвести арест.

Стр. 412. *...приезжаю я в Москву, являюсь к своему старику...*— намек на начальника Московского жандармского округа (см. прим. к стр. 404).

Стр. 418. *...стоял за self-government, а централизацию признавал вредным порождением наплыва французских демократических идей.*— Сатирическая реплика на выступления дворянской публицистики. Возможно, что здесь имеется в виду статья В. Безобразова «Аристократия и интересы дворянства. Мысли и замечания по поводу крестьянского вопроса», напечатанная в «Русском вестнике». Выступив пропагандистом самоуправления (self-government), В. Безобразов в то же время отметил, что централизация и бюрократия «весьма обманчивым образом вносят равенство в человеческие общества» («Русский вестник», 1859, сентябрь, кн. 1, стр. 13, 33).

Стр. 424. *«Кумир развенчанный всё бог!»* — Измененная строка из стихотворений М. Ю. Лермонтова «Я не люблю тебя...» и «Расста-

лись мы, но твой портрет.. ». У Лермонтова: «Кумир поверженный — всё бог!»

Стр. 427. *Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифонычей... Если такая перетасовка королей и валетов может назваться революцией, то... она совершается и на наших глазах.*— В 1861—1862 годах в правительстве Александра II был произведен ряд перемен: в апреле 1861 года на место Ланского министром внутренних дел был назначен Валуев, в декабре на место графа Путятина министром народного просвещения был назначен Головнин, в январе 1862 года на место Княжевича министром финансов был назначен Рейтерн (лицейский однокашник Салтыкова). Смена этих лиц, разумеется, ни в чем не изменяла системы управления и тем более «порядка вещей».

ЛИТЕРАТОРЫ-ОБЫВАТЕЛИ

(Стр. 428)

Впервые — в журнале «Современник», 1861, № 2, стр. 368—408 (ценз. разр.— 20 февраля), с датой в конце текста «1860». Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись очерка, текст которой близок к печатному. Конец рукописи утрачен (начиная со слов: «...спрашивает, в свою очередь, гласный Клубницын», стр. 459). Это обстоятельство не дает возможности установить, не был ли отсечен или изменен цензурой самый конец очерка. В печатном тексте финал производит впечатление незавершенного рассуждения о «Морском сборнике» — одном из главных изданий правительственного либерализма.

Очерк написан в Твери, по-видимому, в конце 1860 года, но в нем много рязанского материала (Салтыков покинул Рязань в марте 1860 года, а вступил в должность тверского вице-губернатора в июне того же года). «Литераторы-обыватели», по времени их написания, начинают сатиры «глуповского цикла» (об этом распавшемся цикле см. стр. 583—588), хотя знаменитый «город Глупов» выступает здесь еще в ряду других частных названий щедринской сатирической топонимики и не имеет пока того обобщающего и центрального значения, которое получит в дальнейшем творчестве писателя.

Главная тема «Литераторов-обывателей» — критика «обличительной литературы», одной из характерных форм либерального движения эпохи. Во второй половине 50-х годов, в период кризиса самодержавно-помещичьей системы, «обличительная литература» являлась закономерной формой и стадией прогрессивной общественной борьбы и приветствовалась демократическим лагерем. Но вскоре, в условиях назревавшей и назревшей революционной ситуации в стране, либеральное движение стало превращаться в опору реакции. Либералы и правительство хотели бы «отку-

питься» от революции, уже стучавшейся в дверь, «гласностью», «обличительством», направленными на мелочи и случайные явления, а не на коренные пороки русского общественно-политического строя. В развернувшейся в 1859—1860 годах полемике руководители «Современника» Чернышевский и Добролюбов выступили против либерально-обличительной литературы, доказывая, что ее крохоборчество и политическая маниловщина начинают все больше играть роль выгодного правительству и реакционным силам клапана, поскольку они ослабляют напор серьезной критики. Эта позиция, наиболее четко выраженная в статьях Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года» («Современник», 1859, №№ 1 и 4), вызвала резкополемическую статью Герцена «Very dangerous!!!» («Очень опасно!!!») («Колокол», 1859, л. 44, 1 июня), в которой он взял под защиту «обличительную литературу». Выступление Герцена, находившегося еще в значительной мере во власти либеральных иллюзий, показывало, что он не замечал опасности вырождения серьезного обличения в обывательское пустословие, могущее принести немалый вред делу народного освобождения.

«Литераторы-обыватели», как и предшествующие, близкие по теме статьи 1860 года «Характеры» (см. т. 4 наст. изд.), «Скрежет зубовный» и «Наш дружеский хлам», свидетельствовали, что в этом идейном споре эпохи Салтыков, вслед за Добролюбовым и Чернышевским, дал образцы революционно-демократического подхода к обличительству. Высмеивая мелочность либерально-обличительной литературы, бедность ее мысли, пустозвонство, Салтыков ведет борьбу за такое обличение, которое исходило бы из понимания связи между отдельными проявлениями произвола и лихоимства и существовавшим в стране «порядком вещей» — тем «болотом», выяснение определяющего значения которого во всех отрицательных явлениях русской жизни и составляет, по определению писателя, «предмет настоящей статьи».

Едва лишь очерк появился на страницах «Современника», как в русской журналистике по поводу этого выступления Салтыкова возникла довольно оживленная полемика, в которую включились «Искра», «Северная пчела», «Указатель экономический...». Обсуждался главным образом вопрос о роли и значении «литераторов-обывателей» в общественно-литературной жизни страны. Резко отрицательную позицию по отношению к провинциальным «обличителям» занял А. П. Пятковский, выступивший в «Северной пчеле» (1861, № 189, 25 августа) со статьей «Провинциальные корреспонденты и г. Щедрин». Как заметил Д. Д. Минаев в «Русском слове» (1861, № 10, Смесь, стр. 10). Пятковский не понял «Литераторов-обывателей» Щедрина и на этом основании «обругал всех провинциальных обличителей». Противоположное мнение высказал К. Цветков в «Указателе экономическом, политическом и промышленном» (1861, № 73, 17 сентября). Взяв под защиту обличительную деятельность мелких провинциальных литераторов, он укорял Салтыкова за его резкость и пренебрежительное отношение к ним. Итогом полемики явилась статья В. С. Курочкина в

«Искре» (напечатана под псевдонимом Пр. Знаменский) «Корреспонденты и рецензенты (Гг. Корытников, Цветков, Благолепов и Пятковский)» (1861, №№ 37—39, 29 сентября, 6 и 13 октября). В ней Курочкин выступил в качестве союзника Салтыкова, подвергнув резкой критике взгляды и Пятковского и Цветкова.

Стр. 428. *Пчелка златая!..*— В качестве эпиграфа к очерку взяты начальные строчки из стихотворения Г. Р. Державина «Пчелка».

...находившие себе убежище в «Московских ведомостях».— В 1856—1862 годы, то есть в период редакторства В. Ф. Корша, «Московские ведомости» придерживались либеральных позиций. Если в предшествующие годы разделы газеты о внутренней жизни страны заполнялись преимущественно сообщениями о торжественных обедах, собраниях, об открытии библиотек, клубов и т. д., то во второй половине 50-х годов на страницы «Московских ведомостей» нахлынула волна либерально-обличительных «голосов», «заметок», «вестей», «писем из провинции». Они печатались в специальной рубрике «Внутренняя корреспонденция», которую Салтыков в очерке «Хорошие люди» назвал «особым отделом обывательской литературы» (см. стр. 532).

...«не сын ли это вышневолоцкого готтентота?» — спрашивает анонимный корреспондент.— Начиная с «Литераторов-обывателей» Салтыков особенно плотно насыщает свои сатиры множеством злободневных материалов и намеков. В данном случае Салтыков имеет в виду вышневолоцкого помещика А. П. Козляинова, который в ночь с 16 на 17 августа 1860 года в одном из вагонов пассажирского поезда Москва — Петербург избил ехавшую в Петербург девушку-немку. Скандал, учиненный Козляиновым, нашел отклик в печати (А. Мансуров. Случай на Николаевской железной дороге — «Московские ведомости», 1860, № 185, 24 августа; Л. Камбек. Заметка в разделе «Вести и слухи».— Там же, 1860, № 230, 25 октября, и др.).

Стр. 429. *...следя за «голосами из Рязани...»* — Сообщаемые далее сведения были известны Салтыкову не столько из газет, сколько из личного опыта жизни и службы в Рязани с 1858 по 1860 год. Публичная библиотека была открыта в Рязани в 1858 году, и Салтыков был в числе ее попечителей и жертвователей; женская гимназия начала свое существование в 1859 году, и Салтыков принял участие в хлопотах об ее открытии, как и об открытии «воскресных классов» («воскресных школ») и т. д.

...все шло бы хорошо, если бы, несколько месяцев тому назад, не подпакостили шесть или семь молодых прогрессистов...— Происшествие, которое тут имеется в виду, случилось в Калуге 26 августа 1860 года. Сообщение о нем за подписью «Калужский житель» появилось в № 207 газеты «Московские ведомости» от 24 сентября 1860 года (в рукописи очерка имеется ссылка на этот номер газеты): во время спектакля, устроенного труппой проезжих актеров, появились «шесть или семь в нетрезвом виде

молодых людей» — «прогрессистов» — и устроили в театре скандал. Месяц спустя, 25 октября, «Московские ведомости» вновь обратились к вопросу о калужском скандале, поместив под заглавием «Калужский ценитель репутаций» написанное Алексеем Жемчужниковым опровержение на заметку «Калужского жителя».

Стр. 430. *...полемика между селом Ивановом и Вознесенским посадом.*— Спор между селом Ивановом и Вознесенским посадом разгорелся в 1859 и 1860 годах. Причиной его послужил вопрос о том, где должны находиться торговые ряды: в Иванове или в Вознесенском посаде. Печать постоянно уделяла внимание этой полемике: сообщения о ней печатали «Московские ведомости» (№№ 254 и 274 за 1859 год), «Вестник промышленности» (1860, январь) и другие издания. Завершилась полемика объединением села Иванова и Вознесенского посада в город Иваново-Вознесенск.

...Краснорецк, где... рыскает по улицам Рыков...— см. прим. к стр. 266.

Стр. 431. *...на днях виден был на небе метеор...*— Сообщения о появившейся в июле 1860 года комете почти ежедневно печатались на страницах «Московских ведомостей».

Стр. 433. *В городе Нововласьевске некоторый фабрикант, благодетельствуя своим меньшим братьям, деятельно выкупает их на волю...*— Речь идет о деле фабрикантов Хлудовых из города Егорьевска Рязанской губернии, которое было возбуждено Салтыковым в бытность его вице-губернатором в Рязани (см. также комментарий к пьесе «Соглашение»). С защитой аферы Хлудовых выступил некто «Проезжий», поместивший в журнале «Вестник промышленности» (1860, февраль) статью «Косвенные налоги на фабрики (Рассказ проезжего)». Под этим псевдонимом скрылся ближайший помощник Салтыкова по службе, старший советник Рязанского губернского правления Н. Ф. Дубенский. В ответ на его выступление Салтыков написал статью «Еще скрежет зубовный» — она была запрещена цензурой,— в которой подробно рассказал о «хлудовском деле» (см. эту статью в т. 5 наст. изд.). В журнальном тексте «Литераторов-обывателей», а также в тексте первого отдельного издания «Сатир в прозе», комментируемое место было снабжено примечанием, которое отсылало читателя к упомянутой статье «Проезжего» в «Вестнике промышленности».

Стр. 434. *«Что сказать вам о нашем городе?.. А пора бы, кажется, и нам!»* — Обличительная заметка за подписью «Туземец» представляет собой пародию на корреспонденцию некоего Д. Грачова из Саратова, напечатанную в газете «Московские ведомости» (1860, № 193, 6 сентября, стр. 1524—1525).

Amicus Plato, sed magis amica veritas.— Платон мне друг, но истина — дороже. Первоисточником этого крылатого выражения служат слова греческого философа Сократа из диалога Платона «Федон».

Стр. 436. *...яко крин сельный.*— Как сельская лилия *(церковнославянск.)*.

Стр. 439. *...глупые девы, погасившие светильник...*— Имеется в виду

евангельская притча о десяти девах (Матф., XXV, 1—13). Выйдя навстречу жениху, пять неразумных дев, в отличие от пяти мудрых, не запаслись маслом для светильников своих и не попали на брачный пир.

Стр. 444 *Хлеб наш насущный даждь нам днесь...*— слова из христианской молитвы «Отче наш» *(церковнославянск.)*.

Стр. 446. *Сбирр* (*итал.* sbirro) — полицейский стражник в Италии. В переносном значении — сыщик, агент.

Стр. 449. *...это был бы своего рода Катон...*— см. прим. к стр. 267.

Стр. 450. *Лобзай меня! твои лобзанья // Мне слаще мирра и вина!* — Строки из стихотворения Пушкина «В крови горит огонь желанья...».

Стр. 452. *...укажу еще на каплунов.*— Эта мимоходом брошенная мысль была развита Салтыковым в 1862 году в очерке «Каплуны» (см. т. 4 наст. изд.).

Стр. 454. *...окунуться в купель силоамскую.*— По евангельской легенде, вода в купели Силоамской в Иерусалиме обладала свойством исцелять больных (Иоанн, V, 2—4).

Стр. 457. *Что это за женские гимназии? что это за воскресные училища?* — В 1858 году известный педагог Н. А. Вышнеградский напечатал в издававшемся им «Русском педагогическом вестнике» ряд статей, в которых выступил сторонником открытых женских учебных заведений; в том же году в Петербурге было открыто женское Мариинское училище. На основе предложений Н. А. Вышнеградского и опыта работы училища был выработан и в 1862 году утвержден устав первых в России женских гимназий.

Воскресные школы для взрослых возникли в 1859 году в Киеве по инициативе проф. П. В. Павлова и Н. И. Пирогова. В условиях подъема общественного движения воскресные школы быстро распространились по всей России. Обучались в них главным образом рабочие и солдаты, обязанности учителей исполняли студенты, офицеры, чиновники, писатели. Значительную роль в организации воскресных школ сыграла революционная интеллигенция, рассматривавшая их как один из возможных очагов антиправительственной пропаганды. В 1862 году по распоряжению Александра II воскресные школы были закрыты; в 1864 году они были разрешены вновь, но организация их на этот раз оказалась главным образом в руках духовенства, а со стороны полиции за деятельностью их был установлен строгий и постоянный надзор.

Стр. 459. *Ночной зефир...*— из стихотворения Пушкина, озаглавленного по этой начальной строке.

Стр. 460. *Ночь весенняя дышала...*— начальные строки стихотворения «Венецианская ночь» И. И. Козлова. Вторая строка перефразирована (у Козлова: «Светло-южною красой»).

Мансанарес — река в Кастилии.

Стр. 462. *...какой циркуляр насчет этого в Самаре вышел!* — В 1860 году в Саратове — Салтыков ошибочно указал Самару — было принято решение о прекращении продажи чистого спирта простому народу. «Москов-

ские ведомости» (1860, № 197, 11 сентября) так излагали сущность этого «циркуляра» саратовского откупа: «...народу не продают уже спирта, а советуют пить так называемую *водку душегубку*. Спирт отпускают только *господам*, как говорят сидельцы, и не иначе как по записке, которая предварительно должна пройти несколько инстанций для удостоверения в том, что спирт требуется *барину*, а не *мужику*».

А в Саратове... дикости какие-то делаются! — 28 апреля 1860 года в Самару, а не в Саратов, как указывает Салтыков, прибыл пароход «Адашев» с тремя баржами, на которых было две тысячи рабочих, завербованных в приволжских городах и отправляемых в Царицын на строительство железной дороги. Нарушение наемными приказчиками договорных условий, снабжение одним черным хлебом, запрещение сходить на берег за табаком и продажа его на баржах по повышенной цене — все это вызвало возмущение рабочих, задержавших отправку парохода из Самары. Капитан парохода барон Медем обратился к самарскому гражданскому губернатору, заявив, что «рабочие взбунтовались, не дают подымать якорей потому будто бы, что их не спускают на берег, где они хотят пьянствовать...» («Московские ведомости», 1860, № 246, 12 ноября). Лишь после вмешательства полиции, вскрывшей злоупотребления приказчиков и подтвердившей законность требований рабочих, конфликт был улажен.

Стр. 463. *...читала «Морской сборник»! ...«Правительственные распоряжения»... увлекли меня...* — Журнал «Морской сборник», руководимый, как и издававшее его морское министерство, вел. кн. Константином Николаевичем, был своего рода палладиумом политики правительственного либерализма.

КЛЕВЕТА

(Стр. 464)

Впервые — в журнале «Современник», 1861, № 10, стр. 661—680 (ценз. разр.— 5 ноября). Подпись: Н. Щедрин. Сохранился черновой автограф. Рукописный текст близок печатному.

Очерк написан летом или осенью 1861 года в Твери. В печать он прошел без сколько-нибудь существенных сокращений и изменений. По этому поводу Салтыков, находившийся в ту пору в Петербурге, писал Некрасову в записке от 6 ноября 1861 года, то есть на следующий день после разрешения к выпуску в свет октябрьской книжки «Современника»: «Цензор так хорошо пропустил «Клевету», что это меня поощряет».

«Клевета» — второй по времени написания и появления в печати очерк из распавшегося «глуповского цикла». От первого — «Литераторов-обывателей» — его отличает бóльшая резкость сатирического тона и бóльшая же широта обобщений в образах «города Глупова» и «глуповцев». Это уже не просто сатирические обозначения провинциального города и его обывателей. Глупов отождествляется в «Клевете» со всеми враждебными и от-

рицательными сторонами провинциального русского общества периода «о ш п а р и в а н и я» и «в о з р о ж д е н и я», то есть периода отмены крепостного права и других реформ.

«Социология» Глупова захватывает здесь преимущественно губернскую дворянско-помещичью и чиновничью среду. Этой «страшной среде», этому «болоту» злостной сплетни и клеветы противопоставлен Шалимов — персонификация враждебных «глуповскому мировоззрению» общественных и нравственных принципов «города Умнова», то есть исторически прогрессивного развития страны. Как указано уже в комментарии к очерку «Наш дружеский хлам» (из сборника «Невинные рассказы»), в образе Шалимова отразились впечатления Салтыкова от личности и общественной судьбы его друга А. М. Унковского, либерального предводителя дворянства Тверской губернии, которого Ленин упомянул, вслед за Герценом и Чернышевским, в ряду тех передовых людей, которые «требовали несравненно большего, чем то, что осуществили «реформы»»[1]. Центральный эпизод очерка, давший ему название,— клеветническое обвинение Шалимова во взяточничестве,— восходит к тверским событиям, связанным с именем и деятельностью Унковского. Именно такое обвинение было предъявлено ему ненавидящими его крепостниками-помещиками на заседании Тверского дворянского собрания 8 декабря 1859 года[2]. Данное обстоятельство, как и целый ряд других намеков, связанных с борьбой А. М. Унковского и самого Салтыкова с реакционной частью тверского дворянства — местными «Терентьичами», «Трифонычами» и «Сидорычами»,— объясняет то отношение, которое встретила «Клевета» в Твери. «Моя «Клевета»,— писал Салтыков П. В. Анненкову 3 декабря 1861 года,— взбудоражила все тверское общество и возбудила беспримерную в летописях Глупова ненависть против меня. Заметьте, что я не имел в виду Твери, но Глупов все-таки успел поднюхать себя в статье. Рылокошения и спиноотворачивания во всем ходу. То есть не то чтобы настоящие спиноотворачивания, а те, которые искони господствовали в лакейских».

Подтверждением слов Салтыкова об отношении реакционной части тверского общества к его очерку служит донесение жандарма Симановского от 17 декабря 1861 года: «Заслуживает внимания неприятное и не в пользу вице-губернатора Салтыкова впечатление, произведенное на общество статьею его «Клевета», напечатанною в № 10 «Современника»[3].

Подтверждение же заявления Салтыкова о типичности его «Клеветы», о том, что он «не имел в виду Твери» (то есть «только Твери»), находим в письме участника революционного движения Л. Рогозина к Н. Г. Чернышевскому из Нижнего Новгорода от 25 декабря 1861 года: «Я позволяю себе... сообщить Вам,— читаем в перлюстрационной копии письма, сохра-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 61.

[2] Г. А. Джаншиев. А. М. Унковский и освобождение крестьян, М. 1894, стр. 137—141.

[3] М. К. Лемке. К биографии М. Е. Салтыкова.— «Русская мысль», 1906, № 1, стр. 38.

нившейся в архиве III Отделения,— очень интересное и многознаменательное событие. Существует мнение, что «Клевета» Щедрина написана на рязанское (другие говорят — на тверское) общество, и тем самым ограничивают значение «Глупова» отдельною местностию, одним губернским городом, придавая статье этой характер исключительный, случайный. В опровержение такого ложного мнения позволяю себе привести следующее интересное и само по себе событие: ...по получении октябрьской книжки «Современника» в Нижнем нижегородские дворяне, собравшись, по обыкновению, в клубе, толковали много о статье Щедрина и пришли к тому результату, что «Клевета» написана на них (на воре шапка горит). Этот вывод был для них до такой степени несомнителен, что они стали искать, кто бы это мог передать их тайны Салтыкову, кто знаком с ним и т. д.— все те же глуповские приемы Не забудьте, что это дворянство, *первое* в России заявившее о необходимости освобождения крестьян. Что же в других губерниях?» [1]

Стр. 466. ...*со стола богатого Лазаря.*— См. прим. к стр. 73.

Ржаницев.— См. о нем в заключительной части очерка «Наши глуповские дела».

Федька Козелков, Сеня Бирюков — см. прим. к стр. 282.

Стр. 471. ...*распускает слух, что его побили.*— Вполне возможно, что тут имеется в виду ложный слух, пущенный о самом Салтыкове ненавидевшими его тверскими крепостниками-дворянами, о чем сохранились сведения в мемуарных источниках. Так, например, кн. Д. Д. Оболенский в своих «Набросках из воспоминаний» приводит рассказ о том, что Салтыков — вице-губернатор будто бы получил оскорбление действием от одного помещика, которому посоветовал «помириться» с побившими его крестьянами («Русский архив», 1895, кн. 1, стр. 64; опровержение этого слуха см. в статье И. А. Митропольского «По поводу воспоминаний князя Д. Д. Оболенского».— Т а м ж е, стр. 371).

Стр. 472. *Морвёзки* — сопливые (*франц.* morveuses).

НАШИ ГЛУПОВСКИЕ ДЕЛА

(Стр. 482)

Впервые — в журнале «Современник», 1861, № 11, стр. 5—42 (ценз. разр.— 7 декабря). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранились две рукописи очерка. Черновой автограф содержит полный текст первоначальной редакции. Входящая в очерк «Комедия» (впоследствии под заглавием «Погоня за счастьем» опубликованная в составе «Недавних комедий») композиционно делит его на две части: пер-

---

[1] С. М а к а ш и н. О типическом.— «Огонек», 1956, № 12, стр. 22.

вая, в значительной мере соответствуя печатному тексту, включает ряд фрагментов, которые позднее в несколько переработанном и сокращенном виде вошли в очерк «К читателю». Финал первой части посвящен застывшемуся Зубатову и завершается следующим абзацем, вводящим в очерк «Комедию»:

«Но в особенности любезно обращается он с так называемыми «просителями возрождения». С тех пор, как он убедился, что «возрождение, ma chére, совсем мило выходит», с тех пор, как перестал трусить Иванушек, он начал относиться к этому предмету просто и даже отчасти игриво. Вставая утром от сна, он уже уверен, что в передней ожидает его толпа искателей; он неторопливо пьет свой чай, разговаривая с Сеней Бирюковым, называя его своим импресарио и даже слегка подсмеиваясь над всеми этими чающими движения воды.

А в приемной в это время происходит:

К о м е д и я».

Непосредственно вслед за «Комедией» в черновом автографе следует вторая часть очерка (с абзаца «В самом деле...», на стр. 497, до конца). Она также в основном соответствует печатному тексту. Другая рукопись представляет собой перебеленный вариант первой части очерка с незначительными изменениями и дополнениями, внесенными в процессе переписки чернового автографа, которая не была доведена до конца. По этой рукописи Салтыков вырабатывал окончательный текст произведения: он перечеркнул начало очерка, вписал на полях новый вариант, соответствующий печатному тексту; отчеркнул карандашом фрагменты, подлежащие исключению (значительная часть из них позднее вошла в очерк «К читателю»), а также наметил место (оно обозначено крестом и пометой: «на особых листах») для вставки в текст рассуждения о «хороших людях» («Мудрено ли, что глуповцы... утешались, взирая на нас!», стр. 488—491). Это рассуждение, а также включенный в состав «Наших глуповских дел» дневник Ржанищева представляют собой фрагменты из двух очерков, начатых или существовавших сначала отдельно: «Хорошие люди» и «Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека» (см. в наст. томе раздел «Неоконченное»).

«Наши глуповские дела» — третий по времени появления в печати очерк «глуповского цикла». Написан он летом или осенью 1861 года в Твери, то есть почти одновременно с предыдущим очерком «Клевета». Но образ Глупова получает здесь дальнейшее развитие. Хотя он еще по-прежнему «привязан» к губернскому городу, в нем уже ощутима тенденция к отождествлению Глупова с общероссийскими порядками. Показательны в этом отношении слова о «столичных» и «прочих» Глуповых в первоначальном варианте начала очерка:

«Давно ли, кажется, беседовал я с вами, читатель, о нашем уездном Глупове, как уже сердце мое переполнилось жаждою повести речь о другом Глупове, Глупове — губернском.

Он также лежит на реке Большой Глуповице, кормилице-поилице всех наших Глуповых: уездных, губернских и прочих (каких же «прочих»,

спросит слишком придирчивый читатель.— Разумеется, заштатных и безуездных, отвечаю я, ибо столичных Глуповых не бывает, а бывают столичные Умновы. Это ясно как день). Он также имеет свою главную улицу, по сторонам которой тянутся каменные дома одноэтажной, полукаменной постройки; он также пересекается во многих местах оврагами, по склонам которых в изобилии разводится капуста и прочий овощ, услаждающий неприхотливый вкус обывателей. Словом, Глупов как Глупов, только губернский».

Один из элементов более широкого обобщения Глупова заключен в раздумьях о его «истории», впервые появляющихся в «Наших глуповских делах»,— итог их пока негативен: «У Глупова нет истории», потому что невозможна такая история, «которой содержанием был бы непрерывный, бесконечный испуг». Размышления Салтыкова о трагедии народной пассивности и бессознательности, о гражданской незрелости общества в конце 60-х годов лягут в основу изображения глуповского мира в «Истории одного города».

Стр. 482. *«В надежде славы и добра // Идем вперед мы без боязни...*— несколько перефразированные начальные строки из стихотворения Пушкина «Стансы». У Пушкина: «В надежде славы и добра // Гляжу вперед я без боязни...»

Стр. 483. *...благорастворение воздухов...*— см. прим. к стр. 26.

Стр. 488. *Почему они назывались «хорошими» людьми...*— см. прим. к очерку «Хорошие люди».

Стр. 489. *...получит возмездие в рождество...*— см. прим. к стр. 359.

...о распрях, происходивших в Испании между карлистами и христиносами.— «Карлисты» и «христиносы» — две партии, образовавшиеся в Испании в 1833 году после смерти короля Фердинанда VII. Карлисты — реакционная партия сторонников Дон-Карлоса, брата короля и претендента на престол; христиносы — либеральная партия сторонников королевы Христины.

Стр. 492. *Иванушки.*— Образ Иванушек, под которым разумеется многострадальное русское крестьянство, впервые появился в очерке 1860 года «Скрежет зубовный» («Сон»). В очерке 1862 года «К читателю» Иванушки, ранее стоявшие вне глуповского мира, были впервые введены в него («Вот тебе младший наш Глупов, вот тебе наш Иванушка!» — стр. 288). Ср. также в очерках 1862 года «Глупов и глуповцы» и «Глуповское распутство» (в т. 4 наст. изд.).

Стр. 494. *Глуповцы... прислушавшись к речам Силы Терентьича и Терентья Силыча, называли их даже бунтовскими...*— В годы подготовки и проведения крестьянской реформы в недовольных ею помещичье-крепостнических кругах сложилось течение «олигархической» оппозиции. Сторонники его (Н. Безобразов и др.) стремились к дворянско-аристократической конституции. Салтыков не верил в силу ни либеральной, ни олигархической оппозиции, в глуповские «бунтовские» речи — ни справа, ни слева.

Стр. 497. *...что может значить глуповское возрождение?* — Высмеивая «глуповское возрождение», то есть правительственные реформы,

проводимые при ликовании либералов, Салтыков противопоставляет ему подлинное возрождение, связывая его с активной борьбой демократической интеллигенции (У м н о в) и народных масс (Б у я н о в) за социальные и политические преобразования.

Приводим по рукописи отрывок, не вошедший в окончательный текст очерка и разъясняющий смысл намека на невозможность подлинного возрождения на глуповской почве (в рукописи он следует после слов: «А без этого какое же может быть возрождение!» — стр. 497):

«Жили мы все... очень между собою дружно. Младшие уважали старших, старшие утешали младших. «Плоть от плоти, кость от костей наших»,— говорили старшие. «Как прикажете-с?» — доверчиво спрашивали младшие. И все шло таким манером, мирно и добропорядочно, не то, что где-то там за морями, в городе Буянове, где, как слышно, сын отцу намедни сказал: «Не дури, тятька, разобью зубы!»

Позднее этот фрагмент в измененной редакции был введен Салтыковым в очерк «К читателю» (см. стр. 294).

Стр. 500. *...о прекрасном устройстве Оксфордского университета, о воскресных забавах англичан...*— Характерная черта дворянской оппозиции 50—60-х годов — англомания. М. Катков, Н. Юматов, В. Ржевский в своих статьях на страницах «Русского вестника» и «Современной летописи» настойчиво проводили мысль о внедрении на русской почве социально-общественных образцов и порядков, сложившихся в Англии. Одной из сатирических стрел, направленных против дворянских либералов, и является комментируемый фрагмент (см. также прим. к стр. 265).

Стр. 501. *«Письмо из Турина».*— Вероятно, имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Из Турина», напечатанная в «Современнике» (1861, № 3, стр. 195—226). Статья, написанная в форме письма из Турина, где тогда находился Добролюбов, посвящена итальянскому национально-освободительному движению, критике итальянской национальной буржуазии, добившейся власти, критике буржуазного парламентаризма вообще.

...Глупов — это anima vilis...— В средние века производство опытов над животными оправдывалось тем, что у них anima vilis, то есть гнусная душа. Отсюда выражение: трактовать кого-либо или что-либо in anima vilis, то есть третировать.

Стр. 505. *...уволят его по третьему пункту.*— По третьему пункту 1239 статьи «Устава о службе гражданской по определению от правительства» чиновников увольняли за неспособность к выполнению возложенных на них обязанностей или за провинности, которые известны начальству, но не могут быть подтверждены фактами. Увольнение по этому пункту, осуществлявшееся обычно без просьбы со стороны увольняемого чиновника и без объяснения ему причин его увольнения, применялось преимущественно как средство удаления из государственного аппарата «неблагонадежных лиц» (Свод законов Российской империи, т. III, СПб. 1857, стр. 261).

Стр. 507. *«Мистигрис» Беранже* — см. прим. к стр. 56, т. 2 наст. изд.

Стр. 508. *...последняя задача еще до нас весьма удовлетворительно исполнена М. П. Погодиным.*— Речь идет о многочисленных работах

М. П. Погодина по истории удельной Руси, в которых он опирается на летописи и народные предания. Сведения о деятельности Ярослава, Мстислава или Ивана Берладника он преподносит в том виде, в каком они присутствуют в летописи. Подходя формально к историческим фактам, Погодин не дает их анализа, не раскрывает роли и значения тех или иных исторических деятелей в общем процессе исторического развития. В сатире Салтыкова Погодин фигурирует неоднократно как выразитель credo реакционной историографии, рассматривавшей историю России с точки зрения защиты самодержавно-крепостнического строя.

Стр. 510. *Приезжал англичанин с фабрики...* — намек на дело фабрикантов Хлудовых, чьим управляющим был англичанин Отсон (см. комментарий к комедии «Соглашение» и прим. к стр. 312).

20 ноября. Все сие свершилось. — См. прим. к стр. 295.

В составлении книги большое участие принял Василий Александрович Кокорев... — В «Русском вестнике» 50 — 60-х годов постоянно печатались статьи питейного откупщика В. А. Кокорева на разные экономические темы.

Стр. 511. *Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской.* — Православные мужские монастыри на горе Афонской в Греции отличались крайней суровостью своего устава; в них, в частности, было много схимников, давших обет пожизненного молчания.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ПРЕДЧУВСТВИЯ, ГАДАНИЯ, ПОМЫСЛЫ И ЗАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

(Стр. 519)

При жизни Салтыкова в качестве самостоятельного произведения очерк не публиковался, и неясно, закончен ли он. Частично текст использован в заключительной части очерка «Наши глуповские дела» (дневник Ржанищева).

Впервые, в отрывках, очерк опубликован А. А. Измайловым в журнале «Нива», 1914, № 17 (выдан 26 апреля), стр. 326—329; полностью — Н. В. Яковлевым в журнале «Звезда», 1926, № 2, стр. 5—9.

Сохранилась беловая рукопись произведения с исправлениями и вставками (один из листов — бланк рязанского вице-губернатора 1858 года). В настоящем издании печатается по указанной рукописи в ее последнем авторском чтении.

«Предчувствия...» написаны скорее всего в период между апрелем 1860 и октябрем 1861 года. Первая хронологическая грань определяется временем запрещения статьи «Еще скрежет зубовный» (26 марта 1860 года), материал который Салтыков обильно использовал в дневнике «современного человека», вторая — временем появления очерка «Наши глуповские дела» («Современник», 1861, № 11), в состав которого введены

фрагменты «Предчувствий...». Не исключено, однако, что датировать «Предчувствия...» следует 1859 годом, когда Салтыков обратился к разработке так называемой хлудовской истории в пьесе «Съезд», названной потом «Соглашение» (см. комментарий к ней).

В «Предчувствиях...», как и в тематически близких им рассказах «Госпожа Падейкова», и «Деревенская тишь», изображены настроения испуга и растерянности, охватившие помещиков при первых официальных известиях о предстоящей отмене крепостного права.

Стр. 520. *Оттого, что сие званию дворянскому пристойно.*— Рассуждение о превосходстве дворянства над «темным человеком» в рукописи имело продолжение, позднее зачеркнутое:

«Отчего темный младенец до совершенного возраста, как былие, прозябает, а младенец дворянин не иначе как при помощи француза воспитывается? Отчего темные люди, и мужеск и женск пол, все, как бессловесные, не стыдясь друг друга, в одной избе и пребывают и отдыхают, а дворянин руководствуется в сем случае врожденным ему чувством стыдливости?»

...привезший известие, будто бы... но нет! — Речь идет о предстоявшем опубликовании 20 ноября 1857 года рескрипта Александра II Назимову с предписанием приступить к практической разработке крестьянской реформы.

Стр. 521. *Опять приезжал с фабрики управляющий и от философических упражнений обратил к действительности.*— Занимающий центральное место в дневнике «современного человека» эпизод с продажей на фабрику крепостных «девок» относится к делу фабрикантов Хлудовых (см. комментарий к пьесе «Соглашение» и прим. к стр. 312). В сохранившейся рукописи отклик на хлудовское дело первоначально был значительно полнее. Приводим вычеркнутый Салтыковым (но частично использованный в других местах) текст, который следовал за комментируемой фразой:

«Условия действительно предлагал отменные: за каждую девку по 24 р. в год, а за десять девок двести сорок рублей. Оказывается, что в природе вообще ничего бесполезного нет, а в настоящем случае девка оказалась даже полезнее мужика, ибо какой мужик может собственною персоной двадцать четыре рубля доходу принесть? Но, кроме сего, у меня были при этом и другие соображения. Проводя дома время в праздности, девки ничего иного, кроме пороков и развития страстей, в будущем для себя не приобретают. Не наученные опытом и нуждою, девки до конца жизни остаются беспечными и во всех действиях не оказывают ни тени самостоятельности. Стало быть, временное отчуждение их на фабрику ничего, кроме пользы, для них принести не может. Конечно, все эти соображения в расчеты фабриканта входить не могут, ибо он ищет для себя лишь силу, которая могла бы машины его в действие приводить, но с моей стороны было бы непростительно об этом не подумать».

Ноября 20. Снежков сказал правду.— См. прим. к стр. 295.

Стр. 522. *Большое участие в составлении книги принимает Василий Александрыч Кокорев...*— см. прим. к стр. 510.

Стр. 523. *Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской.*— См. прим. к стр 511.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

(Стр. 524)

Незаконченный очерк. При жизни Салтыкова в качестве самостоятельного произведения не публиковался. Фрагменты из него были использованы Салтыковым в очерках «К читателю», «Литераторы-обыватели» и «Наши глуповские дела».

Впервые, частично (два отрывка), очерк «Хорошие люди» был напечатан Б. М. Эйхенбаумом в 1934 году в «Литературном наследстве» (т. 13—14, стр. 18—22); вторично опубликован, также в отрывках (семь фрагментов по двум рукописным редакциям), в собр. соч. издания 1933—1941 годов (т. III, стр. 441—450).

Рукописный материал очерка представлен тремя автографами, но ни одна из рукописей не дает полного текста произведения. Первая беловая рукопись (в процессе работы, как и две другие, она была превращена в черновую) заключала в себе текст наиболее близкий к полной первоначальной редакции, но из одиннадцати двойных ее листов пять в настоящее время утрачены. Вторая рукопись — это перебеленный с первой рукописи текст начала очерка с добавлением рассуждения о «прежнем» и «нынешнем» «хорошем человеке», вошедшего в состав очерка «Наши глуповские дела». По третьей, также незавершенной, рукописи очерка Салтыков вырабатывал варианты текста для вставок в очерк «Наши глуповские дела».

В настоящем издании текст очерка воспроизводится по первой беловой рукописи в последнем ее чтении с приведением в примечаниях наиболее значительных зачеркнутых отрывков.

По времени написания очерк «Хорошие люди» предшествовал тем произведениям, в состав которых вошли его отдельные части, то есть он создавался, видимо, во второй половине 1860 года, вскоре после «Скрежета зубовного». Очерк посвящен дворянско-помещичьим либералам, деятелям «глуповского возрождения». В нем не только дается развернутая характеристика «хороших людей», но и прослеживается их эволюция: «Хорошие люди» «доброго старого времени» — это свободные от всяких либеральных идей русские помещики-крепостники, спокойно творящие в своих имениях суд и расправу, пользуясь «покровительством законов» и бесправием крепостных. «Нынешние» «хорошие люди» — это те же помещики-крепостники, но умеющие ловко прикрыть свои крепостнические убеждения либеральной фразой, разговорами «об устности, гласности и бескорыстии».

Подводя итог сопоставительному рассмотрению типов «хороших людей» прошлого и нынешнего времени, Салтыков подчеркивает единство этих типов при внешнем отличии. Резюме по этому вопросу находим в последней, третьей рукописи очерка, где оно зачеркнуто. Приводим этот текст:

«Тем не менее, несмотря на описанные выше признаки резкого различия, горько ошибется тот из моих читателей, который в нынешних хороших людях увидит явление новое, не имеющее корней в русской почве.

Я, который добрую часть своей жизни посвятил изучению хороших людей всех возможных оттенков, смею удостоверить читателя, что разница между нынешними хорошими людьми и их предшественниками вовсе не столь существенна, как это можно было бы предполагать. В действительности, нынешние хорошие люди суть дети отцов своих, и природа у них совершенно одна и та же, какая была у тех их предшественников, которые, по рассказам предков, безмерно радовались, когда князь Потемкин заставлял их проскакать тысячи верст затем только, чтоб спросить, какого нынче празднуют святого, и столь же безмерно огорчались, когда Суворов, при появлении их, восклицал: «воняет!» И если, по обстоятельствам, совершенно от воли их не зависевшим, они должны были облечься в новые и доселе не виданные одежды, то это отнюдь не дает права заключать, чтобы помёт в этих одеждах был иной».

Стр. 524. *..получит... возмездие в рождество...*— см. прим. к стр. 359.

Стр. 525. *...о распрях, происходивших в Испании между карлистами и христиносами!* — См. прим. к стр. 489.

Стр. 527. *Да и люди были какие-то особенные! ..поильцами, кормильцами чествовали!*— Вместо этих шести абзацев в автографе имеется рассказ отставного корнета Катышкина о поваре Арефии Иваныче. Приводим его:

«...у меня, например, повар был; так что́ бы вы думали, он однажды сделал? Заказал я ему к обеду маинес, ну-с, хорошо-с... Только сидим мы за столом, а у меня еще на ту пору статский советник Увальнев обедал... вдруг подают на блюде машину какую-то! Смотрим... просто чудо! корабль, сударь ты мой, стоит, и мачты, и веревки, и амбразуры — все тут! даже перепела, вместо пушек, в амбразурах посажены! Статский советник Увальнев даже растерялся весь. «Сколько, говорит, черт ты эдакой, за этого повара дал?» — «Тысячу рублей», говорю.— «Ну, говорит, поздравляю, это просто даром!»

— Да, для таких людей и поощрения не жалко!

— Еще бы! Разумеется, сейчас же приказ: явиться Арефию Иванычу к столу! — Утешил ты меня, ракалья! — говорю,— ты меня утешил, и я у тебя в долгу не останусь! И тут же, при гостях, поднес ему рюмку водки: пей, каналья!

— Да, это приятно.

— В старину у нас все это просто было, все тут же на месте делалось. Угодил, корабль какой-нибудь там соорудил — рюмка водки тебе; не потрафил, пересолил там или подгорело что-нибудь — марш на конюшню!

— И не роптали!

— Не только не роптали, а еще бога за господ молили! кормильцами, поильцами чествовали!

— Любовный народ был, сердечный!»

Продолжение рассказа Катышкина следовало в рукописи после слов: «...как будто бы действительно выпирает им из трущобы карету». Приводим полностью вычеркнутый текст, позднее в процессе работы заменный в рукописи фрагментом — «Сердечный народ был, любовный! ... поильцами, кормильцами чествовали!»:

«Однако воровства и тогда между ними довольно было! — продолжал ораторствовать Катышкин.— Скажу хоть об том же Арефии Иваныче. Ведь не удержался, подлец, стянул-таки у меня бумажник с деньгами! Разумеется, я его au naturel, ан и отыскался бумажник в голенище са-

пога! Однако я ему этого не спустил: «Ну, говорю, Арефий Иваныч, уважаю я тебя за талант, а на конюшню ты все-таки сходи!»

— А жалко этакого человека!

— Уж и не говорите! так жалко, что в то время, как с ним там поступали, я просто как ребенок плакал! И не знаю сам, что такое со мной сделалось: сижу да так рекой и разливаюсь! «Обидел ты меня, Арефий Иваныч,— говорю ему после, как он пришел меня благодарить,— кровно обидел, бестия!»

— Сс...

— Однако потом, я думаю, сейчас же все и забыто было, Иван Сергеич?

— Ну, разумеется, забыто. Да нельзя и не поснизойти к такому человеку, потому что шельмец-то такой был, что мы, бывало, с женой предугадать никогда не можем, что у нас за обедом, какие финизервы или фаршмаки будут!

— В старину-то, господа, то хорошо было, что все неприятное тут же и забывалось!»

Стр. 530. *Тем более что «Морской сборник»...*— см. прим. к стр. 463.

...до октября 1858 года...— то есть до появления в печати статьи В. А. Черкасского (см. прим. к стр. 272).

Стр. 531. *...некто кн. Черкасский взял на себя труд доказать...*— см. прим. к стр. 272.

...«Русский вестник» разразился громовою статьей, в которой с прискорбием протестовал против употребления розог в русской литературе.— Против кн. В. А. Черкасского в «Русском вестнике» (1858, ноябрь, кн. 2; декабрь, кн. 1) со статьей «Изобличительные письма» выступили М. Н. Катков, Ф. М. Дмитриев и П. М. Леонтьев (статья опубликована под псевдонимом Байборода). В «Объяснении», опубликованном в журнале «Сельское благоустройство» (1858, № 11), Черкасский отказался от своих предложений относительно телесных наказаний для крестьян.

Стр. 532. *...«Московские ведомости» еще не открывали у себя особого отдела обывательской литературы.*— Речь идет о рубрике «Внутренняя корреспонденция» «Московских ведомостей». См. прим. к стр. 428.

«...я ведь не затруднюсь и по второму пункту хватить!» — То есть уволить за должностное преступление (см. Свод законов Российской империи, т. III. Уставы о службе гражданской, СПб. 1857, стр. 261).

...в Самаре какой циркуляр насчет этого вышел... А в Саратове... дикости какие-то...— см. прим. к стр. 462.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

К ЧИТАТЕЛЮ

(Стр. 537)

Как сказано выше (см. стр. 595), очерк «К читателю» был послан цензору в корректурных гранках и вызвал у него ряд замечаний. В результате цензурного вмешательства Салтыков внес в текст ряд существенных изме-

ений. Он вынужден был, в частности, пожертвовать двумя крупными и весьма важными фрагментами первоначального текста, которые воспроизводятся здесь по черновому автографу (в окончательном чтении текста).

Впервые оба отрывка были опубликованы в 1934 году в «Литературном наследстве» (т. 13—14, стр. 12—18).

Когда Салтыков писал обращение «К читателю», он уже понимал, что исторически предопределенная гибель Глупова, которую он предсказывал в первых произведениях глуповского цикла («Литераторы-обыватели», «Клевета», «Наши глуповские дела»), не столь близка, как это казалось ему раньше. Поэтому на первый план выдвигаются теперь размышления о причинах торжествующего сопротивления Глупова, о трудностях борьбы с ним и поиски практических путей этой борьбы. Главнейшее направление этих поисков — как победить равнодушие «толпы» к общественным идеалам, как преодолеть ее пассивность. По силе и глубине мысли, по страстности тона запрещенные цензурой фрагменты «К читателю» принадлежат к числу замечательнейших страниц салтыковской публицистики 60-х годов.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ*

Адлерберг Владимир Федорович, граф (1791—1884), ген.-адъютант, в 1852—1870 гг. мин. имп. двора и уделов — *610*.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист и поэт, славянофил — *554*, *560*, *562*, *614*.

Александр II (1818—1881), росс. император с 19 февр. 1855 г.— *574*, *598*, *605*, *606*, *615*, *622*, *627*, *635*.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — 446.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887), лит. критик, мемуарист — *579*, *580*, *594*, *596*, *607*, *614*, *615*, *629*.

Аннибал — см. *Ганнибал*.

«*Антракт*», еженедельная театр. газета, изд. в 1866—1868 гг. в Москве — *570*.

Апфельбаум, популярный фокусник, выступавший в Петербурге в 30—40-е годы — 269.

«*Атеней*», еженедельный (в 1859 г.— двухнедельный) журнал критики, совр. истории и лит-ры, изд. с 1858 по апр. 1859 г. в Москве под ред. Е. Ф. Корша — *549*, *578*.

Байборода, общий псевдоним М. Н. Каткова, Ф. М. Дмитриева и П. М. Леонтьева в «Русск. вестнике» в 1856—1858 гг.— *633*.

«Изобличительные письма» — *638*.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — *567*, *568*.

«Дон-Жуан» — *567*; Ганде — 33, 53, *567*; Дон-Жуан — 33, 34, 53, 468, *567*; Ламбро — 33, 34, 53, *567*.

«When we two parted...» — 57, *568*.

Бакст Осип Игнатьевич (ок. 1837—1895), издатель и владелец типографии в Петербурге — *581*.

«Сборник рассказов в прозе и стихах» — *581*.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — 50, *568*.

«Отец Горио» и «Покинутая женщина» — *568*, виконтесса де Босеан — 50, *568*; папаша Горио — *568*.

Баранов Павел Трофимович (1814—1864), ген.-майор, в 1857—1862 гг. тверской губернатор — *597*.

Барклай де Толли Михаил Богданович (1761—1818) — 470.

Батыевичи — см. *Батый*.

Батый (ум. 1255), хан Золотой Орды — 357, *616*.

Бауэр Бруно (1809—1882), нем. философ-идеалист, младогегельянец — 192.

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), экономист и публицист, младший лицейский товарищ Салтыко-

---

* В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, встречающиеся в текстах Салтыкова-Щедрина и в комментариях к ним. В первом случае цифры набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате комментария, в указатель не введены.

ва, служил в мин. гос. имуществ, затем в мин. финансов, один из представителей дворянского либерализма, сотруд. «Русск. вестника» — *577, 609, 617, 622*

«Аристократия и интересы дворянства. Мысли и замечания по поводу крестьянского вопроса» — *622.*

«О сословных интересах. Мысли и заметки по поводу крестьянского вопроса» — *578.*

Безобразов Николай Александрович (1816—1867), публицист, представитель крепостнической оппозиции крестьянской реформе — *632.*

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 450, 451, *593.*

Бенардаки (или Бернардаки) Дмитрий Егорович (ум. 1870), миллионер-откупщик, золотопромышленник — *570.*

Беранже Пьер-Жан (1780—1857) — 507, *633.*

«Мистигрис» — 507, *633.*

Беррье Пьер-Антуан (1790—1868), франц. адвокат и депутат парламента — 361.

Бертон Шарль Франсуа (1820—1872), франц. актер, неоднократно гастролировал в Петербурге — 283.

Бетурне Амбруаз (1795—1838), франц. поэт — *610.*

«Jeune fille aux yeux noirs» — 346, *610.*

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870), ген.-адъютант, в 1852—1855 гг. мин. внутр. дел — *567.*

«Библиотека для чтения», ежемесячный лит.-худ журнал, изд. в 1834—1865 гг. в Петербурге, с 1856 г. выходил под ред. А. В. Дружинина, с 1860 — А. Ф. Писемского, с 1863 — П Д. Боборыкина — *549, 568, 596, 607, 620.*

Борецкая Марфа, вдова новгородского посадника Исака Борецкого, глава литовской партии в Новгороде, известна под именем Марфы Посадницы — 48.

Брюс Яков Вилимович (1670—1735), гос. деятель, сподвижник Петра I, математик, физик, астроном, по его имени назван календарь 1709—1715 гг — 406.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), писатель и журналист, осведомитель политической полиции — 541.

Булкин А.— псевдоним *Ладыженского* С. А. (см.).

Бунге Николай Христианович (1823—1895), финансист, проф. Киевского ун-та, член финанс. комиссии по подготовке крестьянской реформы, в 1881—1886 гг. мин. финансов, в 1887—1895 гг.— пред. Комитета министров — *617.*

Бурдин Федор Алексеевич (1827—1887), актер Александринского театра, друг А. Н Островского, знакомый Салтыкова — *569.*

Буркова Вильгельмина (Мина) Ивановна, фаворитка мин. двора графа В Ф. Адлерберга — *610.*

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866) — *580, 593.*

Валуев Петр Александрович (1814—1890), гос. деятель, в 1861—1868 гг. мин. внутр. дел — *581, 623.*

Ваништейн, питейный откупщик — *562.*

Варламов Константин Александрович (1848—1915), актер Александринского театра — *612.*

Василий Заочный — псевдоним *Ржевского* В. К. (см)

Введенский Василий, рязанский помещик — *608.*

Вельяшев, рязанский помещик — *573.*

«Вестник промышленности», ежемесячный журнал, изд. в 1858 (с июля) — 1861 гг. в Москве предпринимателем и финансистом, славянофилом Ф. В. Чижовым — *599, 625*

Вишневский Николай Гаврилович, председ. казенной палаты в Рязани — *576.*

Владимир Святославович (ум. 1015), великий князь киевский с 980 г — *621.*

Волков А , чиновник мин. внутр. дел (50 е годы) — *567.*

Волконский Сергей Васильевич, князь (1819—1884), рязанский либеральный деятель, знакомый Салтыкова — 354, *616.*

Воскобойников Николай Николаевич (1838—1882), публицист, сотруд. «Библиотеки для чтения», «Моск. ведомостей», участник подавления польского восстания 1863 г.— *617.*

«Время», ежемесячный лит. и полит. журнал, изд. в 1861—1863 гг. в Петербурге М. М. и Ф. М. Достоевскими — *549, 606, 608, 609, 610, 618, 619.*

Вульф Николай Петрович, орловский вице-губернатор в 1853—1857 гг.— *597.*

Вызинский Генрих Викентьевич, проф. всеобщей истории в Моск. ун-те в 1850—1860 гг.— *617.*

Вышеградский Николай Алексеевич

(1822—1872), педагог, инициатор организации в России открытых женских учебных заведений (гимназий) — *627*.

Ганнибал (ок. 247—183 до н. э.) — 366

Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 542.

Герман, известный в 40—50-е годы петербургский учитель акробатики — 269.

Геродот (ок. 484—425 до н. э.) — 283

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — *574, 610, 624, 629*

«Very dangerous!!!» — *624*.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 39, 51, *567*.

«Wahlverwandtschaften» — 39, 51, *567*; Шарлотта — 40, 51.

Гинцбург, питейный откупщик — *562*.

Гнейст Рудольф (1816—1895), нем. ученый-государствовед и публицист, автор ряда работ, восхваляющих англ. полит. учреждения — 265, *598*.

«Das heutige englische Verfassungs-und Verwaltungsrecht» — *598*.

«Englische Communal-Verfassung» — *598*.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — *597, 600, 602*.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — 32.

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка» — 32.

«Игроки» — *600*; Замухрышкин — 268, *600*.

«Мертвые души» — 264, *597, 602*; Заманиловка — 264; Коробочка — *555*; Ноздрев — 272, 276, *601*.

«Ревизор»; Сквозник-Дмухановский — 260; Хлестаков — 260.

Годунов Борис Федорович (1552—1605), русский царь с 1598 г.— 297, 460

Головачев Алексей Андрианович (1819—1903), общ. деятель и публицист либерально-буржуазного направления, сотруд. с 1858 г. в «Русск. вестнике», где отстаивал основные принципы реформ 60-х годов — *617*.

Головнин Александр Васильевич (1821—1866), мин нар. просвещения в 1861—1866 гг.— *619, 623*.

«Голос», ежедневная полит. и лит. газета, изд. в 1863—1884 гг. в Петербурге А. А. Краевским — *570*.

Гомер — 283, *561*.

«Илиада» — *576*; Одиссей (Улисс) — 10, *561*; Гекуба — *576*.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — *561, 569, 580*.

«Обыкновенная история» — 11, *561*.

Гораций Квинт Флакк (65—8 до н. э.) — 245, *614*.

Гостомысл (ок. 1-й пол. IX в.), полулегендарный предводитель (старейшина) новгородских словен, который будто бы завещал призвать варягов — 357, 358, 499, *616, 617*.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855),— 450, 451.

Грачов Д., автор корреспонденции из Саратова, напечатанной в «Моск. ведомостях» — *626*.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829).

«Горе от ума»; Чацкий — 38.

Григорий, слуга Салтыкова в Вятке — 138, 139, *579*.

Григорьев Петр Иванович (1806—1871), актер Александринского театра и водевилист — *569*.

Давыдов Владимир Николаевич (псевдоним Ивана Николаевича Горелова; 1849—1925), актер Александринского театра — *570, 612*.

Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель (псевд — «Казак Луганский»), этнограф и лексикограф — *565, 568*.

«Заметка о грамотности. (Письмо в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей»)» — 22, 48, *565*.

Данилов Кирша — см. *Кирша Данилов*.

Дерби Эдуард, лорд Стэнли (1799—1869), англ. реакционный полит. деятель, в 1852, 1858—1859 и 1866—1868 гг. премьер-министр — 361.

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — *625*.

«Пчелка» — 428, *625*.

Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900), историк и публицист буржуазно-либерального направления — *577*.

«А. М. Унковский и освобождение крестьян» — *577*.

Дмитрий Иванович (1582—1591), сын царя Ивана IV (Дмитрий-царевич) — 297.

Диоген (ок. 404—323 до н. э.), древнегреч. философ — 369.

Дмитриев Федор Михайлович (1829—1894), историк русск. права, сотруд. «Русск. вестника» — *638*.

Дмитриевский Николай Иванович, правитель канцелярии рязанского губернатора — *576.*

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — *552, 556, 612, 615, 624, 633.*

«Из Турина» — 501, *633.*

«Литературные мелочи прошлого года» — *624*

Донон, петербургский ресторатор — 284.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — *608, 610.*

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), лит критик, сослуживец Салтыкова по канцелярии военного мин-ства в 1846—1848 гг.— *607, 608, 615.*

Дубенский Николай Фялиппович, старш советн. рязанского губ. правления — *599, 626.*

«Косвенные налоги на фабрики» — *599, 626.*

Дюбюр, петербургский портной — 283.

Дюжигрон, петербургский портной — 283

Дюссо, петербургский ресторатор — 320.

Егоров Сергей Николаевич, чиновник, в 1858—1860 гг. делопроизводитель рязанского губернского правления — *576.*

Еремеев, владелец трактира в Петербурге — 284.

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт, один из создателей Козьмы Пруткова, сотруд. «Современника» и «Искры» — *626*

Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804—1876) — 50, *568.*

«Лукреция Флориани» — *568;* Лукреция — 50, *568.*

«Орас» — *568;* Марта — 50, *568.*

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — *622.*

«К надежде» — 408, *622.*

Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), критик и публицист радикально-демократического направления, соратник Писарева по журналу «Русск. слово» — *574*

«Глуповцы, попавшие в «Современник» — *574.*

«Звезда», ежемесячный лит.-худ и общ.-полит. журнал, изд. с 1924 г. в Ленинграде — *634.*

Зиновьев Федор Алексеевич, беллетрист и драматург 60 х годов — *608.*

«Дворянские выборы» — *608.*

Златовратский Александр Петрович (ум. 1863), однокурсник и институтский товарищ Добролюбова, преподаватель географии в рязанской гимназии — *612.*

Знаменский Пр.— псевдоним *Курочкина* В. С. (см).

Зябловский Евдоким Филиппович (1764—1846), историк, географ, проф. статистики Петерб. ун-та в 1816—1833 гг.— 365, *617*

«Статистика европейских государств в нынешнем их состоянии» — 365, *617.*

Иван Берладник — прозвище *Ивана* Ростиславича (см.).

Иван Ростиславич (ум. 1162), князь галицкий, прозванный Иваном Берладником (по молдавскому городу Берладу) — 509, *634.*

Иван IV Васильевич Грозный (1530—1584) — 359, *616, 617.*

Измайлов Александр Александрович (1873—1921), пародист и лит. критик — *634.*

Измарагд, древнерусск. сборник изречений и поучений — 355, *616.*

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», былина — 273, *602.*

Иоанн Лейденский (Иоанн Бокельсон; ок. 1509—1536), вождь плебейской секты анабаптистов в Нидерландах, глава Мюнстерской коммуны — 280, 545, *602.*

«Искра», сатирич. журнал революционно-демократического направления, изд. в 1859—1873 гг. в Петербурге — *611, 620, 624.*

Кабе Этьенн (1788—1856), франц. социалист-утопист — *597.*

«Путешествие в Икарию» — 263, 539, *597.*

Казанова Джованни Джакопо де Сейнгальт (1725—1798), итал. авантюрист, мемуарист — 385.

Кайданов Иван Кузьмич (1780—1843), историк, проф. Царскосельского лицея — 362, 365, *617.*

«Краткое начертание всеобщей истории» — 362, 365, *617.*

«Калужский житель», автор обличительной корреспонденции из Калуги в «Моск. ведомостях» — *625.*

Кальцолари Энрико (1823—1888), пе-

вец (тенор) Итальянской оперы в Петербурге в 60-х годах — 338, 418, *610*.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — *617*.

«История Государства Российского» — *617*.

Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853), актер Александринского театра, исполнитель роли Нино в драме Н. А. Полевого «Уголино» — 198, 199.

Карлос дон (1788—1855), брат исп короля Фердинанда VII, претендент на престол — *632*.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), в конце 50-х годов — либеральный, с начала 60-х годов — реакционный публицист, редактор «Моск. ведомостей» в 1850—1855 и 1863—1887 гг, с 1856 г.— «Русск. вестника» — *595, 597, 633, 638*.

Катон Старший Марк Порций (234—149 до н. э), римск. гос деятель и писатель — 267; 449, *600, 627*.

Кауэр Ф. и Давыдов С. Н.

«Леста, днепровская русалка» — 190; Князь — 208, 209.

Кирша Данилов (XVIII в), предполагаемый собиратель русских былин, песен, сказок в стихах — *582*.

«Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» — *582*; «А и в горе жить, не кручинну быть» — 183, *582*.

Кислинская, помещица в Рязани — *572, 573*.

Княжевич Александр Максимович (1792—1872), мин. финансов в 1858—1862 гг.; провел замену откупной системы акцизной — *623*.

Князев Иван Васильевич, советский литературовед — *609*

Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт, переводчик — *627*.

«Венецианская ночь» — 460, *627*.

Козляинов А. П, вышневолоцкий помещик — 428, *625*.

Кок Шарль Поль, де (1794—1871), франц. писатель; его имя стало у современников нарицательным для обозначения пошло-развлекательной лит-ры — 407.

Кокорев Василий Александрович (1817—1889), питейный откупщик-миллионер, публицист, печатался в «Русск. вестнике» — 261, 262, 429, 510, 522, *597, 617, 618, 634, 635*.

«Миллиард в тумане» — *618*.

«Об откупах на продажу вина» — *618*.

«Путь севастопольцев» — *597*.

«Колокол», революционная газета, изд. Герценом и Огаревым в 1857—1867 гг. в Лондоне и Женеве (с мая 1865 г) — *610*.

Константин Николаевич, вел. князь (1827—1892), с 1855 г. управл. морск. флотом и мин-твом, в 1861—1863 гг. наместник в Царстве Польском — *628*.

Корш Валентин Федорович (1828—1883), либеральный журналист, в 1855—1862 гг. редактор «Моск. ведомостей», в 1863—1874 гг.— «Санкт-Петерб. ведомостей» — *625*.

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — *370*.

Курочкин Василий Степанович (1831—1875), поэт-демократ, издатель «Искры» — *624, 625*

«Корреспонденты и рецензенты (Гг. Корытников, Цветков, Благолепов и Пятковский)» — *625*.

Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — 470.

Табарр Франсуа-Теодор (1805—1870), франц. композитор — *610*.

«Jeune fille aux yeux noirs» — 346, *619*.

Ладыженский Сергей Александрович, критик, сотрудник «Моск. ведомостей» — *596*.

Ламанский Евгений Иванович (1825—1902), экономист, управл. гос. банком в 1860—1861 гг, автор ряда трудов по финансовым вопросам, товарищ Салтыкова по лицею — *570, 617*.

Ланской Сергей Степанович (1787—1862), мин. внутр. дел в 1855—1861 гг.— *623*.

Лафайет Мари-Жозеф (1757—1834), франц. генерал, один из вождей крупной буржуазии в период революций 1789—1791 и 1830 гг.— 272, 419.

Лафонтен Август (1758—1831), нем. писатель, автор более двухсот чувствительных семейных романов и повестей — 484.

Левек, петербургский портной — 283.

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — *629*.

Ленский Дмитрий Трофимович (1805—1860), актер Малого театра, водевилист — *567, 568*.

«В людях ангел, це жена, дома

с мужем сатана» — 34—35, 52, *567, 568;* лакеи — 35; Небосклонова — 35, 52, *568;* Прындик — 34, 38, 53; Размазня — 35, 38, 52; Славская — 34, 56; Славский — 34, 53; Трефкина — 34.

«Хороша и дурна, и глупа и умна» — *567;* Падчерицын — 37, 38, *567.*

Леонов Алексей Николаевич, ревизор Рязанской казенной палаты — *576*

Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874), филолог, проф. Моск. ун-та, сотруд. «Русск. вестника» с 1856 г., соредактор «Моск. ведомостей» с 1863 г — *638.*

Лепретр, петербургский портной — 283.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — *622.*

«Расстались мы...» — 424, *622.*

«*Я не люблю тебя...*» — 424, *622.*

«*Литературное наследство*», непериод. сборники АН СССР, посв. публикации докум. материалов по истории русск. лит-ры и общ. мысли, изд. с 1931 г. в Москве — *636, 639.*

Лихачев Дмитрий Сергеевич, советский литературовед — *562, 621.*

Людовик-Наполеон — см. *Наполеон III.*

Мазуренко Николай Николаевич (1840 — ?), участник революц. движения 60-х годов, лит. критик (псевд.— Окнерузам), сотруд. «Современника» — *596, 612, 620.*

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — *603, 620.*

«Fortunata» — 292, 385, *603, 620.*

Макашин Сергей Александрович, советский литературовед — *567, 630.*

Марий Гай (156—86 до н. э.), римск. полководец и полит. деятель — 366.

Мария Кристина Старшая (1806—1878) жена исп. короля Фердинанда VII, после его смерти — регентша (1833—1840) — *632.*

Мартен, петербургский ресторатор — 284.

Мартын Задека, имя, под которым в России с 1770 по 1914 г. изд. гадательные книги, сонники, сборники предсказаний, фокусов, игр и другие подобные издания — 487.

Марфа Посадница — прозвище *Борецкой* Марфы (см.).

Мацкевич Давид Иванович (1819—1859), цензор «Современника» — *580.*

Мачтет Григорий Александрович (1852—1901), писатель, участник революц. движения, автор известной революц. песни «Замучен тяжелой неволей ..» — *616.*

Медведев Петр Михайлович (1837—1906), актер, режиссер и провинциальный антрепренер — *612*

Медем, барон, капитан парохода «Адашев» — *628*

Мейербер Джакомо (1791—1864), нем композитор — *602*

«Пророк» (другие названия: «Осада Гента» и «Иоанн Лейденский») — 280, 544, 545, *602*

«Роберт-Дьявол»; Роберт 196; Бертрам — 196.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт-сатирик, переводчик — *624.*

Митропольский А. И.— *630.*

«По поводу воспоминаний князя Д. Д. Оболенского» — *630.*

Монталамбер Шарль, граф де (1810—1870), франц публицист, глава католической партии, поддержал Луи Бонапарта во время гос. переворота — 272, *601.*

«De l'avenir politique de l'Angleterre» — *601.*

«*Морской сборник*», ежемесячный журнал Морского мин-тва, изд. в 1848—1917 гг. в Петербурге. В конце 50-х — начале 60-х годов орган правительственного либерализма — 463, 530, *623, 628, 638.*

«*Московские ведомости*», официальная газета, изд. в 1756—1917 гг.; в 1856—1862 гг под ред. В. Ф. Корша печатала материалы обличительного характера — 268, 431, 432, 438, 532, *595, 596, 625—628, 638.*

«*Московский вестник*», еженедельная полит. и лит. газета, изд. в 1859 (с февр) — 1861 гг. под фактич. руководством И. В. Павлова (см.) — *549, 559, 560, 562, 563, 605, 611, 612, 615, 617.*

Моцарт Вольфганг (1756—1791) — 446

«Дон Жуан» — 446; Лепорелло — 446.

Мстислав (ум. 1036), сын киевского князя Владимира, князь Черниговский, в 1024 г. основал Тмутараканское княжество — 509, *634.*

Мюссе Альфред де (1810—1857) — 19, *565.*

«Comédie et proverbes» — 19, *565*

Назимов Владимир Иванович (1802—1874), ген.-адъютант, в 1855—1863 гг. ви-

ленский губернатор и генерал-губернатор «северо-западных» губерний; к нему обращен «рескрипт» Александра II в ноябре 1857 г. «об улучшении быта помещичьих крестьян», положивший начало осуществлению «крестьянской реформы» — *606, 635*

Наполеон III (1808—1873), племянник Наполеона I, в 1852—1870 гг. франц. император — 267, *599, 600.*

«*Народное богатство*», ежедневная полит.-экон. и лит. газета умеренно либерального направления, изд. в 1862 (с 1 ноября) — 1865 гг. в Петербурге — *596, 620.*

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — *571, 572, 579—580, 595, 618, 628*

«Забытая деревня» — *618;* Неиила — 378, *618.*

«*Нива*», еженедельный иллюстрир. журнал лит-ры, политики и совр жизни, изд. в 1870—1917 гг. в Петербурге — *634.*

Николев Николай Петрович (1758—1815), поэт и драматург — *581.*

«Ветерок, повей сильнее...» — 160, *581.*

Нордстрем Иван Андреевич (1814—1878), цензор драматических произведений в Главном управлении цензуры — *569.*

Оболенский Дмитрий Дмитриевич, князь (род. 1845) — *630.*

«Наброски из воспоминаний» — *630.*

«*Одесский вестник*», полит. и лит. газета официального направления, изд. в 1827—1893 гг., находилась в ведении одесского ген.-губернатора — *596, 608.*

Окнерузам — псевдоним *Мазуренко* Н. Н. (см.).

Олег (IX—X вв.), новгородский князь, овладевший Киевом и сделавший его столицей древнерусского государства — 429.

«*От нечего делать*. Собрание повестей и рассказов русских авторов», изд. в 1868 г. русск. революц. эмиграцией в Женеве — *581.*

«*Отечественные записки*», ежемесячный учено-лит. журнал, изд. в 1839—1884 гг. в Петербурге. Вместе с «Современником» — самый передовой демократический журнал 40-х годов. В «Отеч. записках» были напечатаны первые две повести Салтыкова — *550, 582.*

Отсон, англичанин, директор хлудовской бумагопрядильни — 510, 519, 521, *608, 634, 635.*

Павлов Иван Васильевич (1823—1904), товарищ Салтыкова по Моск. дворянскому ин-ту и Лицею, публицист, фактич. руководитель газеты «Моск. вестник» (см.) — *559, 560, 561, 612, 614.*

Павлов Платон Васильевич (1823—1895), историк, обществ. деятель, проф. Киевского и Петерб ун-тов — *627.*

Палкин, владелец трактира в Петербурге — 284.

Пановский Николай Михайлович (1797—1872), писатель, сотруд. «Моск ведомостей», «Москвитянина», «Современной летописи» — *597.*

Перфильев Степан Васильевич (1796—1878), генерал, начальник Моск. жандармского округа — 412, *622.*

Петр I (1672—1725), царь с 1682 г., росс. император с 1721 г.— 109, 359, 508, *561, 616.*

Петрашевский Михаил Васильевич — см. *Буташевич-Петрашевский* М. В.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881), врач хирург, обществ. деятель — *627.*

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — *552, 553, 558, 561, 574.*

«Цветы невинного юмора» — *552, 553, 558, 561, 574.*

Платон (427—347 до н. э.) — 434, *626.*

«Федон» — *626.*

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), поэт — *615.*

«*Повесть временных лет*» (XII в.), древнейшая русская летопись — 11, 387, *562, 621.*

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, сторонник норманнской теории происхождения древнерусского государства, публицист охранительного направления — 357, 358, 508, 509, *616, 633, 634*

Покусаев Евграф Иванович, советский литературовед — *597.*

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), журналист, писатель.

«Уголино» — 198.

Посполитаки, питейный откупщик — *570.*

Потемкин Григорий Александрович (1739—1791), ген.-фельдмаршал, фаворит Екатерины II — *637.*

Пржецлавский Осип Антонович (1809—1879), цензор, с 1862 г. цензуровал «Современник» — *573.*

Проезжий — псевдоним Дубенского Н. Ф. (см.).

Путята Александр Дмитриевич (1828—1899), участник революц. движения 60-х годов — *581*.

«Сборник рассказов в прозе и стихах» — *581*.

Путятин Евфимий Васильевич, граф (1803—1883), адмирал, дипломат, в 1861 г. мин. нар. просвещения — *623*.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 52, *565*, *568*, *620*, *627*, *632*.

«В крови горит огонь желанья .» — 450, *627*.

«Египетские ночи» — 385, *620*.

«История села Горюхина» — *591*.

«Ночной зефир» — 459, *627*.

«Стансы» — 482, *632*.

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...») — 19, *565*.

«Пчела», древнерусский сборник изречений и поучений — 355, *616*.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк литературы, сотруд. и член редакции «Современника» — *571*, *577*.

Пэль, владелец сапожного заведения в Петербурге — 284.

Пятковский Александр Петрович (1840—1904), издатель и журналист — *624*, *625*.

«Провинциальные корреспонденты и г. Щедрин» — *624*.

Рабинович, питейный откупщик — *562*.

Ребров Сергей Константинович (1801—?), цензор — *608*.

Рейтерн Михаил Христофорович (1820—1890), мин. финансов в 1862—1878 гг., лицейский однокашник Салтыкова — *623*.

Ржевский Владимир Константинович (псевд.— Василий Заочный) (1811—1885), реакционный публицист — 263, *595*, *596*, *597*, *601*, *608*, *620*, *633*.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794), деятель франц. буржуазной революции 1789 г., один из вождей якобинцев — 515.

Рогозин Л., участник революц. движения 60-х годов — *629*, *630*.

Родиславский Владимир Иванович (1828—1885), драматический писатель и критик — *570*.

Родоконаки Федор Павлович (ум. 1882), питейный откупщик — *570*.

«Русалка» — опера *Кауэра Ф. и Давыдова С. И.* «Леста, днепровская русалка» (см.).

«Русская беседа», журнал славянофильского направления, изд. в 1856—1860 гг. в Москве — *549*, *603*, *605*.

«Русский архив», ежемесячный историко-лит. журнал, изд. в 1863—1917 гг. (1856—1858 гг. — по 4 кн. в год, с 1859— по 6 кн.) в Москве — *630*.

«Русский вестник», лит.-полит. журнал, изд. в Москве М. Н. Катковым в 1856—1887 гг., до 1861 г. придерживался умеренно либерального направления, затем перешел на охранительные позиции. В «Русск. вестнике» печатались «Губернские очерки» — 119, 364, 365, 501, 510, 513, 522, 525, 529, 531, *549*, *566*, *577*, *578*, *595*, *617*, *618*, *622*, *633*, *634*, *638*.

«Русский педагогический вестник», ежемесячный журнал, изд. в 1857—1861 гг. Н. А. Вышнеградским и др. в Петербурге — *627*.

«Русское слово», литературно-ученый журнал, изд. в 1859—1866 гг. в Петербурге. С 1861 г. с приходом Д. И. Писарева приобретает радикально-демократический характер — *552*, *553*, *574*, *624*.

Рыков Константин Александрович, следователь земского суда в Егорьевске — 266, 430, *599*, *626*.

Рюрик (ум. 879), варяжский князь; летописная легенда о призвании его новгородцами на княжение послужила впоследствии основанием норманнской теории происхождения древнерусского государства — 12.

Рюриковичи — 357, 359, *616*.

Садовский (настоящая фамилия Ермилов) Пров Михайлович (1818—1872), актер Малого театра, родоначальник знаменитой актерской семьи Садовских — *560*, *569*.

Салтыков (Н. Щедрин) Михаил Евграфович.

«Глупов и глуповцы» — *553*, *584*, *587*, *632*.

«Глуповское распутство» — *553*, *584*, *587*, *632*.

«Господа Головлевы» — *558*, *577*.

«Господа ташкентцы» — *617*.

«Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха» — *608*.

«Губернские очерки» — *549*, *550*, *551*, *552*, *554—556*, *565*, *566*, *568*, *569*, *571*, *575*, *576*, *581*, *583*, *584*, *591*, *601*, *603*.

«Аринушка» — *557, 581.*
«Елка» — *571.*
«Общая картина» — *565.*
«Озорники» — *565, 566.*
«Отставной солдат Пименов» — *557.*
«Пахомовна» — *557, 581.*
«Просители» — 33, *569.*
«Прошлые времена» — *569*
«Талантливые натуры» — *602.*
«Хрептюгин и его семейство» — *568, 570.*
«Губернские честолюбцы» — *568, 569.*
«Два отрывка из «Книги об умирающих» — *555, 560.*
«Из неизданной переписки» — *555.*
«Смерть Живиовского» — *555.*
«Дикий помещик» — *558.*
«Дневник провинциала в Петербурге» — *602.*
«Еще скрежет зубовный» — *607, 626, 634.*
«Жених» — *561, 580, 610.*
«Игрушечного дела людишки» — *551.*
«Имярек» — *586.*
«История одного города» — *590, 591, 632.*
«Итоги» — *602.*
«Каплуны» — *553, 584, 588, 590, 627.*
«Книга об умирающих» — *549, 554—556, 559, 560, 562, 564, 569, 577, 583, 584, 591, 604, 605, 611, 614, 615.*
«Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» — *605.*
«Об ответственности мировых посредников» — *597.*
«Отходящие» — *559, 560.*
«Письма к тетеньке» — *617, 618.*
«Помпадуры и помпадурши» — *602.*
«Пошехонские рассказы» — *551.*
«Признаки времени» — *602.*
«Смерть Пазухина» («Смерть», «Царство смерти») — *555, 568, 569.*
«Современная идиллия» — *602.*
«Современные разговоры» — *611.*
«Тени» — *610.*
«Характеры» — *611, 624.*
«Яшенька» — *555.*
«Санкт-Петербургские ведомости», официальная газета, изд. в 1728—1917 гг.— 216, *565, 570, 596.*
Сарра, петербургский портной — 283.
Сахаров Иван Петрович (1807—1863), фольклорист, этнограф, библиограф — *582.*
«Песни русского народа» — *581, 582.*
«Ах где, жена, была ..» — 179, *582.*
«Голова ль моя, головушка .» — 183, *582*
«Не шуми, мати зеленая дубравушка .» — 156, *581.*
«Северная почта», газета мин-тва внутр. дел, изд в 1862—1868 гг. в Петербурге — *596, 608, 620.*
«Северная пчела», полит. и лит. газета, изд. в 1825—1864 гг. в Петербурге. В 50—60-х годах редактировалась Ф. В. Булгариным, Н. И. Гречем и П. С. Усовым — *624.*
«Сельское благоустройство», славянофильский журнал, посв. вопросам подготовки крестьянской реформы, приложение к «Русск. беседе», изд. в 1858 (с марта) — 1859 (по апр.) гг. в Москве под ред. А И. Кошелева — *601.*
Сервантес де Сааведра Мигуэль (1547—1616).
«Дон-Кихот»; Дульцинея — 447.
Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866), деятель революц. движения 60-х годов — *558, 582.*
Симановский Иван Михайлович, полковник, жандармский штаб-офицер в Твери — *621, 622, 629.*
Синеус (середина IX в.), полулегендарный варяжский князь, брат Рюрика, княживший в Белозере — 12.
Ситников Ананий, раскольник — *578, 579*
Смагин, раскольник — *578, 579*
«Современная летопись», газета, изд. в 1861—1871 гг. в Москве под ред. М. Н. Каткова (в 1861—1862 — приложение к «Русск. вестнику», с 1863 г.— к «Моск. ведомостям») — *578, 595, 633*
«Современник», лит. журнал, изд. в Петербурге, основан Пушкиным в 1836 г.; с 1847 г. изд. Н. А. Некрасовым и И. И Панаевым — *549, 553, 571, 572, 574, 577, 579, 581, 588, 594, 595, 596, 614, 615, 618, 619, 621, 623, 624, 628, 629, 630, 633, 634.*
Сократ (ок. 469—399 до н. э.) — *626.*
Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813—1882), писатель — *566, 567.*
«Чиновник» — 35, 43, 53, 55, *566,*

567; Дробинкин — 35, 37, 54; графиня («княгиня») — 35, 54, 56, *567*, Мисхорин — 35, 54; Надимов — 35, 36, 38, 44, 45, 47, 54, 55, *566, 567;* полковник — 35, 54.

Степанов Николай Александрович (1807—1877), карикатурист, в 1859—1864 гг. сотруд. и издатель (совместно с В. С. Курочкиным) журнала «Искра» — *620.*

Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.), римск. диктатор — 366.

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), драматург — *602.*

«Свадьба Кречинского» — *602*; Расплюев — 277, *602*

Сципион Публий Корнелий Африканский Старший (235—183 до н. э.), римск. полководец — 366.

«Сын отечества», еженедельный полит., ученый и лит. журнал, изд в 1856 (с апр.) — 1861 гг. в Петербурге — *551.*

Тамберлик Энрико (1820—1889), итал. певец (тенор), неодиократно гастролировал в Петербурге — 338, 418, *610.*

Тимашев Александр Егорович (1818—1893), управл. III Отделением в 1856—1861 гг., мин. внутр. дел в 1868—1877 гг.— *569.*

Трувор (середина IX в.), полулегендарный варяжский князь, брат Рюрика, княживший в Изборске — 12.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883)— 267, 356, *565, 580, 599, 616.*

«Бурмистр»; Пеночкин — 272, *601.*

«Гамлет Щигровского уезда» — 267, *599.*

«Два помещика» — 356, *616*; Стегуиов — *616.*

«Дворяиское гнездо»; Лаврецкий— *601.*

«Параша» — 19, 194, *565*

«Рудин»; Рудин — 267, *599, 601.*

«Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова»; Чертопханов— 272, 276, 499, *601*

Тянгинский, автор рецензии о любительском спектакле в Вятке, опубликованиой в «Вятских губ. ведомостях» — 54, *568.*

«Указатель экономический, статистический и промышленный», полнт.-эконом. журиал, изд. в 1860—1861 гг. в Петербурге — *624.*

Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), либеральный деятель периода крестьянской реформы, близкий друг Салтыкова — *577, 629.*

Фавр Жюль (1809—1880), франц. адвокат, популярный оратор, с 1870 г. вице-премьер и мин. иностр. дел, участник подавления Парижской коммуны — 354, *616*

Фейербах Людвиг (1804—1872), нем. фнлософ-материалист; в «Запутанном деле» фигурирует также под нменем Бинбахера — 192, 193, 196, 227.

Фердинанд VII (1784—1833), король Испаиии (1808 и 1814—1833 гг.) — *632.*

Френкель, питейный откупщик — *562.*

Халабаев Константин Иванович, советский текстолог — *604.*

Хлудовы, владельцы бумагопрядильной фабрики в городе Егорьевске Рязанской губернии — *599, 607, 608, 609, 626, 634, 635.*

Христина — см. *Мария Кристина.*

Цветков К., корреспондент «Указателя экономического», автор статьи о литераторах-обывателях — *624, 625.*

Черкасский Владимир Александрович, князь (1824—1878), деятель крестьянской реформы, члеи-эксперт Редакционных комиссий в 1856—1861 гг., славянофил — 272, 531, *601, 638*

«Некоторые общие черты будущего сельского управления» — *601.*

«Объяснение» — *638.*

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — *552, 554, 558, 588, 590, 596, 624, 629.*

Чибисов В., сотрудник «Одесского вестника» — *596, 608.*

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), историк, юрист, публицнст; проф. Моск. ун-та в 1861—1868 гг., идеолог дворянского либерализма — *601.*

«Очерки Англии и Франции» — *601.*

Шармер, петербургскнй портной — 283.

Шекспир Вильям (1564—1616).

«Гамлет» — 103; Гамлет — 38, 103, *576.*

Шиллер Фридрих (1759—1805) — *603.*

«Resignation» — 292, *595, 603.*

Шотан, петербургский ресторатор — 284.

Штейниц Г., берлинский издатель — *581.*

Эдельсон Евгений Николаевич (1824—1868), лит. критик — *552, 605, 620*

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959), советский литературовед — *572, 595, 604, 619, 636.*

Элпидин Михаил Константинович (ок. 1835—1908), русский эмигрант, издатель и редактор — *581.*

Эльснер Фанни (1810—1884), австрийск. балерина, гастролировала в России в 40—50-х годах — 465.

Эммерман, владелец сапожного заведения в Петербурге — 283.

Юматов Николай Николаевич, публицист, сотруд. «Русск. вестника» — 263, 265, *595, 597, 598, 633.*

«Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале» — *598.*

Языков Николай Михайлович (1803—1847), поэт.

«Разгульна, светла и любовна...» — 222.

Яковлев Кондрат Николаевич (1864—1928), артист Александринского театра — *612.*

Яковлев Николай Васильевич, советский литературовед — *580, 634.*

«Петрашевцы в изображении Салтыкова» — *580.*

Ярослав Мудрый (978—1054), великий князь Киевский с 1019 г.— 509, *634.*

Исправление в указателе т. 2 настоящего Собрания сочинений

На стр. 556, стлб. 1, строку 20 **следует читать:**

«Русский вестник», политический и

СОДЕРЖАНИЕ

НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ

Гегемониев 7
Зубатов 15
Приезд ревизора 28
Утро у Хрептюгина 58
Для детского возраста 75
Миша и Ваня 88
Наш дружеский хлам 99
Деревенская тишь 117
Святочный рассказ 135
Развеселое житье 156
Запутанное дело 184

САТИРЫ В ПРОЗЕ

К читателю 257
Госпожа Падейкова 295
Недавние комедии 311
I. Соглашение . . . . . —
II. Погоня за счастьем 330
Недовольные 347
Скрежет зубовный 353
Наш губернский день 382
Литераторы-обыватели 428
Клевета 464
Наши глуповские дела 482

НЕОКОНЧЕННОЕ

Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека 519
Хорошие люди 524

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

К читателю 537

Примечания 549
Указатель имен 640

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 3

Редактор *В. Панов*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *И. Доценко*

Сдано в набор 9/I 1965 г. Подписано к печати 3/IV 1965 г. Бумага 60 × 90¹/₁₆ = 40,75 печ. л. Уч.-изд. л. 38,897 + 1 вкл. = 38,957 л. Тираж 60 000 Заказ № 2802. Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата.
Москва, Краснопролетарская, 16.